

ТОМ  
X(1)

В. А. ЖУКОВСКИЙ  
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В. А. ЖУКОВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

ПРОЗА

1807—1811 годов

КНИГА 1

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

ВАСИЛИЕМЪ ЖУКОВСКИМЪ.



МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ

1808.



**В. А. ЖУКОВСКИЙ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**

---

**ТОМ ДЕСЯТЫЙ**

**ПРОЗА**

**1807—1811 годов**

**КНИГА 1**





**В. А. ЖУКОВСКИЙ**

---

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ  
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ**



**В. А. ЖУКОВСКИЙ**

---

**ТОМ ДЕСЯТЫЙ**

**ПРОЗА**

**1807—1811 годов**

**КНИГА 1**



**ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

Москва 2014

УДК 821.161.1  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8  
Ж 86

Томский государственный университет



Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
(РГНФ)  
проект № 14-04-16037

Ж 86 **Жуковский В. А.**

Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах / Ред. коллегия: И. А. Айзикова, Э. М. Жилиякова, О. Б. Лебедева, И. А. Поплавская, Н. Б. Реморова, А. С. Янушкевич (гл. редактор). — Т. 10. Проза 1807—1811 гг. Кн. 1. / Ред. И. А. Айзикова. — М.: Языки славянской культуры, 2014. — 528 с.

ISBN 978-5-9905856-1-4

Полное собрание сочинений и писем В. А. Жуковского впервые в эдиционной практике представляет наследие великого русского поэта в максимально полном на сегодняшний день объеме. Тексты Жуковского даны на основе критического осмысления всех известных автографов поэта и прижизненных публикаций.

Том 10 содержит оригинальные и переводные прозаические тексты, опубликованные В. А. Жуковским в 1807—1811 гг. на страницах журнала «Вестник Европы». Произведения сопровождаются подробным текстологическим, историко-литературным и реально-историческим комментарием.

УДК 821.161.1  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

*На фронтиспise:*

*В. А. Жуковский (1818 г.). Гравюра Е. Эстеррейха с портрета О. А. Кипренского*

ISBN 978-5-9905856-1-4



9 785990 585614 >

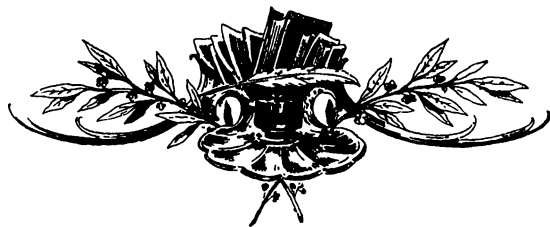
© И. А. Айзикова. Редакция тома 10, 2014  
© Языки славянской культуры, оригинал-макет, 2014



ПРОЗА

1807—1811

ГОДОВ





## СМЕРТЬ

### РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ

Недалеко от Безансона<sup>1</sup>, в маленькой деревеньке, жил честный, отставной бригадир, Мервиль, старик семидесяти лет, совершенный образец добродушия и любезности. Будучи еще молод, он служил в армиях Людовика XV<sup>2</sup> и вместе со всеми французами воображал, что умереть за славу короля и умереть за благо отечества одно и то же; но едва по заслугам своим получил он бригадирский чин, как увидел, к совершенному ужасу, что был орудием угнетения народов. Лишась одушевляющей мечты, он разлюбил и самую службу, потребовал отставки, не принял пенсион, которым хотели наградить его за храбрость и верность, и стыдился почтенных своих ран, которые казались ему не изглаженными следами юношеских заблуждений. Возвратясь в деревню, родину, давно им оставленную, он начал обрабатывать поля, небогатое наследие предков, и все часы, в которые был свободен от забот хозяйства, посвятил философии и музам. Посредственность состояния не позволяла ему делать больших издержек; он должен был ограничить себя весьма малым обществом: два или три испытанных друга и довольно. В числе их был Шевро, член Безансонского парламента, человек особенно им любимый и особенно достойный любви его.

Природа наградила Шевро завидным расположением ко всему доброму и благородному. В характере его не было той легкости, которую обыкновенно приписывают молодым французам; он имел более жару, нежели пылкости, более меланхолической задумчивости, нежели мягкости. Впечатления редкие, но глубокие, были неизгладимы в душе его; никогда не обманывала его наружность, никогда лицо его не противоречило сердцу. Имевши право благодарить Провидение за величайшее благо, какое только оно может даровать человеку, за родителей добродетельных и просвещенных, родителей, которых деятельная любовь образовала его душу, он, при всех необыкновенных качествах, полученных от природы, был человеком твердых и непоколеби-

мых правил честности, с сильнейшим патриотизмом, был совершенно достоин иметь друга, подобного Мервиллю.

Шевро любил — один раз в жизни — девицу, прелестную и видом, и милым своим сердцем, Эльмину, дочь парламентского президента в Безансоне. Препятствия, которые несколько лет противились их союзу, казались непобедимыми; но то, что в слабом сердце умерщвляет любовь, то самое в сердце Шевро ее животворило. Сама Эльмина была привязана к нему всеми узами любви и почтения; по несчастию, она была богата, а ее родители надеялись к миллиону дочери присоединить другой миллион или, по крайней мере, один из знатнейших чинов во всем королевстве. Эльмина терпела жестокие гонения за любовь свою к Шевро, но она с твердою решимостию сказала своим родителям, что никакое убеждение, никакая сила на свете не исторгнут из ее сердца привязанности к сему человеку, столь привлекательному и благородному, что она или будет его женою, или пойдет в монастырь. Уже несколькими женихам было отказано; Эльмина была непреклонна. Наконец убедительный пример одной родственницы, которая, не успевши сделаться маркизою, потеряла навсегда спокойствие и увидела все свое имение на туалетах танцовщиц и на груди оперных певиц, смягчил ее родителей. Шевро получил позволение посещать их дом, наконец согласились принять его в свое семейство. Тут любовники, в минуту блаженнейшего соединения, испытанные горестию и терпением, почувствовали, что значит несчастье, и к каким чистым радостям иногда оно готовится.

Эльмина скоро должна была сделаться матерью. Воображение Шевро единственно устремлялось на ту неизъяснимо сладостную минуту, в которую блаженство его увеличится обладанием младенца. Наконец наступила сия минута, с такою радостию, с таким нетерпением ожиданная: Эльмина дала жизнь прекрасному сыну.

Радость отца была несказанна, но то была важная, задумчивая радость чувствительного человека, который, в минуту своего блаженства, ощущал всю великость должностей, ему принадлежавших, и в глубине души произносил обет всегда почитать их священными. Эльмина счастливо разрешилась от бремени, но вскоре, после многих припадков, ей приключилась опасная болезнь, которая наконец сделалась смертельною. Шевро не отходил от постели; он был свидетелем ее неописанных страданий; видел, как юность, едва расцветшая, боролась с могуществом смерти, и как наконец истощенная натура уступила. Эльмина в последний раз с унылою, трогательною улыбкою устремила глаза на своего супруга, в последний, ослабевшею рукою, со смертною конвульсиею прижала руку его к своему сердцу и томным голосом, с последним вздохом жизни, сказала: «Шевро, не забудь любви моей!».

Никакое завещание умирающего друга не исполнялось так свято; Шевро с спокойнейшим равнодушием приготовил все для погребения своей Эльмины. Он смотрел на ее тело и не плакал: остался один — мрачный, неподвижный — и укорял себя в нечувствительности; на другой день после погребения попадает ему нечаянно на глаза ожерелье Эльмины, подарок супруге в день ее рождения: тут пробудилось его сердце; он упал на землю и залился слезами. Вид младенца, милой причины ее смерти, всякий день растравлял его раны и, несмотря на то, был единственным утolenием его скорби. Уже на ясном лице невинности изображалась вся приятность, вся трогательная чувствительность Эльмины; с каждым днем сие сходство увеличивалось. Шевро не мог смотреть на своего сына без скорбного и вместе сладостного содрогания; в меланхолических взорах его изображалось какое-то горестное, мучительное наслаждение; смотря на него, он вспоминал о протекшем, о часах прежнего счастья, чистого, незабвенного и, увы, невозвратимого; он любил своего сына с некоторою страстию: в сей любви соединены были все его радости, все прошедшие и все настоящие.

В несколько лет Луи сделался милым, прелестным мальчиком, предметом зависти матерей безансонских. Красота младенца одушевлялась веселостию, живо напечатленною на цветущем лице его. Шевро устремлял все усилия на образование своего сына: он наслаждался так, как немногие отцы наслаждаются, следуя за ним с одной степени совершенства на другую. Луи начинал уже свободнее объяснять все маленькие идеи, все милые чувства невинной души своей; уже обнаруживались в нем все признаки ясного, высокого ума и сердца, способного ко всему возвышенному и благородному; но вдруг, зараженный оспою, после ужасного и тяжелого борения с болезнью, он умирает на руках отца своего. Шевро, свидетель страдания Эльмины, был свидетелем и страданий невинного младенца; видел его, поднимающего руки, слышал трогательный голос, молящий о помощи, которой он подать был не в силах, наконец, увидел его хладного и неподвижного. Сей последний удар, сильнейший первого, растворил все прежние раны сердца; все прежние страдания возобновились с новою, неописанною силою. Потеряв два существа, драгоценнейшие для души своей, он потерял с ними привязанность ко всему земному, привязанность и к друзьям, и к самому себе. Несчастный, не имеющий вне себя ничего любезного, наконец, и от самого себя отвращается. Весь пламень его души, прежде устремленный на Эльмину и Луи, на сии священные предметы любви чистой и бескорыстной, должен был сокрыться во глубину ее и там истощаться бесплодно: ужасные мысли, которыми оскорбленное человечество мстит Провидению, когда почитает его неправым, оста-

лись единственной пищею сей души, раздраженной мучением. Погруженный в такое безмолвное и угрюмое уныние, он мог еще своим воображением преобразить всю окружающую его природу в обитель ужаса и бедствия. Посреди мира Божия остался он с таким сердцем, с каким друг человечества обитает в земле, деспотом угнетаемой.

Единственный голос, иногда доходивший до его сердца, был голос Мервиля. Старик скоро из речей Шевро узнал весь ужас его положения: он щадил его, и в разговорах своих не смел напоминать о той потере, которая так страшно омрачила судьбу сего несчастливца. Иногда старался он оживлять его увядшую чувствительность, обращая ее на тот или на другой предмет и надеясь произвести в его сердце какое-нибудь спасительное потрясение. Наконец, видя, что Шевро становится час от часу мрачнее и угрюмее, заключил, что самая дружба запрещала щадить его: тогда решился он очистить и исцелить раны своего друга прежде, нежели яд их мог вкратиться во внутренние сосуды жизни и уничтожить самую возможность исцеления. Скоро представился случай исполнить сие благодетельное намерение. Шевро, более из вежливости, нежели по внушению сердца, и желая заплатить Мервилю за его частые посещения, назвался приехать к нему в деревню.

— Душа ваша расстроена, — сказал старик, положив с нежным участием обе руки на плечи своего друга, — и вы дурно делаете, любезный Шевро, что совершенно в самого себя углубляетесь; позвольте другу увидеть ваше сердце; и если моя постоянная к вам привязанность дает мне некоторое право на вашу любовь, то не скрывайте от меня причины сего беспрестанного, угрюмого уныния! Вы так часто называли меня своим отцом!.. И я жил в свете, и я был счастлив!

— Право — сказал Шевро с видом человека, в котором собственное несчастье уничтожило всю способность чувствовать чужие горести.

— Я имел жену и детей и потерял их: сердце мое все испытало, что только человеческому сердцу испытать возможно. Я знаю, каково разрушить вдруг все сладостные связи, уничтожить все милые надежды сердца, и несмотря на то, Шевро... несмотря на то, были еще ужаснейшие минуты в моей жизни, минуты, в которые друзья мои, существа, обладавшие моим сердцем, явились предо мною в виде предателей. Тогда отчаялся я в человеческой натуре, тогда усомнился в бытии добродетели. Живучи посреди людей, я почитал себя в кругу беснующихся или злодеев, и только вы, любезный Шевро, и только подобные вам, можете понять, сколь бедственно было мое состояние. О мой друг, о, если б по собственному чувству могли вы знать сие ужасное состояние!

— Что ж, если мне известно ужаснейшее? От общества человек можно бежать; есть пещеры и степи, но, Мервиль...

Он замолчал, и с глубоким вздохом устремил глаза на небо.

— Но, Шевро! Зачем говорить о том, о чем и мыслить уже страшное бедствие!

Он опять на минуту умолк; наконец с глубоким душевным прискорбием и с видимым трепетанием всех членов произнес: «Куда и как бежать от Бога?». Он вскочил с места и пошел стремительно в сад, желая избавить себя от такого разговора, который слишком был для него мучителен. Мервиль за ним последовал.

— Ты в руках моих, Шевро, ты непременно должен мне открыться. Мой друг, говори со мною, как бы говорил с собственной мыслию! Ты недоволен Творцом своим!

— Ужасно, если это правда, Мервиль!

— И еще было бы ужаснее, когда бы ты имел право! Но, Шевро, — прибавил он твердым, решительным голосом, устремив на него блистающие взоры, — нет, ты не имеешь права; ты не можешь иметь его. Недовольный Творцом, недоволен и всем, что превосходно и совершенно: сущая невозможность для души, способной мыслить! Пойми себя, мой друг; ты недоволен своим *понятием* о Творце. Смотри же, как много выигрываешь от сего единственного объяснения. Когда бы причина заключена была в самом *Боге*, Существо бесконечно тебя превышающем, бесконечно могущем, тогда какое прибежище могло бы для тебя остаться, для тебя, не властного переменить законов мира, не властного воспротивиться тому потоку, который неодолимо тебя увлекает своим стремлением? Когда же причина заключена в одном только понятии твоём о Боге, тогда, Шевро, тогда осталась еще надежда. Мой друг, уничтожим сие ложное понятие и вместо обманчивой точки зрения поспешим открыть настоящую и верную.

Они приблизились к крутому скату возвышения, на котором стоял Мервилев дом; перед ними простиралась обширная долина, усеянная деревьями, рощами, зелеными холмами. Старик посадил своего друга на дерновую скамью, под сень густого каштанового дерева; простер руку на восхитительно прелестную окрестность, на поля, обогащенные жатвами, на пажити, оживленные стадами, на пригорки, украшенные виноградом, и с выражением убежденного человека сказал:

— Обвиняйте Провидение; я буду его оправдывать.

— Как, Мервиль, насекомому восставать против Всемогущего? Созданию одной минуты против Вечного возмущаться? О нет, позвольте не обожать и безмолвствовать. Бог там, где я говорю...

— И там, где ты мыслишь, Шевро!

— И для чего же мне говорить, Мервиль? Беретесь ли объяснить все сомнения ума моего? Усмирите ли все буйные чувства моего сердца?



— Все, мой друг! Нет, я стою на краю гроба, и, может быть, последних минут, оставленных мне Провидением, будет слишком мало, может быть, уже не успею убедить тебя. Никогда остроумие человека не бывало так изобретательно и язык его так красноречив, как в минуты, когда он дерзал судить своего Бога; но если какая-нибудь чрезмерная скорбь, какое-нибудь мучительное сомнение тебя угнетают...

— Хорошо, Мервиль, вы принуждаете меня обнаружить пред вами мое сердце; хорошо, я буду говорить. Поверьте, не утрата моих любезнейших делает меня теперь несчастным; их уже нет, и я победил свою горесть, но взоры мои, отворотившись от их гроба, устремились на человечество и природу. О друг мой, человек для собственного спокойствия должен не мыслить, а только обманывать себя мечтаниями его спокойствия в незнании бедности житейской... Иду во след за каждым бытием, за каждую силою, действующею в природе — они исчезают в разрушении. Прислушиваюсь к восклицаниям и песням радости — они обращаются в стенания печали. Рассматриваю лицо, оживленное улыбкою блаженства и блеском наслаждения — через минуту оно обезображено конвульсиями смерти. Все, все в природе лежит на разрушении, гибели, ничтожестве. Ангел жизни насаждает бытие единственно для того, чтобы ангел смерти, за ним летящий, всегда имел готовую жертву. Надежды на счастье, которое всегда сокрыто в глубине отдаленного, украшают жизнь единственно для того, чтобы минута ужасного содрогания смерти казалась для нас еще ужаснейшею, и если посмотрю на всю сию пучину страдания, на всех издыхающих на одре кончины, в минуту мучительного уничтожения, на всех оставленных и осиротевших; если всякой глыбе земли, попираемой ногою моею, могу сказать: ты могила миллионов, которые терзались, обнимали с трепетанием драгоценную жизнь и, отторгнутые от нее, погибли; если к каждой пылинке, у ног моих лежащей, говорить могу: и ты была чувствительною нервою, и ты содрогнулась в минуту разрушения; если должен обитать в природе, как в страшном и необъятном хранилище трупов, костей и праха, тогда могу ли внять голосу моего друга, могу ли думать о счастье, могу ли радоваться и улыбаться? Нет, все мои благодарнейшие и возвышеннейшие понятия уничтожены: во мне уже нет оной всеоживляющей мысли о бесконечном милосердии; ничего, ничего не осталось в душе моей, кроме грозного понятия о всемогуществе. Мервиль, вы указали на сии прекрасные цветущие долины, как будто бы одно их зрелище могло быть довольно убедительным; но, Мервиль, и сия красота, и сия жизнь, которою здесь все дышит и все так полно, они возникли из разрушения и опять должны исчезнуть в разрушении. Нет, нет, самая возможность счастья для меня погибла: натура потеряла свое очарование в глазах моих.

— О, как ты несчастлив, друг мой! Но для чего же прежде сия самая натура, которую теперь находишь пустынною и мертвою, приводила тебя в восхищение? Шевро, вспомни о том прекрасном тихом вечере, когда на самом этом месте сидел ты подле Эльмины; вспомни, как все тогда казалось тебе исполненным жизни и великолепия; как далека была душа твоя от мрачной идеи о смерти, от горестного помышления о ничтожности!

— Я не забыл о нем, Мервиль; то были часы моего счастья, сии толь скоро промчавшиеся часы моего счастья! Воображение, одушевленное радостью... о, как быстро преобразует оно и самую пустыню в сад Эдемский!

— Право? Ты считаешь это возможным для воображения?.. Итак ему возможно еще более; волшебство его нередко из самого сада Эдемского творит ужасную пустыню! Такому ли путеводцу захочешь последовать, путеводцу, который сам прежде повинуется направлению чувства и потом собственным полетом далеко отклоняется от пути истины? Ограничь рассудком сию беспорядочную силу воображения; пускай за сими пристрастными взглядами последует новый беспристрастный взгляд на творение: тогда сладостный мир снова поселится в душе твоей, мрачная твоя горесть обратится в тихое уныние, и борьба со враждебною судьбою в спокойную покорность Всемилосердному. Ужели не признаю, что в природе есть горе? Скажу ли, что образ смерти не ужасен? Нет, я противоречил бы тогда собственному непобедимому уверению. Я чувствую, как и другой, что жребий мой кончина; ужасы смерти не пощадят меня, как и самой ангел смерти; ах, может быть, и то, что робкий слабый старик встречает их с сильнейшим содроганием, нежели юноша. Но ты, Шевро, ужели не согласишься, что жизнь имеет радости? Ужели ты, обладавший некогда Эльминою, и теперь неблагодарный против Того, Кто наградил тебя сим благом, ужели осмелишься не признать их, ужели отречешься от сих возвышенных радостей, которые даны тебе вместе с жизнью?

— Нет, Мервиль, я не отрекись от них.

— Итак, наша жизнь имеет свои радости?

— Непостоянные, мечтательные!

— Какая несправедливость, Шевро! А наши горести разве прочнее и существеннее? Ужели слезы восхищения, которые блистали в глазах твоих в то время, когда, на самом этом месте, сидел ты подле Эльмины и был так счастлив, мечтательнее сих горьких слез, которые теперь из тех же самых глаз излиться готовы? И сии самые слезы ужели не могут скоро иссякнуть? Друг мой, бытие наше *имеет* радости существенные, разнообразные: на это не может быть возражения; остается решить

вопрос: стоит ли радость горестей, и жизнь смерти? Если ты сомневаешься...

— И могу ли не сомневаться, Мервиль? Вся бедность человека, перед глазами моими беспредельная, неописанно разнообразная. Но радости человека? О, сколь они малочисленны, и сии малочисленные сколь несовершенны и ничтожны!

— Так думает несчастливец в минуту скорби и ропота. Шевро, есть тысячи, которые в жизни своей были стократ блаженнее тебя — я мог бы на них указать, но я хочу говорить о *твоей* жизни. Итак, мой друг, ты думаешь, что радостей было для тебя слишком мало?

— Я в этом уверен.

— Ах нет, Шевро, ты в заблуждении!

— То есть мои чувства приводят меня в заблуждение, но кто же, кроме чувств, может быть правосудным судьей и счастья и несчастья, и скорби и удовольствия?..

— Но самое сие чувство...

— О, оно во глубине моего сердца, и никакие убеждения рассудка не извлекают его оттуда.

— Я и не думал о убеждениях рассудка. Всякое чувство, без сомнения, должно быть собственным своим судьей, но будущее и протекшее суду его не подвержены. Любезный Шевро, густое облако распространило ужасную тень на всю твою жизнь, тень, которою все обезображено и все омрачается. Глядишь ли на протекшее: оно для тебя мертво! Какое воспоминание своим совершенством, своею силою и полнотою может сравниться с тягостным ощущением настоящих страданий? А будущее, что для тебя будущее? Точка настоящего, на целую жизнь распространенная. Ты придаешь бесконечность своей печали, думая, что вечная потеря должна иметь и следствия вечные: при таком несчастном состоянии сердца, когда всякое бедствие, тебя постигшее, столь мрачным, столь грозным и непобедимым тебе представляется; когда прелестные призраки утраченных радостей блистают так редко и тускло, подобно немногим звездам, посреди туманного неба мелькающим, как можешь ты полагаться на приговор своего чувства? Способен ли свесить горесть и радость и самую смерть признать достойною ценою жизни? О Шевро, если бы не боялся я нанести чрезмерно чувствительной раны твоему сердцу...

— Моему сердцу чувствительной раны!

— Хорошо, мой друг, слушай: я желал бы сказать тебе голосом Всемогущего: «Шевро, мой приговор уничтожен, да будет жизнь твоя подобна жизни других людей! Возвращаю тебе Эльмину; она перед тобою, и на руках ее тот младенец, которого бытие было причиною

ее смерти!» И когда бы с живым восторгом ты устремился в ее объятия, когда бы с неизреченным наслаждением отца прижал к сердцу своего сына, тогда, по усмирении первого бурного чувства, при первой спокойнейшей улыбке я взял бы тебя за руку и сказал: «Шевро, чего более в природе, удовольствия или печали?». О, каким бы восхитительным блеском тогда озарилось для тебя протекшее; в какой бы легкий, едва приметный туман обратились сии облака, толь грозным сумраком покрывающие твою участь! Но в чем бы произошла тогда перемена, в самой ли твоей жизни или только в твоих понятиях о жизни? Прошедшее не осталось ли бы таким же точно, каким оно было прежде, а будущее также неизвестным и непроницаемым для очей смертного? Шевро, сказал бы я еще, сие чувство блаженства достойно ли быть куплено ценою страдания? И сколь бы ничтожным тогда представилось глазам твоим страдание; сколь быстро поднялась бы вверх его чаша, которую оно теперь своею тяжестью к земле приклоняет! Извини, мой друг, если словами своими усиливаю твою горесть. По несчастью, я не имею сего всемогущего гласа; но ты, Шевро, ты можешь испытать могущество рассудка. Остановись на минуте настоящей и раздели свою жизнь! Твое будущее не может остаться таким, как теперешняя твоя горесть его изображает... Но всякую радость, но всякое счастье, возможные для ума моего, ты примешь теперь за нарушение любви супружеской и родительской. Итак, смотри на одно прошедшее, старайся быть непристрастным в своем приговоре, испытай, чего более ты имел в жизни: удовольствия или печали!

— Какой разговор, Мервиль! О, сколь противно моей душе то, что должен вам сказать в ответ! Я гнушаюсь неблагодарностию и теперь могу ли сам сделаться неблагодарным? Могу ли даже иметь наружность неблагодарного? Нет, мой друг, нет, скажу, что были радости в моей жизни.

— Скажешь, не будучи в это уверен?

— Скажу, потому что в этом уверен. О, тот самый Творец, который одарил меня сею жизнью, тот самый благословил меня и многим радостями. Видите, Мервиль, как я охотно с вами соглашаюсь!

— И должен согласиться! В противном случае, не имевши радостей, мог ли бы ты, Шевро, так унывать об их утрате и мог ли бы предаваться такой чрезмерной печали, когда бы самые сии радости были ничтожны? Ты хочешь судить о своей жизни, мой друг, но по каким понятиям будешь судить о ней? По счастью и несчастью; по слезам и улыбкам; по надеждам, исполненным и разрушенным; по всему мечтательному и существенному?

— Как же иначе?

— Скажи лучше, как несправедливее? От чего мы так часто бываем неправыми обвинителями своего Создателя? От того, что наши понятия, слабые и ничтожные, всегда полагают такие границы, каких не может быть в натуре. Мы любим разделять и отделять, когда в самой вещи все смешано и неразделимо. Нередко горесть бывает не горесть, а наслаждение. Ужас имеет свой сладостный трепет; несчастье приятно в воспоминании; чувство слабости приводит друга в объятия друга; унылость располагает сердце ко всякому нежному, следовательно, сладкому ощущению; нужда производит в нас доверенность к нашей силе и нашему достоинству. Так, друг мой, так судя о жизни... Но могу ли сего требовать от тебя, обремененного печалью! Выслушай меня, Шевро, меня, который был несчастлив, который сам, подобно тебе, всего лишился, который, как и ты, имел душу, одаренную сильными чувствами! Уже волнение страстей усмирилось в моем сердце. Ничто более не может меня сделать пристрастным к небу, ни радость, ни скорбь чрезмерная! Состояние моего духа есть спокойствие; с сим вожделенным спокойствием обращаю назад свои взоры, смотрю на протекшее и благодарю моего Создателя: там ясные минуты многочисленнее мрачных; добра несравненно более, нежели зла. В таком же виде представляется мне и жизнь миллионов, в таком же виде и бытие зверя, и бытие насекомого, ибо и они вышли из рук того же Бога, который и меня вызвал из ничтожества; и наконец, Шевро, как благодарить тебя за усовершенствование моего блаженства? Как благодарить за то восхитительное сияние, которым ты озарил окрест меня природу? Итак, каждая глыба земли, которую нога твоя попирает, есть могила миллионов? О мысль животворящая! Сии миллионы были здесь, наслаждались бытием, ощущали себя блаженными; каждая пылинка, лежащая у ног твоих, была чувствительною нервою! Мечта неизъяснимо сладкая! Сия нерва чаще содрогалась от наслаждения, нежели от скорби! Но спрашиваю, для чего же сия радость не бесконечна, для чего находим в природе смерть?

— Предвижу ваш ответ, Мервиль! Когда есть жизнь, скажете вы...

— Так, конечно, тогда и смерть необходима. Смерть есть условие жизни, смерть, истекающая всеми своими ужасами, со всем своим мучением из той же самой природы, из которой и радости наши истекают. Теперь захочешь ли спросить, Шевро, для чего есть *жизнь* в природе?

— Могу спросить, для чего *сия* жизнь, для чего сия слабая, скоро преходящая, таким многообразным страданиям подверженная натура, а не другая, совершеннейшая, досталась в удел человеку?

— Что ж мне отвечать на такой вопрос? Представить ли глазам твоим чертеж сознания? Указать ли на сию неразрывную цепь, в кото-



рой все кольца, так плотно между собою соединенные, одно без другого существовать не могут? Нет, Шевро, такое рассматривание завело бы нас слишком далеко во мрачность, слишком священную и непроницаемую. Лучше отвечай мне! Ты желаешь радости, ты требуешь счастья?

— Конечно, по праву всех, имеющих ум и чувство.

— Какого же счастья, Шевро, известного тебе или неизвестного, постигаемого твоим понятием или непостигаемого?

— Без сомнения, постигаемого!

— Смотри же, какое противоречие в твоих желаниях, и как противоречит себе тот, кто смеет судиться с Богом! Мы требуем *своих* радостей, собственных своих радостей, соединенных с собственной нашею натурою, по сему собственному нашему чувству нам известных, и притом отвергаем ту самую природу, с которою наши радости необходимо соединяются. Не должны ли мы устыдиться, Шевро, испытав все безумство тех обвинений, по которым Творца пред судилище свое призываем? Ни слова больше о твоём возражении; оно слишком неосновательно и ничтожно... Итак, человеческая жизнь имеет свои радости, которых большую часть неблагодарность наша забывает при расчете. Природа, из которой они истекают в таком изобилии, неразлучно соединяется со смертию; один безумец в своём ропоте назовет Провидение неправым за то, что оно даровало нам сию, а не другую природу, что человека сотворило человеком, а не бессмертным ангелом. Смертные муки — о, как мог я столь долго отдаляться от сей великой идеи! — смертные муки улаждаются взглядом на лучшую жизнь, надеждою на бессмертие<sup>3</sup>, в котором все уверяет человека: и рассматривание природы, и сладкая вера в её Создателя; и если все, мой друг, в Божием мире таково, каково оно быть должно, то может ли мой рассудок восстать против Неба и может ли в начертании человеческой жизни находить одни следы враждебной силы, а не признаки милосердия, вечно действующего, все сохраняющего? Всегда, Шевро, всегда человеческая бессмысленность обретает в смерти одно *простое* зло, тогда как она есть зло *необходимое*; скажу более, назову смерть источником добра, источником благ, которые без нее не могли иметь начала!

— Смерть — источник благ?

— Конечно, и смерть, и всякое зло в природе. Посмотри, Шевро, на горизонте за отдаленными холмами собирается ужасная грозовая туча: там гибель и жизнь таятся в одном и том же недре; там благость и разрушение в едином мраке скрываются! И в смерти, оном ужаснейшем зле, не то же ли видит беспристрастное око?

— Но мрачное небо и пыль, которая столбом подымается на долине, предвещают близость грозы. Возвратимся домой! Там, слыша удары

грома, при смешанном шуме дождя и ветров, будем продолжать свои рассуждения о смерти; будем говорить о Боге, который и в бурях, и в громах так же достоин обожания, как и в прохладном дыхании утреннего ветерка, когда светозарное солнце над пламенными холмами востока является.

### РАЗГОВОР ВТОРОЙ

Не успели Мервиль и Шевро возвратиться домой, как небо со всех сторон обложилось мраком и страшные молнии заблестали. Шевро, в сильном волнении, которого мирная и веселая природа не могла произвести в его сердце, неподвижный, безмолвный, стоял перед окном и с тайною сладостию смотрел на грозную мрачность, на бурю, которая старые деревья исторгала с корнями, а гибкий кустарник к земле преклоняла. Между тем Мервиль спокойно прохаживался взад и вперед по горнице. Он думал о новых доказательствах, которыми хотел, в глазах Шевро, оправдать Провидение.

— Как счастлива Эльмина, — сказал он наконец, — какое множество беспокойств, больших и малых, уничтожились для нее в минуту смерти! Сии тучи гремят над головою ее, но она их не видит и не страшится. Вспомни, Шевро, как дорого заплатила она за первое посещение моего дома, какая ужасная гроза тогда свирепствовала, как неподвижно лежали сгустившиеся тучи над горами и какие страшные, необыкновенно сильные удары грома из них исторгались!

— Помню, Мервиль! Моя Эльмина за всякую радость платила дорогою ценою. Она радовалась и рождению сына...

Образ ее мучительной смерти представился воображению Шевро, и лицо его изменилось от внутренней скорби.

— Тем вожделеннее для нее спокойствие! Разве Провидение сотворило нас для одного сего мира? И как узнать, Шевро, может быть, страдания здешней жизни должны усилить и возвысить наслаждения будущей! Я, кажется, вижу перед собою Эльмину; при всяком страшном ударе грома колена ее подгибаются; при всяком сильном блистании молнии глаза ее, исполненные слез, поднимаются к небу, как будто желая умилостивить Бога, которого всегда в оных величественных явлениях природы изображают младенчеству грозным и разъяренным. И теперь помню, как она, по усмирении грома, вздохнув из глубины сердца, сказала: «Завидую жителям севера; им неизвестны такие ужасные грозы. Как бы желала я, вместе с моим Шевро, переселиться на берега Лапландии; там, конечно, была бы спокойнее духом!». Не правда ли, Шевро, что ты отвечал на это желание улыбкою сожаления? Но помнишь ли еще, как приняла твою улыбку Эльмина?

— Она потупила глаза в землю, и щеки ее покрылись легким румянцем. О, ее рассудок был так же быстр и пронизателен, как чувство нежно и тонко!

— Два качества, всегда неразлучные. Но разберем сие сокровенное чувство, от которого произошло смущение Эльмины: мы долее займемся трогательным о ней воспоминанием. «Чего ты желаешь, Эльмина? — так, думаю, говорила она сама с собою, — или ты не помыслила, какого множества преимуществ надлежало бы тебе лишиться для избежания сего единственного, ничтожного беспокойства! Переселись воображением в сей климат; конечно, там грозные тучи не помрачают и сильные громы не зыблют неба, но там не цветут мирные рощи; пение соловья не слышно под мрачными сеньями леса; жатва не озлащает полей; виноград не зреет на холмах; песнь жнеца и пастуший рог не веселят слуха; цветы не разливают сладкого запаха, и спелый плод не обещает удовольствия вкусу; мертвою, бесплодною, пустынною, вечным унынием помраченною является там природа. И ты, чувствительная душою, ты, которую всякая красота, всякое благодаяние в творении трогают и возбуждают к живейшей благодарности, ты хочешь томиться в ужасных пустынях; хочешь заключить себя в темницу! Для чего же? Для того, чтобы изредка не слышать звуков, необыкновенно сильных, чтобы иногда не содрогаться от блеска, необыкновенно яркого! Еще более: ты хочешь отказаться от всего, что драгоценно твоему сердцу, от всего, что возвышает твою душу. Посмотри на сии низкие, мрачные хижины, посмотри на грубое, невыразительное лицо их обитателя, найди в чертах его сию неодошвенность и бесчувственность, неразрывно соединенные с сумрачным его небом, помысли, что сии несчастные, гнетомые чрезмерною, непобедимую бедностию, должны навсегда отказаться от того возвышенного образования, из которого твои драгоценнейшие, твои сладчайшие радости истекают!.. Эльмина, и ты хочешь потерять их навеки, ты хочешь утратить все наслаждение фантазии, все очаровательные произведения искусства, все неоцененные познания, возвышающие твой рассудок, все восхитительные чувства, совершенствующие твое сердце, хочешь все утратить единственно для того, чтобы в некоторые минуты не быть оглушенною громом или ослепленною блеском, мгновенно исчезающим! Устыдись бессмысленности твоих желаний! Скорее на первом корабле переплыви море и возвратись в Эдем, тобою оставленный, в страну грома и бури, но вместе и благословения и устройства!»

— Мервиль, вы слишком распространяете такую мысль, которая не внимания, а улыбки одной достойна. Минутный страх произвел ее, и минутное размышление уничтожило.

— Следовательно, Шевро, и твоя мысль достойна одной улыбки?

— Моя мысль, какая?

— Что смерть не должна существовать в природе. Шевро, такое желание ужасно и разрушительно, ужаснее и разрушительнее желания твоей Эльмины!

— Разрушительнее тогда, когда оно противоречит разрушению?

— Потому-то и разрушительно! Им осуждаешь ты все живущее на вечное изгнание; им переселяешь все человечество в страну мрачную, хладную, лишенную прелестей, умерщвляющую наслаждение!

— Я, Мервиль?

— Страну, перед которой сии снежные бесплодные равнины севера показались бы цветущими и благословенными!

— Я вас не понимаю.

— Там, по крайней мере, встречаются признаки жизни, но в твоём новом, ужасном творении...

— Ужасном, Мервиль?

— Так, конечно, Шевро! Каждое исправление мироздания было бы ужасно, когда бы, к нашему счастью, в то же время не было и невозможным! Но воображение постигает ли сию невозможность, понятную для одного рассудка? Играя одним наружным видом вещей и не заботясь о тайном, неразрушимом их сцеплении, оно разделяет и совокупляет, зиждет новые миры на удачу, хотя удача не согласна с его созданиями, и потом безобразное, нетвердое, ничтожное произведение своего могущества сличает, как нечто превосходнейшее и совершеннейшее, с творением бесконечно премудрым, где все от всего истекает, где все утверждено на основаниях незыблемых, где все неразделимо одно с другим соплетается. В отдаленнейшую страну севера переносит оно все выгоды умеренного климата; быть может, представляет большую степень холода, большую продолжительность зимы, но забывает о потере всех прелестей весенних, всех благотворениях осени, забывает о тех неисчислимых благах, которые истекают от высшего, благороднейшего образования. Так заблуждалось воображение Эльмины! Но, Шевро, что сказать о твоём воображении? Конечно, и оно оставляет человеческую натуру не разрушенною, драгоценнейшие, сладчайшие связи общества не расторгнутыми и все возвышеннейшие, все животворные радости бытия не уменьшенными, но оно забывает, что первые не могут прийти в совокупление, а последние не могут родиться и расцвести, когда изженется из области природы смерть, их существенное условие, первый, величайший благотворитель жизни!

— Смерть?

— Да, мой друг, смерть, смерть, благотворительница всего человеческого рода и твоя, отлично перед многими!

— И моя, Мервиль?

— И твоя, Шевро, в лице твоих добродетельных родителей, в твоей нежной супруге, в твоём незабвенном сыне?

— Презирайте же меня: я нечувствительный, я неблагодарный!.. Но простите, забываюсь; я ношу сии благодеяния в своём сердце.

— Нет, Шевро, никогда не примет их человеческое сердце. Благодеяния такого рода могут быть постигнуты одним рассудком; для чувств они непостижимы!

— Рассудком? Объяснитесь!

— Созидаю мир, в котором нет смерти, и в мире сем водворяю человека... Человека, сказал я? Но имею ли ещё человека? Кто он, и каким представляет его мое воображение? Он ни младенец, ни отрок, ни юноша, ни муж, ни старец; ни того, ни другого пола; не имеет ни сего тела, ни сих душевных сил, ни сих движений сердца, он, привидение, воздушный, неосязаемый образ, нечто несуществующее, безобразное создание фантазии! Но так и быть, и мое воображение может предаваться химерам, и мое воображение в самом призраке может находить существенность; словом, предполагаю возможным бытие сего человека; но даровать ему *одно* бытие недостойно создателя: мой труд может почтяться несовершенным! С бытием надлежит даровать и удовольствие и радость: какими же наделю моего человека? Он может возненавидеть Творца своего; он может в справедливом роптании добровольно, хотя напрасно, призывать смерть, да уничтожит его навеки! Мои собственные радости, самые те, которые меня привязывают к жизни, не могут быть для него ощутительны. Смотрю на протекшее время моей жизни: какие наслаждения обретал я в привязанности к моему доброму отцу, к моей попечительной матери; как быстро текла моя юность, украшенная любовью моих братьев и моей сестры! Как сладостно для меня воспоминание тех вечеров, которые проводил я с ними в разговорах о нашем младенчестве, о наших ребяческих удовольствиях, в которые прошедшее, со всем своим очарованием, опять оживлялось в нашем сердце! Но человек, создание моего воображения, горе ему! Он один в обширном мире; драгоценные имена брата, сына не потрясают его сердца; священнейшие узы природы для него не существуют! А любовь, что значит для него любовь! Я, будучи юношею, супругом, отцом, какое блаженство находил в улыбке моей невесты, в непритворной привязанности моей супруги, в невинных ласках моего младенца! Я потерял и давно оплакал любезных моему сердцу, но самое неизгладимое о них воспоминание не есть ли уже радость? И я, старик, сему священному



воспоминанию не предпочту никаких сокровищ мира. Посмотри же на человека бессмертного, всегда существующего: он и здесь не иное что, как странник бедный, оставленный, безродный. Где его любезная, где супруга, которой любовь проливает отраду в его душу? Где сын, где дочь, которых он может прижать к своему сердцу с восхищением родителя? Он отшельник, задумчивый и угрюмый; он грубый, нечувствительный дикарь... Шевро, неужели потребуешь доказательства?

— Понимаю вас, Мервиль, вы опасаетесь чрезмерного наполнения земли.

— И могу ли не опасаться?

— В вашем мире, единожды навсегда населенном, нет зачатия; число ваших тварей всегда одинаково, без убыли и приращения!

— И может ли это быть иначе? Конечно, человеческая натура должна разрушиться; натура вещей, окружающих человека, будет уничтожена! Но покажите мне лучшее средство!

— Я, Мервиль? Разве я творец? Могу ли начертать новый, совершеннейший план создания? Могу ли сотворить другую вселенную?

— Но ты человек, и можешь возможности отличать от невозможностей! Отвечай мне, Шевро: в сем новом, мечтательном мире твоём должны ли остаться преимущества прежнего, существенного; должны ли сохраниться сии драгоценные, сладостные узы, которые некогда соединяли тебя с Эльминою, с Луи, со всеми обладавшими твоим сердцем? Или, может быть, ты мыслишь так же, как мыслила Эльмина, когда хотела укрыться от грома и в то же время быть неразлучною с своим супругом? Скажи, должны ли сии связи лучше не существовать вечно, нежели быть подверженными разрушению?

— О Мервиль!

— Итак, если они существуют, то и конечность их необходима: в сей самой конечности заключается их источник!

— Но так безвременно как жестоко, как страшно быть разрушенными!

— Нет, Шевро, когда натура не встречает препоны своим действиям, тогда и связи сии разрушаются медленно, мало-помалу, неприметно. Дряхлая старость и нечувствительное прекращение — вот существенные условия человеческой жизни! Тысяча тысяч причин могут уничтожить сии условия, в отдаленнейших прародителях наших уничтожить, и тем самым открыть дорогу к новым жалобам; но и сии самые причины принадлежат к порядку природы. Уничтожь их мысленно, и ты увидишь, какие следствия произведет сие уничтожение, может быть, столь же пагубные и печальные, как и самое уничтожение смерти. Но, Шевро, возвратимся к твоей первоначальной мысли: ты отвергаешь

смерть, не раннюю, безвременную, ужасную, но смерть вообще, прекращение жизни. Шевро, на высоте *общего*, на которую я теперь возведен самим тобою, царствует свет; во глубине *особенного* сумрак; в пропасти *единственного* грозная мрачность. Здесь душа исчезает в ужасном множестве погибшего, в бесконечной разнообразности погубления. Одно совершенство, одна благодетельность и необходимость общих законов объясняют несколько наши испытующие взоры. С законом смерти, мы уверились, соединяется закон начатия; на непрерывном, всегдашнем уменьшении тварей основана возможность их непрерывного, всегдашнего размножения; и вот почему смерть, как я наименовал ее прежде, есть первый, величайший благодетель жизни. Одна она производит любовь, сей обильный источник чистейших наслаждений, сей обильный источник благороднейших преимуществ человека; одна она производит сии частные, драгоценные связи семейственного круга и сию обширную целостность круга общественного, в котором все отдельные связи в единый узел совокупаются; наконец ей одной благодаря за все сии преимущества ума и сердца, которые возносят нас выше грубого, уединенного дикаря; за сию образованность и благородство, истекающие из общежития, за просвещения, за науки, искусства; за все сии мирные, животворные добродетели, озаряющие человеческую душу. Теперь, Шевро, признай оные ужасные следствия, которые могло бы иметь изменение природы, когда бы всевидящий Промысл не возбранил его человеку; признай безрассудность и слепоту нашего высокомерия, которое дерзает ограниченные, ничтожные замыслы человека ставить наряду с чудесною премудростию Создателя. Мы хотим быть творцами и являемся ужасными разрушителями; хотим сохранить бытие наших любезных и похищаем у него все достойное сохранения; вооружаемся таким бешенством, каким никогда самая ненависть не вооружалась, и преследуем бытие в самых главнейших его началах, в оном великом, неизменяемом законе, на котором самая жизнь наша основана, в котором и каждая радость нашей жизни почерпается. Ни слова о бесчисленном множестве противоречий, представляющихся моему взору. Отвечай мне, Шевро: не должны ли мы краснеть вместе с Эльминою, не должны ли скорее возвратиться в тот прекрасный Эдем, который оставили так безрассудно, и наконец не должны ли перенести минутных ужасов грозы для оных бесчисленных, высоких радостей, которыми наш Эдем украшается?

Шевро, не отвечая ни слова, устремил глаза в землю; рассудок его, казалось, был убежден, но лицо сохранило свою унылость и мрачность. Мервиль почувствовал, что лекарство, им употребленное, не могло быть действительным; что горестное сердце не силою мыслей,

а силою впечатлений, не доказательствами, а чувствами исцеляется, и решился употребить другое вернейшее средство для развлечения своего меланхолического друга. Между тем буря утихла, тучи рассеялись. Шевро, утомленный разговором, который опять самым чувствительным образом растрогал его раны, поспешил проститься с Мервилем, и старик едва успел ему сказать, что в первый свободный день посетит его в городе и будет требовать от него такой услуги, от которой совершенно зависит спокойствие его сердца. Шевро пожал Мервилеву руку, и улыбка, запечатленная сердечным, глубоким прискорбием, была единственным его ответом.

Мервиль имел в предмете богатство и благотворительность своего друга. Шевро, говорил он сам с собою, как мог бы ты наслаждаться своим великодушием, которое отирает слезы такого множества несчастных, когда бы не посредники раздавали твои благотворения; когда бы трогательная благодарность спасаемых тобою *сама* прямо к твоему сердцу доходила; когда бы собственными глазами ты видеть мог первую улыбку отрады на устах, увядших от страдания, первый луч удовольствия в очах, помраченных скорбью! Один от чрезмерной разборчивости, другой от великодушия, излишне строгого, теряют сладостную награду милосердия. Так! Добродушие и чувствительность моего друга да возвратят ему привязанность к жизни: он должен видеть предмет своих благотворений, должен быть тронут им до глубины сердца; должен почувствовать к нему любовь; но первым предметом его благодати пусть будет младенец, прелестная невинность, чистая, неиспорченная натура, творение осиротевшее, творение, готовое найти в моем друге отца нежнейшего, преисполненного любовью: в противном случае ложный стыд может его отдалить, или мысль о притворной, подделанной чувствительности отравит его благородное наслаждение!

— Ты много раз слышал от меня, — сказал Мервиль, увидясь через несколько дней с Шевро, — об одном друге, которого я любил с самого детства, любил как брата, и который убит на сражении при Мальплате<sup>4</sup>. Он, умирая, наименовал меня опекуном своего единственного сына. Я привязался к бедному сироте со всею нежностью отца, воспитал его, образовал, пристроил к месту, наконец, женил: все это тебе известно, и ты можешь легко вообразить, что я должен был почувствовать, когда получил от безутешной вдовы его следующие строки, последние, которые мог написать несчастный!

— Еще погибший! — воскликнул Шевро с горестным чувством.

— Читай, — прибавил Мервиль и отошел в сторону, чтобы отереть слезы, покотившиеся из глаз его, — он поручает мне своего сироту; он требует, чтобы я для сына был тем же, чем некогда был для отца: но,

Шевро, какие обязанности могу я на себя возложить, я, хилый, изнеможенный, трепещущий старик; я, которому два шага осталось до могилы? Когда бы надлежало для незащитного, который, может быть, слишком скоро потеряет и мать свою, изнуренную болезнями, требовать одной великодушной подпоры, тогда я не долго искал бы сего единственного человека, которого смело нарекло бы мое сердце благотворителем (Шевро с жаром схватил руку старца); но здесь, к несчастью, нужно более, несравненно более: здесь нужен друг, к которому осиротевшее сердце могло бы привязаться с неограниченной, почтительною любовью, который пожертвовал бы частью своего времени, образовал его, надзирал за ним с нежнейшим, внимательнейшим попечением, усовершенствовал его для счастья!.. Шевро, ты видишь мою чувствительность и горесть. Никто, кроме тебя, не может снять сего бремени с моего сердца. Юноша добродетельный и одаренный всеми благами фортуны, если тебе драгоценно спокойствие моих последних дней, если желаешь, чтобы Мервиль не терзался на постели смертной... Но прости меня, мой друг, я, безрассудный, обременяю тебя просьбами и забываю показать сего несчастливца, для которого требую от тебя великодушия!

С сими словами старик стремительно удалился, оставя Шевро в неприятной борьбе с привязанностию к нему, как к другу, и с отвращением от всякой новой человеческой связи, отвращением, которое он сам перед собою своим бессилием оправдать старался.

Мервиль через минуту возвратился, ведя за руку миловидного веселого мальчика, одетого в черное платье.

— Луи, — сказал он, — вот тот благородный человек, который может заступить место твоего доброго отца, которого ты должен об этом просить, которому должен дать слово, что будешь его любить, почитать, за отеческие попечения его платить совершенным послушанием и самою нежною внимательностию.

Шевро, сраженный именем Луи, бросился на стул; а мальчик, который побежал было к нему с невинною, открытою веселостию, возвратился с торопливостию к Мервилю, но, по первому ласковому слову старца, опять приблизился к Шевро, который в сию минуту залился слезами, просил его приятным, трогательным голосом не плакать, позволил взять себя на руки, прижался миловидным личиком к его груди и наконец невольно сам зарыдал с ним вместе. С сего времени, среди безмолвного, взаимного изливания чувствительности, заключился между ними тайный, нежный союз, которому никогда разрушиться не надлежало.

Знакомство с сыном, натурально, произвело и знакомство с матерью, которая медленно оправлялась от своей болезни или, лучше ска-

зять, медленно приходила в себя после жестокого удара, нанесенного ей судьбою. Столь же естественно двум несчастным, которых сердца наполнены одиноким, нежным воспоминанием о предметах, им драгоценных, вверить друг другу свою горесть, наконец соединить и слезы, и вздохи... Ни слова о следствиях! Читатель, знающий человеческое сердце, предскажет их и не ошибется.

*Энгель*

## ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД

Вчера, будучи в гостях у Климены, увидел я на туалете ее дочери, милой, скромной, добросердечной Марии, книгу, переплетенную в сафьян, которую хотел взять, но Мария предупредила меня и с некоторым замешательством спрятала книгу в рабочий мешок. Я удивился, посмотрел ей в глаза; Мария покраснела, почувствовала, что подала мне повод к подозрению, вынула книгу, раскрыла, показала мне первые страницы, написанные рукою ее матери, и сама прочла их вслух. Я просил списка, и снисходительная Мария собственною рукою написала для меня следующее:

«Белая книга<sup>1</sup>, мой милый друг, конечно, подарок не богатый, но я уверена, что еще никого на свете не дарили на *Новый год* с таким добрым желанием, с каким дарит тебя твоя мать, и такую полезную вещь, какова быть может эта белая книга.

Я несколько раз говорила тебе, что две или три минуты, две или три строки, посвящаемые каждый день размышлению — иногда, не спорю, с трудом и неприятным усилием — приводят самые мысли в порядок, дают им ясность и жизнь. Смешно, ты скажешь, надеяться таких великих следствий от причин столь маловажных, но верь мне, я говорю по опыту. Человек, еще не имев языка, видел, слышал, вкушал и осязал, но он еще не мыслил; не имев искусства писать, он мыслил мало и говорил дурно. Язык и перо усовершенствовали его натуру; понятия, сообщаемые другим, озарились, приведены в систему, расширились и, переходя от человека к человеку, из поколения в поколение, усовершенствовались. Путь сей, избранный целым человеческим родом, есть в то же время единственный и самый верный для каждого частного человека.

Ты, милый друг, уже успела на шаг — и важный шаг — подвинуться к совершенству: ты слышала мудрых, иными словами, читала книги, в которых мысленно беседовала с их гением. В наше время девушка, которая *читает*, благодаря просвещению, не кажется чудом, но много

ли найдем таких, которые читали бы с желанием научиться, образовать рассудок и сделаться лучшими? Суетность вмешалась во все, она уничтожила достоинство чтения, переменив его предмет и мудрость обратив в пустое упрямство. Большая часть из наших читателей и читательниц открывают книгу только для того, чтобы после иметь удовольствие сказать: она мне известна! Прекрасна или дурна книга! Ты, мой друг, моя рассудительная, скромная Мария, короче многих знакома с истинною целью чтения: остается иметь некоторую решимость более упражняться, и наконец ее достигнешь.

Душа наша есть живописец<sup>2</sup>, которого кисть изображает или оригинал заимствованный из природы, или список с хорошего оригинала; первое — собственные чувства, замечания и мысли; последнее — понятия, почерпаемые в наставлениях и книгах. Списки хорошего мастера — одно предварительное упражнение: он хочет изострить глаз и набить руку; напротив, дурной всегда остается копиистом, и вся слава его в искусстве рабского подражателя.

Чего ж я требую от тебя, мой друг? Чтобы ты все размышления — пространные или краткие, выводимые другими из опытов их, почитала своими, как будто из собственных твоих опытов извлеченными. Человек, прежде нежели научиться думать сам, должен учиться думать за другими — важный шаг, который ты можешь и должна теперь сделать; я хочу сказать, что уже тебе время из читательницы сделаться автором: учись, читая книгу, отделять мысль от выражения; снимай с нее убор, иногда откладывая на время приятность, соединенную с удовлетворением любопытства, старайся двумя словами выразить то, что автор заключил, быть может, во многих страницах; сии два слова запиши — они принадлежат тебе, тебе, как и самая мысль, которую выражают. Так целые томы нередко превращаются в один листок, более важный, нежели самая книга; так образуется в нас способность мыслить, способность выражать мысли и выражением их убеждать или веселить рассудок читателя.

И скоро твои записки перестанут быть единым сокращенным выражением чужих, заимствованных мыслей; собственные расцветут в твоём уме: идея воспламеняет идею; душа, единожды пробужденная, единожды овладевшая нитью размышления, мгновенно от слепка понятий чужих переходит к изобретению и выражению собственных, и скоро из собственного сокровища понятий и чувств является мысль, которая сама, *своею* силою, никогда не могла бы оживиться, но, будучи близкою к идеям писателя, одушевляется, приемлет образ. Последуй, милая, моему совету! Зная твои способности, предсказываю тебе верный успех, а счастливое начало и самую трудность делает привлека-

тельно. Удовольствие мыслить так живо и чисто, что, раз вкусивши его сладость, прилепляешься к нему навсегда и чувствуешь, что оно необходимо в жизни.

*Гарве*

## ГУСТАВ

Есть человек, прекрасный лицом, чувствительный, еще в цветущих годах, с пылыми неукротимыми страстями, одаренный живым воображением — и этот человек, будучи давно оставлен на своей воле, независим, привязан к большому свету, не может бояться ни прелестей порока, ни сладких приманок любви, ни хитрых обольщений сладострастия. Какое ж могущество оградило его сердце? — Правила! Но пылкое воображение препятствует ему размышлять. Глубокая страсть! Но, будучи одарен живою чувствительностию, не может он быть постоянен; и слишком тонкий вкус — разборчивость страстной души, которой ничто обыкновенное наполнить не в силах — предохранит его навсегда от истинной, сильной привязанности: все трогает, и ничто не может удовлетворить его сердце. Какое же чудо удалило от него заразу примера, невидимые опасности удовольствия?.. Философы, гордые мудрецы, смиритесь! Его хранитель — привидение; безумная мечта — источник его благоразумия! Судите, умствуйте, раздробляйте, но верьте моим словам — рассказываю не выдумку, истину, истину, многим известную и совершенно неоспоримую.

Граф N... лишившись на пятидесятом году жены, переехал из Парижа в дальнюю деревню и взял с собою маленького сына — ребенка пяти лет, прекрасного, остроумного и страстно привязанного к отцу. Густав со всех сторон отвечал надеждам родителя; и может ли воспитание не быть удачно, когда воспитанник и сердцем, и умом способен ценить привязанность достойного наставника! Густав семнадцати лет был юноша совершенный. Желая усовершенствовать воспитание путешествием и думая, что в таком случае всего приличнее обозреть сначала отечество, граф N... поехал с сыном в Париж, где скоро занемог отчаянною болезнию. Чувствуя близкий конец, он должен был вооружить себя всею доверенностию к Божеству, чтобы решиться оставить с покорностию не жизнь, но сына, который лишился наставника и руководителя, в опаснейшую минуту бытия — в минуту открытия страстей, еще неизвестных его невинному сердцу, но пламенных и сильных. Граф N... иностранец, женившийся еще до приезда своего в Париж, совсем не имел родных во Франции; он мучился, воображая, какие опасности



готовы были окружить Густава, существо единственно ему драгоценное, единственную, любезнейшую его надежду, но вера, всегда благодетельная, всегда отрадная, представила его рассудку последнее и самое сильное утешение; он с мирною доверенностью вручил своего сына Всемогущему Существу, и горестное сомнение души его прекратилось! Изготовясь к разлуке, призывает Густава; в последний раз велит ему прижаться к своему сердцу; в последний раз благословляет его, моля Провидение, да будет хранителем сего невинного, чистого сердца; в последний раз померкшие взоры его, озаренные угасающим, меланхолическим сиянием любви, с унынием, с наслаждением устремляются на прекрасное лицо Густава, как будто усиливаясь удержать любезный, улетающий образ... Густав отчаянный, поверженный на колени, рыдал и не мог оторвать своих уст от холодной руки умирающего родителя.

— О мой сын! — сказал ему тихий, унылый голос, — о Густав! Я посвятил тебе пятнадцать лет жизни, стремился навеки привязать невинное твое сердце к добродетели; я мыслил только для тебя и жил для будущего твоей жизни. Узы любви и благодарности ужели прервутся в минуту смерти? О мой сын! Не может быть! Твои добродетели принадлежат мне, и в самой вечности я должен наслаждаться своим творением. Так, Густав! В сей книге жизни, в сей книге неисповедимой, где всякое дело смертного навеки, неизгладимо начертано рукою Судии, все добрые дела твои причтутся мне в заслугу! Мне определено разделять твои награды.

— Ах, кто заменит моего отца? — сказал Густав. — Что буду, когда его не станет?

— Мой друг! — продолжал умирающий, — глаза мои от тебя не отвратятся, душа моя будет над тобою.

— О! Не забудь меня, — воскликнул Густав, иступленный и с содроганием сжимая руку старца, — в минуту заблуждения, в минуту проступка явись, явись мне с сим милым взглядом любви и укоризны, и сердце мое опять возвратится к потерянной добродетели, опять найдет свою невинность и будет, будет тебя достойно!

Старик при сих словах простер дрожащие руки к небу:

— Великий Боже! Услышь его невинный голос. Так! Если у высшего трона, к которому скоро приближусь, позволено надеяться чуда, дерзну, дерзну молить Тебя: исполни желание робкой непорочности, желание любви сыновней, и Ты не отринешь моей молитвы.

Слова сии, произнесенные выразительно, проникли во глубину души Густава; трогательный, величественный образ умирающего отца; таинственный пламень, блеснувший в его глазах, когда он с последнею молитвою поднял руки к небу; сие торжественное обещание, дан-

ное над самым гробом... сколько впечатлений святых, неизгладимых, незабвенных навеки!

Густав хотел еще раз прижаться ко груди старца, но он уже боролся с смертью; скоро последнее содрогание потрясло его члены — вздохнул, запечатленные прискорбием глаза угасли, и медленное течение жизни прекратилось.

Густав оплакивал долго свою потерю. Он целый год провел в уединении; задумчивый, сопутствуемый воспоминанием, видел всякую минуту отца своего на одре смерти, с поднятыми к небу руками; стремился мыслию за тайные пределы жизни, искал его в неизвестных жилищах духов, чувствовал его присутствие, слышал приятные, меланхолические звуки его голоса, и пламенное воображение расстроилось навеки. Граф N... в своей духовной назначил опекуном Густаву человека благородного и честного, но слабого характером и слишком беспечного для важных обязанностей наставника; он познакомил своего питомца с большим светом, с людьми хорошего тона и скоро совсем перестал им заниматься. Густав, приятный, остроумный, привлекательный лицом, имел блистательные успехи в обществе. Он подружился с молодым Сельнанжем, любезным, но совершенно развратным светским человеком, и скоро сделались они почти неразлучны. Однажды Сельнанж уговорил Густава ехать в духовный концерт, слушать Розару, италийскую певицу, недавно приехавшую в Париж, и которая, как все уверяли, имела голос *небесный*. Густав чрезвычайно любил музыку; певица была молода, прекрасна и в самом деле пела восхитительно; короче, она поразила Густава — он влюбился в нее страстно. Сельнанж, любовник сестры ее, пригласил на другой день обеих италийнок к себе на концерт и ужин; Густав опять увидел Розару, которая своим талантом, приятностию и хитрым кокетством совершенно очаровала его душу. Густав не мог заблуждаться насчет ее характера и правил, но он еще ни в одной женщине не находил такого соединения прелестей, чувствительности, остроумия и способов нравиться. Розара занималась одним Густавом; ее обхождение было скромно и мило; на выразительном ее лице веселость ума сливалась с меланхолией чувства: сколько очарований для пылкого осьмнадцатилетнего юноши! Сельнанж дал слово Розаре привезти к ней Густава, и на другой день в одиннадцать часов вечера садятся они в наемную карету, приказывают везти себя *au quaï des Augustins*<sup>1</sup>, где обе италийки нанимали дом; останавливаются у ворот... душа Густава была в волнении, разительное воспоминание за ним стремилось. Сельнанж на вопрос кучера, когда приезжать, отвечает: *в четыре часа утра*; бич хлопнул, карета застучала; они остались одни, во мраке, у длинного, неосвященного свода. Идут... и не успел

Густав ступить на порог — ступить на поприще разврата — как видит... И волосы на голове его воздымаются! Видит... Предмет величественный и ужасный... Образ отца, пронзающий землю и медленно восстающий! Привидение устремляет на него строгий, пронцающий взгляд и с страшною неподвижностью ждет его у входа... Густав затрепетал, отскочил назад, ударился об стену...

— Боже! — сказал он, задыхаясь, — это он! Здесь! Душа его предо мною!

— Что с тобою сделалось? — спросил Сельнанж. — Кто *он*? Что ты видишь?

— Я вижу, — воскликнул Густав с исступлением, — вижу... *свою совесть!*

Он упал без памяти на руки Сельнанжа, который, не понимая странных слов, им произнесенных, и приписывая случившееся обыкновенной физической причине, относит его в ближнюю комнату, где через минуту он возвращает чувство.

— Пойдем, Густав, — говорит Сельнанж. — Розара нас ожидает.

Имя Розары пробудило Густава.

— Розара здесь? — воскликнул он, осматриваясь с трепетом.

Сельнанж, не отвечая, тащит его за руку, не смея противоречить, следует за ним робко, с отвращением и внутренним терзанием совести. Подходят к кабинету; Сельнанж отворяет дверь, скрывается, и Густав видит себя в прелестном убежище, храме любви и удовольствия, видит Розару, забывает свой ужас, приближается с трепетом нового, невинного сердца; упоенный страстию, находит в ней одну ангельскую красоту... Розара сама возвращает ему жестокие укоризны совести: она встает, летит в его объятия; очарование разрушено... Густав узнает в ней одну Лаису, и вдруг... бледнеет, волосы на голове его становятся дыбом... грозное, благодетельное привидение опять явилось и разлучает его с Розарою.

— О! Не мсти мне! — воскликнул он, простершись на землю, — повинуюсь, повинуюсь!

Встает, не отвечает на вопросы Розары, пораженной изумлением, бросается из кабинета, бежит и навсегда, навсегда оставляет сие жилище разврата, в котором добродетель его таким чудесным образом сохранилась.

С тех пор благодетельная тень сопутствует Густаву. Готовый забыться, он видит образ отца, он видит — *свою совесть*, и ужас спасает его от преступления. Густав женат, и не имея чрезвычайной привязанности к жене своей, но будучи совершенно беспорочен в сердце, он — нежный супруг, конечно, будет и нежным отцом: он счастлив, и достоин счастья.

*Жанлис*

## ХАРАКТЕР МАРК-АВРЕЛИЯ

Марк-Аврелий<sup>1</sup>, великий образец государей, имел добродетель строгую и деятельную, плод философических уроков, чтения книг и частых полунощных бесед с самим собою. Прилепившись на двенадцатом году жизни к суровой системе стоиков, научился он покорять тело душе и страсти рассудку, почитать добродетель единственным благом, порок единственным злом и быть равнодушным ко всему земному. Мысли его, написанные в шуму военного стана, сохранены временем и дошли до нас. Иногда нисходил он с высоты престола и давал изустные наставления народу — поступок, может быть, не совсем согласный с величием монарха и тихой скромностью мудрого, но жизнь его должна служить благороднейшим объяснением Зиноновых правил<sup>2</sup>; Марк-Аврелий, строгий судия пороков, неумолимый к самому себе, кроткий, снисходительный к другим, был другом, защитником, благотворителем человеческого рода. Узнав о самоубийстве Авидия Кассия<sup>3</sup>, возмущившего Сирию, он сожалел, что этот несчастный лишил его случая обратить врага во друга, и доказал искренность сего чувства, смягчивши строгость Сената к соумышленникам возмутителя. Марк-Аврелий ненавидел войну, которую называл осквернением и казнью человечества, но вооружаемый необходимостью защищать пределы Империи, стремился на берега Дуная и, в продолжение осьми трудных походов подвергаясь опасностям войны, презирал жестокость германского хлада, который наконец был гибелен для слабого его тела. Память великого императора сохранена благодарностию потомков, и несколько веков по смерти его граждане Рима, вместе с изваяниями домашних богов, поклонялись еще образу незабвенного Марк-Аврелия.

*Гиббон*

## МЕЛАНХОЛИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ МАРИИ СТУАРТ

Было время, когда Мария Стюарт — привлекательная, слабая, несчастная — имела чистое сердце; когда в прелестной груди у нее цвели непорочные чувства, и на юном ее лице, украшенном меланхолией страстной души, блистал высокий характер добродетели, тогда писала она стихи, тогда животворная мечтательность обитала в её сердце. Прощаясь с милою Франциею, оставляя ту сторону, в которой познакомилась и разлучилась с счастьем, она сочинила стихи, которые сохранены для нас Брантомом<sup>1</sup>: романс на смерть юного Франца, супруга Марии, которого она обожала, которого безвременная смерть

разрушила её счастье. Сообщаем их в оригинале для читателей, знающих французский язык. В переводе бы они потеряли свою простоту и прелесть.

En mon triste et doux chant,  
D'un ton fort lamentable,  
Je jette un oeil tranchant  
De perte irréparable;  
Et en soupirs cuisans  
Passe mes meilleurs ans.

Fut-il un tel malheur  
De dure destinée,  
Ni si triste douleur,  
De dame fortunée,  
Qui mon coeur et mon oeil  
Vois en bière et cercueil?

Qui en mon doux printemps  
Et fleurs de ma jeunesse,  
Toutes les peines sens  
D' une extrême tristesse,  
Et en rien n'ay plaisir,  
Que regrets et desires.

Ce qui m'estait plaisant,  
Ores m'est bien dure;  
Le jour le plus luisant  
M'est nuit noire et obscure,  
Et n'est rien si exquis  
Que de moy soit requis.

Pour mon mal estrange  
Je ne m'arreste en place;  
Mais j'en ay beau changer,  
Si ma douleur j'efface,  
Car mon pis et mon mieux  
Sont me plus déserts lieux.

Si en quelque sejour,  
Soit en bois on bien en pré,  
Soit pour L'aube du jour,  
Ou soit pour l'aube du jour,  
Ou soit pour la vesprée,

San cesse mon cœur sent  
Le regret d'un absent.

Si parfois vers ces lieux  
Viens à dresser ma veux,  
Le doux trait de ses yeux  
Je vois en une nüe;  
Soudain je vois en l'eau  
Comme dans un tombeau.

Si je suis en repos,  
Sommeillant sur ma couche,  
J'oy qu'il me tient propos,  
Je le sens qu'il me touche;  
En labeur, en recoy  
Toujours est prest de moi.

Mets chanson ici fin  
A si triste complainte;  
Dont sera le refrain  
Amour vraye et non feinte;  
Pour la séparation  
N'aura diminution<sup>2</sup>.

Сии унылые звуки отзываются во глубине сердца! Надобно вообразить семнадцатилетнюю цветущую Марию! При самом начале жизни, в ту минуту, когда наслаждение только начинало раскрываться для страстной её души; когда она едва успела его вкусить; когда оно сохранило для неё всю свою свежесть, надежды, мечты, восторги ещё не исчезли; чувствительность только распалилась, душа едва испытала прелесть нежного союза, с тайным, ещё робким смятением ей предавалась... вдруг всего лишиться, разрушить драгоценнейшие связи, разлучиться, и навсегда, с любезнейшими идеями, желаниями, удовольствиями — какая перемена для пылкого сердца Марии!

Et en soupirs cuisants  
Passe mes meilleurs ans.  
.....  
Qui en mon doux printemps  
Et fleurs de ma jeunesse,  
Toutes le peines sens  
D'une extrême tristesse,  
Et en rien n'ay plaisir  
Que regrets et desirs.

Меланхолия в самых звуках! Последние два стиха трогательны своею простотою. Одна юная, пылкая душа могла найти их для выражения своей скорби. *Regrets et desirs!* (сожаление и желание). Сожаление принадлежит всякому времени жизни: самый увядающий старик, смотря на прошедшее, вздыхает; но пылкое желание есть принадлежность юных лет: душа, еще цветущая, наслаждается счастьем с некоторым волнением! Счастье исчезает, но волнение продолжается, подобно звуку, существующему в одном гармоническом, медленно утихающем отзыве; мучительное, неясное желание остаётся, желание, не имеющее предмета, привычка к прошедшему, которое невозвратно и в то же время необходимо, которое стремишься возобновить, но в то же время теряешь надежду, будучи еще так сильно привязан сожалением к незабвенному, потерянному благу.

Sans cesse mon coeur sent  
Le regret d'un absent.

.....  
Pour la séparation  
N'aura diminution.

Гармонический голос печали невольно вливается в душу; самый простой человек, носящий на лице своем напечатление скорби, становится привлекателен и любезен; но тот, кого судьба окружила всеми преимуществами жизни, но Мария Стюарт, одно из совершеннейших созданий природы, украшение блистательного двора, милая, чувствительная, остроумная, Мария Стюарт, уединенно оплакивающая свое погибшее счастье — какое новое трогательное зрелище для нежного сердца! Стихи её, уверен, будут сокровищем для тех, которые любят красоту во всем, в искусствах и науках, в натуре и подражании натуре, в произведениях человека и в самой душе человеческой. Прочитав их, узнаешь, что Мария имела на престоле нежные чувства, что слабости ее проистекали из источника благородного, что она не заслужила судьбы своей, что, может быть, ошибкою, влекомая неодолимою силою, она вступила на дорогу преступления, что, может быть, в других обстоятельствах была бы она примером всех добродетелей, удивлением современников и потомства, как некогда, в первые цветущие годы жизни своей, была образцом красоты, любезности, остроумия.

*Коцебу*

## ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прибавлять каждый день, что можно, к моральному своему совершенству, о Софроним! Извлекать не из внешних предметов, но из самого себя свое счастье и разливать его на самую внешность — вот начертание жизни, прямо великое, прямо достойное человека! Тогда самые ничтожные обстоятельства бытия должны получить в глазах твоих особенную прелесть; и если, о мой друг, всегдашнее одиночество дано тебе в удел, и если навеки исключен ты из круга человеческих вещей, к которым запрещено тебе прикасаться, которые для тебя чужды, то верь, мой Софроним — и вера сия да будет твоею крепостию — образование существа совершенного (и кто бы ни было сие существо, тот или другой, довольно, когда оно есть верное подобие совершенства) должно быть само по себе возвышеннейшею целью природы.

Исторгшись с великим, необычайным напряжением сил из круга презренной скотской жизни, о Софроним, ты должен, тем или иным средством, быть животворящею душою толпы людей — сих грубых тел, ожидающих деятельного духа, который движения их устремил бы к высокой, согласной с собственным превосходством его цели.

По слову твоему подымется их рука, воспламенится взор, и воля твоя сделается их волею, и разум твой их собственным разумом.

Считая свое блаженство превосходнейшим, не думай, однако, чтобы они были несчастны: они наслаждаются потому, что не имеют нужды стремиться; но ты стремишься и потому наслаждаешься.

Владычествуя над ними, совершенствуй их в рассудке и чувстве, поставь их наряду с собою.

Природа наградила тебя избытком сил для возбуждения деятельности и жизни: слабейшее, подкрепляемое сильнейшим, приходит с ним в равновесие.

Вода сохраняет свою поверхность, воздух — равновесие, моральные силы действуют одна на другую, всё приобретает живость, всему сообщается деятельность.

Потоки, бегущие с утесов, рвут плотины, наводняют города и потом — спокойно протекают в указанных им пределах.

Несчастлив один тот, кто занимает не свое место — низкое ли оно или высокое; кто еще в нерешимости, пристать ли к стороне повелителей или к стороне покорствующих; в ком уничижительная леность и силы врожденные равно непобедимы или борются... Горе ему, когда вся жизнь его пройдет в мучительном борении!

Буря свирепствует в его сердце, когда заглушенный в нем пламень еще не угаснул!



Поток воздымается — не нужно говорить ему: разорви плотину! В душе твоей неодолимое стремление к высокому — скажу ли тебе: дай волю своему стремлению?

Одна привлекательность жизни делает ее сносною; но в чем же состоит сия привлекательность? В слиянии малых, отдаленных ее частей в единое целое; в направлении всего, и самого мелкого, и самого ничтожного, к цели высокой и благородной. Скучный работник не способен обнимать рассудком и почитать необходимою сию возвышенную привлекательность бытия: он занят единым сохранением чувственной жизни; он не имеет ни времени, ни охоты проникнуть в самого себя мыслию.

Но кому не довольно телесной чувственной жизни, тот никогда не будет простым работником, тот вырывается за тесные пределы ее, тот ищет быть повелителем толпы работников и им подобных.

И горе ему! И жизнь для него есть бремя, когда не определено ему достигнуть предмета своих исканий.

Но, Софроним, с благоразумием и рвением до всего достигаем. Благоразумие, оживляемое рвением, дальновиднее и вернее: желая сильно, скорее и удачнее угадываем средства.

*Мориц*

## ПУТЕШЕСТВИЕ Ж.-Ж. РУССО В ПАРАКЛЕТ

Еще не все сочинения Жан-Жака Руссо известны публике. Одна из лучших его приятельниц, милади Говард имеет манускрипт, которого содержание, быть может, не менее самой «Элоизы» привлекательно. Список с этого манускрипта, найденный между бумагами известного графа д'Антрегю, находится теперь в руках господина Лаканалья. Он заключает в себе рассуждение о Виландовом «Агатоне»<sup>1</sup>, которого Ж.-Ж. Руссо читал в переводе; отказ Дидрота на предложение десяти тысяч ливров годового пенсионера от имени императрицы ЕКАТЕРИНЫ<sup>2</sup>, и, наконец, следующие два «происшествия»\*. Мне удалось их слышать (не спрашивайте где), и сердце моё наполнилось такими сладкими, живыми чувствами, которые всегда производит в нем трогательный голос Ж.-Жака; я решился описать их просто, без всяких витийственных украшений и, если можно, точно так, как слышал. Читатель со временем будет иметь в руках и самую повесть Жан-Жака Руссо: тогда я

---

\* Одно из них сообщаем читателю «Вестника» теперь, другое будет напечатано после. Ж.

первый забуду сии строки, написанные мною в минуту сладкого волнения души, произведенного магическим его даром.

Многие с презрительным сожалением говорят о той чувствительности, с какою Ж.-Жак Руссо принимал все оскорбления, действительные и мнимые, своих неприятелей. Но сия чувствительность, государи мои, не есть ли источник его таланта, единственного таланта говорить сердцу, обнаруживать человеческие страсти и все возвышенные мысли, которые воспламеняли его рассудок, выражать с такою страшною силою, с таким очаровательным, увлекающим красноречием? Душа его могла ли бы произвести «Элоизу» и «Эмиля», когда бы оскорбительные нападения Вольтеров, Дидротов и даже мелких ненавистников гения — насекомых, рождающихся от солнечного жара — её не трогали? Вы умствуете, восклицаете, полагаясь на грубость своих нервов: «В таких же обстоятельствах мы поступили бы хладнокровнее, благо-разумнее!» Согласен; но в то же время, не хотите ли вы сказать: «Мы не имеем его таланта!»

В один весенний вечер Жан-Жак Руссо, кончив прогулку в Тюльери<sup>3</sup>, возвращался домой с обыкновенным унынием и мрачностью духа. Он шел поспешно по улицам Парижа; в глазах мимоходящих мечталось ему презрение и насмешка; одни следовали за ним с подозрительным шёпотом, другие хотели оскорбить его знаками; везде встречал он злоумышленника или неприятеля, и сердце несчастного меланхолика сжималось от скорби. «Вот последнее моё пристанище! Сюда, по крайней мере, не последуют за мною возмутительные взоры глупого любопытства!» — так говорил он, взбираясь по крутой лестнице на четвертый этаж, где нанимал тесную комнатку. Открывает дверь и видит молодого человека, приятного лицом, который сидел перед его письменным столом и дружески разговаривал с Терезою<sup>4</sup>.

— Кто вы, государь мой? Чего вам надобно? — спросил Руссо, приближаясь к нему с суровым лицом и с смутною подозрительностию смотря ему в глаза.

Незнакомый встал, несколько минут, безмолвно, с почтением и чувством, рассматривал творца «Элоизы»; наконец, опомнился и подал ему письмо. Глаза Жан-Жака заблистали, когда он прочёл надпись. Он бросился с живостию обнимать молодого человека, осыпал его множеством нежных вопросов; на обертке письма узнал он почерк милади Говард, любезной, великодушной, чувствительной женщины, единственной из многих, так называемых друзей его, мужеского и женского пола, которая ни на минуту не сомневалась в благородном сердце Жан-Жака, единственной, которой образ, идеально прелестный, как гений-утешитель, являлся душе его в ту минуту, когда она свергала с себя тягость

печали; которой дружба и уважение так сильно трогали его сердце, что он без зависти и с некоторым наслаждением смотрел на счастливого, прекрасного юношу, избранного обладателя её прелестей.

Молодой незнакомец был художник, швейцар <ец. — *ред.*> по имени Турнейзен, человек совершенно достойный именоваться другом милади Говард и Жан-Жака Руссо; более ничего не прибавлю к его похвале. Во все время пребывания своего в Париже посещал он ежедневно бедный чердак, в котором скрывался женевский философ, и который называл святилищем парижским. Руссо от всей души полюбил нового своего знакомца, имеющего ясный и возвышенный дух, совершенно доброе сердце, милую откровенность в обхождении, и которого дружба казалась ему новым благодеянием обожаемой лади.

Дней через восемь является Турнейзен в дорожном плаще к Жан-Жаку.

— Еду в Параклет, — говорит он. — Хочу поклониться Элоизину гробу<sup>5</sup> и видеть её останки!

— Едете один? — спросил Руссо в рассеянии.

— Нет! Со мною будет товарищ, некто господин Лиль.

Жан-Жак замолчал, с беспокойством прохаживался по комнате. Рассеянность его увеличивалась; оба не говорили ни слова. Через минуту Турнейзен берет шляпу, идет к дверям, останавливается, глядит на Руссо и говорит с замешательством:

— Надобно признаться, этот господин Лиль, товарищ мой, вы сами. Я так уверен был в вашем желании видеть гроб Элоизы, что, не сказавшись вам, нанял два места в дилижанс, одно для вас, другое для себя.

Руссо бросился его обнимать; Турнейзен предугадал то чувство, которому при имени Параклет надлежало родиться в душе Сен-Прио<sup>6</sup>; часа через два находились они уже вне Парижа.

В карете против них сидел барышник в красном камзоле и старомодном парике с сухою, невнимательною миною; подле него дородный патер, который со значащим видом посматривал на своих товарищей, хотел казаться проницательным наблюдателем, улыбался с притворным коварством, играл своею тростию, нюхал табак, выглядывал в окно и был совершенно доволен своею ролью; рядом с ним молодая девушка осьмнадцати или девятнадцати лет. Спокойный и веселый духом, радуясь путешествию, свободе и неизвестности, наш Лиль не говорил ни слова, завернулся в плащ и, прислонившись к подушке, внимательно рассматривал своих спутников. Он скоро забыл и толстого патера, и барышника: глаза его устремились на молодую девушку.

Известно, какое движение всегда производили в его душе красота и невинность; но здесь зазвучала в ней струна благороднейшая, струна

сострадания: девушка казалась совершенно несчастною. Глубокая скорбь омрачала её лицо, бледное, приятное, украшенное милыми прелестями добродушия и тихости; глаза её, большие и полные чувства, но унылые и неподвижно устремленные на колеса, казалось, привыкли проливать слезы; приятные уста были сжаты: они удерживали вздохи, которые стесняли её грудь и изредка неволью из нее вырывались.

Лиль не говорил ни слова. Задумавшись, рассматривал он приятные черты незнакомки; ещё не знал, какая судьба так рано умертвила сию прелестную розу, но сердце его, исполненное человеколюбия, уже мучилось; воображение представляло ему тысячи несчастий; он не хотел им верить: «Не может быть!» — восклицал он в глубине души, и, несмотря на то, как мало угадывал страшную истину!

Он спрашивал у самого себя, которому из двух незнакомых его товарищей, барышнику или патеру, она принадлежала? Быть может, угнетенная дочь первого, племянница, жена? Но платье незнакомки чрезвычайно бедное, хотя опрятное, противоречило гордым и довольным взглядам торгаша: они возвещали богатство и часто с бесстыдным любопытством устремлялись на скромное лицо путешественницы. — Быть может, родственница священника? Но Лиль не успел ещё объяснить для самого себя, почему наружность обоих препятствовала ему считать их товарищами, как важный патер, оборотившись к девушке, спросил: «Apparement que vous allez à N— —? Конечно, едете в N— —?».

Итак, она одна! Одна в публичной карете, на большой дороге, и ей не более девятнадцати лет! Когда бы на томном её лице не сияло такое возвышенное благородство души, когда бы на вопрос патера не подняла так медленно и спокойно своих прелестных, задумчивых глаз, не отвечала с таким равнодушием: «Нет!» и опять в унынии не опустила взор на быстрые колеса... Нет, нет! Не может быть! Одна любовь, одна безнадежная, несчастная, оскорбленная любовь могла такую трогательною тоскою омрачить сей тихий, пленительный образ!

Лиль молчал, девушка также. Священник и барышник рассуждали о лошадях, которых последний продал парижскому архиепископу; Турнейзен читал. Сильный толчок кареты вышиб из рук его книгу: она упала на колена молодой девушки. Незнакомка посмотрела на титул, возвратила книгу Турнейзену и нежным, гармоническим голосом сказала: «Государь мой! Не можете ли ссудить меня одним томом?». Художник подал ей книгу, а Лиль бросил любопытный взгляд на заглавие: книга была — «Новая Элоиза», и ни один молодой стихотворец с таким сердечным трепетом не смотрел в театре на зрителей, собравшихся судить первую его пьесу, с каким наш Лиль рассматривал лицо незнакомки: он чувствовал, что сердце её принадлежало к немногим,

для которых он так часто желал писать, которые одни могли быть его судьями — к немногим, которых одобрение было для него необходимо.

Скоро прекрасные глаза незнакомки наполнились слезами, грудь её начала колебаться сильнее. Она закрыла платком лицо, прижалась к углу кареты, и книга выпала из рук её. Лиль успел схватить её прежде, нежели она закрылась, и глазам его представилось то письмо, которое страстный Сен-Прио писал на утесе, смотря на отдалённое жилище Юлии, и в то же время предчувствовал близкую, вечную разлуку.

Он жалуется на быстрое солнце, на быстрое время, на краткие, невозвратимые минуты, на Юлию, которая обещает ему мечтательные наслаждения в будущем, обещает тогда, когда, быть может, и его Юлии уже не станет! «И красота твоя, мой друг, и сама твоя красота должна иметь конец — увянет и погибнет, как цвет, которым никто не насладится! А я между тем вздыхаю и сохну! Юность моя исчезает в слезах, весенние дни мои гаснут в печали! Подумай, подумай Юлия, что и мы считаем уже годы, потерянные для радости... Ещё одно слово: ты помнишь утес Левкада, последнее прибежище несчастных любовью! Места, окружающие меня, ему подобны: скала круга, пучина бездонна, и отчаяние в моём сердце».

Лиль не сказал ни слова, опять положил книгу на колени молодой девушки и завернулся в плащ, не желая, чтобы заметили его чувствительность. О Сен-Прио! Какие воспоминания оживились в душе твоей! С каким сострадательным участием рассматривал ты бледное лицо незнакомки, которая на девятнадцатом году жизни уже так сильно чувствовала выразительный язык отчаяния!

Священник дремал — движение Лилия его разбудило. Заметив слезы на глазах молодой девушки, он захотел узнать, какую книгу она читала: взял ее, но посмотрев на заглавие, бросил с неудовольствием.

— Как, сударыня! — воскликнул он важным голосом проповедника. — Вы не стыдитесь читать такую книгу! И ещё публично, в почтовой карете! Сказать правду, я не ошибся в моих об вас заключениях; досадно только то, что всякая тварь, которая найдет у себя в кармане ливр, может иметь место в дилижансе.

Девушка устремила на него томный взор, в котором надлежало блистать презрению, но он только умолял — глубокое чувство несчастья, безнадежность и робость потушили в нем последний луч гордости душевной.

— Государь мой! — воскликнул Турнейзен с жаром, — прошу вас удержаться от оскорбительных слов, когда не хотите иметь дела со мною! Эта молодая девица имеет такое же право, как и вы, сидеть в дилижансе и быть везде, где ей угодно. Книгу получила она от меня, и

вам не может быть никакой нужды до того, читает ли она её или нет. Книга вам не нравится? Это другое дело, и я не удивляюсь: для патеров вашего свойства таких книг не пишут.

Священник, который по выговору Турнейзена узнал в нем швейцар<ц>а, бросил на него сердитый взгляд и продолжал говорить, понизив приметным образом свой голос:

— Книга принадлежит не вам, сударыня! Теперь извиняю вас; быть может, вы никогда об ней не слышали, и я почитаю себя обязанным остеречь вашу неопытность. Бога ради, не открывайте никогда этой безбожной и ядовитой книги. Вам надобно знать, что сочинитель её богоотступник, которого наша Святая Церковь отвергла, с которым (тут посмотрел он презрительно на швейцар<ц>а) и самому еретику встречаться стыдно! Возмутитель! Зажигатель! Сумасшедший, которого надобно посадить на цепь! Убийца собственных детей, страшный преступник, короче, истинный изверг человеческого рода!

Не знаю, что думал и чувствовал в это время Лиль, но он молчал, сидел, завернувшись в епанчу, и только при слове *убийца детей своих* сделал выразительное движение. Глаза Турнейзена сверкали; он хотел отвечать, но девушка предупредила его:

— Простите меня, государь мой! — воскликнула она с живостию. — Никак не могу поверить вашим словам; не знаю, какое различие находят между правилами великого человека, которого оскорбляете вы такую клеветою, и учением вашей церкви, но знаю то, что он не сумасшедший, что он, быть может, блистательнейший из всех гениев, произведенных природою — истина, в которой уверяет меня каждая строка из тех немногих его сочинений, которые имела я счастье читать. О нет! Он не злодей! Кто учит любить своего ближнего, кто учит быть добрым с таким живым, непобедимым красноречием, тот может ли быть злодеем? И мне рассказывали о так называемых его преступлениях; но знаю также, что он несчастлив, очень несчастлив. Ах! Надобно испытать несчастье над самим собою, чтобы уметь судить о поступках несчастливца; тогда только поверишь, что страдающая тварь, лишенная покрова и друзей, решается на такое дело, которое имеет всю наружность преступления и в то же время совершенно благородно и непорочно; что очень часто можно быть даже самоубийцею и в то же время сохранить в душе ненависть к пороку.

Смелость, с какою выражалась незнакомка, была одноминутное усилие оскорбленного сердца и скоро исчезла; голос её начал прерываться, последние слова она произнесла так тихо и робко, что их едва-едва можно было расслушать, слезы были готовы катиться из глаз её, блиставших мгновенным лучом негодования — увы! Она не исключала

себя из числа тех несчастных, которые близки были к самоубийству и в то же время сохранили душу свою непричастною пороку.

Лиль и Турнейзен смотрели на неё с удивлением и молчали; угрюмый барышник сидел, надувшись, поглядывал на молодую девушку, на патера, на швейцар<ц>а, был в замешательстве, и — нюхал табак. Патер не знал, что говорить; он не был тронут выражениями благородной незнакомки; но тон её, прежде смелый, потом унылый и робкий, привел его в недоумение; он долго не мог решиться, как ответить ей, грубо или учтиво; наконец собрался с мыслями и уже готов был начать своё возражение, как дилижанс остановился, Турнейзен выскочил, взял на руки молодую девушку и вынес её из кареты прежде, нежели Лиль, который, вышед в другие дверцы, с тем же намерением спешил к незнакомке, успел подать ей руку.

В трактире готов был завтрак. Девушка не дотрогивалась ни до чего, но Лиль заметил, что она купила кусок черствого хлеба, который спрятала в карман. Такое замечание совсем лишило его аппетита; художник ел со вкусом, как должно молодому человеку, имеющему здоровый желудок; а прочие — за осьмерых. По окончании завтрака всех утешило известие, что патер с барышником далее не поедут, и Лиль от радости, что, наконец, будет один, на свободе, с печальною незнакомкою и добрым своим швейцар<ц>ем, не заметил грубости патера, который не отвечал на его поклон, и улыбнулся, когда барышник, подражая неучтивцу, не снял перед ним шляпы, и только дотронулся до нее указательным пальцем

Наконец они одни; молчат, но взоры их выражаются красноречиво. Незнакомка всё ещё опускает глаза на колесо, но изредка и только тогда, когда они, подымаясь с робостию, встречаются с глазами Лилия и Турнейзена, оживленными трогательным, беспритворным участием. Сердца их в волнении; они скрывают свою чувствительность, и грудь незнакомки сильно колеблется; конечно, ангел-хранитель говорит ей: «Спасение! Спасение близко!» Тайное, магическое очарование чувства их окружило; ещё ни один не сказал ни слова, но уже доверенность, ясная спокойная доверенность между ними царствует: единая минута соединяет сердца истинно добрые; довольно единого взора, чтобы им узнать друг друга, полюбить и полюбить навеки.

Турнейзен первый нарушил молчание: голос его имел сей трепет, сию волшебную, увлекательную гармонию, которой никакая душа страдальца не может противиться, и менее всего тогда, когда растроганное чувство с прекрасным мужеским голосом сливает сии сладкие звуки, сие робкое трепетание, неподражаемые, невыразимые, единственные, к которым лицемерие подделаться не в силах.

— Вы с живостию и красноречием защищали несчастного творца «Элоизы», — сказал Турнейзен, — поверьте, что он заслуживает сожаления и любви всякого благородного сердца; но сильное ваше участие доказывает, что и вы сами имеете причину жаловаться на жребий!

Глаза незнакомки вновь наполнились слезами.

— Я многого требую, — продолжал он, взяв ее руку с видом уважения, — имейте доверие к тому почтительному чувству сострадания, которое не всякому сердцу чуждо... Мало таких горестей, которых бы дружеское участие, по крайней мере, не усладило; поверьте нашей честности — скажу более: поверьте сердцам нашим свое несчастье!

Девушка взглянула на него с благодарностию, хотела отвечать и вздыхала; долго не могла собраться с духом, наконец, решилась, начала говорить; но, вспомнив, что Лиль не сказал ей ни одного слова, опять замолчала и посмотрела на него робко. Высокое выражение чувства, горевшего на лице Лилья, могло бы совершенно успокоить ее — но он подал ей руку и начал говорить. Наш Лиль никогда не бывал многоречивым, никогда, и в самые минуты сильного исступления души — но каждое слово его, соединенное с магическим блеском взора, было непобедимо. Во всех чертах его сияла благородная душа, во всех движениях страстная высокая, чистая любовь к человечеству; животворящая отрада вливалась из глаз его во глубину растерзанного сердца... он сказал одно слово, и Жюльетта не могла противиться. Вот ее история. Тысячу раз прерывали ее рыдания, и часто одним стыдливым румянцем объяснялось то, чего уста ее выразить не смели.

Жюльетта была младшая дочь одного бедного офицера, который с семейством жил в маленьком шампанском городке Л... и, несмотря на свою нищету, сумел дать детям хорошее воспитание. Жюльетте было четырнадцать лет, когда он умер. Жители городка Л... называли её прекрасною, доброю, умною Жульеттою. «Ах! — восклицала она, — мои земляки такие добрые люди! Они любили меня искренно! Зачем несчастная моя участь привела меня в Париж? Что скажут теперь мои старые друзья? Не станут ли меня презирать? О Боже! Для чего они любили меня так много?»

Старшая сестра Жюльетты была совсем не похожа на нее характером: завистлива, своенравна, имела жестокое, нечувствительное сердце. Она ненавидела Жюльетту за милые свойства её души и ещё более за то, что все говорили о ней с похвалою. За всякое преимущество, которое соседи и молодые мужчины оказывали перед нею Жюльетте, платила она ей упреками и бранью. И более для того, чтобы избавить любимую дочь от тягостного тиранства сестры, нежели для искания места,



отправила её больная слабая мать в Париж к одной из ближних своих родственниц.

Родственница сия, добрая, любезная старушка, имела в Париже лавку, и Жюльетта должна была помогать ей вести торг. Она любила её как дочь, старалась, сколько позволял достаток, усовершенствовать её воспитание, нанимала для нее учителей, давала ей книги, возила её с собою в театр, обыкновенно называла Жюльетту нежным своим другом, своим утешением, своею радостью. Жюльетта любила её непритворно, почитала как истинную мать, но скоро, слишком скоро её лишилась. В час смерти добрая старушка, призвав к постели Жюльетту и Карла, своего сына, сказала последнему: «Жюльетта — добрая, рассудительная, порядочная девушка: она не хуже меня умеет содержать лавку. Ты любишь её, в этом я уже давно перестала сомневаться. Карл, друг мой! Дай слово умирающей матери, что Жюльетта будет твоею женою, и я расстанусь с жизнью без горя, умру в надежде, что дети мои будут счастливы». Жюльетта обливалась слезами, молодой человек плакал от всего сердца; охладевшая рука матери благословила союз их. Через минуту она вздохнула в последний раз, и дети затворили глаза её навеки.

Молодой Карл имел, как говорится, *добрый* характер, но справедливее, он не имел никакого характера. Безделица могла его растрогать, но самое сильное впечатление в одну минуту заглаживалось в его сердце. Примеры худые и добрые имели одинакое на него влияние. Мать научила его некоторым ремеслам, необходимым для её торга, но он пренебрег их, и место его в домашнем хозяйстве должны были заступить наемные люди. Ночь и день проводил он в развратном обществе бродяг, и возвращаясь домой, плакал, когда печальная мать с сокрушенным сердцем умоляла его исправиться, несколько дней трудился прилежно, наблюдал порядок, но первый праздный повеса уничтожал праздным словом его намерения, и снова предавался он распутству. В присутствии Жюльетты любил он её страстно и иногда ласкался к ней так живо, что скромная девушка с трудом могла противиться чрезмерности его исступления; но выходя за ворота своего дома, он забывал Жюльетту и бросался в объятия первой благосклонной попавшейся навстречу ему нимфы. В деревне и в маленьких городах люди такого свойства живут порядочно и честно; в столице бывают они совершенные злодеи.

Жюльетта любила Карла, который имел наружность прелестную, любила, несмотря на его недостатки, и более, нежели сколько позволено любить родственника, сына благодетельницы. Горесть его о потере матери была так непритворна, его намерения и планы так благоразумны, его обхождение с Жюльеттою так нежно и почтительно, что

сердце её не могло победить сего нового очарования: любовь поработила его своему могуществу.

Предав земле останки матери и возвратившись в дом, из которого существо, им любезное, навсегда сокрылось, приблизились они с содроганием к опустевшей её постели, взглянули друг на друга, обнялись, заплакали, произнесли клятву вечной верности и назначили день брака.

Но слишком кроткая невинность погубила Жюльетту: любовь и верная, близкая надежда принадлежать своему Карлу обольстили неподозрительную душу её... Ветренный Карл не сохранил обещания, данного матери у смертной её постели.

На другой день, будто для рассеяния, уходит он со двора и возвращается ночью: увы! Не скромная любовь, но чувственные удовольствия влекли его в объятия Жюльетты, и скоро для слабой души его потеряли они всю свою прелесть. Он пропадал по целым суткам и часто по нескольку ночей сряду не ночевал дома. Настал и прошел назначенный день для брака, прошли еще два дня — Карл не являлся. На третий он возвращается, видит Жюльетту в слезах. Бледную, обезображенную печалью, и сердце его тронулось; он целовал её руки, просил на коленях прощения — и могла ли не простить его Жюльетта? Назначили другой день для свадьбы: опять Жюльетта провела его уединенно, в слезах и тщетном ожидании. Скоро и самые трогательные упреки её потеряли силу: иногда отвечали на них угрюмым молчанием, иногда насмешкою, иногда — угрозами и бранью. О! Какое жестокое сердце нередко имеют сии так называемые *добрые люди*!

Карл, натурально, был расточителен, играл в карты, часто в один вечер терял он всё то, что бережливостию Жюльетты скоплено было в две недели; приходил в бешенство, когда в запасе её не оставалось денег; бранился, однажды осмелился обвинить в воровстве и даже ударить. Число товаров беспрестанно убывало в лавке: Жюльетта предвидела, что скоро принуждена будет её запереть или отдать займодавцам. В такой ужасной крайности решилась она писать к матери, призналась ей во всём (ожесточенный порок способен находить увертки, падшая невинность имеет одно раскаяние и слезы), просила позволения возвратиться в родительский дом, просила маленькой суммы денег на дорогу. С каким мучительным нетерпением ждала она ответа и сколько недель ждала его напрасно.

Однажды, смотря в окно, увидела она идущего Карла и затрепетала. Будучи принуждена, за недостатком товаров, отказывать покупателям, не выручила она в тот день ни копейки, вместо обеда съела кусок черствого хлеба и ожидала новых оскорблений от Карла, когда на вопрос его, есть ли деньги, будет принуждена отвечать одним мол-

чанием. Но он вошел в горницу с веселым лицом, поцеловал её, посадил на колени: Жюльетта сносила его ласки с горестным равнодушием, навсегда отказавшись от надежды; но будучи характера тихого, не имела она довольно твердости, чтобы на всё новые требования отвечать одним презрением.

— Жюльетта,— сказал Карл, — время подумать нам о свадьбе.

Жюльетта, не говоря ни слова, опустила глаза на высокую грудь свою: четыре месяца, как была она беременна.

— Но прежде, — продолжал он, — должны мы привести в порядок свои дела: хочу исправиться, не быть расточительным и знаю прекрасное средство нажить много денег. Мы выплатим свои долги (Жюльетта не имела на себе ни копейки долгу); накупим опять товаров, обвенчаемся, будем счастливы, и надежда матушки исполнится.

Жюльетта с недоверчивым унынием смотрела в глаза Карлу и качала головою.

— Послушай, — продолжал он, — герцог Л... имел случай тебя видеть, прекрасные твои глазки зажгли его сердце; короче, он обещает мне через своего камердинера сто луидоров, если ты согласишься... иметь с ним свидание.

— Изверг! — воскликнула Жюльетта, отскочив от него с негодованием, — кому осмеливаешься делать такое предложение? Невесте? Матери твоего ребенка! Удались! Ты мне противен! Я не соглашусь быть твоею женою и тогда, когда от голоду буду умирать посреди улицы.

Жюльетта убежала в свою комнату, заперлась и бросилась в отчаянии на постель; Карл с бешенством вышел из лавки и так сильно хлопнул дверью, что стены маленького домика задрожали. Вечеру возвратился он домой, казалось, чувствовал раскаяние; по крайней мере, был смирен и ласков. Жюльетта сидела печально и тихо в своей комнате, и Карл во всю ночь не сходил со двора; несколько раз стучался у её двери, но они были заперты... увы! Для чего бедная Жюльетта не всегда сохраняла сию предосторожность! — И следующий день провел он дома: просил на коленях прощения у Жюльетты, божился, что только хотел её испытать, плакал, называл её ангелом, умолял, чтобы она хотя из любви к своему ребенку, если к нему не чувствовала уже ничего, кроме отвращения, согласилась назвать его своим супругом

На следующий день был праздник, лавка Жюльетты не открывалась. Карл почти насильно увел её гулять, заманил к ресторатору, напоил из собственных рук шоколадом, и в то самое время Жюльетта почувствовала необыкновенное расслабление во всем теле. Карл, побежав за водою, не возвращался. Увы! Обманутая, несчастная Жюльетта... но не скажу ни слова. В неопisanном отчаянии, собрав последние силы,

пошла она домой. Карл не показывался на глаза её; два дня и две ночи просидела она взаперти, ничего не ела, не замечала ни утра, ни вечера и даже не хотела плакать.

На третий день приход полицейских служителей пробудил её от бесчувствия. Герцог Л... обманул Карла: он отдал ему одну четвертую долю обещанных денег; сумма, которой не достало и на половинную уплату долгов его. В отчаянии проиграл он их одному из сообщников своего распутства и на другой же день записался в солдаты. Займодавцы спешили захватить его пожитки. Жюльетта на вопрос, какие вещи принадлежали ей в доме, указала на один небольшой ларчик, который подали ей в руки; потом вывели её на улицу, захлопнули за нею дверь и запечатали маленькую лавку.

Подумайте о страшном положении Жюльетты! Лишенная чести, больная, выгнанная из дома, без всякого пристанища среди обширной столицы... одно бесчувствие спасло её от самоубийства; грудь ее раздражалась, голова кружилась, без памяти бежала она по улице: видит отворенную церковь, бросается в неё с некоторым испуганием, стремится к алтарю и падает ниц у подножия. О Провидение! Во храме твоём ожидал её утешитель!

Духовный отец её, старый добродушный священник, находился в церкви; давно не видав Жюльетты, обрадовался он искренно нечаянной встрече. Приближается, ждёт, чтобы она встала, начинает с нею говорить, она не отвечает; берет её за руку, она подымает голову, смотрит на него мутными глазами и молчит.

— Жюльетта, что с тобою сделалось? — спросил священник. — Где твоя тетка?

Жюльетта вздохнула, посмотрела на землю.

— Они зарыли её, — сказала она холодно. В тоне её голоса было что-то ужасное, нечувствительное, отчаянное; старец затрепетал.

— Что с тобою сделалось, Жюльетта? — повторил он, смотря ей в глаза с нежною робостию доброго сердца, которое боится найти несчастного...

— Ничего, — отвечала Жюльетта, — меня лишили чести, продали, выгнали из дома...

Тут упала она без памяти к ногам священника.

— О, Творец Всевышний! — воскликнул старик, воздевая глаза на небо и содрогаясь.

Он поднял и положил на скамью бесчувственную Жюльетту, тёр ей виски, жал ее охладевшую руку и орошал слезами бледное лицо несчастной. Через минуту глубокий вздох поколебал её грудь: она взглянула, узнала своего старинного друга, улыбнулась горестно: «Ангел-храни-

тель», — сказала она, прижавшись лицом к груди его, залилась слезами — и слезы спасли её от смерти.

Священник благодарил Провидение за то, что оно определило ему спасти непорочность; отвел Жюльетту к одному искусному лекарю, своему приятелю, а сам решился просить за неё милостыню, надеясь трогательным изображением её судьбы возбудить сострадание в сердцах богатых своих прихожан.

Лекарь положил больную в постель, пустил ей кровь. Жюльетта без всякого прекословия исполняла его предписания, пила лекарства, была тиха и покорна. Скоро открылась в ней сильная горячка, и дней через пять родила она мертвого ребенка. Благодаря попечениям лекаря и добродушию священника, который всякий день по несколько часов просиживал у постели её, стараясь кроткими утешениями религии возбудить в ней бодрость и возратить ее сердцу доверенность к таинственным намерениям Промысла. Скоро Жюльетта, подкрепленная телом и более спокойная в душе, оставила гостеприимное жилище медика, своего спасителя; священник нашел ей место ключницы в одном женском монастыре, который находился не в дальнем расстоянии от Парижа.

Наконец, думала Жюльетта, имею спокойное пристанище.., но она ошибалась: в стенах монастыря спокойствие не обитает. Жюльетта усердно исполняла должность свою, но глаза деятельного любопытства присматривали за нею с подозрением. Вскоре заметили, что она читала — и не одно житие святых или Библию, а иногда и философические сочинения, историю, стихи: важный проступок в глазах завистливого невежества! Скоро, каким-то несчастным случаем, открылось, что Жюльетта в доме лекаря до вступления своего в монастырь мучилась не одною горячкою: страшное волнение! — Бедной Жюльетте приказано немедленно оставить монастырь, который она срамила своим присутствием. Проливая слезы, моля небесного Творца подать помощь, в которой отказывали ей жестокие люди, собирает она остатки своего имущества и готовится идти из монастыря.... Приносят письмо, надписанное на её имя. Жюльетта узнает на обертке руку сестры, и сердце её облилось кровию — более полугода, как матери её не было на свете. «Матушка твоя, — писала к ней сестра, — оставила тебе одно благословение и пустую суму. Сама я замужем, имею детей, живу скудно и не в состоянии содержать нищих; могу, однако, чтобы избавить сестру свою от распутной жизни, а имя наше от стыда, отпустить свою работную девку, а тебя взять на её место».

Какой печальный жребий представило будущее глазам Жюльетты! Сердце её замирало. Но где найти убежище? По крайней мере, в доме

сестры будет она иметь кусок хлеба... кусок, облитый горькими слезами! Но где же она не будет проливать слез? Подумала, решилась, продала последнее: золотое кольцо, подарок своей тети; наняла место в дилижансе... Там нашла она Турнейзена и Лиля.

Жюльетта, кончив печальную повесть, вздохнула и с робостию посмотрела на своих спутников. Турнейзен сидел, потупив голову, в глазах его пылало меланхолическое пламя. Лиль казался вне себя, с диким, отчаянным видом ломал свои руки и двигался от нетерпения на подушке; сама Жюльетта почувствовала к нему сострадание, хотела его успокоить — но чем? Каким утешительным словом?.. Сердце её стеснилось, она прижалась в углу кареты и в тихом унынии отирала слезы свои одну за другою. Лиль, завернувшись в плащ, не говорил ни слова; Турнейзен молчал; изредка тихие, одни горестные вздохи прерывали сие глубокое безмолвие. Наконец приехали в Параклет; дилижанс остановился у трактира.

Лиль, выходя из кареты, подал молодой девушке руку и повел её с собою в горницу.

— Нет, Жюльетта, бедное, жалкое, любезное творение! — сказал он. — Не ездь к сестре; бесчувственные люди не будут понимать твоё несчастья; жестокость их безвременно тебя погубит; в целом мире не существует для тебя ни одна сродственная душа, напрасно будешь искать гостеприимного убежища... вверь мне свою участь; милый друг! Я знаю место, в котором примут тебя как чистую, священную жертву несчастья; знаю великодушную женщину, которая откроет для тебя свои объятия, в которой найдешь истинную мать, которой нежная рука отрет горестные твои слёзы.

Он поцеловал Жюльетту в щеку и сел писать к приятельнице своей письмо. Читатель со временем его прочтет; быть может, оно есть красноречивейшее произведение человеческого духа, оживленного состраданием и любовью к человечеству. Читатель услышит могущественный голос великого несчастливца, говорящего в пользу несчастий чуждых, говорящего с таким жаром, с каким никогда, никогда не выражал он страданий собственного своего сердца.

Он описывает судьбу Жюльетты, требует благодарности за смелую доверенность к великодушию своего друга, которому так свободно вверяет жребий непорочности; наконец в заключении говорит: «Провидение дает подобные несчастья такому только сердцу, которое определяет для самых возвышенных добродетелей: душа, которая способна не унизиться в подобных положениях, есть существо совершенное, и всё великое принадлежит ей по праву. Вас назначаю хранительницею её жребия, и сердце моё довольно своим выбором. Вы желали иметь друга,

достойного делить с вами материнские попечения о ваших детях: он готов — чувствительный, верный, способный украсить сердца их всеми совершенствами добродетели! Примите из рук моих сие редкое, испытанное судьбою, очищенное, доверенное создание!»

Наслаждаясь в глубине сердца сделанным добром, Турнейзен и Лиль пошли ко гробу Элоизы. Жюльетта, которой художник всунул в руку луйдор, простившись со своими друзьями, отправилась в N., где жила приятельница Лиля, и прямо в дом, назначенный на адресе, отдала письмо лакею, а сама осталась в прихожей ожидать с сердечным беспокойством решения своей участи. Она ждала довольно долго: письмо было длинно, и благородная приятельница Лиля не скоро могла прийти в себя от сильного волнения, которое произвело в ней трогательное красноречие друга её.

Наконец двери открылись — стройная, прелестная, величественная женщина, словом, милади Говард, с видом благосклонности, с приятным, ободряющим взором идет к Жюльетте:

— Милая Жюльетта! — говорит она, — забудь в моих объятиях несчастную свою участь! Руссо не обманулся, когда уверил тебя, что в доме моем найдешь пристанище: без всякого покровительства была бы ты для меня священна! Теперь имею случай доказать Ж.-Ж. Руссо, что я достойна его дружбы.

— Как! — воскликнула Жюльетта. — Руссо, великий, несчастный Руссо мой избавитель!..

Она упала на колени, и глаза ее, полные слез, с выражением благодарности, устремились на небо. Прелестная милади плакала; они обнялись, и минута сия была началом нежного, сладкого, неразделимого союза.

*Меркель*

## ТРИ СЕСТРЫ. ВИДЕНИЕ МИНВАНЫ

Вся наша жизнь была бы одним последствием скучных и несвязных сновидений, когда бы с настоящим не соединялись тесно ни будущее, ни прошедшее — три неразлучные эпохи: одна украшает другую, одна от другой заимствует прелесть.

Ныне минуло мне пятнадцать лет; я гуляла по берегу реки; приятное, меланхолическое воспоминание о прошедшем наполняло мою душу — тогда была я счастлива, я счастлива и теперь, и в будущем предчувствую одно счастье. Прошедшее, настоящее и будущее сливались для меня в одно сладостное чувство<sup>1</sup>.

Солнце спокойно склонялось к голубым холмам; вечерние лучи его золотили поверхность озера; мелкие острова, на нем рассеянные, будучи осыпаны розовым блеском заката, казались воспламененными и прозрачными. Вечерний ветерок разливал прохладу: все успокаивалось; стада бежали с полей, пастуший рог вторил отдаленному соловью, и песня рыбака, который плыл один на маленькой лодке посреди озера, неслась ко мне по гладкой поверхности вод.

Я шла, задумавшись, — нечувствительно очутилась у зеленой дубовой рощи<sup>2</sup>, растущей на полугоре, и вдруг вижу перед собою трех молодых девушек, совершенно сходных лицом, прекрасных, цветущих, как майский день. Одна сидела под старым дубом, облокотившись на урну, обвитую лилиями, незабудками и кипарисом; другая лежала небрежно на траве под розовым кустом, а третья смотрела на заходящее солнце: в глазах ее блистало какое-то сверхъестественное пламя; величественное лицо, озаренное лучами солнца, казалось нечеловеческим<sup>3</sup>. Я удивилась, не знала, идти ли к ним, или удалиться; но одна из них — та, которая лежала под розовым кустом, — подлетела ко мне, как легкий ветерок, и, улыбаясь, сказала: «Милый друг, не удаляйся, пойдем со мною, я познакомлю тебя с сестрами. Сядь под этот розовый куст: розы мои так же чисты и нежны, как твоя красота; их сладкий запах так же привлекателен, как непорочность твоей души, и сама жизнь твоя не иное что, как распускающаяся роза. Да сохранятся вечно ее приятность, ароматы и свежесть!»

Мы взялись за руки и побежали; новая знакомка моя, подавая мне розу, сказала: «Подарок в день твоего рождения!»<sup>4</sup>. Старшая сестра — та, которая сидела под дубом, облокотившись на урну, устремила на меня задумчивый взгляд, и душа моя невольно наполнилась унынием, когда я всмотрелась в черты ее лица, веселого, но вместе и прискорбного; тайная сила влекла меня к ее сердцу, но я не смела приблизиться и молчала.

«Ты нас не знаешь, мой милый друг! — сказала она мне ласково. — Мы сестры. Я называюсь *Прошедшее*; имя средней моей сестры, которая подарила тебе розу — *Настоящее*, а младшей — *Будущее*; иначе называют нас<sup>5</sup>: *Вчера*, *Ныне*, *Завтра*. Мы неразлучны; тот, кого полюбит одна, становится любезен и другим; противный одной необходимо должен быть противен и прочим.

Милая Минвана, прекрасное создание природы! Ты будешь<sup>6</sup> нам любезна — ты рождена для счастья; святое провидение сохранит тебя на пути жизни.

Теперь, начиная только жить, ты можешь и должна любить одну сестру мою *Ныне*, приятную, живую. Друг мой! Играй душистыми



розами, которые дарит она тебе с веселою улыбкою; знай, о Минвана, что свежесть и ароматы их не исчезнут, доколе в сердце твоём, ещё спокойном и чистом, сохранится невинность.

Дружась с сестрою моею *Ныне*, ты приготовишься любить и меня и сестру мою *Завтра*; наступит, наступит время, когда почувствуешь, что дружба наша для тебя необходима — желанья и надежды откроются в безмятежной твоей душе, а розы настоящего... никогда не родятся<sup>7</sup> без шипов.

Тогда, мой друг, моя привлекательная, тихая Минвана, веселая *Завтра* да будет твоим прибежищем! Смотри... Она указывает тебе на отдаленный запад: там сияет величественное солнце, там ясный закат напоминает о ясном утре!

Мой друг! Наслаждаясь непорочно розами настоящего, ты будешь с веселием чистым, с надеждою безмятежною смотреть на сию привлекательную отдаленность *Будущего*: веселие и надежда — сопутницы непорочности.

«А если, мой друг, обманутая красою розы, уколешься ее шипами<sup>8</sup>, то спокойная доверенность к сестре моей *Завтра*, единый взгляд на очаровательные предметы, которые она открывает вдали, должны усладить твое страдание. Но такое услаждение получает одна непорочность!

Иногда — о сохрани тебя, Творец, моя невинная Минвана — иногда неприязненный жребий затмевает утешительный блеск отдаленного; будущее скрывается; самое настоящее, утратив свою веселость, облекает себя покровом печали... Минвана, сестры мои, привлекательные лицом, непостоянны: люби их, но берегись измены!

В сии минуты испытания, минуты одиночества души я буду с тобою... Во мне ищи утешителя и друга. Я твоя. *Прошедшее* с тобою неразлучно! Близ урны моей оживет для тебя утраченное в настоящем и заменятся веселые призраки будущего; близ урны моей под сумраком кипариса, обитает воспоминание, которое говорит о том, что было и чего уже нет; задумчивая меланхолия, которая наслаждается скорбью, любит одно минувшее, носится мыслию над гробами, и в сетованиях о мертвых находит сладость. С невинностию, твоею подругою, приди под сумрак моего кипариса: в беседе моей найдешь отраду. Близ урны моей ты будешь наслаждаться сама собою, и нечувствительно с лица настоящего спадет печальный покров; прискорбная *Ныне* опять улыбнется, и ветренная *Завтра* опять прилетит к тебе со своими мечтами.

О мой друг, придет время оставить цветущую долину жизни; тогда ни горестные моления дружбы помедлить, не удаляться, ни тщетная

привязанность к прелестному бытию, которое угасает, ничто не удержит тебя посреди милых, покидаемых навеки.

Тогда явемся пред тобою вместе<sup>9</sup>, в новом сиянии, преображенные, навсегда неразлучные. Каким восхитительным блеском озарится для тебя отдаление будущего! Бессмертие, оправдание надежд и веры, награда... О Минвана, вся твоя жизнь да будет приготовлением к сей минуте.

Иди, мой друг, иди, не опасаясь той неизвестности, которую покрыты пути сей жизни: небесное провидение твой хранитель. Верь его присутствию, верь его наградам. Счастье неотъемлемый удел непорочности! Но где, и когда?.. Это тайна».

Она замолчала. В эту минуту закатилось солнце; и небо, и воды, и поля померкли. Ищу глазами прелестных богинь, но привидение исчезло... чувствую одно веяние ветерка, благовоние лилий и роз, слышу одну гармонию источника, тихо льющегося у ног моих по камням<sup>10</sup>.

## О НАЗНАЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

(Отрывок)

Человек! Ты ищешь места своего на земле, ты хочешь знать свое определение? Возьми рассудок и опыт, рассмотри человечество; узнай, каков человек — быть должен и есть; взгляни на дикого и образованного, монарха, нищего, мудреца, невежду, абозита, Вольтера, самого себя и гренландца, дремлющего в дымной хижине — всех, произведенных с одинаковой целью — собери голоса, уклони под тень Сократа двора, и сравнивай!

Место и звание твое на земле — ужели неизвестны они тебе, о смертный? Неизмеримая вселенная исполняет намерения Творца; природа есть выражение великой мысли Его, и твари — единые знаки сего таинственного языка. При каждом новом приемлемом ею виде новая мысль бесконечного приходит в исполнение; животное движется и чувствует согласно с законами Создателя, и самая непокорность человека не может их нарушить; его упорство и слепота, переходя чудесными путями в совершенную гармонию, удовлетворяют намерениям Всевышнего. Покорствовать им есть назначение всех тварей вообще и твое собственное, о смертный!

Но ты имеешь нечто особенное, принадлежащее тебе, как человеку: можешь искать совершенства и к нему приближаться. Жизнь твоя есть непрерывное усилие раскрыть таящиеся в тебе свойства; силы твои в

беспрестанном стремлении к образованию. Умри младенцем или старцем — уже ты несравненно совершеннее в минуту конца, нежели в минуту начала, и расстояние от зародыша до младенца, быть может, гораздо более, нежели от школьника до Невтона.

Не имея ни книги, ни училищ, ни законов, гренландцы проводят печальную однообразную зиму в тишине и семейственных удовольствиях и, видя просвещенных колонистов, которые непрерывно возмущают друг друга враждою, говорят: конечно, эти люди забыли, что они люди! Человек — чем бы он ни питался, хлебом, морскою рыбою, кореньями — собирает на земле бесчисленное множество понятий, мнений, чувств, познаний; дикарь, рассматривающий дерево и составляющий об нем ясную идею, чувствует, раздробляет, сравнивает, судит, мыслит, заключает, словом, приводит в движение все душевные силы и, следственно, совершенствует их.

Мятежи, убийства, гонения, сумасшествие не препятствуют погибающим или служащим орудиями гибели приобретать на земле умственные понятия. Какая малость, ты скажешь. Но знаешь ли, о человек! Сколь много принадлежит к одному умственному понятию? От темного чувства в матернем чреве до первой ясной и определенной мысли — какой переход! Какое расстояние!

Истинное назначение человека на земле, общее мудрецу и невежде — хотя в различной мере для того и другого — есть совершенство душевных качеств, согласное с творческими видами: высокая, благородная цель, искони указанная ему Провидением.

Совершенство!.. Но душевные силы человека способны ли беспрестанно к нему возвышаться? Конечно! Если только сохранять равновесие между собою и с чувственными, телесными силами — условие необходимое. Горе тому, кто разрушает сей порядок! Ты хочешь *исключительно* усовершенствовать единую память, но ты приводишь ее в излишнее напряжение и должен наконец потерять рассудок.

А качества Верховного Правителя?.. О! В каком блеске являются сии качества, достойные любви, достойные обожания! Премудрость! Благость! — Сей несказанно мудрый, несказанно благодетельный Создатель человека послал его на землю, да совершенствует силы свои беспрестанною деятельностью: намерение, которое обнаруживается в самой натуре наших склонностей, желаний, страстей, в наших удовольствиях, неудовольствиях, прихотях и самой суетности! Человек необразованный чувствует силу сих побуждений, хотя не может определить ее словами; образованный разбирает ее и тем счастливее, чем согласнее свободная воля его с истинным определением склонностей, данных ему натурою, с верховною целью Вседержителя.

Но сей благотворный Создатель имеет ли в рассуждении нас еще другие намерения, которые должны мы исполнить здесь, в пределах земной нашей жизни? Конечно; ни единая сущность не гибнет; доколь продолжается ее бытие, до тех пор исполняет она намерения Неисповедимого — везде, на всяком месте!

Но будущее состояние человека соединено ли с настоящим? — Так тесно, как все намерения Творца, единую, неразрывную цепь составляющая; как мысли, выливающиеся одна из другой в порядок пространного, философического рассуждения; ничто последующее не может существовать без предыдущего: цветок, опадающий от дуновения северного ветра, семя, не дающее плода, тлеют и разрушаются; но части их, приемля новый образ, в сем новом образовании своем не менее согласуются с предначертанием Создателя, и для сего — одному необходимо надлежало быть цветком, другому семенем.

И там, о человек, и там будешь служить Божеству; но силы твои должны наперед приобрести некоторую степень развития так точно, как и начала твоего бытия наперед храниться в крови родителя, чтобы со временем ты мог сделаться человеком. В божественном плане царствует единство цели: всякая второстепенная цель есть в то же время и средство; каждое средство должно быть вместе и целью. Не мысли, чтобы настоящая жизнь была одно приготовление, а будущая только цель ее, та и другая суть цель и средство: намерения Творца и изменения каждой сущности равно простираются до бесконечности.

Смотри: небесные врата отверзлись, голубоокая дочь Юпитера является, сопутствуемая духом великого Лейбница, ее любимца. Внимай, о человек!

— Знайте, бессмертные чада земли! — говорит она, — ваш жребий во всех возможных порядках вещей *одинаков* со *всеми* гражданами духовного мира. Вознесенный на самую верхнюю степень и ползающий на самой низкой стремятся к одному и тому же назначению. Не будь, о человек, презренным в собственных своих глазах, хотя кажешься неприметным червем на сей пылинке, исчезающей в неограниченной обширности вселенной. Как член духовного общества, как будущий гражданин Божия града, принадлежишь ты к благороднейшей части творения; что происходит с тобою, то равномерно должно происходить со всем необъятным духовным миром.

Когда Всевышний Отец решил творить миры, тогда представились очам моим возможные чертежи их: надлежало избрать достойный Создателя. Я отвергла оный беспорядочный хаос, в котором выгоды мира духовного приносились в жертву иным намерениям; ничто высокое не должно уступать низшему; отвратила взоры при виде начертания,

по которому духовным силам надлежало уничтожиться *вдруг*; отинула чертеж, в котором силы сии несколько времени совершенствовались и потом опять утрачивали приобретенное — работа Сизифа! Ничто не должно оставаться бесплодным! Добро уступит ли злу, всегда приносящему плоды свои? Во всяком новом состоянии, спросила я самое себя, должно ли воспоминание о прошедшем быть принадлежностью духа? Сомнение мое исчезло, когда я помыслила, что переход к понятиям высшим от низших естественно соединен с воспоминанием: не много случаев, в которых оно быть может уничтожаемо. Далее открылось мне, что воспоминание сие благотельно для бессмертного духа в моральном его совершенстве; одно оно удовлетворяет строжайшему правосудию, одно оно обнаруживает в другой жизни всё темное и непонятное в настоящей.

— Приблизься, мой сын, — продолжала богиня, обращаясь к своему любимцу, — ты мыслишь, полагаясь на веру чувства, что нет беспорядка ни в каком начертании творческом, что все устроено в совершенстве и не имеет нужды в развитии; но *ясность* сего уверения, которая озарит твой рассудок в будущей жизни, уверения, что все устроено в совершенстве, что многое, не будучи беспорядочным, имело единую наружность беспорядка — не есть ли само по себе *развитие*? Отец мой откроется каждому духу, и каждый дух оправдает Отца моего.

Помысли еще, мой сын: Сократ, сей счастливый и высокий дух, не надеясь и не желая награды *внешней*, быть может, находил ее в высоком, *внутреннем* чувстве добродетели — и так на земле, в кругу самых убийц и клеветников, ничто не казалось ему неизъяснимым и темным. Великая душа не жаждала мщения! Но состояние губителей... ужели и для них не было мрака? Ужели сии несчастные никогда не должны узнать, что мучить непорочность, терзать в оковах добродетель, укреплять суеверие и быть губителями правосудия есть гнусное злодейство? И души их ужели навеки должны сохранить свою испорченность и заблуждение?

Итак, мой сын, ты видишь, что в нравственном мире не все находилось бы на своем месте, когда бы настоящая жизнь не была объясняема будущею. То же самое и в физическом — и вся натура твоя не возмущается ли при одной мысли, что сии злодеяния порочного и сии горести добродетельного должны исчезнуть, как сновидения? Где же будет устройство и правосудие, когда невинно утесненный должен издыхать от голода на трупах своих детей для того, чтобы исчезнуть и уничтожиться навеки? Что ж, если он будет существовать, и муки сии сделаются сладкими в воспоминании?.. О божественная, умиротворяющая надежда!

Ты не одобряешь такого необратимого желания, такой нетерпеливой жажды правосудия; ты сравниваешь их с низкою мстительностью черни! О мой сын! И самые испорченные склонности должны иметь натуральный источник, чистый и влиянный в душу самим Создателем. Так же невозможно искусственной склонности родиться без помощи натуральной, как и посредством навыка или усилий сообщить движение такой части тела, которая не имеет мускулов. Мстительность грубой черни имеет в основании тайную склонность: *обнаруживать моральную злобу физическим злом*; привычка и воспитание, исказив сию невинную склонность, преобразуют ее в низкую мстительность, но посему должны ли мы смотреть на нее предубежденным оком?

Так говорила богиня — слова ее и тихая благодать, сиявшая в небесных очах, наполнили радостию мою душу: чувствую силу и мужество! Готов отражать сомнения, унижительные для человека и его Создателя.

Какое назначение человека, вопрошают меня опять. Ответствую: назначение высокое и благородное, в состоянии разумном и свободном исполнять намерения Творца, жить, совершенствоваться и в совершенстве своем находить прямое счастье.

Но в чем же состоит назначение сего множества ограниченных, сих бедных слепцов, не способных постигнуть его силою мысли? — В покорном стремлении к нему без дальнего умствования и разбора: тела небесные не повинуются ли вечным законам, для них неведомым и тайным?

Но столько младенцев умирает у самых сосцов матерних? — И каждый более или менее успел образоваться, хотя бы то было посредством способности чувствовать, начинающей действовать в самой утробе матери. Какое множество перемен — удивляюсь, когда помыслию — сколько развития до той минуты, как семя животной твари, принявши образ, начнет ощущать голод, теплоту и внешние впечатления! И можно ли вообразить, чтобы оно, переходя из низшего состояния в высшее, не делалось способнее соответствовать мыслям Создателя? И семя, не дающее плода, ужели гибнет? О нет! Оно только отклоняется от обыкновенного пути своего, и самое сие отклонение соответствует божеским видам.

Для чего же находим такое бесчисленное множество способностей, которые здесь на земле не получают возможного им образования? — Здесь на земле! Возможного им образования! Но разве премудрость верховная не может иметь намерений тайных? Осмейся отвечать решительно! И в настоящем порядке вещей, сие бесчисленное множество способностей ужели не могут в новом состоянии соответствовать

намерениям Творчим, не перешедши всех степеней возможного земного образования?

Для чего же некоторые? Для чего не все? — Колеса в часовой машине, различные величиною и формою, собраны с одинаким намерением: одно движется быстро, другое медленно, в третьем движения совсем незаметно. Для чего же, когда все они соединены с одинакою целью, не все обращаются с одинакою быстротою или одинакою медленностию? Но таковы непрременные законы: единство цели требует разнообразия в назначении частей!..

О человек! Утешительная вера да будет прибежищем твоим в сомнении!

*Мендельзон*

### **БОМАРШЕ В ИСПАНИИ (\*)**

Я имел счастье быть подпорою моего семейства: домашнее согласие, тихие, безмятежные дни, благодарность старика-отца были моею наградою за все пожертвования, сопряженные с обязанностию семьянина. В кругу родных забывал я несправедливость людей и злобу моих жесточенных гонителей.

Я имел пятерых сестер — две находились в Испании, в доме одного из наших корреспондентов; я очень мало их помнил, почти не знал в лицо, любил по слуху: родственная наша связь заключена была в одной переписке.

В феврале 1764 года батюшка получает от старшей письмо следующего содержания:

«Бедная моя сестра в отчаянии: она оскорблена опасным, имеющим великий кредит человеком, который два раза предлагал ей руку, два раза был принят благосклонно и два раза оставлял ее, не объяснившись, без всякого со стороны ее повода; горечь и чувство обиды расстроили здоровье сестры моей, нервы ее ослабели, несколько дней лежит без движения, не может говорить и только дышит: состояние, близкое к смерти, и мы боимся навсегда ее лишиться!

---

(\*) Мне показалось, что этот отрывок может быть приятен для читателей «Вестника». Бомарше, остроумный сочинитель комедии «Фигарова женитьба», обративший на себя в 1780 году глаза Европы смешною тяжбою с Гезманом<sup>1</sup>, сам описывает случившееся с ним в Испании. Повесть сия, имеющая приятность романа, но истинная во всех подробностях, помещена в одном из его «Memoires», которые и теперь читаем с великим удовольствием, хотя они потеряли уже свою новизну и не могут нравиться своим содержанием. Ж.

Это печальное происшествие наделало много шуму в Мадриде; невинность сестры моей всем известна, все вообще уважают ее; но вероломный человек, который умел так хитро обольстить ее сердце, занимает видное место в свете — конечно, большая часть публики перейдет на его сторону; мы скрываемся, молчим, и я должна еще утешать бедную, больную сестру, утешать тогда, когда сама имею нужду в утешении и подпоре.

Не может ли братец найти случай рекомендовать нас французскому посланнику? Его покровительство могло бы служить нам прибежищем и избавить нас от многих неприятностей, а может быть, и притеснений: коварный обманщик, вредя нам клеветами, осмеливается еще делать и угрозы».

Я находился в то время в Версале; батюшка приезжает ко мне, показывает со слезами полученное им письмо и говорит:

— Мой друг! Подумай, имеешь ли какое-нибудь средство помочь этим несчастным? Они так же твои сестры, как и другие.

Тронутый несказанно печальным положением моих сестер, я отвечал батюшке:

— Какого покровительства для них искать? Почему знать, что не сами они причиною своего несчастья? Быть может, заслужили его неосторожностью своего поведения. Чего мне для них требовать, и что я должен говорить об них в свете?

— Нет, мой сын! — отвечал батюшка, — я имею доказательства их невинности: вот письма посланника к старшей твоей сестре; он выражается с глубоким уважением к обеим.

Прочитав письма, я успокоился. Выражение *«они так же твои сестры, как и другие»* сильно потрясло мою душу; я сказал:

— Не мучьте себя напрасною горестию, батюшка! Вверьте судьбу их моей дружбе. Намерение мое должно вас удивить, но оно благоразумно; по крайней мере, не могу ничего лучшего придумать; теперь же увижусь с некоторыми людьми, которые, как пишет Эмилия (старшая моя сестра), быв очевидцами происшествия, могут засвидетельствовать невинность Лоры (младшей сестры), и если буду доволен их словами, беру отпуск, еду в Испанию, наказываю обманщика; вы увидите их здесь, спокойных, счастливых, довольных своим состоянием в объятиях отца и брата.

Успех осведомлений моих разгорячил мне сердце; лечу в Версаль, сказываю принцессам\*, что горестные, нежные обстоятельства, при-

---

\* Сестры Людовика XV, Mesdames de France. Бомарше, искусный музыкант, учил их на гитаре и арфе. Принцессы были к нему отменно благосклонны и реко-



нуждающие меня отказаться от всех обязанностей по службе, требуют моего присутствия в Мадрите, и прошу отпуска.

Принцессы удивились, с милостивым участием расспрашивали о моих обстоятельствах. Я показал им письмо сестры.

— Поезжайте, господин Бомарше! — сказали они, — будьте благодарны! Ваше намерение делает вам честь. Уверяем вас, что вы найдете покровителей в Испании: мы, с своей стороны, будем с удовольствием рекомендовать вас посланнику.

Я не терял ни минуты; образ умирающей сестры, которую надлежало спасти, мучил мое воображение. Министр поручает мне вести некоторые переговоры в Испании о деле весьма важном для торговли французской; а покровитель мой, г. Дюверне, прощаясь со мною, говорит мне почти со слезами:

— Бомарше, друг мой! Желаю тебе успеха! Спаси свою сестру! Что ж принадлежит до поручаемого тебе дела, то будь исправен и помни, что я тебе подпора; во всем полагаюсь на твои сведения, расторопность и усердие. Вот ассигнации на двести тысяч франков<sup>2</sup>: знаю, что деньги будут тебе нужны. Поезжай и будь счастлив!

Оставляю Париж, еду без отдыха день и ночь. Французский купец, которого батюшка и сестры, тайно от меня, просили за мною следовать, занимает место в моей карете, сказав, что имеет дело в Байонне.

Приезжаю в Мадрит 18 мая 1764 года в одиннадцать часов утра; меня ждали. Нахожу у сестер нескольких приятелей, которые, услышав о близком моем приезде, собрались к ним, желая увидеть меня и узнать. Эмилия и Лора, вышед ко мне навстречу, заплакали; я прижал их к сердцу и в эту минуту живо почувствовал, как сладостно быть защитником творений любезных и слабых!

Давши успокоиться первым движениям чувства, я сказал сестрам:

— Не удивляйтесь моей поспешности; желаю, чтобы сию же минуту, в присутствии почтенных людей, которых имею удовольствие здесь видеть и которых смело называю друзьями, потому что они друзья и вам, вы рассказали мне все подробности печального вашего приключения. Хочу знать истину; в противном случае намерения мои не могут быть исполнены с успехом.

Повесть была продолжительна, и ни малейшая подробность не забыта.

— Мой друг, — сказал я Лоре, — будь спокойна! С удовольствием замечаю, что ты не имеешь никакой привязанности к этому веролом-

---

мендовали его г. Дюверне, которого привязал он к себе любезным и добрым своим характером. Ж.

ному человеку: следовательно, могу действовать свободно. Скажите, где его найти?

Все в один голос закричали, что я не должен ничего начинать, не выдавшись прежде с посланником, человеком благоразумным и осторожным; что я имею дело с соперником опасным, который известен с хорошей стороны публике и в силе при дворе; что надобно непременно как можно скорее ехать в Аранжуец<sup>3</sup> к маркизу д'Оссеню (посланнику); что прежде не должен я никому показываться в Мадриде.

— Ваши советы очень благоразумны, друзья мои, — отвечал я, — найдите мне дорожную карету, завтра в десять часов утра я у посланника. Единственное мое требование: не разглашайте ничего до возвращения моего из Аранжуеца.

Одеваюсь на скорую руку, иду со двора, спрашиваю, где живет дон Иосиф Клавиго, хранитель государственного архива<sup>4</sup>; мне указывают его дом; прихожу; говорят, что он вышел, что я могу найти его у г-жи NN; спешу туда, нахожу господина Клавиго, окруженного дамами; сказываю, что я приезжий француз, что мне поручено важное, касающееся до него дело; что я желаю как можно скорее переговорить с ним наедине — он приглашает меня к себе на другой день в девять часов утра, и я даю слово пить у него шоколад, вместе с моим товарищем, французским купцом.

На другой день, в половине девятого, являюсь к дон Иосифу Клавиго; он принимает меня в великолепном кабинете и сказывает, что дом принадлежит не ему, но доброму его приятелю, дон Антонио Португуэцу, правителю канцелярии министра.

— Государь мой! Я путешественник, — говорю ему, — общество литераторов поручило мне завести ученую переписку между им и теми знаменитыми писателями, которых буду иметь случай увидеть в моем путешествии. В Испании никто не пишет лучше издателя публичных листов, называемых «Le Pensador» («Размышляющий»), с которым имею честь говорить, и я уверен, что заслужу благодарность моих сотрудников, когда познакомлю их с человеком ваших достоинств.

Глаза дон Иосифа Клавиго сверкали от удовольствия. Желая узнать, с каким человеком имею дело, даю ему свободу витийствовать о выгодах, которые могли бы иметь просвещенные государства от тесного сообщения писателей. Он был до крайности приветлив, ласкал меня взглядом, осыпал учтивствами, говорил, как ангел, блистал удовольствием и славою.

— Теперь позвольте спросить, — сказал он наконец, — что заставило вас приехать в Испанию, любопытство или дела? И можно ли надеяться быть вам полезным?

— Любезный дон Иосиф! — отвечал я. — Предложение ваше очень лестно; воспользуюсь им и буду говорить с вами без всякой скрытности; но прежде позвольте еще раз представить вам моего друга (французского купца, моего спутника): он имеет некоторое участие в моем деле и должен остаться при нашем разговоре.

Клавиго посмотрел на моего товарища с любопытством; я продолжал: — Один французский купец, обремененный большим семейством, бедный состоянием, имел несколько корреспондентов в Испании, из которых один, честный человек, истинный ему приятель, и чрезвычайно богатый, будучи десять или одиннадцать лет тому назад в Париже, сказал ему следующее: «Отпусти со мною двух дочерей в Мадрид, пускай они помогают мне в торговле; я холост, уже в летах, не имею родных: они будут моим утешением при старости, а когда умру, получают одно из богатейших наследств в Испании».

Отец согласился, отдал ему двух дочерей: старшую, которая была уже замужем, и младшую, девушку пятнадцати лет; в замену ж важной услуги его обязался поддерживать новую торговую компанию присылкою французских товаров, которые могли бы быть для нее нужны.

Года через два корреспондент умирает, французенки остаются одни, без всякого устроенного состояния, с заботами о важной торговле, которую надлежало стараться не уронить, и в самом деле хорошим своим поведением, любезным характером привязывают к себе многих друзей: кредит их укоренился, способы сделались многочисленнее и вернее, дела получили хороший оборот (здесь я заметил, что мой Клавиго удвоил внимание).

Почти в то же время явился в Мадриде молодой человек, родом из Канарийских островов<sup>5</sup>. Он познакомился с молодыми французенками, был принят в их доме как родной, обласкан, осыпан услугами (при сих обличающих словах вся прежняя веселость его исчезла). Этот молодой человек, имевший великие таланты, но бедный состоянием, страстно желал учиться. Французенки помогали ему, сколько могли: он очень скоро выучился по-французски и сделал большие успехи в науках.

Горя благородным желанием славы, располагаясь он выдавать журнал вроде «*Английского Зрителя*»<sup>6</sup>; сообщает своим приятельницам план: его ободряют, предсказывают ему несомненный успех. Оживляемый надеждою приобрести имя и состояние, молодой человек осмеливается предложить руку младшей; старшая отвечает ему следующее: «Прежде всего, сделайте себя известным, заслужите какую-нибудь награду, словом, найдите верное средство жить без нужды: тогда позволю вам думать о моей сестре; тогда, если получите ее согласие, не буду препят-

ствовать вашему союзу». — (Клавиго странным образом ворочался на стуле; я продолжал хладнокровно).

Младшая, тронутая достоинствами молодого человека, отказывает многим хорошим женихам, предпочитая верному счастью надежду, что милый сердцу ее человек, который более четырех лет питал к ней искреннюю любовь, оправдает выбор ее своим успехом. Поддерживаемый, одушевляемый ожиданием награды, молодой человек является на сцену со званием журналиста, украшенный великолепным именем: «Le Pensador». — (Здесь моему Клавиго едва не сделалась дурнота).

Листы его, продолжал я с холодным видом, имели чрезвычайный успех. Король, плененный остроумием нового автора, желал узнать его лично; ему обещали первое выгодное упразднившееся место, и с той минуты перестал он скрывать свои намерения в рассуждении молодой француженки, публично называл ее невестою; в самом деле, почти никакого препятствия не оставалось, ожидали одного обещанного места — наконец, по прошествии шести лет терпения и надежды, с одной стороны, угождений и доказательств любви, с другой, место открылось, но угодник исчез! — (Здесь мне послышалось, что он вздохнул; я продолжал).

Обстоятельства были слишком известны в публике — сестры наняли дом, поместительный для двух семейств; объявления были читаны по церквам; никто не ожидал такой развязки: она оскорбила общих друзей, которые согласились отмстить обманщику, и французский посланник дал слово им помогать; но хитрый канариец, почувствовав, что сила его противников могла расстроить все пышные планы будущей его фортуны, бросился к ногам оскорбленной любовницы, притворным раскаянием выманил ее прощение: все забыто, новые приготовления к свадьбе! Новые объявления по церквам! Положили через три дня подписать контракт: примирение наделало столько же шума, сколько и разрыв. Жених едет в С. Ильдефонз<sup>7</sup> к министру, просит позволения жениться и при отъезде говорит: «Друзья мои! Боюсь, чтобы разлука не переменяла колеблющегося сердца моей невесты! Будьте моими защитниками; в самую минуту возвращения веду ее к алтарю».

Клавиго был в ужасном положении; еще не зная, какое участие принимал я в этом происшествии, он с беспокойным любопытством поглядывал на моего товарища, которого хладнокровие, так же, как и мое, было непроницаемо. Здесь я возвысил голос, устремил на него глаза и продолжал.

— И подлинно, на другой день возвращается он из Циттио-Реаля; но вместо того, чтобы вести жертву свою к алтарю, приказывает ей сказать, что он вторично переменял свои мысли, что он раздумал жениться.

Оскорбленные друзья бегут к нему в дом, осыпают его упреками, стараются усюветить; но он переменяет тон, говорит грубости; наконец советует им, *как добрый приятель*, оставить его в покое, а французенкам напомнить, что они в чужой земле, что их подпоры очень слабы, что они должны замолчать или, в противном случае, могут раскаться, и очень скоро, в своем упрямстве.

Получив такой ответ, младшая французенка упала без памяти, опасно занемогла, боялись ее лишиться; старшая написала во Францию. Горестное состояние сестер так сильно тронуло их брата, что он немедленно взял отпуск, сел в почтовую карету, оставил Париж, вмиг очутился в Мадрите, и этот брат, государь мой, — я! Я, который все бросил — отечество, обязанности, семейство, заботы о состоянии, удовольствия, для того, чтобы отмстить в Испании за бедную, невинную, обманутую сестру; я, который решился, вооруженный твердостью и правом справедливости, обличить предателя, на лице его изобразить кровавыми чертами его душу, и этот предатель — вы!»

Вообразите этого человека, изумленного, убитого моею речью, с открытым ртом, безгласного от удивления; представьте его лицо, прежде веселое, блестящее, одушевленное моими похвалами, потом обезображенное стыдом, унылое, мрачное; угасшие глаза, изменившиеся черты, характер унижения во всей наружности. Он хотел сказать несколько слов, но я продолжал:

— Не перебивайте меня, государь мой! Вам нечего мне говорить, но много надобно от меня выслушать. Прежде всего прошу объявить, в присутствии моего приятеля, чем заслужила моя сестра двукратное оскорбление, полученное от вас перед глазами целого света? Каким пороком, слабостию, ветреностию, дурным поступком?

— Милостивый государь! Я признаю донну Лору девицею любезного характера, умною, приятною, добродетельною!

— Со времени вашего с нею знакомства подала ли она хотя однажды вам повод к неудовольствию, к справедливому упреку?

— Никогда, никогда!

— Бесчестный, безжалостный человек! — воскликнул я, вскочив со стула, — и ты лишаешь ее жизни только за то, что она предпочла тебя десяти другим достойнейшим, богатым!

— Ах, государь мой! Советы, хитрые убеждения! Когда бы вы знали...

— Довольно, мой друг! — сказал я моему товарищу, — вы уверены в невинности моей сестры; позволяю вам рассказать, кому рассудите, о том, что слышали и видели; оставьте нас, теперь не имею надобности в свидетеле.

Приятель мой уходит. Клавиго встает, я беру его за руку и принуждаю сесть.

— Теперь мы одни, государь мой; прошу вас меня выслушать и, если можете, со мною согласиться.

Я не позволю вам, и вы не имеете права думать о моей сестре; не думайте, чтобы я хотел играть роль комического брата, который требует только того, чтобы сестра его вышла замуж; но вы оскорбили благородную женщину, воспользовавшись беззащитным ее состоянием в чужой земле: поступок человека бесчестного и подлеца! Вот мое требование: вы должны сию же минуту своеручно, без всякого принуждения, в присутствии ваших людей, которые не поймут нас, потому что мы будем говорить по-французски, написать признание, что вы негодный человек, что вы обманули, оскорбили, предательски бросили мою сестру без всякой со стороны ее причины! Я беру ваше признание, показываю французскому посланнику, печатаю, раздаю по рукам, дня через два будут его читать при дворе и в городе! Имею покровителей, деньги, свободное время: все употреблю на то, чтобы лишить вас места! Буду вас преследовать, мучить до тех пор, пока сестра моя не согласится забыть своей обиды и не скажет: довольно!

— Никогда не напишу такого признания! — воскликнул Клавиго.

— Верю! Может быть, и я на вашем месте поступил бы не иначе. Выслушайте далее: оставляю вам на волю писать или не писать, но с этой минуты я ваш спутник — где вы, там и я; бегаю за вами, как тень, и если товарищество мое вам наскучит, то можете избавиться от меня за стенами Буэнретира\*<sup>8</sup>; счастье решит нашу тяжбу! Если оно будет благосклонно ко мне, то, не выдавшись с посланником, не говоря никому ни слова в Мадрите, кладу умирающую сестру в карету, скачу во Францию; когда же, напротив, счастье поможет вам, то дело решено: моя духовная написана, торжествуйте! Смейтесь, делайте, что вам угодно! Я кончил; прикажите подать завтрак.

Звоню в колокольчик: приносят шоколад, пью; между тем дон Иосиф Клавиго прохаживается по комнате в размышлении — наконец говорит:

— Выслушайте меня. Господин Бомарше, ничем не могу оправдаться в глазах донны Лоры — честолюбие меня погубило! Но если бы я знал, что девица Бомарше имеет такого брата, как вы, то никогда не помыслил бы отказаться от руки ее. Чувствую искреннее к вам почтение! На коленях прошу: возвратите мне, если можно, потерянное

---

\* Старый королевский замок в Мадрите.

сердце Лоры, забудьте мои несчастные заблуждения, примирите меня с самим собою, отдайте мне мою супругу!

— Поздно, господин Клавиго! Сестра моя не может вас любить: я требую признания, признания! Пишите и дайте мне волю действовать, как должно оскорбленному и мстителю.

Он долго противился; я спорил и требовал. Тайное предчувствие говорило ему, что гнев чувствительной женщины не может быть продолжителен; убежденный сим внутренним голосом, он соглашается на все, отворяет по требованию моему двери, кличет слуг; я сказываю, он пишет:

**Признание Иосифа Клавиго, хранителя королевских архивов,  
писанное собственною его рукою**

Будучи благосклонно принят в доме госпожи Гильберт, я обманул сестру ее, девицу Лору Бомарше, многократными обещаниями на ней жениться — обещаниями, которых не исполнил, хотя ничто, кроме собственного моего непостоянства, не могло побудить меня к такому поступку. Девица Лора достойна уважения, любезна и в поведении своем совершенно беспорочна. Вероломство мое и неосновательность моих слов могут вредить ее честному имени в свете: повергаюсь перед нею на колена, хотя признаю себя недостойным ее прощения! Пускай эта бумага, которую пишу добровольно, в присутствии брата ее, будет доказательством моего раскаяния — доказательством моей готовности загладить обиду каким бы то ни было образом, удовлетворительным для девицы Лоры.

Мадрит, 19 мая 1764. Иосиф Клавиго.

Я беру бумагу и прощаясь говорю:

— Государь мой! Вы имеете дело не с подлым человеком. Я наперед сказал, что буду мстить за сестру свою без пощады. Средство в руках моих: уверяю вас, что воспользуюсь им без всякого к вам снисхождения.

— Господин Бомарше! Вы человек оскорбленный, но в то же время и великодушный: прошу вас, не будьте поспешны, позвольте мне увидеть Лору! Если бы я не имел надежды возвратить ее сердце, то никогда не согласился бы написать такого признания — будьте моим предстателем!

— Ни за что на свете!

— По крайней мере, изобразите ей мое раскаяние! Ради Бога, господин Бомарше, не откажитесь исполнить этой просьбы; в противном случае принудите меня прибегнуть к людям посторонним.

Я согласился и вышел.

Нахожу домашних в ужасном волнении: женщин в слезах, мужчин в беспокойстве. Меня окружают, спрашивают, все говорят в один голос; рассказываю о случившемся, читаю бумагу, радость заступает место печали, восклицания! Поздравления! Рассуждают о том, что дальше: одни согласны погубить Клавиго, другие простить, все кричат, никто никого не слышит; наконец слова Лоры прекращают спор:

— Нет, друзья мои! — говорит она. — Никогда не соглашусь его увидеть! Поезжайте, братец, в Аранжуэц, отдайте эту бумагу посланнику: всего благоразумнее последовать его советам.

Перед отъездом пишу записку к Клавиго, уведомляю его, что Лора не хочет об нем и слышать, что я решился исполнить свое намерение, что буду всеми способами искать его погибели. Получаю в ответ покорное приглашение посетить его перед отъездом в Аранжуэц. Приезжаю, нахожу его в унынии; говорит со слезами, что он злодей, убийца невинности; что жизнь ему несносна, и тому подобное.

— Будьте великодушны, господин Бомарше, помедлите! В отсутствие ваше увижу Лору: вы возвратитесь и будете свободны, если не найдете нас примиренными, обнаружить перед глазами света бесчестный мой поступок!

Оставляю его и еду в Аранжуэц.

Маркиз д'Оссен, французский посланник, почтенный, ласковый, услужливый человек, принял меня благосклонно, прочел рекомендательные письма принцесс, и пожимая с участием руку мою, сказал:

— Любезный господин Бомарше! В доказательство моей к вам дружбы хочу говорить искренно: намерение ваше отмстить за обиду сестры не может иметь никакого успеха — вы имеете дело с таким человеком, который в силе и который, не имевши твердых подпор, никак не отважился бы на такой поступок. Чего вы хотите? Принудить его жениться?

— Нет, милостивый государь! Хочу лишить его чести!

— Но как?

Я рассказываю о своем свидании с Клавиго и читаю признание.

— Теперь, господин Бомарше, я должен переменить мысли: вы столько успели сделать в два часа, что я решительно предсказываю вам успех. Честолюбие удалило Клавиго — честолюбие, страх или любовь приводят его к ногам девицы Лоры — не упускайте благоприятного случая! Как можно менее шуму, господин Бомарше, как можно менее! Клавиго, искренно сказать, способен на все, и в этом отношении весьма выгодно вступить с ним в родство: на вашем месте я постарался бы уговорить девицу Лору воспользоваться раскаянием Клавиго и отдал за него сестру без всякого противоречия.



— Как, милостивый государь? Он подлец!

— Подлец, если поступает неискренно; в противном случае он — только раскаивающийся любовник. Словом, государь мой, я сказал свое мнение; в вашей воле принять его или не принять, хотя первое, признаться откровенно, было бы для меня приятнее по некоторым обстоятельствам, о которых говорить бесполезно и теперь не время.

Слова маркиза д'Оссена привели меня в замешательство. Возвращаюсь в Мадрид; мне рассказывают, что Клавиго вместе с некоторыми из общих приятелей был у сестер; что Лора не могла видеть его, убежала, заперлась в своей спальне и ни за что не согласилась выйти; что, наконец, он оставил их с надеждою, более обрадованный, нежели опечаленный живым гневом Лоры: этот коварный человек знал женщин, тихих, чувствительных творений, которых дерзость мужчины, смешанная с раскаянием, всегда приводит в замешательство, но которые в сердце своем невольно защищают дерзкого, с покорностию простертого у ног их и умоляющим голосом предписывающего им законы.

По возвращении моем из Аражуэца Клавиго почти каждый день видался со мною: восхищенный приятным его умом, познаниями, доверенностию к моему прямодушию, наконец я решился, с некоторыми из общих друзей, помогать ему в примирении с сестрою, хотя беспредельная покорность ее моим советам делала меня осторожным: я искал для моей Лоры не фортуны, а счастья; хотел победить ее сердце, а не руку.

Через несколько дней слышу, что Клавиго оставил дом Португуэца и нанял другой в отдаленном квартале Мадрита, называемом Инвалидным: это меня удивило, хотя я не подозревал ничего дурного. Еду к нему; он рассказывает о причине своего внезапного переселения: Португуэц более других противился его женитьбе, и он, чтобы доказать мне, как непритворно желал возвратить привязанность моей сестры, поспешил выехать из дому своего знакомца. «Что может быть благоразумнее!» — подумал я, веря от искреннего сердца его словам.

На другой день получаю от него письмо, в котором опять предлагает Лоре свою руку, прося меня быть его предстателем; уверяет в своей любви, своем раскаянии, в чрезмерности своего желания загладить нежною привязанностию прошедшее. Между прочим, не смея без воли начальства отлучиться из Мадрита, просит меня, если удастся мне смягчить оскорбленное сердце Лоры, ехать в Аранжуэц и выходить ему позволение жениться.

Читаю письмо вслух обеим сестрам; Лора залилась слезами, я поцеловал ее с нежностию и сказал:

— Мой милый друг! Ты еще его любишь, и тебе очень стыдно, как я вижу. Будь спокойна! Я не почитаю этого преступлением; скажу более:

искренно желаю, чтобы ты забыла свою досаду и согласилась простить виноватого. Этот Клавиго — злодей, разбойник, зажигатель! Что делать, милая! Все мужчины ему подобны. Последуй совету маркиза д'Оссеня: выдь за него замуж. Исправить грешника — дело богоугодное! Я, с своей стороны, очень рад, что он не захотел со мною драться; тебе же бы плакать, моя добросердечная Лора!

Она улыбнулась сквозь слезы: милое, робкое согласие любви, которая сама себя стыдится, но изменяет себе невольно. Бегу к Клавиго; сказываю, что он счастлив, хотя не заслуживает своего счастья — он соглашается с любезным простосердечием, которое всех нас пленило. Мы идем к Лоре; на нее нападают со всех сторон; бедная краснеет, не знает, куда девать глаза; наконец, с видимым замешательством и с тайною радостью вздохнув из глубины сердца, произносит унылым, приятным голосом: «Соглашаюсь!» Клавиго вне себя от восхищения! Бросается к письменному столу, берет перо и бумагу, пишет, бежит к Лоре, падает на колена и просит ее подписать:

«Вечно любить друг друга; жить единственно для общего нашего счастья; хранить свои узы и запечатлеть их клятвою перед алтарем Божиим: обеты сии подтверждаем с восхищением, в присутствии общих наших друзей. Иосиф Клавиго».

Лора упрямилась; к ней приступили; я насильно вложил в ее руку перо: она подписала и бросилась ко мне на шею в слезах, говоря, что я несносный, безжалостный человек. Все остались у нас ужинать; вечер прошел очень весело, между тем приготовили мне почтовую карету: Клавиго проводил меня с крыльца, помог мне сесть, мы дружески обнялись, и я поскакал в Аранжуэц — приезжаю, являюсь к посланнику, который, осыпав меня похвалами, советует не сказывать господину Гримальди<sup>9</sup> о главных обстоятельствах нашего дела, чтобы не повредить будущему моему зятю. Иду к министру, подаю ему письмо; он соглашается на требование Клавиго, желает счастья моей сестре, но говорит:

— Клавиго напрасно заставил вас беспокоиться; он мог бы объясниться со мною о таком деле через письмо.

Я все беру на свой счет; уверяю министра, что, получив особенное от французского двора к нему препоручение, сначала желал представиться ему лично; мы расстаемся хорошими приятелями; скачу в Мадрит и нахожу дома следующую записку от Клавиго:

«Посылаю вам письмо, которое у всех в руках при дворе и в городе: меня марают, и я не смею показаться в общество — там все получили ужасное мнение о моем характере! Прошу вас как можно скорее раздать списки с подлинного признания, написанного моею рукою.

Между тем необходимость требует, чтобы мы, уступив силе предубеждения, несколько дней не видались: могут заключить, что пасквиль — не выдумка и что настоящая бумага написана после, с общего нашего согласия. Войдите, любезный Бомарше, в мое положение, и верьте искренности вашего Клавиго».

При записке была приложена копия с ложного признания, грубого, низкого, написанная собственною его рукою.

Искренно сказать, странное заключение, которое выводил Клавиго из этого пасквиля, меня рассердило. Иду к нему, желая объясниться — он лежал в постели. Большая часть пожитков его находилась еще в доме Португуэца; посылаю ему множество разного белья и, в утешение, даю слово, как скоро можно ему будет встать с постели, ездить с ним вместе во все публичные места, ко всем ближайшим его знакомым, которые, без сомнения, поверят моему свидетельству, моей искренней, почтительной к нему привязанности. Мы назначаем день брака, и после обеда увиделся я, по просьбе Клавиго, с Великим Викарием, нотариусом и другими нужными людьми: все исполнялось благополучно, все отвечало моим желаниям! Возвратясь, обнимаю его и говорю:

— Мой друг! Теперешние наши сношения позволяют мне быть свободным в моих поступках; знаю, что ты не имеешь денег: вот кошелек с девятью тысячами ливров — пошли некоторую часть их сестре моей на ленты! Вот золотые вещи и французские кружева — подари ими Лору! Получить подарок из рук твоих будет для нее приятнее, нежели от меня.

Клавиго согласился взять кружева и вещи, не надеясь найти ничего подобного в Мадрите; но возвратил мне кошелек, уверив, что не имеет никакой нужды в деньгах.

На другой день случилась со мною неприятность: наемный слуга, которого привез я из Байонны, украл мои вещи и деньги — всего на пятнадцать тысяч ливров — и скрылся. Лечу с жалобою к коменданту: холодный его прием удивляет меня чрезвычайно. Терпение, читатель! Загадка чрез минуту объяснится.

Обстоятельства не препятствуют мне заботиться о больном друге. Я с нежною укоризною называю его причиною моего убытка.

— Если бы ты, — говорю ему, — не упрявился принять кошелек, то и теперь деньги мои были бы целы.

Клавиго жалел о моем несчастье тем более, что потеря моя по всем обстоятельствам казалась ему невозвратною: похититель, конечно, бежал в Кадикс и уехал на корабле. Я написал о моем приключении к посланнику и более им не занимался.

Прошло несколько дней — мы были почти неразлучны; Клавиго осыпал меня ласками и приветствиями. Пятого июня прихожу в обыкновенное время к нему и узнаю, к удивлению, что он переселился в другой дом. Переменить квартиру, не давши наперед мне знать, показалось мне странным. Я велел искать его по всем общественным домам Мадрита: узнаю новую квартиру его, делаю ему упреки выразительнее прежних. Клавиго извиняется.

— Приятеля, у которого я жил, — говорит он, — бранили за то, что он осмелился пустить постояльца в казенный дом, и я, узнавши об этом, в ту же минуту, не взирая на время, болезнь и беспокойство, решился искать другого жилища.

Надобно было согласиться на его причины; но я пенял ему дружески за то, что он не переехал прямо к сестрам, и звал его с собою: он отказался, говоря, что принимал лекарство и принужден, по обычаю испанцев, сидеть дома. На другой день тот же отказ и те же причины. Друзья наши начали задумываться, подозревать; но для меня сомнения их казались обидными и смешными. «Какая польза в притворстве!» — думал я и был спокоен. Контракт, приготовленный давно, не мог быть подписан: господин Клавиго всякий день пил микстуры, а в Испании законом запрещалось совершать условие, принимая лекарство: что земля, то обычай!

Лора трепетала, предчувствуя измену; я спорил, сердился, но тайное сомнение меня беспокоило. 7-го июня — день, назначенный для подписания контракта — посылаю за нотариусом. Вообразите, как должен был я удивиться, когда он сказал мне, что накануне того дня получил от одной молодой женщины бумагу, в которой она оспаривала женитьбу Клавиго, утверждая, будто еще в 1755 году, то есть назад тому девять лет, получила от него обещание на ней жениться! Спрашиваю об имени соперницы; нотариус рассказывает, что она — горничная девушка (дуэнна). В бешенстве лечу к бессовестному Клавиго.

— Эта бумага написана тобою, — говорю ему, — обещание выдумано вчера! Ты низкий обманщик, которому ни за какие сокровища на свете не соглашусь отдать моей сестры. Сего же вечера еду в Аранжуэц, рассказываю обо всем господину Гримальди и вместо того, чтобы противиться требованиям твоей дуэнны, настоятельно прошу, чтобы тебя на ней женили; помогаю ей кошельком и кредитом, даю приданое, провожаю вас к алтарю, желание твое исполнится, и мы все останемся довольны!

— Бомарше, мой друг! — отвечал Клавиго. — Бога ради, не будь опрометчив! Зачем тебе ехать в Аранжуэц? По крайней мере, отложи отъезд свой до завтрашнего утра: я докажу, что не имею никакого уча-

ствия в этом деле. Правда, была некоторая связь между мною и дуэнною гж. Португуэц, которая мне нравилась... но мы давно, очень давно расстались, и с самого того времени я не слышал об ней ни разу. Поверь, что неприятели донны Лоры хотят нас расстроить. Несколько пистолей заставят молчать дуэнну. Нынешним вечером отведу тебя к славному адвокату: он даст нам полезный совет. Будь спокоен, мой друг! И не пугайся привидений. В восемь часов вечера буду тебя ожидать!

Горесть терзала мое сердце; я не знал, что делать; еще не верил ужасным предвещаниям, которые со всех сторон приготавливали нас к несчастию. Для чего меня обманывать? С какою целью? Может ли он надеяться ослепить публику, которой всякую минуту могу открыть глаза? В восемь часов вечера еду с некоторыми приятелями к этому непонятному человеку; на крыльце встречаю хозяйку, которая говорит:

— Господин Клавиго переменял квартиру, и где находится, неизвестно.

Не веря словам ее, бегу на лестницу: комнаты пусты, все вещи вывезены — сердце мое стеснилось! Посылаю его искать по всем улицам и переулкам. Предательство было очевидно, хотя намерение предателя непостижимо. «К чему все это может клониться?» — думал я, возвращаясь домой. Посланный от маркиза д'Оссеня, который за полчаса до меня приехал из Аранжуэца, подает мне следующее письмо:

«Сию минуту был у меня мадритский комендант и сказывал, что Клавиго в тот самый день, в который съехал с квартиры, жаловался ему на ваши притеснения и утверждал, что вы, насильно ворвавшись к нему в дом, с пистолетом в руках, принудили его подписать бумагу: обещание жениться на вашей сестре. Не надобно уверять, что я почитаю все это гнусною клеветою, но публике обстоятельства неизвестны. Следствия могут быть для вас неприятны или вредны — остерегитесь! Нам надобно как можно скорее увидеться; приезжайте в Аранжуэц. Д'Оссень».

Нельзя описать моего изумления. «Боже мой! — думал я. — Человек, который при каждом слове меня обнимал, который словесно и письменно называл меня другом, благодетелем, братом, который перед целым Мадритом лежал у ног моей сестры, умоляя, чтобы она забыла его вероломство и возвратила ему сердце — этот человек теперь обвиняет меня в насилии и тайно ищет моей погибели!». Бешенство горело в моем сердце — я сам себя не помнил.

В эту самую минуту является один мой приятель и говорит:

— Спасайтесь, господин Бомарше! Спасайтесь, не теряя времени. Завтра поутру вы будете взяты под стражу — приказ отдан. Ваш Клавиго — истинный злодей: обольщая вас притворною дружбою и лест-

ными обещаниями, он только старается выиграть время, дабы овладеть умами, вооружить за себя целую публику, и, наконец, обвиняет вас в суде как преступника. Бегите, ради Бога, и сию же минуту! Завтра вы будете брошены в тюрьму, покинуты, забыты; не останется для вас ни оправдания, ни покров!

Мне бежать? Мне спастись? Скорее погибнуть! Друзья мои, найдите почтовую карету: в три часа утра еду в Аранжуэц. Между тем дайте мне успокоиться и собраться с мыслями.

Запираюсь в кабинете; голова моя в беспорядке, сердце сжато, не могу ни о чем думать, несколько часов не чувствую самого себя — утомительное, болезненное спокойствие! Наконец прихожу в память; мысленно пробегаю все то, что случилось со мною в Мадриде; электрический удар потрясает мою душу: я вспомнил, что Клавиго в тот самый день, в который донес на меня в суд, ездил со мною по городу в карете, писал ко мне дружескую записку, сам просил меня, в присутствии множества свидетелей, выходить ему у министра позволения жениться — сколько обстоятельств, и все в мою пользу! Бросаюсь к письменному столу, в горячке пишу подробный журнал моего пребывания в Мадриде: имена, слова, числа, все оживляется в моей памяти, все льется на бумагу — бьет три часа, я еще пишу, карета уже у крыльца, друзья мои насильно принуждают меня кончить. Беру свой журнал, не спрашиваю, кто со мною, имею ли нужное для того, чтобы показаться с пристойностию к послу и при дворе, но все уже приготовлено! Некоторые из друзей хотят меня провожать; я не соглашаюсь, хочу быть один, думать, приводить мысли в порядок, бросаюсь в карету, лечу в Аранжуэц.

Посланник был во дворце, и я принужден дожидаться до одиннадцати часов вечера. Наконец он возвращается и говорит мне:

— Хорошо сделали, г. Бомарше, что не замешкались приехать, — я очень беспокоился; ваш неприятель вооружил за себя весь двор: без меня были бы вы теперь взяты, быть может, брошены в *Prezidio*\*, надолго или навсегда лишены свободы. Я виделся с г. Гримальди, отвечал за вас честию. Бомарше, говорил я ему, человек благородный! Его приказано арестовать — истинная несправедливость, которую прошу вас предупредить! Клавиго — предатель, и вы погубите невинного! «Верю вам охотно, — отвечал мне Гримальди, — но дело сделано: вся публика обвиняет г. Бомарше; приказ отдан, я могу только остановить на время его исполнение. Присоветуйте ему как можно скорее уехать во Францию; даю слово, что не будут препятствовать его бегству». Нечего делать, г. Бомарше! Поезжайте, вы имеете готовых лошадей, а

---

\* Тюрьма в Цеуте, на берегах Африки.

ваши пожитки будут доставлены вам после и в целости. Могу ли подать помощь, когда все умы в возмущении? Поезжайте, не медлите ни часу: для меня будет крайне горестно, если какое-нибудь несчастье случится с вами в Испании!

Я слушал, не говоря ни слова; не плакал, но крупные капли слез одна за другою катились по щекам моим. Маркиз д'Оссен смотрел на меня с чувством, пожимал мою руку, просил меня уступить необходимости, не подвергаться верному несчастью. Я стоял как вкопанный, смотрел ему в глаза, наконец воскликнул горестно:

— За что же хотят наказать меня? Вы сами называете меня правым! Король погубит ли правого, оскорбленного человека? Решится ли быть несправедливым, когда легко может быть правосудным?

— Господин Бомарше! Самый справедливый государь бывает окружен пронырливыми интриганами. Приговор подписан и миг исполнен; истина открывается, но все уже кончено и дело без поправки. Нередко самый низкий интерес или самая низкая личность, сокрытая, но действующая сильно, бывают причиною того зла, которое в глазах наших происходит. Любезный господин Бомарше! Послушайтесь благоразумного совета, поезжайте! Потеряв свободу, вы будете оставлены; ваше наказание уверит всех, что вы заслужили каким-нибудь его преступлением, и скоро перестанут вами заниматься — ветренность публики во всякой земле служит подпорою неправосудию. Поезжайте, говорю вам, нечего медлить!

— Но, милостивый государь, вы видите мое положение! Куда ехать?

— Образумьтесь, господин Бомарше! Вам надобно оставить Испанию, ехать во Францию, и сию же минуту!

— Но что подумают принцессы, мои покровительницы?

— Я напишу к ним: моему свидетельству поверят!

— Но бедная, притесненная, невинная моя сестра?

— Думайте об одном себе! Сестрица ваша имеет защитника во мне; положитесь на мое слово!

— Боже мой! За тем ли я приезжал в Испанию?

— Надобно ехать! Если имеете нужду в деньгах, вот мой кошелек!

— Милостивый государь! У меня довольно денег: тысяча луидоров в кармане и десять тысяч франков векселей: о! С такими деньгами еще можно отмстить бесчестному оскорбителю!

— Нет, господин Бомарше, никак не могу на это согласиться. Вы поручены мне, и я за вас отвечаю. Прошу, требую, чтобы вы ехали! Решусь употребить усилие!

— Не могу! — воскликнул я, побежал в сад и целую ночь бродил по темным аллеям Аранжуэца.

На другой день, поутру рано, решившись на все, готовый погибнуть, если не удастся отомстить, иду к министру Гримальди — нахожу в приемной большое общество, прячусь в толпу, в ожидании выхода — прозносят имя г-на Валя! Вслушиваюсь, узнаю, что этот добродетельный человек, оставя службу и наслаждаясь покоем в последние годы жизни, живет в доме министра. Счастливая идея озарила мой рассудок; бегу на его половину, приказываю о себе доложить, меня впускают, вижу перед собою старика привлекательной, величественной наружности, которого ясные взоры вливали в душу доверенность и любовь, приближаю к нему с благоговением, с надеждою и говорю:

— Милостивый государь! Я — француз и обижен — в этом заключено мое право требовать от вас защиты! Вы родились во Франции, там открылось для вас славное поприще службы, здесь великие качества возвели вас на высочайшую степень чести; но один титул министра никогда не поселил бы в душе моей доверенности: я прибегаю к добродетельному человеку, который чистыми руками сложил с себя начальство над колониями Америки, приносящее другим миллионы; к любимцу благородной нации, к истинному другу ее монарха, чувствительному, сострадательному! Подать руку помощи притесненному и обиженному человеку есть дело достойное необыкновенной души Валя!

— Успокойтесь, государь мой! Сядьте, вы бледны и дрожите; смотря на лицо ваше, уверяюсь, что вы несчастны; скажите, что с вами сделалось и чем могу быть для вас полезен?

Он кличет слугу, велит всем отказывать, садится подле меня на стул, берет меня за руку, смотрит мне в глаза с трогательным участием и ждет, чтобы я начал говорить. Вынимаю свой журнал, прошу позволения читать, читаю. Господин Валь слушает внимательно, иногда останавливает меня, прося, чтобы я успокоился и читал тише, потому что он не хочет упустить ни одного обстоятельства; по мере того, как происшествия одно за другим следуют, подаю ему оригинальные бумаги и письма, наконец, приступаю к доносу моего противника, к несправедливому повелению взять меня под стражу, бросить в тюрьму, повелению, которое только по просьбе посланника отложили исполнить, и заключаю тем, что я решился на все: остаться, погибнуть или найти правосудие у трона. Я замолчал. Господин Валь вскочил со стула, бросился меня обнимать и воскликнул:

— Ободритесь, господин Бомарше! Король будет правосуден, вот вам моя рука! Маркиз д'Оссень как посланник обязан был наблюдать в своих поступках осторожность; но я, как человек честный, могу действовать свободно и дать полную волю своему негодованию. Берусь отомстить за вашу обиду! Нет, никогда не скажут, чтобы француз, оста-



вивший для бедной, невинной, притесненной сестры отечество, службу, удовольствия, покровителей, не мог найти правосудия в Испании и должен был из нее бежать, проклиная в душе несправедливость правительства и неприступность ее государя! Господин Бомарше! Вы были отцом девицы Лоры: теперь найдете отца во мне. Я представил королю предателя Клавиго и все его преступления должен принять на свой счет. Боже мой! Как несчастны люди, обремененные важным государственным саном! Нередко привязывают они к себе недостойных, которых не имеют времени узнать, которые гнусными делами бессовестно помрачают их имя. Клавиго близок к министру: он может со временем сделаться человеком сильным — и дорога открыта ему мною. Не могу быть спокоен в совести, пока не исправлю своей ошибки. Министру легко ошибиться в выборе человека; но если этот человек бесчестным поступком замарал себя в глазах света, то первое дело покровителя для собственного оправдания немедленно его отринуть: и я готов показать собою пример всем будущим министрам Испании!

Он звонит, приказывает заложить карету, едет со мною во дворец, велит мне дожидаться г-на Гримальди, а сам идет в кабинет короля, обвиняет себя в злодействе моего соперника, великодушно просит прощения у своего монарха и требует настоятельно, чтобы Клавиго, без всякого отлагательства, лишен был своего места. Господин Гримальди приезжает; меня представляют королю; бросаюсь на колена.

— Читайте вашу бумагу! — говорит с жаром господин Валь. — Нельзя не тронуться таким горестным положением!

Незапный, животворный восторг наполнил мое сердце; я чувствовал, что оно пылало; предаюсь высокому вдохновению минуты, изъясняюсь красноречиво, с жаром, и государь, тронутый, разгневанный, произносит приговор правосудия: Клавиго лишен своего места и навсегда выгнан из Канцелярии министра.

Добрые, чувствительные сердца! Можете ли требовать, чтобы я описал словами тогдашнее состояние моего духа? Беспорядочные выражения, благодарность, великодушие, правосудие срывались с моего языка; в душе своей — за минуту ожесточенный и полный ненависти — благословлял я недостойного человека, принудившего меня идти к подножию трона, перед которым толь сладостные, неизъяснимые, незабвенные чувства меня восхитили!

Возвращаюсь к посланнику — он изумлен быстрым переворотом моих обстоятельств, радуется, оставляет меня обедать. Прямо из-за стола бросаюсь в карету и скачу в Мадрит. Бедные сестры мои страдали; нахожу их в слезах; мое возвращение и неожиданный успех путешествия их оживили! Лора целовала руку мою и плакала; милое, непо-

рочное творение, как трогательно выражала она свою благодарность! Я чувствовал, что новые, сильнейшие узы привязывали к ней мое сердце. Клавиго занемог от горя и досады; написал ко мне письмо, в котором жаловался на мою поспешность, называл себя невинным, требовал от меня сострадания и ни слова не говорил о доносе. Я заметил хитрость, но мщение уже утихло в моем сердце! Искренно желая облегчить судьбу этого несчастного человека, который тем более достоин был сожаления, что сам навлек на себя несчастье, прошу министра Гримальди его пощадить, но получаю решительный отказ. Не будучи занят никаким делом в Испании (переговоры мои с министром коммерции не имели успеха), готовлюсь к отъезду во Францию. Лора ни за что не захотела со мною расстаться: Испания была ей противна. Мы берем почтовых лошадей, прощаемся с Эмилиею, оставляем Мадрит, и через несколько дней наш добрый старый отец с радостными слезами прижимает детей своих к сердцу.

*Бомарше*

## ПАДЕНИЕ НИАГАРЫ

Река С. Лоран<sup>1</sup>, орошающая северную Америку, соединяет два озера, Эрио<sup>2</sup> и Онтарио, под именем Ниагары. Водопад, ею образуемый, есть зрелище неописанно великолепное! Ниагара до самого озера Онтарио бежит по наклонению чрезвычайно быстро, и, низвергаясь с утеса вышиною в полтораста футов, кажется в минуту падения не рекою, а морем, которого потоки с громом и ревом стремятся в бездну, усыпанную скалами, спираются в ней и клокочут. Водопад составляет полукружие и разделен на две отрасли: в середине находится остров или, лучше сказать, гранитная скала, подрытая в основании и висящая со всеми своим камнями и деревьями над бездною вод. Южная отрасль водопада представляет огромный цилиндр, который развивается в виде снежного ослепительной белизны ковра, и при солнце блистает разноцветными лучами: тогда кажется, что тысячи радуг пересекают одна другую над бездною. Восточная покрыта ужасною тенью: воображаешь грозные волны потопа. Быстрая вода, ударяясь в гранитный остров, отражается пенным вихрем, и облака паров носятся над лесами, подобно дыму обширного пожара. Сосны, дикий орешник, скалы разного вида, прямые и наклоненные, украшают сию величественную сцену; орлы, увлекаемые быстрым порывом воздуха, кружатся и падают в бездну, и обезьяны, цепляясь длинными хвостами за сучья близких к волнам дерев, ловят раздробленные трупы медведей, влекомых стремительным потоком.

*Шатобриан*

## ПИСЬМО Ж.-Ж. РУССО<sup>1</sup>

Сесилия, начиная чувствовать необходимость любви, сердце узнает и скуку жизни: обыкновенное следствие сего восхитительного<sup>2</sup> чувства, которое не дает нам счастья, но изнуряет нас под бременем наслаждения, превышающего силы человека. Любовь отделяет нас от всего: тогда бываем мертвы для самих себя, тогда существуем для милого, единственного предмета; нечувствительно уныние вкрадывается в наше сердце; мало-помалу оно покоряет его совершенно, и наконец слабое сердце уже никакою силою не может освободить себя из этой волшебной сети<sup>3</sup>.

Когда бы Творец захотел перенести на землю свое небо<sup>4</sup>, тогда населил бы ее существами, счастливыми любовию, и отнял бы<sup>5</sup> у них способность предвидеть будущее. Мысль сия о будущем есть медленная отравка любви: чувствуешь против воли, сколь основания бытия твоего ничтожны; уверен, что прежде не может оно укорениться, пока не переменится сама натура вещей, пока любезному существу не дана будет сия неизменяемость, а нежным чувствам души сие вечное постоянство, которые никогда не могут быть уделом создания<sup>6</sup>.

На крайних пределах жизни<sup>7</sup> мы видим гроб: там, говорит мне сердце, соединишься с нею навеки! Кто любит, тот верит бессмертию! И какой любовник в лучшие минуты страсти своей способен быть атеистом?<sup>8</sup> В сем отдалении, мрачном для взоров ума, но озаренном надеждою и мечтами для ее нежного сердца<sup>9</sup>, открывается мне счастье беспредельное. Но как могу вообразать это счастье без соединения с тем, что было мне драгоценно, что украшало мою земную жизнь, без чего и самое бытие мне кажется непостижимым. Сесилия, и самый небесный рай для души, воспламенной любовию, не иное что, как это соединение<sup>10</sup>.

О мой друг, почувствуй сию надежду, неописанно сладкую надежду, которая исполнится для любовников при выходе их из жизни! Все, что ни имели они земного, похищенное<sup>11</sup> у них смертию, соединится в едином гробе; но то, что в них бессмертно, что не подвержено уничтожению, то<sup>12</sup> будет неразлучно и навеки. И ты удивляешься, что можешь желать смерти; и ты удивляешься, что счастливый твоею любовию человек о ней мыслит?<sup>13</sup> Ах, милый друг, я несравненно более удивляюсь тому<sup>14</sup>, что вы не летите к ней навстречу, и падаю к стопам вечного Существа, которое надежды на будущее согласовало с намерениями своей мудрости! О, если бы все могли их чувствовать так живо, как я в сию минуту их чувствую, тогда захотел ли бы кто-нибудь остаться жителем сего мира?

Нет, Сесилия, отвращение от жизни естественно, когда живем для одной любви; желаем умереть не для того, чтобы друга<sup>15</sup> оставить, но для того, чтобы ценою временного бытия купить любовь бесконечную; желаем укрыть себя от всех возможных опасностей перемены, страшимся мучений жизни, завидуем спокойствию и постоянству за гробом. Но почему ж и в другом положении может быть ужасна сия смерть, представляющаяся в виде страшилища ослепленному взору?<sup>16</sup> Пускай боится ее грубая чернь, которой чувствительность благодетельно приглушена мудростию Вечного; пускай на привязывается к телесной жизни: могу ли сему удивляться? Но существо, которое находит в душе своей неистощимое сокровище чувства, скажи, Сесилия, может ли оно любить жизнь? Ах, сомневаюсь. Оно любит ее минутами, изредка<sup>17</sup>, в разное разделенное большими промежутками время: и если б возможно было положить на весы с одной стороны все те минуты, которые провели мы, желая смерти, а с другой все те, в которые любили жизнь; тогда, я уверен, что перевес остался бы<sup>18</sup> на стороне гроба<sup>19</sup>. И для чего же безумными ужасами обезобразивать прелестную надежду смерти? Что она, Сесилия!<sup>20</sup> Спокойный сон человека телесного; вечная жизнь существа духовного<sup>21</sup>.

Молодость моя проведена была<sup>22</sup> в беспрестанном приготовлении к разлуке с жизнью; всякую минуту я видел пред собою могилу. О, как желал я тогда этой ужасной смерти! Но я не смел предупредить ее; благодарность привязывала меня к жизни: прочти мои Признания<sup>23</sup>, и ты узнаешь, для чего я остался жить. Заведенный случаем на стезю писателей, несколько драгоценных минут принес я на жертву суетному самолюбию, и дорого, дорого заплатил за свою ошибку!<sup>24</sup>

Я испытал наслаждения любви; но судьба никогда не хотела соединить для меня восторгов душевных с удовольствием чувственным; всегда сердце мое наполнено было романическими мечтами; они терзали его; но с ними и в самые минуты заблуждения ощущал я истинное блаженство!<sup>25</sup> Быть может<sup>26</sup>, никто на свете не читал такого множества романов, как я; но я читал их с таким живым, мучительным участием, которое едва не стоило мне жизни. Теперь, на краю гроба, открываю те книги, которые пленяли меня<sup>27</sup> в молодых годах, читаю и нахожу в них свое сердце: оно волнуется, как и прежде; глаза мои, готовые затвориться навеки, проливают еще слезы.

Поверь, Сесилия, лишь тот, кто окружил себя подобными призраками<sup>28</sup>, лишь тот способен насадить несколько цветов на пути своей жизни. Существенность в чувстве есть гибель счастья; существенность прилична бытию телесному; но бытие духовное питается мечтами.

Где человек, который на заре жизни, в сии лета счастья, когда живая душа растворяется любовью к красоте идеальной, не испытал очарования оных<sup>29</sup> небесных идей, которые представляют душе<sup>30</sup>, ими полной, любовь всегда невинною, чистою, разделяемою и постоянною; дружбу чуждою корысти и все привязанности сердца ясными, усладительными, навеки неистошимыми? Сесилия, быть может, не найдем ни одного человека, которому неизвестна была бы сия первая минута счастья; но много ли продолжали ее? Мечты сии умирают, и умирают слишком скоро в обществе человеческом<sup>31</sup>: бесплодная истина уничтожает в самом зародыше милые надежды и призраки, которые одни могли бы жизнь нашу сделать неизъяснимо прелестною<sup>32</sup>.

Что остается тогда для бедного, слишком чувствительного творения? Прилепиться к своим мечтам и выбрать из них самые привлекательные<sup>33</sup>. Взор человека их разрушает. Беги в уединение! В обществе попадают тебе одни отвратительные твари. Сокройся в пустыню и насели ее созданиями по своему сердцу! Вот время романов, не тех чудовищных вымыслов, в которых черствая душа изображает нравы своего века, но оных очаровательных вдохновений восторга, любви, добродетели<sup>34</sup>. В них чувствительное существо находит для себя новый мир, в который устремляется на крыльях желания и надежды<sup>35</sup>: в минуты исступления оно признает себя достойным Элоизы<sup>36</sup>, Юлии<sup>37</sup>, Памелы<sup>38</sup>, и, отдавая себе справедливость, забывает жестокое неправоудие человека<sup>39</sup>.

Как счастлив тот, кто может до самой смерти сохранить чувствительность юношеских лет! Я сохранил ее, Сесилия, и сим обязан романическим своим мыслям. Ах, я знаю, я слишком уверен, что сердце, потерявшее свою непорочность, все почитает романом<sup>40</sup>, и в нашем развратном веке любовь — роман, добродетель — роман, героизм древнего времени — маска, история римлян — училище лжи, или скопище одних басен. Но что же выиграли люди, иссушив свое сердце и похитив у себя все, что некогда возвышало их к небу? Какая польза от сей убийственной философии, которая завела их в болота эгоизма? Сесилия, вместе с заблуждениями угасли и добродетели. Скажи мне, говорю не сердцу твоему, но рассудку, хочу знать не собственно принадлежащее тебе<sup>41</sup>, но общее мнение света, скажи мне, что почитают любовью в наше время? Они искали удовольствия; но, отделив от него чистоту и непорочность, лишили его всех очарований, преобразили в нечто презрительное и грубое<sup>42</sup>. Мечты, прелестные чада воображения, исчезли; место их заступили желания, чада разврата, низкое удовольствие, раздражающее чувственность<sup>43</sup>, но мертвое и недействительное для сердца.

Сесилия, наслаждение истинной любви не есть ли нечто святое, скажу, небесное? Ужели искать в нем одного минутного удовлетворе-

ния чувствам<sup>44</sup>? О Боже, какой обман! Вся прелесть<sup>45</sup> сих восхитительных минут заключена единственно в том чистом и непорочном<sup>46</sup> пламени, которое животворит сердце: и какой любовник, истинно страстный, способен наслаждаться одним собою<sup>47</sup>? Нет, нет, в сии минуты неопisanного восхищения он существует уже не в себе<sup>48</sup>; он упоен ее восторгом; он видит, он чувствует одну ее! Сесилия, найдутся выражения для удовольствий грубых; но кто, не будучи Богом, осмелился описать восторги прямой любви<sup>49</sup>? Кто способен сказать: таковы были твои чувства, и здесь пределы твоего наслаждения!<sup>50</sup> Нет, самое наше бессилие изобразить такое счастье не есть ли уже доказательство<sup>51</sup> его превосходства? Творец, который хотел возвысить наше бытие, позволил человеку его вкусить, но запретил определять словами, описывать наше блаженство<sup>52</sup>.

Когда жестокая опытность короче познакомит нас с испорченностью людей, тогда спешим возвратиться к мечтам, которые нас животворяют, которые питают и берегут драгоценную нежность нашего сердца<sup>53</sup>. Сначала пленяли меня романы: я их оставил для людей; но, знакомясь с людьми, возвратился к романам, и теперь никогда уже более<sup>54</sup> не оставляю их. В романах особенно<sup>55</sup> трогает меня участь женщины, которую несчастье отвратило от жизни; я плачу с такою сладостию, которая ни с чем на свете для меня несравненна, уверен, что, будучи женщиною и точно в таких же обстоятельствах, я так же был бы обманут, имел бы такое же мужество и также возненавидел бы жизнь свою<sup>56</sup>.

Но для чего же ни к кому не чувствовал я истинной любви; для чего пленялся одними мечтами, и что причиною такого равнодушия? Самые сии мечты, Сесилия! Они от всего меня отвратили; сорок лет ношу во глубине души образ единственной, люблю ее постоянно, с наслаждением неизъяснимым... Но где она, могу ли ее сотворить<sup>57</sup>? Нет, Небеса не одарили меня такою властью, и я уже отказался от надежды найти неизвестную, уже перестал за нею стремиться; но вдруг увидел перед собою Сесилию. Называй меня смешным, ребенком, безумцем; но я смотрел на тебя с упоением, и сердце мое не могло не сказать рассудку: это она!

И никакая женщина не производила во мне подобного чувства! Я слушал тебя, и все мои сомнения исчезали<sup>58</sup>. Что мыслило существо, избранное моим сердцем, то говорила мне Сесилия; не знаю, кому отдать преимущество, тебе, или моему призраку; но ты оживила его в моем воображении<sup>59</sup>: уверен, что похвала сия имеет в глазах твоих некоторую цену<sup>60</sup>. Сказать ли, что меня в тебе восхищает? Счастливая<sup>61</sup> смесь благородства и тихости, соединение важного величия<sup>62</sup> с милою непринужденностию дружбы... Когда твои глаза, полные души и каж-

дому говорящие: пади на колена и обожай, омрачаются меланхолическим унынием и слезы медленно катятся с прелестных твоих ресниц, чистые, как утренняя роса<sup>63</sup>; тогда, Сесилия, тогда желал бы я умереть, в надежде, что за пределами Вселенной любовники не имеют уже лет.

Каким блаженством<sup>64</sup> я наслаждался близ тебя, Сесилия! Воспоминание о нем наполнит остаток моих дней!<sup>65</sup> Так, мой друг, для всякой эпохи жизни есть свое счастье, и любовь старика воспламеняет уже<sup>66</sup> не те награды, которые предоставлены цветущим юношеским летам.

О, как гордился я самим собою, когда Сесилия хвалила мои сочинения! Помнишь ли, когда я читал тебе Элоизу<sup>67</sup>, когда ты мне сказала, указывая на сердце: Жан-Жак, написанное тобою, было здесь! Небо, с каким восхищением смотрел я тогда на эту книгу; я боготворил ее, чувствовал, что она несравненна, и мне хотелось забыть, что я ее творец, чтобы оправдать перед самим собою чрезмерность своего восторга! А портрет Софии<sup>68</sup>, который читал я перед тобою на коленях! Ты не забыла об этом, Сесилия? Твой любовник, мой сын, поднял меня, посадил, и в эту минуту вы оба у ног моих; мне послышалось; что ты сказала: человек божественный! Ах, Сесилия, ты не обманулась; в эту минуту совершился мой апотеоз!<sup>70</sup>

Вот десятая страница<sup>71</sup>, а я еще и не подумал тебе отвечать<sup>72</sup>. Тем лучше: напишу другое письмо. Теперь прибавлю одно только слово<sup>73</sup>: Сесилия, скажи счастливому другу твоему, чтобы он не слишком предавался рассматриванию любви! Мне, старику, искать утешения в сих животворных, небесных идеях; но он счастливец! Пускай одушевляет их, пускай дает им бытие; не думая о том, как можно быть счастливым или несчастным любовью, пусть любит тебя, и забывает все личное, и существует в одной Сесилии!<sup>74</sup> Прости, надобно кончить. Девица Левассер<sup>\*75</sup> уверяет, что я совсем потеряю способность говорить; ибо уже несколько часов сряду сижу за письменным столиком и еще не сказал ей ни одного слова<sup>76</sup>: это заставило меня улыбнуться<sup>77</sup>.

## ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ Г-ЖИ ЖАНЛИС В АНГЛИЮ

Мы жили довольно долго в Бюри<sup>\*\*</sup>, маленьком и очень веселом городке<sup>1</sup>; всякий вечер собиралось у нас по несколько знакомых мужчин и женщин, любезных, остроумных, приятного обхождения; обыкновенно просиживали вместе от осьми до одиннадцати часов, разгова-

---

\* На которой Ж.-Ж. после женился<sup>78</sup>.

\*\* В графстве Суффолькском. Госпожа Жанлис путешествовала вместе с принцессою Орлеанскою. Ж.

ривали, слушали музыку, иногда читали, и время текло неприметно. В один вечер зашел разговор о дружбе. Охотно поеду на край света, сказала я, чтоб увидеть двух истинных друзей.

— Могу избавить вас от продолжительного путешествия, — отвечал мне г. Стуар<sup>\*2</sup>, — поезжайте в Ланголен<sup>3</sup>; там найдете пленительный образец дружбы. И кто же друзья? Порадуйтесь: две молодые, совершенно прелестные женщины! Угодно ли, чтобы я рассказал вам историю мисс Понсонби<sup>\*\*</sup> и леди Элеоноры Ботлер<sup>4</sup>?

— Очень желаю.

— Извольте слушать.

Мы садимся в кружок, и г. Стуар рассказывает:

— Леди Элеонора Ботлер, которой не будет еще 30 лет (писано в 1792), родилась в Дублине, и в самом ребячестве лишилась родителей; она была прекрасна, любезна, богата; лучшие люди в Ирландии предлагали ей руку; но мисс Элеонора чувствовала непреодолимое отвращение от замужества и выше всего ценила свободу. Несмотря на такую странность, ее поведение было беспорочно; в свете все уважали мисс Элеонору; никакая женщина не могла равняться с нею в тех добродетелях, которые обыкновенно почитаются украшением женского пола: в скромности, обходительности, благонравии, добродушии. В детских еще летах узнала она и полюбила мисс Понсонби: обе родились в Дублине, в один год и в один день; обе в одно время потеряли родителей: странное сходство обстоятельств, которое сильно подействовало на их воображение. Судьба, говорили они, определила нам жить друг для друга; она повелевает нам почитать бытие нераздельным благом и вместе, независимо, под сению тишины, с доверенностью взаимною идти дорогою жизни: мечта, которую легко могли они исполнить, потому что имели истинно чувствительное сердце. Время усилило их дружбу: семнадцати лет, поклявшись хранить свободу, вечно не разлучаться, навеки покинуть свет и жить в уединении, они оставили тайно родительский дом и скрылись в деревеньку Ланголен. Там, на высокой горе, под тению рощи, нашли они маленькую, уединенную хижину; прекрасное местоположение их пленило: здесь расположились они поселиться. Опекуны узнали о месте их пребывания: Элеонора и мисс Понсонби принуждены возвратиться в Дублин, но твердо решили оставить Ирландию, как скоро войдут в совершенные лета, и снова переселиться в пустыню. Так и сделалось: на двадцать первом году, вопреки увещаниям знакомых и родственников, они проща-

---

\* Старший сын лорда Лондиндира.

\*\* Сестра славного парламентского оратора в Ирландии.



ются с Дублином и летят в Ланголен. Мисс Понсонби не богата, но лади Элеонора имеет хорошее состояние; она купила землю и хижину, которую сломали; на месте ее построили домик; он прост снаружи, но убран прекрасно и со вкусом внутри; окружен площадкою; с одной стороны двор, с другой цветник, обсаженный розовыми кустами; по горе, для проезда карет, расчищена широкая дорога; на вершине ее старые, ужасной вышины сосны и целая роща плодовых деревьев, по большей части вишен, которые отменно вкусны. У подошвы горы построена маленькая мыза, разведен огород и простирается прекрасный луг, на котором пасутся стада, принадлежащие пустынноикам: в этом уединении живут они более десяти лет безвыездно и не скукают. Не думайте, чтобы они дичились и бегали от людей; напротив, довольно часто посещают своих соседей, очень гостеприимны, и редкий путешественник, едущий в Ирландию, не заглядывает в Ланголенскую пустыню. Советую и вам ее видеть: там найдете истинное спокойствие, невинность нравов, и будете утешены приятным явлением искренней дружбы.

Повесть г-на Стуара меня поразила. Принцесса и молодые спутницы мои<sup>5</sup>, также изумленные, говорят, что они с большим удовольствием посетили бы Ланголен, и мы соглашаемся ехать на другой же день, располагаясь в одно время осмотреть и другие примечательные места: Брайтельстон<sup>6</sup>, Портсмут<sup>7</sup>, остров Вайт<sup>8</sup>, Дербичирские пещеры<sup>9</sup> и прелестную долину Кольсбрук. В конце июля приезжаем в Ланголен. Эта деревня с первого взгляда покажется бедною, но, въехав в нее, пленишься опрятностию крестьянских хижин: верный знак изобилия и довольства. Окрестности очаровательны: Ланголен, окруженный тенистыми рощами и лугами, лежит у самой горы, которая, подобно величественной пирамиде, возвышается позади него, украшенная густыми деревьями, кустарником, цветами и яркою зеленью. Солнце садилось, когда мы приблизились к хижине *друзей*; хозяйки были приготовлены к нашему посещению письмом г. Стуара и встретили нас с сердечною ласкою, с искреннею, добродушною учтивостию, которая меня тронула, и которой нельзя изобразить словами. Я не могла насмотреться на привлекательных пустынноик, милых своею дружбою и чудных образом своей жизни: я не заметила в них и тени той суетной гордости, которая веселится удивлением, в других производимым; они любят друг друга, но дружба кажется им столь натуральною и обыкновенною, что скоро забываешь ей удивляться и чувствуешь одно удовольствие. Все просто, все непринужденно в их разговорах и обхождении; одно меня удивило, несходство, заметное в их характерах и наружности: лади Элеонора, прекрасная лицом, свежая как

роза, отменно веселого нрава; мисс Понсонби, напротив, имея такую же привлекательную наружность, бледна и задумчива; подумаешь, что первая родилась в этой пустыне, любит ее по привычке, не воображая ничего лучше своей родины: столь кажется она довольною своим состоянием! Взгляды, лицо, движения любезной Элеоноры уверяют, что она совсем забыла о свете и не жалеет о суетных его удовольствиях. Другая, задумчивая и молчаливая, предупреждает непритворною невинностию своею всякое сомнение: никто не вообразит, чтобы *раскаяние* привело ее в пустыню, но думаешь невольно, что она не совсем счастлива; что в сердце ее таится горестное, меланхолическое воспоминание о прошедшем. Обе отменно обходительны, отменно образованны; библиотека их составлена из лучших английских, французских и ита-лианских книг; они любят читать, и чтение, которое полезно только тогда, когда имеешь время *перечитывать*, доставляет им самые живые, разнообразные и полезные удовольствия. В доме их пленит вас опрятность, покойное расположение комнат, красивые уборы и великолепные виды, которые из всякого окна открываются вашему взору. Мисс Понсонби рисует в совершенстве, и зала украшена множеством ландшафтов, списанных ею с натуры. Леди Элеонора играет прекрасно на арфе и поет как ангел. Обе с удивительным искусством шьют по канве; комнаты убраны их работою. Мисс Понсонби, имеющая отменно четкий и красивый почерк, выбрала из любимых своих авторов лучшие отрывки в стихах и прозе, которые вписала в особливую книжечку, украшенную виньетками, арабесками собственного ее изобретения, что составляет драгоценное и, можно сказать, единственное в своем роде собрание. Словом, в этой хижине умеют с любезною скромностию пользоваться необыкновенными, разнообразными талантами; видишь плоды их и наслаждаешься ими с приятным чувством; радуешься, что в этой обители спокойствия достоинство и невинность не могут опасаться ни зависти, ни насмешки; что милые, скромные, удаленные от блеска дарования награждаются в нем единою похвалою дружбы... Вечер пролетел для меня, как восхитительная минута; ни одна печальная мысль не помрачила ясности моего сердца. Я долго не могла заснуть: удовольствие мое было слишком живо. Наступила полночь, начинаю забываться: вдруг поражает меня тихая, приятная, трогаящая сердце гармония! Удивляюсь, слушаю; мне кажется, что сильный ветер производит сии магические звуки; что буря, свистящая в отдалении, но утихающая окрест убежища невинности и дружбы, прикасаясь к хижине, образует одну восхитительную гармонию. Я нетерпеливо желала узнать причину таинственных звуков, но боялась встать, чтобы не разбудить девицу Д\*\*, которая очень устала от путешествия и спала

подле меня. Буря начала утихать, гармония как будто умолкала вместе с удаляющимся ветром; казалось, что сей небесный концерт терялся в высоте воздушной, я слушала с восхищением, сердце мое невольно трепетало; в сию минуту, подобно св. Сесилии<sup>10</sup>, уронила бы я свою арфу, когда бы имела ее в руках, и всякая земная гармония показалась бы противною моему слуху.

На другой день поутру загадка объяснилась. Открываю окно и вижу на балконе музыкальный инструмент, совершенно для меня новый, но в Англии известный под именем Эоловой арфы (Eolian-harp)<sup>11</sup>, инструмент, обращающий в гармонию самый ветер, который, прикасаясь к струнам его, производит восхитительно приятную музыку: искусное изобретение островитянина, окруженного вихрями и беспрестанно внимающего печальному гулу моря!

Целое утро гуляли мы по живописным окрестностям Ланголена; виды, открываемые с вершины горы, очаровательны: с одной стороны древняя и темная, зеленая роща; с другой река, в излучинах протекающая по равнине; вдали необозримый амфитеатр утесистых холмов, покрытых лесом. На одном из них возвышается башня, остаток великолепного замка, принадлежавшего древнему владельцу сей страны: конечно, в то время была она обработана и процветала; теперь везде владычествует одна природа, везде пустота и дикость; изредка попадаются на вершинах утесов пасущиеся козы или пастухи, играющие на ирландских арфах. На скате горы, в виду сего пустынного, меланхолического места, сделана дерновая скамья; густые тополи осеняют ее. «Сюда, — сказала мне задумчивая мисс Понсонби, — приходим мы в летние дни читать Оссиана и здесь, в осенние вечера, наслаждаемся последними прелестями увядающей природы».

Но в этот день сердце мое исполнилось новым, совершенно противным прежнему, чувством; размышление разрушило обольстивший его обман. Я перестала завидовать и удивляться судьбе ланголенских пустынниц, находила их столь же милыми, столь же привлекательными, как и прежде, но против воли чувствовала к ним сожаление. На земле, где все так быстро, где все теряется одно за другим, надлежит или сохранить многие связи, или все до одной расторгнуть, всеми без изъятия пожертвовать Вечному существу, которое одно может исполнить наши надежды, одно удовлетворит непостоянному нашему сердцу. В обыкновенном положении общества семейственные узы представляют естественное последствие разнообразных замен и утешений: в супруге находим потерянную мать; рука милого сына или нежной дочери отирает слезы, проливаемые в разлуке; брат разделяет с нами домашние заботы; верный друг заменяет непостоянного... Ах,

сохраним, сохраним наши узы! На трудной дороге жизни мы имеем нужду во многих подпорах; лишаясь одной, должны мы иметь в готовности другую, которая поддержала бы наше бессилие.

Величайшее несчастье для нежной души есть страстная, исключительная привязанность к существу зависимому и брэнному, существу, с которым обстоятельства могут ее разлучить, которое может сделаться добычею смерти. Такая привязанность, хотя бескорыстная и невинная, всегда мучительна; она неразлучна с боязнию, она возмущаема предчувствием.

Мысли сии разрушили окружавшее меня очарование. Ланголенские друзья казались мне жертвами воспламененного воображения и слишком сильной чувствительности. Обеты дружбы, произнесенные перед целым светом, навсегда приковали их к сей горе... Но будущее, как оно для них ужасно! Вообразите состояние той, которая переживет свою подругу, которая одна останется над хладным телом ее, одна принуждена будет положить его во гроб, заботиться о погребении, провожать его к могиле!.. Вообразите обеих в старости, слабых, лишенных зрения и слуха, провождающих последние минуты в грустном молчании, не способных доставлять одна другой ни помощи, ни отрады; они и вместе, и разрозно: миновалось то время, в которое существовали они друг для друга; самая дружба только усиливает горестное чувствование их одиночества. Так! Участь кармелитской затворницы<sup>12</sup> предпочтительнее. И самый светский человек, который несправедливо сожалеет о юности, погибающей во мраке монастырской кельи, согласится, что старость находит в ней тихое, счастливое пристанище. Как мирно и радостно приближается она ко гробу!.. Но милые обитательницы Ланголена имеют еще средство избавить себя от тех печалей, которые неразлучны с одиночеством старца: пускай будут благотворительницами сирот; пускай окружают себя семейством благодарных, которое некогда оживит их пустыню и будет служить им подпорою в унылые, последние годы жизни!.. Одни монахини не имеют нужды в семействе; единственный союз их с Богом; они всегда окружены подругами; их старость беспечна под сению Божия храма.

*Жанлис*

## СИЛА НЕСЧАСТИЯ

Счастье делает человека веселым, несчастье мудрым.

Но мудрость, вопреки несчастью, возвращает ему потерянное веселие. Он спрашивает: что такое несчастье?

Бедность и унижение... Безумная мысль! Как может человек быть низким или бедным?

Болезнь! Но что похитит у меня болезнь? Минутное, быстро пролетающее наслаждение. Похитит ли она мою твердость, мое терпение в муках, похитит ли хотя единую из приобретенных мною добродетелей, хотя единое из духовных моих преимуществ? И что же, в сравнении с ними, сии минутные, быстро пролетающие наслаждения?

А мыслящая сила, которая составляет мою безопасность? Что может отнять у меня сию подпору? В ней мое бытие; она моя собственность неотъемлемая, не принадлежащая никакому постороннему существу; в ней заключается моя личность.

То, что я *имею*, может быть утрачено: то, что я *есмь*, навеки останется моим. Такая собственность не подвержена превратности. Здесь исчезает могущество судьбы. Не властен ли я всякую минуту сокрыться в сие средоточие бытия моего, туда, где прекращается владычество несчастья?

И что же превратности человеческой жизни? Не сам ли человек желает страдания? Не он ли предпочитает волнение страстей, приятное со всею своею мукою, непоколебимому<sup>1</sup> спокойствию мудрого? И самый мудрец не предается ли иногда произвольно печали и скорби, которые служат ему, так сказать, отдохновением по трудным усилиям мудрости?

*Мориц*

## НЕ ЖАЛКИЙ ЛИ ОН ЧЕЛОВЕК!

Скажите, читатели, не имеет ли иногда несчастье великого сходства с природною, неизлечимую болезнию? Как ни лечись, все болен; что ни делай, все несчастлив! Покорно прошу вас прочитать следующее письмо, в котором бедный деревенский священник описывает жалкую участь свою издателю одного английского журнала.

«Вы не знаете меня, государь мой! Я называюсь Фортунат Вальтер, священник, без денег, без друзей, желал бы сказать, без пристанища, но сижу в тюрьме. Я очень добрый человек, если хотите; но что прикажешь делать с несчастием; оно привязалось ко мне с самой колыбели: за что ни примусь, все испортил; что ни выдумаю, все невпопад или не вовремя, а я не глуп и очень не глуп: прочтите мои проповеди, они, без всякого самохвальства, написаны по правилам, красноречиво, и (подивитесь моему несчастию!) ни одна не была читана без того, чтобы слушатели мои не хохотали. Например, я написал проповедь *о прощении обид*, одну из лучших; надобно было сказывать ее в страстную пятницу. Иду в церковь: тьма людей! Выхожу на кафедру, подымаю руку, отво-

рю рот; что же?.. Откуда ни возьмись пчела, села мне на нос и больно меня ужалила: в минуту мой нос раздулся как тыква. Я скрепился, даже не охнул, говорил с жаром и чувством; напрасно: все удивлялись моему носу, никто не слушал моей проповеди; самые набожные из прихожан не могли воздержаться от смеху: одни шептали, другие указывали на меня пальцами, некоторые даже хохотали. Я вышел из терпения, сказал поскорее *аминь* и побежал домой лечить свою опухоль. В другой раз, желая поклониться моим слушателям, я зацепился париком за бахрому балдахина, повешенного над кафедрою; бахрома на беду мою была золотая с битью<sup>1</sup>, парик упал, а слушатели ахнули, увидя мою обширную лысину: судите сами, благоприятно ли такое впечатление в начале проповеди, которая должна была заставить плакать? Таково мое счастье во всяком случае!

Получаете ли вы “Йоркские Ведомости”<sup>2</sup>? В № XXXI можете прочесть следующее: “Ныне, такого-то числа и года, повешены два плута. Пьяный палач, будучи твердо уверен, что надобно вешать троих, накинул петлю и на шею священника, который исповедовал приговоренных к смерти и сидел с ними в одной тележке. Священник хотел доказать ему, что он ошибся; палач рассердился, началась драка, и бедному пастырю быть бы непременно удушенным, когда бы шериф не вырвал его вовремя из когтей пьяного палача”. Кто бы, вы думали, этот священник? Я, милостивый государь! Моя ли вина, что палачу вздумалось напиться пьяным; но с той поры насмешники не дают мне нигде проходу и называют меня висельником.

Вот другой случай: один из моих прихожан, богатый помещик, обольстил молодую крестьянку; бедная скрылась, и неизвестно куда. Обольститель, будучи на одре смерти и мучась раскаянием, призывает меня, отсчитывает двести гиней, которые просит отдать несчастной жертве его разврата, если удастся мне открыть ее убежище. Я еду в Лондон, печатаю в газетах, *что имею нужду видеться с девицею N. N., которая может найти меня там и там и будет мною очень довольна*. И, в самом деле, не позже как на другой день является ко мне девица N. N., получает двести гиней, рассказывает чудеса о своем состоянии, о порядочном образе жизни своей, о новом заведенном ею пансионе для благородных девиц; я радуюсь от доброй души, благодарю Создателя, что он наставил ее на путь истинный. Девица N. N. зовет меня к себе на ужин; я даю слово и в девять часов вечера прихожу в пансион; меня окружает множество воспитанниц, одна другой моложе, одна другой лучше. Сначала кажется мне, что они обходятся немного свободнее девиц йоркских: но я размышляю, что в главном городе совсем другие обычаи, нежели в уездном, и остаюсь спокоен. Подают чай; мы пьем, разговари-

ваем, смеемся; является пять или шесть молодых мужчин. Спрашиваю, кто эти господа, почему так непринужденно обращаются с воспитанницами; хозяйка уверяет, что все они очень добрые люди, что один учитель богословия, другой математики, третий ботаники и так далее. Входит еще учитель и, по несчастию, мой земляк. Бегу к нему навстречу; он протирает глаза, узнает меня и восклицает, всплеснув руками: куда забрела ваша святость, господин Вальтер? Давно ли посвятили себя такому богоугодному промыслу? Конечно, изволите спасать заблудших овечек? Страшный хохот. Вообразите мое положение! Бросаюсь опрометью в двери и сам не помню, как нахожу свою квартиру. На другой же день оставляю Лондон. Но мой земляк успел накануне еще описать нашу встречу йоркским своим знакомым. Приезжаю домой, все на меня косятся, богомолки от меня бегают, молодые люди надо мною шутят, никто нейдет ко мне на исповедь; встречному и поперечному рассказываю истинную повесть, но мне не верят или слушают меня с язвительною усмешкою; наконец, теряю терпение, решаюсь оставить свою деревню, еду в Линкольнское графство и там с великим трудом нахожу место, гораздо невыгоднее прежнего.

И здесь несчастье меня не покидало: один из моих прихожан, первый богач по округе и записной охотник, очень часто с сокрушенным сердцем жаловался на разорения, причиняемые в лесах его стрелками, которые немилосердно переводили в них дичину. Я искренно сожалел о несчастьи моего патрона, усердно просил Бога, чтобы он подал мне случай поймать хотя одного из этих разбойников: и Бог услышал мою молитву! Но что же вышло, господин журналист?.. Читайте: однажды в сумерки еду через рошу: слышу шорох, вижу человека с сетью, который прячется от меня за дерево, думаю: вот прекрасный случай угодить моему патрону; бегу, хватаю хищника за ворот, кричу: разбой! Но кто же этот хищник, милостивый государь? Сам главный лесничий помещика, огромный мужчина, с которым и пятеро таких, как я, не могли бы сладить. Этот мошенник, пересилив меня, скрутил веревкою, как зайца, потащил в замок; меня же, бедного человека, обвинили, меня же назвали вором, меня же выгнали из деревни! Таково-то иметь сострадательное сердце!

Собрав последние деньжонки свои, отравляюсь в Лондон; вчера ввечеру, к половине шестого часа прихожу к заставе, а ровно в шесть посажен в тюрьму! За что и как? Все несчастье: заблудился, забрел в глухой переулок; слышу, кричат: *помогите, помогите!* Бегу, вижу двух человек, которые бьют одного; натурально, спешу на помощь к слабейшему, спотыкаюсь, падаю; один из разбойников садится на меня верхом, другой начинает колотить меня под бока, а третий, которого

били, видя, что занимаются не им, а мною, бежит, и след простыл! Загадка объяснилась: мнимые разбойники были служители полиции, а тот, которого мне удалось спасти, промотавшийся шалун, осужденный просидеть в Кингс-Бенче<sup>3</sup> до уплаты своего долга. И теперь, ни за что ни про что, сижу на его месте, и мне же велят платить за него деньги, мне, которого все богатство состоит в одном изношенном парике, черном кафтане и старой Библии. Скажите, милостивый государь, есть ли правосудие в Лондоне и уважают ли здесь первые человеческие добродетели: сострадательность, неустрашимость, великодушие, благодаря которым сижу на хлебе и воде, в тесной конуре?

Войдите, прошу вас, в положение бедного человека; напечатайте это письмо в вашем журнале. Почему знать, быть может, господин безымянный, за которого терплю напраслину, вспомнит Бога и меня выкупит!»

Но господин безымянный не вспомнил Бога: добрый священник Фортунат Вальтер и теперь еще сидит и Кингс-Бенче. Один богатый лорд, который читал за туалетом письмо его, напечатанное в журнале, и много смеялся, приказал камердинеру своему утешить жалкого узника пятьюдесятью фунтами стерлингов. Камердинер приходит в Кингс-Бенч, хочет отдать деньги, опускает руку в карман, но денег нет: какой-то проворный мошенник украл их в тесноте, близ самых ворот тюремных.

Не жалкий ли он человек, читатели?

*Коцебу*

## ОТРЫВКИ ИЗ НОВЫХ ЗАПИСОК Г-ЖИ ЖАНЛИС

Господин Р\*\* был страстно влюблен в маркизу М\*\*, которая, ничего не подозревая, обходилась с ним, по обыкновению, непринужденно, как с старым, искренним приятелем, любезным по добродушию своему и честности. Однажды ввечеру, сидя наедине с маркизой и будучи не в состоянии долее скрывать своего чувства, господин Р\*\*, без всякого предисловия, падает на колена и осыпает ее нежнейшими выражениями страсти. Такое нечаянное, неприготовленное признание показалось забавным для маркизы; она засмеялась и в шутку ударила господина Р\*\* по лицу ручным экраном; к несчастью, медный гвоздь, которым экран прикреплен был к рукоятке, воткнулся в нос г-на Р\*\*. Маркиза М\*\* захохотала, отдернула руку; но экран повис на носу и закрыл, наподобие маски, все лицо обожателя. В ту самую минуту входит гость. Маркиза продолжает хохотать; господин Р\*\*, пользуясь своим несчастьем, встает и бежит вон с экраном на носу, который отцепил не пре-



жде, как в прихожей. Посетитель, не выдав его в лицо, не мог отгадать, кто он. Маркиза М\*\* не хотела открыть его имени, но господин Р\*\* явился на другой день в общество с страшным рубцом на носу, и все узнали его тайну.

\*

Признаемся, к чести писателей, что все они — разумеется, только те, которые имеют дарование, — вообще не столько мстительны и злы, как другие люди; в спорах своих бывают они и горячи, и грубы, но в примирении всегда искренни; имея чрезмерно раздражительное и нежное самолюбие, они вспыльчивы, но размышление или, лучше сказать, приятность уединенного занятия всегда успокаивает их досаду. Личная ненависть отравляет душу: ее намерения и происки ужасны; ненависть писателя не имеет ни такой силы, ни такой жестокости (не говорю о некоторых исключениях); она не может уничтожить ни чело-веколюбия, ни взаимного уважения. Хороший писатель, читая несправедливую критику, не сердится, но горячится; написавши ответ свой, он доволен, он отместил, он все забывает, он готов простить, если только книга его заслужила всеобщее одобрение. Одни худые ораторы — (замечено в английском парламенте) — ненавидят своих противников; то же можно сказать и о писателях: писатель без дарования неумолим; всякое колкое слово, против него сказанное, имело свое действие. На поприще литературы необыкновенные достоинства не могут быть утесняемы; там погибают одни глупцы, которым потому именно и естественно быть мстительными: для них не существует *великого беспристрастного судилища*; они уверены внутренно, что публика не уничтожит приговора, убийственного для их славы. Никогда искренняя привязанность не бывала производима ласкательством, и критика писателей никогда не может приключить продолжительной, глубокой ненависти: она не действует на душу! Следовательно, сердце нежнее и чувствительнее самолюбия: истина утешительная для человечества!

\*

Известно по истории, что Крезов сын, немой от рождения (но не глухой), увидя неприятельского воина, который замахнулся мечом на отца его, вдруг получил употребление языка и воскликнул: «*Воин, не убивай Креза!*» В ребячестве своей была я свидетельницею подобного происшествия, которое неизгладимо запечатлелось в моей памяти. Вот оно: тетка моя, графиня де Серсей, находилась с мужем своим, который от паралича не имел движения в половине тела, у теплых вод в Бурбон-Ланси<sup>1</sup>. Более двух месяцев жили они все вместе: воды не действовали, больной лежал в постели, без памяти, почти без движения, совершенно

лишенный правой руки, которая одеревенела. В это время графиня получает от господина де Шезака, тогдашнего начальника французской морской силы (французы были в войне с англичанами) письмо, наполненное похвалами сыну ее, шестнадцатилетнему молодому человеку, который сражался как герой, первый вскочил на неприятельский корабль и, несмотря на раны свои, всех привел в изумление чудесною храбростью. Неприятельский корабль взяли, сражение кончилось, молодого де Серсея, обгаренного кровью, спросили, где он ранен? «Не знаю, — отвечал он, — думаю, что это кровь англичан, потому что я ничего не чувствовал». Но кровь была точно его: он получил три раны, хотя очень легкие. В письме господина де Шезака приписал он несколько строк собственною рукою к матери. Графиня де Серсей, думая, что муж ее сохранил еще некоторую внутреннюю чувствительность, решилась прочесть ему письмо. В горнице было шесть или семь человек, в том числе и я. Отдернули занавес, окружили постель; я стояла на коленях на табурете, внимательно рассматривая лицо больного, который, казалось, совсем не замечал происходившего перед его глазами. Графиня садится в головах, произносит громко имя Армана, их сына, к которому отец особенно был привязан. «Мой друг! — говорит она. — Арман чрезвычайно отличил себя в сражении!». Лицо больного переменялось: он подымает глаза и пристально смотрит на супругу свою. Графиня читает, явственно и тихо, письмо господина де Шезака. Больной слушает, и вдруг видим в глазах его слезы; он подымает руку, дотоле хладную и неподвижную, и трогательно произносит: «*О Боже! ...*». Все заплакали; думали, что болезнь миновалась, но сие чудо чувствительности свершилось единственно для того, чтобы несчастный страдалец последний раз наслаждался радостью отца. Последним действием рассудка его было страстное движение восторга и чувство благодарности к Существому Всевышнему; все бытие возобновилось в нем при имени милого сына; юноша, удаленный от семьи, делами благородными оживотворил на минуту угасающего отца своего; старец почувствовал жизнь со всем её блаженством! ... Скоро потом прекратилась она, и навеки.

\*

Как несправедливы и, можно сказать, безрассудны, насмешки светских людей над многими драгоценными и в общежитии необходимыми добродетелями! Сколько вреда наделали они обществу и сколько характеров испортили! Беспреданно кричат: *люди, ни в чем не отступающие от порядка, несносны!* Почему же? Не потому ли, что любят до излишества точность; что отвечают по первой почте на всякое ваше письмо, и нужное и не нужное; что никогда не пропустят минуты, назначенной

для свидания; что никогда не потеряют вверенной им вещи; что помнят свои обещания; что можно всегда положиться на их слово? Признаюсь, для меня такие люди *сносны*! По крайней мере, имею слабость предпочитать их тем рассеянным или слишком заботливым людям, которые в связях своих так ненадежны, забывчивы и неточны! Охотно верю, что сии блистательные недостатки могут служить истинным признаком гения, что они *неразлучны* с дарованиями необыкновенными, но, к стыду своему, нахожу, что они уступают честности, осторожной и неизменной в самых мелких подробностях, точности, порядку, верности в самых обыкновенных обстоятельствах жизни.

\*

Я слышала мнение, которое нахожу странным и вообще несправедливым. Покажите мне, говорил господин В\*\*, роспись вашего гардероба и мебели, и я берусь очень верно описать ваш ум и характер. Но Фридрих Великий<sup>2</sup> имел самый странный и ребяческий вкус в уборке своих покоев; например, кто бы сказал, смотря на кровать его, украшенную розовыми занавесками с серебром, что она принадлежит воину, который вечно спал в сапогах и шпорах? Такая метода размышления весьма незатруднительна; путешественники наши обыкновенно употребляют её. Стоит заметить *мимоходом*, и всё знаешь; система готова, не надобно терять ни размышлений, ни времени. Но путешествие будет составлено из одних догадок? Какая нужда! В старину путешественник имел необходимость в здравом смысле и точности; ныне будь проницателен, и довольно! Диво ли, скажете, описывать такую вещь, которую видел, рассматривал, а может быть, ещё и сравнивал с другими? Важность — изобразить понятно и сходно то, что угадал, не выдавши глазами? Не спорю, что многие такие догадки могут быть очень смешны и, если хотите, глупы! А по ним и сам путешественник покажется и смешным, и глупым, но чем более опасности, тем более и славы! Скажу, однако, что в этом случае не могу, по совести, причислить себя к *славным*. Вот что случилось со мною в Гамбурге: я наслышалась, что протестанты, большие неохотники до всякого церковного убранства, никогда не украшают церковь своих цветами. Будучи в Гамбурге, я любила прохаживаться одна по городским окрестностям; однажды увидела несколько смежных крестьянских садов, разделенных низенькими заборами; вхожу в один: все наполнено огородными овощами и зеленью, выключая одной довольно просторной площадки, усеянной прекрасными цветами; изъявляю хозяйке свое удовольствие!

— Мы разводим эти цветы для церкви, — отвечает она.

— Как для церкви? — спрашиваю с удивлением.

— Так точно, сударыня! Мы вяжем из них пучки, с которыми ходим по воскресеньям к обедне. Загляните в соседние сады: во всех найдете такие же площадки с цветами.

Ответ был ясен, я еще сомневалась; иду в другой сад; крестьянка не обманула меня: и здесь нахожу площадку, усеянную цветами; в третьем, четвертом и пятом садах тоже! Возвращаюсь домой и записываю в журнал: «*Протестантские крестьяне в Гамбурге богомольнее католиков! Они разводят цветы для украшения церквей своих*». И я, конечно, сохранила бы свое заблуждение, когда бы на другой же день оставила Гамбург, но дней через пять прихожу в протестантскую церковь, ищу глазами цветов, не вижу ни одной гирлянды; зато замечаю, что большая часть поселян и поселянок имеют в руках букеты; спрашиваю о причине, мне говорят: «В нашем городе пучки цветов означают *собственность*; один только владелец имеет на них право, и вы найдете почти во всех крестьянских садах особую гряду для тех цветов, из которых составляются пучки церковные. Крестьянин, не имеющий собственности, не смеет явиться в церковь с букетом; этою привилегиею исключительно пользуются одни владельцы. Здесь цветы почитаются знаком отличия, которое слишком дорого для суетности гамбургских поселян и поселянок!». И я поспешила вычеркнуть из своего журнала все прекрасные рассуждения о набожности протестантов, живущих в Гамбурге. Весьма опасно полагаться на свидетельство наружности; она обманывает путешественника и тогда, когда, по-видимому, имеет он все нужные для него объяснения.

## ЛАФАТЕР

Имя Лафатера заметно в летописях образования и заблуждений осьмаго-на-десять века. Он родился в Цирихе, 15 ноября 1741 года; в ребячестве своем казался добродушным, тихим, но робким — родственники называли его плаксою; вообще предпочитал он тогда наукам забавы и более всего любил заниматься леплением восковых фигур или математическими детскими игрушками. Записавшись в школу, он совершенно пристрастился к учению. Брейтингер, Бодмер и некоторые из сверстников воспламенили в нем благородную ревность; сильный патриотический энтузиазм овладел душою молодого Лафатера — и теперь не забыли еще в Цирихе о той опасной и упорной расправе, которую смелый юноша Лафатер и друг его Фисли (впоследствии славный английский живописец) имели с низким Гребелем, которого неумоимо, без всякой пощады, сначала скрытно, потом явно, на словах и на бумаге, преследовали, срамили, бесчестили перед глазами целого

Цириха. Лафатер, посвятив себя званию проповедника, отправился в 1763 году вместе с друзьями своими, Гессом и Фисли, в Берлин; там познакомили его с профессором Сульцером и пробстом Шпальдингом. Последний принял Лафатера вместе с товарищем его Гессом к себе в дом, в котором провели они несколько месяцев в приятном философическом уединении, благодетельном для юной души Лафатера. Гений его возмужал, таланты раскрылись; слог образовался: тогда написал славные свои «Размышления о вечности» и «Песни швейцарские»; первые трогают и возвышают душу, последние, оживленные пылкими чувствами патриота, написаны сильным, простым, гармоническим, приятным сему роду сочинения слогом; короче, они послужили основанием лафатеровой славе. Скоро удивил он свое отечество необыкновенными талантами духовного оратора и в 1786 году получил достоинство пастора в церкви Святого Петра, находящейся в Цирихе. Здесь открылось для него новое, обширное поприще деятельности; многочисленные толпы стекались слушать его поучения; Лафатер изумлял своим искусством; никто не мог противустоять убеждению взоров его, гармонического голоса, телодвижений, пылкого, непритворного чувства; он верил в глубине души всему тому, что выражал словами, и страстно желал перелить в других собственную свою веру: самое закоренелое безбожие безмолвствовало и смущалось в его присутствии. Со всем тем нельзя не признаться, что он нередко излишне предавался своему воображению; всякое новое необыкновенное происшествие возбуждало в голове его новые мысли: сомнительное преступление, самоубийство, землетрясение в Калабрии, победы Суворова, короче, все, хотя немного замечательное, представляло Лафатеру богатую материю для проповеди; он написал их более двухсот, и многие по справедливости должны быть причислены к превосходнейшим произведениям церковных ораторов Германии.

Лафатер есть совершенный образец духовного пастыря: в течение всей своей жизни был он неутомимым наставником, путеводителем, защитником и другом духовных своих чад, но деятельность его не ограничивалась тесными пределами одного прихода: он имел короткое сношение с тысячами; соотечественник и чужестранец искали его советов; почти ежедневно посылал он печатные и письменные разного рода формы и наставления к своим многочисленным последователям; всего настоятельнее требовал он от них замечания за самими собою, чаще всего советовал им вести дневные записки, представляя в пример себя и собственный свой журнал, который напечатал со многими прибавлениями, под названием: «Ежедневные наблюдения над самим собою». Нет состояния и возраста, для которых Лафатер не написал бы особен-

ной поучительной книги — в пример его «Нравственные правила для слуги», «Карманная книжка для поденщика», «Ручная христианская книжка для детей», «Письма к юношам» и другие. Из сих многочисленных сочинений одна только малейшая часть напечатана, одни только избранные имеют Лафатерову «Ручную библиотеку для друзей», состоящую из множества томов в маленький формат и вообще неизвестную публике.

Тайны природы, открываемые одним здравым рассудком, не могли удовлетворить пылкого, деятельного Лафатерова духа. Драгоценность Божественного Откровения и благодать небесная были истинною для него необходимостью. Простые силы, натуральные, известные сердцу его средства, были недостаточны для произведения тех благ, которыми желал он осыпать человечество.

Средства таинственные, науки сокровенные, невидимые силы, словом, чудеса казались ему необходимыми для исполнения неограниченных желаний благодетельной души, которая слишком желала им верить и потому именно нередко уверялась в их возможности; вот основание известной лафатеровой слабости к обманам Калиостра, Месмера и им подобных! Он с живостию прилеплялся ко всякому и самому странному мнению, которое приводило к открытию полезной или утешительной истины! Его мечтательность и любовь к чудесному или божественному была беспрестанно питаема новыми парадоксами; он с удивительною, можно сказать, мелкою и ребяческою примечательностию выдумывал средства для распространения и согласования со всяким рассудком, характером или расположением тех идей, которые казались ему общепольными; например, по смерти его нашли несколько сот билетов с надписью: «Памятник для моих друзей, когда меня не будет». Их содержание: христианские мысли; утешительные правила; полезные советы, совершенно приличные свойствам или обстоятельствам тех лиц, для которых были они назначены. Все они написаны или, по крайней мере, подписаны собственною рукою Лафатера, на каждом выставлены число и номер, короче, и здесь соблюден тот строгий, определенный порядок, которым отличается каждое действие Лафатера.

Важнейшее произведение ума его, которым прославился он у чужестранцев и по которому имеет неоспоримое право называться участником в распространении человеческих знаний, есть без сомнения «Физиогномические опыты», сочинение, по словам самого Лафатера, беспорядочное, содержащее одни разбросанные материалы, но в своем роде единственное и глубокомысленное; оно есть плод великого множества остроумных, философических и необыкновенных наблюдений, которые нередко изумляют свою справедливостию. Лафатер с двад-

цати пяти лет до самого конца жизни жертвовал всеми свободными часами той науке, которой по справедливости почитался создателем: он страстно желал распространить ее и возвести на высочайшую степень совершенства, но средства не соответствовали его желаниям, необходимые издержки были слишком велики; в самом искусстве Лафатер был только ученик: он рисовал весьма посредственно.

Может быть, ни один стихотворец не сочинил такого множества стихов, и особенно гекзаметров, как Лафатер. Не все из них, скажем откровенно, удачны. «Мессия», духовная поэма его, не иное что, как Евангелие и Деяния Апостолов, переложенные в стихи. Лафатер не имел сего обширного воображения, которое объемлет целое и беспорядочные, разбросанные части соединяет в искусном и привлекательном порядке. В поэме его найдутся некоторые прекрасные отрывки, но вообще она скучна и слишком растянута. Лафатеровы эпопеи, стихотворные отрывки и бесчисленное множество надписей, которые поместил он под рисунками и портретами, писаны гекзаметрами, но вообще замечен в них недостаток стихотворной гармонии. Лафатер, от природы одаренный великим избытком красноречия, нередко в стихах своих повторяет по несколько раз одно и то же выражение, один и тот же оборот, полагая, быть может, что в сем повторении заключаются и выразительность, и сила.

Перечтите все сочинения Лафатера, напечатанные или оставшиеся в рукописи, вообразите обширность и точность его переписки, обязанности его сана, которые исполнял он с неутомимую ревностью во всех отношениях, бесчисленное множество связей и развлечений, которым был он необходимо подвержен как славный писатель и деятельный благотворитель всякого несчастливца — и такая необъятная, чудесная деятельность покажется для вас сверхъестественною. Но вы поймете ее, когда помыслите о том удивительном, можно сказать, суеверном порядке, которому пылкий, быстрый и для всякого впечатления отверстый дух его подчинял себя в обыкновенных своих занятиях! Каждый час, каждая минута Лафатерова дня имели особенное назначение; иные двоякое и троякое. Благодаря чудесной гибкости своего ума и характера, он никогда не обнаруживал ни малейшей угрюмости, ни малейшего нетерпения в беседе с друзьями или чужестранцами, которых посещения могли быть лестны для авторского самолюбия, но часто бывали обременительны для человека, имевшего столь мало свободного времени. Лафатер выражался с живостию и приятно; в общество приходил он с искренним желанием нравиться и всегда умел открывать вернейшее к тому средство.

Никто сильнее Лафатера не чувствовал политических несчастий, которые постигли Швейцарию в конце осьмаго-на-десять века: тогда патриотизм его обнаружился во всем своем блеске. Все умолкло, все трепетало перед могуществом Французской Директории; один Лафатер осмелился написать свое славное «Воззвание к правителям Франции»; один Лафатер проповедовал права народов, проповедовал и тогда, когда извлекли его из отечества как возмутителя и дерзкого врага порядка (16 мая 1799). Через несколько месяцев он возвратился, но скоро потом, при взятии Цириха французскими войсками под предводительством Массены, был ранен смертельно ружейным выстрелом. Его страдания были неописанны; он редко чувствовал облегчение, и наконец сам предсказал мученическую смерть свою; но в самые ужасные часы телесной муки деятельность души его не прекращалась: на смертной постели написал он свои беспристрастные «Письма о системе переселения» — один из важнейших материалов для будущего Лафатерова биографа.

Надобно удивляться его спокойствию, терпению, мужеству и преданности к воле Божественного Помысла в течение утомительной, непрерывной и часто нестерпимой болезни, которая мучила его более 15 месяцев и наконец привела ко гробу. Ни одна минута облегчения не была проведена без пользы; Лафатер охотно принимал и друзей, и чужестранцев, разговаривал с ними весело, нередко со всею живостию и красноречием юношеских лет, вообще ласково, остроумно; шутил, смеялся, короче, забывал и заставлял других забывать о страшной болезни, свирепствовавшей в его теле. Ввечеру, накануне смерти, сочинил он стихи, которые ослабевшим уже голосом диктовал своей племяннице. Они оканчиваются следующей, трогательною, в положении умирающего Лафатера, замечательною молитвою:

«Отец! Не отними от нас спасительной руки Своей! Да каждый день стремимся к Тебе с живейшею верою! Да каждый день ищем Тебя, и находим! Да укрепляемся Твоею любовью в минуты возрастающей скорби! Да каждый вечер обретает нас более восхищенными бытием своим и Тобою!»

Ввечеру, 2-го января 1801 года, кончил жизнь Лафатер. Еще не время произнести решительный приговор о его свойствах, добрых или худых, и следствиях его неутомимой деятельности. Враги называли Лафатера падшим ангелом, друзья — утешителем во всех житейских печалях, посланником Промысла во дни испытания и упадка веры. Беспристрастное потомство рассмотрит со временем и добродетели, и слабости сего удивительного человека и скажет, каков был Лафатер!

*(С немецк.)*



## О ИЗГНАНИИ

(СОЧИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛА МОРО)

Я изгнанник!.. Более ничего? Но я унываю: прилично ли мне уныние? Супруга моя плачет: имеет ли она причину плакать? Приближимся к тому ужасному привидению, которое грозит разрушить спокойствие моей жизни! Одна обыкновенная душа ожидает отрады от времени и рассеяния: первое действует исподволь и медленно, последнее только отводит — средства, недостойные мужа! Ему ли потуплять глаза перед лицом несчастья?.. Не хочу выдавать себя за стойка: я презираю хвастливое велеречие мудрецов нашего века; я не знаком с искусством и пышными фразами школьных ораторов, но я приобрел независимость духа; я наслаждаюсь одобрением чистого сердца; и счастлив, что никогда не ослеплялся блистательным убором фортуны, умел заметить сокрытое под ним безобразие и, наслаждаясь дарами случая — почестями, богатством, никогда не забывал, как мало надёжны сии призраки! Теперь, не видя их перед глазами, чувствую, что я ничего не лишился. Тот боится несчастья, кто был рабом фортуны. Оставленный ею, он плачет и отдается отчаянию — и может ли быть иначе? Обладая ею, он забывал, что в счастье всего нужнее приуготовить себя к перевороту и вооружиться неустранимостью против бедствия.

Толпа людей, никогда не имея собственного мнения, говорит и мыслит за другими; посему-то питается она одними химерами, не будучи в состоянии насытиться; беспрестанно требует новой пищи, не может постигнуть, что причиною такой неутолимой алчности; посему-то нередко почитает она великим несчастьем самую малость, которая, будучи мужественно рассматриваема вблизи, теряет свою ужасную, обманчивую наружность. Слово *изгнание* имеет звук неприятный, но должно ли ужасаться единого звука? Что такое изгнание? Перемена места, соединенная, может быть, с потерей богатства и почестей, посрамлением, разлукою с любезными. Разлука с отечеством! Как может она почитаться существенным бедствием, когда мы часто видим людей, оставляющих добровольно свою отчизну? Взгляните на улицы Парижа и Мадрита! Какая толпа чужестранцев, выгнанных из отечества честолюбием, алчностью к деньгам, скукою! Существует ли хотя один климат, знойный и снежный, в котором бы мы не нашли обители чужестранца, добровольно поменявшего на неё свою отчизну? Любовь к отечеству не есть врожденная склонность: в отечестве мы любим те блага, которые могут существовать для нас и в стране чуждой. Итак, мои друзья, тому, кто спросит, где ваше отечество, укажите с Анаксагором на небо!

Сама натура, изменяющаяся беспрестанно, вложила непостоянство в человеческую душу: однообразие для неё несносно; всякую минуту желает она перемены. Прочтите историю! С начала мира нации в беспрестанном движении, народы сменяются народами, оставляют свою отчизну, ищут другой, и сии переселения не могут ли по справедливости назваться изгнаниями? Послушайте Варрона и Брута. Натура везде одинаково прелестна и величественна, говорит первый, и перемену места не должно почитать несчастьем. Несчастен ли изгнанный, прибавляет последний, когда не могут похитить у него добродетели, несомой им в своё изгнание? Скажите ж: оставляемое вами в отечестве сравнится ли с добродетелью и натурою, которые принадлежат вам и в самом изгнании. О Провидение! Лучшие блага Твои независимы от воли гонителей; подыми же гордо и свободно чело своё, куда бы ни бросила тебя ужасная буря судьбы! Везде найдешь людей, которые в одинаком источнике почерпают и добродетели, и пороки свои; везде найдешь ясное небо, везде поля и рощи, везде неизгладимые следы небесного Промысла!

Все люди одинаково чувствуют непроницаемость железа и твердость камня; почему же так не сходны они в ощущении скорби или радости? В сем случае степень чувства определяется особенным характером каждого; и конечно, без собственного нашего содействия судьба не может ни вредить нам, ни благодетельствовать! Кого ниспровергает бедствие, тот, верно, слабо стоял на ногах и в самую минуту несчастья. Тому наслаждаться житейскими благами, кто властен презреть их при первом перевороте фортуны! Ты потерял свои богатства, умей себя ограничить: с меньшими заботами будешь иметь то же, что имел и прежде. Натура тесными пределами ограничила твои нужды — привычка и воспитание распространили их до бесконечности! Истина заключена в малом круге, но заблуждение теряется в пространстве необозримом. Блажен, кто может воскликнуть с Эразмом: сколько вещей, в которых не имею нужды! Жажда твоя утоляется чистою водою; но если не утолит её вода, то ты не жаждешь, а только ищешь удовольствовать одну прихоть. Взгляни на бедного поденщика — нищета ему не в тягость: он в ней воспитан. Скажи ж: получаемое поденщиком от привычки ужели не может доставлено быть тебе рассудком? Тебе ли, почитающему себя просвещеннее поденщика, покорствовать нуждам, сему последнему неизвестным? Взгляну ли на великих людей прошедшего времени, в которое простота неразлучна была с добродетелью — краснею! На высоте фортуны и славы не имели они того, что я имею в своем изгнании! Там вижу диктатора, который собственными победоносными руками приготовляет для себя грубый обед в то самое время,

когда беседует с послами сильного народа, Зенон не имел ни одного слуги; Сократ получал своё пропитание от граждан; Менений Агриппа не оставил ничего на своё погребение; в то время, как мужественный Регул приводил в трепет Карфагену, бежал последний, единственный пахарь его, и поле удобряемо было на счет общественный; дочери Сципиона не имели приданого — подобных примеров тысячи! Кто ж, видя их, осмелится называть нищету несчастьем? Кто осмелится уважить те мелкие выгоды, которых не знали и не могли знать великие мудрецы и герои древности?

Но утрата почестей и отличий? Для меня существует только одно отличие, которого никакое изгнание не может похитить у человека — отличие, даруемое достоинством. Монархи могут изобретать чины и триумфы, могут безумцев или бездельников украшать почтенными знаками заслуги и добродетели, но истинных достоинств они не в силах ни дать, ни похитить! Достоинство будет уважаемо лучшими и просвещеннейшими; безумцы и чернь в глазах моих ничтожны. В счастливейшие дни мои они удивлялись во мне только тому, на что я сам взирал всегда с пренебрежением — теперь презирают меня, и жалки! Тогда бесстыдно стремились ко мне навстречу — теперь оставили меня в покое. Взойди опять моё солнце, и сии насекомые опять возродятся, опять окружают меня шумящим своим роем. Конечно! Я потерял возможность делать много добра, но человек во всякое время, во всех обстоятельствах имеет средство быть добрым; не степень, но качество добра составляет его достоинство. Ты верно исполнил обязанности гражданина; ты верно — пренебрегая врагов и опасности — служил своей отчизне; она воспользовалась плодами трудов твоих, и ты один за нее страдаешь... Так! Я с честью заплатил отечеству долг свой; призываю в свидетели страну чуждую, Германию! Теперь свободен, могу заниматься одним собою — изгнание избавило меня от тяжкого бремени обязанностей.

Изгнание, ужасное вдали, бывает нередко столь же целительно для немощного духа, как и перемена климата для немощного тела! Зенон, бурей занесенный на берега Афин, кораблекрушению и потере имущества обязан мудростию, добродетелью, бессмертием! Итак, изгнание не лишает тебя ни преимуществ, даруемых фортуною, ни преимуществ, принадлежащих душе и телу! Как часто увеличивает оно последние, возвращая одной высоту и добродетель, другому — крепость и здравие. Где же сии грозные несчастья, с ним не разлучные?

Ах! Оно существует! Существует несчастье, обыкновенный спутник изгнания — несчастье, которого никакая человеческая добродетель перенести не в силах — говорю о разлуке с любезными, друзьями, родственниками. Но в родственниках весьма нередко находим одних

знакомых; истинных друзей слишком мало — приговор, произнесенный над несчастным, бывает обыкновенно знаком отшествия так называемых друзей наших. Но любезные? Ах! Какое сердце не затрепещет при этом имени? Разлука с любимыми! — Вот несчастье нестерпимое и ужасное! Ободришь же ты, бедное творение, которое от Промысла получило сей тягостный жребий! Когда имеешь супругу, подобную моей; когда любим ею так нежно, как я, тогда любезная последует за тобою и в дикую пустыню! С большею против прежнего любовью будешь прижимать её к сердцу; будешь весело и беззаботно, как я в сию минуту, сидеть между ею и сыном; подобно мне бросишь перо, подымеешь руки, весело и беззаботно обнимешь обоих и пожалеешь о тех несчастных, которые посреди могущества и славы не знали семейственных радостей и тишины сердечной, не знали, и — никогда не узнают!

*С немецкого*<sup>(\*)</sup>

## ПУТЬ РАЗВРАТНОГО

### Моральная Гогартова карикатура<sup>(\*\*)</sup>

Гогарт, желая представить развратного в его постепенном приближении к совершенству, изобразил на первой картине своей ту самую минуту, в которую молодой наследник скупого богача вступает в святилище родителя своего блаженной памяти. Под словом *святилище* можете разуметь его архив, ломбард, ветошный магазин, кабинет,

---

(\*) Коцебу перевел этот отрывок с манускрипта, присланного к нему из Испании. Он поместил его в журнале своем, который издается в Берлине под именем: *Der Freimüthige. Ж.*

(\*\*) Читатель должен иметь перед глазами картинку, в заключение книжки помещенную. Карикатура, говорил Сульцер<sup>1</sup>, изображает смешное и странное в увеличенном виде. Цель ее: посредством необычайного, чрезмерного и резкого производить сильнейшие впечатления. Следовательно, карикатура (в настоящем ее знаменовании, не едкая, ругательная и часто вредная насмешка), представляя порок и всякое моральное безобразие чертами разительными, необходимо возбуждает к ним отвращение и потому именно должна почитаема быть полезна. Гогарт, славный в сем роде живописи, совершенно достигнул сей цели. Мы, думая, что карикатуры его многим читателям «Вестника» неизвестны, сообщаем одну из них, первую в истории развратного. В следующих книжках будут сообщены и другие, к ней принадлежащие и вместе с нею составляющие одно целое. Объяснения писаны Лихтенбергом, бывшим профессором в Геттингене, оригинальным, забавным и иногда слишком свободным немецким писателем. Немцы называют его своим Стерном<sup>2</sup>, которому он не подражает, но с которым имеет великое сходство в уме, образе мыслей и слоге. Ж.

кладовую, правильнее всего, тюрьму, в которой он был столько лет и тюремщиком, и колодником. Надобно думать, что он ещё не погребен: видите ли этого человека, взмостившегося на лестницу и вооруженного молотком? Это обойщик! Он украшает черным сукном ту комнату, в которой должна происходить последняя заключительная сцена из жизни покойного — печальный эпилог уродливой драмы! Другая особа, стоящая на коленях, есть также в некотором смысле обойщик, яснее, портной, обязавшийся украсить печальными обоями особу наследника, с которого снимает, как видите, мерку. На стуле найдёте свиток: чёрное сукно, запас для обойщика, представленного на лестнице. Подивитесь чудесной гармонии вещей разнородных! И *гроб*, в котором сокровища, благо- и неблагоприобретенные (и смешанные, как на кладбище, где мелкий плут так часто бывает соседом знатного), столько лет почивали сном смертным в ожидании воскресителя<sup>(\*)</sup>, и сам *воскреситель* (наследник), который так долго и с такою мучительною нетерпеливостью ждал пробуждения мертвых, украшаются в одно и то же время одинаким, черным убором — печаль в минуту искупления. Но трубный глас уже возгремел! Смотрите, расторгнуты заклёпы, могилы открыты, разрушены гробы! И золото, и серебро, и старое железо, и тучные кошельки стремятся из недр темниц, радуясь дневному, доселе неизвестному им свету. Пергаментные свитки, документы, счёты, контракты, росписи, записки и списки лобзуют стопы избавителя, пресмыкаются под ногами его, объедают его колена; самые червонцы, заключенные в воздушном гробе, за твёрдым заклёпом карниза, услышав могущественный глас «*Восстаньте из мёртвых!*», катятся с высоты перед судилище. Некоторые дряхлые, почтенные парики, несколько инвалидных сапогов с поношенными башмаками, разбитая кружка, жаровня, две или три бутылки, шляпный футляр, дорожный фонарь, старомодный сюртук Джонсонова покроя, лопата и прочее, предчувствуя своё осуждение, скрываются вдалеке и с робостию ожидают решительного приговора. Но он еще не произнесен; день сей есть день чистилища, то есть пересмотра.

И вот герой наш, Томас Ракевель<sup>(\*\*)</sup>, предстоящий во цвете и силе юношеских лет! Глаза его, скажете вы, обещают немного; назовешь его скорее *простяком*, нежели *плутом*: согласен! Но посмотрите направо, и вы перемените мысли: наследник теперь лишь только возвратился из Оксфорта, где он учился, *учился* во всем значении слова *наука*. По первому гласу трубы, воскресившей пергаментные свитки, явились и два одушевленных *документа* — один представляющий пожилую мать,

---

(\*) Автор понимает под именем гроба саму комнату покойника.

(\*\*) Rake-well может значить *развратный*.

с сердитым лицом, нахмуренными бровями, громозвучным голосом и полным передником нежных записок; другой приятную семнадцатилетнюю дочь, которую видите у дверей, с платком на глазах — жалкое, добросердечное творение, жертва учености нашего наследника. Выражение бледного лица её прекрасно! Она плачет во всем обширном знаменовании слова *плакать*, так как обыкновенно плачет несчастный, который ищет и не находит в слезах минутного утешения тоски своей. Ребяческая досада не безобразит её лица; оно увяло, изнурено сердечною, неизлечимою болезнью. Ах! В сердце её должно скрываться много, и сие многое ужасно! Кляните вместе со мною вероломного соблазителя!

Имя её Сара Юнг — найдете его на некоторых из писем, составляющих огромный архив в переднике матери. Нужно думать, что роман продолжался долго, по крайней мере, был нежен; конец его, видите сами, трагический. На одном письме читаете: *Оксфорд*; на другом: *dearest life* (милый друг — не милади, не графиня); на третьем: *to marry you* (на тебе жениться); все остальное замысловатый художник выразил *пустым местом* — быть может, не более *полноты* находилось и в самых выражениях оригинала. Теперь понимаете ли? Непорочность обманута священным обетом супружества! Бедная Сара имеет в руке обручальное кольцо: рука сия, вероятно, была простерта к непостоянному и всё ещё любезному; но горестная, убийственная мысль, что все уже миновалось, что прежнего радостного времени уже нет, возобновилась в душе обольщённой Сары, и слабая рука ее упала. Пожалейте об ней! Бездушник за кипу клятвенных обязательств, данных им некогда на любовь и сердце, обещает ей горсть червонцев! «Сожалею, мисс! (*dearest life*), — говорит он или, судя по выражению лица, не мог иного сказать, — сожалею об ваших обстоятельствах; но видите, что и мои уже переменялись. Примите эту безделку за вашу дружбу и доброе сердце! Довольно молодых людей в Оксфорте: кто знает, что может случиться? Примите, прошу вас! Не принуждайте меня бросить этих денег нищим. Пускай достанутся они лучше вам, нежели какому-нибудь бродяге или плуту!». Но деньги не приняты — ни дочерью, для которой все уже погибло; ни матерью, которая, можно подумать, не тихого нрава. Женщина с таким лицом, с такими грозными, сомкнутыми кулаками, не скоро прельстится на деньги. Кажется, слышишь, как она говорит: «Обманщик! Не думаешь ли своими гинейми заплатить за честь моей дочери?». Её сверкающие, бешеные глаза, её выразительные движения заставляют догадываться, что она приветственную речь свою заключила некоторыми приличными учтивостями, некоторыми предсказаниями, которые все, как после увидим, к утешению честности и многих

добросовестных людей, сбудутся во всех подробностях. Замечаете ли на пальцах левой руки её кольца? Они надеты с намерением: хотели доказать (не будучи уверены в счастливом окончании процесса), что деньги им не в диковинку, что бедность их, благодаря Богу, ещё сносная. — Теперь покорно прошу взглянуть на прелестника! Не правда ли, что он с героическим равнодушием Юлия Кесаря<sup>3</sup> отражает ужасную бурю приветствий и титулов? Смотрите, как вытянут и прям! Иной сочтет его указателем дороги и — не ошибется: не сходны ли они в чувствах? Заметьте, однако, и в нем похвальную черту характера: этот добросердечный молодой человек, который способен забыть и честь, и уважение к погибшей от него невинности, не забывает о некотором облегчительном пособии для портного — он поднял полу своего кафтана, чтобы удобнее было снимать с него мерку! Чудесное присутствие духа в минуту осады и штурма!

Что сказать о важной особе портного? Имеем причину думать, что в ней скрывается и другая, не менее важная особа сапожника, или, лучше сказать, что она, по всем приметам, сапожник, а не портной. Для чего бы, например, украшаться передником из телячьей кожи? Известная сапожничья риза — сверх того, не замечаете ли на лице её некоторого мистического оттенка, некоторого таинственного вдохновения, столь необыкновенных на лице портного? Вероятно, что эта почтенная особа принадлежит к немногим из тех счастливых, которым покойник давал по временам аудиенцию в ветошном магазине своем и за усердные услуги платил с приличным ему великодушием, сбавляя по пятидесяти процентов со ста при расчете. Естественно, что артисту с дарованиями покойника, который, как после узнаем, в часы свободы сам пришивал к прародительским башмакам своим подошвы, ничего не стоило употребить первого попавшегося ему навстречу сапожника вместо портного. А в наше время не диво сочинять самоучкою исподницы и халаты, когда мы видим такое множество записных чудотворцев, которые, не научившись ещё порядочно читать по складам, сочиняют поэмы и драмы. Словом, наследник, имея нужду в печальной декорации, употребляет, в первый и последний раз, того самого декоратора, который некогда убирал и блаженной памяти его родителя.

Далее! Герой наш, поднявши полу кафтана, прикасается к столу, уставленному блюдами разного вкуса и стряпанья: письменными документами, чернильницею и сочным мешком с гинееми. Последние два блюда очень знакомы тому величавому гостю, который, с пером в зубах, сидит за столом в почетном месте. Он, пользуясь благоприятным раздором чести и совести, которым озабочены теперь и хозяин, и плачущая мисс (dearest life), и бурная мать, спешит познакомиться с лучшим

по вкусу его блюдом. Выдумка благоразумная! Кто поручится, что сам хозяин предложит ему это блюдо? Кто ж этот догадливый человек, спросите вы. Служитель правосудия, милостивые государи, нотариус, маклер! Замечаете ли у него под мышкою мешок из зеленой байки? — Обыкновенная регалия английских маклеров — в него кладет он свои бумаги и, если угодно, при случае, остатки тех блюд, которые отвеживает украдкою, за спиною хозяина. Эта особа имеет и другое общее звание — звание плута. Какое ругательство, скажете вы. Но милости прошу всмотреться в эти вороньи глаза, которые так усердно стоят на часах в ту самую минуту, как деятельные пять пальцев творят таможенный осмотр во внутренности мешка! Он крадет — в этом нельзя и сомневаться, и что за диво — крадет с юридическим благоразумием, со всеми приемами великого мастера; часовые, стоящие на форпостах, знают своё дело и, кажется, к нему привычны! Осмелюсь наследник оглянуться, осмелюсь приметить, что гость его убавил десятком гиней лежащую перед ним казну, и завтра же принудит его заплатить десяток за то, что он имел неосторожность быть *с глазами*.

Старик скончался; мы это знаем; но здесь, благодаря искусству художника, встречается повсюду его величественный образ! Он жив на том прекрасном портрете, который вы видите над камином; он жив в лоскутках и бумагах, разбросанных по паркету его любимой камеры; всё дышит ещё бессмертным его духом; вся комната наполнена или, правильнее сказать, загромождена монументами его неопытных подвигов. Хотите знать, почему я так смело утверждаю, что портрет, висящий над камином, изображает покойника? Взгляните на камин! Та самая шапка, которую видите на портрете, *в подражании*, представится вам на полке камина *в оригинале* со всеми неоспоримыми признаками древности; очки, висящие уединенно в печальном пренебрежении на крюку, висели некогда с торжеством и славою на прародительском носу покойника (другого фасона крюк) в то время, когда он чистил и перебирал червонцы! Два костыля, передние ноги его (меланхолический пример непрочности вещей) разделяют изгнание очков; они не ровного роста; но это не удивительно: вы знаете, что ветхие лачуги подпираются разной длины и формы подпорками. Старший костыль, как я догадываюсь, был верным компаньоном блаженного во всех его походах, а младший служил ему повелительным жезлом и, может быть, при случае, посредством некоторых мистических действий, вселял покорность в буйные души домашних, которых, надобно заметить, не более, как один обветшалый кот, усердный постник, и ветхая служанка, представляющая вам в едином лице всю дворню: и повара, и камердинера, и истопника, и всё, что вам угодно. Смотрите, говорит вам Гогарт, здесь



имел он обыкновение сидеть, здесь покоились его подставные ноги, когда он отдыхал; на этом крюку висели карманные глаза его, когда он считал не на столе, а в мыслях нарастающие червонцы. Ночью и в зимние вечера освещал его философический ночник, который видите вы на полке камина в оригинале, и который, весьма вероятно, даже в Крещенские трескучие морозы был не только самую светлую, но вместе и самую теплую часть всего камина! Иначе для чего бы укутывать голову такую шапкою, а грешное тело таким полновесным хитоном, более приличным жителю полюса, нежели уединенному математику, сидящему в теплом кабинете, с полными пригоршнями гиней, и повторяющему на досуге нумерацию?

Знатоки в аллегориях и языке медалей отдадут справедливость Гогарту за остроумное и многозначущее соединение предметов, видимых перед холодным камином. Вообразите, что этот камин со своим ночником, шапкою и портретом (разумеется, великолепно вырезанным *en bas-relief*) есть памятник надгробный, сооруженный в каком-нибудь Вестминстере<sup>4</sup>, нужно ли будет вам объяснять, какие добродетели имел погребенный под ним покойник, и какого характера должен быть, по всем вероятностям, наследник сего знаменитого мужа?

Подымите глаза: неосторожный молоток обойщика отшиб карниз, который падает, и что же?.. Нечаянный случай возвращает свободу нескольким затворникам (очевидное действие правосудного Промысла!). Но выбор заточения?.. Какая несравненная выдумка! Какое неоспоримое доказательство великих хранительных способностей! Не в твердости, но более в неприступности воздушной темницы заключалась безопасность сокровища. Притом смотрите: какая благоразумная расчетливость! Золото, раскиданное туда и сюда, не может быть украдено в один прием! И что сравнится с приятностию хранить собственную свою тайну, с удовольствием прятать, выдумывать новые надежные средства безопасности, переносить с места на место неогценное сокровище, свивать, подобно ласточке, теплое гнездо для милых птенцов, которые, правда, не могут в нем расплодиться, зато не будут подвержены зорким глазам ястреба, то есть денных или ночных, законных или незаконных мошенников. Золотой град сыплется прямо на спину ветхой Данаи, которая, надобно думать, впервые изумлена таким чудом и более знакома с поучительным градом палочных или словесных учтивостей, нежели с мифологическим градом червонцев; это смиренное домашнее животное тащит охапку дров: приказано растопить камин, бывший доселе под запрещением. Времена переменялись: новое правительство обнародовало всеобщую амнистию; камин, упраздненный по приговору прежнего, должен возобновиться; свободная топка

позволена! Итак, червонцы не будут уже перебираемы окостеневшими от холода пальцами, хотя, по-видимому, обращаются они ещё медленно, ещё не приготовлены шотландские уголья<sup>(\*)</sup>; тощий камин на первый случай должен довольствоваться самую грубую пищу: лучинами, щепками и старыми кольями, вырванными из забора.

Здесь, перед открытою шкатулкою, разрушенным гробом серебряных чаш и мешков с гинеями, на которые светит уже блестящая заря воскресения, стоит другое домашнее животное с геморроидальною миною: худой, голодный кот, которого меланхолическое *мяу*, кажется, говорит вам: «Для чего эти мешки не мыши?» Подножием меланхолику служит книга; передние лапы его покоятся на тучных мешках с гинеями, украшенных ярлыками, на которых невидимая рука начертала 2000, 3000 и так далее. Скажите, милостивые государи, этот задумчивый постник не сходен ли с тем заблудившимся в Аравийской пустыне путешественником, который, умирая с голоду, находит на дороге мешок, берет его, восклицает в восторге: «*Пиено! Благодарение Промыслу!*» Спешит открыть, и что же? К ногам его сыплются перлы! «*Ах! это перлы*, — говорит со вздохом голодный, — *более ничего! Немилосердное небо!*» — Терпение, добрая тварь! Конец испытанию! Старинный друг твой, вертел, предательски отданный с некоторыми другими товарищами под заклад, ещё жив и теперь свободен. Не смея верить искуплению, он робко поглядывает на тебя с высокой тюремной башни, в которой полвека сидел взаперти, не имея возможности показать свету необыкновенные свои таланты! Скоро возвратится ему потерянный престол — очаг! Скоро увидят невиданный феномен на кухне — яркий огонь под кастрюлями! Какая утешительная для тебя надежда, постный кот! Служители с твоими достоинствами, с твоею честною расторопностью, в правление такого благомыслящего, механического министра, каков твой друг и ему подобные, могут ожидать порядочной для себя прибыли.

Наряду с подножием стоят два заслуженные инвалида — старые башмаки, *oeuvrre posthume* покойника, который чинил их своеручно и не дочинил; и теперь ещё виден конец той жизненной нити, которую неумолимая Парка перерезала вместе с другою, по многим отношениям ей подобную! На подошве одного из башмаков можете заметить золотой герб — подметка, вырезанная из переплета старой Библии, самой ближайшей соседки инвалидов: не значит ли это в настоящем смысле *попирать Божие слово ногами*? Что касается до Божия слова, государи мои, согласен! Покойный имел невинную привычку не уважать его! Но попирать ногами собственного, в душе любимого бога — я

---

(\*) Самый дорогой материал, употребляемый для топки печей в Лондоне.

говору о золоте — признаться, непостижимо! Например, я не удивился бы нимало, когда бы на старом халате нашего эконома нашел заплаты, выданные из книги Премудрости Соломоновой, когда бы зимняя шапка его была подбита плачем Иеремии или пророчествами Аввакума: все это в порядке вещей, но золото! Золото — существо единственно им боготворимое! На подмётках! Словом, я теряюсь!... Займемся другим, не столь запутанным предметом! Видите ли книгу, до половины раскрытую, брошенную с пренебрежением на пол, а со временем могущую попасть и в камин? Это журнал, дневник (memorandum book) покойника. Можем прочесть некоторые статьи, писанные в мае месяце 1721 года. Вот они: I-я. *Сын Томас приехал 8-го мая из Оксфорда* (Латинской области), это понятно и не требует объяснения. II-я. *4-го мая обедал у французского повара* — превосходно! Хотели угостить посетителя! Полегче, подешевле! Где же? Естественно, у французского повара! Итак, питательным именем и тощим обедом? Чего же вам более? Имя, *французский повар*, не есть ли самое лакомое и сытное блюдо? Хотя англичане и вообще уверены, что кухня французская имеет разительную аналогию с прозрачным телом и воздушным характером самих французов, что, например, жареные лягушки, цыплята с луком и *soupe à l'oignon*, едва ли займут одну пятидесятую долю английского желудка, побеждающего и бифф-стекс и пуддинг, но все вообще — разумеется, в большом свете — имеют некоторое благоговейное предубеждение к имени французского повара, которое на светском языке выражает очень много, столь же почти много, как и самое громозвучное слово: *большой свет!* И здесь нельзя не удивляться расчетливому гению, или, лучше сказать, глубокому познанию природы нашего Гаргантюа<sup>5!</sup> Проникнув в физические законы вещей, он мог безошибочно заключить, что в целом Лондоне ничто не могло иметь одно с другим такого натурального сродства, как тощая французская кухня и его домашняя, в которой царствовала вечная мрачность, вертел не действовал, а сидел под арестом, и кошки умирали с голоду, потому что мыши, оставя бесплодный край, ушли в обетованную землю. — Наконец III-я: *5-го мая удалось мне* (слава Богу!) *избавиться от моего фальшивого шиллинга!* Черта прекрасная! Мой шиллинг! Какая тесная короткость между ним и фальшивым шиллингом! Одно мистическое слово *мой* не уверяет ли вас, что этот фальшивый шиллинг — единственный во многочисленном семействе нефальшивых — лет десять мучил заботливую душу миллионщика, отравляя в ней каждое невинное чувство радости, которою, в лучшее время, оживлялась она при виде чистого полновесного золота. Вероятно, что этот ренегат, средствами непозволенными, без вида и привилегии, закрался в монастырское братство правочерных, долго скрывал себя от рысских

очей настоятеля, напоследок его узнали... Сколько трудов и хитростей потеряно, чтобы избавиться, с порядочным барышом, от горького обладания таким сокровищем! Наконец 5-го мая, по милости Асмодея<sup>6</sup>, удалось втереть его (вероятно, с христианским процентом пятидесяти пяти на сто) в руку промотавшегося повесы, и важное сие происшествие внесено торжественно в домовую летопись.

Еще одно или два замечания: стены парадных комнат, в которых выставляются на показ знатные гробы, за день или за два до выноса, бывают обыкновенно украшены гербами или шифрами покойников. И здесь, как видите, намерены последовать сему похвальному обряду: на правой стене прибиты гербовые щиты с эмблематическою фигурою *клещей* и надписью «*Beware!*» (крепче держи в руках) — девиз покойника! Можем вас уверить, что он во всё продолжение неопрятной жизни своей ни разу не изменил сему девизу; не знаем ещё, последует ли примеру его наследник, но мимоходом заметим, что в наше время и *слава, и дарования, и добродетели* праотцев чаще всего доходят до правнуков на одних гербовых эмблемах и надписях, существуют в одних гербовниках и вместе со многими другими прародительскими, обветшалыми утварями лежат под спудом в кладовых или подвалах.

Читатели, на первый случай довольно! Тайны святилища вам открыты; время оставить его! Скоро будете иметь случай удивляться герою своему в другом месте и других обстоятельствах! Первое действие кончилось; опускаю занавес.

#### КАРИКАТУРА

Мы оставили нашего Рыцаря — Томаса Раквеля — при самом вступлении на славное поприще: он действовал на нем с успехом; противники его — здоровье, доброе имя, совесть и те полновесные мешки с ярлыками, которым мы имели случай удивляться, — побеждены, рассыпаны. Теперь происходит последнее решительное сражение. Смотрите.

Вам представляется внутренность Вайта, лондонского кофейного дома, славного потому, что в нем обыкновенно собирались записные картежники. Между ними найдете знакомого своего Томаса Раквеля: он первая и самая главная фигура на картине! Заметьте разнообразие лиц, какие оттенки — пустота или так называемое *моральное ничтожество*; обдуманная, систематическая важность и важность, произведение холодного или охлажденного сердца; досада, соединенная с пылкостью нетерпения; отчаяние, иступленное, восстающее против судьбы; отчаяние бешеное, подозрительное, воспламененное убийственным мщением; хладнокровие в счастье; радость, основанная на чужой гибели

и слышная среди проклятий и стонов; ужас в разных видах, но производимый одним главным и все другие затмевающим предметом — какая страшная картина! Вообразите себя за дверьми, вообразите, что вы не видите ничего, а только слышите падение стульев, звон гиней, отсчитываемых одна за другою или с шумом влекомых со стола кучею; громозвучные выразительные восклицания, сострадательное лаяние собаки, и в этом хаосе грома пронзительные вопли: *Разбой! Пожар!* Что вы скажете? — «Здесь играют!» Точно так! Вы могли бы подумать, когда бы не слышали звучащей монеты, что здесь происходят душеспасительные споры о вечном блаженстве, или беседуют граждане республики сумасшедших! Но вы слышите мистический звон и говорите — здесь играют! Видите ли на столе корнет<sup>7</sup>? Это таинственная Пифия<sup>8</sup>, которой оракула ожидали с трепетом; он грянул — и Раквель, лишенный всего, сорвав с себя парик, в бешенстве грозит кулаками невинному небу. Его положение живописно — руки растянуты, как крылья, глаза на выкате, брови нахмурены, зубы скрипят; не скажете ли, что он внимает гласу *невидимых!* Но кто эти невидимые? Какой это магический голос? Конечно, это Гений тюремщика, шёпот ключей тюремных, приветствие оков *Бедлама*\*. У ног его пресмыкаются пустой парик, опустевший кошелек, оторванная коса; перед ним повержен стул, служащий трибуной лохматому Цицерону из Ковентгердена (слова, изображенные на ошейнике) — меланхолическое рычание сего ратора есть, без сомнения, надгробный панегирик покойному кошельку.

Прошу заметить вправо другого Рыцаря печальной фигуры: наскучив смотреть счастью в спину, он сам решил оборотиться к нему спиною. Он в трауре, с плерезами<sup>9</sup>; вероятно, что, будучи огорчен потерей какой-нибудь тетушки, пришел он сюда искать утешения с наследством в кармане, хотел на минуту забыться, но вдруг принужден оплакивать и тетушку, и наследство, которое, как видите погребено под тучною рукою паладина<sup>10</sup>, оставшегося победителем на турнире.

По правую и по левую сторону этой группы видите две другие — они спокойнее; по крайней мере, тише. Наряду с черным кафтаном за круглым столом сидит доброхотный ростовщик, который в угодность лорду Cogg — лорду *Голоуму* — (его узнаете по широким, вышитым золотом рукавам) уступает, за обыкновенные проценты 50-ти на 100, 500 фунтов стерлингов, разумеется, обеспечив себя наперед каким-нибудь дружеским залогом, который со временем можно бы было продать за 1000. Позади осиротевшего парика размышляет практический *Философ* — ночной разбойник; он не имеет желанья ни занимать денег,

---

\* Дом сумасшедших в Лондоне.

ни отдавать деньги взаймы; но из кармана его выглядывают обыкновенные посредники принужденных займов, делаемых на улице или в густоте леса — пистолет и маска. Один из этих господ есть *Кредитор* разбойников, другой их *Расходчик*, и лицо *Кредитора* прекрасно: вокруг него треволнение и буря, кричат: «*Разбой! Пожар!*», падают стулья, шатаются столы, собаки лают — он сидит спокойно, с раскрытою книгою, перед учебною лампадою, отсчитал деньги и записывает их четкими буквами в расход. В самом деле, должник с таким лягушачьим лицом, каков лорд *Cogg*, может почесться находкою: посмотрите на эти щеки в два этажа, на эти пухлые губы, на эти сонные глаза — не правда ли, что ему весело быть обманутым?

Вероятно, что *Практик* (разбойник) потерял за круглым столом все то, что выслужил с пистолетом в руке на большой дороге, и теперь рассчитывается с совестью, которая подвела ужасный *итог* под его суммою. Его беседа с самим собою не иное что, как совестная расправа. Надобно знать, что перспектива со стороны виселицы не переменилась — преступление сделано и никаким средством не может быть разделано: узнают меня, отведут мне квартиру *в воздушном замке!* С другой стороны такие же печальные виды: приобретённое преступлением потеряно, в одну минуту, навеки! Мы так же бедны, как и прежде; но прежде (может быть!) имели мы некоторую собственность: спокойную совесть! Теперь — страшное греческое П (эмблема виселицы) служит вместилищем каждому плану ума нашего, каждой картине нашего воображения! Не удивительно, что такая перспектива не разглаживает нашего лица и принуждает нас несколько хмурить брови. — Он ничего не видит, ничего не чувствует; не слышит приглашений мальчика, стоящего перед ним с полным стаканом — всё забыто: и вино, предлагаемое ему на подносе, и пистолет, и маска, которых, по счастью, мальчик не замечает, в противном случае греческое П могло бы служить вместилищем не одним идеям героя, но и самому герою. Камин, перед которым он греется, не чувствуя теплоты, закрыт решёткою! Для чего она? Для сбережения париков, перчаток, шляп и платков, которые могли бы залезть в огонь — натуральное действие пророческих изречений Пифии! Буфет, находящийся на ряду с камином, закрыт такою же решёткою — предосторожность благоразумная! Бутылки, стаканы и рюмки могли бы слишком много потерять от нападения париков, перчаток, шляп и тому подобного. Говорят, что каждая замочная скважина есть пасквиль на человека — желаю знать, какое имя дадут этим решёткам, спасающим парики и бутылки?

Позади мальчика представляется нам раненый Рыцарь. Надобно думать, что он поражен в самое чувствительное место! Видите ли,

с какую отчаянную досадою грызет он пальцы; но внутренняя операция мучительнее: он видит, с каким равнодушным спокойствием застольный победитель сгребает рукою гиней, видит и мучится завистию: собственная потеря и чужой выигрыш, которым пользуются с таким равнодушием, которым оживилось бы его умерщвленное сердце; вот Фурии<sup>11</sup>, грызущие этого Ореста<sup>12</sup>, убийцу не родной матери, но кошелька родного.

Лицом к траурному кафтану сидит существо, которому нет имени. Боже сохрани вас от встречи с подобною восковою фигурою! Не знаю, каким средством зашло сюда это безымянное создание, со своими невидящими глазами, со своим лицом, распустившимся в воздухе! Смело можно сказать, что оно есть беднейшее из всего собрания, и вероятно, по всем отношениям, Гогарт изобразил его для противоположности. Можно подумать, что оно принадлежит к тем бездушным, безличным тварям, которые, не имея довольно отважности и силы для того, чтобы быть деятельными в развращении, втираются в толпу развращенных и думают, что могут придать себе несколько весу в свете, говоря: *Вчера мы были в Вайте! Какая жаркая происходила у нас сшибка!* Он хочет только рассказывать! Может быть, и теперь рассказывает уже в воображении!

За спиною Практика происходит дележ. На устах счастливица, которого видите с непокрытою головою, царствует радость — но я желал бы сказать ему: берегись, товарищ твой слишком поспешен, в движениях его слишком много риторства; он нарочито звенит монетою, чтобы звоном заменить количество! По платью обоих можно догадаться, что один — знатный, другой — простолюдин, и первый, вероятно, в уплату недоимки включает и всякое благосклонное слово, и тот снисходительный такт, который сиятельная рука его бьет на спине товарища.

В прямой линии от этой спокойной и дружеской группы, у дверей, видите другую! И здесь заметна недоимка — слетел с головы парик, а с ним, кажется, улетело и что-то бывшее в голове под париком. Не правда ли, что этот непокровенный имеет великое сходство с нашим *Раквелем* — и там и тут одинакое опустение кошельков. Одна разница: первый вздумал упрекать небо своим несчастьем, а последний хочет обрушиться на бедное и, может быть, невинное создание, которое приветствует именем плута. По счастью, шпага в руках его так же ненадежна, как и корнет, сверх того, судьба посадила его подле одного доброхота, который ссужает его без процентов частицею собственного рассудка.

Остальное почти не требует изъяснения. Читатель слышит громозвучное: *Пожар! Пожар!* Ночной сторож, которого видите с фонарем, впускает очень кстати свежий воздух в палату — в противном случае и

огонь, и общество могли бы задохнуться в одно время. Двое только — Маркер и один из членов ложи — замечают пламя. Первый есть совершенно Гамлет, которому представляется привидение. Другой (Маркер) со своим молотком и свечами, которые может теперь потушить, потому что солнце всходит за карнизом, представлен в первую минуту открытия. Он духом и глазами назад, но туловищем, молотком и свечами служит ещё карточному собранию.

На стене прибито объявление: Р. Юстиан, придворный карточный фабрикант живет в... — Сальный огарок стоит на часах у этого важного поста.

\* \* \*

Печальная, и к счастью, последняя сцена смешной комедии! Вы видите Бедлам, жилище сумасшедших в Лондоне, и в нем Томаса Раквеля, вашего знакомого, который, испытав коловратность счастья, наконец, сошел с блестящего театра его, без денег, без здоровья и без ума, тот ли это человек, которого видели вы на первой картине, веселого, цветущего здоровьем, готового наслаждаться жизнью? Но, может быть, скажете вы, различие в одних только декорациях — актер и здесь и там один и тот же! Первая сцена служит приготовлением к последней. Он кажется весел — но продолжительно ли веселие испорченного сердца? Он оживлен был надеждою будущих наслаждений — но каких наслаждений? Гибельных, убийственных, одною только наружностью не сходных с ужасами Бедлама!.. Не буду противоречить вам, милостивые государи! Смотрите вместе со мною на картину и утешайтесь мыслию, что у вас перед глазами одна только картина!

Раквель лежит на земле, почти обнаженный — смотритель налагает на него цепи. Для чего это, спросите вы. Для того, буду вам отвечать, что наш знакомец и в самом Бедламе следует побуждению своей природы, которая беспрестанно стремится его ниже и ниже. В Бедламе, надобно вам заметить, не все безумцы скованы цепями; и сами цепи имеют степени. Вероятно, что Раквель сначала пользовался неограниченною свободою избранных членов Бедламского клуба: по крайней мере, имел он полное право прохаживаться вместе со многими другими по той пространной галерее, которой изображение находится на картине, правда, не далее, как до решётки, которая представлена вдали, и за которую отведено жилище *бедламцам* другого класса, или, говоря языком понятным, другой секты, признающей совсем особенные правила: вероятно, что наш знакомец решился оставить свою миролюбивую секту и перейти в другую, более необузданную — рана, которую он собственными руками сделал себе под сердцем, может служить доказа-



тельством успеха его в новой философии — короче, он возмутил ту мирную республику, в которой был гражданином, и должен теперь переселен быть к анархистам, обитающим за решёткою. — Лицо страдальца не описано; оно напоминает нам Греев стих:

Безумства дикий смех в мученьях нестерпимых!

Угадали ли, кто эта женщина, стоящая на коленях, обливающаяся слезами? — Сара Юнг, обманутая, незлобная Сара Юнг, которой сердце не помнит оскорблений, которая любит злодея своего, впадающего в несчастье, забытого целым миром! Слова Святого Писания: *я был в недуге, я был в темнице, а ты не посетил меня*<sup>13</sup>, врезаны в ее душу; остаток прежней любви и теплая вера к Создателю привели её в ужасную пропасть Бедлама. «Несчастный! Я буду твоим покровом!» — говорила нежная Сара, смотря на лицо безумца, обезображенное страданием.

Один из зрителей, кажется, тронут печалью Сары; он хочет с нежною осторожностью, делающей честь его сердцу, отвести лицо её от головы сумасшедшего. Приятно видеть, что руки его, привыкшие налагать одни цепи, не отучились от кротких движений человеколюбия

Заметьте над дверьми келий цифры: 54, 55, 56. Дверь под № 56 заперта. Заглянем впервые и постараемся также их запереть для нашего взора. Под № 54 найдете мечтательного суевера; под № 55 — честолюбивого, строящего на воздухе свои здания. Первый представлен в минуту исступления — солнечный свет, ударяющий в крест, кажется ему сиянием, исходящим с неба. Другой сидит на соломе, изображающей трон, увенчанный короною из соломы же, собственного рукоделия. Всё вокруг него имеет соломенную легкость, исключая один только скипетр, в котором ощутительна какая-то оттоманская<sup>14</sup> полновесность. У самых почти дверей стоят две женщины, одетые в великолепное шелковое платье — это придворные дамы; они, конечно, ждут аудиенции! Одна оперлась на другую, закрывшую лицо опахалом: быть может, без этой подпоры не осмелилась бы она взглянуть на пышного соломенного Султана, грозно владычествующего в своей клетке! Но кто же эти дамы? Конечно, любопытные, пришедшие не одевать обнажённых, как Сара Юнг, но видеть их и потом забыть навеки — по крайней мере, в этом уверяют нас их лица, на которых ни малейшего следа чувствительности не заметно!

Привилегии, которыми пользуются обитатели кладбища в глухую полночь, даются обитателям Бедлама среди бела дня — то есть они имеют свободу выходить из гробов своих и пугать проходящих. Впрочем, и те, и другие обязаны умеренно пользоваться своими привиле-

гиями: первых иногда сажают в мешок и бросают в реку, если они замедлят откликнуться или сказать своё имя; последних обыкновенно загоняют в клетку и приковывают к стене. Здесь Гогарт представил нам не более шести денных привидений. Выключаю из числа их придворных дам. Заметьте на левой стороне величественное трио: один в остроконечной шапке, с тройным крестом, поёт овечьим голосом обедню для одного себя — соседи его заняты каждый собственным делом. По левую руку его сидит виртуоз с нотной книгой на голове и дерет уши своею расстроенною скрипкою. У ног его размышляет меланхолик, конечно, мученик любви — собака, приветствующая его дружелюбным лаем, напрасно расточает свои ласки; он их не чувствует; он, кажется, навсегда затворил уста свои — так сильно они сжаты; но руки его, также сильно сжатые, недавно еще вырезали на перилах лестницы милое имя жестокой. Прочтите его: *Charming Betti Careless, милая, непостоянная Бетти*. Смешная мысль, заставить скрипача играть на скрипке, разложив у себя на голове ноты, совершенно во вкусе Бедлама. На пальцах у него множество колец — это принадлежит к некоторым модам, общим Бедламу с большим светом.

Явление, которое видите между № 54 и 55, отзывается несколько энциклопедиею: корабль о трех мачтах, месяц, отрывок земного шара с меридианами и полярными кругами, изображение Британии, бомба, через них летящая, внизу что-то похожее на круг с начертанием тридцати двух ветров, а выше разные геометрические фигуры — всё это (выключаю одно изображение Британии, не иное что, как английская монета *half-penny*, прибитая к стене) есть произведение глубокомысленного математика, которого видите за дверью с углем в руках. Перед самым его носом начертано слово *Longitude* (морская долгота), другого рода Бетти! Многие из несчастных этой математической Дульцинеи кончили нежную страсть свою в Бедламе; они искали её, искали — но, заплутавшись в линиях, параллелях и кругах, оставили, наконец, в этой волшебной сети свой рассудок. Позади мореплавателя смотрит в бумажную трубу астроном, которого Бетти скрывается в каком-нибудь хвосте кометы. Перед ним видите портного — украсив голову своими суконными обрезками, он шутит над звездочетом и хочет лопнуть от смеху, видя напрасные усилия рыцаря долготы. Сумасшедший! Так говорит он ему: брось всё и примись лучше за мою мерку; с нею найдешь и долготу, и широту вернее, нежели с твоими косыми и прямыми линиями! Рассуждение достойное обоих философов! Изображение Британии на стене есть, повторяю, английская монета *half-penny*. Вы видите сидящую Британию с растрепанными волосами; внизу подписано: 1763. Всмотритесь, и вы заметите цепь, которой монета прикована к дверям

№ 54. Гогарт хочет сказать: в 1763 году Британия сидела или достойна была сидеть в Бедламе<sup>15</sup>. Славный мир, заключённый ею в этом году, казался для некоторых слишком мирным; один говорил: Британия поступила неблагоприятно! Другой кричал: Британия осрамила себя! В Бедлам Британию, сказал Гогарт — и Британия в Бедламе... Но чем же Британия отомстила своему порицателю, который, как мы догадываемся, по ту сторону Ламанхского канала просидел бы за дерзость свою несколько лет в Бастилии? — Британия, добрая, рассудительная мать, забавлялась шутками своего остроумного сына, которого сердце она знала, и простила ему. Но что если бы Гогарт смог быть свидетелем последних десяти лет своего века? Что если бы мог он видеть Европу, опять пустившуюся на хребте вола<sup>16</sup> в пространное море, и едва не утонувшую во глубине его? Какой обширный Бедлам приготовил бы он для её помещения! — Буквы H. S., начертанные на перилах лестницы, и слово LE, которое видите у дверей № 55, для меня не понятны, следовательно — не стану их объяснять и для читателя.

Довольно! Скажу искренно, что я толковал эту картину, сжавши сердце; и теперь, отвращая от неё взоры, нахожу в себе то же самое чувство, с каким в октябре 1775, проведя несколько часов среди ужасных могил Бедлама, я вышел на чистый воздух в Моорфилде<sup>(\*)</sup>.

*Лихтенберг*

## ФЕЛЛАГИ

Может быть, немногие знают, что евреи составляют еще и теперь собственное небольшое царство, имеют собственную землю между горами Абиссинскими, в долине почти неизвестной, где живут под именем *феллагов*.

Как зашли туда евреи, когда основалась сия колония — решить весьма трудно. Вероятно, что при падении царства их в Палестине многие племена Израиля сокрылись в Аравию, но будучи гонимы ее обитателями, несравненно их сильнейшими, и принужденные переходить из одной страны в другую, наконец поселились между горами Абиссинии, где ныне благоденствуют их потомки. Вероятно и то, что праотцы их, проданные римлянами по разорении Иерусалима, вместе со многими тысячами других евреев в Африку, разрывая оковы неволи, беспрестанно спасались бегством; наконец, в том месте, где видим их теперь, соединились, и таким образом, нашед убежище свое безопасным, образовали народ, именуемый феллагами. Не покажутся ли несколько

---

(\*) Часть Лондона, в которой находится Бедлам.

странными догадки тех ученых, которые относят происхождение сего небольшого царства ко временам Моисеевым и утверждают, что в переходе потомков Израиля через пустыню толпа бунтовщиков, оскорбленных чрезмерною властью великого законодателя, отставши от соплеменного народа, уклонилась к югу? Летописи тех времен не говорят о сем происшествии ни слова. Как бы то ни было, феллаги есть важный, достойный замечания феномен! Могут подумать, что они, будучи отделены от всех других народов, сохранили во всей чистоте и дух, евреям собственно принадлежащий, и древний закон свой, и те же нравы, и те же обычаи, которыми отличаются их соплеменники, в различных странах рассеянные. Такое мнение будет отчасти справедливо. Отдельность феллагов в образе жизни и обычаях не есть ли отличительный характер древнего Израиля, которому, как известно, смешение с другими народами посредством брака, торговли и других связей было строжайше запрещено законом. Они питаются земледелием и ведут пастушескую жизнь — другое разительное сходство! Заметим, однако, что им незнакомы ни торговля, ни лихоимство, ни обманы; что денег они не имеют, даже и не знают; что вообще те качества, которые между нами особенно почитаются евреям природными, феллагам чужды вовсе: они гостеприимны, откровенны, честны!

Что ж касается до их религии, то самая сущность оной доказывает весьма ясно, что феллаги, прежде нежели составили в горах Абиссинии единую нацию, долго скитались между язычниками и магометанами: великое имя Иеговы, который навеки отвратил лицо свое от Израиля, забыто ими; другие, боготворимые феллагами существа, сокрыли лучезарный образ Предвечного. Феллаги поклоняются кумирам и между прочими одному, имеющему сходство с мифологическим Паном, божеством пастухов и стад — грубый образ с бычачьею головою и рогами. Сего идола молят о размножении стад и при всяком новолунии приносят ему в жертву молоко. Еще боготворят они и другое существо под видом птицы, которая в длинном носу своем держит саранчу<sup>1</sup>. В первое весеннее полнолуние приносят они сему идолу в жертву козла, и каждый отец семейства помазывает жертвенною кровию двери своего сада в той надежде, что страшный ангел-истребитель, саранча, по совершении сего обряда не прикоснется уже к их деревьям и, не вредя им, пронесется мимо. Хотя и чтут они древний великий праздник своего народа, но празднуют его только один день, почти безо всякого великолепия и совсем не следуя обрядам, предписанным в их законе. Например, в выборе пасхального агнца они гораздо менее строги, нежели их предки и нынешние рассеянные между нами евреи. Из Ветхого Завета осталось у них только пять книг Моисеевых и несколько отрывков из

Пророчеств. Закона при их молитвенных собраниях не читают. Одни священники хранят его как драгоценный остаток древнейшей народной святыни. Сам народ его не знает и даже не любопытствует узнать, будучи столь же несведущим и в древней своей истории, заключенной в Священных книгах Ветхого Завета: голос протекшего умолк для них в оных ужасных пустынях, которые разлучают сей тихий народ с полями древней его отчизны, с священным Сионом<sup>2</sup>, с величественными гробницами Пророков и Царей Израильских. Всего вероятнее, что предки феллагов произошли от тех непросвещенных, грубых и бедных евреев, которые обитали на самых границах Земли Обетованной, куда сияние великолепной жертвы, на высотах сионских Предвечному приносимой, едва достигало, и где нестройные вопли сопредельных язычников всегда заглушали гремящее слово Закона, короче: религия, обычаи, нравы феллагов гораздо ближе к языческим, нежели к еврейским; можно сказать, что вера их подобна первобытной вере патриарха Фарры<sup>3</sup>, отца Авраамова, который под мирным своим кровом, кроме Великого Царя небес, обожал и другие божества — полевые, семейственные, домашние.

И самое правление феллагов, кажется, соответствует сему первоначальному порядку вещей. Их царь не иное что, как первый судия. Всякий отец семейства есть такой же царь в отношении к своим домашним, которых судит, которыми правит по собственному произволу. Народный вождь не отличается от подчиненных ни богатством, ни одеждою. На судилище является он с посохом — единственный отличительный знак верховного сана. Достоинство царя не наследственно, хотя нередко бывает оно принадлежностью одного и того же семейства.

Заметим последнее: ожидание Мессии, другим евреям столько общее, феллагам чуждо — в сем народе неприметно даже и признаков прародительской надежды на пришествие Искупителя.

*С немецкого\*\**

## КНЯЗЬ МИРА<sup>1</sup>

Известно, что *Князь мира* есть первый человек в Испании. Он и верховный адмирал, и генералиссимус, и министр финансов, следственно, обладает могуществом неограниченным. Какие же имеет он дарования? Какими средствами достигнул до такого величия? Надеемся, что многим ответ на сии вопросы покажется любопытным, особливо в нынешнее время, когда неизвестно еще, какое направление и какие следствия будет иметь война испанцев с англичанами. Всякий прочитавший сле-

дующие известия, присланные из Мадрита в Лондон одним беспристрастным англичанином<sup>(\*)</sup>, легко усмотрит, чего касательно настоящей войны можем надеяться от правителя Испании.

Дон Мануэль Гадой де Алварец Principe de la Paz, то есть Князь мира, (теперь не старше 39 лет) родился в Бадайоже, главном городе Эстремадуры, от бедных и незнатных родителей, которые не в состоянии будучи содержать детей своих в звании армейских кадетов, записали Мануэля вместе со старшим братом его Людовиком<sup>2</sup> в королевскую гвардию. Здесь Мануэль очень долго — до самой ссылки Людовика — оставался в неизвестности совершенной. Ссылка сия последовала по доносу, которым известили покойного короля о тесной связи одной высокой особы двора испанского с дон Людовиком. Карл III<sup>3</sup>, испуганный и оскорбленный, повелел, чтобы Людовик не позже как через два часа выехал из Мадрита, и безвозвратно, с строжайшим предписанием жить не ближе как в двадцати пяти милях от места пребывания королевской фамилии. Несмотря на то, получил он в Бадайоже, месте своего рождения, начальство над батальоном земского войска и орден Алькантры<sup>4</sup>. В это самое время дон Мануэль, брат его, представлен был принцессе Астурийской, нынешней королеве<sup>5</sup>, герцогинею Альба<sup>6</sup> как превосходный певец и музыкант. Мануэль действительно играл на гитаре весьма искусно и пел *con grazio*, как говорят испанцы, с приятностию. Изгнание Людовика продолжалось до самой смерти Карла III, то есть до 1 декабря 1788 года. Нарочный, привезший в Бадаюж известие о кончине короля, объявил Людовику, что он прощен, что новый государь<sup>7</sup> наименовал его полковником гвардии и что ему приказано немедленно возвратиться в Мадрит.

Людовик явился у двора, и Мануэль возвысился. Нарочно для него изобрели новую, прежде неизвестную должность генерал-адъютанта гвардии, с чином генерал-майора, которую занимал он весьма недолго. Скоро произвели его в генерал-поручики, наградили достоинством гранда первой степени, Алкудскими королевскими поместьями и первым военным орденом, приносящим весьма важные доходы. Сила его расширилась до такой степени, что самые знатные вельможи для получения малейшей милости от двора должны были искать покровительства у Мануэля. При нем и самый великий Совет Кастильский с добродетельным своим председателем, графом Арандою<sup>8</sup>, мужем достойно славным, теряли силу и голос. Перед открытием последней войны с республиканским правительством Франции мнение Кастиль-

---

(\*) Издатель Северного Архива (журнала, выходящего в Риге) выписал их из лондонского периодического сочинения the Star. Смотри декабрь месяц 1806 года.

ского Совета было: сначала действовать оборонительно, запретить сильною армиею Пиренейские проходы, умножить количество земских ратников и потом уже думать о введении армии в подвластные французам пределы, но герцог *Алжудский* мыслил иначе, и воля его признана была законом. Кастильский Совет за упорное противоречие был распущен, а граф *Аранда* сослан в Сарагосу — там кончил он дни свои, но прежде смерти имел несчастье видеть гибельные следствия распоряжений Мануэля и успел еще оплакать постыдное унижение своих единоземцев.

Наконец, критические обстоятельства Испании (1795) принудили герцога *Алжудского* переменить безрассудный план своих действий и думать о том, как бы загладить стыд, причиненный действиями его Испании. Единым миром, воображал он, каким бы то ни было, и самым невыгодным и самым унижительным, могут исцелиться народные раны. Итак, заключил он мир, но мир весьма вредный, которым владения Испании умалены, многие источники ее благоденствия иссушены, сила военная ослаблена, деятельность и мужество ее обитателей почти уничтожены: со всем тем благодарность народная была неописанна, и счастливый миротворец, по воле короля, наименовался *Князем мира*.

Несогласия с Португалиею открыли сему Князю мира дорогу к блистательной славе полководца. При самом начале военных действий он принял на себя титул генералиссимуса и предводительство армии, не имея ни малейшего понятия о военном искусстве, даже не видав никогда сражения и никогда не встречавшись с неприятелем.

Едва ли в Верховных советах владетелей европейских найдем человека столь ограниченного в уме и сведениях, как Мануэль, Князь мира. Умные испанцы смеются ничтожным талантам, которые открыли ему дорогу к фортуне; характер и образ мыслей его в совершенном презрении у древних и благородных дворян Испании.

Желая унизить сие дворянство и положить границы его высокомерию, он перемешал его с состоянием разночинцев, но со всем тем, в кругу людей, пользующихся его покровительством, не найдется ни один с познаниями или талантом; он окружен низкими творениями, которых сам исторгнул из праха.

В попечениях о фортуне родни своей похож он на всех так называемых *счастливицев* (*parvenus*). Всякий с именем родственника имеет свободный до него доступ, может требовать выгодного места и верно получит его, какие бы, впрочем, не имел способности: родственники Мануэля занимают важнейшие государственные достоинства. Например, отцу его, весьма несведущему человеку, дано самое значащее и прибыльное во всей Испании место, а младший брат его, *Диего*, сущая

невежда, в пространном значении сего слова, есть генерал-капитан земского войска<sup>(\*)</sup> и получает большое жалование.

Ненависть к французам есть самая заветная мечта в характере Князя мира; неосторожные министры британские оскорбили некогда гордость его, которая неограниченна, и гордость самих испанцев, которая давно уже вошла в пословицу; без того не была бы Испания в настоящую войну союзницею Франции!

*С немецкого\*\**

## О ДРУЖБЕ

Я очень давно живу на свете, слышал много худого на счет любви; но по сие время не могу понять, за что недовольны ею люди. Что касается до меня, то я усердный ее почитатель! Целый свет без памяти хвалит дружбу — я ни слова, но искренно желаю, чтобы господа знатоки растолковали мне пояснее, что такое дружба? Сенека описывает ее весьма красноречиво<sup>1</sup>; но этот самый Сенека запрещает нам слишком печалиться о потере друзей наших и велит как можно скорее на место старых выбирать новых. Покойный Монтань менее равнодушен<sup>2</sup>. Лафонтень еще нежнее<sup>3</sup>. Но все они описывали единые действия дружбы; а я желал бы знать ее причины.

«Любовь родится вдруг, — уверяет Лабрюер<sup>4</sup>, — дружба малопомалу. Сколько ума, добродушия, привязанности, услуг, снисхождения потребно для того, чтобы в течение многих лет сделать гораздо менее, нежели сколько одно прекрасное личико или одна прекрасная ножка могут сделать в минуту!»

Любовь решительна: известно, чего она требует. В желаниях дружбы гораздо менее определенности. Вы дружны с этим человеком! Спрашиваю, почему вы выбрали именно его, а не другого? Потому ли, что он к вам чувствителен, или, что вы сами чувствительны к нему? Потому ли, что имеете в нем нужду или что почитаете самого себя для него важным? Нравится ли вам его ум, или, может быть, он сам восхищается умом вашим? Но прежде всего скажите, можно ли выбирать друга, как выбираешь любовницу? Последнее могу утверждать по опыту: мне шестьдесят лет, но я гораздо надежнее могу влюбиться по выбору, нежели найти себе друга по расчету.

Пятнадцати лет я очень был дружен с одним молодым человеком. Мы воспитывались в одном доме, учились одним и тем же наукам, весте

---

\* Испанский генерал-капитан отвечает нашему генерал-фельдмаршалу.



проказничали, сходно мыслили, в ссорах с товарищами вступались один за другого, любили одни и те же предметы, словом, он был я, а я был он. Выходим из училища — другу моему, знатному родом, открылась дорога к почестям, а я, бедняк и человек не именитый, остался в тесном, весьма не блестящем кругу моего семейства. Связь наша продолжалась по-прежнему; мы всякий день видались и, надобно сказать, видались с удовольствием, но скоро заметил я, что мы не имели материи для разговора: и он, и я были те же, я не завидовал, он не гордился, но мысли наши переменялись, привычки сделались иные; мы были не в ссоре, но розно, словом сказать, мой друг перешел на сторону Версали<sup>5</sup>, а я остался в Париже.

Лет через десять познакомился я с другим человеком, одних лет, одинакового состояния со мною. Умы, характеры, склонности наши были удивительно сходны, но, по несчастию, и он, и я были слишком довольны своим жребием: ни в чем не имели нужды; ничего не требовали один от другого, короче, он уважал меня, я уважал его, всякий день сходились и расходились мы с полным удовольствием, но я удивился чрезмерному нашему спокойствию в дружбе, которую можно было назвать равнодушием.

Открылась революция<sup>6</sup>. Все, что называлось просто *обществом*, просто *знакомством*, было разрушено. Я, как и многие другие, остался один или, что все равно, глаз на глаз с пожилою родственницею. Мы были привязаны друг к другу привычкою; теперь живем под одною кровлею, и думать надобно, что вместе проведем и остаток дней своих. Тридцать лет почитаю себя ее другом: могу сказать, что мне единственно обязана она малым остатком своего имущества, растерзанного революциею; она, с своей стороны, в ужасное время Робеспьера<sup>7</sup> подвергалась за меня более десяти раз явной гибели; со всем тем, чудесное дело, во все двадцать пять лет нашей связи не случилось ни разу, чтобы она не исполнила какую-нибудь прихоть мою, не нахмурилась, или, чтобы я сам за каждое сделанное для нее удовольствие не оплатил часом или двумя ворчания! Как началась наша связь? Родственница моя имела заботы, в которых никто лучше меня не мог ей сделать пособия; имела огорчения, которые никому, кроме меня, не могли быть открыты и понятны; словом сказать, во мне нашла она поверенного, утешителя, наставника; и в это самое время занемог я жестокою болезнию: здоровье мое расстроилось надолго; я ослабел, чувствовал тысячи недостатков, другим неприметных, но тяжких; она умела их замечать, угадывать, предупреждать; короче, мы сделались необходимы один для другого; желали соединиться сколь можно теснее и не подумали о некоторых противоречиях характеров, которые, будучи замечены мимохо-

дом, казались сначала маловажными, но видимые вблизи, поразили нас тем с большою силою: обязанность быть неразлучными сделала их для нас ощутительнее. Мы находились в принужденной зависимости друг от друга и *частными* возмущениями старались утешать себя в той горькой неволе, от которой не могли и не хотели избавиться. Недостатки наши, будучи всегда налицо и в действии, усилились, и теперь привычки наши столь же несходны, как и нравы, а желания в беспрестанном раздоре и противоречии; например, я хотел бы обедать поздно и ложиться рано, смотрю, кушанье поставлено в час, и подруга моя изволит сидеть до трех часов ночи; предлагаю играть в *трик-трак*<sup>8</sup>, но мне подают карты, бранюсь и принужден забавляться в пикет<sup>9</sup>. Хочу выехать, она остается, бранюсь и велю отложить карету. Тут каждый из нас с сердитым видом начинает доказывать, что он снисходительнее и учтивее; взаимные доказательства учтивости обращаются в жаркий спор, и тот, который переспорит, обыкновенно бывает недовольнее. Нет женщины на свете, которой бы счастье было для меня дороже счастья моей родственницы, но она единственная женщина, к которой никогда не бываю снисходителен, а я единственный мужчина, о котором она заботится с истинною нежностью и которого всякую минуту бесит своим брюзгливым нравом. Всякое желание мое исполнено, зато и всякое движение пересужено или осмеяно. Задумаюсь — она в ужасных хлопотах глядит мне в глаза, расспрашивает, грустит, угадывает причину моей печали и всяким образом старается меня развеселить, зато не дает мне выпить чашки чаю, не попрекнув меня в прихотливости, не пересчитав по пальцам тех блюд, которые подавали мне за обедом и которые совсем некстати есть такому *старому хрычу*, как я. С своей стороны, просидев целую ночь за ее делами, прихожу к ней поутру с сердитым лицом, ворчу, называю ее беспечною, беспорядочною, предсказываю, что она разорится вконец и что я обрадуюсь этому от всего сердца. Она пугается; новая история! Мне досадно, что она попусту себя беспокоит; ей досадно, что я так спокоен; спорим, бранимся; я ухожу, хлопнув дверью; через минуту возвращаюсь, как будто ничего не случилось, и вижу ее за работою. Когда бы, по несчастию, была она молода и хороша лицом, тогда сохраняла бы долее на меня досаду или плакала; тогда и я принужден бы был жаловаться, чтобы получить прощение, или приходил в отчаяние, чтобы утешить ее; тогда б мирились мы гораздо чаще, два дня в неделю обожали друг друга и остальные пять ненавидели. Теперь, напротив, беспрестанно бранимся, не ссорясь; забываем, чтобы не иметь труда прощать; распри наши нимало не нарушают обыкновенного порядка; привычка уменьшила их неприятность, сделала их привлекательными: они придают некоторое движение нашей жизни,

которая вся наполнена взаимными попечениями нашими друг о друге. Я верно чувствовал бы недостаток, когда бы не играл против воли в пикет с моею родственницею и не бранил ее кошки; она, с своей стороны, была бы недовольна своим днем, когда бы, изготовив по вкусу моему обед, не назвала меня сто раз сумасбродом, старым прожорою. Пусть будет один из нас ангелом, поверьте, что и тогда найдется в нем для другого миллион недостатков, но, право, не могу вообразить, что делается с тем, который переживет своего товарища и будет принужден остаться одинок на свете.

## НЕИЗЪЯСНИМОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (\*)

(РАЗГОВОР МЕЖДУ ВИЛИБАЛЬДОМ И БЛАНДИНОЮ)

*Виллибальд.* Я еще у тебя в долгу, Бландина: обязан тебе рассказать то происшествие, о котором говорил вчера и которое, могу тебя уверить, не выдумка: я слышал его от очевидцев, умных и достойных доверенности.

*Бландина.* Слушаю с любопытством!

*Виллибальд.* Будет около пятидесяти лет, как я познакомился в NN с одним благородным семейством, составленным вообще из людей необыкновенного ума и характера. Не стану их описывать, но войду в некоторые подробности о той женщине, которая играет первую роль в моей истории. Я не имел счастья знать ее в лицо; она умерла незадолго до моего знакомства с ее семейством; но все известия об ней почерпнуты мною из самого верного источника. Смело могу причислить ее к самым необыкновенным женщинам нашего века, что очень согласно с тою неизвестностию, в которой провела она и кончила дни свои. Некоторая особенная высота в чувствах, пылкое воображение, нежное, полное любви сердце, чтение мистических книг, внешние обстоятельства образовали в ней сильную склонность к мечтательности, возвышенной и чистой, на которой основывались все ее чувства, мнения и поступки. По многим отношениям могу сравнить ее с госпожою Гюйон<sup>1</sup>, которой необыкновенная судьба, мистическая привя-

---

(\*) Отрывок из последнего Виландова сочинения «Эвтаназия, или О жизни после смерти», изданного по случаю странной книги, которая не очень давно напечатана в Лейпциге доктором Вецелем под названием «Известие о истинном, двукратном явлении жены моей по смерти». Здесь под именем Виллибальда говорит сам Виланд: нельзя, кажется, сомневаться в истине его повествования. Виланд никогда не был мечтателем. Он сам, рассказывая повесть свою, остается в сомнении, хотя уверен совершенно, что она не вымышленная басня.

занность к Богу и дружба с камбрейским епископом Фенелоном<sup>2</sup> тебе известны. Любовь ко Всевышнему Существу для чистой души ее была неистошимым источником моральных наслаждений человеколюбия и деятельной благотворительности, нередко весьма трудных, соединенных с великими пожертвованиями и даже с чувственным отвращением. Посредственное состояние не позволяло ей во всей полноте удовлетворять потребности своего сердца, которое влекло ее на помощь несчастным. Госпожа Т\*\*, желая заменить деятельностью недостаток способов, решила приобрести некоторые искусства, некоторые познания, полезные для бедных поселян, в кругу которых она обитала. Например, она умела готовить лекарства, чаще других употребляемые крестьянами; раздавала их безденежно и таким образом спасла многих неимущих или слишком бережливых. Всего искуснее и счастливее была она в повивании младенцев. В окружности нескольких миль бедные поселяне имели неограниченную веру к чудотворной руке ее; госпожа Т\*\* никогда и никому не отказывала в пособии: нередко приходили к ней ночью, в холодную, дождливую погоду, будили и звали ее на помощь к бедной родильнице, которая, будучи оставлена целым светом и терпя совершенный во всем недостаток, страдала в какой-нибудь отдаленной полуразвалившейся лачуге. Госпожа Т\*\* спешила утешить страдальцу, и приход ее в обитель нищеты казался явлением светлого ангела, который приносил с собою надежду, спасение, довольство!

Госпожа Т\*\*, уважаемая всеми, которые умели ценить высокую, чистую, благотворительную душу ее, драгоценная своему семейству, обожаемая нищими, была подвержена удивительным, доселе неизъяснимым припадкам болезни. Например, нередко посреди ночи вставала она с постели, одевалась, выходила с закрытыми глазами в другие комнаты, занималась как будто наяву делами, но никогда, если пробуждаема бывала каким-нибудь случаем или своею дочерью, которая повсюду следовала за нею из осторожности, не могла она вспомнить о том, что с нею происходило, чувствовала в себе необыкновенную слабость и была не в состоянии без помощи других дотащить до постели. Нередко случалось, что она, сидя и кругу семейства, вдруг приходила в содрогание, потом хладела, становилась неподвижною как мрамор: состояние, которое очень часто продолжалось более получаса! Наконец, мало-помалу возвращала она память и сказывала обыкновенно, что в продолжение сего чудесного пароксизма происходило во внутренности ее нечто необычайное, неописанное: припадок возобновлялся так часто, что родственники, которые сначала чрезвычайно им пугались, наконец, видя, что он не имел никаких вредных последствий, к нему привыкли, смотрели без ужаса на г-жу Т\*\* в состоянии недвижимо-

сти — состоянии бездействия внешней жизни, соединенном, по словам ее, с неописанно сладкими внутренними чувствами — и очень спокойно ожидали ее возвращения в мир вещественный.

Я кончил свое предисловие. Теперь и ты, Бландина, должна быть уверена, что госпожа Т\*\* принадлежит, по всем отношениям, к существам необыкновенным. По мнению моему, она сама гораздо удивительнее того чуда, которое мне рассказывали об ней верные люди.

В соседстве замка, обыкновенно служившего ей местом пребывания, находился бенедиктинский женский монастырь<sup>3</sup>, в котором звание духовника отправлял патер Кайетан — *подлинного имени его не помню* — человек из благородной нидерландской фамилии, добродетельный, и непорочною жизнью своею заслуживший всеобщее уважение. Между им и фамилиею госпожи Т\*\* существовала тесная дружба. Патер был отменно привлекателен в обхождении, учен и сверх того искусный музыкант; короче, в этом доме и старый и малый от всего сердца любили доброго патера Кайетана, все обходились с ним, невзирая на разность религий<sup>4</sup>, как с истинным родственником.

Года за два до кончины госпожи Т\*\* патер Кайетан перемещен был, по приказанию своего князя в Боллинцоне, итальянский городок, где поручили его присмотру городовую школу, в которой надлежало ему учить математике и натуральной истории. Господин и госпожа Т\*\* искренно сожалели об отъезде своего друга; патер также; уговорились вести переписку, и это условие с обеих сторон исполняемо было с великою точностию.

Госпожа Т\*\* занемогла: болезнь ее казалась легкою; семейство не имело никакого беспокойства; надеялись скорого ее выздоровления. Но госпожа Т\*\* думала иначе; она объявила дочери, которая в то время имела не более девятнадцати лет, что непременно умрет такого-то числа, в такой-то час, в такую-то минуту, и строго велела не сказывать ни отцу своему, ни родственникам. Господин Т\*\*, который не замечал ничего, так был уверен в выздоровлении супруги своей, что даже не счел за нужное писать о болезни ее к патеру Кайетану. Но день приближался, день, в который госпожа Т\*\*, вследствие предсказания своего, должна была умереть. Казалось, что ей гораздо лучше; на лице ее было написано веселие; она спокойно разговаривала с дочерью (которой одной позволила в этот день к себе приближаться), разговаривала о смерти как будто о нужном посещении друга, живущего в нескольких милях; смотрела на нее с неизъяснимой нежностью, с некоторым унынием, которое неприметно сливалось с чистым веселием непорочной души ее. Последние минуты, которые оставалось ей провести на земле, хотела ознаменовать она материнскою любовью: говорила о жизни,

которая только что начинала расцветать для ее дочери; говорила о сладости добра, о восхитительной надежде бессмертия, которое оживляло ее в последнюю минуту, о будущем соединении; глаза умирающей блистали, в голосе не было заметно никакой слабости: могли подумать, что болезнь совсем миновалась — обманчивая надежда, которая возвратила на ту минуту спокойствие сердцу дочери! Пришла полночь: больная приподнялась, взглянула на дочь свою с улыбкою, сказана: «Близко; поспешим проститься с моим другом!» — оборотилась на другой бок; казалось, что она спокойно заснула; через минуту пробуждается, опять устремляет печальные, исполненные нежности взоры на милую дочь, дает ей последнее благословение и засыпает навеки.

В тот самый вечер и, как узнали после, в тот самый час патер Кайетан, находившийся в Боллинцоне, сидел в своей комнате за письменным столом и занимался решением математической задачи, не имея и в мыслях госпожи Т\*\*, которой болезнь была ему, как сказано выше, неизвестна. На задней стене, у самых дверей, висела ее гитара. Вдруг зазвучала она сильно; казалось, что лопнула дека. Патер содрогнулся, вскочил, глядит на дверь и — что же?.. В глазах его привидение, — образ госпожи Т\*\*, светлый, воздушный! Она устремила на него дружеский взгляд, улыбнулась и исчезла. Патер был в ужасе, долго не мог прийти в чувство; старался уверить себя, что он не спал, что видел точно лицо своей приятельницы, живущей от него в тридцати милях; идет к гитаре, смотрит — она лопнула: явление казалось существенным. Во всю ночь прохаживался он в беспокойстве по комнате; во всю ночь терзался мыслию, что привидение, быть может, предсказало ему кончину госпожи Т\*\*. На другой день пишет к ее супругу, спрашивает с заметным беспокойством — которого причину, однако, таит — каково ее здоровье, и получает в ответ, что она в то самое время, в которое представился ему призрак, скончалась... Что скажешь об этом происшествии, Бландина?

*Бландина.* Признайся; уверен ли ты в его справедливости?

*Виллибальд.* Я рассказал тебе то, что знаю, что слышал сам от девицы Т\*\*, месяца два по смерти ее матери. Девица Т\*\* в то время, когда я узнал ее и, сказать правду, полюбил от всей души, была простодушная, непритворная дочь природы, довольно образованная в уме, но совершенно неопытная и незнакомая со светом. От матери своей она получила в наследство решительное расположение к нежной мечтательности; более жила в мысленном, стихотворном мире, нежели в существенном, и окружена была идеалами, которые поселили в ней совершенное равнодушие ко всему внешнему и естественному. Несмотря на то, что я твердо уверен, что она сказала мне сущую правду, то есть не прибавила ни слова к тому, что почитала, или от стечения обстоя-

тельств, должна была почитать истинным. Свидетельство патера Кайетана также не подвержено для меня сомнению: этот человек был совершенно честен; он вовсе не знал о болезни госпожи Т\*\* и сверх того не имел ни малейшей причины говорить неправду. С какой целью и для какой выгоды выдумывать такую басню? Более не ручаюсь ни за что, Бландина! Обманывалась ли умирающая мать, когда говорила дочери: «Спешу проститься с моим другом»? Обманывался ли патер Кайетан, когда он видел перед собою бесплотный ее образ? Приписать ли простому естественному случаю, что непонятное явление призрака последовало в ту самую минуту, в которую хотела явиться умирающая? На все эти вопросы имею один обыкновенный ответ: «Не знаю! Неизъяснимо!»

*Бландина.* А я надеялась от тебя другого, более удовлетворительного ответа. Например, если бы нынче сказала я Кларе: «Завтра поутру, как можно ранее, положи на письменный столик отца своего пучок тубероз и ясинов», и если бы ты, в самом деле, нашел на письменном своем столике пучок тубероз и ясинов, тогда подумал ли бы, что это действие одного случая? Таково и явление госпожи Т\*\*! Она говорит: «Хочу проститься с моим другом!» — и через минуту этому другу представляется образ ее. — В какое же время? — Когда он занят математической задачей, совсем не думает об умирающей и не слышал ни слова о болезни ее! Что же назовешь умысленным, когда и здесь не замечаешь ничего, кроме случайного? Мог ли патер Кайетан в описанных тобою обстоятельствах сам себя обмануть или быть обманутым от других? И что подумать о лопнувшей гитаре, которая звуком своим пробудила патера и принудила взглянуть на то место, на котором представился ему образ госпожи Т\*\*? Не спорю, что всякая гитара легко может лопнуть — действие случая, но здесь замечен не один случай: удар послышался в ту самую минуту, в которую дух умирающей (вероятно, что не могла она более одной минуты промедлить) желал обратить на себя внимание патера. Могу ли подумать, чтобы и здесь не было никакой умысленной связи между причиной и действием?

*Виллибальд.* Очень хорошо! Согласен почитать это явление госпожи Т\*\*, случившееся за минуту до смерти ее, происшествием истинным! Какое же извлечем из этого заключение?

*Бландина.* Первое то, что наша душа, по крайней мере, за несколько мгновений до совершенной разлуки своей с телом, способна из него выходить и являться в другом месте в образе осязательном: второе, что явление госпожи Т\*\*, будучи для нас несомненным, хотя неизъяснимым, доказывает — когда внимательно рассмотрим все обстоятельства — что она точно являлась сама, точно хотела явиться в том виде, в котором представилась патеру Кайетану, и что, следовательно, — третье, имела

она способность в одно мгновение составить для себя из видимой, тончайшей материи новое тело, подобное прежнему, земному и грубому. Скажу откровенно, что этот необыкновенный случай уменьшает мое сомнение в бытии эфирного душевного органа, который, по мнению господ философов, неразрывно соединен с человеческою душою.

*Виллибальд.* Заключение твои слишком поспешны, Бландина. Сказать правду: воздушное, составленное из тончайшей материи тело для меня не очень понятно и несколько смешно. Желая знать, каким средством душа наша получила способность в несколько минут приготовить для себя такую новую, необыкновенную одежду? И почему душа госпожи Т\*\* имела чудесную привилегию произвольно выходить из своего тела и опять в него возвращаться? Нужно ли доказывать, что эта привилегия не всякой душе человеческой свойственна? У всех нас, сколько нас ни есть, душа до самой минуты решительного разделения прикреплена, так сказать, к телесной машине множеством тонких, невидимых нитей и, по несчастию, не может — сколько бы она того ни желала — без помощи грубого товарища своего, тела, перенестися не только за тридевять земель в тридесятое царство, но даже в ближнюю комнату или на ближнее кресло. Итак, произвольное путешествие души, когда ленивое или больное тело покоится на одном месте, почитаю не только неизъяснимым, но даже и невозможным чудом! Но, может быть, ты веришь магическим заклинаниям какой-нибудь феи *Стригиллины*<sup>5</sup> или всемогущему слову *Абракадабра*<sup>6</sup>: в таком случае охотно признаю себя побежденным!

*Бландина.* Ты можешь сколько угодно смеяться! Но что, если душа умирающей госпожи Т\*\* разорвала уже почти все тонкие нити, которые, по твоему мнению, привязывали ее к земному телу? Что, если осталась только одна, довольно длинная нить, по которой она, как паук, могла в минуту перебежать в Боллинцоне к патеру Кайетану и потом в одну же минуту, по той же дороге, возвратиться назад в свое обветшалое жилище?

*Виллибальд.* И там ожидать, когда последняя тонкая нить перервется?

*Бландина.* Положим, что так! Но, говоря без шуток, Виллибальд, что думать об этом удивительном происшествии?

*Виллибальд.* Что оно совершенно истинное, но, чудное, непонятное, невероятное, сверхъестественное и, следовательно, не представляющее рассудку никаких удовлетворительных заключений происшествие.

*Бландина.* Жаль! А я бы усердно желала придумать что-нибудь удовлетворительное.

*Виллибальд.* И можешь! Например, кто запрещает тебе, основываясь на том чудесном случае, вообразить, что наша душа непосредственно, отдельно от времени и пространства, сама собою способна действовать



на другую душу; что, например, госпожа Т\*\* точно таким образом действовала на внутреннее чувство друга своего, и образ ее представился одному его воображению?

*Бландина.* Хорошо! А гитара? Конечно, и на нее душа госпожи Т\*\* действовала непосредственно?

*Виллибальд.* Таково-то, Бландина, стараться объяснить неизъяснимо! Лучше повторю выражение святого Августина<sup>7</sup>: «*Душа наша там, где она любит!*»

*Бландина.* Прекрасная мысль! Но я и ты, Виллибальд, можем знать наверно, справедлива ли она в словесном своем смысле? По-настоящему, душа наша не только там, где любит, но вместе и там, где мыслит. Читая Тассов «Иерусалим», я следую за поэтом и в лагерь христиан, и в замок Армиды<sup>8</sup>, и в страшный, очарованный лес, но это объяснение совсем не объясняет чудесного твоего происшествия.

*Виллибальд.* Что ж делать нам, Бландина? Признаться, что мы совершенные невежды в вещах духовных, более ничего! То, чего не узнаем никогда, никаким средством, и что премудростью Промысла навеки от нас сокрыто, должно по-настоящему занимать нас столь же мало, как и семейственные обстоятельства лунных жителей или обитателей Сириуса<sup>9</sup>.

*Бландина.* В этом я не согласна с тобою, Виллибальд! Желание знать, что будет с нами по смерти, что сделалось с теми драгоценными для нас творениями, которые некогда разделяли с нами жизнь, почитаю весьма естественным человеку желанием!

*Виллибальд.* Естественным, Бландина? Я сказал бы, напротив, что неестественно человеку думать о смерти: это желание причисляю к тем многочисленным искусственным потребностям, которые произведены бывают воспитанием и обыкновенно поселяются в нас общественным кругом, в котором живем и действуем. Признайся, что мы думаем о смерти только слегка, мимоходом, бываем достигнуты ею обыкновенно невзначай, в минуту рассеяния, нимало не воображая, что она близко.

*Бландина.* Признайся и ты, что мы имеем важную причину думать о смерти! Итак, не лучше ли думать о ней с удовольствием, спокойствием, надеждою усладительною?

*Виллибальд.* О Бландина! Кому же и думать с спокойною, сладкою надеждою о смерти, как не тебе, невинному, добросердечному созданию? По крайней мере, Сократова тайна: *воспоминание о жизни, добродетельно проведенной*<sup>10</sup>, кажется дня меня самым действительным к тому средством. Помнишь ли о последней минуте моей Фанни<sup>(\*)</sup>, которая

---

(\*) Виланд говорит о своей супруге, любезной женщине, с которою в течение многих лет наслаждался он завидным семейственным счастьем. Ж.

никогда не бывала мечтательницею? Как ясно и безмятежно встретила она смерть! Бландина! Это восхитительное внутреннее убеждение, что жизнь моя протекла невинно, что я всегда любил единое добро и сколько мог к нему стремился, это ясное спокойствие в последние минуты жизни, приятный отдых усталого путника, этот довольный взор, бросаемый на протекшее — не должны ли нам казаться началом того блаженства, которое религия обещает человеку за гробом? Тот, кто в сию минуту не находит в себе ничего, кроме добра, кто ничего, кроме добра, не замечает и в природе. Ему ли страшиться будущего? Ему ли оставаться в мучительном сомнении о том, что приготовила для него вдали благая рука Создателя? Чему ни определено случиться, он спокоен, в душе его мужественная надежда на Провидение. О! Такая душа стремится на лоно бесконечного с любовью младенца, прижимающегося к матернему сердцу; неприметно улетает она из того мира, в котором никогда и никем не будет уже видима! Бландина, такое средство расставаться с жизнью от нас неотъемлемо! Для чего же напрасно заботиться о том, чтобы расторглась для нас сия непроницаемая завеса, которою задержаны перед глазами нашими таинственные сцены за гробом? Конечно! Естественно в часы уныния услаждать себя, вместе с *Элизою Рев*, прелестными призраками воображения<sup>11</sup>, утешительными надеждами сердца, или с задумчивым Юнгом внимать пророчествам<sup>12</sup> высокого духа, возлетевшего превыше чувственного мира, но следующее всего вернее для человека *доброго в душе*, следующее почитаю несомненнейшею из всех несомненных истин: страшись одного неверия и с тихую покорностию к Промыслу, до последнего вздоха, *надейся лучшего!*

*Бландина.* Виллибальд! Сердце мое с тобою согласно. Что можно прибавить к убедительным, всесильным его доказательствам?

## ОЖЕСТОЧЕННЫЙ

Статья человеческих заблуждений есть самая наставительная в истории человечества. При каждом чрезвычайном злодействе должна быть приведена в движение и чрезвычайная, соответственная ему, сила. Сердце человека есть нечто однообразное и в то же время изменяющееся до бесконечности. Одна и та же способность, одна и та же страсть представляют глазам нашим тысячи разных феноменов; с каждым новым характером являются они в новом смещении, в новом свете, и тысячи разных действий нередко имеют источником одну и ту же склонность, связаны тесным сродством, тайным и неприметным для неопытного взора. Когда бы новый какой-нибудь Линней<sup>1</sup> разделил человеческий

род на классы по склонностям и характерам, тогда многих людей, которых пороки, обузданные силою законов, теперь исчезают в тесном кругу обыкновенной гражданской жизни, увидели бы на той самой высоте, на которой представляется глазам нашим чудовище Боргия<sup>2</sup>.

Отчего извлекаем мы из истории так мало существенной, нравственной пользы? Не оттого ли, что, видя перед собою действующее лицо, увлекаемое чрезвычайною страстью, сами остаемся равнодушны? Спокойствие читателя бывает в разительной противоположности с пылкостью героя; их разделяет великое пространство: первому невозможно ни сравнивать, ни примечать отношений; чрезвычайные несчастья не приводят его в трепет, но изумляют; великий злодей, будучи таким же, как и он, человеком и в минуту преступления, и в минуту казни, кажется ему существом особенного рода, повинующимся другим нравственным законам, имеющим другую волю, другой рассудок. Он мало трогается его судьбою; читателя трогает только то, что может иметь к нему некоторое отношение и где видит он некоторое сходство с собственным своим жребием! Итак, нравственная польза истории потеряна, когда нет сего отношения, ибо исторические повествования, питая одно любопытство, нимало не образуют сердца. Прямой историк, который имеет в виду сей важный предмет, должен необходимо избрать одно из двух, или сообщить читателю страсти своего героя, или герою своему сообщить равнодушие читателя.

Многие из древних и новых историков, следуя первой методе, привлекательным рассказом поработают душу читателя, но этот способ почитаю присвоенным неправо; историк не должен предубеждать хладнокровных судей и быть председателем на судилище; такое преимущество предоставлено стихотворцу и оратору. Что же, спрашиваю, останется для историка? Следовать другой методе.

Герой исторический должен быть столько же холоден, как и сам читатель; яснее, он должен быть нам известен заранее, прежде нежели выйдет на сцену: мы, с своей стороны, должны быть не только свидетелями поступков его, но вместе и тайными поверенными его желаний; мысли его важнее для нас, нежели действия; источники мыслей важнее, нежели следствия поступков. Любопытство узнать причину вулканических извержений заставило нас рассматривать ту материю, из которой составлена лава Этны<sup>3</sup>. Для чего ж, занимаясь физическими явлениями, пренебрегает оно явления нравственные? Для чего не входит в натуру и состояние тех предметов, которые окружали человека тогда, когда скоплялось в нем тайное, внутреннее пламя, исторгшееся наконец с ужасною силою? Мечтатель, привязанный к чудесному, пленяется одною необычайностию явления. Друг истины желает объяс-

нить его рассудком; он ищет начал его в неизменяемом образовании человеческой души и в тех бесчисленных, ежеминутно изменяющихся обстоятельствах, которыми извне бывают определяемы ее действия. Сверх многих других преимуществ, которые могла бы иметь история, представляемая в таком отношении, одно из существеннейших, полагаю, в том, что она искоренила бы наконец сию жестокою гордость, сие несправедливое презрение, с которыми добродетель, еще не испытанная и прямая, взирает на падшую и побежденную; что ею бы наконец распространен был сей благодетельный дух терпимости, без которого не возвращается ни один заблудший на стезю правды, не может быть примирения между законом и его оскорбителем, и ни одно творение, погибающее духом, не избегает гибели.

Имел ли право на сию человеколюбивую терпимость тот преступник, который играет первую роль в моей повести; погиб ли он без возврата дня общества: пускай решит читатель! Этот несчастный уже не имеет нужды в снисхождении: он кончил жизнь на эшафоте, но тонкое, внимательное раздробление проступков его, вероятно, послужит уроком для человечества, а может быть, и для самого правосудия.

Христиан Блемер, сын небогатого трактирщика в N\*\*, до двадцати пяти лет помогал старой своей матери содержать трактир. Хозяйство шло очень худо; Блемер любил свободу; будучи еще в школе, получил он прозвание *збияки*; молодые девушки жаловались на его дерзость; молодые мужчины превозносили его проворство. Природа наградила его весьма некрасивою наружностью: Блемер был низкого роста, имел кудрявые, жесткие, неприятной черноты волосы, плоский нос, толстые, разбитые лошадиным копытом губы; словом, безобразное лицо его ужасало женщин, которые не смели взглянуть на Блемера без содрогания, и забавляло мужчин, которые в насмешку называли его прелестником.

Блемер досадовал и хотел нравиться насильно; чувственность казалась ему любовью. Жанетта, молодая девушка, более других для него привлекательная, обходилась с ним холодно; Блемер имел причину опасаться, что некоторые из соперников его будут счастливее. Быть может, подумал он, подарки откроют дорогу к ее сердцу? Чем же дарить, где взять денег? Последнее свое имущество истратил он на то, чтобы являться в пристойнейшем наряде в присутствии своей Жанетты. Будучи совершенно беспечен и несведущ, не мог он поддержать хозяйства искусными оборотами и, слишком любя свою независимость, не хотел идти в работники; и так решился просто, как и многие другие, менее стесненные обстоятельствами, жить на счет другого, яснее, честным образом воровать. Город, в котором он родился, окружен был

обширным княжеским лесом. Блемер вздумал стрелять дичину, которую продавал, и вырученными деньгами дарил Жанетту.

В числе ее обожателей находился молодой лесник, именем Роберт. Блемерова расточительность казалась ему неестественною. Откуда берет он деньги, думал он, и начал прилежнее за ним присматривать, чаще посещал «*Золотой венец*» (вывеска Блемерова трактира); скоро пронырливым взором своим, водимым ревностью и досадою, открыл он настоящий источник тайного богатства, и скоро удалось ему поймать соперника своего, стреляющего дичину. Блемер представлен в суд; по законам надлежало ему целый год работать в смирительном доме, но он избежал наказания, и милость сия, которая стоила больших денег, разорила его вконец. Роберт торжествовал; Блемер, лишенный всего своего имущества, не мог уже быть счастливым его совместником: Жанетта отвечала единым презрением нищему. Блемер знал своего гонителя; он мучился досадою, ревностью, чувством бессилия; голод и нищета принуждали его покинуть свою родину, искать фортуны в другом месте; мщение и любовь принуждали его остаться. Опять начинает он стрелять дичину, опять он пойман и представлен в суд неутомимым Робертом и, будучи не в состоянии откупиться, осужден работать целый год в смирительном доме.

Год проходит: Блемер свободен, но страсть его усилена разлукою; дерзость подкреплена несчастьем. Летит к Жанетте: его убегают. Крайняя нужда победила его высокомерие и леность; предлагает услуги свои богачам, ему отказывают; хочет наняться в поденщики, на него смотрят с сожалительною усмешкою, пожимают плечами: годишься ли ты, отвечают ему, с малым ростом и хрупкими костями своими в поденщики? Еще оставалось средство, последнее: идти в пастухи; и здесь неудача: никто не хочет поверить коров и свиней своих бродяге. На что решиться? Все надежды обмануты, все предприятия безуспешны. Опять стрелять дичину! В третий раз берется Блемер за ружье, и в третий раз попадает в руки неусыпному своему неприятелю. Судьи, читая в книге законов, не могли читать во внутренности его сердца: Блемер, в пример другим, публично заклеямен на спине знаком виселицы и заперт на три года в городскую крепость.

Наконец, миновался и третий год: Блемер освобожден, но вышел из крепости уже не таким, каким вступил в нее за три года. С этой минуты начинается новый период в его жизни. Выслушаем, что говорил он сам на исповеди за несколько часов до совершившейся над ним казни.

«Вступая в крепость, — сказал он, — я был не иное что, как ослепленный, заблудший несчастливец; освободясь из крепости, я был уже

испорченным злодеем. Прежде имел я еще нечто драгоценное на свете, и посрамление жестоко мучило мою гордость, но в крепости заперли меня вместе с двадцатью невольниками: трое из них были убийцы, остальные бродяги или воры, закоренелые, ожесточенные. Меня дурачили, когда я говорил о Боге; поминутно оскорбляли при мне святое имя Спасителя; разговоры моих товарищей приводили меня в краску и возмущали мою душу, еще не испорченную, а только расстроенную. Один хвалился своими злодействами, другие одобряли его; все вообще надо мною смеялись или смотрели на меня с презрением. Сначала я бегал от их сообщества, не вмешивался в разговоры, для меня противные, но в горьком моем положении мне нужно было живое существо: собаку, единственного оставшегося мне друга, убили перед моими глазами; тяжкая работа превосходила мои силы; я чувствовал необходимость в помощнике, сказать правду, в утешителе и заплатил за них последним остатком моей добродетели, короче, в несколько недель привык я ко всем окружавшим меня ужасам и в последнюю четверть года превзошел своих учителей.

С этой минуты свобода и мщение сделались для меня необходимою; всех людей вообще почитал я врагами, потому что все они казались и лучше меня, и счастливее, самому себе представлялся я бедною, пренебреженною жертвою пристрастных законов. Я грыз свои цепи и скрежетал зубами, когда позади горы, на вершине которой построена была моя крепость, восходило утреннее солнце и все живописные окрестности, свежие рощи, дымящиеся деревни, цветущие пригорки являлись глазам моим спокойными, озаренными, преисполненными веселия; открытый вид мучителен для невольника! Душистый ветерок, который свободно веял в окно моей башни; ласточка, взвивающаяся под облака или сидящая на крепостных воротах — все как будто нарочно прельщало меня завидными наслаждениями свободы, неволя приводила меня в бешенство. Тогда поклялся я непримиримую вражду всему человеческому роду и исполнил свою ужасную клятву.

Прежде всего, по выходе моем из крепости, захотелось мне посетить свою родину; туда влекла меня жестокая жажда мщения. Сердце мое сильно затрепетало, когда увидел я в отдалении колокольню соборной церкви, которая сияла из-за дубовой рощи, но, ах, то было не радостное чувство изгнанника, летящего в отчизну, к знакомым и родственникам: воспоминание о тех обидах, о тех притеснениях, которые некогда испытал я в этом противном душе моей месте, возбудило меня из некоторого мертвого усыпления; все раны мои растворились; кровь во мне закипела; я удвоил шаги; я радовался мыслию, что неприятели мои приведены будут в ужас нечаянным моим присутствием; можно сказать,

что я желал новых оскорблений, которые бы дали мне новое право и мстить им, и ненавидеть их с большею силою.

Звонили к заутрене, когда я очутился на площади, в кругу народа, идущего толпою в церковь. Меня узнали, но те, которые встречались со мною, отскакивали от меня с ужасом. Я всегда любил детей, и здесь невольно оживилось во мне это нежное чувство; я подал грош одному прекрасному младенцу, который подле меня прыгал, но мальчик посмотрел на меня с изумленным видом и бросил мне деньги в глаза. Кода б я не был в таком ужасном положении духа, то, верно бы, вспомнил, что имел наружность ужасную и лицо, обезображенное черною, всключенною бороною, но бешенство сердца затмило во мне и рассудок; горькие слезы, каких ни разу еще не проливал я в жизни, покатались из глаз моих ручьями.

Этот младенец, сказал я самому себе почти вслух, не знает ни кто я, ни откуда пришел, но он боится меня, как дикого зверя! Неужели на лбу моем печать отвержения? Неужели, потеряв способность любить человека, потерял я и человеческий образ? Поступок младенца был оскорбительнее для меня самого посрамления и горькой трехлетней неволи: ах, я думал сделать ему добро, и он не имел причины меня ненавидеть!

Я сел на лавку близ самых церковных дверей. Что происходило в моем сердце, чего оно требовало, не знаю; помню только то, что ни один из прежних знакомцев моих, прошедших мимо, не удостоил меня поклона; что я в ужасном ожесточении вскочил с своей лавки, побежал и вдруг увидел перед собою Жанетту. “Христиан, — воскликнула она, бросаясь ко мне на шею, — ты здесь, Христиан, слава Богу!” Я посмотрел на нее суровыми глазами: лицо ее было обезображено и бледно, одежда показала нищету; за несколько минут повстречался я с двумя или тремя солдатами; в городе был гарнизон; короче, предчувствие меня не обмануло: “Прочь, развратница”, — воскликнул я с пренебрежением. Сердце мое облегчилось; я рад был, что существовало на свете творение ниже меня, и с ругательным смехом оборотился спиною к Жанетте: нет, сердце мое никогда не чувствовало к ней любви искренней.

Матери моей не было на свете; дом мой достался в добычу заимодавцам; я не имел никого и ничего; весь мир убегал от меня, как от заразы; скажу наконец: я разучился уже стыдиться. Было время, когда я укрывался от взоров человека, не будучи в состоянии сносить презрения; теперь я сам отважно шел к нему навстречу: я радовался, когда лицо мое приводило его в содрогание; лишившись всего драгоценного, я не боялся потери, почитал себя свободным и верил во глубине души, что

качества добрые для меня бесполезны, потому что не было человека, который бы предполагал во мне хотя одно доброе качество.

Вселенная была для меня отверста; в другой провинции я мог бы еще нажать имя честного человека, но я потерял и самую надежду казаться честным; отчаяние и посрамление поселили во мне унижительную недоверчивость к моим силам; не имея права на честь, я научился почитать ее излишеством; я умертвил бы самого себя, когда бы прежняя, свойственная мне гордость могла пережить несчастное мое унижение, но все во мне погибло, совершенно и невозвратно.

На что решился я, не знаю; помню как во сне, что яростное желание делать сколь можно более зла и быть достойным своего жребия исключительно владело моею душою. Законы, я мыслил, благодетельны для человеческого общества; надобно попирать их ногами! Сначала проступки мои были одно заблуждение и легкомысленность, теперь я решился злодействовать по выбору и с удовольствием.

Натурально, что я продолжал по-прежнему стрелять дичину: охота сделалась моею страстию; к тому же надлежало чем-нибудь питаться. Но я всему предпочитал жестокое удовольствие вредить человеку, вредить тому государю, который не пощадил меня в своем приговоре. Неусыпность зрителей более не ужасала меня: я имел наготове пулю и был уверен в меткости моего выстрела. Я истреблял ужасное множество дичины; малейшую часть ее носил продавать на границу, остальное бросал: жизнь моя была самая бедная; одежда состояла из лоскутков; деньги свои издерживал я на свинец и порох. Скоро заговорили в провинции о новом, неизвестном истребителе дичины: наружность моя отводила от меня всякое подозрение; имя мое давно было изглажено из памяти человеческой.

Несколько месяцев продолжалась моя охотничья жизнь. Однажды утром зашел я по следам оленя в самое глухое место леса; чувствовал усталость: хотел уже отказаться от поисков; вдруг зашумело в кустах; вижу оленя, очень близко, на один ружейный выстрел; прикидываюсь, хочу спустить курок; замечаю в десяти шагах от себя лежащую на земле шляпу: смотрю... кто же представился моим глазам? Роберт, гонитель мой, жестокий, непримиримый, единственная причина всех моих бедствий! Он стоял под дубом, оборотясь ко мне спиною и целясь из ружья в того же самого оленя, которого почитал я своею добычею. Смертный холод пробежал по всем моим членам: человек самый ненавистный для моего сердца находился от меня в шести шагах, подвластный убийственной моей пуле. В эту минуту казалось, что вся вселенная ограничивалась для меня в едином ружейном выстреле, что вся моя ненависть заключена была в едином смертоносном движении пальца. Страшная, неви-



димая рука надо мною носилась! Я дрожал, как в лихорадке, когда позволил ружью своему сделать ужасный выбор; задышался; две секунды направление ружья занимало средину между оленем и стрелком, еще секунда, другая, третья; мщение и совесть боролись упорно: последняя побеждена, и Роберт с расстрелянною головою повалился на землю.

Ружье упало из рук моих вместе с выстрелом... Убийца, сказал я, содрогаясь вполголоса... В дремучем лесу было все тихо, как на кладбище... мне ясно послышалось, что я сказал: убийца!.. Подхожу: он умирает. Долго стоял я в молчании, смотря на цепенеющее тело. Наконец опомнился; злобный хохот, который громко отозвался в отдаленной глуши, облегчил пылающую мою грудь. Ты смирен теперь, знакомец, сказал я, наклонившись и поглядев ему в лицо. Но мертвые глаза ужасным образом смотрели; мне стало страшно; я замолчал; начал оглядываться с робостью: нечто ужасное вокруг меня бродило; тихий лес приводил меня в трепет; ни один листок не двигался, ни одна птица не порхала; страшный труп лежал передо мною неподвижно; мучительные, неопи- санные чувства наполнили в сию минуту мою душу; за несколько часов засмеялся бы я тому в глаза, кто надумал бы утверждать, что есть в природе создание хуже меня; но тут показалось мне, что состояние мое за несколько часов было достойно зависти.

Божие правосудие не приходило мне в голову, но, я не знаю, какое-то смутное воспоминание о петле, эшафот и казни одного убийцы, которую случилось мне видеть в ребячестве. Мучительная, неизъяснимо горестная мысль, что с этой самой минуты я не имел уже права на жизнь, преданную секире палача, невольно приводила меня в содрогание; более ничего не помню; знаю только то, что я желал тогда воскресить убитого. Я силился привести на память все горести и несчастья, которыми отравил он прошедшую мою жизнь, но, странное дело, память моя была как будто мертвая: все то, что за минуту приводило меня в бешенство, из нее изгладилось; я даже не понимал, за какую вину застрелил этого несчастного человека.

Стук колес и хлопанье бича вывели меня из беспамятства: в полуверсте проложена была проселочная дорога; надлежало подумать о безопасности; я побежал в густоту леса; дорогою вспомнил, что убитый когда-то имел серебряные часы: мне нужны были деньги, чтобы добраться до границы, но как воротиться: опять увидеть ужасный предмет?.. Тут поразило меня воспоминание о вездесущии Бога и муках страшного ада; волосы на голове моей стали дыбом; стараюсь собраться с духом... иду... ноги мои подгибаются... я не обманулся: в самом деле, нашел часы и около талера денег в маленьком зеленом кошельке. Беру их, кладу в карман; хочу идти, останавливаюсь, думаю; не стыд и не

робость меня удержали, но, вероятно, малый остаток еще не угасшей гордости; бросаю часы, беру нужное для себя количество денег и удаляюсь. Ты личный враг убитого, говорил я самому себе, не хищник и не разбойник, которому нужны были одни только деньги.

Я побежал во внутренность леса, который, беспрестанно сгущаясь, простирался к северу на несколько немецких миль и, наконец, оканчивался у границы; до самого полдня бежал я без отдыха. Внутренние вопли моей совести заглушены были страхом: я думал об одной опасности, но, по мере того, как силы мои приходили в расслабление, вопли сии становились слышнее; грозное привидение меня преследовало; казалось, что внутренность моя терзаема была тысячею кинжалов: будущее приводило меня в трепет; оставалось выбирать: или влачить несчастное, подверженное непрерывному ожиданию смерти бытие, или сделать всему конец насильственным самоубийством, но я не имел решимости наложить на себя руку, а жить на свете, в котором отовсюду грозили мне одни ужасы, казалось для меня нестерпимым. Волнуемый среди несомненных страданий жизни и вероятною казнью вечности, провел я несколько часов в таком положении, которому нет и быть не может подобного, какого не испытало еще ни единое создание.

Я продолжал идти, задумавшись, тихим шагом, надвинув на глаза шляпу, излучистою тропинкою, которая беспрестанно терялась между деревьями и прямо вела во мрачную густоту леса... вдруг загремел ужасный голос... Стой, закричали мне из кустарника.

Я содрогнулся, поднял глаза, вижу перед собою огромного великана, вооруженного дубиною, с калмыцким, загоревшим от солнца лицом, с косыми глазами, которых сверкающие белки страшным образом отличались от черной кожи; за поясом пистолет и длинный разбойничий нож; словом, страшилище. Стой, повторило привидение, и сильная рука меня удержала. Голос человеческий привел бы меня в трепет, но вид разбойника возобновил в сердце моем смелость; я посмотрел ему в глаза.

— Кто ты? — спросил он суровым голосом.

— Тебе подобный, — отвечал я, — когда наружность твоя не обманчива.

— Здесь нет дороги. Зачем зашел ты в эту глушь?

— Ты очень любопытен.

Незнакомый изумился; несколько минут осматривал меня с головы до ног.

— Ты смел и груб, как нищий, — сказал он.

Может быть, за несколько часов я подлинно был нищим. Он засмеялся:

— Едва ли и теперь ты лучше нищего.

— Гораздо хуже, — отвечал я и хотел удалиться.

— Не торопись, или боишься потерять минуту.

Я задумался; не знаю, с чего пришло мне в голову сказать:

— Минуты дороги, жизнь коротка, но адские наказания вечны.

Он посмотрел на меня с удивлением:

— Или я грубо ошибаюсь, — сказал он, — или ты сию же минуту сорвался с виселицы.

— Дело возможное. До свидания.

— Постой, — воскликнул он, вынув из кожаной сумы небольшую склянку, — твоё здоровье.

Он выпил и подал мне склянку. Я целый день не ел ни куска хлеба; мучился жаждою; боялся умереть с голоду и усталости в густоте леса; можете вообразить, с каким удовольствием я выпил вина: силы мои обновились, снова почувствовал я мужество, снова надежду и привязанность к жизни; даже мне показалось в эту минуту, что я не имел причины почитать себя погибшим: таково было действие напитка! Признаюсь, некоторая тайная радость наполняла мою душу: наконец, подумал я, по многим напрасным исканиям, ты встретил существо, которое во всем тебе подобно. Незнакомый лег на траву, я также.

— Вино твоё подкрепило меня, — сказал я, — нам надобно познакомиться короче.

Он высек огня и закурил трубку.

— Давно ли отправляешь похвальное своё ремесло?

Он посмотрел на меня пристально.

— Что ты хочешь сказать?

Я указал на нож.

— Часто ли он бывал в деле?

— Кто ты? — воскликнул он страшным голосом, бросив свою трубку.

— Подобный тебе, убийца, но ещё ученик.

Он успокоился, поднял трубку и начал опять курить.

— Ты, верно, нездешний, — сказал он по некотором молчании, — откуда ты?

— Я не имею отчества! Прежде держал я трактир в Л\*\*, ты знаешь «Золотой венец»?

— Как, — воскликнул он с некоторым исступлением, — Христиан Блемер. Стрелок дичины? Ты?

— Я.

— О, я тебя знаю, Блемер! Давно хотелось мне с тобою встретиться. Такой человек, как ты, сокровище: ты будешь нам очень полезен.

— Полезен, на что и кому?

— Слава твоя гремит по всей провинции. Ты имеешь неприятелей; с тобою жестоко поступили, Блемер; тебя ограбили, довели до отчаяния: дело безбожное, неслыханное.

Он горячился.

— Застрелить двух кабанов, подлинно преступление. И за такую безделицу мучить человека в смиренном доме, посадить его на три года в крепость, разорить вконец, отправить по миру с сумою. Ах, Блемер, они считают людей дешевле зайцев! Для них погубить человека так же легко, как застрелить куропатку. И ты это вынес, Блемер?

— Можно ли мне было переменить свой жребий?

— Об этом подумаем. Скажи мне, куда ты идешь и на что решился?

Я рассказал ему свою историю и не успел еще кончить, как он вскочил, берет меня за руку и тащит за собою.

— Пойдем, я укажу тебе дорогу, Блемер! Теперь мы неразлучны.

— Куда ты меня ведешь?

— Не спрашивай и следуй за мною.

Мы шли вперед; не говорили ни слова. Дикая лес час от часу становился гуще и непроходимее. Ветви деревьев хлестали меня по лицу. С трудом продирались мы через кустарник. Товарищ мой засвистал. Я содрогнулся; мы стояли на краю пропасти; через минуту во глубине ее послышался другой свисток; выставилась лестница: мой спутник первый сошел вниз.

— Дождись меня, — сказал он, — надобно привязать собаку; она тебя разорвет.

Он скрылся.

Я остался один; видел перед собою пропасть; знал, что я один; чувствовал неосмотрительность моего спутника; стоило решиться, вытащить лестницу, и я свободен, и мог спасти себя бегством: все это, скажу откровенно, представилось моему рассудку; я с содроганием смотрел во глубину пучины, которая готова была поглотить меня, и навсегда; темное воспоминание о пропастях ада, из которых нет уже избавления, поразило меня; я содрогался, помышляя о той ужасной дороге, к которой привел меня таинственный жребий; единое бегство, и самое скорое бегство, могло еще быть моим спасением, и я уже решился; я простирал уже к лестнице руку; вдруг зазвучало в моих ушах; казалось, посмеяние ада меня оглушило: ты убийца, вселенная для тебя закрыта, и рука моя опустилась. Всему конец; время раскаяния миновалось; мое убийство лежало предо мною как страшный утес, которым возвратный путь загражден был для меня навеки; через минуту послышался голос моего спутника: меня звали; я опустился в пропасть; лестницу приняли: все для меня решилось.

Я увидел себя на площадке, довольно просторной; несколько хижин мелькали перед глазами моими в сумраке. Осьмнадцать или двадцать человек сидели вокруг огня. Мой спутник подходит к ним.

— Товарищи, — говорит он, — этот человек — Христиан Блемер.

— Блемер, — воскликнуло множество голосов; в минуту вся шайка, мужчины и женщины, окружила меня. Сказать ли? Радость была непритворная; удовольствие, доверенность, самое уважение изобразились на лицах; один пожимал мою руку, другой дергал меня за платье: казалось, что все они встречали старинного друга, возвратившегося из дальнего путешествия. Обед только начинался, когда я пришел; опять садятся вокруг огня, уступают мне почетное место, пьют за мое здоровье, друг перед другом стараются оказывать мне отличное внимание. Обед составлен был из лучшей всякого разбора дичины; лучшее вино беспрестанно пенилось в стаканах; казалось, что истинное согласие и удовольствие одушевляло общество.

Меня посадили между двумя женщинами. Я думал найти отвратительных тварей и удивился чрезвычайно, увидя перед собою красавиц, каких никогда еще не имел случая видеть в обществе человеческом. Одна из них, старшая, именем Маргарета, была красивее лицом, но слишком бесстыдна в обхождении; другая, Амалия, казалась тихой, задумчивой; имела бледное лицо, томные глаза; менее ослепляла, но более нравилась, нежели подруга ее, которая с первого взгляда произвела во мне сильное отвращение.

— Видишь ли, Блемер, какую благословенную жизнь ведем мы в этой глуши, — сказал мне мой спутник, — и всякий день бывает то же, что нынче! Не правда ли, товарищи?

— Правда, правда, — загремело со всех сторон.

— Хочешь ли войти в наше братство? Хочешь ли быть нашим начальником? Ударим по рукам! Согласны ли вы, товарищи?

— Согласны, — воскликнуло двадцать голосов.

Голова моя пылала, рассудок был помрачен, вино и чувственность разгорячили мою кровь. Вселенная отвергала меня, как зараженного язвою, здесь находил я убежище, уважение, довольство. На что бы я ни решился, везде представлялась мне одна смерть, но здесь, по крайней мере, представлялась мне возможность не даром расстаться с жизнью. Натура наградила меня сложением пылким, а женщины показывали ко мне отвращение; здесь, напротив, ожидали меня и благосклонность, и удовольствие. Словом, я колебался недолго.

— Вот вам рука моя, товарищи, — воскликнул я, выступив на середину, — я ваш, но требую, чтобы вы уступили мне Амалию.

Договор заключен, и я объявлен разбойничьим атаманом».

Опустим покров на следствия: отвратительное и ужасное не может быть полезным для читателя. Естественно, что несчастный, который обстоятельствами и характером низвергнут в такую глубокую пропасть, должен, наконец, позволить себе все то, что возмущает человеческое сердце, но он, как после признавался под пыткой, не осквернил себя вторичным убийством.

Имя Христиана Блемера загремело в провинции; дороги сделались опасны для путешественника; днем разбивали прохожих, по ночам грабили деревни; окрестности приведены были в ужас. Правительство обещало знатную сумму денег за голову атамана; его искали, но он имел искусство обманывать рассыльщиков; а суеверные поселяне боялись наложить на него руку: он друг сатане, говорили они, творя молитву.

Прошло более года. Блемер начинал уже почитать состояние свое несносным; ни одна из блестящих, пленивших его в первую минуту надежд не была исполнена; он с трепетом замечал погибельную свою ошибку. Голод и недостаток заступили место обещанного изобилия; нередко бывал он принужден бросаться на нож для одного куска хлеба, которым едва избавлял себя от голодной смерти. Призрак согласия и братства исчез: зависть, подозрение, ревность свирепствовали в вертепе убийц и грабителей. Предателю его были обещаны деньги или, если он один из разбойников, пощада, страшное искушение для извергов. Несчастный видел свою опасность. Верность злодеев, которые не знали ни человечества, ни Бога, была весьма ненадежною подпорою жизни его, и с этой минуты не мог он уже спать; мучительный ужас гнезвился в его сердце; подозрение, как грозная тень, влачилося за ним и стеновало; оно преследовало его во глубине леса; мучило, когда он бодрствовал; носилось над ним, когда он в жару и бессоннице метался по своей постели; пугало страшными видениями, когда утомленные глаза его на минуту смыкались; уснувшая совесть опять возникла; ехидна раскаяния точила его сердце; прежняя ненависть к людям, болезнь ожесточенной души, исчезла; место ее заступило горькое, отчаянное отвращение к самому себе; несчастный прощал натуре, прощал человечеству; одного себя почитал он ужасным, одного себя достойным проклятия.

Сила порока уже истощилась, и Блемер здравым рассудком своим постигнул горестное свое ослепление. Ах, он чувствовал, как страшно был унижен! Тихое уныние заступило в душе его место прежнего иступленного отчаяния; обливаясь слезами, призывал он протекшую жизнь свою; он чувствовал, что мог бы отвратить от себя ужасный свой жребий и выбрать иную дорогу; он начал надеяться, что не было еще запрещено ему возвратиться в общество добродетельных, и внутренний голос уверял его, что он имел еще способность с ними сравниться.

Можно сказать, что на высочайшей степени своей испорченности был он гораздо ближе к добру, нежели за две минуты до первого своего преступления.

Загорелась семилетняя война<sup>4</sup>; солдаты были нужны, и всех охотно записывали в рекруты; вот обстоятельство, которое несчастный хотел употребить в свою пользу, и вот письмо, которое написал он к владельцу своему князю и которое прилагаем здесь в извлечении.

«Если не будет унижительно для государя взглянуть на бедного, отверженного целым миром злодея; если не оскорбительна для слуха его молитва преступника, то Ваша светлость удостоит меня внимания. Я убийца и грабитель; закон осудил меня на смерть, и правосудие требует моей казни; я добровольно готов предать ему свою голову; падаю с неслыханною просьбою к ногам вашей светлости; я не жалею о жизни: смерть не приводит меня в трепет, но умереть, не живши ни минуты, вот жребий, который меня ужасает! Ах, я хочу загладить прошедшее; хочу примириться с тем обществом, которое так долго оскорблял в своем ослеплении: казнь моя будет примером для многих, но может ли она загладить хотя единое злодейство преступника! Я ненавижу порок и с пламенным нетерпением призываю к себе погибшую мою невинность, потерянную добродетель. Я доказал, что имею способность вредить отечеству; надеюсь, что имею способность и быть для него полезным.

Чувствую, что требую необычайного. Жизнь моя предана проклятию; я не имею права предлагать условия правосудию. Но я еще не в цепях и не в темнице; я свободен; не робость понудила меня прибегнуть к милосердию государя.

Так, я требую милосердия, милосердия, не смею сказать, правосудия, но мне позволено напомнить судиям моим, что я преступник с той самой минуты, как приговор их навеки лишил меня чести. Ах, я не требовал бы теперь пощады, когда бы в то время поступлено было со мною справедливее и не было забыто человечество!

И неужели милосердие не может на время заменить правосудия? О государь, если от вас зависит смягчить суровость закона, то дайте мне жизнь, и каждая минута ее будет посвящена благодарности, каждая минута ее будет употреблена на то, чтобы загладить прошедшее. Смею вас умолять, объявите мне волю свою через публичные листы; полагаясь на обещание моего государя, явлюсь немедленно в его столице. Но если определите вы иначе, то правосудие пускай исполняет свое дело, а я принужден буду остаться при своем».

На просьбу сию не последовало никакого ответа; другая и третья (в которых проситель требовал, чтобы его приняли рядовым в какой-нибудь армейский полк) оставлены также без внимания; надежда полу-

чить прощение исчезла; Блемер решился бежать за границу, записаться в службу прусского короля<sup>5</sup> и с честью кончить жизнь свою на поле сражения. Ему удалось обмануть своих товарищей: он скрылся; граница была недалеко. Блемер приходит в маленький городок, в котором располагается ночевать, надеясь на другой же день перейти в прусские владения. По несчастию, за неделю до его прихода обнародован был новый указ о строгом обыске проезжающих: владетельный князь имел участие в войне, и такая предосторожность была необходима. Смотритель заставы сидел у ворот в ту самую минуту, когда въезжал в них Блемер. Одежда его была необыкновенная; наружность имела нечто ужасное и дикое. Худая кляча, на которой он сидел, едва передвигала ноги и странным образом противоречила физиономии седока, запечатленной многоразличными, свирепыми страстями. Смотритель изумился; он поседел в своей должности: сорокалетняя опытность научила его с первого взгляда отличать бродягу от честного человека. И здесь не обманулся орлиный взор сего наблюдателя. Он опустил шлагбаум, подошел к проезжему, схватил за повод его лошадь и требовал паспорта. Блемер, в самом деле, имел в запасе паспорт, который достался ему с пожитками какого-то ограбленного купца; отдал его, но опытный смотритель не удовольствовался: он верил глазам своим более, нежели бумаге, и Блемер принужден был следовать за ним к дому градоначальника. Осмотрели паспорт, нашли, что он годен. По несчастию, градоначальник, страстный охотник до новостей, любил за бутылкою вина поговорить о политических происшествиях; проезжий, по свидетельству паспорта, недавно оставил то место, на котором происходили главные военные действия; надеясь услышать что-нибудь важное, велел он секретарю своему пригласить Блемера на стакан пуншу.

Блемер стоял на улице, у самых ворот, и дожидался своего отпуска; собралось множество праздных людей, шептали, указывали пальцами то на него, то на худую клячу; она была краденая; Блемер вообразил, что ее узнали по приметам, описанным в публикациях; неожиданное приглашение градоначальника подтвердило его догадку; он вздумал, что хотели его уловить хитростию и взять живого; робкая совесть засломила в нем рассудок; он колет шпорами свою лошадь и скачет, не давши никакого ответа. Все взбунтовалось. Мошенник, воскликнуло множество голосов; все кинулись за ним в погоню; он мчится во весь опор; спасение близко, они отстали далеко, но грозная, невидимая рука над ним отяготела; жребий его совершился; он заскакал в тупой переулок и принужден поворотить назад. Улица заперта, все жители маленького городка приведены в смятение; всё, что имело ноги, сбежалось: надлежало пробиваться силою. Блемер показывает пистолет. Прочь,



воскликнул он, первому, кто осмелится ко мне прикоснуться, разобью голову вдребезги. Всё безмолвно; все неподвижны, один смельчак бросается на него сзади, пистолет падает, обезоруженный Блемер схвачен и с торжеством представлен к начальнику города.

— Кто ты? — спросил его судья.

— Прошу вас покорно быть учтивее, милостивый государь, я не намерен отвечать на грубые вопросы.

— Кто вы?

— Это вам известно: паспорт мой у вас в руках. Я объездил всю Германию, и ни в одном городе не попадались мне такие бесстыдно-грубые люди.

— Но ваше бегство подозрительно. Что принудило вас бежать?

— Несносное нахальство здешних жителей.

— Но вы грозили стрелять в них из пистолета.

— Осмотрите мой пистолет: вы увидите, что он не заряжен.

— Для чего же имеете при себе запрещенное оружие?

— Государь мой, я путешественник; везу дорогие вещи; здешние дороги опасны для проезжих; говорят о разбойниках.

— Смелые ответы не могут служить для вас оправданием. Даю вам время до завтрашнего утра; надеюсь, что вы откроете истину.

— Я верно останусь при том, что объявил вам нынче.

— Отведите его в башню.

— В башню, милостивый государь! Вспомните, что я не преступник, что я требую удовлетворения.

— И получите его, как скоро будете оправданы.

Блемера посадили в башню. На другой день градоначальник, рассудив, что путешественник подлинно мог быть невинен, и что приличнее обходиться с ним кротко, нежели оскорблять его повелительным тоном и грубыми допросами, собрал присяжных и приказал привести к себе колодника.

— Государь мой, прошу вас меня извинить; чувствую, что вчерашнее обхождение мое с вами было грубо.

— Извиняю вас от всего сердца.

— Законы наши строги, а вчерашнее происшествие сделалось гласно. Без явного нарушения должности моей не могу возвратить вам свободы. Наружность вас обвиняет; прошу вас, найдите мне какое-нибудь средство оправдаться.

— Я не имею никакого.

— Итак, я принужден донести о вас начальству и ждать от него разрешения. До тех пор будете вы содержаны под строгим присмотром.

— А потом?

— Потом? Что будет, не знаю; вас могут прогнать за границу, как бродягу; могут завербовать в солдаты; случится и хуже.

Блемер замолчал. Ужасная борьба происходила в его сердце.

— Государь мой, — сказал он, приступив с решительным видом к градоначальнику, — могу ли переговорить с вами наедине?

Все вышли.

— Чего вы требуете?

— Вчерашнее обхождение ваше никогда не извлекло бы из меня признания; насилие меня не ужасает, но теперь душа моя растрогана вашей кротостию: вы вселили в нее почтение, доверенность, надежду. Я не обманываюсь: я нахожу в вас честного, великодушного человека.

— Объяснитесь.

— Я вижу, что вы благородный, великодушный человек; давно желал я найти подобного, дайте мне правую руку.

— Что это значит?

— Я вижу на голове вашей почтенные седины: вы знаете свет, вы знаете людей, вы испытали несчастье (не правду ли я сказал?), и несчастье не сделало вас жестокосерднее.

— Государь мой, ваши слова для меня загадка.

— Вам остается один только шаг до гроба! Скоро, скоро будете искать милосердия у престола Божия: не откажите же в милосердии несчастному! Имеете ли какое-нибудь предчувствие? Можете ли угадать, кто говорит с вами в эту минуту?

— Что это значит? Вы приводите меня в ужас.

— Вижу, что вы ничего не угадываете. Ах, умоляю вас, будьте моим защитником, опишите своему государю, как вы нашли меня; скажите ему, что я сам, из доброй воли, сделался своим предателем: скажите, что Бог помилует его некогда на суде своем, если теперь не будет он неумолимым; вступитесь за меня, старый человек, и потом окропите письмо свое слезами: я Христиан Блемер.

Он кончил жизнь на эшафоте. Но, читатель, неужели этот несчастный никогда не мог возвратиться к добродетели?

## **НОРД-КАП, ИЛИ СЕВЕРНЫЙ МЫС (\*)**

**(Отрывок из Путешествия Ачерби в Швецию,  
Финляндию и Лапландию<sup>1</sup>)**

Наконец мы отвалили от берега; скоро оставили в правой руке пролив, отделяющий Магерон<sup>2</sup>, или пустой остров, от твердой земли; с

---

(\*) Смотри картинку<sup>4</sup>.

левой стороны представилось нам необозримое пространство Ледовитого океана, и в самую полночь достигли мы крайнего предела Европы, который известен под именем Норд-Капа, или Северного мыса<sup>3</sup>.

Норд-Кап — предмет нашего любопытства, которого не охладил ни опасности, ни затруднения, неразлучные с долговременным страстием; славная, можно сказать, исполинская цель путешественника, который хотел увидеть скалы, сооруженные Творцом на границах мира, который справедливо хотел сказать о самом себе:

Там кончился мой путь, где нет уже Вселенной!

Кап-Норд представился глазам нашим со всеми великолепными ужасами, которыми украсила его природа. При этом виде воспоминание о том, что осталось позади нас, о мире, человечестве, жизни, как будто изгладилось из нашего воображения; казалось, что все творение заключено было на сих пустынных утесах. Изумленные собственною дерзостью, мы внутренне гордились своим успехом, и ставши на ту землю, к которой никогда еще нога человеческая не прикасалась, воображали себя существами высшими, не слабыми обыкновенными смертными. Но скоро исчезла минута исступления, скоро за сим мечтательным торжеством последовали задумчивость и мрачное уныние. Что представляло нам отвсюду? Скалы без одежды, земля без прозябения, воздушная необозримая пустыня. К чему же привели нас бесчисленные заботы, бесчисленные опасности, соединенные с путешествием? Ко гробу природы!

Кап-Норд есть дикая, огромная скала, со всех сторон орошенная морем. Волны с ужасным шумом разбиваются у подошвы ее; от времени до времени в ясную погоду они утихают, но в бурю ничто не может сравниться с тем громом и с тою неукротимую яростью, с которыми они стремятся к ее ужасным утесам, колеблют их и подмывают. Каждый год яснее обнаруживается древняя ветхость ее; она дряхлеет, сокрушается, исчезает, и нет свидетелей ее продолжительного непрерывного падения.

Здесь все пустынно, уныло, мертво! Напрасно будешь искать сенистой рощи на сих вершинах; цветущая зелень не украшает сих острых уединенных утесов; птица земная не появляется под сими туманными облаками, не пересекают сего необъятного, однообразного пространства воздушного! Слышишь единые печальные свисты ветров, внимаешь единому печальному гулу моря! Океан без пределов; небо без горизонта; солнце без заката; ночи без пробуждения; дикость, тишина, ужас — такова картина утесистого Норд-Капа! Здесь человеческие труды, промышленность, заботы представляются как будто в сновиде-

нии; могущество одушевленной природы, ее различные формы, ее бесчисленные изменения изглаживаются из мыслей; видишь одни первоначальные стихии; мир представляется не обителью жизни, но точкою в необъятной системе Вселенной.

Скоро миновалось то упоение, которое произведено было в нас зрелищем дикого Норд-Капа; чувства, пробужденные удовольствием, что наконец достигли мы предмета своих желаний, зрелищем места, человечеству неизвестного, картиною грозной, угрюмо-величественной природы, сравнением сих пустыней северного полюса с цветущими краями нашей отчизны, утихли; тогда, возвратившись к самим себе, мы живо почувствовали, как нужно для человека заменять единое удовольствие другим, без чего ужасная душевная пустота была бы для него несносна. Тогда представилось нам пространство, которым мы были разлучены с отечеством, и, мысленно измеряя страны, оставшиеся позади нас, мы с некоторым унынием исчисляли, как долго еще надлежало нам странствовать, прежде нежели увидим себя в кругу родных и знакомых. Опять, говорили мы, будем взбираться на те же горы, опять увидим те же пустыни и болота, опять принуждены будем подвергаться опасности на тех же порогах! И все сии предметы, потеряв уже в глазах наших заманчивость новизны, являлись в неприятнейшем виде нашему воображению. Подлинно, имея в глазах меланхолическое зрелище дикой, бесплодной, безобразной природы, мы не понимали, каким образом одно желание насладиться подобною картиною могло быть целью такого трудного, можно сказать, опасного путешествия, но таково могущество слов над умом человеческим! Скоро имена *Ледовитое море, Норд-Кап, предел Европы* согрели воображение, рука взялась за карандаш, чтобы изобразить на бумаге сии громады утесов или, по словам стихотворца, сии обширные страницы из летописи веков, и в эту минуту, занимаясь работою, мы в полноте души насладились тем удовольствием, которое всегда чувствительная душа находит в уединении, в рассматривании величественных феноменов природы. Перелетая мысленно через пространство сего Ледовитого моря, мы посещали Гренландию, Шпиц-Берген и далее те необъятные, те ледяные горы, которые дотоле будут неподвижными среди волнующихся вод, доколе Земной шар не перестанет обращаться на вечной оси своей; останавливаясь на точке, именуемой Полюсом, мы представляли себе зрелище года, на единый только день и единую ночь разделенного; наконец, утомившись разнообразными размышлениями и чувствами, сошли мы с вершины утеса на берег, развели огонь и начали готовить себе ужин. Никогда не чувствовали мы такого голода: усталость, душевное вол-

нение и тонкость воздуха возбуждали в нас аппетит; скоро веселость блеснула на лицах — и мы на крайних пределах мира пили за здоровье друзей наших, обитавших на Юге.

Для ночлегу своего нашли мы престранную пещеру, составленную из трех огромных скал, которых гладкая поверхность доказала очевидно, что впадина сия измыта волнами океана. Во внутренности ее увидели мы круглый камень, из-под которого струился прозрачный источник, вытекавший из ближней скалы. На берегах его нашли мы растение, называемое *ангелика*<sup>5</sup>. Такая находка в стране, столь чудной всякого прозябения, где не могли мы надеяться, чтобы природа захотела нас угостить чем-нибудь приятным, показалась нам истинною драгоценностию. Пещера была так хорошо расположена, что можно, скорее, почесть ее произведением искусства, нежели природы. Круглый камень служил нам вместо стола. Мы сели в кружок; нам стоило только наклониться, чтобы зачерпнуть самой чистой и приятной воды, хотя мы не более как в десяти шагах находились от океана. Мы очень жалели, что не было с нами резца, которым бы высечь на камне какую-нибудь надпись или, по крайней мере, наши имена. Поужинав, взошли мы на самую вершину скалы и скатывали для забавы некоторые отломки камней в море; шум, происходящий от их стремления, подобился грому, они увлекали с собою все, что попадалось им навстречу.

*С франц. N. N.*

## О ВЫГОДАХ СЛАВЫ

Друзья мои, не правда ли, что слава дело золотое? Не говоря о том, что собственно в ней находите доброго, признайтесь, что она весьма полезна и в общежитии. Гельвеций, помнится, написал, что люди ищут славы так же, как фортуны и почестей, для одних существенных, твердых, материальных ее преимуществ<sup>1</sup>. Если Гельвеций это сказал, то он ошибся. Искатели славы, конечно, не имеют в предмете сих преимуществ, но мы прибавим, что и они одни могли бы в глазах наших придать существенное достоинство славе.

День триумфа почитался блаженнейшим у римлян, но что такое один день? Согласен, что невозможно, без сладкого трепетания, смотреть с торжественной колесницы на многочисленную толпу народа, который в восторге стремится к вам навстречу и усыпает цветами вашу дорогу, но что бы значила эта восхитительная минута, когда бы на другой день осталась она в памяти у одних вас? По счастью, во взорах толпы заключено какое-то неизъяснимое, могущественное очарова-

ние! Тот, на кого были они устремлены хотя один раз, сияет необыкновенным, сверхъестественным блеском, озаряющим и самые тени картины. Последуйте за героем из Капитолия в дом его, посмотрите на него в кругу семейства и знакомых! Как он переменялся в глазах тех самых людей, которые видали его ежедневно! Они, как и другие, слышали рукоплескания нескольких сот тысяч, и вмиг явилось в нем многое множество мелких, разнообразных достоинств, которые двадцать пять лет скрывались от их внимания. Все недостатки его исчезли или представились в новом свете. Прежде вы находили в характере его некоторую жестокость, а в обращении надменность, сухость или непривлекательность; ныне вы называете их важностию, высоким духом человека необыкновенного. «Но он не умеет сказать слова: тон это самый обыкновенный; выражения самые грубые!» Вы ошибаетесь, это восхитительная простота! Сделает ли он неловкость, входя в комнату — сколько удивительнейшего найдут в этой любезной рассеянности великого мужа! Вздумает исправить ошибку — какая милая, несравненная учтивость! Словом, каждый шаг его есть чудо; вы замечаете, с какою *осторожностью* он управляет кабриолетом, с какою *смелостию* прыгает через ров, с какою *приятностию* катает за столом шарики из хлеба: все прицено ему в пользу, и ничто в невыгоду. Не правда ли, друзья мои, что слава — дело золотое?

Тому позволено об этом судить, скажете вы, кто пользуется важною привилегиею всякий день обедать и ужинать с людьми великими, согласен; опустимся ниже. Вы знаете господина Т\*\*: он написал книгу хорошую, о том ни слова; прославил себя поступком обыкновенным или удивительным, это материя посторонняя; скажем просто, что он имел успех, что имя его громко, и в обществах бегают толпами за господином Т\*\*. Вчера имел я случай встретиться с ним в одном месте. Он приезжает, двери отворились с шумом, слуга воскликнул: *господин Т\*\**; все замолчало, все умы в волнении, все глаза обращены на дверь; он идет... входит... кланяется... садится, и каждое движение господина Т\*\* замечено; и госпожа Б\*\* в ту же минуту начинает говорить с своим соседом, которым скучала, для того, чтобы господин Т\*\* заметил, как она приятна и ловка в разговоре; и девица Л\*\* предлагает обществу философическую задачу: надобно было удивить господина Т\*\* своим умом и знанием; и господин Ж\*\* в три секунды выдумал четыре каламбура; и господин И\*\* в четверть часа решил судьбу десяти европейских народов, и все это для господина Т\*\*, который, не отворяя рта, молчанием своим занимал общество гораздо более, нежели сколько бы мог занять его за год порядочным и длинным рассуждением, в котором истратил бы все свое остроумие, собственное и занятое.

Одна умная женщина говорила: *напишите прекрасную книгу, и можете остаться глупцом на целую жизнь*<sup>2</sup>. О глупости ни слова, но я уверен, что слава дает некоторое право на лень. В свете очень трудно вырваться из толпы, но если удалось вам сделать один скачок, довольно, можете возвратиться назад: дорога ваша проложена! Вас будут называть образцом учтивости, потому что вы не грубы; найдут в вас отменную простоту, и наконец заметят, что вы излишне скромны.

О мои друзья, ищите славы, если хотите что-нибудь значить и чем-нибудь наслаждаться в свете! Трудно, скажете вы? Предлагаю другое средство: имейте хороший стол и двести тысяч ливров годового дохода!

### ПИСЬМО О КОПЕНГАГЕНЕ, ПИСАННОЕ В ИЮЛЕ, 1807

Копенгаген представляет величественное, несравненное зрелище с моря. Пышная зелень острова Амака<sup>1</sup>, приятные домики, рассеянные по берегам, городские башни, корабельные мачты, которые в отдалении кажутся лесом, бриги, перевозные суда, фрегаты, корабли военные, морские батареи, бесчисленные сады с находящимися в них загородными домами — все вместе образует такую прелестную картину, которую почитаю единственной. Ветер не допустил нас приблизиться к самому городу, корабль наш остановился на рейде, мы пересели на шлюпку и въехали в пристань.

Копенгаген отличается от многих столичных городов Европы красотой зданий, опрятными, хорошо вымощенными улицами, прекрасными тротуарами для пешеходов, обширными великолепными площадями. В нем часто бывали пожары<sup>2</sup>, и после каждого становился он красивее. Теперь многие улицы расширены; большая часть домов построены в лучшем вкусе. В том отделении города, который возобновлен после пожара, угольные дома округлены и украшены балконами. Гостиницы прекрасны, покойны, и в них, по моему мнению, все недорого.

Площадь, среди которой стоит изваяние Фридерика V<sup>3</sup>, превосходит все другие: она заключается между четырьмя огромными домами одинаковой формы. Довольна хороша и та, которая называется новым Королевским рынком и где стоит изображение Христиана V<sup>4</sup>. Статуи вылиты из меди; та и другая конные, но первая гораздо лучше. Из числа четырех зданий, окружающих площадь Фридерика, два служат местом пребывания королю и наследному принцу. Они живут здесь со времени пожара, которым разрушен настоящий Королевский замок, известный под именем Христианбурга<sup>5</sup>; оставшиеся развалины дают представ-

ление о прежней обширности сего здания; оно оправляется, но очень медленно — доказательство, что правители мало заботятся о собственном покое. Кроме этого дворца есть еще в Копенгагене другой — старинный готический замок Розенбург<sup>6</sup>, к которому принадлежит прекрасный сад, служащий общественным гульбищем; здесь собирается весь город. Вокруг обширного водоема, находящегося посреди сада, видите множество играющих детей; матери и зрительницы сидят под тенью старых лип на скамейках; в аллеях попадаются вам молодые люди, светские дамы и девушки лучшего тону, офицеры, купцы, ученые; словом, видите самую приятную, разнообразную картину. В галереях находите чай, мороженое, фрукты, пунш и тому подобное. Но лучшим украшением города почитаю гавань<sup>7</sup>: множество кораблей на якорях; непрерывное движение плывущих туда и сюда шлюпок; нагрузка и выгрузка судов; народ, толпящийся на берегу — вот зрелище, которое понравится всякому, но для того, кто не видал ему подобного, будет оно восхитительно! — Амак, небольшой, но плодоносный остров, соединен с столицею двумя мостами; можно назвать его огородом и житницею Копенгагена.

Если сей город не может равняться с другими столицами Европы красотой и великолепием зданий, то, конечно, в приятности положения своего и окрестностей уступает немногим. Ко всем заставам ведут широкие аллеи. Везде находите прекрасные загородные дома, окруженные разнообразными великолепными садами, которые всякий день наполнены народом. По дороге от Копенгагена до Гельсингера<sup>8</sup> (около шести миль) на всяком шагу попадают дачи, примыкающие одна к другой; вы наслаждаетесь восхитительными, можно сказать, волшебными видами; из всякого сада, из всякого сельского замка различаете простыми глазами шведский берег и город Ландскрону<sup>9</sup>, и притом так ясно, что можете удобно их срисовать; далее, принадлежавший Дании, а ныне уступленный Швеции остров Гвеен<sup>10</sup>, старинное поместье Тихобрага, на котором и теперь находятся остатки Ураниенбурга, замка, построенного самим астрономом для наблюдения созвездий; наконец город Гельсингер с крепостию Кронбургом<sup>11</sup>, Зундский пролив<sup>12</sup> и все корабли, плывущие из Восточного моря<sup>13</sup> в Северное или из Северного в Восточное — словом, не воображаю ничего великолепнее сего единственного в мире зрелища! Но зрелище, представляющееся вам на земле, не менее привлекательно: везде плодоносные поля, произрастения столь тучны, зелень так свежа и приятна, сельские виды столь живописны, что вы не можете решиться, на чем остановить свои взоры. Самые сельские дома, по крайней мере, те, в которых случилось мне быть, убраны с отменным вкусом. Во многих видел я



работу Кановы<sup>(\*)14</sup>, настоящие антики и некоторые превосходные картины славных художников. Загородный дом графа Шиммельмана<sup>15</sup> по местоположению своему лучше многих; он называется Seelust (морское увеселение). В соседстве его находится другое прекрасное поместье *Александрия*, к которому принадлежит великолепный сад.

Немного далее, в десяти верстах от города, вы видите Королевский зверинец<sup>16</sup> — лес, каких мало; вступая в него, воображаете священные рощи древних; олени и серны мелькают перед глазами вашими и очень спокойно щиплют траву. Ближе к столице (в двух тысячах шагах) находится английский сад, принадлежащий к замку Фридрихсбергу; виды, которые представляются в нем, необычайны: иногда вы видите море и весь город; иногда простое сельское уединение. Он орошен прозрачным источником. Королевская фамилия переезжает на летнее время в замок Фридрихсберг<sup>17</sup>, и несмотря на то, в саду может прогуливаться всякий, когда захочет. Аллея, соединяющая этот замок с столицею, сама по себе есть прекрасное гульбище. По обеим сторонам рассеяны сельские домики; одним из лучших украшений наружности их почитаю чистые зеркальные стекла, которые в большом употреблении у датчан.

Обратимся на другой предмет: всего замечательнее в Дании то совершенное согласие, которое существует между правительством и народом. Первое неусыпно печется о последнем; последний достоин благодетельных попечений первого. Так, датское правительство имеет во всех своих поступках одну великую цель — благоденствие нации. Я любопытен был видеть сего наследного принца<sup>18</sup>, который так деятелен в заботах о счастье своего отечества; который таков на деле, каким другие желают только казаться; который, жертвуя самим собою высокому своему званию, думает, что исполняет единственно свою должность; который, соединяя в себе все необходимые для правителя качества, ничем не тщеславится; правосуден и милостив; умеет быть строгим, и в то же время до крайности снисходителен. Он выбрал достойных себе министров, и датчанин спит покойно, в надежде, что он безопасен под кровом неусыпного правительства, которое по всем отношениям заслуживает беспредельную доверенность нации. Первая добродетель правительства — благоразумие; оно спокойно и не поспешно в своих поступках; успехи не ослепляют его, угрозы не делают непостоянным; не думая о хищных завоеваниях, оно умеет отмщать своим оскорбителям; действует без всякого суетного тщеславия; не мыслит выказывать себя законодательством, но гражданин чувствует благотворительность

---

\* Один из первых скульпторов нашего времени.

его распоряжений. Имя покойного Бернсдорфа<sup>19</sup> свято уважается датчанами; благородные сыновья его достойны великого своего родителя: один из них министр Кабинета, другой директор департамента иностранных дел, третий в военной службе. Министры Шиммельман, Ревентлов, короче — все, теперь занимающие первые места в королевстве, оправдывают доверенность народную<sup>20</sup>. И сколько успело сделать сие правительство в самое короткое время! Оно уничтожило монополию Ост-Индской и Вест-Индской компании<sup>21</sup> (одна торговля с Китаем удержала сие исключительное право до 1812 году); первое прекратило торговлю невольниками; судьба несчастных негров, живущих в колониях, облегчена; крестьянам, зависящим от помещиков, даны многие выгоды; войска преобразованы; повинности народные приведены в равновесие; доходы государственные без всяких новых налогов умножены; словом, каждый его подвиг умножен любовью к человечеству и благодетелен для монархии, но сия благодетельность немало не смешана со слабостию: всей Европе известно, как поступил Копенгаген в 1801 году против англичан, сделавших внезапное на него нападение; в коллегии Адмиралтейства присутствует камергер Фон-Биль, который с одним фрегатом и одною бригаю ударил на семь Триполитанских корсеров и обратель их в бегство.

Датский народ имеет хорошие качества и вообще образован; редко обнаруживается в нем суровость, свойственная черни; иностранец, который дружески вступает в разговор с датчанином на улице, конечно, не получит грубого ответа; всякий охотно укажет вам дорогу, если вы ее не знаете, и никогда не откажется вас проводить. Может быть, это один случай, но я не видал ни одного пьяного в Дании. Датчан упрекают в беспечности и медлительности; надобно, однако, признаться, что они с своею медлительностию успевают делать гораздо более, нежели немцы; в высших состояниях много людей с талантом и ученых; самое местное положение и торговля Дании способствует им к познанию земель и языков; всякий день встречаешься с такими людьми, которые бывали в Китае, Капе, в Вест-Индии; с самыми знатными можешь говорить по-французски, по-немецки, по-английски. При всем том они чрезвычайно услужливы и истинно гостеприимны; частные люди наблюдают, относительно ко всем иностранцам, тот же самый нейтралитет, которым до сего времени так счастливо их правительство. Тон большого общества приятен, благопристойен, свободен; молодые дамы, встречаешь с чужестранцем, не смотрят на него как на чудо, не шепчут одна другой на ухо, не смеются, когда находят в нем что-нибудь отличное от их знакомых; женщины в Копенгагене отменно ловки; умеют занять вас, кто бы вы ни были, немец, француз, англичанин; обходятся без при-

нуждения, не нарушая, однако, важнейшей добродетели своего пола, скромности; разговор их отменно приятен; начав его, желаешь, чтобы он продолжался как можно более.

Встречаются пригожие, даже образованные женщины и в состоянии служанок, и между крестьянками; все они очень стройны, здоровы; свежесть лица их привлекательна; жаль только, что имеют руки и ноги несколько грубые. Не верю обвинению в лени и беспечности, которым обижают датчан: поля их обработаны прекрасно; опрятные дома и довольно обширные сады поселян показывают трудолюбие. Публичных увеселений для знатных людей немного, а в теперешнее время года и совсем нет. Двор оставил город, театр закрыт, богатые люди разъехались по деревням, а в окрестностях Копенгагена трактиров очень мало. Но простые люди имеют гораздо более случаев забавляться. Мне удалось видеть один из народных праздников, достойный особенного внимания. Он начинается процессиею к Святому источнику, орошающему зверинец, который целые три недели служит сборным местом веселящемуся народу. Богатые и чиновные люди съезжаются сюда любоваться на многочисленное, разнообразное собрание. Обширная площадь зверинца усеяна множеством разноцветных палаток, где продаются напитки и кушанья. Здесь видишь лубочные сараи, в которых отличаются своим искусством волтижеры<sup>22</sup> и прыгуны; там показывают великанов, карликов и уродов; там карусель на деревянных конях, лодках, одноколках; в другом месте райки, русские качели, кукольная комедия и тому подобное, но самое привлекательное зрелище представляет разнообразная толпа веселых людей и смесь национальных костюмов, собранных в одно место из всех провинций Дании; страннее других одеваются крестьянки острова Амака, проходящие нарядом своим на наших оперных фурий<sup>23</sup>. Удивительно, что при таком многолюдном стечении народа не было приметно ни малейшего неустройства и не случилось ни одной ссоры; всякий хотел забавляться, не мешая веселости и других.

Можно сказать вообще, что благоденствие датского королевства и довольство его обитателей проистекают из духа правления. Здесь состояния смешаны так же мало, как и в других землях, но простолудин об этом и не думает: он не желает иметь короткого сношения с знатными или богатыми, требует от них некоторого справедливого уважения и, еще более, защиты; для него нужна та личная безопасность, которою пользуются и богатые, и знатные. Таково положение вещей в Дании! Правительство и министры доказывают ежедневно, что благо отечества для них всего драгоценнее. Все знают, с какою неусыпною они трудятся, как мало важны их доходы в отношении к отпра-

ляемой ими должности, и народ видит в них своих благотворителей, жертвующих его счастью личными выгодами, не лихоимцев, которые думают только о собственном обогащении; купец признается, что он ни в каком государстве не мог бы отправлять своего торгова так свободно и быть столь безопасным от пагубных, всегда неожиданных запрещений, которые так часто уничтожают его расчеты; земледелец почитает себя истинно счастливым, наслаждаясь спокойно плодами трудов своих; везде открыты способы пропитания простолюдину: здесь всякая отрасль промышленности, в иных землях ограниченной и стесненной, может быть обработана беспрепятственно. В то время, как многие богатейшие купцы в Европе объявили себя банкротами, и самые знатные торговые дома в Копенгагене приведены были в великое замешательство, но деятельные способы правительства спасли их от совершенного разорения. В несколько дней составилась комитет для изготовления облигаций; правительство подтвердило их, а по некоторой части дало свое поручительство. Облигации получили полное достоинство; комитет раздал их купцам, имевшим нужду в деньгах, взявши у них под заклад товары; всякий принимал сии бумаги охотно, потому что они приносили три с половиной процента прибыли. Купечество избавлено от разорения, и теперь самые облигации все до одной уже выкуплены. Весьма естественно, что такое правительство должно быть любимо. Фридрих III<sup>24</sup> был признан неограниченным монархом; его преемники получили в наследство самовластие, но можно подумать, что это сделано единственно для того, чтоб датские короли могли без всякого препятствия действовать для благо своих народов.

Количество бумажных денег в Дании чрезвычайно; удивительно то, что их кредит нимало не падает, хотя эти деньги ничем не обеспечены — новое доказательство доверенности народа к правительству; новое доказательство, что благоденствие нации, основанное на благоразумной системе нейтралитета, возвышается беспрестанно... Да сохранит ее Небо от бедственной необходимости нарушить сию полезную систему! На содержание флота и на торговлю определена большая сумма, зато на фабрики очень малая, но земледелие процветает, и вы нигде почти не увидите жалких поденщиков, теряющих для продолжения бедственной жизни здоровье и силу за мануфактурными работами, а в случае упразднения фабрик принужденных умирать голодною смертию. Не буду опровергать той полезной системы, которая споспешествует рукоделиям и возвышает благоденствие государственное, доставляя средства заменять огромные суммы, беспрестанно выходящие за границу на многие важные или сделавшиеся важными потребности — но я не могу одобрить чрезмерного размножения мануфактур и фабрик,

которые не соответствуют обстоятельствам местным и которых изделия в сравнении с иностранными и дороги, и худы. По моему мнению, гораздо полезнее употреблять поглощаемые ими капиталы на другие промыслы, именно на приведение к большему совершенству земледелия или на обрабатывание произведений собственных. В Копенгагене очень много сахарных заводов; в Зеланде<sup>25</sup> и Фионии<sup>26</sup> находится изрядное количество бумажных, суконных и других мануфактур; фарфоровая фабрика в Копенгагене прекрасна, хотя не из лучших в Европе, и ее произведения довольно дороги.

Королевская библиотека в Копенгагене почитается одною из самых огромных; она заключает в себе огромное количество рукописей, которые отменно хорошо сбережены; между ими надобно заметить Эдду, писанную в двенадцатом столетии<sup>27</sup>. Я видел богатое издание Горация и Вергилия, но не видал Тита Ливия, о котором говорит Катто в своем «Путешествии в Данию»; зато показывали мне арабские манускрипты (я не могу судить о них, не зная сего языка), Пиранезия<sup>28</sup>, Гамильтона, Флорентийский музей<sup>29</sup>, Рафаэлевы ложи<sup>30</sup>, полное собрание живописных путешествий, Шекспира *in folio*<sup>31</sup>, с картинами, превосходное Бодониево издание классических писателей, Саллюстия, изданного испанским принцем Габриэлем, и множество других книг, напечатанных со всею типографическою роскошью. Еще заметил я прекрасное издание Грамоновых записок *in quarto*<sup>32</sup>, с картинами удивительной гравировки. Всеми находящимися в этой библиотеке книгами можно пользоваться в назначенной для чтения комнате и сверх того позволено брать их на дом. Правительство не щадит издержек на их приумножение. Недавно куплены им библиотеки графа Тотта и г-на Сума; сверх того на покупку новых отборных книг ежегодно выдается большая сумма.

Королевский минеральный кабинет также весьма любопытен. В нем есть серебряные штуфы из Конгсберга, что в Норвегии, удивительной величины и красоты необыкновенной; прекрасные кристаллизации — серные и самородного серебра; ставролиты, якинфы, хризолиты, турмалины и редкие zeолиты, между которыми один, кристаллизованный волосообразно, приводит в удивление своею огромностию и красотю. Теперь намерены учредить настоящий национальный Музей — желательно, чтобы это исполнилось: множество прекрасных вещей, по недостатку места, спрятаны в кладовых и ящиках. Я видел и кабинет раковин, но только мимоходом, будучи совершенно несведущим по этой части. Кунсткамера и собрание картин показались мне мало важными, но я, не будучи знатоком, легко могу ошибиться.

Весь остров Зеланд, то есть от Копенгагена до Корсёра<sup>33</sup>, лежащего на мысу большого Бельта<sup>34</sup>, проехал я в 14 часов, из которых два упо-

требил еще на обозрение в Роескильде<sup>35</sup> Соборной церкви и находящихся в ней королевских гробниц: многие из них великолепны, но запах, чувствуемый в церкви от множества погребенных тел, несносен. Большое количество княжеских гробов, окруженных железными решетками, выставлены на солнце; и я не понимаю, как могут богомольщики сносить такой заразительный воздух; однако не слышно, чтоб в Роескильде умирало людей более, нежели в другом месте. Город весьма древен; некогда был он красив и многолюден, но и теперь еще, подобно другим датским городам, и чист, и привлекателен. Почтовое учреждение в Дании нравится каждому. Станционные смотрители весьма услужливы; постильоны опрятны и негрубы. Здесь заботятся не только о том, чтобы проезжий исправно платил прогоны, но вместе и о том, чтобы нигде он не был задержан, получал лошадей в назначенное время и не встречал никаких неприятностей. Всякий постильон, привезши путешественника на станцию, получает от него свидетельство, что он хорошо исполнил свою должность и вез его исправно: этот закон наблюдается так строго, что постильоны хлопочут более о своих свидетельствах, нежели о том, чтобы им дали несколько денег на водку.

В Корсёре прибыли мы два дни. Из Корсёра в Нибург, что в Фионии<sup>36</sup>, переезжают через большой Бельт (не более 4-х миль), но время, употребляемое на проезд, различно: иногда потребно только 2 часа, иногда 24, а иногда 48: это зависит от погоды. Перевозные суда содержат одно Нибургское общество на откуп: у самого Нибурга стоит их 5, в Корсёре 3 — они в беспрестанном движении. На половине пути находится островок Шпрегее с телеграфом, через который Фиония сообщается с Зеландом. При отъезде своем из Корсёра заказали мы посредством телеграфа хороший обед в Нибурге и велели приготовить для себя лошадей на почте.

*С немецкого\*\**

## О СКУПОСТИ

Милорд Вортлей Монтегю, бывший посланником в Константинополе, человек умный, с талантами и сведениями, умножил свое богатство расчетливою бережливостью, которая наконец обратилась в совершенную скупость.

Он имел во владении обширные поместья, и первая мысль его всегда была сохранить их в целости для своих потомков. Сын его, великий чудак<sup>1</sup>, который в молодости бежал из университета для того, чтоб сделаться — трубочистом, а в совершенных летах, оставя отечество,

надел чалму и записался в магометане, превзошел расточительностью свою скупость отца и нажил более ста тысяч фунтов стерлингов долгу. Милорд, опасаясь, чтоб все прекрасные планы его, в рассуждении целости земель, не были уничтожены, лишил безрассудного сына своего наследства, хотя любил его очень нежно.

Скупость его была некоторым образом приведена в политическую систему. Он только тогда принимал живое участие в делах государственных, когда имел надежду увеличить доброту и цену своих владений; будучи парламентским членом, он требовал настоятельно учреждения национальной милиции, которая казалась ему силою благодетельною, необходимою для сбережения помещичьих земель от хищничества и незапного нападения неприятелей.

Его духовная представляет нам с этой стороны превосходный образец тонкости. Лишив наследства сына, укрепляет он все принадлежавшие ему поместья графине Бют, своей дочери, но с тем, чтобы они достались не старшему, а среднему ее сыну. Какое ж имел он намерение? Хотел, чтобы наследники его, милорд и милади Бют, принуждены были, для приведения в равновесие фортуны старшего сына своего с фортуною младшего, откладывать некоторую часть из годового дохода и, следовательно, могли бы привести в лучшее состояние свои поместья. Известно, что он не мог смотреть прямо в глаза тому из сыновей милорда Бюта<sup>2</sup>, которого назначил по себе наследником.

Сколько размышлений представляют уму сии тонкие расчеты безрассудной страсти! Например, чрезмерное беспокойство какого-нибудь Гарпагона об участи своих поместьев в то время, когда и памяти его не останется в потомстве, не объясняет ли в наших глазах чрезмерной привязанности к славе, которая сама по себе есть чувство более естественное? Кто не уважает человеческого мнения? И удовольствия, доставляемые нам воображением, ужели менее существенны тех удовольствий, которые доставляют нам чувства? Потомки и люди, отделенные от нас большим пространством — одно и то же: хорошее мнение тех и других должно иметь в глазах наших одинакую цену.

Тем моралистам, которые почитают пружиною всех наших действий какую-нибудь пользу, близкую или отдаленную, совсем неизвестно человеческое сердце. Не будучи намерены разрешать сей трудной задачи, мы ограничим себя одним феноменом скупости. Желание иметь некоторые преимущества в жизни произвело в нас привязанность к деньгам; после мы полюбили деньги единственно для того, что они — деньги; наконец, для сбережения денег начали отказывать себе в тех самых наслаждениях, которые одни придают им в глазах наших

истинную цену. Первый охотник искал дичины; теперь охотник любит одну охоту и совсем не заботится о дичине.

Скупость, по моему мнению, совсем не естественна дикому: она, как и другие страсти, произведена общежитием, неразлучна с заботами о будущем, которых не знает дикарь: он ищет одних наслаждений настоящих; за бутылку вина продает свою постель, не думая о том, что она понадобится ему завтра.

Вот любопытная черта скупости: милорд Бют, великий скупец, будучи на одре смерти, велел позвать к себе генерала Пюльтнея, своего брата, истинного Гарпагона; подал ему ключи от своих сундуков и начал вычислять перед ним свои сокровища. «Не можешь ли ты, — сказал ему генерал, — отдать своих ключей и сундуков кому-нибудь другому? Я стар, болен и не имею нужды в твоём богатстве». «Я старше тебя, — отвечал милорд, — болен, при смерти и еще менее имею нужды в богатстве».

Эта страсть весьма разнообразна в своих причинах и действиях. Есть много скупых по привычке, а не по страсти: они собирают червонцы, как все любители древностей медали. Случай или каприз вселил им в голову эту охоту; навык сделал ее приятною; наконец она обратилась в *важнейшее* дело жизни.

По словам Дюкло<sup>3</sup> — *скупость, из всех страстей, самая низкая, не есть еще самая несчастная*. Многие утверждают то же; но это мнение противно опыту всех времен и всех народов. Латинское слово *miser* (жалкий) означало у римлян скупого; оно сохранилось у англичан и отвечает итальянскому *miserero*.

*Бедный* — говорит Сенека<sup>4</sup> — *терпит недостаток во многом, скупец во всем*. Будучи бесполезен для других и в тягость самому себе, он может сделать одно только доброе дело — умереть! Скупец, говорит Шарон<sup>5</sup>, несчастнее нищего, так точно, как ревнивый муж несчастнее — рогосца. По словам Квеведо<sup>6</sup>, скупец есть человек, знающий, в котором месте зарыто сокровище.

Скупец, подобно набожному, может находить в своих пожертвованиях некоторое удовольствие, но ему, как и всем, должно быть неприятно сидеть в нетопленной комнате зимою или отказывать себе в бульоне, когда он болен; скупой охотно согласился бы иметь и теплую комнату, и здоровую пищу, и хорошее платье, когда бы они — не стоили денег.

Что такое скупость? Произвольная нищета, соединенная с заботами и презрением.



Всякая страсть, неразлучная с робостью, низка и несчастна, а скупость еще отвратительнее: она умерщвляет в нас самые благородные и человеколюбивые склонности.

Хотите ли назначить ту степень, которую скупость должна занимать между другими пороками? Она единственный порок, несовместимый с великостью, благотворительностью, великодушием, человеколюбием, доверенностью и откровенностью, с прямою любовью и прямою дружбою, с нежностью родительскою и привязанностью сыновнею. Какая же добродетель останется для скупого; какое счастье для человека, не способного иметь ни одной добродетели?

Были знаменитые злодеи, но я не знаю, бывал ли хотя один скупец человеком знаменитым — это мнение госпожи Ламбер<sup>7</sup> опровергается примером Мальборуга<sup>8</sup>, привязанного к славе, но еще более привязанного к богатству. Сей *знаменитый* полководец не стыдился никакой низости для удовлетворения презренной своей страсти. Один человек, имея нужду в покровительстве Мальборуга для получения некоторого прибыльного места, осмелился ему сказать: «Милорд, вот тысяча гиней, которые оставляю на ваше распоряжение; с своей стороны, обещаюсь быть скромным». «Дай две тысячи, — отвечал герцог, — и позволяю тебе рассказывать об этом кому угодно».

Накануне Гохштетской победы, принц Евгений<sup>9</sup> пришел к нему в палатку и целый вечер рассуждал с ним о плане сражения. По выходе принца Мальборуг кликнул своего камердинера и сделал ему жестокий выговор за то, что он зажег четыре свечи, когда довольно было и двух.

Скупость Мальборуга вошла в пословицу. Лорд Петербург<sup>10</sup>, один из самых храбрых и самых великодушных людей на свете, встретился на улице с нищим, который, прося у него подаяния, называл его милордом Мальборугом. — «Я Мальборуг? В доказательство, что ты ошибся, даю тебе гиней».

Вот другая странность: я знал в своей молодости человека, в котором скупость соединена была со всеми общественными и семейственными добродетелями. Он был хороший господин, супруг, отец и даже хороший друг; находясь при должности, исполнял ее благоразумно и с самою строгою справедливостью; будучи бережлив в самых мелочах относительно к самому себе, любил, чтобы жена его одевалась прилично своему состоянию; не жалел ничего необходимого для образования своих детей — сына и дочери — но в этом *необходимом* соблюдал самую верную определенность и точность. В тридцать лет не прибавил он ни копейки к той сумме, которую обязаны были ему платить откупщики за наем принадлежавшей ему земли, хотя все цены земель удвоились в течение этого времени, но требовал, чтобы они приносили ему

плату в назначенный день и час, и в случае неустойки отнимал у них без всякой милости аренду.

Он охотно давал займы деньги, если должник был верен, и никогда не соглашался брать более четырех процентов, несмотря на то, что законом назначено было пять. Если капитал мой не пропадет, говорил он, то я доволен и четырью; земля приносит мне гораздо менее доходу.

Одному из коротких его друзей, не очень расчетливому в делах своих человеку, понадобилось на самую крайнюю нужду 6000 ливров; он приходит к своему другу и просит денег. *«Я знаю твою расточительность, — отвечает скупой, — и совесть будет меня мучить, если отдам тебе деньги, приготовленные на приданое моей дочери»*. «Вот бриллиантовая нитка, — говорит ему друг, — жена позволила мне ее заложить, но ростовщик, у которого я просил денег, хочет, чтобы я платил по одному с половиною процентов в месяц — это ужасно!» — *«Оставь у меня свои бриллианты, — сказал скупой, — и возьми 6000 ливров без процентов. Теперь не могу опасаться, чтоб мои деньги пропали; и так как эта сумма лежала бы у меня в сундуке без всякого употребления, то было бы несправедливо думать о выгоде, когда могу услужить своему другу без всякого для себя наклада»*.

Я знал одного банкира, богача, пышного и чрезмерно скупого; он обыкновенно ходил в шитом кафтане; на каждом пальце имел по три перстня, и — по вечерам горели у него сальные огарки. Один раз в год давал он великолепный пир своим знакомым и в остальное время — довольствовался двумя блюдами, очень дурно изготовленными. Он имел правилом не проживать более половины годового дохода, но если случалось, что месячные издержки его, по какой-нибудь прихоти, превосходили назначенную сумму, обращался он с своею шкатулкой как с жидом, отдавал ей под заклад перстень, золотую табакерку и тому подобное; занимал у самого себя нужные деньги по десяти процентов на сто и в назначенный срок вносил непременно и капитал, и проценты.

Граф Плело<sup>11</sup>, молодой человек, отменно любезный и умный, проиграв большую сумму денег на честное слово, принужден был прибегнуть к своему дяде, который, несмотря на свою чрезмерную скупость, любил его очень нежно. Тронутый отчаянием своего племянника, скупец согласился ему помочь. Через несколько месяцев молодой граф приносит деньги. Дядя рассердился. «Безрассудный! — сказал он. — Зачем напоминаешь мне о моей глупости? Я позабыл об ней! Если опять отважишься сказать мне хотя одно слово об этих деньгах, то мы расстанемся навеки». Надобно признаться, что это — совсем необыкновенная черта скупости.

Какое выведем следствие из сих замечаний, по-видимому, несогласных, одно другое опровергающих? Не то ли, что свойство человеческого сердца есть гибкость; что нет ни одного чувства, которое не могло бы в нем иметь места и быть в согласии с другими, самыми разнородными и ему противными?

*Сюаф*

## ПАЛЬМЕР

Пальмер, один из славных английских актеров, лишился в одно время и супруги, в которой находил свое счастье, и сына, прекрасного юноши, редких дарований, достойного любви по своему привлекательному характеру. Пальмер, пораженный своею потерею, впал в глубокую меланхолию, которой ничто не могло рассеять — ни утешения друзей, ни занятия, ни светские удовольствия. Несмотря на то, продолжал он играть на театре, брал иногда комические роли и веселил зрителей своею забавною игрою, тогда как внутренне душа его страдала.

Августа 2-го 1795 года<sup>1</sup> явился он на театр в роли Мейнау — главная в драме «Ненависть к людям и раскаяние»<sup>2</sup> — в первых сценах играл спокойно, входил в характер представляемого им лица; старался соглашаться с ним и движения свои, и голос, но в третьем акте, вышед на сцену, казался в сильном волнении; и в ту минуту, когда майор фон дер Горст спросил у него: «А дети твой?», мысль о последней минуте потерянного сына так живо представилась его душе, что он упал на землю, тяжело вздохнул и кончил жизнь.

Сначала зрители думали, что это сделано нарочно, дабы выразительнее представить горесть, но когда понесли Пальмера мертвого с театра, то общее удивление превратилось в совершенный ужас. За кулисами раздавались горестные восклицания актрис и слышны были жалобы друзей Пальмеровых. Директор театра Эйкин вышел на сцену, хотел говорить, но залился слезами и не мог сказать ни слова; актер Инкледон, заступив на его место, уведомил зрителей о случившемся. Последнее произнесенные Пальмером слова были:

There is another and a better world!

*Есть другой, есть лучший мир!*<sup>3</sup>

Они вырезаны на гробнице его в Вартоне.

Пальмер умер 57 лет; после него осталось много долгов и многочисленное бедное семейство, на пользу которого представлено было несколько театральных пьес в Лондоне и других городах Англии. В Ливерпуле, при

одном из таких представлений, актер Гольман читал трогательный пролог, написанный известным историком Роское; он заключил его последними словами Пальмера: *есть другой, есть лучший мир!*

Лади Дерби, которая играла с Пальмером на одном театре, дала от себя 5 фунтов стерлингов, а в лондонском бенефисе собрано более 700.

Пальмеров брат<sup>4</sup> хотел говорить в честь знаменитого актера похвальную речь, сочиненную Кольмаром, но при первом слове занялся у него дух, он опустил голову и закрыл обеими руками лицо. Такое горестное, выразительное молчание было трогательнее самого красноречивого панегирика: публика изъявила свою чувствительность громкими рукоплесканиями.

*С немецкого*

## ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ В СТРАЗБУРГЕ

Фридрих, вступив на престол, хотел видеть Париж. Под предлогом осмотра войск, находившихся в Вестфалии, оставляет он Берлин и едет инкогнито в Стразбург. В свите его, между прочим, находились граф Вартенслебен и молодой паж, известный ныне генерал Меллендорф. Все были одеты очень просто; лакеи без ливрей; никто не мог вообразить, чтоб маленький человек, в сером фраке, был Фридрих, король прусской. Остановившись в трактире С. Духа, велел он трактирщице приготовить хороший ужин и, если можно, пригласить несколько французских полковников. Трактирщица логически доказывала ему, что с офицерами, особливо с полковниками французскими, нельзя обходиться так вольно. Фридрих упрямылся, шумел; трактирщица принуждена была повиноваться, пошла в военный кофейный дом — искать полковников; по счастью, некоторых нашла и объявила им странное требование своего гостя. Прихотливость *немецкого барона* показалась забавною; смеялись; заключили, что он чужак, которого любопытно узнать, и трое дали обещание ужинать в трактире. В назначенный час они являются; находят, к великому удивлению своему, что *немецкий барон* любезен и чрезвычайно остроумен; садятся за стол, начинают рассуждать о французской военной службе; господин барон говорит как режет! Одно выражение, довольно колкое, не полюбилось молодому полковнику Н\*\*, пылкому и отменно умному, который сидел против короля: он сам отвечал колкостию; барон разгорячился; полковник также; начался жаркий спор, едкие остроты сыпались; наконец дошло до того, что вспльчивый француз готов был швырнуть в барона бутылкою, а товарищ Фридриха закричал: *это король прусский!* Но другой француз,

сидевший рядом с королем, начал мигать своему товарищу, старался остановить его выразительными знаками, хмурился, кивал головою: спорщик сделался неподвижен, потупил глаза и замолчал. Барон успокоился, переменял материю, по-прежнему сделался мил и забавен. Встав из-за стола, полковник Н\*\* спросил у товарища своего, что хотел он сказать ему своими знаками? — «Бьюсь об заклад, — отвечал последний, — что этот барон какой-нибудь переодетый принц. Заметил ли ты у него за стулом молодого человека? Он никому, кроме барона, не служит; я хотел отдать ему тарелку, но он ее не принял, а сказал другому слуге: возьми у г. полковника тарелку и подай ему другую. Это меня удивило; я начал за ним замечать. Стали хвалить рейнвейн; так называемому барону хотелось его отведать: молодой человек кинулся, принес бутылку и стакан; я также хотел выпить рюмку; молодой человек опять сказал слуге: подай рейнвейну господину полковнику. Одним словом, я уверен, что этот мальчик — паж, а путешественник — какой-нибудь принц или тому подобное. Теперь понимаешь, для чего я тебе мигал, когда ты спорил; я опасался, чтобы твоя вспыльчивость не приключила тебе чего-нибудь неприятного!» — Барон, прощаясь с гостями своими, очень ласково пожал руку полковника Н\*\*, и они расстались друзьями.

Между тем один французский гренадир, который видел барона, когда он выходил из кареты, и узнал в нем прусского короля, донес об этом открытии своему капитану. Капитан велел ему молчать и побежал к маршалу Бр....о, стразбургскому губернатору, которому объявил о том, что слышал. Маршал просил его хранить тайну, пригласил барона с товарищами его к себе обедать; между тем приказал явиться к себе гренадиру, у которого спросил:

— Уверен ли ты, что этот барон точно король прусский?

— Совершенно уверен, — отвечал гренадир, — я недавно дезертировал из прусской службы, находясь в гвардии, которой обыкновенные квартиры в Потсдаме, и всякий день имел случай видеть короля на вахт-параде. Он очень часто сам учил наш полк, иногда сам меня поправлял; короче, я готов присягнуть, что это он, Фридрих, король прусский!

— Слушай, — сказал маршал, — если ты меня обманул, то будешь сидеть в тюрьме; если ж нет, то получишь луидор. Он нынче у меня обедает, и приму его в этой комнате. Ты должен войти в мой кабинет и можешь видеть его сквозь эту стеклянную дверь; рассмотри его прилежнее; я выйду к тебе из-за стола и узнаю от тебя, ошибся ли ты или нет; пооди!

Король приезжает, садятся за стол; приходит слуга, шепчет на ухо маршалу; он встает, просит позволения на минуту отлучиться и

идет к гренадиру, который подтверждает сказанные им слова, получает обещанный луидор и уходит. Возвращение маршала в залу было очень кстати: говорили о такой материи, которая не нравилась барону, именно о Дворе Ганноверском. Графиня Бр....о, супруга маршала, не знавшая тайны, рассказывала о своей молодости, которую провела при этом дворе, вместе с своим отцом, бывшим французским министром в Ганновере, и называла Фридрихову мать женщиною гордою. Король защищал ее и спорил; в это время возвратился маршал, и разговор переменяли. Фридриху предлагают посетить театр; он соглашается, говоря, что будет иметь удовольствие проводить туда графиню. После стола маршал, разговаривая с королем, имел неосторожность сказать: *Sire!... Monsieur le Baron!...* (Ваше Величество!.. Барон!). Никто не вслушался, но слова сии произвели свое действие: король оскорбился! И долго спустя, не мог он рассказывать без досады об этом случае. «Маршал глупец! — говорил он. — Ему бы надобно было или не открывать моей тайны, или отдать мне все почести, приличные королю!» Несмотря на то, поехал он с графинею в театр, пробыл там недолго и, сказав, что имеет важные дела, возвратился в свой трактир, где подали ему письма от прусского министра, находившегося в Париже. По-видимому, заключалось в них что-нибудь важное: Фридрих принужден был отложить свое путешествие и на другой же день выехал из Стразбурга.

*С немецкого*

## ОТРЫВОК НАДГРОБНОЙ РЕЧИ

Английский доктор Ровландгиль, потеряв любимого своего слугу, сам в присутствии множества слушателей говорил ему надгробную речь, в которой заключается следующее, достойное замечания место:

«Многие из слушателей моих, знавшие коротко покойника, имели случай познакомиться с его характером и были свидетелями порядочной его жизни. Никто из них не обвинит меня в неправде, когда в уважение памяти его скажу, что он был честен, благоразумен, тих, истинный христианин и что, наконец, почитал священным долгом служить мне ревностно и верно. Но кто из вас, почтенные слушатели, не удивится, когда я прибавлю, что этот честный, прямодушный, богобоязненный человек был — разбойник?

Будет около тридцати лет, как мы встретились с ним в первый раз на большой дороге, в густоте леса; он остановил мою лошадь и требовал от меня кошелька. Я не потерял присутствия духа, вступил с ним в разговор и желал узнать, какие обстоятельства принудили его приняться за такое ремесло, которое со временем могло привести его к петле?

— Ах, государь мой! — отвечал он. — Я служил камердинером у одного доброго господина, который убит параличом, умер скоропостижно и не оставил мне аттестата; с тех пор шатаюсь по свету, не имею места и принужден разбойничать!

Я велел ему прийти ко мне в Лондон; он дал мне слово, которое верно исполнил. Мы познакомились короче, я принял его к себе в дом; с той самой минуты служил он мне честно, с удивительным усердием и умер как добрый христианин, утешая себя надеждою на будущую жизнь, и с твердым установлением на милосердие Создателя! Но, слушатели, подумайте... что если бы случай или, лучше сказать, Провидение не привело его ко мне навстречу? Он продолжал бы отправлять ужасное разбойническое ремесло, кончил бы жизнь свою с ожесточенною душою, может быть, от руки палача, может быть, навсегда погибнул бы для вечности!»

Кому удивляться более, читатели: господину, или слуге? Первый подобен Александру, который принял лекарство из рук своего лекаря, обвиненного в заговоре на жизнь его; Августу, который предложил свою дружбу возмутителю Цинне; он превзошел и того, и другого, соединив в душе своей и великодушие, и доверенность, которые, в продолжение тридцати лет, не изменились ни одного разу. Последний доказывает, что кротость и надежда на исправление преступника живее действуют на его сердце, нежели строгость и наказание.

*С немецкого*

## ШТОКГОЛЬМ

Мало городов в Европе, которых положение было бы так живописно и вместе так выгодно для торговли, как положение Штокгольма. Зрелище, представляемое сим городом с моря, великолепно: громада церквей, зданий, утесов; озера, каналы, деревья и между ими величественный Королевский Дворец<sup>1</sup> — словом, картина волшебная! Взойдите на Северный мост<sup>2</sup>, чтобы насладиться ею в совершенстве; здесь вы увидите город во всем его пространстве, и Королевский замок своею величественною фасадю отделяется от всех других зданий; архитектура его самая простая и благородная; по крайней мере, не безобразят его сии ненужные, можно сказать, смешные украшения, которыми испещрен фасад бывшего Королевского замка в Копенгагене<sup>3</sup>, разрушенного ужасным пожаром. В правой стороне представляется глазам вашим обширный амфитеатр холмов, усеянных увеселительными замками, садами, высокими соснами; тут же посреди чистого, спокойного

озера видите цветущий остров, украшенный летним Дворцом<sup>4</sup>, который приятно отражается в зеркальной поверхности вод. Неподалеку от острова находится прекрасный замок графа да Брюжа, место Дворянского клуба, называемого здесь *Благородным Собранием*<sup>5</sup>. Далее к востоку видите остров Блазий<sup>6</sup> и деревянный мост, соединяющий его с городом; влеве представляется вам Театр, и на север от Театра Нордемельн, или Северная площадь, украшенная статуею Густава Адольфа<sup>7</sup>: этот памятник бронзовый и вызолочен. Самые великолепные здания на этой площади суть: Дворец Королевской Принцессы<sup>8</sup> и Оперный дом<sup>9</sup>. Глаза ваши, изумленные сим привлекательным зрелищем, с трудом могут обнять его, и шум воды, стремящейся между арками Северного моста, придает ему какую-то особенную дикость: вы забываетесь, в душе вашей неизъяснимо приятное волнение!

Зимою зрелище переменяется: все промежутки воды, которыми в летнее время разделены разные части города, скрываются под гладкою поверхностью льда; острова исчезают, вы видите одну обширную снежную равнину; сани, кареты, фаэтоны мчатся по ней в разных направлениях, перегоняют одни других, встречаются, мелькают между кораблями и шлюпками, которые стоят недвижимо, скованные оледневшими водами. Вы уже не видите перед собою величественных кораблей, которые колеблются под бременем парусов, надуваемых ветром; не видите ни яхт, ни барок, ни легких челноков, рассекающих прозрачные воды каналов; бесчисленная толпа народа мчится перед вами на быстрых коньках, летит стрелою по ровному льду, мелькает как птица, исчезает как молния и быстрыми оборотами, поминутно являясь и пропадая, веселит взоры, которые ловят ее, преследуют и теряют. Воды, орошающие Королевские конюшни<sup>10</sup> и с шумом бегущие под своды Северного моста, не замерзают никогда, кипят, дымятся, и пар их, озаренный сиянием солнца, представляет глазам радужный дождь, который легко можете почесть очарованием какой-нибудь феи.

*Ачерби*

## О РИМЕ И ДРЕВНЕМ ЛАЦИУМЕ

(COMPAGNA DI ROMA<sup>1</sup>)

Все то, что в изданном недавно путешествии<sup>(\*)</sup> сказано о древнем Лациуме, которого имя, быть может, скоро впишется в роспись новых

---

(\*) Voyage dans le Latinum par Charles de Bonstetten. Geneve, 1805.



королевств Европы, заслуживает теперь нового внимания любопытного. Путешественник Бонстеттен<sup>2</sup> описывает его следующим образом:

*Малолюдство*

Говоря о каком-нибудь городе, воображаешь улицы, строения, семейства; но в рассуждении Рима сии обыкновенные понятия будут несправедливы — здесь попадаются вам нередко обширные пустыни, на которых могли бы поместиться два-три города, и вы не видите ни одного обитаемого дома, не встречаете ни одного человеческого образа; есть такая улица, в которой совсем нет домов: это не что иное, как две большие линии церковей или монашеских обитателей, большую частью оставленных.

Давно уже умирает в Риме более, нежели рождается. С 1756 года число рождающихся не возрастало, но число умирающих увеличилось до чрезвычайности. Из 170 000 жителей — население ужасно малое в отношении к обширности города — погибло 20 000 в течение двух революционных лет (в 1798 и 1799); следующие разрушительные годы произвели опустошения несравненно ужаснейшие.

Окрестности Рима (пространство, заключающее в себе несколько более ста квадратных миль самой плодородной земли) почти необитаемы. Печальная пустыня, которая окружает город, начинается во внутренности самого Рима. Далее видишь одни развалившиеся церкви, пустые монастыри, падшие и падающие стены, кое-где сенные сараи, уединенные сады и виноградники.

Перед воротами Святого Павла<sup>3</sup> сама натура кажется немою и мертвою. Случится ли вам встретиться в этих местах с человеком: берегитесь! Это может быть убийца, который находит здесь убежище от казни. По большой дороге, до самой Остии, в окрестности довольно обширной, попадется вам только две гостиницы, заразительные и нечистые, где нет ни комнат, ни конюшни, где не найдете ни вина, ни мяса, ни овса, ни сена; где редко дадут вам кусок хлеба, доставляемого сюда обыкновенно из Рима. Таково нынешнее состояние тех мест, в которых за 14 веков представлялось глазам гораздо более великолепных зданий, нежели в целом известном тогда свете. Остаток пятидесяти трех народов, населявших некогда Лациум, теперь уместится в одном доме, и притом очень покойно.

*Землепашество*

Новый Лациум состоит из больших поместьев, из которых многие, несмотря на обширность их, обыкновенно принадлежат одному

владельцу<sup>(\*)</sup>, и все сии владельцы, вообще полагая славу свою не в удобрении, а в пространстве и количестве земель, не заботятся о землепашестве, а раздают поля свои наемщикам.

Наемщики или откупщики, которых единственный предмет — собственная выгода, не заботясь о сохранении чужого имущества, нападают подобно разбойникам на откупаемые ими земли; пускают на них множество поденщиков, большею частию иностранцев, рубят леса без всякой пощады, изнуряют поля, вместо того чтобы их возделывать, потом удаляются обремененные добычею и торжествуют, оставив за собою тощую землю, означив ужасными разорениями следы свои.

Со всем тем, в безлюдном, опустелом Лациуме, у тех немногих жителей, которые попадают кое-где в бедных селениях, найдете вы гостеприимство, бескорыстие и добродушие, напоминающие о древних веках или еще и ныне таящихся на отдаленных вершинах Альпов.

Римские поселяне, весьма умные от природы, но не имеющие никакого просвещения, сохранили грубые свои обычаи и долго еще сохраняют их, не желая приобретать познаний и не имея возможности образоваться.

Прочие полевые работники суть иностранцы или преступники, бежавшие из Рима и принужденные работою рук своих спасать себя от голодной смерти.

#### *Дух народный*

Новый Рим, утратив свой прежний величественный блеск, не изменился в других отношениях: над головою вашею прежнее небо, в глазах ваших прежнее море; Эней, Сципион и Плиний<sup>5</sup> восходили некогда на те же самые холмы и горы, на которых и вы блуждаете в сию минуту, окруженные воспоминаниями.

Такова и моральная натура обитателей Рима. Что ни сделала судьба времен для того, чтобы унижить и привести в упадок их гений, в основании своем он тот же и вечно останется неизменным.

В новом Лациуме находится множество лесов, попорченных или страшно опустошенных; срубленные, ободранные, сломанные деревья, гнилые пни, дикий и сухой кустарник, растоптанные отпрыски: таково сие печальное зрелище! Но уцелевшее дерево, которое пощадил топор, которого не коснулось разрушение, цветет величественно и пленяет вас своею красотою, своею тенистою великолепною сению. Такой лес может почестся эмблемою италийского народа: жребий его —

---

\* Например, князь Боргезе владеет один 78-ми<sup>4</sup>.

печальное утеснение; но при первых благоприятных обстоятельствах, при первом счастливом повороте фортуны он возникнет и, может быть, возвысится над всеми другими народами Европы.

### *Римское правление*

Законы покровительствуют в Риме самые гнусные злодеяния. Преступник пользуется здесь многими священными привилегиями; прибежище его — алтарь и Божий храм; исповедь и причастие Божиих Тайн избавляют его от всех угрызений совести. Обширные пустыни Остии, прежде цветущие обители богов и героев, теперь не иное что, как страшный вертеп ужасных убийц, извергов человечества и природы.

Злодеи, которые в 1797 умертвили публично французского генерала Дюфота<sup>6</sup>, восклицали, подняв окровавленные ножи свои к небу: *eviva la santa Religione e'l santissimo Padre!* (слава Христу и Святейшему Папе!), и все они были избавлены от казни.

Однако в 18 месяцев революционного правления не слышно было здесь ни одного убийства. Обыкновенная и столь ужасная запальчивость римлян, в минуту самого неистового разврата и даже в пьянстве, укрощалась при одном наименовании г-на Спинелли, бывшего тогда полицмейстера в Риме. *Se non fosse Spinelli!*<sup>7</sup> — восклицали бандиты и поспешно прятали стилеты свои в карманы.

Римское правительство так же, как все правительства Европы, одушевлено любовью к общественному благу; но тысяча причин препятствуют ему успевать в своих действиях наряду с другими просвещенными нациями. Оно основывает свое могущество на древних, закоренелых мнениях и постоянство сие вменяет себе в достоинство. Некоторая обманчивая наружная пышность и вечное спокойствие, которым оно наслаждалось, будучи ограждено своею беззащитностию, саном своего правителя и величием своего сената — вот все, что может назваться существенным его преимуществом. Но оно может исторгнуться из блестящего своего ничтожества: оно обладает всеми стихиями, которые необходимы для составления существа превосходного.

### *Владения Рима*

Римская держава потеряла уже лучшие свои провинции<sup>(\*)</sup>, а вместе с ними и большие доходы, и более миллиона жителей. Благоговейное

---

(\*) Писано в 1805 году; теперь обстоятельства переменялись: Рим есть провинция Империи французской. Увидим, что сделает новое правительство для блага

уважение к Верховному главе Церкви не защитило ее; военные силы ее ничтожны. Сия монархия, отторгнутая от древней системы своей, подобна теперь небесному телу, спутнику большой планеты, назначенному обращаться вокруг могущественной центральной силы. Но какое место ни назначает ей Провидение, удел ее мог бы быть достоин зависти, когда бы умели воспользоваться благодеяниями плодоносной ее земли и преимуществами благословенного ее климата. Теперь обладает она единым поносным бессмертием, тем более унижительным, что славное имя, которое оставила ей древность, неизгладимо в летописях мира.

*С немецкого \*\**

## МАРИЯ

(Отрывок из Артурова журнала)

Я праздновал свое рождение с некоторыми оксфордскими друзьями. Пили за мое здоровье, когда мне подали от батюшки письмо, в котором уведомлял он меня, что матушка занемогла отчаянною болезнию. Не медля ни минуты, беру почтовую карету и оставляю Оксфорд. Состояние мое во все продолжение дороги было неизъяснимо, приближаюсь к замку, не смею поднять глаз, боюсь увидеть траурный герб<sup>(\*)</sup> ... Увы! Этот ужасный предмет первый представился моему взору! Сердце мое стеснилось. Итак, мы навсегда разлучились, говорил я самому себе; напрасно буду ее призывать, напрасно буду надеяться, что взор ее встретится с моим, что милый голос ее отзовется в моей душе: она оставила меня навеки и никогда, никогда не возвратится!.. Карета остановилась; я побежал на лестницу, нетерпеливо желая увидеть батюшку; мне нужно было прижаться к его сердцу, почувствовать себя в его объятиях, услышать его голос... он сделался для меня драгоценнее! Вхожу в кабинет; он устремил на меня горестный, меланхолический взгляд; подал мне руку; я бросился на колени, приложил ее к сердцу, чувствовал, что она трепетала... О, никогда, никогда не забуду этой минуты, в которую увидел первую горесть отца моего! Целый вечер провели мы в разговоре о той, которую навсегда потеряли. Голос его дрожал, когда он описывал мне последнюю минуту ее жизни и повторял последние благословения моей матери! Но взоры его воспламенились, когда он

---

сей области, и как воспользуется теми драгоценными стихиями, которые, по словам путешественника, готовы здесь для образования существа превосходного. Ж.

(\*) В Англии, по смерти знатного господина, прибывают обыкновенно к воротам его дома фамильный герб с траурными украшениями.

начал говорить о милых качествах ее сердца, о том блаженстве, которым наслаждался он в течение всей ее жизни. Ах, если бы она могла слышать последние выражения любви его!

*11 июня.* Нынче, когда мы садились обедать, я содрогнулся невольно, взглянув на то место, которое матушка занимала обыкновенно за столом. Мне прискорбно было видеть на нем другого; я желал бы, чтобы привычки драгоценных нам людей не исчезали вместе с ними, но были, так сказать, хранимы нашим почтением к их памяти; я желал бы, чтоб милые следы их изглаживались постепенно; чтобы, не видя их перед собою, мы долго еще находили вокруг нас признаки минувшего бытия их. Не знаю, заметил ли батюшка мое чувство, но он отворотился и, сядя на прежнее место свое, сказал: «Мой друг, никто кроме жены твоей, не будет занимать места твоей матери; тогда уступлю тебе и свое; имение наше делается общим; ты не будешь наследником отца, ты будешь делиться с истинным своим другом; прежде смерти своей увижу тебя главою семейства и прежде смерти своей узнаю, каким счастьем назначено тебе наслаждаться в то время, когда меня не станет!»

Я слушал его с некоторым восхищением и клялся в душе никогда не забывать такой любви, такого единственного, несравненного добродушия.

*15 июня.* Нынче я встретил утро в поле, на том самом пригорке, с которого так часто смотрели мы на восходящее солнце вместе с матушкою. Душа моя наполнена была сладостным унынием. Каждое дерево, каждый куст напоминали мне о счастливых годах моего младенчества. Нежные заботы моей матери так неразлучны с началом моей жизни, что нет для меня ни одного воспоминания в прошедшем, с которым не сливался бы в душе моей незабвенный ее образ. Я и она, она и я: вот все, что представляется моему воображению, когда начинаю думать о прошедшем! О вы, нежные, сладкие чувства, которые всегда старалась она поселить во мне убедительными уроками любви: великодушное сострадание, человеколюбие, пожертвование самим собою, никогда, никогда не покидайте моего сердца, руководствуйте мне в жизни, дабы я мог угадывать и улаживать несчастье! Слезы благодарности и чувства, не иссыкайте никогда, но будьте сокрыты!.. Люди наименовали вас малодушием.

*24 июня.* Батюшка вчера не ужинал, и мы расстались рано. Я вышел в поле, бродил, задумавшись; излучистая река привела меня в прекрасный парк. Вхожу во внутренность рощи; луна ярко светила; никогда небо не казалось мне столь чистым и спокойным; воздух был растворен запахом цветов; я часто останавливался, вдыхал в себя приятное благовоние; смотрел на небо; душа моя наполнена была самою нежною, самою сладкою унылостью: ветерок приносил ко мне издали тихие

звуки: пели меланхолический романс; приближаюсь к хижине, в которой слышен был голос; прижавшись к дереву, неподвижный, покрытый сумраком дерев, не зная, в каком месте я находился, слышу одну гармонию милого голоса, который, казалось, летел с неба или должен был до него достигнуть; забываюсь, душа моя в волнении... Голос умолк; послышалось множество других, которые хвалили певицу; мечта моя исчезла; похвалы сии меня смутили; не знаю, какое чувство произвела в моей душе незнакомка своим выразительным пением. Но я был на нее в досаде; воображал, что она старалась блистать: искусство, думал я, открыло ей те милые звуки, которые проникнули в мое незащищенное сердце. Я удалился, и внутренне, по какому-то неясному для меня чувству, радовался, что не видал в лицо этой женщины. Может быть, встречу ее в свете, не подозревая, что это она; может быть, опять буду ею очарован, не думая о тех похвалах, которые и теперь еще неприятным образом отзываются в моем слухе. Не хочу слышать ее романсов. Пускай она говорит; я уверен, что голос ее трогателен и сладок.

Хижина окружена была розовыми кустами; я сорвал одну розу и всякий раз, когда звуки, более нежные, трогали меня сильнее, вдыхал в себя с неизъяснимым удовольствием ее запах. Возвратясь домой, замечаю при свече, что роза еще у меня в руках; она перестала мне нравиться: я бросил ее на стол и лег в постель. Поутру нахожу, что она завяла, и начинаю об ней сожалеть; иду в сад, вижу розовые кусты, но почему, не знаю, множество цветов в одном месте произвело во мне впечатление неприятное. Замечаю в стороне уединенную розу; срываю ее, нюхаю, стараюсь возобновить те самые чувства, которые производила во мне вчерашняя моя роза, но все было не то; запах возбудил во мне одно воспоминание, не возвративши мне прежнего моего чувства: я был один, в знакомом месте и днем; в руках моих была только роза.

*25 июня.* Вчерашнее происшествие оставило в душе моей какое-то беспокойство, для меня неизъяснимое. Я целый день думал об ней; воображал милую душу, прелестное лицо; этот восхитительный голос, который вчера казался мне гармониею небесных жителей, беспрестанно звучал в моем сердце, но, разбирая свои чувства, я наконец уверил себя, что этот самый голос произвел бы во мне самое неприятное впечатление, когда бы изображал какое-нибудь веселое, живое чувство; он противоречил бы тогда меланхолическому расположению души моей. Скажешь, что радость не должна скрываться во мраке; что можно разделять ее только тогда, когда она видима. Вчера уединение, спокойствие ночи, бледное сияние луны приготовили меня к унынию; я был уже растроган, когда магические звуки потрясли мое сердце. Сия привлекательная гармония, которая выражала любовь, произвела во мне

совсем новое чувство: теперь душа моя желает, требует любви. Но кто она, где это прелестное существо, далеко ли, когда ее встречу, и долго ли продолжится сия неизвестность?

*1 июля.* Я занимался ею беспрестанно и, не смея говорить с батюшкой о моей встрече, рассказал ему о своей прогулке. По описанию моему он тотчас догадался, что я был в парке лорда Сеймура, с которым давно хотелось ему меня познакомить. Нынче после обеда приказал он заложить карету, и мы отправились к лорду Сеймуру.

Сколько разнообразных чувств колебали мою душу во время дороги! Почему знать, думал я, может быть, она была в этом доме на одну только минуту? Я никогда не любил заводить новых знакомств и теперь еду к лорду Сеймуру; зачем же? Хочу увидеть ту, которой, может быть, уже нет в его доме. Что ж, если она здесь, и если один взгляд на нее разрушит все мои мечты, если наружность ее безобразна?.. Безобразна! Быть не может: это лицо должно быть восхитительно! Воображение представило мне существо, украшенное всеми прелестями юных лет: выразительные взгляды, гибкий, величественный стан, но вместе и хитрости кокетства. Батюшка начал со мною говорить; я не слышал его слов и отвечал ему рассеянно. Он посмотрел на меня пристально, я смешался; по счастью, карета наша остановилась у Сеймурова замка, и он не имел времени сделать мне такого вопроса, на который не мог бы я скоро найти удовлетворительного ответа.

Лорд Сеймур встретил нас на крыльце, повел в гостиную и представил своему семейству. Не могу изъяснить своего беспокойства... я не смел поднять глаз; боялся не найти той, которая одна была в моем сердце, но я увидел дочерей лорда Сеймура, и все мои сомнения рассеялись.

Мы входим в гостиную. С правой стороны у камина сидела милади Сеймур: казалось, что утомительная, медленная болезнь неприметно вела ее к гробу; телесное страдание не обезобразило ее лица, миловидного и величественного. Она говорит очень приятно; слабость голоса и то внимание, с которым надобно вслушиваться в каждое слово ее, придают какую-то особенную прелесть ее выражениям. Мария, младшая дочь лорда Сеймура, сидела подле нее: ни одна дочь не может иметь такого сходства с своею матерью, как Мария. Застенчивость не позволяет ей говорить, но прекрасные глаза ее ищут ваших, когда вы сказали такое слово, которое понравилось ей; если ж какое-нибудь выражение ваше, какой-нибудь странный ваш поступок показались ей непонятными, она перестает верить своему чувству, смотрит на мать, и глаза ее спрашивают, имеет ли она причину быть недовольною.

Мария, милая, привлекательная Мария, ты ли или другая очаровала меня своим голосом, не знаю, и на что мне знать! Может быть, не

захотел бы я найти в тебе таких восхитительных талантов: хочу тебя любить, но боюсь очарования. Милое, прелестное творение! Сердце мое привязано к тебе тою любовью, которую в душе своей питаешь ты к нежной матери, теми недостатками, которыми отличены от тебя твои сестры; каждое из ложных достоинств их придает новый блеск твоим натуральным качествам: я люблю тебя за эту тихую скромность, за это молчание, которое, кажется, одному только человеку обещает открытие твоего сердца. Мария, не знаю, имеешь ли ты богатство, но я уверен, что ты благодетельна: если бедный не произносит с любовью, с благодарностью твоего имени, то я обманут самую сладостною, самую восхитительною мечтою.

Лорд Сеймур сидел в больших креслах по левую сторону камина, у ног его спали две собаки; он беспрестанно будил их, ласкал, гладил, дергал за уши, короче, занимался только ими. Мисс Сара, старшая дочь его, была одета в охотничье платье; старалась казаться живою и забавною; смеялась без причины; переходила с места на место; прыгала; со мною говорила об одних собаках и лошадях, называла меня *своим охотником*, не удостоив осведомиться, люблю ли охоту и соглашусь ли скакать за нею по полям и рощам. Мария не вмешивалась в наши разговоры. Я осмелился у нее спросить, хотя наперед угадывал ее ответ, принимает ли она участие в забавах мисс Сары?

— О нет, — отвечала Сара с насмешливою улыбкою, — Мария никогда не выходила из тени нашего замка.

— Правда, — сказала миледи Сеймур, — Мария всегда при мне; она служит подпорою моей слабости в награду за то, что я пеклась о ее младенчестве.

Мария украдкою подняла глаза на небо и опустила их на свою работу. Понимаю тебя, моя невинная Мария: ты передаешь небесам это чистое, священное сокровище, благодарность матери, но взоры твои, потупляемые с такою непорочною скромностью, уверяют меня, что ты боишься оскорбить сестер драгоценным своим превосходством.

Мисс Сара начала гладить собак. Лорд Сеймур поглядел на жену свою с неудовольствием. Все молчали; в эту минуту вошла мисс Индиана, сестра лорда Сеймура, и мисс Эльмина, средняя дочь его. Меня представили им; они обошлись со мною без всякого особенного внимания, но батюшка возбудил его, сказав, что я недавно приехал из Оксфорта. Мисс Эльмина посмотрела на меня пристально.

— Боже мой, — воскликнула она, — вы, верно, в отчаянии? Что может заменить общество ученых! Вам остается искать утешения в одних книгах!



Мария была в замешательстве; милади Сеймур казалась беспокойною; я заметил, что им неприятно было странное педантство Эльмины, я отвечал ей сухо: «Простите меня, мисс Эльмина! Ученым приятнее всего забывать в обществе любезных людей свои книги». Она посмотрела на тетку свою с видом удивления и жалости и сделала мне несколько вопросов, приличных более женщине; признаюсь, что это маленькое мщение показалось для меня забавным.

Вечеру все полуученные провинциалы съехались в замок. Эльмина была душою разговора. Мария села разливать чай. Не знаю, почему так сильно желаешь, чтоб все отличали того человека, который нравится более других, но я досадовал внутренне на этих господ, которые совсем не обращали внимания на Марию; они говорили с нею только тогда, когда надобно было принять от нее чашку: такое несправедливое пренебрежение меня оскорбляло.

Сара и лорд Сеймур вышли; милади приказала мне сесть подле себя: с каким почтением, с каким чувством говорила она о моей матери! При каждом слове ее Мария вздыхала, взглядывала то на мать, то на меня, то на печальное мое платье; милая, утешительная жалость сияла на ее лице. Мария, тебе одной поверил бы я тоску своего сердца; ты одна, с которою желал бы провести то время несчастья, которое назначено для меня в будущем определением Промысла!

Чем больше внимания оказывала мне милади Сеймур, тем с большею учтивостию обходились со мною Индиана и Эльмина, но эта учтивость была смешана с досадою. Наконец, они сделались неотступны. Страждущая милади, будучи не в состоянии долее выносить их крика, попросила позволения оставить общество; Мария подала ей руку, и они удалились. Комната показалась мне пустою; разговор сделался для меня не сносен; я упробил батюшку ехать и с радостным торжеством ребенка вырвался из этого шумного, скучного круга.

8 июля. Вчера, поутру, лорд Сеймур и мисс Сара присылали меня звать с собою на охоту. Я был уверен, что Марии с ними не будет; желал остаться, но чувствовал, что мой отказ не понравится лорду и любимой его дочери; сверх того, удовольствия охоты казались мне самым верным средством сделаться короче в семействе Марии; я согласился, признаюсь, с досадою, но поминутно повторял себе: «Это для нее! Нынешний день будет потерян! Не завтра, но послезавтра, но в следующие дни ты будешь с Мариєю!» Приезжаю; звук рогов, шумные восклицания охотников вселяют и в меня какую-то живость; я разделяю общее удовольствие: в самом деле, будучи занят одною Мариєю, я забывал, что любил и собак, и лошадей, но в эту минуту прежняя моя страсть возобновилась с новою силою. Мисс Сара хотела, чтобы я ехал подле нее: мы позна-

комились, как будто вечно жили вместе; я удивлялся ее приятному виду, ее неустрашимости; самая дерзость ее мне нравилась. Мы скакали без памяти. Сара казалась мне воздушным божеством. По несчастию, лошадь ее спотыкнулась; она упала с седла; я кинулся к ней на помощь, поднял ее, просил, чтобы она была осторожнее и не скакала так шибко; мне хотелось, чтобы она хотя на минуту занялась той опасностью, от которой имела счастье избавиться; может быть, я желал найти в ней более робости, более той скромной слабости, которая так мила в женщине. Сара не поняла моего чувства; она посмотрела на меня с удивлением, громко засмеялась и поскакала. Я сердился, она шутила над моею досадою, над моим беспокойством; нарочно хотела меня испугать и прыгнула через ров, кланяясь мне рукою с насмешливым видом. Что за мысль приводить меня в смущение? Конечно, Сара от природы жива и ветрена? Может быть, в ребячестве забавлялись ее веселым нравом, и теперь Сара останется на всю жизнь и ветреною, и слишком шумною в обхождении. Те недостатки, которые мы сами почитаем любезными и хотим выказывать, подобны безобразию, слишком заметному от пышного наряда. Охота кончилась. Лорд Сеймур приблизился к нам; мы ехали шагом; я гладил свою лошадь и разговаривал с нею как с другом: бедная тварь не знала, что неудовольствие мое на Сару было единственною причиною такой необыкновенной ласки и что за несколько минут я не пожалел бы ее, стараясь опередить Сару на скачке. Не то же ли видим иногда в свете, говорил я самому себе. Тебя удивляет неожиданный знак внимания: осмотрись, найдешь причину вблизи, в каком-нибудь постороннем чувстве удовольствия или досады.

Мы возвратились к обеду в замок. Мисс Индиана и мисс Эльмина сидели в гостиной.

— Вы нас забыли, — сказала первая лорду Сеймуру.

— Скажи лучше: вам было очень весело!

— Но вы знаете, что я люблю обедать рано.

Мисс Индиана кашляла, морщилась, хотела казаться расслабленною, едва передвигала ноги, шаталась. Такое притворство мне наскучило: я подал ей тот самый стул, с которого она только что встала; она посмотрела на меня с удивлением, поблагодарила довольно холодно, села, называя себя умирающею... «Вяну!.. Исчезаю», — говорила она поминутно, и никто не слушал ее плачевных восклицаний. «Не беспокойтесь, — шепнула мне на ухо Сара, — тетушке хочется быть жалкою; час обеда еще не близко». В эту минуту вошла Мария. Казалось, что я ожидал одного прихода ее, чтобы найти особенную прелесть в том обществе, которое за минуту было для меня так пусто. Я с беспокойством угадывал, какое место выберет Мария: приблизится ли ко мне,

удалится ли от меня, встретятся ли глаза ее с моими. Каждое движение Марии наполняло меня и робостью, и надеждою.

Мария подошла к отцу; казалось, что робким поклоном своим просила она ласкового взгляда, благосклонного слова. Лорд Сеймур взял ее за руку и спросил:

— Какова твоя мать?

Милая, милая Мария, без тебя отец твой был чужестранцем в кругу семейства и в собственном доме своем; тебя ожидал он, чтобы узнать о жене своей, о матери твоих сестер; ты одна исполняешь сию священную должность любви, сладостную, драгоценную, которая одна украшает тебя более всех твоих прелестей! Взглянув на Марию, я вспомнил то время, когда и меня занимало счастье матери; я сказал самому себе: «Что бы ни чувствовал ты в сердце своем к Марии, но мать твоя одну ее могла бы наименовать своею дочерью!» Пошли обедать; я по несчастию, сел далеко от Марии. После стола не имел случая сказать ей ни слова: остаток дня проведен был очень скучно.

*12 июля.* Вчера я очень рано пошел гулять, и, по обыкновению своему, прямо в парк лорда Сеймура. Приближаюсь к маленькой хижине, где в первый раз услышал голос Марии; дверь была заперта. Розы отцвели. Еще несколько времени, подумал я, и на кустах не останется ни одного листа! Все приводило меня в задумчивость. Я лег на траву, думал о Марии, спрашивал у самого себя, какая неизъяснимая сила привлекала к ней мою душу, в которой соединено столько противностей? Мне полюбить ее с моим ревнивым, вспыльчивым, беспокойным, взыскательным, непостоянным характером? Так, непостоянным! Малейший недостаток Марии может меня от нее удалить, а совершенство покажется мне утомительным! Мне предаваться любви, мне, который так часто бывал несправедливым в дружбе? Или Мария сделает меня несчастным, или я сам сделаюсь ее мучителем! Будет ли она спокойна — вообразу, что она равнодушна. Покажется ли веселою при нашем свидании после продолжительной разлуки — подумаю, что она не заметила моего отсутствия. Найду ли ее печальною — она слишком мало наслаждается моим возвращением. Словом, я еще не люблю, но уже предвижу все волнения, неразлучные с любовью.

В эту минуту показалась вдалеке Мария: она шла прямо к хижине; две служанки несли за нею корзину с цветами. Увидя меня, она покраснела.

— Сара ездит в манеже, — сказала она, — Эльмина проводит все утро свое в библиотеке... Я хотела приготовить в хижине завтрак для матушки; она любит это место... Мы думали, что здесь никого нет!

Мария покраснела более прежнего, произнесла последнее слово. Что оно значит? Приглашают ли меня остаться, или хотят, чтобы я удалился?

— Какова миледи Сеймур? — спросил я.

— Нынче ей лучше. Погода такая прекрасная!

Мария улыбнулась, и улыбка ее сказала мне: останься.

Мария держит в руках ключ от хижины; отворяет дверь. О я, ослепленный! Могу ли еще сомневаться в моей любви к Марии? Сердце мое замирает от беспокойства, в ожидании, что скажет мне она: простится ли со мною, или позовет в хижину? Она сама в замешательстве: впускает наперед одну из своих женщин, потом другую, но теперь что она сделает? Если войдет одна, не сказав мне ни слова, если забудет обо мне, то я удалюсь и никогда, никогда ее не увижу! Но Бог знает, сколь тягостно это будет для моего сердца! Но если она меня пригласит, то буду ль доволен ее поступком, не буду ли со временем обвинять ее в неосторожности? Мария! Мария! Или вся душа моя принадлежит уже тебе? Не я ли иногда клянусь, что ты будешь счастлива, как будто бы счастье твое зависело от меня? И кому же поверяю свои клятвы, бесполезные душе моей, суровому своему характеру, которого боюсь, начиная узнавать любовь.

Мария остановилась в нерешимости; я смотрел на нее, прислонясь к дереву. По счастью, пришло мне в голову спросить, не ей ли принадлежала в особенности эта хижина? «Я сама ее прибрала для матушки», — отвечала Мария, и, как будто приняв вопрос мой за желание войти во внутренность хижины, посторонила: вхожу; Мария следует за мною. Рассматриваю мебели, картины и между тем не теряю из глаз Марии: она разбирает цветы; украшает ими чайный столик; ставит на него чашку: это для матери; ставит другую: это для себя, но Мария берет третью: конечно, для меня, думаю, и отворачиваюсь, чтобы не дать заметить ей своего удовольствия; оно скоро исчезло: Мария долго смотрела на чашку, долго оборачивала ее в руках, обтирала и, наконец, опять поставила на камин, но по нежному, ей одной сродному и мне только понятному чувству, сняла со стола и свою; все делалось в молчании; Мария не поднимала глаз, и это молчание, и это беспокойство не были потеряны для моего сердца.

Скоро явилась миледи Сеймур. Мария живым удовольствием своим, казалось, говорила мне, теперь только могу радоваться твоему присутствию и, не дожидаясь приглашения матери, опять сняла с каминя обе чашки, бывшие причиною невинного ее замешательства. Леди Сеймур предложила мне завтракать вместе с ними; я сел между ею и прелестною ее дочерью и никогда не чувствовал такого чистого, безмятежного счастья. Леди Сеймур казалась веселее обыкновенного. Говоря о вещах совсем неважных, имела она в голосе какую-то милую, трогательную выразительность, которая прямо лилась в мою душу: казалось, что каж-

дый из нас понимал ту тайну, которой не осмелился бы ни открыть, ни выслушать.

После завтрака, леди Сеймур заставила Марию петь; при первом звуке голоса узнал я тот самый романс, ту самую трогательную мелодию, те меланхолические слова, которые за несколько дней проникнули в мое сердце. Я переменялся в лице; милади, взглянув на меня, заметила перемену и с чувством спросила, конечно, этот романс возбуждает во мне слишком живо какое-нибудь нежное воспоминание? «Не музыка, — отвечал я, — но этот голос!». Она удивилась, глаза ее требовали объяснения; я описал свою вечернюю прогулку и тот восторг, с каким я слушал пение Марии, не зная еще ее в лицо... В глазах милади Сеймур написано было удовольствие; Мария краснела, но когда я сказал, что удалился в ту самую минуту, когда услышал похвалы и рукоплескания, воскликнула: «Верно, это случилось в тот самый вечер, когда сестрицы, Арабелла и Люция, у нас ужинали!» Как же я обманулся, Мария, как заключения мои были несправедливы: ее сестры, конечно, подруги ее младенчества, одного с нею возраста! Нет, Мария не может быть кокеткою; она пела для того, что голос ее нравится милой матери. Мария, сердце мое принадлежит тебе; здесь, в этой хижине, смотря на твою мать и близ тебя, я верил счастью! Но будешь ли разделять живость моего чувства; будешь ли снисходительна к моим странностям? Так, я был счастлив! Но в ту же минуту я чувствовал, что беспокойство и сомнение овладели бы моим сердцем, когда бы хотя одно постороннее лицо находилось тогда вместе с нами, когда бы я не был уверен, что Мария совсем незнакома с большим светом.

20 июля. Как изобразить состояние моего сердца? Ныне поутру я встретился с Марию в деревне; не смея подать ей руки, я шел с нею рядом. Мария входила в некоторые хижины, которых обитатели существуют ее благотворениями. Сердце мое трепетало от любви и радости, видя, как все благословляло, как все боготворило Марию! Каждый поступок ее имеет особенную, ей одной принадлежащую прелесть. Привыкнув скрываться внутри своего семейства и не стараясь блистать, подобно сестрам, она боится малейшего отличия. Посмотрите на нее в ту минуту, когда она окружена благодарными в бедной хижине: она краснеет, внимая их благословениям; она велит им молиться за свою мать, которая одна, по ее словам, об них печется, она благотворит им рукою своей дочери. Мария, завтра придешь к ним с угощением и помощью, и, позабыв о своих заботах, о своих слезах, которые при мне проливали ты над бедностью и несчастьем, ты вместе с ними благословишь свою мать, ей одной принесешь в дар и любовь их, и благодарность, и слезы!

Я смотрел на нее и говорил самому себе: это сердце не было никогда затворено для сострадания. Все то, что могла сделать доброго Мария, конечно, сделано, и без малейшего забвения, без малейшей рассеянности. Всякая мысль ее непорочна; всякий поступок ее великодушен. Мария, вчера любил я тебя невольно; теперь привязан к тебе всеми силами души; принадлежать тебе есть счастье моей жизни, единственная, восхитительная моя надежда!

Выходя из деревни, Мария со мною простилась; я долго следовал за нею глазами; она оборачивалась несколько раз и всегда ласковым знаком давала знать, что видела меня и надеялась увидеть. Приблизившись к повороту, на котором должна была она сокрыться от меня за рощею, Мария оборотилась в последний раз, махнула мне рукою, платком и исчезла; а я стоял неподвижно, смотрел на нее, как на удаляющегося ангела, который увлекал за собою всю мою душу; я не мог сойти с места, не смел за нею следовать, и по мере того, как она исчезала, чувствовал в душе своей возобновляющуюся горечь. О время будущего, время неизвестное, навверное, которое никогда не является ни таким, как мы желаем, ни таким, как мы боимся, что ты мне приготовило? По крайней мере, да не погибнут мои надежды, которыми сердце мое так счастливо... и счастливо, быть может, на одну минуту!

Я взглянул на последнее дерево, которое сокрыло от меня Марию, и сказал ему, как будто надеясь, что оно меня услышит: «Завтра буду ожидать ее на этом самом месте; завтра, может быть, долго буду смотреть на тебя, прежде нежели увижу мою Марию!» Никогда, никогда не пройду мимо этого дерева без сладкого воспоминания любви и скорби!

*1 августа.* Несколько раз посещал я и хижину, и деревню; Мария со мною не встречалась. Когда я вижусь с нею у лорда Сеймура, глаза ее следуют за каждым моим шагом; взор ее внимает каждому моему слову, отвечает на каждое мое выражение, но если подойду к ней, то этот взор переменяется; глаза ее опущены, или избегают встречи с моими, как будто опасаясь понимать меня... Мария, для чего ж принуждаешь меня угадывать каждую твою мысль и толковать каждый твой поступок? Для чего, милый друг, отдавать то время, в которое, открыв мне тайну души своей, ты скажешь: «Он меня знает?»

Нынче нашел я очень много гостей у лорда Сеймура. Эльмина и Сара были одеты по новой, безрассудной моде, которая похитила все покровы у скромности и не оставила почти ни одной преграды взорам желания. Мария подражала в одежде своим сестрам. Я не хочу ее оправдывать, но что почувствовал я, когда Мария, увидя меня, покраснела и тотчас завернулась в шаль, которая лежала позади ее на креслах! Мария, сердце тебя не обмануло; взор мой есть взор любовника: и пре-

жде меня была ты окружена мужчинами, но ты не заметила, что они на тебя смотрят. О всемогущество любви, я узнаю тебя в этом непостоянстве моих впечатлений! Вчера, может быть, я не мог бы вообразить Марию в такой одежде; через минуту, может быть, я стал бы укорять ее с досадою, но в ту минуту я наслаждался одним ее замешательством. Чувства мои произведены ее простосердечием, невинностию, нежными прелестями, робкою скромностию, но минута забвения открыла мне ее душу. Прощаю тебя, Мария! Пускай в эту минуту одежда твоя будет подобна одежде обыкновенных женщин; в другое время ты должна отличаться от них во всем: и сердце, и взоры мои должны всегда узнавать в тебе одну Марию.

*8 августа.* Нынче поутру батюшка спросил у меня, не хочу ли посетить некоторых соседей? Я удивился; мне казалось, что подле нас не могло быть никого, кроме одной Марии и семейства ее. Что со мною сделалось? Неужели вселенная заключается для меня в одной Марии? Перечитываю свой журнал; те дни, в которые не видал я Марии, оставлены без замечания. С той самой минуты, в которую узнал я Марию, все мои мысли относятся к ней; воспоминание о Марии сливается с каждым моим чувством; между каждым предметом и мною блистает восхитительный ее образ.

Во время завтрака я и батюшка молчали; я видел, что он был смущен, и не смел спросить у него о причине сего смущения; в первый раз еще в жизни скрывал я от него свое чувство, а он не поверял мне своего беспокойства. Я хотел выйти.

— Артур, — сказал он, — ты часто едешь к лорду Сеймуру?

Я отвечал движением головы.

— Дочери его очень милы?

Такой же ответ, хотя мне неприятно было, что он не отличил Марии.

— Младшая нравится более других.

Я начал дышать свободнее.

— Жаль, что отец решился не выдавать ее замуж прежде старших.

Не могу описать горестного своего чувства: казалось, что все мои надежды разрушились вдруг от одного слова. Кто может не предпочесть Марию Эльмине и Саре!

— Не думает ли он, — воскликнул я, — что много найдется людей, способных любить ученую Эльмину и вверить свое счастье ветреной Саре?

— Ты слишком строг, и я бы сказал, что ты имеешь какую-нибудь тайную причину быть строгим, когда бы не опасался против воли твоей обнаружить то чувство, которого ты, может быть, не хочешь открыть своему другу.

— Против воли! Не произносите никогда этого слова, батюшка! Вы, верно, проникнули во глубину моего сердца?

Он вздохнул.

— Семейство лорда Сеймура, — прибавил он, — разделено на три сильные, одна с другою несогласные партии. Отец жалеет, что нет у него сына, и объявил решительно, что он отдаст и имя свое, и fortuna тому, кто женится на Саре. Мисс Индиана взялась воспитывать Эльмину и делает ее по себе наследницею. Леди Сеймур, принужденная уступить воле мужа, не могла участвовать в воспитании Эльмины и с горестию замечала его странность, что совершенно расстроило ее здоровье. Мария, которою лорд Сеймур занимался от беспечности, была единым ее прибежищем, утешением, надеждою. Милади воспитывала ее с деятельною попечительностию просвещенной матери, которая, приводя к совершенству моральные добродетели, умеет образовать и самые дарования. Артур, я уважаю твой выбор, но подумай, что в этом семействе все разделены сильным соперничеством, как дети, так и родители; хваля которую-нибудь из дочерей, оскорбляешь необходимо всех других; показывая привязанность к одной, вооружаешь против себя остаток семейства. Но тот, кто выберет Марию, непременно затворит для себя ее дом, усилит горесть милади Сеймур и будет причиною новых гонений против невинной ее дочери.

Я посмотрел с доверенностию в глаза батюшки и, взявши его за руку, сказал:

— Или я ошибаюсь, или печальное состояние Марии вас тронуло! Расчеты интереса никогда не принудят вас отнять у меня той, к которой привязано мое сердце.

— Никогда! Умиравшая мать твоя возложила на меня обязанность сделать тебя счастливым, но, друг мой, не бросайся в семейство несогласное, суетное, расстроенное, где выгоды одного возбуждают ненависть во всех.

— Ах! Милади Сеймур и Мария ни к кому не чувствовали ненависти!

— Правда, но могут ли они что-нибудь сделать для собственного или для твоего счастья?

— Батюшка, — воскликнул я, — поздно!

— Я это предвидел! Я дурно сделал, что, в надежде рассеять твою горесть, познакомил тебя с семейством Сеймура; чувствую, что я один всему причиною.

А я один буду несчастлив, раздалось во глубине моей души. Но я не обвиняю отца своего; напротив, я с некоторою сладостию думаю, что сердце мое и без него узнало бы Марию; что сердце Марии ожидало одного меня, чтобы начать чувствовать.



Приехали гости, батюшка принял их, и разговор наш пресекался; я должен был переломить себя, казаться веселым, но лицо мое мне изменяло. Сколько неизвестного, сколько мучительного предоставлялось мне в будущем. Батюшка меня понимал: мое несчастье было в его сердце; он часто смотрел на меня выразительными глазами сострадания и с трогательным добродушием; двадцать раз подходил я к окну, искал взорами отдаленного Сеймурова замка; сердце мое стеснялось, но я имел твердость не видаться с Мариєю и целый день не отходил от батюшки. Прощаясь с ним, мы обнялись. «Мой друг, — сказал он, — ты сам почувствуешь, когда возвратится твое спокойствие, от каких горестей избавила тебя сия минута твердости». «Возвратится твое спокойствие» — слова сии растерзали мою душу; я пожалел, что не был у Марии. Не думает ли он, что я уже отказался от любви, от счастья? Мария! Мария! Одна мысль, что никогда тебя не увижу, привела меня в трепет, и я произнес клятву быть твоим навеки!

9 августа. Никогда не видать Марии! Эта мысль представилась мне прежде, нежели я открыл глаза. *Не может быть*, воскликнул я, как будто сражаясь с силою, которая хотела разлучить меня с самим собою. Звук моего голоса меня разбудил; бросаюсь с постели; бегу к окну, из которого виден парк Сеймуров; долго смотрю на него, опершись на балкон, неподвижный, с наружным спокойствием, но внутренне волнуемый бурей страсти. Я думал об *ней*, видел *ее* перед собою: она казалась мне существом божественным; я клялся ее любить... что я говорю любить: ей отдать свою душу и жизнь, существовать для ее счастья, жить для того, чтобы украсить милую жизнь ее... Таковы были мои надежды! О неизвестность будущего! Ужели должны они не исполниться?

Я целый день не видался с батюшкою. Мог ли признаться ему, что хочу опять увидеть Марию? Но какое ж нашел он средство удалить меня от Марии? Сказать, что она несчастна; сказать, что она гонима!

Приезжаю в замок Сеймур, и нахожу, что все семейство собирается в Бат<sup>1</sup> на скачку, в досаде, что не могу свободно говорить с Мариєю, решаюсь провести тот день вместе с нею. После скачки дан великолепный обед и бал. Для женщин приготовлена была палатка; они шли в нее толпою; несколько цыганок с прекрасными, одетыми в рубище детьми, стояли у входа и просили милостыни. Их не удостаивали даже отказа, шли мимо, не слушая их вопля, не обращая на них глаз. Мария, прислонившись к дереву, ждала, чтобы это блестящее общество рассеялось, и не удивлялась жестокому его равнодушию. Увидя меня, она поклонилась мне с большим против обыкновенного удовольствием, с милою, дружескою улыбкою. Засмотревшись на Марию, я не заметил нищих. Лорд Сеймур, Эльмина и Сара уже прошли; Мария была

в нерешимости: хотела и не хотела идти. Я заметил в глазах ее при- скорбие, смешанное с удивлением, но оно тотчас для меня объяснилось, когда я увидел вокруг нее несчастных и почувствовал, что ей хотелось подать им помощь. Я дал гинею<sup>2</sup> бедной женщине, которая была к нам ближе, и в эту минуту маленькая девочка, дочь ее, воскликнула, обра- тясь к Марии: «Ты правду говорила, что придет *такой человек*, кото- рый нам поможет». Мария покраснела и сказала с усмешкою: «Стран- ная мода ходить без карманов лишает иногда способа сделать доброе дело». «Мария, — спросил я у нее вполголоса, — меня ли вы ожидали, на меня ли вы надеялись?» Она потупила глаза и не отвечала не слова, но это безмолвие не есть ли признание? В восхищении бросил я пол- ный кошелек в фартук цыганки, говоря: «Не забывай этого дня; он есть день счастья!» Мария закрыла глаза рукою и, не говоря ни слова, пошла в палатку; там увидели мы Эльмину. окруженную мужчинами и женщинами; она объясняла им происхождение цыган и с важностию разбирала этимологию их имени.

Сара спросила у нее:

— Могут ли цыганки предсказывать будущее?

Эльмина посмотрела на нее сурово.

— Надеюсь, — сказала она, — что ты не имеешь такого грубого сует- верия. Правда, что бубны, в которые и нынче еще стучат эти бродяги, таковы точно, какие употребляли индейские жрецы при своих волшеб- ствах и предсказаниях; их хиромантия есть выдумка индейцев, и самое имя «цыганы» доказывает, что они происходят из страны Цингана, которая находится на берегах Инда.

Сара, которая сама завела сестру свою в такое ученое рассужде- ние, была не в силах его дослушать, ушла и скоро возвратилась, ведя за собою четырех самых старых и безобразных *волшебниц*. Молодые мужчины и девушки ахнули от удивления: они не могли видеть равно- душно такого безобразия. Сара забавлялась своею выдумкою и первая подала руку отгадчицам: они предсказали ей знатность, богатство, удо- вольствия, словом, все, что в свете называют счастьем. Эльмина мор- щилась и никак не согласилась принять участия в этой шутке. Мария, привыкнув повиноваться сестрам с первого слова, сняла перчатку по просьбе Сары и подала прекрасную руку свою цыганке.

— Ах, — сказали ей вдруг все четыре, — *один*, тот, который так жалостлив к бедным, будет твоим мужем!

Мария поспешила надеть перчатку.

— *Один*, — воскликнула Сара.

— *Один*, — повторили мужчины. — Кто этот один, где этот счаст- ливец?

Но в обществе никто не заметил, что я подал милостыню цыганке, и, следственно, никому не пришло в голову сказать, что этот неизвестный был я.

О, как наслаждался я смущением Марии! Она краснела, бледнела, взглядывала на меня и опускала глаза с таким волнением, что ей невозможно было не изменить своему чувству. Я имел силу от нее удалиться; зато не отводил от нее глаз ни на минуту. О, как была она мне драгоценна! Через несколько времени нашел я ее одну; приблизился:

— Мария, — сказал я, — запретите ли мне быть суеверным? Позволяете ли мне надеяться того счастья, которое мне предсказано?

Два раза хотела она отвечать и два раза не могла найти ни одного слова. Я осмелился говорить о моей любви, о нежной, непорочной любви, которую все усиливает, которая с каждым взглядом на милое, невинное лицо ее становится непорочнее и чище. Мария слушала меня в нерешительности, вздыхала; в глазах ее изображалось уныние.

— Мария, неужели не верите вы моим чувствам?

Она продолжала молчать; я не мог вынести сего молчания.

— Мария, Мария! Хотя из жалости отвечайте мне: верите ли вы моему сердцу?

— Я родилась несчастною, — сказала она с трепетом.

Милые, сладостные слова, которые сильно отозвались в моем сердце; они заключали в себе судьбу моей жизни: Мария сомневается в любви моей только потому, что почитает себя рожденною на несчастье! О! Как мучительно слышать такое признание в присутствии тысячи свидетелей, не броситься к ногам ее, не целовать их, не обливать слезами! Я увидел идущую к нам Сару и только успел сказать Марии: «Никогда не будешь несчастною!». Какая-то сердечная унылость разлилась по лицу ее; она вздохнула из глубины сердца, удалилась медленно; я последовал за нею глазами. Один молодой человек позвал ее танцевать; она согласилась, и согласилась для того, что боялась моих взоров, боялась собственных своих размышлений.

О Мария, что причиною твоего уныния? Упрекаешь ли себя в том, что я так счастлив? Боишься ли отца своего и сестер? Милый друг, я усмирю свое высокомерие и свою пылкость; я в состоянии сносить для тебя их несправедливость; твой образ будет передо мною; милые добродетели моей Марии будут хранителями моего сердца!

С каким удовольствием, с каким обновленным чувством я следовал за каждым ее движением, за каждым ее шагом! Она меня любит, она будет спутницею, очарованием моей жизни! О, каким именем назову тебя, первый взгляд, следующий за первым признанием, первый взгляд, в котором душа говорит: я буду твоею!

*11 августа.* Возвращаюсь домой, бегу в объятия батюшки.

— Она меня любит, — восклицаю в восхищении. Батюшка хотел отвечать.

— Она меня любит, — повторяю несколько раз. — Душа моя наполнена была восторгом. Батюшка, наслаждайтесь моим счастьем; сомнения кончилось! Миновалась мучительная неизвестность!

На другой день увлекаю его за собою к милади Сеймур. Она была одна в своем кабинете; я этого ожидал: препятствия казались мне невозможными; я чувствовал себя счастливым и счастливым совершенно! В первый и, конечно, единственный раз в жизни обрадовался я, что Марии не было на ту минуту с нами.

С каким трепетом вошел я в кабинет милади Сеймур. Сердце мое предупреждало то сладостное мгновение, в которое назначено было мне обещать ей любовь нежного сына. Увидя батюшку, она встала: это внимание учтивости успокоило несколько мою волнующуюся душу; оно остановило на языке моем трогательное имя матери, которым хотел я наименовать ее, когда бы осмелился говорить ей о Марии.

Батюшка сел, спросил милади о здоровье; нетерпение мучило мое сердце; наконец он сказал:

— Милади, я имею сына, любезного и совершенно доброго сердцем; поверьте в этом отцу, который никогда не видал от него огорчения; он привязан к одной прелестной девице; она вам знакома; помогите нам склонить отца ее на этот союз, которым и Артур, и она должны быть истинно счастливы!

Леди Сеймур покраснела. В эту минуту вошла Мария. Мать подала ей знак, и она удалилась с видимым замешательством: сердце ее угадывало нашу тайну. Я бросился к ногам милади:

— Ах, склонитесь, склонитесь на мою просьбу; отдайте ее моей любви; вся моя жизнь посвящена будет ее счастью!

— Для чего не зависит она от моей воли, — сказала милади. Я поцеловал одну ее руку; батюшка пожал другую.

— Друзья мои, милые друзья! Нам трудно будет успеть в своем предприятии.

*Нам!* Как был я ей благодарен за это нежное соединение желаний!

— Не буду перед вами скрываться: я давно уже назначала Марию Артуру, но с той минуты, в которую заметила, что Мария была ему драгоценна, слабость здоровья перестала меня беспокоить; будущее представилось мне в лучшем виде (она взглянула на батюшку): меня утешила надежда, что вы заступите некогда мое место; что Мария найдет в вас нежного отца: могла ли я ужасаться смерти?.. Но лорд Сеймур, но старшие мои дочери, будут ли они согласны?

Я не мог удержаться и воскликнул:

— Ваша дочь одна Мария. Батюшка просил ее сообщить милорду наше предложение; она дала слово, но с тем, чтобы мы не спешили.

— Я выберу благоприятную минуту, я напомню ему, что он, вверяя воспитание Эльмины своей сестре, позволил мне располагать судьбою Марии.

Рука ее осталась в моей, но она занималась одним батюшкою; скоро забыли о моем присутствии.

— Мария имеет милый, прелестный характер, — сказала милади.

— Сын мой имеет редкое сердце.

— Если б вы знали, как она угадывает все то, что может меня сделать счастливою!

— А он как боится малейшей для меня неприятности!

— Благословляю их, мы можем просить от Бога одного, чтобы их дети были им подобны!

— Это единственное мое желание!

— Это единственная моя молитва!

Милади назвала меня милым сыном и позволила мне говорить Марии о любви своей. Я на коленях принял ее благословение.

*12 августа.* Я возвратился домой в таком состоянии, которому нет выражения на языке человеческом, и нынче поутру, очень рано, побежал в Сеймуров парк. Со мною встретилась мисс Эльмина; я ожидал не ее, но будучи счастлив в совершенстве, я не был способен ничем огорчаться; подошел к Эльмине с истинным удовольствием; одна застенчивость не позволила мне сказать ей *милая мисс Эльмина!* В восторге своем я любил всякого человека.

Она закрыла книгу и пригласила меня с собою гулять. Это неожиданное приглашение смутило несколько мою веселость, но я утешился; сердце мое летело к Марии; для тебя одной, говорил я ей в мыслях, для тебя сношу такое принуждение: хочу, чтобы сестра твоя тебе осталась благодарною за мои ласки.

Мы пошли в ту сторону парка, которая была еще мне неизвестна. Эльмина привела меня к пригорку, посвященному Меланхолии: на нем росли густые деревья; глазам моим представились: жертвенник с надписью *Вертеру*; стихи к спокойствию, к равнодушию, к рассудку.

— Никогда не прихожу на это место без некоторого страха, — сказала Эльмина, — какие воспоминания! Но моя чувствительность влечет меня сюда невольно.

Мисс Эльмина имеет чувствительность: сказать правду, это меня удивило. Я посмотрел ей в глаза, надеясь увидеть в них что-нибудь

сходное с ее словами, но я нашел все ту же Эльмину: холодную, вытянутую, сухую, какова была она вчера, какова будет вечно.

— Видите ли этот белый, светленький домик, — сказала она. — В нем живут несчастные: отец и мать, которых участь самая печальная!

Не знаю, предчувствовало ли мое сердце горечь, боялось ли потерять те сладкие чувства, которыми было наполнено, но я не мог отвечать. Эльмина остановилась, смотрела на меня... вздыхала... как будто требовала, чтобы я начал расспрашивать о причине сих томных вздохов, но я молчал. Внутренний голос говорил мне: удались. Ах, для чего не повиновался я сему благодетельному голосу!

Наконец, Эльмина, вздохнувши опять, сказала:

— Вы честный человек, любезный Артур! Я могу на вас положиться; могу открыть вам тайну, которая, вероятно, предохранит вас от несчастия любить, по крайней мере, любить, не будучи уверенным, что вас любят взаимно. Садитесь подле меня и слушайте, но обещайте быть молчаливым.

О суеверие любви, ты одно можешь изъяснить то отвращение, которое почувствовал я при слове *тайна*. С каким усилием принудил я себя сесть подле Эльмины! Она не заметила моего чувства и начала говорить.

— В этом маленьком домике живет владелец небольшого соседнего поместья. Он посылал своего сына учиться в Итон и в Кембридж. Несмотря на бедность, старался он не только усовершенствовать его в науках, но вместе образовать в нем и приятные таланты. Молодой Эдвин, возвратясь из университета, казался в здешней провинции чудом. Отец познакомил его с нашим домом. Батюшка обласкал молодого человека, который в самом деле был очень любезен и имел наружность приятную. Мы обходились с ним просто, дружески, с тою свободою ласкою, какую обыкновенно позволяешь себе с людьми низшего состояния. Он привязался к нашему семейству; был у нас в доме всякий день; нравился батюшке; сестра Сара ездила с ним на охоту; для меня писал он стихи; я поправляла их, и мы очень часто спорили о разных ученых материях, которыми занимались просвещенные люди нашей провинции; словом, Эдвин казался только *благодарным*; никто не замечал в нем и тени намерения, несоответственного его состоянию. В один день Мария пришла к нам с заплаканными глазами (при имени Марии вся кровь моя бросилась к сердцу); причина ее печали была мне неизвестна; я никогда не замечала, чтобы Эдвин имел к ней какую-нибудь привязанность, и как же должна была удивиться, когда батюшка, при всех нас, спросил после обеда у Марии, не она ли вселила в Эдвина дерзкую надежду быть ее мужем? Мария сказала: *нет*, но таким слабым

голосом, что батюшка вышел из себя; он приказал ей немедленно объяснить ему, что подало повод к такому досадному слуху.

Боже, как я трепетал! Каждое слово Эльмины, казалось, заключало в себе судьбу моей жизни. Я вскочил с места, когда она произнесла имя Марии, но, ослабев, принужден был сесть опять на скамейку; мне нужно было опереть на что-нибудь свою голову, закрыть лицо, удерживать свое дыхание; глаза мои были опущены; я не мог видеть Эльмины и чувствовал, что она на меня смотрела; кажется, что она несколько минут не говорила ни слова.

— Договаривайте, — сказал я задыхаясь.

— Мария призналась, что Эдвин часто прогуливался с нею вместе по парку, часто говорил ей о своем отце, о своей матери, говорил с таким нежным, с таким непритворным почтением, что сердце ее не могло не тронуться. Он желал, чтобы она посетила его родителей; Мария не имела духу отказаться, и Эдвин, может быть, обманутый таким снисхождением, вообразил, что сердце Марии отвечало ему на то чувство, которого она даже и не заметила. Батюшка, сердился, называл ее неосторожною. Я, напротив, невольно приняла участие в горести Эдвина. Он открыл мне свою душу; я видела, что он обманывался надеждою на привязанность Марии. Занимаясь ею беспрестанно, он часто говорил об ней с восторгом, еще чаще с прискорбием, но никогда без чувства или с равнодушием. Прошло несколько месяцев, печальных, мучительных для Эдвина. Вдруг он скрылся. Его отсутствие огорчило Марию; она воображала себя невинною причиною гибели молодого человека, и мысль сия лишила ее спокойствия. Она выходила каждое утро из замка; иногда возвращалась в него с заплаканными глазами; наконец, открылось мне, что она очень часто навещала печальных родителей Эдвина... Загадка непонятная; поступки Марии показывают любовь, слова ее показывают равнодушие! Одну ее родители Эдвина должны обвинять в своем несчастье, и одну ее, из всего нашего семейства, любят они с какою-то необыкновенною нежностью!

Эльмина еще не кончила, как двери маленького домика отворились. Смотрю: никто не показывался, но вижу конец белого платья, развеваемого в дверях ветром; как трепетало мое сердце! Неужели это Мария? Знаю, что она чувствительна, что она имеет тонкую нежность, что она могла любить другого прежде, нежели мы встретились, но та ли это Мария, которая казалась мне простосердечною, невинною? Та ли это женщина, к которой привязаны были все радости, все надежды будущей моей жизни?

Я все еще видел белое платье; угадывал, что женщина, стоявшая в дверях, оставляла этот дом с сожалением; я страдал, я разрывался.

Наконец она выходит; и это Мария! Она оборачивает голову назад, прощается знаками с пожилою женщиною, которая, остановившись у дверей, провожает ее глазами; на половине дороги Мария оглядывается в последний раз, машет рукою; старая женщина входит в дом... Итак, они встречаются и расстаются на одном положенном месте: все между ними привычка! Все между ими условие!

Я побежал от Эльмины. Пока еще незнакомая женщина была в моих глазах, по тех пор могла она кликнуть Марию, по тех пор и Мария могла еще сама собою к ней возвратиться: я воображал, что, видя их вместе, имею способ сделать какое-нибудь новое открытие, но когда Мария осталась одна, когда заметил я, что она с каждым шагом ко мне приближается, то я почувствовал в себе одно желание: не видеть ее!.. О Боже! Мария, к которой душа моя была так привязана! Мария, которой наружность отвечала моему сердцу!.. Я опрометью прибежал домой; бросился в кресла; закрыл глаза и против воли воскликнул: несчастный! Ах, первая горесть первой любви, как нестерпимы твои мучения! Куда сокрылось то счастье, которое обещал я себе в воображении? Одна минута сия превзошла все горести, которые ужасали меня в будущем. Я не дышал, не мыслил; я мучился.

Прошло несколько часов, я их не заметил. Я забывал о батюшке, но он мною занимался, он сам после обеда пришел в мою комнату; я встал, не говоря ни слова; он посмотрел мне в глаза, опять посадил меня на кресла, придвинул к ним маленький стул и, севши подле меня, сказал: «Для чего ж не прямо к моему сердцу, неблагодарный? Разве я не имею слез для твоей горести? Разве душа моя затворена для твоего счастья?». Слезы потекли струею из глаз моих; я зажал руками лицо. Батюшка, взявши мою руку, принудил меня открыться; я бросился к нему на грудь, целовал ее; наконец воскликнул:

— Батюшка, пощадите меня, все горести любви в моем сердце!

— В твои лета, мой друг, жизнь прелестна по одним только привлекательным ее заблуждениям; говори со мною откровенно; скажи мне, что происходит в твоём сердце?

Как обнаружить перед рассудком отца моего печаль, произведенную двумя или тремя словами? Он выслушал меня с терпением друга, имеющего одинакие со мною лета и одинакие склонности; входил во все мои чувства. Батюшка, восклицал я иногда, счастье представилось мне только вдали, на одну минуту; оно пленило меня и скрылось... Я старался переселить в него свою досаду, описывал кокетство Марии, описывал суетность, которая заставила ее пожертвовать любовью фортуны и гордости... Батюшка слушал меня в молчании; каждое слово мое обвиняло Марию. Наконец он сказал:



— С каким жаром ты будешь опровергать завтра те самые обвинения, которыми стараешься убедить меня ныне!

Душа моя озарилась внезапным светом, новая, никогда не испытанная горесть мною овладела; я обвинял Марию, тогда как имел во власти последнее утешение, быть великодушным. Великодушным! Но был ли я справедливым, взял ли на себя труд выслушать ее оправдание.

— Батюшка, — воскликнул я, — забудьте мою безрассудность.

— Нет! Я хочу узнать все подробности обращения Марии с Эдвином!

— Нужно ли это? Любовь моя не существует! Я не имею права рассматривать поступков Марии!

— Артур, неужели ты боишься потерять свое сомнение?

Он просидел со мною до половины ночи; холодный рассудок его умирал исступленное мое сердце, но я остался несчастнее. Ах, для чего похищать у меня мою любовь! Для чего лишать меня горестной отрады делать упреки!

*13 августа.* Бедное, слабое творение! Вчера я решился никогда не видеть Марии; а нынче ишу ее и чувствую, что не искать Марии выше моей силы! Без всякого решительного намерения иду в парк лорда Сеймура; он сам попадается мне навстречу; я с тайным удовольствием уверяю себя, что нет возможности от него избавиться, и следую за ним в замок. Мы входим в гостиную; Мария смотрит на меня с беспокойством. Спрашивают, что со мной сделалось; удивляются; говорят, что нет на мне человеческого лица, что я переменялся ужасно. Отвечаю, что накануне я страдал чрезвычайно, что и теперь еще страдание мое не миновалось. Мария, думал я, ты должна быть уверена, что я не уважил бы такого страдания, которому не ты причиною. Лицо ее покрылось бледностью; вся душа моя пришла в волнение; хочу подойти к Марии, хочу ей сказать слово любви и отрады, но тайный голос, который меня преследует, который меня терзает, голос неумолимый, воскликнул во глубине моего сердца: она так же бледнела от горестей Эдвина! Ах, если душа моя принадлежит Марии, то для чего же Мария не может разрушить во мне мучительного воспоминания и удалить от меня смутных мыслей о будущем? Для чего же, не находя никакой привлекательности в остатке моей жизни, я не могу ограничить бытия моего теми только минутами, в которые вижу пред собою Марию? — Я сел подле нее; Сара заслоняла меня стулом; опустил на руку свою голову и молчал, но я не мог бы говорить и тогда, когда бы остался один на один с Мариею: говоря, я только что усилил бы мое мучение, но, чувствуя, что она подле меня, я успокоивался одним очарованием ее присутствия. Она смотрела на меня с трогательным, унылым вниманием; на лице ее написано было беспокойство, но она молчала, и я благодарил ее за это

молчание, которое казалось мне пощадою. Для страждущей души, так точно, как и для больного тела, есть опасные минуты слабости, минуты, в которые знакомые звуки милого голоса произвели бы в ней потрясающие ужасное и вновь раскрыли бы все ее раны.

Мало-помалу я пришел в себя и мог владеть самим собою. Первое слово, которое дошло до моего слуха, была жестокая насмешка, сказанная насчет одного семейства, случайно пришедшего в бедность. С удивительным хладнокровием рассуждали о состоянии несчастных, истинно достойных сожаления. Одни обвиняли их самих в оплошности; другие утверждали, что им нельзя было не предвидеть того, что с ними случилось; все вообще были уверены, что им оставалось еще много способов *не умереть с голоду*. Я начинал сердиться; вдруг слышу голос, тихий, прелестный, голос Марии: «Счастливыцы, — сказала она с выражением, ей одной свойственным, — слишком разборчивы на несчастье». Эта гармония милого голоса, это единственное, магическое слово, сказанное и слышное одному мне, это согласие в чувствах и мыслях — все оправдывало Марию в моем сердце. «Мария, — отвечал я ей также тихо, — не знаю, называть ли мне себя виновным или навсегда отказаться от счастья, но прежде нежели наступит вечер, эти несчастные будут утешены. Произнося твое имя, я выведу их из бездны! Наши имена, по крайней мере на этот раз, будут благословляемы вместе».

Какое горестное беспокойство изобразилось во взорах Марии! Но я удалился. Нет! Мария, не здесь, и не в одну минуту, и не одним словом ты можешь возратить моему сердцу спокойствие: хочу, чтобы в моем присутствии ты рассмотрела все свои чувства; хочу вместе с тобою пройти мысленным взором минувшее время твоей жизни. Ах, если бы я нашел в тебе ту самую Марию, которая представилась мне при первом на тебя взгляде, ту самую Марию, которая одна на земле знакомила меня с небесами.

*15 августа.* Напрасно просидел я целые послеобеда у лорда Сеймура: Мария не являлась. В восемь часов приносят к милади Сеймур от нее записку; она прочла и подала ее милорду, который, пробежав ее глазами, отдал назад с усмешкою презрения и начал играть с своими собаками — единственное его прибежище, когда он сердит или очень весел; он гладил их, дергал за уши, бранил — одно слово меня поразило: «Я тебя люблю, Диана, — сказал он одной из собак, той, которая была сердитее и резвее, — люблю за то, что ты не имеешь чувствительного сердца». С каким выражением произнес он последнее слово! Мне казалось, что оно сказано было на счет милади Сеймур, которой лицо запечатлелось сердечным унынием. Где Мария (спросил я у самого себя с трепетом)? Бегу в парк и прямо к жилищу Эдвина. Окна белого домика

были задернуты занавесками; я не слышал ни малейшего шороха. Какое волнение в моем сердце! И вокруг меня какое спокойствие! Вслушиваясь; едва дышу, повсюду глубокое безмолвие.

Ничто не уверяло меня, что Мария находилась близко, но тайное, неизъяснимое чувство препятствовало мне удалиться. Я сидел под дубом, у самого домика, и мучился горестными мыслями. Быть может, на самом это месте, говорил я самому себе, уверял он ее в любви; здесь, может быть, оплакивала она разлуку с Эдвином. И я воскликнул сим воплем души, который и теперь еще звучит в моем слухе: «Мария, никогда не будет он любить тебя моей любовью!» Какой ужасный взгляд обратил я на самого себя в эту минуту! Как живо представилось моему воображению все то, что я готов был сделать для ее утешения, для ее счастья! Вся душа моя вопияла: удержи, останови Марию, скажи ей, для чего теряет она ту любовь, в которой заключено ее счастье! И при каждой горести, при каждом воспоминании, при каждом волнении те же слова и тот же голос отзывались в душе моей: никогда не будет он любить ее моею любовью!

Забывшись, не чувствуя, что делаю, чего желаю, иду к дверям маленького домика; залаяла собака, и в ту же минуту отворилась дверь: Мария выбежала ко мне навстречу.

— Войдите, — сказала она, — мы вас ждали; он очень дурен.

Я схватил ее за руку; я воскликнул таким голосом, который самого меня привел в ужас:

— Мария, ты здесь? В какое время!

— Ах, Боже! — сказала она тихо и с трепетом, — этого несчастья не доставало мне!

Ноги ее подогнулись: я взял ее на руки, посадил на ступень; Мария, слабая, трепещущая, не лишилась чувства; она смотрела на меня и молчала; я имел время собраться с духом.

— Располагайте мною, — сказал я ей с принужденным спокойствием, — могу ли быть полезен Эдвино?

— Эдвино! Кто говорил вам об Эвине?

— Что с ним сделалось, болен, ранен? Говорите!

— Отец его при смерти: я дожидаюсь здесь лекаря.

Она замолчала; грудь ее спиралась рыданием. Каждая слеза Марии падала на мое сердце и его палила. О, как много должна она любить Эвина, когда опасность отца его могла огорчить ее так сильно!

— Мария! Позвольте мне проводить вас в замок!

— Нет, нет! Он умирает; могу ли снести, чтобы он искал меня, и искал напрасно затворяющимся своим взором, чтобы он проклинал меня в последнюю свою минуту!

— А мне, Мария, неужели проклинать тот час, в который судьба показала тебя моему сердцу?

Мария положила обе руки на мою руку.

— *Артур*, — сказала она; еще никогда не называла она меня Артуром. Это имя проникло прямо в мою душу. Мария! Кто открывает тебе всегда то слово, тот взгляд, которым не может противиться мое сердце, которые подчиняют тебе мою волю?

— Артур! Теперь не могу сказать вам ничего, завтра поутру придите к хижине. Мы увидимся, если позволит матушка. Я встану и приду очень рано!

— А теперь?

— Теперь нам надо расстаться!

Она удалилась, не дожидаясь ответа, не слушая моих упреков; я звал ее; Мария слышала мой голос; оборотила голову, но она не захотела ко мне возвратиться... О Мария! Придет то время, в которое перестану тебя любить, время, когда найду утешение в одном слове: *я уже не люблю*; тогда против несчастий моих буду вооружен единым словом: *я уже не люблю*; тогда я перестану чувствовать; тогда я все найду в собственных своих силах; тогда и самый след любви изгладится из моего сердца.

*16 августа.* Заря еще не занималась, когда я пришел на то место, которое назначила мне Мария. Долго сидел я на камне, смотрел с унынием на расцветающий восток и думал о том, что скажет она в свое оправдание. Одно любопытство, а не любовь, так уверял я самого себя, заставило меня предупредить утро и ожидать здесь прихода Марии. С каким недоверчивым чувством внимал я мысленно голосу непорочности, уверениям невинного ее сердца! Все прежнее очарование Марии, ее стыдливая скромность, ее выразительное безмолвие казались мне одними приманками искусства, словом, я готовился признать ее виновною; я осуждал Марию, но я уверен, что горестный вопль удивления и отчаяния исторгся бы из моего сердца, когда бы Мария сама подтвердила передо мною те обвинения, которыми обременял я ее мысленно в своей несправедливой досаде.

Наконец она явилась. И теперь еще вижу это увядшее лицо, эту медлительную, трепещущую походку, этот унылый, сладостный взгляд. При первом на нее взоре укоризна умерла на языке моем. Мария, мне ли извлекать слезы из милых твоих глаз, которые так много, так часто их проливали!

— Артур, — сказала Мария, — вам говорили об Эдвине...

Я хотел наименовать сестру ее, но Мария продолжала:

— Не хочу знать, кому обязана я этим новым несчастьем; чувствую, что для меня было бы трудно простить ему.

Она отворотилась; я хотел войти в хижину.

— Останемся здесь, — сказала Мария, — не будь ничего между мною и небом: оно одно справедливо и видит глубину сердца!

Мария села на дерновую скамью; замолчала; еще раз отворотилась, чтобы скрыть от меня свои слезы, которые тихо падали с длинных ее ресниц; и я, видя сии прелестные слезы, забыл и досаду свою, и любовь, и будущее, и самого себя: я чувствовал одну ее горесть, и сердце мое разрывалось. С каким нетерпением ожидал я первого ее слова! Наконец Мария сказала:

— И вы могли быть таким жестоким; осудить Марию, не выслушав ее оправдания; оставить Марию, не сделав ей ни одного упрека! Что ж, если бы она была виновна и виновна перед Артуром? Назовите другое несчастье, более чувствительное для ее сердца!

Она еще не сказала ни слова в свое оправдание, но вся душа моя признавала уже ее невинною. Во взоре Марии была такая чистая непорочность, ее доверенность ко мне была так спокойна, так неизменяема! Я смотрел на нее с восхищением.

— Простишь ли меня, Мария, — сказал я, — перестанем думать о прошедшем; нам принадлежит одно будущее. Сейчас иду к милорду Сеймуру, бросаюсь к ногам его, прошу твоей руки, но, — прибавил я, — в состоянии ли ты забыть...

Я не мог продолжать; язык мой не в силах был произнести имени Эдвина; Мария произнесла его.

— Конечно, забыть Эдвина, — прибавила она с горькою усмешкою, и взор ее устремился на небо, как будто призывая его в свидетели моей несправедливости. — Не знаю, что сказано вам насчет Эдвина, и на что мне знать. Выслушайте меня, Артур! Вчера целый вечер думала я о прошедшем; все обстоятельства, все поступки, все чувства, сами по себе слабые и почти неприметные, но важные по одному воспоминанию и следствиям, все обновилось в моей памяти; ничто не ускользнуло от моего взора: он все узнает, говорила я самой себе; и счастлива буду, если найду то выражение, которое согласно с его мыслию, то чувство, которое должно уничтожить его недоверчивость.

Не стану говорить вам о несчастиях моего младенчества; они должны быть для вас понятны. Тысяча обстоятельств, мелких, для постороннего невидимых или неважных, делали их для меня ощутительнее. Матушка принимала их слишком живо к своему сердцу; и я, вместо того чтобы искать в ней утешителя, всеми силами старалась скрывать от нее свои печали. День рождения моих сестер был днем удовольствия и праздника в замке Сеймура, но для меня, забытой отцом моим, ни один день не приносил счастья: в году не было ни одного дня, о кото-

ром бы я сожалела, которого могла бы ожидать и могла бы радоваться заранее. Назад тому два года как тетушка, милади Индиана, праздновала рождение Эльмины. Всех наших соседей пригласили на бал, в том числе и Эдвина с его отцом. Молодой человек, будучи застенчив и робок, не смел принимать участия в удовольствиях праздника; я была печальна и удалялась от людей. Эдвин не имел никакого имени; я не имела никакого состояния: и я, и он были не примечены, забыты; мы оба очень скоро заметили свое одиночество среди многолюдства. Нет, мы не сами искали друг друга, но счастье, но счастливицы, оттолкнувши нас от своего сообщества, сблизили сердца наши невольно; с той самой минуты я начала замечать, что все поступки мои занимали Эдвина; и признаюсь вам откровенно, сам Эдвин сделался для меня заметнее с той минуты. Часто находила я в этой хижине любимые свои цветы; в иное время попадалась мне книга, которую желал он заставить меня прочесть; короче, тысячи мелких воспоминаний, освященных в глазах моих общим несчастьем и всегда казавшихся мне непорочно привязанностию брата, всякую минуту говорили мне об Эдвине.

В это время занемогла матушка опасною болезнью. О, как мучительно было для меня это время! Я проводила ночи у ее постели; мне казалось, что, потеряв ее, не буду уже привязана ни к чему на свете. При каждом малейшем облегчении душа моя летела к небу. Сохрани ее, милосердное Провидение, повторяла я, обливаясь слезами. Но всякий раз, когда она чувствовала себя хуже, я умоляла Бога о собственной смерти. Ах, прибавила она, взглянув на меня глазами упрека, я не любила Эдвина; он никогда не приходил мне на память в минуту опасности; воспоминание об Эдвине представляло мне одно утешение; никогда, никогда не обещало оно мне счастья.

В одно утро, матушка почивала; я вышла в сад и встретила с Эдвином у самой хижины. С каким прискорбием говорил он со мною о матушкиной болезни, с каким участием входил во всякое страдание моего сердца! Не знаю, с чего пришло мне в голову сказать ему о том беспокойстве, которое матушка в часы беспмятства обнаруживала насчет моей будущей участи; описывая Эдвину выражения материнской горести, я плакала. Артур, вы никогда не бывали несчастны, вы не знаете, как можно видеть друга в том человеке, перед которым проливаешь слезы.

Эдвин, прощаясь со мною, сказал, что всякое утро будет приходить к хижине осведомляться о состоянии матушки. Дружба его меня трогала; я дала Эдвину слово извещать его сама о всех переменах матушкиной болезни; я почитала это святым долгом; и в самом деле всякий день видалась с Эдвином на этом месте, иногда на одну минуту, сказывала

одно слово и уходила; иногда, если матушка или почивала, или чувствовала себя лучше, или казалась веселее, проводила с ним более получаса, но я не помню, чтобы во все это время случилось мне хотя один раз не думать единственно об ней. Скоро начала она поправляться, и я не отходила уже от нее ни на минуту. Мы редко видались с Эдвином; он досадовал, жаловался: я находила его слишком взыскательным; сожалела, что он так вспыльчив, но сказать ли вам, Артур? Я мало заботилась о его недостатках; я никогда не думала, что буду от них зависеть.

Она остановилась; она посмотрела мне в лицо, как будто хотела вообразить все то, чего могла опасаться от моих недостатков.

— Матушка была еще слаба, не выходила на воздух, но всякий день приказывала мне прогуливаться в парке. В одну из этих прогулок Эдвин предложил мне посетить его родителей. Я согласилась. Чистота и порядок, которые царствовали в доме его, меня поразили. Вы знаете, что в нашем замке матушкина комната убрана моими рисунками. Я никогда не думала, чтобы Эдвин их заметил; вообразите ж мое удивление, когда я увидела в комнате его матери точно мои рисунки, расставленные в таком же точно порядке, в таких же точно рамах, как и у матушки. Я покраснела; не могла поднять глаз; чувствовала, что это внимание было слишком нежно, что сердце мое неспособно было ему ответить.

По словам его матери, которая не знала еще меня в лицо, могла я увериться, что Эдвин мною занимался, и очень много; мои обстоятельства, мои любимые выражения, мои привычки, мои занятия, мой образ жизни, словом, все до малейшей подробности было ей известно; я видела перед собою человека, для меня нового, но которого душа, казалось, была неразлучна с моею от самого начала моей жизни.

После завтрака она ввела меня в библиотеку Эдвина; другое удивление. У батюшки в библиотеке находятся два портрета, матушкин и его, висящие один подле другого; здесь почти то же: я увидела Эдвина портрет, одинакой величины с батюшкиным, в таких же рамах, и рядом с ним картину. Я не могла не почувствовать, что все, изображенное на ней, относилось единственно ко мне: комната, на стуле гитара (я играю довольно изрядно на гитаре); на столе книги, те самые, которые давал мне читать Эдвин; корзина, похожая на мою и полная любимых моих цветов; ленты — самые те, в которых Эдвин увидел меня в первый раз на бале; словом, все, что напоминало обо мне, выключая одной меня.

Я чувствовала, говорю вам, что все, изображенное на картине, относилось ко мне, но показать, что это чувствую, считала я неприличным; может быть, я ошиблась, но разве Эдвин не имел бы права мне ска-

зять: какая связь между вами и лентами, гитарою, корзиною, книгами? И вы сами, Артур, что бы подумали теперь, если бы тогда осмелилась я упрекнуть Эдвина? Вы подумали бы, может быть, что я дала ему право мыслить, будто мое сердце или мое самолюбие угадали его чувства!

Мария смотрела мне в лицо, старалась проникнуть в мое сердце, но чувства мои были для самого меня неизъяснимы: такая точность во всех подробностях, касавшихся до Эдвина, приводила меня в досаду; я мучился; душа моя возмущалась, но я молчал, удерживал вздохи.

— Я боялась, Артур, что вы не будете мною довольны, — продолжала Мария, — но я надеялась, я чувствовала, что вы не можете не извинить меня!

Она опять замолчала, ждала ответа... Напрасно! Мог ли я отвечать; неподвижный, угрюмый, мучимый ожиданием, уверенный, что еще одно признание, и любовь моя должна исчезнуть.

— Ах, ради Бога, прервите это ужасное молчание! Вините меня, Артур, но дайте мне средство себя оправдать!

Слезы стремились из глаз ее. Какое молчание! Бедная, бедная Мария, как жестоко тебе за него отмстили. Отмстили, Мария, за кого отмстили?

— За этого несчастного Эдвина! Он меня любил! Ах, он поверил бы моему слову, увидя мои слезы!

— Поверил! Ах, я слишком верю тебе, Мария, оттого-то и чувствую так живо, что все разлучает меня с тобою навеки!

— Разлучает!

Она упала при этом слове на скамью и снова подняла глаза свои на небо, но с такою непорочною, тихою покорностию, что этот единственный взор возобновил в душе моей всю прежнюю любовь; казалось, что она говорила Богу: Он сказал, чтобы я была несчастна, и я буду несчастна.

— О Мария, — воскликнул я в свою очередь, — всегда, всегда найдете во мне истинного друга!

Слово «друг», которое для любви моей казалось ужасною угрозою, принесло некоторую отраду ее сердцу.

— Завтра буду здесь опять, — сказала она. — В это время обыкновенно просыпается матушка; продолжительная моя отлучка может ее удивить: я буду не в силах вынести ее упрека... На что мне новая горесть!

*22 августа.* Пять дней сряду я приходил к хижине; Мария не являлась. Нынче она предупредила меня; я не предчувствовал ее присутствия, шел тихо, как будто против воли, и, признаться ли в моем безумстве, я испугался, увидя Марию. Так, во дни моих восторгов, во дни моей надежды, я угадывал, что она меня ожидала; я чувствовал себя



счастливым, сам не постигая причины своего счастья: а ныне, в первый еще раз, прихожу сюда без волнения, медленным шагом и, при виде Марии, едва не вырвалось из моего сердца: «Мария! Для чего мы в таком отдалении друг от друга? Что разлучило меня с тобою, Мария? Неужели придет такое время, когда мы будем встречаться, подобно незнакомцам, которые видят друг друга, видят и сомневаются, вместе ли они, или розно?» Но первое слово Марии охладило еще более мое сердце.

— Сядьте, — сказала она, — я не имею свободы; могу пробывать с вами одну минуту!

— Одну минуту! Зачем же приходите? Для чего не сказать ни слова о тех мучительных днях, в которые неизвестность и ожидание меня терзали?

— Хочу открыть перед вами мое сердце; хочу, чтобы вы могли вместе со мною читать в прошедшем.

— В прошедшем! Что нужды мне до прошедшего? Настоящее, настоящее — мой мучитель!

Она говорила, я не слушал; я старался объяснить для самого себя причину внезапной своей холодности, но мало-помалу трогательный, всегда очаровательный голос Марии достигнул до моего сердца; я узнал его, он пробудил мои воспоминания, пробудил мою любовь. Так, Мария! Твой сладостный голос рассеял мое недоумение. Милый друг, ожидавши тебя несколько дней напрасно, я должен был, наконец, потерять надежду и медленно идти на место свидания, на котором, быть может, опять тебя не было, которое, может быть, надлежало оставить с таким же унынием, с такою же неизвестностию, как и прежде. Как радовался я, угадав естественную причину того чувства, которое меня беспокоило! И я воскликнул с невольным восторгом: «Я все еще люблю тебя, моя Мария!» Но Мария и не сомневалась в любви моей; восклицание мое изумило ее.

— Какое новое беспокойство в вашем сердце, — спросила она улыбаясь.

Я не хотел открывать ей своего волнения, своего безумства.

— Говорите об Эдвине, — сказал я, — в последний раз, несравненная Мария!

— Не могу сказать вам, каким образом простилась я с матерью Эдвина. Слова без связи, приветствия, помню только то, что я не позволила Эдвину провожать себя в замок. Я возвратилась одна; долго, с унынием, на самом этом месте, размышляла о прошедшем, судила самую себя и находила виновною; тогда начала я сожалеть, что не имела доверенности к матушке: может быть, она предохранила бы мою неопытность от

обмана; заметила бы любовь в таком чувстве, в котором я замечала одну только дружбу; может быть, она извинила бы меня в ту самую минуту, в которую осуждала я себя так строго.

Прибавьте к этому первому проступку другой: я не смела говорить с матушкой о той привязанности, которую заметила к себе в Эдвине. Как сказать ей, что я не совершенно была с нею искренна, и матушка могла ли бы так ясно читать в моем сердце, могла ли бы понимать так хорошо, как я, что с каждым днем нечувствительно, можно сказать, без моего ведома, вина моя увеличивалась вместе с уверенностью добродушного Эдвина? Артур, поверьте, что не самолюбие удержало меня обнаружить перед нею все мое сердце, но я боялась опечалить матушку: я поразила бы душу ее в самое чувствительное место.

Весь этот день провела я в ужасном мучении. На другое утро я пряталась ото всех, чтобы не встретиться с Эдвином; к обеду надобно было выйти в гостиную: Эдвин первый представился моим глазам. Я обходилась с ним осторожно; была молчалива. Начиная ли он со мною говорить, я отвечала одним словом; подходил ли ко мне, я удалялась; короче, поступки мои показывали одно равнодушие. Эдвин смотрел на меня с изумлением; наконец, сам решился от меня удалиться. Это меня обрадовало и в то же время опечалило: мне жаль было потерять утешительную дружбу Эдвина. С этого времени, как я заметила, он начал показывать особенное внимание к Эльмине.

Эдвин очень умен; Эльмина почитается весьма ученою: тысяча безделок могли занимать их приятно. Долго не примечали они, что занимались единственно друг другом, что хотели друг другу нравиться, но Эльмина, которая привыкла целое утро сидеть за книгою, вдруг начала очень часто выходить из кабинета; не было конца прогулкам; и чем теснее дружилась она с Эдвином, тем положение мое становилось несноснее: встречаясь со мной на лестнице, она отворачивалась с неудовольствием; в гостиной разговаривала с одним Эдвином: то скажет ему на ухо слово и засмеется громко; то вздумает декламировать стихи, имеющие отношение к какой-нибудь тайне, касающейся до меня; то начинает бранить кокетство, бросая на меня значащие взгляды. Бог видит, была ли я кокеткою, но есть люди, перед которыми нельзя оправдаться ничем, которые не верят, чтоб можно было заставить любить себя без намерения.

Однажды все наше семейство прогуливалось в поле. Время было прекрасное; мы наслаждались одним из тех весенних дней, когда разливаются в воздухе благовоние и свежесть, когда натура так прелестна, что, кажется, видишь ее в первый раз. Веселой Саре вздумалось обежать одну из молодых наших родственниц, которая прогуливалась

вместе с нами; обе они так устали, что очень долго не могли перевести дыхания. Признаться, мне совсем не понравилась забава, соединенная с такою ужасною усталостью, и я отвечала в шутку Саре, когда она предложила мне бежать в мою очередь, надобно бегать только навстречу к тем, кого любишь. Напротив, чтоб удалиться от них, сказала Эльмина, взглянув на меня с негодованием. Она взяла Эдвина за руку и принудила за собою следовать; Эдвин повиновался, хотя несколько раз обращивал на меня свои взоры.

Все эти обстоятельства очень маловажны, но, Артур, самая малейшая подробность должна быть вам известна. Вечеру мы возвратились в замок. Эдвин скорым шагом прохаживался по зале; поравнявшись со мною, сказал он, не подымая на меня глаз: «Та, которая говорит, что надобно бегать только навстречу к милым, конечно, верит любви? Я этого не думал!». Вы догадываетесь сами, что я не отвечала. Эдвин несколько раз проходил мимо меня; равняясь со мною, он останавливался, ждал ответа; наконец уходит с досадою. Я чувствовала, что он на меня смотрел, и боялась поднять глаза; наконец, он опять приблизился, опять сказал мимоходом: «Мисс Эльмина говорит правду: бежать, чтобы удалиться!». Я посмотрела ему в лицо; это обещание равнодушия было мне приятно; какая досада сверкала в его глазах! Сердце мое сжалось; я опять потупила голову, вздохнула. Добрый Эдвин был истинно мне жалок: я не узнавала его, не узнавала той нежной снисходительной дружбы, которую привыкла находить в его сердце. Ах, если бы он мог остаться одним моим другом, с каким удовольствием говорила бы я ему об Артуре!

Я люблю Марию, как безумный. Душа моя, которая в одну минуту и зовет ее, и отвергает, привязана к ней всеми силами живейшей страсти. На что я здесь? Для чего мне говорить, что с ним приятно было бы ей заниматься мною? Каким очарованием всегда встречается ей такое слово, всегда находит она такой взгляд, которыми в одну минуту возвращает всю прежнюю нежность моему сердцу?

— Я начинала уже забывать Эдвина. В одно утро прихожу к хижине; он здесь. Удивляюсь, хочу идти назад, но он спрашивает у меня, неужели я способна его ненавидеть и ненавидеть там, где он так часто обо мне думал, так часто мечтал о моем счастье? «Здесь, — сказал он, — терзали меня все страсти, которые способны только волновать человеческую душу! Вам известен мой слабый и робкий характер». Я не смела ни отвечать Эдвину, ни удалиться. Выражение лица его было близко и к ненависти, и к любви. Одно слово мое могло возвратить ему или всю его нежность или всю его несправедливость. Тогда-то почувствовала я все опасности того чувства, которому предавалась с таким спокой-

ствием: они привели меня в ужас. И теперь, Артур, может быть, слово «ненависть» не произвело бы во мне смущения, но обещание дружбы заставило бы меня содрогнуться.

— Могли ли вы подумать, Мария, чтоб я когда-нибудь в состоянии был к вам перемениться? По крайней мере, имею право вам напоминать, что мне неприлично этого слышать. Нет! Выслушайте меня, Мария, прошу вас именем Бога: сердце мое принадлежит вам с той минуты, в которую оно вас узнало. Я обманывал себя надеждою, что вы разделяете мое чувство, но скоро этот обман миновался! Вчера сказал я самому себе: может быть, она способна почувствовать к тебе ту нежную, непорочную дружбу, которая принимает участие во всякой радости, которая снисходительна ко всем печалям, но я не знаю, — прибавил он с прискорбием, — что надобно называть мне радостью и что называть печалью?

Здесь Мария дала мне заметить, что Эдвин никогда не льстился ее любовью. Милая, милая Мария, как сильно желает она передо мною оправдаться; как живо я чувствую, что она невинна!

— Я хотела отвечать Эдвину, но он просил, чтобы я молчала. Я знаю, что Мария меня не любит, прибавил он; это уверение принудило меня его выслушать; и я сама могла ли что другое сказать ему? «Я еду в Индию, — продолжал Эдвин. — Один богатый родственник оставил мне наследство; через шесть месяцев возвращусь в Англию; может быть, лорд Сеймур, из уважения к моему богатству, отдаст мне руку Марии». «Мне никогда не приходило в голову быть женою Эдвина», — воскликнула я от удивления. Эдвин продолжал: «Я не смею и говорить о том, чтобы вы дали мне слово; прошу одного молчания. Сердце ваше еще свободно: для чего же лишать меня совершенно надежды?» «Но Эльмина?» «Ах, — воскликнул он, — простите ли вы меня, Мария; простите ль мне безрассудное мое желание произвести в вашей душе беспокойство? Так, я искал внимания Эльмины, но я хотел доказать Марии, что есть люди, которые способны любить меня». «Что ж, если она вас подлинно любит, и вы, Эдвин, могли играть ее сердцем, могли отважиться на несчастье целой ее жизни?» В эту самую минуту явилась Эльмина. Слышала ли она разговор наш, или нет, я не знаю, но ужасы ревности были написаны на лице ее: какое волнение, какая бледность! «Мария, — сказала она, — матушка тебя дожидается!». Я встала, хотела удалиться; Эдвин, приблизясь ко мне, сказал вполголоса: «Прежде отъезда я должен непременно узнать ваши мысли! Мария, не требую ничего, кроме молчания; оно заменит для меня надежду». В это время подошла к нам Эльмина, и я не успела отвечать Эдвину ни слова.

Пришедши в замок, узнаю, что матушка и не думала обо мне спрашивать. Она была одна; я открыла ей свое сердце; на коленях просила ее примирить меня со мною и показать мне верный способ, как уничтожить заблуждение Эдвина, которое усиливалось беспрестанно при всяком случае, без малейшего моего участия.

Конечно, Эльмина сказала что-нибудь о встрече моей с Эдвином батюшке; конечно, предупредила она его против нас обоих, ибо он после обеда обошелся со мною необыкновенно сурово; запретил мне приходить в гостиную прежде Эдвинова отъезда; обвинял в моей неосторожности матушку; она хотела оправдываться, хотела меня защитить; батюшка вышел из себя; слезы показались на глазах матушки; я забыла собственное огорчение и дала слово батюшке не видаться с Эдвином.

Не можете представить, как тягостно было для меня разлучиться с Эдвином, не уничтожив его безрассудной надежды. Что мог он подумать? Молчание мое не показалось ли ему тайным согласием? Ах, для чего я с вами не встретилась, для чего не узнала самой себя прежде Эдвинова отъезда? Прошло несколько дней, никто не мог сказать, что сделалось с Эдвином. В одно утро приносят ко мне от матери его письмо. «Сын мой, — писала она, — простился с вашим семейством; он видел вашего батюшку, видел ваших сестриц; он не видал только одних вас! К собственной горести моей присоединилась теперь ужасная мысль об отчаянии Эдвина. Она преследует меня, она разрушила мое спокойствие. Прошу вас: придите утешить горестную мать! Обещаю вам не говорить ни слова об Эвдине!» Я показала это письмо матушке; она позволила мне идти; я радовалась искренно, что, наконец, представился мне случай уничтожить Эдвиново заблуждение; шла поспешно; казалось, что с каждым шагом я возвращала себе некоторую часть моей свободы.

Нахожу Эдвинову мать в постели: она была больна; могла ли я решиться сказать ей в этот день что-нибудь печальное? В следующие дни унылость ее только что увеличивалась. Дул ли противный ветер: он останавливал Эдвина; поднимался ли попутный: он удалял Эдвина! Ах! Кто знает лучше матери, как удаление усиливает горечь разлуки! Я нечувствительно прилепилась к этой женщине, которая так мила, так привлекательна, что всякий человек готов отдать ей свою душу; а я, которой она желала нравиться, которой любви она искала, могла ли не плениться очарованиями сердца, привлекающего к себе все другие? Так, я люблю ее, люблю разделять ее печали. В последний раз, когда мы встретились с вами в ее доме, я приходила навестить ее мужа, который занемог опасно; теперь ему гораздо лучше, и я спокойна.

Она никогда не говорила мне о любви Эдвина и никогда не соглашалась уведомить его об истинном расположении моего сердца. «Я надеюсь на время, — повторяла она, — кто веселит себя надеждою на будущее, тот похищает много часов у несчастья?» «Но я не люблю Эдвина». «Можно ли не любить Эдвина?» «По крайней мере, не чувствую к нему ничего, кроме дружбы!» «Но знаете ли вы, что такое любовь?» «Нет!» Она приложила к губам своим палец: «Полно говорить об Эдвине!» Надобно было остерегаться, чтобы не сказать чего-нибудь для него печального: в этом месте, где он родился, где я видела всю его жизнь, мне кажется, что он нас слышит, что он между нами. Как надобно быть жестоким, чтобы решиться растерзать такое милое, материнское сердце! Но я, не думавши, без всякого намерения, уничтожила все ее надежды, все призраки ее счастья... С каким прискорбием заметила она привязанность мою к Артуру!

— Заметила, Мария? Скажите, почему вы это думаете?

— Однажды я произнесла ваше имя.

Она покраснела, потупила глаза; я первый раз осмелился прижать ее к своему сердцу; я не хотел ничего более слышать; Эдвинова мать поверила, что она меня любит; а я, я буду в этом сомневаться?

— Мария, ни слова об Эдвине. Произнеся мое имя, ты заставила ее верить, что я любим; повтори же его при мне, повтори это имя.

Она подала мне свою руку с непорочною нежностью, с ясным весельем, которое перелилось из души моей в ее душу; посмотрела мне в глаза и сказала:

— Артур, навеки!

*1 сентября.* Упоенный счастьем, мучимый беспокойством, я существую для одной Марии. Как часто она доводила меня до того, что я называл себя безумцем! Как часто заставляла меня улыбаться в самую минуту мучительной досады! Как часто единым словом, единым взглядом она разрывала мое сердце! Прошло несколько дней; ничто не нарушало безмятежного моего счастья. О наслаждение, которому нет имени! Едва удерживался я, чтобы не восклицать каждую минуту: я счастлив! Счастлив выше меры! Как она мила, как она привлекательна, моя невинная Мария! Если она никогда не угадывает того, что может меня рассердить, зато всякий раз найдет лучшее средство меня успокоить. Не безумство ли? Я досадовал иногда на милую, несравненную тихость ее характера.

Вчера Эльмина и Сара как будто нарочно согласились огорчать Марию. Она разливала чай, ничто не могло угодить их прихотям: вода была нечиста, чай был невкусен; несколько раз надлежало его переделывать. Мария, всегда покорная, всегда одинокая, старалась услужить

им, как будто было какое-нибудь средство успокоить досаду, не имеющую причины. Сара спросила у нее, что располагалась она делать поутру; конечно, хотела узнать, останется ли она дома, чтобы принудить ее выйти, так и случилось. Мария накануне дала мне слово провести все утро в кабинете своей матери; я хотел читать им новую книгу. Как я люблю читать, когда Мария меня слушает, сидя за пальцами! Когда она откладывает работу свою, чтоб лучше вслушаться в такое место, которое для нее занимательнее. Одно и то же слово, одно и то же положение поражают нас в одно время; никогда не отвожу глаз своих от книги, чтобы не встретиться с прелестными глазами Марии. Мария отвечала Саре, что она проведет все утро в комнате своей матери, и Сара до тех пор не оставила ее в покое, пока она не согласилась идти с ней в поле. Мария позабыла меня, Мария мною пожертвовала. Я рассердился, называл ее слабою; говорил ей, что она не имеет характера. Артур, отвечала мне Мария с своей очаровательной улыбкой, завтра, когда забуду и вашу досаду, и ваши упреки, вы назовете себя слишком счастливым, что любите Марию, которая, по словам вашим, не имеет характера. Я улыбнулся, в свою очередь; при ней никогда не могу оставаться недовольным, но я удалился с мучительным беспокойством: как можно, восклицал я, так зависеть от чужой воли, так покоряться тому, что окружает ее.

Видя перед собой Марию, я был уверен, что она из снисхождения исполнила желание сестры своей Сары, но удаляясь от нее, я увидел в этом поступке одну только слабость, одно забвение нашего условия провести утро вместе. Боже мой, как мог я с такой пламенной душой, с таким беспокойным характером предаваться чувству любви? Я должен быть или мучителем, или жертвою: не пощажу для Марии своей жизни, но я потребую, чтобы она и собственной жизнью пожертвовала мне без изъятия.

Мария, не давай никакого спокойствия моему сердцу! В ту самую минуту, в которую ты мне откроешь нежнейшие чувства, я, может быть, захочу подвергнуть их испытанию. Не часто ли случалось, что я притворялся угрюмым или непостоянным единственно для того, превзойдет ли твоя привязанность мою несправедливость? Не для того ли принимал я на себя наружность хладнокровия, чтобы увидеть, покроется ли прекрасное лицо твое бледностию, наполнятся ли твои глаза слезами? Мария, мой друг, моя супруга, с какой нежностью прижму тебя к моему сердцу, с каким восторгом буду говорить, что я тебя люблю, с каким любопытным беспокойством буду смотреть, возвратилась ли на лицо твое прежняя радость, сияет или твое лицо прежним счастьем! Вчера, когда я пришел к твоему отцу, ты не смела встать, не смела ска-

зять мне милого: *здравствуй*, но ты летела ко мне навстречу взглядом, улыбкой; о, как я был счастлив в эту минуту! Что же, сам не понимаю: конечно, дух-возмутитель вселил в меня притворное невнимание, далекое, слишком далекое от моего сердца: я подошел к твоей матери, сказал несколько слов твоим сестрам, но от тебя отворотился; я видел лицо твое в зеркале, я замечал твои движения; ты была в замешательстве, в нерешимости, готова была сделать неосторожность, чтобы ко мне приблизиться; тогда я опомнился, но мог ли я открыть тебе свое безумство? Как решиться похитить у себя некоторую часть твоего уважения, твоей доверенности? Скажу ли, как лишиться себя возможности волновать твою душу, взглядом уничтожить твое веселие, взглядом возвращать тебе радостную улыбку в ту самую минуту, как слезы готовы катиться из глаз твоих? О Мария, когда бы возможно изъяснить тебе все иступление моей любви! Но ты никогда, никогда не узнаешь, до какой степени она несправедлива; милый друг, ты всякий раз, вместо того чтобы обвинять меня, будешь искать в себе причины моих безрассудных странностей. Думаешь ли ты, что я не помню твоих слов, милых, трогательных слов, которые так живы в моем сердце. *Что я сделала*, сказала ты мне своим умоляющим сладостным голосом. Ты почитала себя виновною, потому что я казался тебе в неудовольствии. Милый, невинный друг, когда ты будешь моей, когда ты будешь всем моим счастьем, когда возьмешь у меня половину моей жизни, тогда не спрашивай Артура своего о причинах. Если увидишь меня угрюмым, несправедливым, прижмись к моему сердцу; пробуди меня своей тихостью, своим молчанием: душа моя никогда, никогда не в состоянии тебе противиться.

*10 декабря.* Прошло несколько недель, несколько месяцев; я не открывал своего журнала. Но мне легко будет возобновить все прежние мои впечатления: беспрестанно имел в душе своей Марию. Милый друг, близ тебя не замечаю, не чувствую ничего, кроме одной настоящей минуты: ни будущее, ни прошедшее для меня не существуют; в разлуке с тобою настоящее исчезает, живу одним воспоминанием, живу одною надеждою.

В одно утро я ехал из замка Сеймура, веселый, счастливый, погруженный в самого себя: милади Сеймур дала мне слово говорить с милордом о Марии. Вдруг лошадь моя, чем-то испуганная, кинулась в сторону; я не мог удержаться на седле, упал, ударился головою о камень, лишился чувств. Что сделалось со мною, не знаю; помню только, что я пришедши в память, увидел себя на постели, окруженного батюшкою, лекарем и милади Сеймур. Первая моя мысль и первое мое слово были о батюшке, и я благодарил за это Бога. Потом я спросил, по какому счастью милади Сеймур находилась подле меня? *«Успокойся»*, — сказал мне



батюшка; «*Живите*», — сказала мне милади Сеймур. Лекарь запретил мне говорить, угрожая оставить меня одного, если не буду лежать тихо. Я хотел нечто спросить у милади Сеймур, но она предупредила меня: «Мария здорова; я скажу ей, что вам лучше».

Милади вышла. В эту минуту я начал чувствовать жестокое мучение, крепился, не жаловался; батюшка сидел у постели, смотрел на меня с безмолвным вниманием; слезы катились медленно по щекам его; я подал ему руку; он сжал ее с горестною любовью.

— Ах, Артур, — сказал он, — жизнь моя кончилась бы с твоею.

А, неблагодарный, как часто, в исступлении страсти своей, призывал я к себе смерть! Думал ли я о слезах отца моего.

Наконец мне сделалось лучше. Батюшка не мог противиться моим вопросам, моему беспокойству о Марии. Он рассказал мне, что меня принесли домой с глубокою ранюю на голове; что медики сначала отчаивались в моей жизни; потом боялись, чтобы я не лишился ума. «В один день ты меня узнал, ты требовал со слезами, чтоб я соединил тебя с Марию. Пусть та, говорил ты, которую любил я так много, называет вас отцом, когда меня не будет. Мог ли я не исполнить последней просьбы умирающего моего сына? Иду к милорду Сеймуру; милади старалась смягчить его вместе со мною; Мария на коленях умоляла отца своего склониться на этот союз печали и слез. Я повторял слова твои: пусть та, говорил я, которую любил он так много, называет меня отцом, когда его не будет. Он тронулся моею горестью, моими слезами. Она ваша, сказал он, подведши ко мне Марию, располагайте ее судьбою, отвезите ее вместе с милади Сеймур в ваш замок; я скоро за вами последую. Мы приезжаем и находим тебя в ужасном беспамятстве; приближаемся к твоей постели, ты зовешь своего отца, требуешь от него Марии; будучи в моих объятиях, ты меня призываешь... Я говорил с тобою; повторял, что Мария принадлежит тебе, а ты молился Богу, ты просил Бога смягчить жестокое мое сердце. Какое состояние! Мой бедный Артур, единственное мое дитя, помешанный, страждущий, говорил беспрестанно о смерти, о разлуке, не зная своего положения, но чувствуя, что он терзается, что он умирает.

Как описать тебе страдание моего сердца! Мария не отлучалась от тебя ни на минуту. О мой сын, с какою кротостию, с каким терпением старалась она успокоить твой рассудок и привести в некоторый порядок твои идеи! В один день (никогда еще ты не казался так дурен) Мария становится на колени перед своею матерью, передо мною. Сын мой, продолжал он с торжественным видом, повторяю тебе слова Марии; пусть будут они всегда в твоём сердце; пускай разольют на всю твою жизнь сия неизъяснимую прелесть, которая неразлучна с воспоминанием не-

бесным: Я люблю Артура, сказала она, люблю в тысячу раз более, с тех пор как мне одной только можно любить его: соедините нас, соедините, пока еще лекарь не сказал ничего решительного о болезни его, пока еще его состояние неизвестно батюшке. Как, Мария, воскликнула милади, в твои лета навсегда привязать себя к безумному! Это слово меня сразило. Мария залилась слезами; с умоляющим видом простерла она свои руки к матери: «Никогда, никогда не произносите этого страшного слова; оно убивает меня. Матушка, вы меня знаете, думаете ли, что я могу забыть Артура, могу оставить его, когда он призывает, узнает и слушает одну только меня? Не вы ли позволили мне его любить? Ах, благословите нас прежде, нежели строгий отец, прежде нежели равнодушный свет начнут судить о той жертве, которую так охотно приносит ему мое сердце! Матушка, не довольно ли для меня любить Артура».

— Где она, — воскликнул я в восхищении, — где Мария?

Батюшка медлил мне отвечать: лекарь запретил ей ко мне являться. Я умолял, я требовал, чтобы мне показали Марию. Боже, какое чувство неизъяснимое, восхитительное наполнило мою душу, когда я услышал прелестную, легкую походку ее, когда увидел перед собою Марию!

— Ангел небесный, — воскликнул я, — правда ли, что ты готова остаться моею хранительницею, моим прибежищем, когда бы я потерял рассудок.

— Он еще сомневается, — сказала она батюшке.

Ах нет, я не сомневался, но я хотел, чтобы она сама произнесла это восхитительное уверение. Она запретила мне говорить, велела опять быть спокойным. С какою нежностью смотрела она мне в лицо, какая сладость растворяла мое сердце! Сердце мое к ней летело: она мое божество, мое счастье, мой рассудок; я видел очарование моей жизни. С каким удовольствием напоминала она мне, что в самые часы помешательства я понимал ее чувством, хотя не мог узнать глазами.

Я просил батюшку, чтобы нас соединили прежде совершенного моего выздоровления: в ожидании счастья заключается что-то ужасное. Покуда Мария не была моею, по тех пор страшился я, чтобы смерть не разлучила нас навеки; страшился возвращения моего здоровья, моей молодости, моего богатства; так, я воображал, что совершенство нашего счастья может вооружить против нас ее сестер. Милади Сеймур поняла мои чувства; она согласилась исполнить мое желание. Милорд Сеймур, она и батюшка были единственными свидетелями произнесенного мною обета: жить для счастья Марии.

Милая, добросердечная Мария, ты победила мое предубеждение; ты усмирила мою пылкость; ты успокоила мучительную мою ревность; я хотел тобою повелевать, но кротость твоя меня покорила.

## ДАВЫД ЮМ ПРИ КОНЦЕ ЖИЗНИ (Письмо Адама Смита к Виллиаму Страхану<sup>1</sup>)

С горестным удовольствием описываю вам последние минуты нашего почтенного друга, Давыда Юма, которого память навсегда останется для нас драгоценною. Он сам уверен был, что болезнь его неизлечима, но убежденный друзьями, решился испытать, не принесет ли ему какой-нибудь пользы путешествие, и в конце апреля выехал из Лондона. В Морпете встретился он с г. Гомом<sup>2</sup> и со мною: мы оставили столицу нарочно для того, чтобы увидеть нашего друга, надеясь, что найдем его еще в Эдинбурге. Господин Гом возвратился с ним в Лондон; и во все пребывание больного в Англии не отлучался от него ни на минуту, заботясь о нем, как друг чувствительный и нежный. Я, к сожалению, не мог последовать его примеру, простился с Юмом и отправился в Шотландию к матушке, которая давно ожидала моего приезда. Движение и перемена воздуха, казалось, имели благодетельное влияние на болезнь нашего друга: он прибыл в Лондон гораздо в лучшем положении, нежели в каком оставил Эдинбург. Медики посоветовали ему ехать в Бат<sup>3</sup>, к водам, которые произвели сперва хорошее действие; он сам начал было думать о состоянии своего здоровья, но скоро прежние припадки возвратились с прежнею силою: с тех пор он совершенно перестал надеяться выздоровления, покорился судьбе своей с веселым сердцем; смерть не представляла ему ничего ужасного, и мысль о ее приближении не нарушала ни на минуту обыкновенной ясности его духа. Он возвратился в Эдинбург, гораздо более расслабленный, но с тем же невозмущаемым спокойствием, с каким его оставил; по-прежнему занимался поправкою сочинений своих для нового издания; читал книги, разговаривал с друзьями и часто по вечерам играл в любимую игру свою — вист. Он был так весел, так жив и приятен в разговоре, что, несмотря на жестокие припадки болезни, никто не мог вообразить его в опасности. «Я обрадую ваших друзей известием, что вам гораздо лучше, — сказал ему однажды доктор Дундас, — ваше здоровье видимо поправляется!» — «Любезный друг, — отвечал Юм, — на что обманывать себя и других? Скажите им лучше, что я умираю так поспешно, что мои неприятели (если только их имею) не могут не отдать мне в этом случае должной справедливости, и так беззаботно, что истинные друзья мои должны более радоваться, нежели плакать!» Полковник Эдмондстон, просидев у него целый вечер, написал к нему на другое утро письмо, в котором с прискорбием говорил о близкой и вечной их разлуке; он заключил его прекрасными стихами аббата Шолье, который, размышляя о смерти своей, более всего сожалеет о

необходимости покинуть лучшего своего друга маркиза Лафара<sup>4</sup>. Философ наш был так великодушен и тверд, что друзья не опасались писать к нему как человеку умирающему; можно сказать, что мысль о смерти была для него привлекательна. Он получил при мне письмо полковника Эдмондстона, которое прочитал вслух.

— Признаюсь, — сказал я, — не могу еще отказаться совершенно от надежды: вы так спокойны и веселы, жизненные ваши силы так мало истощились, что я никак не воображаю вас близким к смерти.

— Надежда ваша, любезный друг, — отвечал мне Давид Юм, — неосновательна. Болезнь, которой я подвержен, всегда смертельна в мои лета. Вечеру я чувствую себя слабее, нежели поутру; утром чувствую себя хуже, нежели накануне. Самые жизненные силы мои ощутительно исчезают. Нет, мой друг, нам скоро и очень скоро надобно будет расстаться!

— По крайней мере, — отвечал я, — вы имеете самое сладкое утешение в минуту смерти, вы видите и друзей, и семейство свое совершенно счастливыми.

— Ваша правда, и это утешение так для меня чувствительно, — отвечал Юм, — что я, читая вчера Луциановы разговоры мертвых<sup>5</sup>, не нашел для себя приличным ни одного из тех извинений, которыми тени хотят избавить себя от переезда через Стикс на лодке Харона<sup>6</sup>; я не имею ни дома, который надобно было достроить; ни дочери, которой хотелось бы выйти замуж с хорошим приданым; ни заимодавца, с которого не худо было бы взять деньги. Право, не знаю, что сказать мне господину Харону, если, паче чаяния, вздумается попросить у него отсрочки. Важнейшее из всего того, что мне хотелось сделать в жизни, давно уже сделано. Положение родственников и друзей прекрасное. Могу ли не умереть с удовольствием? Например, я позволил бы себе сказать Харону: «Добрый старичок! Не будь поспешен; я поправляю свои сочинения для нового издания; осталось очень немного: нельзя ли подождать до тех пор, как все будет кончено? Мне очень хотелось бы знать, как примет публика мою поправку!» — «Пустое, — отвечал бы мне Харон, — таким извинениям не будет конца! Тебе вздумается опять что-нибудь поправить, а я скучай на берегу с пустою лодкою! Нет, господин рассказчик, садись и едем!» — «Потерпите, почтенный Харон, — сказал бы я ему опять, — вам, думаю, известно, что я писатель; дайте мне время найти некоторые истины, полезные людям, уничтожить некоторые предрассудки, словом, открыть человеческому роду глаза; прошу не более пяти лет отсрочки! Не более, как через пять лет буду иметь удовольствие видеть, что люди, благодаря моим сочинениям, сделались умнее! Войдите в мое положение, господин Харон, и будьте снисходи-

тельны!» — При этом слове мой Харон вышел бы из себя и топнул бы ногою. «Старый враль! — воскликнул бы он, замахнувшись на меня веслом. — Долго ли тебе мне докучать своими бреднями? Смотри, пожалуй, какая выдумка! Надеяться дожить до тех пор, как люди сделаются умнее, не то же ли значит, что надеяться быть бессмертным? Полно рассуждать, ленивец, полезай в лодку, мне скучно!»

Умиравший Юм никогда не старался показывать своего великодушия и своей твердости; он говорил о смерти в таком только случае, когда начинали об ней говорить другие, следственно, довольно часто, потому что друзья его беспрестанно приходили наведываться о его болезни. Забавный разговор, который описал я вам выше, был последний между мною и нашим общим другом. Скоро он ослабел чрезвычайно, и самые друзья сделались ему в тягость; несмотря на то, спокойствие духа его было так постоянно, его веселость, добродушие, снисходительность так неизменяемы, что он не показывал и виду неудовольствия, продолжал приятно разговаривать с друзьями, хотя после каждого разговора чувствовал большое расслабление в своем теле; казалось, что он хотел посвятить дружбе угасающие свои чувства, пользовался ими, сколько мог, и даже не хотел замечать, что они истощались. Однако он требовал сам, чтобы я оставил Эдинбург (где жил единственно для него) и возвратился к матушке в Киркальди<sup>7</sup>. Я согласился исполнить его требование, но с тем, чтобы он присылал за мною всякий раз, когда пожелает меня видеть. Мы расстались. Господин Блак, доктор его, обещал извещать меня, сколь можно часто, о состоянии больного.

Августа 23 получил я следующую записку от самого г. Юма:

*«Эдинбург, 23 августа, 1776.* Будучи очень слаб, любезный Смит, я принужден просить моего племянника, чтобы он написал за меня это письмо. Я скорым шагом приближаюсь к могиле. В последнюю ночь была у меня лихорадка, я надеялся, что она прекратит мою скучную болезнь вместе с жизнью, но по несчастию, она миновалась. Не зову вас к себе; ваше присутствие здесь не может быть полезно. Доктор Блак будет извещать вас подробно о состоянии моей болезни. Простите, добрый, почтенный друг! Простите!»

Через три дня получаю от доктора Блака следующее:

*«Эдинбург, 26 августа, понедельник.* В субботу, в четыре часа пополудни, скончался почтенный г-н Юм. Ночью, с четверга на пятницу, заметил я первые признаки близкой его смерти; болезнь усилилась чрезвычайно, и наконец расслабление сделалось так велико, что он не мог уже отделить головы от подушки. Несмотря на то, до последней минуты сохранил он и память, и чувство; до последней минуты был терпелив,

спокоен, даже весел. Я не слышал ни одного выражения скорби; он разговаривал со мною ласково; дружески смотрел на предстоявших. Скоро отнялся у него язык; он выражался взорами, исполненными любви и нежности; наконец скончался; душа его до самой кончины сохранила свою веселость; он помнил об вас, но запретил к вам писать, не желая, чтобы спокойствие последних минут его возмущаемо было печалью разлуки».

Так умер наш друг, достойный, незабвенный Давыд Юм. Многие не будут с ним согласны в философических мнениях. Одни будут опровергать их, другие оправдывать, но все вообще должны согласно мыслить о его характере, благородном и беспорочном. В самом деле, все качества его были приведены натурою в какое-то счастливое равновесие: с этой стороны не знаю подобного ему человека. Будучи беден и совершенно ограничен в своих нуждах, он никогда не пропускал случая благотворительствовать и был великодушным на деле. Умеренная жизнь его имела в основании не скупость, а благоразумную любовь к свободе. Несмотря на слабое сложение тела, он был характером тверд, решителен, во мнениях постоянен. Шутливость его в разговоре была не иное что, как непринужденное изливание добродушия и веселости, соединенных с тонкою скромностью; острые слова его не имели ни малейшей колкости, напротив, были приятны и забавляли тех самых людей, на счет которых были сказаны. Друзья пленялись его веселостью; они предпочитали всему приятную беседу Юма, и сия веселость характера, столь привлекательная в обществе, но часто неразлучная с ветреностью или слишком легкими качествами, соединена была в нем с трудолюбием, деятельностью, глубокомыслием, необыкновенною быстротою понятия и обширною ученостью: словом, Давыд Юм во все продолжение жизни своей и в самую решительную минуту кончины представляет нам образец мудреца добродетельного! Он столько приблизился к идеалу совершенства, сколько возможно человеку, творению слабому, ограниченному, непостоянному. *Адам Смит.*

(С английск.)

## БЕДНАЯ НИНА

(Истинный анекдот)

Многие из путешественников, находившихся в 1800 году в Париже, конечно, имели случай видеть бедную Нину, которая всякий вечер приходила к Лувру, садилась на камень, играя на гитаре, пела; мимохо-

дящие останавливались, слушали, давали ей деньги. Однажды, ввечеру, я шел мимо этого места. Жалобный, трогательный голос бедной Нины поколебал мою душу; приближаюсь; вижу миловидную, двадцатилетнюю женщину, в черном платье, весьма опрятном, хотя очень бедном. Она пела романс, и каким голосом, с каким выражением! Подле нее сидела старушка, с чашею, в которую слушатели бросали деньги. Нина замолчала, положила гитару, потупила глаза, вздохнула; зрители, из нежного уважения к ее несчастью, поспешили удалиться, но я остался: непобедимое сострадание меня удерживало. На дворе было уже темно; певица и старушка встали, пошли; я последовал за ними в отдалении: Нина имела стан прекрасный, походку легкую, приятность во всех движениях. Они идут в предместье С. Жермень, к старому дому в три или четыре этажа; скрываются. Я останавливаюсь, не зная, идти ли за ними, или нет; наконец решаюсь идти: всхожу по крутой лестнице в третий этаж, отворяю дверь, вижу бедную комнату, в которой горит ночник. Старушка и Нина испугались, спросили в один голос: чего мне надобно? Я начал извиняться, уверял Нину, что искреннее сострадание, произведенное в душе моей трогательным ее голосом, заставило меня за нею последовать; что я желаю облегчить ее участь; что она должна иметь ко мне доверенность. Бледные щеки Нины оживились легким румянцем; в глазах ее изобразилась благодарность.

— Милостивой государь... милостивой государь..., — сказала она с нежностью..., но вдруг, как будто одумавшись и вспомнив свое несчастье, остановилась, потупила голову; глаза ее померкли... — Нет, — прибавила она с глубоким вздохом, — для меня не может ничто перемениться.

Она указала мне, молча, на кровать; я взглянул, и сердце мое замерло. Молодой человек, приятного лица, но бледный, как смерть, с тусклым, помутившимся взглядом сумасшедшего, представился взору: волосы на голове его были включены; он не замечал нас, он что-то перебирал руками; смотрю, вижу перед ним множество бумажных фигур, которые он раскладывал, приводил в порядок, опять перекладывал.

— Нина, — воскликнул он диким голосом, не подымая головы.

Нина подошла.

— Чего тебе надобно, бедный мой Бастиень, — спросила она, приподняв черные, густые волосы, которыми закрыты были его глаза, и смотря на него с унынием.

— Сделай мне другого купца, этот будет изрублен с женою и дочерью...

Он опустил голову на подушку; глаза его неподвижно устремились на лице Нины; он умолк, через минуту затрепетал; протяжный, болезненный вздох вырвался из его сердца:

— Ох, злодеи, — воскликнул он, закрывая лицо руками; я отворотился с ужасом; Нина рыдала.

— Этот несчастный — мой муж, — сказала она, — видите, в каком он положении. Ах, государь мой, с ним поступили ужасно. Недавно хотели его от меня взять; но я скорее расстанусь с жизнью, нежели с ним: нет, мой бедный Бастиень, Нина тебя не покинет.

Она села на кровать и поцеловала его руку.

Я посмотрел вокруг себя: в тесной комнате едва было место для кровати, маленького стола и двух стульев; в головах Бастиеня стоял налож и на нем распятие; в углу висел образ Богоматери.

— Вы, верно, любопытны узнать, кто мы и что с нами случилось, — сказала Нина. — Отец моего мужа был купец, довольно богатый; он жил на улице С.-Жермень, в огромном доме; я жила с матушкой на той же улице, в бедной хижине. Мы питались рукоделием: шили белье, вязали чулки. Я часто приходила в дом Бастиенева отца продавать свою работу; Бастиень покупал у меня чулки, разговаривал со мною, провожал меня домой к матушке; словом сказать, Бастиень полюбил меня, а я полюбила Бастиеня. Он не думал, что он богат, а я не думала, что я бедна: удивительно ли? Мне было не более пятнадцати лет, а Бастиеню двадцать два года с половиною. Ах, как мы были счастливы!

Нина взглянула на бедного своего мужа и закрыла глаза руками.

— Матушка умерла: Господь Бог взял ее к себе из милосердия, чтобы она не могла видеть несчастья своей дочери. Бастиень сказал родителям, что он меня любит, что он не хочет иметь никого, кроме меня, женою. Бастиенева мать, добрая, нежная душа, которой всего дороже было счастье сына ее, в ту же минуту согласилась благословить нас, но старый отец, человек упрямый, хотя совершенно добродушный, не хотел и слушать о женитьбе Бастиеня. Бастиень оставил родительский дом, принудил меня за собою следовать; мы соединились; наняли уголок в пятом этаже; несколько времени питались своими трудами: Бастиень учил рисовать и музыке; я шила и вязала чулки. Отец его упрямился; мать плакала, но боялась за него вступить, чтобы еще более не раздражить своенравного старика, которого могло успокоить одно только время. Сделалась революция; мы, живучи на чердаке своем, и не слышали о том, что происходило в Париже. Вдруг сказывают нам, что отец Бастиенев (это случилось в 1793 году)<sup>1</sup> признан подозрительным и брошен в тюрьму. Вы чужестранец, государь мой; вам не может быть известно, что значило в то время такое обвинение. Бастиень побежал к отцу, нашел его на соломе, со старушкою, своею матерью. Несчастье делает мягкосердечным: они помирились; старик захотел меня видеть, обнял, благословил со слезами. Я и Бастиень посещали их каждый день,



просиживали в тюрьме до самой ночи. В августе перевели их в аббатство, и мы расстались. Каждый день приходили к воротам страшной темницы: безжалостные люди не слушали нашей просьбы; ворота для нас не отворялись; мы всякий вечер принуждены были возвращаться домой с прежним унынием, с прежнею горькою неизвестностью. Наконец 2-го сентября дошел до нас слух, что в аббатство приказано собираться солдатам; что все колодники будут изрублены... Вообразите наш ужас! Бастиень бежит в тюрьму; ворота отворены... Боже правосудный, что он увидел: старика, отца его, тащат за седые волосы; мать его бьется с изрубленной головою; маленькая сестра бросается к нему на руки, кричит: *спаси меня*, ее убивают у него в объятиях; он обрызган ее кровию; он чувствует ее последнее содрогание, и в ту минуту, как хочет остановить саблю, поднятую на его отца, старик падает к ногам его, стонет; палач повторяет удар, рубит его перед глазами сына; он перестает кричать и умирает... Бастиень все это видел; он упал без памяти. Один добродушный сосед, сжался над ним, принес его домой... Боже, в каком положении!.. Дня через два нас разлучили: Бастиеня бросили в тюрьму; не понимаю, как я могла перенести эту разлуку; конечно, Господу Богу угодно было сохранить меня для того, чтобы несчастный мой Бастиень не погибнул от голода. Долго не знала я, что сделалось с Бастиенем. Год спустя (это было в июне), тот самый сострадательный человек, который вынес моего мужа на руках из аббатства, пришел ко мне с объявлением, что Бастиень свободен. Не пугайтесь, милая Нина, сказал он, Бастиень здесь; он следует за мною. Бегу к дверям; они отворяются; Боже мой, что я увидела? Бастиеня бледного, сухого, со всклооченными волосами, страшно обезображенного болезнью. Я громко закричала; кинулась к нему на шею; Бастиень стоял как деревянный, смотрел на меня быстро... Нина, сказал он. Ужасный хохот его привел меня в содрогание. О бедный, бедный Бастиень, он был помешан. Теперь вам все известно.

Нина закрыла глаза передником и рыдала. Бастиень смотрел на нее мутными глазами и ничего не чувствовал. Я вложил ей в руку полный кошелек, вышел из горницы: душа моя терзалась.

Дня через два я выехал из Парижа, но с тем, чтобы, осмотревши южные провинции Франции, опять в него возвратиться. Месяца через два возвращаюсь; первая мысль о Нине; бегу в предместье С.-Жермень, взбираюсь на чердак старого дома, стучу в дверь, нет ответа; зову Нину; сам отворяю дверь, вижу одну старушку: она молилась перед налоем; маленькая постель накрыта белым покрывалом. Спрашиваю: где Нина? Старушка, не говоря ни слова, сдернула с кровати покров: я увидел Нину, мертвую, заснувшую тем сладостным сном, в котором

нет уже пробуждения. Наконец, подумал я, Спаситель твой тебя услышал. Я наслаждался несколько минут тем спокойствием, которое царствовало на лице Нины. Улетевшая душа оставила нежную улыбку на милых, полуувядших устах ее.

— Где Бастиень? — спросил я у старушки.

— Две недели, как нет его на свете, — отвечала она.

Я опять накрыл покровом мертвую Нину; вынул кошелек.

— Возьми эти деньги, — сказал я старушке, — половина их на погребение Нины, а половина тебе, чтобы ты молилась о душе ее и помнила о своем несчастном друге.

### ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНЫХ ЗАПИСОК ПОСЛЕДНЕГО ПОЛЬСКОГО КОРОЛЯ, СТАНИСЛАВА АВГУСТА ПОНЯТОВСКОГО

(ПИСАННЫХ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИИ,  
С 2 МАРТА 1797 ПО 12 ФЕВРАЛЯ 1798)

*Примечание издателя г-на Коцебу.* Эти записки, которые можно назвать драгоценными остатками Станислава, получены мною от одной знатной особы, которая позволила напечатать некоторые из них отрывки, более других достойные замечания. Король Станислав имел обыкновение всякий день во время пребывания своего в Петербурге и Москве записывать все то, что видел, читал и слышал; всякий вечер диктовал он секретарю своему<sup>1</sup> краткие записки, которые немедленно пересылаемы были к друзьям его в Польшу. В этом журнале нет ничего важного для историка, но без сомнения для всякого читателя приятно будет знать, какой прием сделан был Станиславу от императора Павла, чем занимался этот король в России, какие сделал замечания о Петербурге, Москве и пр.

\*

*Нарва. 8-е марта 1797.* Нарвский губернатор Тизенгаузен<sup>2</sup> принял короля с особенными знаками почтения. Невозможно обходиться с путешественниками лучше, внимательнее, учтивее дворян лифляндских. Король заметил в приеме их какое-то нежное добродушие, которое особенно его тронуло. Уверяют, что император Павел назначил к нему камергером того самого Штакельберга<sup>3</sup>, который во время Екатерины был русским посланником в Варшаве. Какие странные перевероты в обстоятельствах!

\*

*Петербург. 14 марта.* 9-го числа король прибыл в Робшу<sup>4</sup>, увеселительный замок, в котором скончался Петр III. Здесь приготовлен был вкусный ужин; гофмаршал Велеурский<sup>5</sup> встретил короля с пятью придворными, одетыми в парадное платье: они приветствовали его от имени императора и всей высокой фамилии. По повелению Павла снят был для королевского приезда на три дня траур<sup>6</sup>. На другой день король прибыл на дачу графини Скавронской<sup>7</sup>, находящуюся в трех верстах от Петербурга. Здесь нашел он вице-канцлера князя Куракина<sup>8</sup> с большою свитою и придворными экипажами.

Король сел в карету, запряженную в восемь лошадей, а против него князь Куракин и принц Станислав<sup>9</sup>; шталмейстер князь Голицын<sup>10</sup> ехал подле кареты верхом; впереди скакали кавалергарды, а позади лейбгусары. Множество народа провожало карету до самого Мраморного дворца<sup>11</sup>, где находился и сам император Павел, который, обнявши короля с дружеским видом, несколько времени разговаривал с ним наедине в боковом покое; потом они расстались. Великие князья, Александр<sup>12</sup> и Константин<sup>13</sup>, последовали за своим родителем.

На другой день король обедал у императора, который посадил его между императрицею<sup>14</sup> и собою. Императрица и великие княжны<sup>15</sup> приводят в удивление своими прелестями. Великие князья отменно приятны и ловки в обхождении. Но сам император Павел есть человек единственный в искусстве привлекать своими поступками: во всех словах его и взглядах заметно особенное добродушие; тонкая примечательность его трогает душу. Он разговаривал с королем дружески и просто.

\*

Мраморный дворец, который стоил нескольких миллионов короне, расположен весьма беспокойно; королевские служители поместились в нем с великим затруднением.

Известие, что Штакельберг назначен к королю камергером, несправедливо, но думают, что он оставит двор и уедет на жительство в деревню.

\*

*17-е марта.* Третьего дня король осматривал Эрмитаж, составляющий особенное отделение дворца императорского; в других местах назывался бы он *музеем, картинною галереєю, кабинетом редкостей* и т. д. Это здание так пространно, так изобильно чрезвычайными вещами, что король в продолжение двух часов успел только все окинуть взором и ничего не рассмотрел внимательно. Сегодня видел он модель Фернейского замка<sup>16</sup> и библиотеку Вольтеру<sup>17</sup>, драгоценную более по-

тому, что многие книги наполнены замечаниями, писанными рукою славного автора, замечаниями, в которых заключаются подлинные его мнения о самых важных предметах для человечества: о морали, политике, метафизике и пр.

Здесь множество миниатюрных картин работы императрицы Марии<sup>18</sup>, которой искусство могло бы сделать честь лучшему живописцу. Тут же показывали королю разные вещи, выточенные ею из слоновой кости, со множеством резных камней, удивительно прекрасных, ее же работы.

Ныне посещал король Таврический дворец, обширный и великолепный. В той зале, в которой князь Потемкин давал последний праздник Екатерине<sup>19</sup>, учится целый батальон гвардии. Стены ее украшены оригинальными картинами, представляющими победы русских флотов на Средиземном море, взятие Очакова, Измаила и проч. Екатерина II в последние годы своего царствования предпочитала Таврический дворец другим: здесь обыкновенно занимала она нижний этаж, и ей не нужно было сходить с лестницы для прогулки в саду, примыкающему к самому замку.

Королю показали на одной двери собственноручную надпись ее, сделанную при последнем ее посещении Таврического дворца.

\*

*Москва, 10-го апреля.* 7-го числа король осматривал дом министра графа Безбородки<sup>20</sup>. Во всей Европе не найдется другого, подобного ему в пышности и убранстве. Особенно прекрасны бронзы, ковры и стулья — последние и покойны, и чрезвычайно богаты. Это здание ценят в 700 000 рублей. Граф Безбородко, который сам показывал королю все комнаты, сказал, что он построил этот замок в девять лет. Петербургский его дом, который богаче драгоценными картинами, не может равняться с московским<sup>21</sup> в великолепии убранства; многие путешественники, которые имели случай видеть Сен-Клу<sup>22</sup> в то время, когда он совсем отделан был для французской королевы, утверждают, что в украшении Безбородкина дворца и более пышности, и более вкусу. Золотая резьба на стульях работана в Вене, а лучшие бронзы куплены у французских эмигрантов. В обеденном зале находится парадный буфет, которого уступы уставлены множеством прекрасных сосудов золотых, серебряных, коралловых и т. д. Обои чрезвычайно богаты: некоторые из них выписные; другие деланы в России. Китайские мебели прекрасны.

\*

*Москва, 1-го мая.* Король в отсутствие двора осматривал достопамятности, находящиеся в Кремле. Здесь показывали ему остатки пышно-

сти древних царей и патриархов. Одежды, богато украшенные жемчугом, имеют в себе столько же весу, сколько и серебряные латы нынешних кавалергардов, то есть шестьдесят фунтов. Король видел золотой ковчег, в котором хранится свиток, содержащий в себе законы царя Алексея Михайловича<sup>23</sup>, отца Петра Великого; этот ковчег сделан по повелению императрицы Екатерины II; она также подарила здешней Соборной церкви богатые ризы и золотые сосуды, украшенные бриллиантами, с эмалью, на которой живопись красоты необыкновенной. В одной из самых обширных кремлевских зал находится огромная модель императорского дворца<sup>24</sup>, которым была бы застроена половина всего Кремля, и некоторые находящиеся в нем церкви заключены бы были в обширных дворах дворцовых. Король всходил на высокую колокольню, называемую Иван Великий<sup>25</sup>, с которой вид удивительно прекрасный: Москва и все ее окрестности открыты перед глазами. Огромный колокол, на ней висящий<sup>26</sup>, вылит по приказанию императрицы Елизаветы; он имеет в поперечнике девять польских локтей<sup>27</sup>. У подошвы колокольни находится другой колокол<sup>28</sup>, огромное первого, вылитый по повелению императрицы Анны и имеющий в поперечнике двенадцать локтей, а в перпендикуляре пятнадцать; сорвавшись с высоты, он так углубился в землю, что принуждены были обрыть вокруг него на большое пространство, дабы любопытные имели способ его видеть. По куску, отбитому в падении колокола, можно судить о чрезвычайной его толщине. Уверяют, что он, по средней цене, стоил более 100 000 рублей. Неподалеку от колокола находится батарея, состоящая из семи огромных пушек, из которых никогда не стреляют: для самой большой<sup>29</sup> потребно ядро во 150 фунтов — выстрел ее потряс бы или разрушил все близкие здания.

\*

6-го мая. Нынче король ездил верхом на *Воробьевы горы*, с вершины которых самый лучший вид на Москву. Императрица Екатерина приказала перенести сюда деревянный дворец<sup>30</sup>, в котором хотела праздновать первый мир с Оттоманскою Портою; теперь этот дворец разрушен: жаль прекрасного места и вида!

Покатость горы едва приметна; положение замка можно назвать очаровательным. В стороне прекрасная тенистая роща.

\*

7-го мая. Нынче король давал большой обед. Великий князь Александр, который страдает жестокою зубною болезнию, оставался дома с супругою. Император и вся императорская фамилия приехали ровно

в два часа. Принц Станислав с господином и госпожою Мничех<sup>31</sup> приняли высоких посетителей у крыльца; король встретил их на лестнице. Поставили кушанье. Король думал сначала, что император и императрица пойдут вперед одни, но император хотел, чтобы императрица подала руку королю, ожидая, что он, как обыкновенно случалось за императорским столом, займет свое место между ними; но как скоро император с супругою сели за стол (задом к свету, чтобы не быть обеспокоенными от солнечных лучей), то король поместился против них и придвинул к ним суп; ему известно было, что при дворе за обеденным столом обыкновенно ставились перед императором и императрицею особенные суповые чаши, из которых они сами для себя накладывали суп. Тарелки подавали камергеры Трембовский и Вольский<sup>32</sup>; Их императорские величества не хотели, чтобы они служили во все продолжение обеда, и приказали им отдать блюда императорским пажам. В половине обеда император и императрица пили за здоровье короля. Стол состоял из 36 кувертов; дамы были: госпожа Ренне и Ливен, обергофмейстерины великих княжон; фрейлина Нелидова<sup>33</sup>, принцесса Радзивиль<sup>34</sup>, княгини Репнина<sup>35</sup> и Волхонская<sup>36</sup>; мужчины: князь Безбородко, вице-канцлер князь Куракин; фельдмаршалы: Репнин<sup>37</sup>, Салтыков<sup>38</sup> и Мусин-Пушкин<sup>39</sup>. Растопчин<sup>40</sup> извинился: он болен. После стола император разговаривал несколько времени очень дружески с королем и пригласил его на другой день к своему столу.

*Прибавлено симпатическими чернилами<sup>41</sup> рукою короля:* Прошу, чтобы в «Варшавских Ведомостях» не печатали моих записок. Видя расположение здешнего двора ко мне, я должен более всего желать, чтобы как можно менее занимались мною в моем отечестве. Со мною лично обходятся, как нельзя лучше, но часто дают мне чувствовать, что я не должен говорить о *других*. Мои соотечественники, слыша о дружеском расположении ко мне императора, осыпают меня просьбами и письмами, но, к крайнему моему огорчению, я принужден им отказывать.

\*

1-го июня. Нынче в 7 часов вечера ездил король с своею свитою в Останькино, подмосковное село графа Шереметьева<sup>42</sup>, который давал для него праздник. Число гостей первого класса простиралось до 200. Король осматривал замок и сад: везде чрезвычайное великолепие. Пошли в театр; играли оперу «Самнитские браки»<sup>43</sup>, в которой актерами были крепостные люди графа Шереметьева; одежды прекрасные; костюм сохранен с великою точностию; одна актриса<sup>44</sup> играла в бриллиантовом уборе, который ценят в 100 000 рублей; многие из балетчиков танцевали прекрасно. По окончании оперы король отведен был в другие комнаты,

но через полчаса возвратился в залу театра, которого уже не было: сошли по нескольким ступеням, покрытым алым бархатом, в обширную галерею, и в ту же минуту загремела музыка: начались танцы. В одиннадцать часов король вышел на балкон: весь сад был прекрасно иллюминирован, а перед самым балконом горело вензловое имя Станислава-Августа. В двенадцать часов сели ужинать: за столом находилось более ста человек. Граф провожал короля до самой кареты; он напомнил ему о своей *наследственной* благодарности. И я, и отец мой, сказал он, имели счастье получить от Вашего величества польские ордены<sup>45</sup>. Дорога от Останькина до Москвы освещена была горящими смоляными бочками.

\*

*Петербург, 6 июля.* Король осматривал замок *Чесьму*<sup>46</sup>, находящийся в семи верстах от Петербурга. Екатерина II основала в нем орден Св. Георгия<sup>47</sup>, и в одной из надписей сказано, что церковь сего замка заложена при шведском короле Густаве III<sup>48</sup>, а кончена при императоре Иосифе II<sup>49</sup>. Все комнаты главного корпуса украшены портретами нынешних европейских монархов и барельефами, изображающими древних русских царей до Михаила Романова. В одной круглой зале находятся все портреты государей царствующего колена. Здесь показывали королю золотую чернильницу с эмалью, на которой изображены миниатюрною живописью морские победы русских. В нижнем этаже хранится английский фаянсовый сервиз прекрасной работы, на нем нарисованы зеленою краскою по зеленому полю лучшие английские увеселительные замки; на краях тарелок и чаш изображена вместо герба зеленая лягушка<sup>50</sup>. Возвратясь в Петербург, король видел слона<sup>51</sup>, которого бухарский хан прислал покойной императрице. Когда персиянин говорит с ним по-индийски, то он понимает его и слушается без всякого принуждения.

\*

*16-го июня.* Сегодня король осматривал картинную галерею сенатора Соймонова<sup>52</sup>, которая не велика, но заключает в себе некоторые драгоценности, между прочими *Джиорданово* сражение Амазонок с Центаврами<sup>53</sup>. Надобно удивляться точности, с какою живописец последовал стихотворцу Овидию. Заметны две фигуры, из которых одна находится в картине *Юлия Романа*, сражение *Константиново*<sup>54</sup>, а другая в *Арбельском* сражении *Лебрена*<sup>55</sup>, с тою только разницею, что в двух последних мужские лица, а в первой женские.

Господин Соймонов есть человек, отличный своими достоинствами и чрезвычайно приятный в обращении.

\*

*Петергоф, 3 июля.* Король живет на берегу моря, в увеселительном замке Monplaisir<sup>56</sup>, который и теперь отчасти находится в таком точно положении, в каком он был при Петре I; Екатерина II (собственные комнаты ее отведены теперь королю) украсила его весьма много. По окончании вахт-парада и по совершении крестин у князя Щербатова<sup>57</sup>, в которых император и императрица были восприемниками младенца, пришли сказать королю, что Павел приглашает его к обеду. После стола император сам показывал королю дворец и вводил его в свой кабинет, обитый досками и выкрашенный кофейною краскою. Кабинет сей точно таков был при Петре Великом; все другие комнаты замка более или менее переделаны; он один сохранил свою *прародительскую* древность. Вечеру король со всею императорскою фамилиею прогуливался по саду в линейке<sup>58</sup>: император, кажется, преимущественно привязан к этому прекрасному месту, в котором столько памятников прадеда его, Великого Петра. Фонтаны петергофские чистотою воды своей превосходят версальские; между прочими находятся здесь такие точно, какие в Риме, на площади Святого Петра. Ужинали на берегу моря, в тени густых дерев; вечер был самый прекрасный и тихий.

\*

*16-го июля.* Нынче, в присутствии короля и всего двора, совершен был в одной дворцовой зале брак графа Дитрихштейна с придворною дамою Шуваловою<sup>59</sup>; нунций Лита<sup>60</sup>, в епископской одежде, благословлял супругов; потом они обвенчаны в Дворцовой церкви по обряду греческого исповедания: Бальи Литта<sup>61</sup> держал венец над женихом, а граф Шувалов<sup>62</sup> над невестою. Сама императрица убирала ее собственными бриллиантами, которых было на ней почти на миллион.

*17-го июля.* Император, отъезжая со всею фамилиею в Кронштадт, весьма дружески простился с королем.

\*

*22-го июля.* Король ездил на дачу князя Куракина<sup>63</sup>. Княгиня Долгорукая<sup>64</sup>, друг княгини Куракиной, праздновала день ее рождения в Александровском. Нынешнего года этот праздник дан месяцем ранее, по той причине, что австрийский посланник, граф Кобенцль<sup>65</sup>, любезный обеим княгиням, должен был очень скоро оставить Петербург: хотели в последний раз угостить того человека, который всегда бывал душою сих праздников. Гостей сначала пригласили в рощу; там дети обеих княгинь сидели в лавках, сделанных из ветвей и дерна, раздавали плоды, цветы и тому подобное. На вывесках написаны были



стихи, выбранные из лучших стихотворцев и приличные празднику; одно дитя говорило маленькую речь; потом все они взялись за руки и начали танцевать. Из рожи пошли в театр. Княгиня Долгорукая прекрасно представляла сцену из оперы «Нина, или Сумасшедшая от любви»<sup>66</sup>. Потом показывали Китайские тени за флёром. Прежде всего явилось *Солнце*, и это Солнце был сам австрийский посланник, одетый в золотое штофное платье, с сиянием вокруг головы, сделанным из золотой бумаги. За ним следовал *Месяц* — первый итальянский певец Мандини<sup>67</sup>, который после вместе с Ларивьером представлял очень забавно разлуку Ореста с Пиладом<sup>68</sup>. Потом Ларивьер играл роль зубного лекаря и делал операцию над Мандини — все чрезвычайно много смеялись. За сими комическими сценами следовали *Живые картины*. Содержание их самое известное: например, открытие *Ахилла* (которого представляла г-жа Лебрень<sup>69</sup>) между подругами *Деидами*<sup>70</sup> (княгиня Долгорукая); *Стратониса* (также княгиня Долгорукая), сидящая у постели своего пасынка<sup>71</sup>; Дариево семейство<sup>72</sup> и т. п. Г-жа Лебрень делала всему распоряжение так искусно, что зрелища сии казались истинным очарованием. Весь Петербург сожалеет об отъезде графа Кобенцля, которого чрезвычайно здесь любят и с которым никто не может сравниться в приятности обращения: он единственный человек по своей ловкости, остроумию, веселости. Княгиня Долгорукая играла у него на театре роль Камиллы<sup>73</sup> с удивительным совершенством. Вечеру, на канун своего отъезда, был он отменно забавен; например, он самым смешным образом играл с детьми в *коршуны*: дети представляли *цыплят*, а он *Наседку*!

*Гатчина, 9-е сентября.* Нынче ввечеру императрица спросила у короля: играет ли он в карты? Очень дурно, отвечал король. Я верно хуже, сказал император. А мне непременно надобно сыграть партию в пикет<sup>74</sup> *par contenance* (для виду), прибавила императрица, садясь за карточный стол с фельдмаршалами Салтыковым<sup>75</sup>, Репниным<sup>76</sup> и Каменским<sup>77</sup>. 10-го числа просил король императора, чтобы он приказал показать ему все достопамятности Гатчины: ему представили генерал-адъютанта Плещеева<sup>78</sup>. Уверяют, что этот человек, который служил в американскую войну на английском флоте, никогда не говорит противного своим мыслям: он, кажется, имеет высокий, необыкновенный характер. Он показал королю весь гатчинский замок: внутреннее расположение сего здания то же самое, какое было в то время, когда оно принадлежало еще князю Орлову<sup>79</sup>, но после император распространил его и украсил по собственному вкусу. Между картинами самые замечательные: Робертовы<sup>80</sup>, одна Вернетова<sup>81</sup>; Карл III, испанский король

за столом<sup>82</sup>; оленья трава, которую принц Конде подарил императору, когда он находился в Шантильи, будучи еще великим князем<sup>83</sup>. Достойны замечания три грации, писанные на мраморе: это антик, найденный между развалинами Геркуланума<sup>84</sup>. В гостиной комнате над камином находится древний барельеф, весьма хорошо сбереженный; сказывают, что он составлял часть украшений Траянова памятника, с которого перенесен на Константиновы ворота; *художники-похитители* (artistes brigands) украли его ночью и продали обер-камергеру графу Шувалову<sup>85</sup>, который путешествовал тогда по Италии. В кабинете императора находится портрет принца Генриха Прусского, помещенный между четырьмя российскими фельдмаршалами<sup>86</sup>. Король не мог порядочно осмотреть сада. Императору весьма приятно было, что место, которое предпочитает он другим, нравилось и королю. *Мне кажется*, сказал он, *что я только здесь бываю дома*. В самом деле, приятное Павловское во многом должно уступить Гатчине.

\*

*Петербург, 17 октября*. Нынче ввечеру князь Долгорукий неожиданно удивил короля прекрасным театром, который во время его отсутствия построен был в Мраморном дворце. Играли две французские комедии: «Le conseil paternel» («Родительный совет»)<sup>87</sup> и Флорианову «Le bon ménage» («Счастливое семейство»)<sup>88</sup>. Первая сочинена графом Головкиным, воспитанным в чужих краях: в ней много острого и приятного. Госпожа Литвинова играла первую роль; другие актеры были: граф Лерхенфельд, маркиз Монморт, известный Офрень<sup>89</sup> и Ларивьер. В другой комедии княгиня Долгорукова играла с обыкновенным своим совершенством, милые дети ее представляли маленьких Арлекинов.

\*

23 октября ночевал у короля греческий епископ *Евгений*<sup>90</sup>, родом из Корфу, которого Екатерина II сделала епископом Тавриды. Он сложил с себя свое звание и здесь проживает очень спокойно свой пенсион. Сказывают, что он перевел «Энеиду» на греческий язык прекрасно и близко. Он говорит по-французски и итальянски; читал всех лучших французских и итальянских писателей; разговор его чрезвычайно приятен и жив; никто не поверит, чтобы он имел восемьдесят лет: на лице его написаны молодость и здоровье.

\*

*Гатчина, 26 октября*. Император удивил нынче императрицу представлением большой итальянской оперы, Анфоссиевой «Зенобии»<sup>91</sup>, которое в самом деле было чрезвычайно. Декоратор Гонзага<sup>92</sup> превзо-

шел самого себя: в этом роде живописи он может почестся одним из превосходнейших художников на свете. На маленьком театре, где первые люди сидят у самого оркестра, оптическое действие, производимое искусством его, есть точное очарование. Например, на занавесе нарисован храм, который, будучи видим вблизи, не более как в расстоянии шести шагов, кажется совершенно отделившимся. Декорация леса могла бы спорить в совершенстве с картиною Бреигеля<sup>93</sup>. Луч солнца, ударяющего сквозь узкое окно тюрьмы, обманывал зрение. Уверяют, что в Италии нет ни одного декоратера, который превосходил бы Гонзагу в искусстве. После оперы дан был прекрасный балет, в котором Пик<sup>94</sup>, несмотря на свои шестьдесят лет, удивлял зрителей быстротою и легкостью. Император приказал приготовить эту же самую оперу для Петербургского придворного театра к 24 ноября. Ганзага должен был с великою поспешностию писать новые декорации, и в этом случае доказал он удивительным образом чрезвычайную изобретательность своего гения. Между прочим, в новых его декорациях заметили сияние луны, отражаемой в воде, достойное кисти славного Вернета<sup>95</sup>. Смерть прусского короля<sup>96</sup> остановила представление пьесы, приготовленной к 28-му декабря.

\*

*Петербург, 5 декабря.* Нынче посетил короля принц Конде<sup>97</sup>, который уверяет, что узнал его, видевши только один раз в жизни, в 1754 году, у себя на бале<sup>98</sup>.

Когда принц Конде вышел из кареты у Таврического дворца, очищенного, по приказанию Павла, для его пребывания, то встречен был служителями, одетыми в такую точно ливрею, в какую наряжены были собственные слуги его, когда император Павел посещал Шантиль<sup>99</sup> (какая тонкая примечательность!). На всех придворных, данных принцу каретах, вместо русского герба написан герб Конде; и русский орел, изображенный на знаменах Кондева полку, окружен французскими лилиями. Император подарил ему Чернышевский дом<sup>100</sup>. Принц, вступая в него в первый раз, увидел на воротах: Hotel Conde.

\*

*15 декабря.* Король был на обеде у князя Безбородки; чрезвычайная пышность! Воображение повара, который, между прочим, приготовил и славную Сарданапалову бомбу с Эпикуровым соусом, изобретенную кухмистером Фридриха II<sup>101</sup>, истощило все свое богатство; подавали вина всякого рода и самые лучшие; везде курились драгоценнейшие благовония, и все десертные блюда накрыты были хрустальными коло-

колами, с прекрасными Этрусскими фигурами здешней фабрики<sup>102</sup>, которой главный смотритель есть князь Юсупов<sup>103</sup>.

\*

8-го января 1798. Король смотрел с балкона, окруженного стеклами, на церемонию водоосвящения. Императрица, близкая к разрешению от бремени<sup>104</sup>, ходила пешком в деревянную часовню, построенную на льду Адмиралтейского рва; потом пришла на балкон, приказала открыть окна и более двух часов простояла на воздухе, без зонтика, не чувствуя холода, хотя на ногах ее было множество снега.

Граф Монморанси, сын герцога Лаваля<sup>105</sup>, удивляет Петербург опытами чудного искусства, которому, уверяет он, научил его епископ Нансийский<sup>106</sup>. Именно: ему показывают почерк какого-нибудь незнакомого с ним человека — обыкновенно адрес письма, не сказывают имени; он спрашивает, мужчина или женщина, получив ответ, угадывает почти наверное, каких лет и какого характера эта неизвестная особа. Он несколько раз изумлял верностью своих ответов, описывая очень сходно таких людей, которых не знал в лицо, которых не было даже и в Петербурге. Лафатер<sup>107</sup> имел бы право ему завидовать.

(Здесь кончился журнал Станислава. Он скончался от паралича, 1798-го года 6 апреля.)

(С немецкого)

## МУНГО-ПАРК

Путешествие Мунго-Парка писано простым и приятным слогом — автор не хочет прельщать, он любит одну истину, представляет ее без всякого украшения, думая более о вещи, которую описывает, нежели о наружном ее убранстве; он хочет занимать читателя не собою, но тем предметом, которым занимается сам, который для него самого кажется привлекательным. Читая это любопытное путешествие, нигде не замечаешь автора — он в стороне: характер его есть простодушие, скромность, а более всего постоянство и терпение. И Вальян путешествовал по внутренней Африке; надобно признаться, что все его описания пленительны — но какая разница между им и тихим, простосердечным Мунго-Парком! И тот, и другой подвержены были разнообразным опасностям, но Вальян, окруженный своими неграми, путешествует как предводитель маленького войска: он царь своей небольшой колонии; он имеет подле себя верного друга; мирные народы, которых он посещает, дают ему от доброго сердца молоко и мясо; везде находит он гостеприимство

и помощь — но Мунго-Парк? Он один, обремененный нуждою, безоружный, в необъятной пустыне, среди народов жестоких и суеверных: всякую минуту угрожает ему погибель ужасная; и несмотря на то он спокоен в душе своей; никогда не слышите вы его роптания; он предан Провидению во глубине сердца; описывая судьбу свою, он говорит о себе как будто о человеке *постороннем*, нимало не занимаясь красивым изображением своего чувства; имея беспрестанно перед глазами важную свою цель, он забывает самого себя и только тогда печалится, когда неожиданное препятствие отдаляет его несколько от сей цели. Посмотрите на него в ту минуту, когда он в первый раз приходит на берег Нигера: какое торжество, какое восхищение! «Мы шли болотом, — говорит он, — вдруг один из проводников моих воскликнул: *Гео Аффили! Смотрите, вода, вода!* Я оглянулся: величественный Нигер, широкий, как Темза перед Вестминстером, Нигер, предмет моего странствия, представился глазам моим, озаренный блистанием утреннего солнца и медленно текущий к востоку: я бросился к берегу, с восторгом напился воды, и пламенная моя благодарность к Великому правителю вселенной, который невидимо сохранил меня среди опасностей и наконец привел невредима к желанной цели, излилась из души моей в теплых молитвах».

Мунго-Парк есть добрый, простодушный, прямой человек, которого чувства живы, но стремятся из сердца без всякого риторского украшения. С какою радостью замечает он каждую человеколюбивую черту в самых жестоких маврах! И как легко забывает он собственное несчастье при виде страданий подобного ему творения! Маленький негр, пастух, ранен смертельно копьем разбойника; его приносят в ту деревню, в которой Мунго-Парк, усталый от трудного путешествия, отдыхал на воловьей коже у ворот своей хижины. Мать раненого с ужасными воплями бежит навстречу к своему сыну, ломает руки, бьет себя в грудь, вычисляет все добрые качества своего милого младенца: никогда, никогда не говорил он неправды, повторяет она, обливаясь слезами. Мунго-Парк старается ее утешить, осматривает раны мальчика; находит, что они опасны, что надобно отнять ему скорее ногу; это предложение отвергнуто, и Мунго-Парк в слезах, с сокрушенным сердцем уходит в свою хижину. Мальчик умирает того же вечера.

Он пробыл девять дней в Вонде, страдая жестокою, даже опасною лихорадкою — несмотря на то, проводил он целые дни во ржи, не желая, чтобы хозяин, которому боялся он быть в тягость, заметил его мучение, и в то же время собственная горесть не воспрепятствовала ему принять живейшего участия в судьбе одной матери, которая ужасною крайностию принуждена была продать своего сына за несколько мерок хлеба. «Боже милостивый! — восклицает он. — Что должна вынести мать, пре-

жде нежели решится она продать своего младенца! Это печальное зрелище долго терзало мою душу; я долго не мог забыть той горькой, безмолвной, отчаянной задумчивости, с какою эта несчастная смотрела на свое дитя в минуту разлуки».

Он тронут до слез гостеприимством одной добросердечной негритянки, которая дает ему пристанище в своей хижине, расстилает перед ним циновку, приносит ему сухой рыбы; между тем несколько молодых женщин поют песню, сочиненную ими на *несчастье бедного, бездомного старика*. В знак благодарности Мунго-Парк отдает своей благодетельнице две стальные пуговицы — последние оставшиеся у него на камзоле.

Нельзя не чувствовать душевного уважения к Мунго-Парку, когда он обнаруживает свою веру к Создателю; когда он в самых ужасных положениях жизни является непоколебимым в надежде на милость Всевидающего Промысла. Можно ли не быть растроганным во глубине души, можно ли не воскликнуть: почтенный, добрый, великодушный Мунго-Парк, когда читаешь то место, где он описывает себя, ограбленного разбойниками, оставленного ими нагим, безоружным в глухом лесу, в стране ему неизвестной? «Они ушли, — говорит он, — я долго сидел на одном месте, горестный, неподвижный, осматривался с ужасом — отсюда глазам моим представлялась грозная, неизмеримая пустыня; вдали ожидали меня одни опасности, одни препятствия непобедимые. Одинокий, безоружный, отсюда окруженный дикими зверями и зверскими людьми, в 55 милях от самой ближней колонии европейцев, я должен был скитаться в непроходимой степи, во время самых сильных периодических дождей африканских, не зная дороги, не имея ни хлеба, ни денег. Все сии обстоятельства представились вместе моему рассудку; мужество мое начинало колебаться: я мыслил, что все для меня кончилось, что более ничего не оставалось мне, как броситься на землю и ждать смерти — но вера восстановила упдающую мою душу. Никакая человеческая пронизательность, подумал я, и никакая осторожность не отвратили бы от тебя твоего жребия. Ты странник в земле чужой, но разве не видят тебя сохраняющие очи Провидения, которое всегда именовало себя другом беспокровного странника? В эту минуту заметил я маленький мох, которого необыкновенная красота какою-то сверхъестественною, непонятною для меня силою, несмотря на горестное мое положение, очаровала мои взоры. Упоминаю об этом обстоятельстве для того, чтобы показать, как иногда самая маловажная вещь может быть источником утешения и бодрости. Это растение принадлежало к самым мелким, но я не мог без удивления рассматривать его листков, кореньев, семенной оболочки. Поверю ли, подумал я, чтоб Существо, которое в пустынной и неведомой части мира образовало с

таким совершенством маленькое, почти незаметное для простого глаза растение, смотрело с невниманием на бытие и мучение твари, называющей себя Его подобием? Ах нет! Я ободрился, встал, пошел вперед, презирая и голод и усталость; я верил, что спасение было близко — и вера меня не обманула».

Мунго-Парк в опасных обстоятельствах не имеет такой оборотливости, не может так пользоваться своим красноречием, как Вальян: душа его пренебрегает обыкновенные земные оружия; она преисполнена доверенности к небу, она покорна и безропотна в своих страданиях; несчастья всегда устремляют ее к Вечному Промыслу.

Сравнивая Мунго-Парка с Вальяном, находим в последнем и ум, и характер француза, представляющегося с самой любезной стороны своей. Мунго-Парк есть истинный англичанин, *благородный* как многие из соотечественников его, и *скромный*, как весьма немногие. Вальян пленительным рассказом обворожает читателя: за него не боишься; знаешь, что с ним ничто никогда не случается; что он показывает свою опасность только для того, чтобы после сильнее поразить прекрасным описанием места, растения, птицы. Напротив, Мунго-Парковы несчастья возбуждают в вас постоянное и самое нежное чувство сострадания; твердость его возвышает вашу душу; никогда не можете об нем подумать, не пожелав прижать его к своему сердцу. И тот, и другой любезны, но Вальян иногда смешит своею суетностью, а Мунго-Парк всегда одинаково достоин вашего уважения: вы с трепетом следуете за ним по африканским степям; вы удивляетесь, видя его в борьбе с опасностями, всегда спокойного, всегда неизменяемого в своем характере<sup>(\*)</sup>.

(С немецкого)

## КТО ИСТИННО ДОБРЫЙ И СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Один тот, кто способен наслаждаться семейственною жизнью, есть прямо добрый и, следовательно, прямо счастливый человек.

Свет называют театром — каждый из нас<sup>1</sup> в одно время и действующий, и зритель. Актеры стараются блеснуть искусством; зрители восклицают: великий ум, чудесное дарование<sup>2</sup>. Но мало одних блистательных успехов на театре света, чтобы приобрести благородное название: *добрый*, чтобы иметь право именоваться *счастливым*.

---

(\*) Мы слышали, что Мунго-Парково путешествие переведено на русский язык и печатается: эта книга достойна внимания наших читателей! Ж.<sup>2</sup>

Ты с честью служишь отечеству; судья справедливый — все приговоры твои сходны с приговорами закона и совести; смелый, благо-разумный полководец — никто не видал, чтобы ты бледнел в виду неприятеля, чтобы терял присутствие духа в минуту неуспеха или замешательства. В обществе называют тебя приятным, ласковым, забавным; нельзя не плениться твоим разговором; все, окружающее тебя, оживлено твоим остроумием, твоими словами, взглядами, усмешками. Говорю смело: умный, деятельный, любезный, необыкновенный человек<sup>3</sup>. Скажу ли: добрый и счастливый?

Нет: я вижу<sup>4</sup> тебя на сцене, в уборе, в минуту *представления*, в минуту торжества<sup>5</sup>; прельщаюсь одним наружным, временным твоим блеском. Ты действуешь не собственной силою, ты окружен бесчисленными подпорами: общее мнение — хранитель твоих добродетелей; быть может, источник их — единое твоё честолюбие. Хочу ли узнать совершенно твой характер — я должен последовать за тобою во внутренность семейства. Семейство есть тихое, сокрытое от людей поприще, на котором совершаются самые благородные, самые бескорыстные подвиги добродетельного. Здесь человек один — все призраки исчезли; он действует без свидетелей, в кругу знакомцев, слишком коротких, следственно, для него не страшных; не может удивлять ложным блеском; не слышит рукоплесканий; он может наслаждаться одним скромным, для других неприметным, но сладостным и неотъемлемым счастьем. Здесь он снимает с себя заимствованные покровы; свободно предается естественным своим склонностям; никому, кроме себя, не дает отчета; и если я вижу его спокойным, веселым, неизменяемым в тесном кругу любезных, когда приход его к супруге и детям есть сладостная минута общего торжества; когда от взора его развеселяются лица домашних; когда, возвращаясь из путешествия, приносит он в дом свой новую жизнь, новую деятельность, новое счастье; когда замечаю окрест него порядок, спокойствие, доверенность, любовь — тогда решительно говорю: он добр, он счастлив!

Великие подвиги в присутствии многочисленных свидетелей бывают нередко одним чрезвычайным *усилием*. Нередко человек, которого деятельность и обширный ум в делах государственных, которого приятность и живость в блестящем кругу света приводят нас в изумление, бывает задумчив и скучен среди своих домашних, где он свободен, где надобно действовать без всякого внешнего возбуждения, где все почерпается во внутренности души, где можешь быть весел только тогда, когда сердце наполнено чистыми, живыми, не изменяющимися ни в каких обстоятельствах жизни чувствами.

Быть счастливым есть наслаждаться самим собою — где же сие счастье, как не в семействе, и что его источник, как не спокойное, невинное,



доброе сердце?<sup>7</sup> Человек-гражданин, пользуясь покровом общества, трудами своими покупает у него почести и отличие, но *добрый* получает сии отличия и почести наряду с *недобрым*<sup>8</sup>, имеющим одинакое с ним искусство, деятельность, скажу — дарование. В чем же его преимущество собственное, ни с кем не разделяемое? В счастья доброго сердца, в тех наслаждениях, которые вкушает он в кругу семейственном — плод, заповеданный для порочного.

Не имев доброго сердца, можно быть в некотором отношении добрым гражданином: будь с дарованием, и будешь успешно действовать на той сцене, которая окружена бесчисленною толпою судей, любопытных и строгих. Честолюбие заменит для тебя внутреннюю доброту; и та, и другая причины произведут одинакое видимое действие. Но быть хорошим семьянином в полном значении сего слова, добрым супругом, отцом, покровителем своих домашних, говорю без исключения, нельзя, не имев доброго, нежного, чувствительного сердца. Семейство есть малый свет, в котором должны мы исполнять в малом виде все разнообразные обязанности, налагаемые на нас большим светом, но с тем различием, что здесь не может быть заблуждения насчет заслуги<sup>9</sup>, здесь видят тебя таким точно, каков ты в самом деле, и вот причина того печального отдаления, в котором многие, так называемые *счастливицы* мира, живут от тихого, уединенного, семейственного круга; они боятся вступить в его святилище<sup>10</sup>. Что принесут они в него с собою? Мертвое или испорченное сердце, чуждое наслаждений невинных, смутное посреди спокойствия и порядка, непостоянное посреди удовольствий однообразных, но сладостных для души ясной, веселой и непорочной<sup>11</sup>.

Ты ищешь верного счастья? Почитай обязанности<sup>12</sup> быть деятельным для пользы отчества, но лучшие твои наслаждения, но самые драгоценные награды твои да будут заключены для тебя в недре семейства: если душа твоя невинна, если пылает в ней тихое пламя добра, то в мирном семействе найдешь безмятежное, постоянное счастье. Где можешь любить с такою полнотою, с такою взаимностию, с таким забвением самого себя? Где можешь быть столь добродетельным и столь непосредственно получать за добродетели твои воздаяние? Где найдешь таких верных, согласных с тобою товарищей и в радости, и в печали? Стремись воображением к сему блаженству, когда еще его не имеешь; образуй для него свою душу; помни, что оно существует для одного невинного, благородного, исполненного высокими чувствами сердца; благодетельная, животворящая мечта о нем да будет сопутницею твоих юношеских лет! Совершенствуя себя для мирной обители семейства, ты избежишь опасной заразы разврата: пленишься ли блестящим безобразием порока, имея перед глазами те чистые наслажде-

ния, ту благородную деятельность, которые неразлучны с семейственной жизнью? И если твой выбор уже сделан, если душа твоя заметила существо для нее необходимое, то окружи себя его воспоминанием; воспоминание о нем будет твоею добродетелью, твоею совестью! Так, если Провидение определило тебе насладиться сим благом редким — но редким потому, что редки сии люди, которые полагали бы в нем первую и самую благородную цель своей жизни, которые минутного, живейшего наслаждения или неверной и блистательнейшей выгоды не предпочли бы сему спокойному, скромному и неразлучному со всеми добродетелями счастью — если Провидение, говорю, определило тебе насладиться сим благом, то смело можешь присвоить себе титул счастливец<sup>13</sup>; ты возвратишь сему титулу<sup>14</sup> его утраченное достоинство: на языке твоём счастье будет знаменовать добродетель, наслаждение самим собою, прямое просвещение, истинную мудрость<sup>15</sup>.

Какое зрелище, возвышающее душу, представляет нам добрый семьянин — истинно добрый и счастливый человек!<sup>16</sup> Войдите в его дом, веселый, скромный, где царствует опрятность и чистота: при первом шаге не окружает ли вас какое-то неизъяснимое, невидимое, трогательное очарование? Не чувствуете ли во глубине души того утешительного спокойствия, того внутреннего наслаждения собственным бытием, которое всегда возбуждает в вас присутствие счастья? Вы видите перед собою довольные лица, пленяетесь окружающим вас порядком; здесь время пролетает быстро; для каждой минуты есть собственное необходимое занятие; минуты отдельного труда приготавливают к минутам свидания, к минутам общего удовольствия<sup>17</sup>, и всякий труд приносит с собою свою награду. Последуйте за добрым семьянином и в свет, где исполняет он обязанности гражданина, и в дом его, где он представляется вам супругом, отцом, хозяином, и в уединенный кабинет, где он остается один с собою, и к смертному одру, на котором он ожидает конца, спокойный, уверенный в бытии Божества, которое не отрицаемо для сердца, испытавшего прямую любовь, уповающий на бессмертие<sup>18</sup>, которое ощутительно для сердца, испытавшего прямую любовь — везде вы его найдете одинаким. В тех самых чувствах, которые делают его счастливым посреди домашних, хранится и чистый источник гражданских его добродетелей. Разлучаясь на время с своим семейством, для исполнения обязанностей в свете, он соединен со своими любезными нежным, никогда не покидающим его сердца о них воспоминанием; их мысленное присутствие хранит его во всех решительных случаях жизни. Как может он не дорожить непорочностию своего имени, которого слава есть слава его любезных? Как может не уклоняться от зла, когда он должен приходиться

невинным перед судилище беспристрастное, для него драгоценное и святое, перед судилище его семейства, где обитает его неизменный товарищ, который вместе с ним, одною дорогою стремится к одной и той же цели — к счастью, основанному на совершенстве моральном, который не узнает его, унизившегося пороком, которого довольный, одобряющий взор есть самая утешительная для него награда. Но все обязанности, все удовольствия света почитает он только посторонними<sup>19</sup>: главная деятельность его внутри семейства — мирная, счастливая деятельность, которая животворит душу его, отдаляет от него унылость и скуку, возвышает ее, усиливает, исцеляет. Он весел, он спокоен среди порядка и тишины, которые окрест его царствуют. Перенеситесь мысленно в обитель согласных супругов, согласных в понятии своем о жизни, согласных в выборе способов ею наслаждаться — здесь минуты забот не имеют того беспокойства, которое преследует нас, когда трудимся для одних себя: они услаждаются трогательным воспоминанием о существах, нам любезных, которым посвятили мы всю свою жизнь; здесь всякое благородное чувство души становится живее, возвышеннее, непорочнее — благотворительность награждается<sup>20</sup> не одним тайным одобрением сердца, но вместе и нежным участием милого существа, которое в глазах твоих есть образ всех добродетелей; оно сопутствует тебе в жилище<sup>21</sup> печального и нищего; ты действуешь не в одном невидимом присутствии Промысла: ты видишь перед собою его посланника в своем товарище, к которому относишь всякое доброе дело, всякое доброе чувство — что может быть трогательнее и пламеннее молитвы<sup>22</sup>, произносимой в присутствии милой супруги вместе с нею, в полноте своего счастья? Для кого может быть ощутительнее Провидение, для кого легче любить своего Создателя, как не для нежного супруга и отца, окруженного драгоценнейшими залогами Их милосердия? Молитва одинокого человека есть *требование*; молитва семьянина есть *благодарность*.

Но представляя себе счастье, должно вообразать и горестные потери. Супруг нередко, и слишком рано, лишается супруги; отец переживает детей — утраты незаменимые, ибо они разрушают главное счастье жизни, к которому относили мы всякое другое. Но разве с утратою любезных теряется для нас воспоминание? Разве тому, кто наслаждался настоящим, не остается меланхолической, усладительной привязанности к прошедшему? Ты жил для них; ты жил вместе с ними; ты радостно летел к своей цели, окруженный милыми существами<sup>23</sup>: спутники твои исчезли... но ты сам не изменился; поприще твое опустело... но оно все то же, и та же цель представляется глазам твоим в отдалении; стремись к ней, окруженный знакомыми, дружественными

теньями! Кто раз наслаждался семейственными радостями, тот никогда, никогда не узнает уже одиночества; горесть будет для него некоторым образом любовью!

## ГУСТАВ ОБИНЬЕ

Мне минуло двадцать лет, когда я возвратился вместе с батюшкою в Париж, объездив большую часть Европы. Наше путешествие продолжалось три года. Мы вели чрезвычайно деятельную жизнь, которая сначала мне нравилась, потом наскучила. Сердцу моему нужна была привязанность: беспрестанные перемены, которые следовали быстро одна за другою, производили в нем какую-то усталость. Наконец мы на месте, сказал я, подъезжая к Парижу, мы дома; странническая жизнь моя миновалась.

На другой день после нашего приезда батюшка познакомил меня с некоторыми из моих родственников, о которых прежде, не знаю почему, говорил он со мною очень мало. Меня приняли с отменным вниманием; казалось, что ожидали от меня гораздо более, нежели от других молодых людей: в самом деле, сыну графа Обинье, который для пользы воспитанника своего отказался от света, заключил *себя* на пятнадцать лет в деревню, и наконец, вместе с ним, опять явился на сцене света, им забытого, надлежало быть чудом; отцы и дети смотрели на меня с коварным любопытством. Батюшка представил меня герцогине Дестутвиль. «Я не люблю этой женщины, — сказал он, — но по своей знатности, своему богатству и уму она занимает в обществе первое место: ее одобрение необходимо для молодого человека, вступающего в свет. Я долго не мог решиться, знакомить ли тебя с нею, или нет, но светские люди имели бы право назвать меня странным, когда бы я не открыл тебе дороги в такой дом, в котором собирается лучшее общество. Итак, поедем к герцогине. Ты можешь, если захочешь, посещать ее часто. Что же касается до меня, прибавил он со вздохом, то наши свидания с нею, конечно, будут редки».

Батюшка, важным характером и наружностью, никогда не казался мне печальным, и никогда еще не слышал я его вздоха. Эта обязанность знакомить меня с такою женщиною, которой он не любил, этот первый поступок, противный его желанию, признаюсь, несколько уменьшили в глазах моих его превосходство и увеличили достоинство герцогини Дестутвиль. Она приняла батюшку с холодною учтивостию, которая чрезвычайно меня удивила, но, посмотрев на меня, она улыбнулась с каким-то нежным унынием и сказала сидевшей подле нее женщине:

«Как он похож на свою мать!» Во взоре ее, на меня устремленном, была изображена трогательная, сердечная ласка, близкая к тому чувству, с каким добрая мать смотрит на своего сына, возвратившегося из дальнего путешествия. Она как будто искала в чертах моих знакомого, милого образа. Смотря на меня, она возобновляла в душе своей прошедшее; по лицу ее разливалось тихое уныние.

Сходство, поразившее герцогиню, напомнило мне, что я никогда еще не видал портрета матушки, мне известно было, что она скончалась в самую почти минуту моего рождения; не зная ее в лицо, я очень редко о ней думал. Но батюшка... Неужели воспоминание о милом человеке не могло быть для него любезно? Герцогиня разговаривала со мною о моих путешествиях. Я отвечал ей с некоторою застенчивостию, которую, казалось, заметила она с удовольствием; по крайней мере, она слушала меня весьма благосклонно. Я сам не понимал, что происходило в моем сердце. Видя ее в первый раз, я чувствовал, что она мне знакома, и очень близко. Батюшка взял шляпу, готовясь ехать. Герцогиня встала, подошла к нему, начала говорить обо мне, хвалила мою наружность, мое обхождение; наконец сказала, что слух о прекрасном воспитании, которое дал мне батюшка, заранее расположил умы в мою пользу; что в полгода, если буду вести себя осторожно, могу навсегда утвердить хорошее мнение обо мне в свете. На лице батюшки, до того времени важном и несколько суровом, изобразилось удовольствие; он просил герцогиню быть ко мне благосклонною; прощаясь с нею, казался он ласковее обыкновенного, но, севши со мною в карету, опять задумался. Я начинал несколько раз с ним разговаривать; он отвечал отрывисто, наконец, совсем перестал отвечать. Мы оба молчали. Вдруг батюшка воскликнул: *«Так, это правда, он может меня утешить!»* Утешить батюшку? Разве он имел горести? Какие же? Я осмелился просить у него объяснения; он посмотрел на меня пристально, как будто удивляясь невольной своей неосторожности; важное лицо его сделалось суровым; он несколько раз взглядывал на меня в размышлении, наконец, сказал, что нет человека на свете, совершенно довольного своею участию. Это недоверчивое молчание оставило глубокий след в моем сердце. Слова: *он может меня утешить*, беспрестанно в нем отзывались. Так, я могу быть утешителем отца моего, говорил я самому себе, могу для его счастья пожертвовать жизнью, но собственное мое счастье уже никогда не может от него зависеть! В первый раз почувствовал я необходимость найти такое существо, которое любило бы меня исключительно, со всею полнотою любви, которое находило бы во мне все свои желанья, все свои надежды, все свои радости и даже все свои печали.

Я занемог горячкою; в неделю опасность миновалась. Батюшке между тем поручено было от двора важное дело, которого успех зависел некоторым образом от тайны, поспешности и, можно сказать, от того уважения, которое имели к его характеру. Батюшка принужден был немедленно оставить Париж, но я не мог за ним следовать, будучи еще слишком слаб от болезни. Мы условились сказывать всем, что он уехал в деревню недели на две за собственным делом. Его отсутствие могло продолжиться шесть недель, но я обещался непременно к нему приехать, если б оно более продолжилось. Батюшка оставил мне слишком много денег. «Густав, — сказал он, — не входи никогда в долги: я знаю, что в твои лета никакое обязательство не может быть законным, но слово твое почитаю святым. Так, мой сын, — прибавил он, возвысив голос, — ты не имеешь ни брата, ни сестры: ты один занимаешь мое сердце: ничто не воспрепятствует мне пожертвовать всеми своими выгодами тому, что в свете называется истинною честью. Не забывай же, Густав, что отец твой будет терпеть недостаток, будет несчастлив, если в молодых годах своих не остережешь себя от излишества. По возвращении своем в Париж открою тебе свое состояние; тогда узнаешь сам, чего можно тебе от меня требовать для удовлетворения своим нуждам и прихотям. Густав, ты друг мой!» О, как сильно я был растроган! Я сжал его руку.

— Батюшка, — сказал я ему, — если я в самом деле друг ваш, то для чего ж закрыто для меня ваше сердце? Вы имели горести; душа моя должна их разделить; она заранее вас оправдывает: каждое ваше слово произведет во мне собственное ваше чувство; он *может меня утешить*, сказали вы. Кого же, кроме меня, могли вы назвать утешителем.

— Это слово тебя поразило, — сказал он печально, — я не имею горестей, мой друг, или скажу лучше, для меня тяжело говорить о них!

Я бросился к нему в объятия, прижал его к сердцу, надеялся разрушить ту преграду холодности, которая нас разделяла. Батюшка оттолкнул меня тихо, но оттолкнул. Ах, для чего не знает он, что без его доверенности не может существовать и моя? Для чего показывать мне так рано, что наши сердца могут быть с некоторых сторон закрыты одно для другого? Как больно мне было, когда он сказал с обыкновенною холодностию, с обыкновенным спокойствием своего благоразумия: «Поверь, Густав, я знаю лучше тебя, в чем должен я иметь доверенность к моему сыну и в чем могу не иметь ее!» Сядясь в карету, он меня поцеловал, но я, расставаясь с ним в первый раз, невольно чувствовал, что имею нужду в уединении: казалось, что я потерял друга, которого видел на одну минуту, о котором сожалел, и сожалел тем более, что находил в нем отца несравненного.

Дней чрез восемь меня пригласили на бал к испанскому посланнику, где видел я самое лучшее парижское общество. При входе в гостиную первая представилась глазам моим герцогиня Дестутвиль, которая привезла с собою молодую графиню Адельмар, свою внучку. Герцогиня сидела в галерее и равнодушно смотрела на общество; нечаянно взоры ее встретились с моими: она улыбнулась, дала мне знак, чтобы я к ней приблизился.

— Прошу мне сказать, что с вами сделалось? За что вы меня забыли?

— Батюшки нет в Париже, — отвечал я с замешательством.

— Разве он запретил вам показываться в свете?

— Напротив, сударыня, он несколько раз говорил мне, что я буду очень счастлив, если вы позволите мне пользоваться вашим обществом!

Мне показалось, что это ее удивило.

— Завтра приезжайте ко мне обедать!

Я поклонился и сел позади ее кресла; заметив это, она приказала мне встать и удалиться.

— Не будьте подле меня, — сказала она ласково, — молодой человек ваших лет должен на бале быть весел, танцевать, искать общества молодых женщин, им нравиться.

Я улыбнулся; она заметила мою улыбку.

— Без сомнения, вам угодно почитать меня слишком забавною, — сказала она шутя, — поверьте, однако, что мои советы могут быть для вас полезны: следуя наставлениям вашего батюшки, вы будете иметь успех в делах важных; следуя моим, будете иметь успехи в свете.

Герцогиня, женщина важная, холодная, с первого взгляда вселяющая почтение, обходилась со мною отменно дружески; я слушал ее с удовольствием. Мысль, не ошибается ли на счет ее батюшка, несколько раз представлялась моему рассудку; я не захотел ее рассматривать и бросился в толпу: блестящие одежды, яркое освещение комнат, музыка, многолюдство, живость, движение, все это вместе произвело во мне какое-то новое, чрезвычайно приятное впечатление. Вхожу в зал; молодая женщина готовилась танцевать менуэт; мужчины и женщины составляли около нее большой круг; приближаюсь, вижу прелестное, милое творение: *лицо* удивительно выразительное, стройный стан, приятный взгляд, душа во всех движениях! Мужчина, который вел ее за руку, казался мне слишком счастливым; я почувствовал сильное желание над ним посмеяться.

Менуэт кончился; незнакомка пошла на свое место; неизъяснимое очарование влекло меня вслед за нею. Глаза мои невольно устремлялись на это лицо, живое, остроумное, сохранившее всю ясность, всю милую веселость и простодушие младенчества. Большие, черные глаза, в которых сияла какая-то спокойная, сердечная *нежность*, которые, ка-

залось, не знали еще горестной задумчивости, не научились предвидеть печали; гибкий, приятный и легкий ее стан, ее прекрасные черные волосы, в которые вплетены были розы; ее прелестное платье, также украшенное розами: все казалось мне свежим, цветущим, очаровательным. Смотря на нее, чувствовал я в душе своей радость: она окружена была множеством молодых людей; шутки их заставляли ее улыбаться, но в улыбке ее замечал я одно добродушное снисхождение. Несколько раз глаза ее встречались с моими; быть может, я ошибаюсь, но всякий раз выражали они какое-то уныние; однажды она отворотила голову: мне показалось, что она вздохнула. Я спросил об ее имени: Эвелина Адельмар, внучка герцогини Дестутвиль, сказали мне. Едва не воскликнул я от радости: *я ее увижу!* Но я повторил это слово про себя: сердце мое трепетало от удовольствия.

Меня представили ей как родственника герцогини. Она сказала мне несколько приятных слов на счет батюшки; желала знать, люблю ли танцы. Вместо ответа я спросил: может ли она со мною вальсировать?

— Я дала уже слово.

— Танцы для меня несносно скучны, — сорвалось с моего языка.

— Меня звали на один только первый вальс.

— Ах, позвольте же мне просить вас на следующий, — прибавил я, забыв совершенно, что за минуту назвал танцы несносными. Эвелина улыбнулась: в милом простосердечии своем она не скрыла, что понимала мое чувство, и ясный взгляд ее говорил мне: тебе нельзя отказать от удовольствия танцевать со мною.

Заиграла музыка; Эвелина встала, начала вальсировать, и всякий раз, когда она ко мне приближалась, взор мой встречался с ее взором, но в продолжение танца она показывала внимание к одному своему кавалеру. Вальс кончился; Эвелина возвратилась на свое место, села; я опять к ней приблизился, начал с нею говорить.

— Где ваш батюшка? — спросила Эвелина.

— Его нет в Париже; я жду его через две недели.

— Через две недели? Боже мой, как мог он разлучиться с вами на такое долгое время, — сказала она, возвысив голос. Я не отвечал; слово *на такое долгое время* показалось мне насмешкою.

— Вы ошибаетесь, — сказала она, — если думаете, что я шучу. В две недели можно забыть...

— Все, кроме отца, — отвечал я, смягчая голосом, сколько можно, суровость моего выражения. Она удивилась.

— Я замечаю, — сказала она, — что вы имеете важный характер, но я не берусь защищать перед вами тех людей, которых вы так мало расположены забыть; будьте спокойны!



Я опомнился, почувствовал странность моей досады, хотел заглядеть свою ошибку: она дала мне чувствовать, что не заметила ни глупости моей, ни моего замешательства; продолжала говорить просто, ласково, свободно, расспрашивала меня о моих путешествиях, о моих удовольствиях, желала знать, которая земля нравилась мне более других; не предпочитаю ли которой-нибудь своему отечеству; словом, она говорила единственно обо мне, а я занимался единственно ею. В это время подошел к нам виконт Виллар, тот самый, с которым вальсировала Эвелина; он сделал графине самый низкий поклон и улыбнулся, она поклонилась ему также низко, с такою же улыбкою.

— *Никогда*, — сказал виконт с видом сомнения.

— *Менее, нежели когда-нибудь*, — отвечала Эвелина весьма решительно. Он покачал головою.

— *Увидим*, — сказал он и начал разговаривать с другою женщиною. Графиня посмотрела мне в глаза. Мне не понравилась ее короткость с молодым Вилларом. Не знаю, с чего пришло мне в голову, что сказанные ими таинственные слова относились ко мне.

— Разве батюшка не говорил вам, что мы друг другу немного родня?

— *Никогда*, — отвечал я, в свою очередь, стараясь казаться очень тонким, хотя не находил ничего особенного в том забвении, которое помешало батюшке говорить со мною об Эвелине. Как же я удивился, когда она отвечала с печальным видом:

— Я это предвидела, я не ошиблась!

— Как, предвидели, почему же?

— Семейственные обстоятельства слишком важная материя для бала! Хотите ли вальсировать?

Она подала мне руку, мы стали в ряд: и чувствуя на руках своих легкую Эвелину, будучи к ней так близко, лицом к лицу, и быстро вертя ее по паркету, я находил в душе своей такую живую веселость, такое счастье, каких никогда еще не чувствовал в жизни. Я не поверил бы, когда бы мне сказали, что я увидел Эвелину в первый раз; я стал бы смеяться будущему и называть осторожность безумством, когда бы вздумали уверять меня, что будущее может быть для меня опасно. Кончив вальс, я начал опять разговаривать с Эвелиною; во весь тот вечер мы были вместе.

— Который вам год? — спросила она.

— Близко ли мы родня? — сказал я вместо ответа.

— Не так близко, чтобы любить или ненавидеть друг друга.

— По крайней мере, довольно близко, чтобы иметь право мне с вами видаться, а вам мне это позволить?

— Мы будем искать друг друга по долгу родства, с равнодушием, — отвечала она с приятным взором шутливости, но взор ее прибавил: *в себе не сомневаюсь, а ты, посмотри!*

Я проводил ее до кареты. Возвратившись домой, я думал об одной Эвелине, воображал ее прелестное лицо, ее улыбку, взгляды: сладостное воспоминание не оставляло меня до самого сна; поутру проснувшись в самом веселом и счастливом расположении духа: существо мое казалось мне обновившимся.

Приезжаю к герцогине Дестутвиль; она еще не выходила. В гостиной было уже много, но одни мужчины. В этот день (четверг) собирались обыкновенно в доме герцогини все люди, заметные по какому-нибудь отличному достоинству; чины и звания, не будучи смешаны, были соединены: писатель старался нравиться, знатный быть обязательным; каждый, забывая самого себя, давал чувствовать цену других: казалось, что в эти дни великое слово *я* изглаживалось из памяти; всякий, можно думать, опять находил его за дверьми, но, будучи в этом обществе, никто никогда не давал его заметить.

Герцогиня и Эвелина вошли вместе. О, какое очарование заключено в первой привязанности сердца, в том чувстве, которое влечет одно сердце к другому тогда, когда еще не начинали они любить, когда еще неизвестно им, должны ли они заключить союз между собою! Эвелина, при вступлении своем в комнату, заметила первого меня, и мне одному обрадовалась своим взглядом; а я, взглянув на Эвелину, в одну минуту очарован был прелестью ее лица, приятностью ее одежды.

Герцогиня, идя к своему месту, переговорила со всеми; Эвелина следовала за нею, каждому сказала приятное слово, а на меня только взглянула и прошла мимо; я принял этот взгляд с благодарностию: мне приятно было, что Эвелина отличила меня от других.

Я поклонился герцогине с глубоким, искренним почтением.

— Ныне, — сказала она, — всего приличнее вам сидеть подле меня, более заниматься мною. Молодой человек, делая новое знакомство, — прибавила она, улыбаясь, — должен всегда находить хозяйку дома любезною. Представляю вам молодого своего друга, — сказала она обществу, показывая на меня, — он близок воспитанием своим нашим летам!

Я принят был со вниманием и ласково; сел за креслами герцогини; Эвелина села подле нее: она уже не была тою веселою, живою, модною женщиною, которую прельщался я на бале испанского посланника: я видел перед собою скромную, застенчивую, кроткую, тихую женщину, которая желает нравиться, не стараясь себя выказывать; к приятной

наружности присоединяла она приятность ума, обыкновенно приобретаемую в таком отборном и образованном обществе.

Рассуждали о новых книгах; хвалили без восхищения, критиковали без колкости. Герцогиня упомянула о бале, бывшем накануне; говоря о бале, думаешь о женщинах — она сказала:

— Во Франции женщина является в свет обыкновенно после замужества, участь ее решилась: по крайней мере, так может и должна она думать. Я желаю, чтобы она окружена была некоторым спокойствием, некоторою приятною тишиною; чтоб взгляды ее были нежны и тихи; чтоб все угадывали, а не замечали ее чувства; приход ее не должен быть слышим, громкий смех ей не приличен, в разговоре не может она возвышать голоса: говоря тихо, возбуждаешь внимательность; говоря мало, вызываешь воспоминания.

— Прекрасный образец женщины, — сказал господин Сенеси, — но позвольте спросить, что находите в этой женщине натурального?

— Сделаю одно замечание, — отвечала герцогиня, — желание нравиться, с некоторым сомнением в успехе, всегда придает какую-то прелесть простоте натуральной!

От рассуждения о женщинах перешли к рассуждению о жизни. Важные мысли мешались с печальными и мрачными; от мрачных и печальных переходили к чувствам приятным; короче, разговаривать в доме герцогини Дестутвиль значило размышлять вслух, в связи, непринужденно, свободно, с привлекательною легкостью, без всякого опасения.

Я возвратился домой с новою привязанностью к герцогине, в новом восторге от прелестей Эвелины. На другой день собираюсь к ним опять, но, должно признаться, с некоторым замешательством, опасаясь быть в тягость, приехать не вовремя. Я ошибся: герцогиня и Эвелина приняли меня, как будто предузнав мое посещение, с искренним, дружеским удовольствием.

Герцогиня пригласила меня с собою в театр: как приятно мне было сидеть в этой карете, с ними втроем! Как был я внимателен к герцогине Дестутвиль! Я подал ей руку, отвел ее в ложу, чувствовал неизъяснимое удовольствие предупредить ее малейшие желания; она смотрела на меня дружески: я чувствовал в душе своей сыновнюю к ней привязанность.

Она спросила у меня, что делаю обыкновенно по вечерам? Я признался, что, не имея большого знакомства, провожу их вообще дома один.

— Если вы не боитесь моих старых лет, — сказала она, — то приезжайте каждый день обедать и ужинать ко мне в ожидании возвращения вашего батюшки; я желала бы заступить в вашем сердце место матери;

я уверена, что ваша матушка была бы чувствительна к той дружбе, которую к вам имею!

Она вздохнула, замолчала, обратила глаза на сцену; во все продолжение пьесы казалась задумчивою, печальною. Перед концом оперы она взглянула на меня опять и сказала приятным, полным трогательной нежности голосом:

— Густав, найди мою карету.

*Густав*, повторил я про себя, это *голос матери!* Сердце мое было довольно. Так, я буду любить ее столь же нежно, как любит Эвелина; буду ей угождать с таким же вниманием, с каким угождает ей Эвелина; иметь одно общее чувство с Эвелиною — какое счастье!

Герцогиня, возвратившись домой, нашла у себя многолюдное общество; села играть в карты. Я не знал ни одной игры, остался один, без всякого занятия, подошел к камину, задумался; я думал об Эвелине, которую видел вдаль, не будучи сам ею видим, которую одну замечал в кругу многолюдного, веселого общества. Думая об Эвелине, я вспомнил о муже ее, графе Адельмаре, который путешествовал по Европе и третий уже год был розно с женою. Смотря на Эвелину, забытую им, я почитал его или безумным, или жалким; не понимал, для чего никто еще не сказал мне о нем ни слова. Что заставило его удалиться, и так надолго? Никто, кроме герцогини Дестутвиль, не мог объяснить для меня этой загадки. Но как осмелиться сделать такой вопрос женщине, имеющей самое тонкое чувство приличия? Герцогиня, почтенная по своим летам, но молодая умом, отменно уважаема в обществе; все те, которые желают что-нибудь значить в нем, ищут ее знакомства: молодая женщина или молодой мужчина, вступающие в свет, почитают важным успехом, когда имеют позволение приближаться к ее креслам и с нею разговаривать. Герцогиня, чрезвычайно тонкая и учтивая в обхождении, никогда не забывает того внимания, которым она обязана другим, ни того почтения, которого имеет право от других требовать. В разговоре не терпит она ни восклицаний противоречия, ни живости спора; объявляет свое мнение просто, не показывая желания вас убедить, не оставляя вам надежды переменить образ ее мыслей. Никогда не унижает она себя злоречием, никогда не изъясняется на счет других с обидною решительностию; свое неодобрение выражает она одним презрением, а нелюбовь холодною отдаленностию; когда она говорит о человеке: *его никто не знает*, то надобно разуметь, что он никогда не бывал в хорошем обществе; а если позволяет себе сказать: *я не имею с ним знакомства*, то знайте, что он не может быть принят в хорошее общество. Такова она со всеми. Но со мною? Какая нежная, попечительная, трогательная материнская дружба! Причины предубежде-

ния, которые заметил я насчет ее в батюшке, были для меня трудною загадкою; я не понимал, для чего в моей молодости никогда не говорил он со мною о моих родственниках; для чего не старался гораздо прежде познакомить меня с домом герцогини? Не смея осуждать поступков моего отца, я против воли думал, что не одно желание воспитать меня как можно лучше, но вместе и некоторое суровое отвращение от людей было причиною долговременного, совершенного его одиночества. Я оправдывал перед самим собою его сердце. Добрый, почтенный родитель, восклицал я, истинный друг мой, ты удалялся от света, блестящего, веселого, но страждущий и печальный никогда не отходил от тебя, не ощутив отрады! Сколько раз и в нашем уединении, и во время путешествия приводил я к тебе несчастного, который получал от тебя выше своего требования! Сколько раз повторял ты мне, что первое желание твое — образовать, усовершенствовать мою душу! Так, неизвестность, которою покрыта для меня твоя участь, должна обратиться в мою же пользу: я признаюсь, что постоянное твое отдаление от человеческого общества кажется мне слишком мрачным, что непривязанность твоя к родным выходит из обыкновенного порядка вещей, но я уважаю твою тайну; я говорю самому себе: сколь нужно быть осторожным в суждении о людях, к нам не близких, когда и поступки лучшего отца могут казаться неизъяснимыми в глазах сына, почтительного, нежного, благодарного!

На другой день я должен был рано поутру увидеться с герцогинею по одному делу, которое поручила она мне исполнить. Меня ввели в ту залу, в которой обыкновенно собиралось ее общество; она была пуста, и мне приятно было сидеть в ней одному: я воображал, что я дома, что принадлежу к семейству герцогини Дестутвиль; короче, эта веселая мечта трогала мое сердце. Двери и окна были отворены в сад, веял самый приятный осенний ветерок; небо сияло чистым, утренним блеском. Оживленный новыми чувствами, я в первый раз находил в самом себе сию спокойную радость, сие восхитительное наслаждение жизнью, которые обыкновенно производят на нас прекрасный день и зрелище веселой природы: прежде подобные впечатления были для меня менее ощутительны. Герцогиня прислала мне сказать, чтобы я подождал; в эту самую минуту увидел я в аллее Эвелину: я побежал к ней... новое счастье! До сих пор она представлялась глазам моим в богатом уборе, в присутствии множества посторонних, но тут увидел я ее в простой одежде, украшенную одними собственными приятностями, в тысячу раз привлекательнее прежнего.

Эвелина, увидя меня с собою наедине, смешалась: от чего, не знаю.

— Пойдемте к герцогине, — сказала она и, не дожидаясь моего ответа, отворила большую стеклянную дверь. — Матушка, — сказала она, — я привела к вам графа Обинье!

Мы вошли в кабинет. Герцогиня писала. Она оглянулась.

— Ах, Эвелина, — сказала она с некоторым огорчением, — я просила Густава подождать.

Я начал рассматривать портреты, которые висели на стенах кабинета.

— Вы видите, Густав, портреты любезных мне людей, — прибавила герцогиня печальным голосом, — ни одного из них нет уже на свете!

Герцог Дестутвиль изображен был вместе с своим старшим сыном на огромной картине, вставленной в богатую раму; на лице его заметил я холодность и высокомерие: взоры мои невольно отвратились. Рядом с этою картиною висел портрет молодого человека, прекрасного лицом, с приятным, меланхолическим взглядом.

— Это Альфред, младший мой сын, — сказала герцогиня; глаза ее, устремленные задумчиво на портрет, наполнились слезами. Немного далее заметил я очень миниатюрные картинки, на которых изображены были две молодые женщины.

— Это моя дочь, мать Эвелины, — продолжала герцогиня; она не сказала ни слова о другом портрете. Я напомнил о нем. Она потупила глаза и отвечала: «Это твоя мать!».

— Матушка? И в вашем доме нахожу ее портрет! Я никогда не видал его у батюшки! Должно думать, что его сожаление о ней слишком сильно: глубокая, постоянная горесть питается воспоминанием, которое, может быть, нестерпимо для чувства, более пылкого.

Обе эти картинки были, конечно, написаны в одно время; их черные рамы и столько восхитительных, едва расцветших прелестей, которых уже нет, произвели в душе моей чувство, неизъяснимо горестное. Герцогиня его заметила.

— Видишь ли, Густав, для чего я не хотела принять тебя в своем кабинете? Ты должен быть уверен, что для меня приятно тебя видеть везде и во всякое время.

Входя в эту горницу, я был спокоен и счастлив, но в ту минуту душа моя страдала: едва я мог переводить дыхание!

— Что остается нам от долговременной жизни, — продолжала герцогиня, — одно сожаление, одни печальные, напрасные воспоминания, — взглянувши на Эвелину, она прибавила, — и робкое ожидание будущего!

— Матушка, — сказала Эвелина, — мне жаль, что я привела к вам Густава!

Желая рассеять мои мысли, она указала мне на свой портрет, висевший над письменным столиком герцогини Дестутвиль.

— Сходен ли он? — спросила она.

Я отвечал: «И нет, и да», не помня самого себя: сердце мое поражено было нечаянностью и горестию. Герцогиня смотрела на портрет своей внучки с сердечным унынием.

— Как бы я желала, чтобы этот милый человек был счастлив, — сказала она.

— Ах, — воскликнула Эвелина, — разве я не имею лучшей, несравненной матери?

— Милый друг, если бы я и осмелилась тебе поверить, то эта мысль была бы новою горестию для моего сердца: в мои лета каждый день почитается потерей, и с каждым днем теряешь надежду на завтра!

— Матушка, Бога ради не пугайте меня: я не могу подумать об этом без трепета! Пойдемте в сад: время удивительно прекрасное!

Герцогиня встала. Эвелина схватила ее за руку и повела к дверям. Я остановил их и спросил: «Знает ли батюшка, с какою нежностью привязаны вы к воспоминанию о моей матери?» Она поняла, что батюшкино предубеждение против нее было мне известно; что я, не осмеливаясь говорить с нею прямо, был бы весьма счастлив, когда бы она согласилась сама его уничтожить.

— Батюшка ваш, — сказала она, — очень долго жил в отдалении от света и людей; какие бы ни имел он на то причины, я уверена, что они соответствуют его характеру и основательны. Один он может объяснить для вас непонятное.

Не будучи доволен ее ответом, я хотел войти в подробности.

— Густав, — сказала она, взглянув на меня почти сурово, — мне предубеждать тебя против отца? Когда бы он и обвинял меня, то я не знаю, имела бы я право оправдывать себя в глазах его сына.

— По крайней мере, не забуду никогда, что в вашем доме я в первый раз увидел портрет моей матери.

— На что почитать это обстоятельство слишком важным? Мать твоя была мне друг, и друг самый близкий к моему сердцу; желание соединить портрет ее с портретом моей дочери очень естественно! Должно ли оно казаться тебе необыкновенным?

Герцогиня, стараясь меня успокоить, только усиливала мое волнение. Мы простились; я должен был опять идти через большую залу; утреннее солнце освещало ее по-прежнему, но чувства мои были уже не те; одна минута разрушила очарование: печальные мысли бременили мою душу; я думал только о несчастье видеть, как исчезают наши любезные!

Герцогиня позволила мне списать матушкин портрет. На другой день прихожу в кабинет ее, за полчаса до обеда, и сажусь за работу. Отворяется дверь, входит Эвелина: она совсем не воображала найти меня в кабинете, остановилась в дверях, подумала, через минуту подошла к моему столу и наклонилась, чтоб посмотреть на мое рисованье. Вдруг она сказала:

— И у меня есть портрет вашей матушки.

— У вас? От кого вы его получили?

— Не знаю, по какой причине расстались наши родные: никогда герцогиня не позволяет себе говорить со мною об этих обстоятельствах; знаю только то, что матушка моя была нежнейшим другом вашей, что никогда не снимала она с себя ее портрета; что она, умирая, просила меня беречь его свято, как лучший памятник ее жизни!

Я смотрел на Эвелину и чувствовал, что некоторое тайное, непобедимое очарование меня к ней привлекало.

— Покажите мне этот портрет, — сказал я с сильным волнением. Она вышла, говоря, что портрет находится в ее комнате, но возвратилась в ту же почти минуту и отдала мне золотой медальон, привязанный к ленте. Мне показалось, что в золоте была чувствительна легкая теплота; на ленте, недавно развязанной, остались сгибы узла: тайный голос уверял меня, что Эвелина выходила за тем, чтоб снять с своей груди портрет моей матери. С каким восхитительным движением убеждалось мое сердце в этой мысли, но я не осмелился на ней остановиться; я возвратил портрет: она приняла его и покраснела; я потупил глаза, чтобы не дать ей заметить, что я видел ее краску. Я спросил, неужели ни одно обстоятельство не было ей известно?

— Не знаю ничего, — отвечала мне Эвелина, — я говорила с теми людьми, которые могли быть очевидными свидетелями происшествий; никто не мог объяснить мне этой тайны. Ничто необыкновенное не было замечено в свете; ни одной жалобы, ни одного слова у них не вырвалось: они перестали видаться; вот все, что мне и другим известно! Причина этого разрыва есть загадка, которая, может быть, останется понятною только им.

— Вижу, — сказал я, — что мы окружены облаком, которое заставляет меня ужасаться!

— Ах, — отвечала Эвелина, улыбаясь, — это облако не самое темное: мы можем еще друг друга видеть.

Она напомнила мне, что время идти в зал, где находилось уже довольно гостей; что скоро пойдут обедать. Я вышел из кабинета; Эвелина пошла к герцогине.



Вечеру герцогиня просила Эвелину играть и петь; я побежал за арфою в ее комнату, которой еще не видал, и радовался случаю ее увидеть. С каким чувством вступил я в первый раз в кабинет Эвелины! Все представляло в нем привычку к упражнениям и непостоянство в их выборе: фортепиано, арфа, гитара, картины, рисунки, цветы, книги, шитье. Ах, подумал я, всем занята и ни к чему не привязана! На столе увидел я раскрытого Массильона<sup>1</sup>; подле него лежал том Вольтера, и так близко, что верно читаны были они в одно время. Возвратившись в зал, я не мог не сказать Эвелине шуточного приветствия на счет ее разнообразных занятий и разнообразных талантов. Она забавлялась моими шутками, и сама очень приятно над собою шутила:

— Браните меня, сколько вам угодно, — сказала она, — вы принудите меня оправдываться и говорить о себе хорошее: разве это не удовольствие?

Она села; начала настраивать арфу, которую велела мне поддерживать. Я осмелился сказать ей вполголоса:

— Спойте ваш любимый романс.

— Не думаете ли, — сказала она так же тихо, — чтоб можно было сделать справедливое заключение о человеке по вкусу его в музыке?

— На это могу отвечать только тогда, когда вас услышу!

— То есть вы скажете, что я ветрена и беспечна, если спою веселую, быструю арию; или наградите меня именем *чувствительной*, если выберу какой-нибудь томный, меланхолический романс.

— Напротив; веселая, быстрая ария заставит меня подумать, что вам приятно побеждать трудности; а томная и унылая, что вас занимает какое-нибудь воспоминание.

При этом слове лицо ее переменялось; она отдернула от меня арфу, которая была еще в моих руках.

— Воспоминание, — сказала она сухо, — я не предвидела, что вы это скажете!

Она заиграла прелюдию, играла долго, и между игры спросила меня отрывисто, с приметною досадою: «Прошу мне сказать, на котором году начинаются, по вашему мнению, воспоминания?» Не дожидаясь ответа, начала она сонату, огромную, шумную, в которой никаким способом не можно было заметить чувства. Кончив ее, она встала. Герцогиня опять попросила ее петь; все общество приступило к ней с такою же просьбою; я стоял в углу и молчал, ничто не могло победить упрямства Эвелины.

На другой день приехал я к герцогине ранее обыкновенного; в гостиной не было еще никого из посторонних; Эвелина сидела подле своей бабушки за работою. Увидя меня, она перестала шить и взяла

книгу. Я тотчас ее понял: она хотела мне дать почувствовать, что не намерена была говорить со мною. Не будучи опытен в искусстве расстраивать женские хитрости, я догадался, однако, что в этом случае всего приличнее казаться незамеченным, и начал спокойно разговаривать с герцогинею. Вдруг Эвелина воскликнула:

— Я сама думаю, что он говорит правду!

— Что такое? — спросила герцогиня.

— Ла-Брюйерова мысль<sup>2</sup>, которая прежде казалась мне самою обыкновенною.

— Какая мысль?

— *Очень трудно быть кем-нибудь довольною*, — сказала Эвелина, смотря мне в глаза и кивая мне слегка прелестною своею головою.

— Знаю, — сказала герцогиня и прибавила вполголоса, наклонившись ко мне, — бедная моя Эвелина несчастлива!

Она вздохнула и переменила разговор. Эвелина посмотрела на меня задумчиво: этот трогательный взгляд поколебал мою душу.

Сказали о приезде гостей; Эвелина встала и пошла в сад. Я скоро за нею последовал, но с таким чувством, какого еще никогда не замечал в своем сердце; слова герцогини: *бедная моя Эвелина несчастлива*, не выходили из моей памяти. Я желал, чтобы она открыла мне свою душу, но я не смел завести об этой материи разговора. Мы долго прохаживались взад и вперед по террасе перед окнами герцогини; я молчал, боялся самого себя, уверен был, что первое слово мое обнаружит перед нею всю мою душу; чувствовал в груди своей болезненное стеснение, почти не мог дышать. Эвелина заметила мое замешательство, взглянула на меня с чувством; спросила важным, убеждающим своим голосом о причине моего беспокойства.

Я продолжал молчать.

— Разве не имеете вы друга? — сказала она тихо и нежно.

— Ах, — воскликнул я, — вы одни могли бы мне отвечать на это.

— Я, — возразила она с принужденной веселостию, — вы шутите; мое положение слишком странно для дружеской доверенности! Никогда, твердил мне мой опекун, не говори о своих печалях и не вверяй своей тайны женщинам; женщины лукавы и ненадежны. Мужчины опасны; бойся им верить, повторяет мне часто бабушка: скажите, кого слушаться? Но если я и способна не открывать никому собственных горестей, — прибавила она, смотря на меня пристально, — то как могу не принимать участия в горестях моих друзей и родственников? Могу ли не желать, чтобы они были со мною искренны?

Она замолчала. Я уверял ее, что не имею никаких *собственных горестей*; что одно слово герцогини Дестутвиль: *Эвелина моя несчастлива*,

слово, которое одна она могла мне растолковать, было единственной причиной моего беспокойства.

— Послушайте меня, Густав, — сказала она с доверенностью, — я чувствую сама, что быть с вами искреннею для меня необходимо. Я желала бы описать вам всю свою жизнь, все обстоятельства моего младенчества, все горести молодых моих лет, но я не прежде буду говорить с вами о них, как накануне приезда вашего батюшки!

Это меня удивило.

— Какая связь между приездом батюшки и вашею доверенностью, Эвелина?

— Самая тесная! Батюшка ваш имеет великое влияние на мою участь, и я ничего не открыла бы вам, когда бы он мог навсегда остаться в отлучке: накануне его приезда вы узнаете, и все должны узнать!

— Непонятная тайна!

— Послушайтесь меня, Густав, — продолжала Эвелина, — перестаньте любопытствовать. В тот самый вечер, — прибавила она, с таким взором, которому невозможно было не повиноваться, — в тот самый вечер, в который вы мне скажете: *завтра ожидаю батюшку*, на этом самом месте буду говорить с вами откровенно, свободно! Теперь прибавлю одно слово: я назову себя истинно счастливою, если в этот вечер мы будем согласны и в мыслях, и в чувствах.

Она удалилась, запретив мне за собою следовать.

На другой день я нашел у герцогини Дестутвиль большое общество и между прочими виконта Виллара, того молодого человека, которого непринужденное обхождение с Эвелиною показалось мне столь досадным: не будучи еще решительно привязан к Эвелине, я был оскорблен ее вниманием к Виллару, но тут душа моя познакомилась с чувством ревности. Входя в залу, я прежде всех заметил виконта: он стоял за стулом Эвелины, говорил, смеялся, и мне, почему не знаю, пришло в голову, что предметом их разговора был я. Эвелина шутила, когда Виллар задумывался; Виллар смеялся, когда Эвелина принимала на себя важный вид; один доказывал, другая старалась уверить. Какое сношение имеет он с Эвелиною, спросил я у самого себя? Приближаюсь к ним; Эвелина принимает меня очень холодно; я рассердился, отошел прочь и сел в угол. Виллар посматривал на меня очень часто и колко улыбался; Эвелина смеялась и избегала моих взоров: это показалось мне слишком обидным; я вскочил и сел на кресла подле самой Эвелины. По крайней мере, буду мешать им, если они согласились меня мучить, подумал я, но что же сделала Эвелина? Не спрашивая, будет ли это мне приятно, она представила меня виконту Виллару; он подошел ко мне с великою непринужденностью, взбесил меня своим приятным

учтивством: мне чрезвычайно хотелось сказать ему грубость. Эвелина смотрела на меня с удивлением: угрюмость лица моего показалась ей странною. Виконт, сказавши мне два слова, удалился, как будто опасаясь найти во мне скучного ревнивца.

— Знаете ли, Густав, что ваше обхождение с виконтом смешно и даже грубо, — сказала мне Эвелина.

— Кто ж препятствует ему рассердиться?

— Но по какому праву позволяете вы себе делать неприятности моим знакомым?

— Этот виконт единственный человек, которого не могу видеть!

— Я с вами согласна, — прибавила она с насмешливым взглядом, — можете ли находить приятным такого человека, который обходителен, учтив, имеет тонкое чувство приличия?

— Прибавьте, — воскликнул я, переменявшись в лице от досады, — что он уверен в своем превосходстве и в том высоком мнении, которое имеют о нем другие.

Она заметила, что я выхожу из себя; взгляд ее сделался робким и нежным.

— Густав, — продолжала она с выражением чувствительного упрека, — вы хотите, чтобы я вас боялась! Могла ли я думать, чтоб нежный, благородный, великодушный Густав способен был повредить доброму имени женщины своею вспыльчивостию или своею...

Она замолчала и покраснела, но я угадал ее мысли... я произнес то слово, которого не смела произнести Эвелина: *или своею привязанностию*, сказал я с восхищением во глубине сердца. Эвелина меня оставила и села подле герцогини; я вышел в другую залу; здесь, по несчастию, мужчины играли в банк; я остановился у стола, смотрел на игру, но занимался одною Эвелиною: я видел эту улыбку, которая отвечала не мне, а другому; эти прекрасные глаза, которые не хотели встретиться с моими; я снова почувствовал досаду: в эту минуту представляется глазам моим Виллар; он метал банк; я в первый раз почувствовал желание играть: мне страстно хотелось *выиграть*. Я не помыслил о проигрыше; возможность кольнуть и рассердить Виллара меня прельстила: я бросил на стол все свои деньги и проиграл их; занимаю у своих знакомых, проигрываю сто, двести, триста луидоров; я готов был поставить на карту все имение, чтобы только отнять у Виллара оскорбительную мысль, что он и в игре может быть меня счастливее; был вне себя, хотел играть на честное слово, вдруг слышу позади себя приятный голос Эвелины:

— Граф Обинье, герцогиня имеет в вас нужду: подите к ней сию минуту!

Оборачиваюсь, вижу Эвелину, бледную, в беспокойстве: она удалилась; встаю, бегу за нею вслед; она останавливается на минуту посреди горницы, поднимает глаза к небу, и говорит:

— *Вы ли это, Густав?*

Она запретила мне за собою следовать. В каком остался я унижении!

Я подошел к герцогине Дестутвиль, остановился, ожидал ее приказания. Герцогиня, с своей стороны, смотрела на меня с любопытством, спрашивала взором: какую имею до нее нужду?

— Графиня Адельмар уверяет, что вам угодно мне что-то приказать.

— Эвелина, говорите вы, — спросила герцогиня с удивлением.

Я смешался, почувствовал, что Эвелина обманула меня только для того, чтоб отвести от игры, отвечал несколько несвязных слов, стоял, потупив глаза.

— Вижу, — продолжала герцогиня, — что Эвелина рассудила и меня вмешать в свою шутку! Очень хорошо: я почитаю себя вправе требовать от вас объяснения. Не отходите, сударь, от моего кресла; я намерена с вами переговорить, как скоро останемся одни!

Я принужден был сидеть подле нее целый вечер. Эвелина, печальная, погруженная в мысли, стояла у камина; к ней подошел Виллар; до сего времени она ни разу не подымала на меня глаз; я чувствовал, что он рассказывал ей о нашей игре: надобно отдать справедливость виконту; ему неприятно было, когда я начал играть. Эвелина слушала его со вниманием, но, отвечая Виллару, она смотрела на меня: с той самой минуты, в которую он к ней приблизился, она беспрестанно занималась мною, ни на минуту не теряла меня из виду; такое нежное доказательство привязанности, сей трогательный знак предпочтения, успокоили, развеселили мою душу; неизъяснимая сладость, неизъяснимое очарование в нее проливались. Как был я привязан в эту минуту к Эвелине, с каким восхищением, упавши к ногам ее, признал бы себя виновным! Какая несправедливость с моей стороны, думал я: виконт Виллар ее любит, удивительно ли? Он знает ее сердце, он чувствует ее прелесть! Эвелина говорит, что он любезен, остроумен, весел; она говорит правду. Я сам почти люблю Виллара, я сам желал бы иметь с ним более сходства.

В одиннадцать часов все разъехались. Герцогиня села в свои большие кресла, подозвала к себе графиню Адельмар; приказала мне придвинуть стул и спросила у нас, зачем звала меня к ней Эвелина. Мы оба не отвечали ни слова.

— Как вы хотите, но в мои лета очень простительно знать, что делаешь; потрудитесь, Густав, объяснить мне, для чего просила я Эвелину вас кликнуть!

— Знаю только то, милостивая государыня, что я, в угодность вам, готов вас оставить.

— А я знаю, что вы очень учтивы, но этого мало: один из нас должен быть непременно виноватым, и весьма буду вам обязана, если вы рассудите открыть мне, кто этот виноватый.

Еще несколько минут молчания. Наконец Эвелина сказала:

— Матушка, в зале играли в банк; я боялась, чтобы граф Обинье не забылся; я удалила его вашим именем.

— Хвалю твое чувство, моя милая, но в другое время не советую быть столь осторожною за других. В твои лета очень опасно исправлять чужие погрешности. Что скажешь, например, если завтра начнут говорить в обществе о твоём любезном внимании к Густаву, о твоей дружеской о нём попечительности?

— Намерение мое невинно!

— Могут ли в этом сомневаться! Но, милая, всякое невинное намерение должно рассматривать два раза; дурное всегда очевидно и само собою бросается в глаза.

Эвелина встала, обняла со слезами свою бабушку, взором просила у нее прощения.

— Вижу, — сказала она печальным голосом, — что мне не должно заботиться о совершенстве Густава.

— Другая крайность, — отвечала герцогиня, — требую только того, чтобы вперед твои советы переходили к Густаву через меня!

Я поцеловал с сердечным почтением руку герцогини.

— Что касается до вас, государь мой, то завтра поутру узнаете мысли мои о вашем поведении: прошу приготовиться к ужасной проповеди!

Она встала; мы простились; я приехал домой в великий досаде на самого себя и с новою привязанностию к Эвелине.

Это *завтра* был первый день нового года. Рано поутру подали мне печать с прекрасною, значительною для меня эмблемою: Амур пишет вензель; начальная буква моего имени уже написана, другой еще нет; рука Амура приготовилась ее начертать; конечно, хотели, чтобы сердце мое само собою угадало сию таинственную букву. К печати приложена была бумага; я развернул ее и прочитал следующее:

*Портрет Густава, когда он будет иметь двадцать пять лет*

Густав высок ростом; очень строен; имеет наружность величественную. Все его движения благородны; он мог бы показаться слишком важным, когда бы легкий оттенок нежной беспечности не делал его особенно прелестным. Чувствуешь, что на лице его могло бы изо-

бразиться негодование, но спрашиваешь: кто в состоянии оскорбить Густава?

Взгляд его столь же непорочен, как и душа; в гармонии своего голоса имеет он какую-то прелестную тихость, какую-то нежную приветливость; он столь привлекателен своим обращением, что, разговаривая с ним, всегда остаешься доволен самим собою: думаешь, что никто, кроме тебя, не мог внушить ему того милого слова, которым он тронул твое сердце. Он возвращает самым обыкновенным приветствиям учтивости первоначальную их выразительность, говоря; *здравствуй*, он желает вам счастья; говоря: *здоровы ли вы*, он искренно принимает участие в вашем положении.

Поступки Густава ознаменованы особенным благородством: он не признал бы себя великодушным, когда бы не был несколько расточительным. Никто скорее Густава не привлекает вашей доверенности, но доверенности полной, не смешанной ни с каким опасением; он не имеет ни легкомыслия, ни суровости; признаетесь ли ему в своем проступке, он огорчается, но более теми обстоятельствами, которые против воли вовлекли вас в заблуждение: он глубже вас проникает во внутренность вашего сердца, находит в нем тайнейшие побуждения, более извинительные и ускользнувшие от собственного вашего взора; словом, он отнесет скорее ваше преступление к несовершенству и слабостям человеческим, нежели решиться обвинять в нем единственно ваше сердце.

Негодование Густава можно назвать кротким: он мимоходом и слегка намекает о своих неудовольствиях; сожалеет о вас, делая вам упреки; не помнит зла; не может в душе своей питать ненависти. Начните перед ним обвинять его друга: он закроет глаза и будет просить пощады, удивляясь, что вы имеете дух огорчать его.

Двадцати лет Густав имел расположение к ревности. Однажды в своей досаде едва не помрачил он имя такой женщины, которая почти не говорила с ним и о дружбе. Густав привязан к чести, чувствителен, нежен в своих чувствах. Мысль, что он едва не сделал такого проступка, который никогда не бывает заглажен, исправила его навеки. Одно слово успокоило его ровность, единому взгляду надлежало бы предупредить ее.

Никогда Густав не позволяет себе оскорблять другого. Острая насмешка бывает забавна и для него, он не имеет духу опорочить ее, даже не может воздержаться от улыбки, но всегда чувствительно, что его улыбка произвольная, что он готов осуждать за нее самого себя, по крайней мере, смех его только видим и никогда не бывает слышен.

Смотря на Густава, можешь бояться того нежного чувства, которым всякий бывает невольно к нему привязан: мучишься мыслию, что ты не одна ему любезна. Душа его, столь нежная и добрая, потеряла бы слишком много от переменчивости, но можно ли поселить в ней привязанность постоянную. Где женщина, которая *одна* могла бы служить ему верною спутницею на трудной дороге жизни, одна могла бы охранить его от всех очаровательных заблуждений сердца? Если б Густав имел не более двадцати лет, то я сказала бы ему: не верь сим первым впечатлениям, сим увлекающим чувствам души, которые делают человека столь переменчивым; дай более твердости своим качествам; обрати в правила свои расположения; в противном случае, твои прекрасные качества будут опаснее для тебя самых недостатков.

Я несколько раз перечитывал эти строки. Кому, кроме Эвелины, прислать мне такой подарок, думал я, и благодарил ее во глубине души, забыв вчерашнюю на нее досаду, и будучи твердо уверен, что она сама обо всем забыла. Вечеру еду к герцогине, дорогою стараюсь выдумать, каким бы средством доказать Эвелине, что мое сердце не угадало ее. Она сидела в гостиной вместе с герцогинею, которой читала вслух новую книгу. Приезд мой не заставил ее переменить положения: она как будто не заметила, что я в комнате, даже не подняла на меня глаз. Герцогиня, более обыкновенного веселая и любезная, отняла у нее книгу.

— Я обещалась с вами нынче браниться, Густав, — сказала она, — но лучше отложить мою мораль до завтрашнего утра: все старые женщины твердо уверены, что первый день года надобно проводить без ссоры. Скажите, Густав, много ли вы получили подарков?

— Ни одного, милостивая государыня (я не хотел упоминать о печати и портрете, которые почитал залогом вечной дружбы, а не простым подарком на новый год).

— Как ни одного, — воскликнула герцогиня с притворным удивлением, — бедный молодой человек, неужели никому не пришло в голову о вас вспомнить?

— Никому, милостивая государыня!

— Густав, я удивляюсь вашей скромности, но должно признаться, что она выходит из границы. Разве не получали вы от меня печати?

— Как, милостивая государыня, — воскликнул я, пораженный удивлением, — эта печать ваша?

— Что же находите в этом странного? Я, точно я, имела удовольствие послать к вам нынче поутру маленького Амура!



Надобно думать, что удивление, изобразившееся на лице моем, было очень странно: герцогиня не могла воздержаться от смеха. Эвелина с досадою и невольною улыбкою воскликнула:

— Я готова божиться, что он приехал благодарить за этот подарок меня!

— А я не ожидала такого благоразумного замечания, — сказала герцогиня, — как можешь думать, моя милая, чтобы Густав вообразил такую глупость! Он точно от меня получил Амура, который пишет вензель и к имени Густава хочет присоединить другое, следственно мое; это натурально!

Эвелина опять начала читать, а я опять сделался весел: никто на свете, после Эвелины, не казался мне столь привлекательным, как милая, любезная герцогиня Дестутвиль! Не только была она добродушна, снисходительна, весела в обхождении с своею внучкою, но, можно сказать, что, будучи с нами втроем, она была забавна и более обыкновенного любезна. Признаюсь, однако, что я находил ее непостижимее самой Эвелины! Каким чудом, спрашивал я у самого себя, и та, и другая могли забыть о графе Адельмаре? Что значит их совершенное о нем молчание? Я внутренне желал, чтобы отсутствие его продолжилось: всякое чувство души стремил меня к Эвелине, и сколь она казалась мне привлекательною! Как изобразить эту прелестную смесь ловкости в обращении, знания людей и чистой непорочности сердца? Эвелина имела не более осьмнадцати лет, но уже четвертый год, как была замужем. Она никогда не разлучалась с герцогинею Дестутвиль; будучи под присмотром попечительного друга, но совершенно свободная в поступках, она сохранила всю прелесть непринужденности, характер веселый и откровенный; думала, что все, не запрещаемое герцогинею, было позволено; будучи совершенно чувствительна и простосердечна, имела приятную улыбку младенца; самая неосторожность ее казалась ясною, веселою беззаботностию чистого сердца.

На другой день получаю от батюшки письмо. Он уведомляет меня, что все дела его кончены; что он вслед за письмом своим будет в Париже. Лечу к Эвелине; нахожу ее одну в гостиной; спешу разделить с нею свое волнение: холодность и недовольный взгляд ее меня остановили. Я почувствовал, что она хотела казаться сердитою; поклонился ей, молча, и сел в угол. Я не беспокоился; посмотрим, говорил я самому себе, будет ли она помнить об этой ссоре, когда скажу ей:

— Завтрашний день батюшка возвратится в Париж.

Эвелина, помолчав несколько минут, спросила:

— Были ли вы, господин Обинье, с визитом у виконта Виллара?

— Я забыл думать, что есть на свете виконт Виллар.

— Сожалею. Мне кажется, что вы могли бы сделать учтивость такому человеку, который везде хорошо принят, с которым вы сами обошлись третьего дня так ласково. Надобно признаться, что ваша учтивость примерная!

— В глазах моих учтивость то же почти, что дружба; если обхождение мое покажется несколько грубым, то надобно знать, что я *не хочу* быть учтивым.

— Привычка очень любезная! Но можете ли мне сказать, государь мой, что было причиною вашей невероятной грубости с виконтом?

— Я не думаю себя оправдывать, милостивая государыня, но смею надеяться, что вам известна причина моего странного поступка.

— Извините! Целые два дни стараюсь угадать ее, и все напрасно!

— По крайней мере, я имел счастье целые два дни занимать собою ваши мысли.

Эвелина вся покраснела от досады.

— Так, государь мой, очень возможно заниматься два дни тем человеком, которого желаешь забыть на всю жизнь!

Ее волнение и слезы тронули мое сердце.

— Эвелина, я виноват, непрослительно виноват перед вами, — воскликнул я, садясь подле нее на кресла, — но разве не могу извинить себя любовью?

— Боже мой, что пользы в такой дружбе, которая вместо того, чтоб доставлять нам счастье, только разрушает его!

— Скажите, мог ли я владеть самим собою?

— Государь мой, такого рода исступление непостижимо; хочу, чтобы любили меня, как я люблю сама, ни более, ни менее!

— Нет, Эвелина, милого человека предпочитаешь самому себе! Как можете в этом сомневаться?

Она потупила глаза, в которых не осталось и тени досады.

— Огорчить меня, и что еще хуже, проиграться, жертвовать своим честным словом... Густав, могла ли я это предвидеть?

— Эвелина, хотите ли меня выслушать? Минуты дороги; в будущем, может быть, ожидают нас одни несчастья!

Она посмотрела на меня с беспокойством и робостию, и сердце мое облегчилось; я знал, что одно слово о будущем заставит ее позабыть прошедшее.

— Завтра возвратится батюшка.

Она переменилась в лице.

— Густав, — сказала она, — я намерена была вам делать упреки, но теперь не время; прибавлю одно слово: обещайтесь...

Дверь отворилась; вошла герцогиня; я не мог узнать, чего Эвелина хотела от меня требовать, но я готов был, во что бы то ни стало, исполнить ее малейшее желание.

Я объявил герцогине о приезде батюшки; она несколько смешалась.

— Густав, — сказала она мне, — вы кажетесь печальны. Но я уверена, что возвращение батюшки вас радует.

— Можно ли в этом сомневаться? Но всякая перемена в положении сначала кажется страшною.

— Знаю, что батюшка ваш имеет некоторое против нас предубеждение. Не хочу ни обвинять его, ни себя оправдывать; напротив, требую, чтобы вы не старались уничтожить этого несчастного предубеждения: оно исчезнет само собою. Надейтесь на время! Если ему покажется нетерпимым, что вы посещаете нас слишком часто, то можете исполнить волю его и не видаться с нами столько времени, сколько он потребует... Я знаю графа Обинье: он будет к нам ревновать; ваша привязанность ко мне и к Эвелине оскорбит его родительскую нежность. Верьте, однако, милый Густав, что никогда разлука не может повредить вам в моем сердце.

Слово «разлука» испугало Эвелину: она побледнела; невозможность говорить с нею свободно приводила меня в отчаяние. Я повторял, что никакое могущество на свете не может уменьшить моей привязанности к ним обоим. Герцогиня меня остановила.

— Густав, — сказала она, — теперь ты должен думать единственно о том, чтобы отец твой был тобою доволен; это необходимо собственно для твоего счастья: отец может иметь пристрастную любовь к виновному сыну, но в свете всегда уважают детей, которых родители счастливы.

Эвелина заплакала. Герцогиня не хотела приметить ее слез и, желая, может быть, ободрить ее или занять мое внимание, прибавила: «Представляю в пример Эвелину; в ней заключено истинное мое счастье». Эвелина бросилась в объятия герцогини; мысль, что она делает счастливою свою мать, дала ей силу сокрыть свою горечь.

Садясь за стол, я осмелился напомнить Эвелине, что она обещала мне рассказать накануне приезда батюшки все обстоятельства своей жизни.

— *Рассказать*, — повторила она, взглянув на меня с нежным упреком, — ах, Густав, я говорила *верить!*

Милая, милая Эвелина! Я был привязан к ней всеми силами души, но я никогда не имел искусства изобразить своей привязанности так убедительно, с такою живостию, как она: одним взглядом, одним выражением, одним звуком голоса пронизала она прямо в мою душу; я находил близ нее тысячу неожиданных, неизъяснимых наслаждений,

которыми был очарован, которые меня успокаивали, которые наполняли меня чистым счастьем.

Я надеялся, что, вставши из-за стола, Эвелина будет свободна, что наконец откроется сия тайна, столь для меня любопытная. Герцогиня уничтожила мою надежду: она посадила Эвелину за пьальцы, и сама села подле нее: надобно было видеть, как эта нежная бабушка, наклонившись на свою внучку, рассматривала ее работу, о которой, весьма вероятно, нимало не думала. Мы не говорили ни слова, но совершенно разумели друг друга. Герцогиня боялась, чтоб Эвелина слезами своими не возбудила во мне желания открыться ей в своих чувствах. Эвелина разделяла мою печаль, мое нетерпение; в глазах ее написано было, что она охотно посадила бы меня на место своей бабушки.

Вечеру герцогиня пригласила нас в оперу; будучи в свете с нею в одной ложе, мы не могли обменяться словами, едва осмеливались давать волю глазам. Но случай, который иногда благоприятствует любовникам, привел к нам старого маршала Кондильяка в ту самую минуту, как герцогиня вставала, чтоб ехать из театра. Он подал ей руку; герцогиня заметила мое удовольствие и, проходя мимо меня, улыбнулась. Я повел Эвелину с лестницы, радуясь, что маршал и герцогиня, оба очень старые, шли медленно. Эвелина и я следовали за ними в некотором отдалении; мы условились воспользоваться первым благоприятным случаем и примирить с герцогинею батюшку.

— Вы видите, — сказал я Эвелине, — что вам не будет возможно объясниться со мною на словах; напишите!

Эвелина испугалась; осторожность ее меня оскорбила.

— Имейте доверенность к моей чести, — воскликнул я, взглянув на нее с упреком, — пусть женщина, которую неоднократные обманы сделали неосторожною, боится писать о том, о чем соглашается говорить, но вы... но ко мне!..

Эвелина видела, что я растроган; быть может, чувствовала, что мы наслаждались последними минутами счастья; она отвечала: «Я напишу». Опасаясь, чтобы герцогиня нас не услышала, мы шли, наклонив голову, и разговаривали очень тихо. Два молодых человека с нами повстречались. Один из них сказал:

— *Что сделалось с этим спокойным, беспечным графом Адельмаром?*

Я поднял глаза, вспыхнув от досады; Эвелина прижалась к моей руке: она дрожала.

— Густав, — спросила она, — и вы, конечно, думаете о графе Адельмаре?

Мне кажется, что граф Адельмар о всех забывает: кому же придет в голову о нем подумать?

— Ах, Густав, — прибавила Эвелина со вздохом, — могли ли вы вообразить, чтоб я о нем забыла!

Мы пришли к подъезду; герцогиня велела мне найти ее карету. Возвратясь, я искал глазами Эвелину: она стояла позади своей бабушки, была задумчива, не говорила ни слова; я не осмелился к ней приблизиться. Вышед из кареты, она с нами простилась.

— Я нездорова, — сказала она герцогине и, проходя мимо меня, шепнула, — Густав, как дурно судили вы обо мне! Я буду писать непременно!

Она удалилась; я принужден был остаться: этот вечер показался мне бесконечным.

На другое утро получаю следующее письмо от Эвелины: «Я вас оставила, Густав, но мне грустно, и я говорю самой себе: он верно будет печален. Чувствую, что присутствие мое для него необходимо. Желала бы возвратиться, но что подумает герцогиня, которая, может быть, объявила уже, что я нездорова? Останемся! Густав, я должна обнаружить перед вами свою душу, должна поместить себя в вашем сердце со всею непорочностию, которую нахожу в своем; теперь для меня необходимее к вам писать, нежели вас видеть.

Не знаю, почему возвращение вашего батюшки кажется мне началом несчастий: он столько имел влияния на мой жребий, что его присутствие приводит меня в ужас.

Причины, поссорившие наших родителей, мне неизвестны; я знаю только то, что общие друзья старались возобновить между ними согласие и самым верным к тому способом почитали супружество между вами и мною. Отдаю справедливость герцогине: она приняла это предложение без всякого упорства, но батюшка ваш не хотел о нем слышать; он обнаружил совершенное отвращение к госпоже Дестутвиль.

Бабушка, оскорбленная отказом графа Обинье, решила своим замужеством предупредить суждение света. Мне было тогда четырнадцать лет. Ей предложили графа Адельмара, который имел не более шестнадцати. Герцогиня согласилась меня выдать: граф Адельмар был знатен, богат, но слишком еще молод. Родственники наши положили, чтоб он, тотчас после совершения нашего брака, отправлен был в путешествие, которому надлежало продолжиться два года. Я, с своей стороны, мало размышляла о важных и вечных обязанностях супруги. Граф Адельмар приезжал к нам каждый день с своим надзирателем, и мы всегда видались в присутствии бабушки; словом, вышед за него замуж, я не имела почти никакого о нем понятия. Прямо из церкви поехали мы завтракать к герцогине. Нас посадили рядом, поздравляли; во весь тот день мы не успели сказать друг другу ни слова. В пять часов после обеда

граф Адельмар сел в коляску и оставил Париж, чтобы начать свое путешествие.

Ничто не переменилось в образе моей жизни: я продолжала по-прежнему брать у своих учителей уроки; почти забыла, что я замужем, и вспоминала о графе Адельмаре только тогда, когда другие проносили в присутствии моем его имя. Прошел год; я была совершенно спокойна. В одно утро приезжает к герцогине дядя моего мужа. Меня выслали, но тут в первый раз показалось мне досадным, что в делах, касающихся до меня так близко, обходились со мною, как с ребенком. Часа через два бабушка приказала меня кликнуть, я нашла ее одну, заметила на лице ее необыкновенную важность: она даже не взглянула на меня, когда я вошла в комнату. Я вообразила, что граф Адельмар болен, и начала о нем расспрашивать. Герцогиня удивилась: она никогда не имела случая заметить, чтоб я принимала участие в судьбе моего мужа. “Лицо ваше, — сказала я, — показывает мне, что я должна ожидать чего-нибудь необыкновенного”. — “Разве ты не воображаешь никакого другого несчастья, кроме болезни, или смерти?” — “Ах, — воскликнула я, не подумав, сколько доверенности заключалось в моих словах, — боюсь такого только несчастья, от которого вы не можете спасти меня”. Она прижала меня к сердцу и заплакала. Я испугалась. Бабушка подумала, что всего лучше объявить мне истину. Твой муж, сказала она, проиграл очень много денег; дядя его, великий скупец, требует, чтобы родные съехались на совет; чтоб я сама, как будто желая сберечь твое приданое, созвала их у себя в доме; чтоб возвратили племянника его из чужих краев; чтоб он, наконец, провел остальной год путешествия в деревне, получая на содержание свое небольшую сумму денег. Последнее было бы весьма благоразумно, когда бы граф Адельмар добровольно согласился переехать в деревню, но если он вообразит, что с ним поступают несправедливо, что у него похитили свободу и собственность, то, без сомнения, раздражится, и досада, быть может, приведет его к новым, опаснейшим дурачествам. Я просила герцогиню заплатить долг графа Адельмара из собственного моего имения. “Мой друг, я согласилась бы на это без всякого прекословия, — сказала она, — когда бы уверена была, что ты имеешь истинную привязанность к графу и коротко знаешь его характер, но расстраивать имение для богатого мужа, совершенно тебе незнакомаго, есть странность, которая чрезвычайно удивит публику”. Герцогиня дала мне слово не принимать никакого участия в тех строгих мерах, которые покажутся необходимыми для родственников графа. Не желаю, сказала я, чтоб имя мое возбуждало в нем чувство неприятное. Герцогиня сама имела те же мысли, но она радовалась, что я первая сделала ей такое предложение

Это важное происшествие, которое предвещало мне в будущем одни несчастья, произвело между герцогиней и мною тесную связь: мы сделались друзьями; я наконец осмелилась спросить у нее, для чего соединила она меня с графом Адельмаром в такие лета, в которые нельзя было иметь совершенной доверенности к характеру его, едва образованному и по всем отношениям неизвестному? Бабушка хотела извинить поспешность свою необходимостью. В первый раз произнесла она передо мною ваше имя, и в первый раз узнала я об оскорбительном отказе графа Обинье. Сравнивая поведение Адельмара с вашим, герцогиня сожалела о неуспехе своего старания соединить нас. Неприметно вы сделались единственным предметом наших разговоров. Никогда воспоминание о графе Адельмар не возбуждало во мне надежды на счастье; я почти забыла, что от него могла ожидать своих горестей: я занималась одними вами; я мыслила только о тех мечтательных наслаждениях, которыми герцогиня прельстила меня так неосторожно.

Старый граф Адельмар, дядя моего мужа, непременно хотел быть строгим; он раздражил своего племянника и ввергнул его в новые шалости. Почитая Адельмара несчастным, я написала к нему письмо, в котором предлагала ему свои бриллианты и деньги, определенные на мое содержание по свадебному контракту; я уверяла, что буду искать его помощи, предпочтительно перед своими родственниками, если неопытность молодых лет приведет меня, как и его, в расстройство. Герцогиня, будучи в восхищении от того чувства, которое побудило меня написать это письмо, называла меня великодушною: ослепленная своею нежностью, она хвалила поступки мои в свете, и, может быть, хвалила их слишком много. Граф Адельмар не принял моего предложения; отвечал мне с холодностью; осыпал упреками своего дядю, который (писал он), открыв мне проступок мужа, весьма извинительный, без сомнения уменьшил то уважение, которое могла я к нему иметь; словом, нетрудно было заметить, что он боялся найти во мне чувство собственного превосходства, слишком для него обидное.

Герцогиня, уверенная, наконец, что я не могу быть совершенно счастлива, привязывалась ко мне час от часу нежнее. Она устремила свою попечительность на образование моего рассудка и сердца. В шестнадцать лет имела я довольно твердости ума, чтобы с спокойным терпением говорить самой себе: ты должна быть несчастна; будущее не принесет тебе никакой радости!

Прошло два года; графу Адельмару надлежало возвратиться во Францию: мы получили от него письмо, в котором пишет, что навсегда отказывается от отечества. “Дядюшка, — говорил он мне, — конечно, вообразил, что он потеряет некоторую часть своей власти надо мною,

если не откроет вам обстоятельно всех моих заблуждений. Бесконечными своими жалобами он вооружил против меня публику и сделал ее вашею сообщницею. Герцогиня, может быть, слишком часто говорила в обществе о ваших примерных со мною поступках. Поверьте, милостивая государыня, что я сам не захотел бы сокрыть их от света, но вам без сомнения известно, что никакой муж не может согласиться услышать о них от людей посторонних; сверх того воображаю, что наше соединение должно быть слишком печальным!” Он признавался, что имел в Англии нежные, драгоценные для сердца его связи. “Не думайте, — продолжал он, — чтоб я хотел оскорблять вас таким открытием; оно произвольно: прошу относить его ни к моей досаде, ни к моей слабости. Знаю, что я безрассуден, но для меня невозможно победить свои чувства! Я сам каждую минуту себя упрекаю и своим признанием хочу возвратить вам свободу. Если вам угодно меня простить, если захотите видеть во мне одного *друга*, то буду почитать себя слишком счастливым: воспоминание о вас никогда не изгладится из моего сердца”.

Все родственники наши были оскорблены чрезвычайно; я одна защищала графа Адельмара. Бабушка в ту же минуту хотела требовать развода; сам граф Адельмар, казалось, имел его в мыслях, но я не согласилась; я опасалась привести сурового дядю к какой-нибудь жестокой крайности; я дорожила правом защищать того человека, которого имя почитала своею собственностью.

Чтобы не сделать никакого неприятного шума в свете, родственники мои условились таить от вспыльчивого дяди намерение графа Адельмара. Герцогиня объявила, что она согласна, в ожидании какой-нибудь благоприятной перемены в образе мыслей моего мужа, целые два года не требовать развода. Я, с своей стороны, осталась спокойною в сердце своем; не переменяла ничего в порядке своих занятий и, можно сказать, радовалась, что принуждена была сохранить свое равнодушие. Не смешно ли в шестнадцать лет располагать своим будущим? Но я имела в виду одно спокойствие: лучшими призраками своими почитала счастливую старость бабушки, благотворительность, свободу, мирную непривязанность ко всему постороннему и внешнему.

Герцогиня, потеряв надежду на графа Адельмара, сделалась задумчивее, менее досадовала на вашего батюшку и часто говорила о нем с похвалою. Вы путешествовали тогда по Европе. Бабушка с великою заботливостию разведывала о вашем характере, о вашем поведении. В обществе осыпали вас похвалами. Она любила их слышать, но всякий раз приходила от них в задумчивость.

Вы возвратились: я заметила необыкновенное в ней волнение. Вы сделали первый выезд. Один из ваших родственников, с которым вы



встретились в обществе, приехал к нам ввечеру и описывал с жаром то впечатление, которое произвели вы над ним и над другими. Он восхищался вашею наружностью, вашим привлекательным и скромным обращением, которое при первой встрече привязывает к вам душу вашею почтительною нежностью к графу Обинье; словом, ни малейшая черта достоинства не была забыта. Признаться ли? Я слушала эти похвалы с отвращением; по моим мыслям, хвалить вас значило меня оскорблять. Прощаясь с нами, родственник наш спросил у герцогини, позволит ли она графу Обинье представить ей завтра своего сына? Бабушка с удовольствием дала свое согласие, а я в ту же минуту решилась не быть во весь завтрашний день дома; короче, я убежала вашего присутствия: не знаю, почему была уверена, что граф Обинье отдалил вас от меня своим предубеждением. Первый раз в жизни оскорблялась я равнодушием графа Адедьмара: не оправдывало ли оно, по-видимому, отказа и отвращения вашего батюшки? Первый раз в жизни упрекала я мысленно герцогиню: согласившись принять вас к себе в дом, она, казалось мне, унижала и себя, и меня; короче, я была в страшной досаде на всех, а на вас более, нежели на других.

Я ни за что не хотела признаться самой себе, что сердце мое находило в вас того человека, который один способен доставить ему счастье: вас так хвалили; вас называли совершенным! Тот день, в который вы были представлены герцогине, провела я в деревне у одной родственницы; я возвратилась в Париж очень поздно, чтобы не иметь неприятности с вами встретиться, и наперед уже оскорблялась теми похвалами, которые надеялась о вас услышать. Я нашла у герцогини множество гостей; сама она сидела за картами; другие рассуждали об одном важном политическом происшествии. Никто не произносил вашего имени: волнение мое несколько успокоилось, но сильное любопытство заступило его место. За ужином кому-то пришло в голову о вас спросить; я начала вслушиваться; похвалы, которыми вас осыпали, приводили меня в удивление: самые строгие люди были к вам благосклонны. Такое всеобщее *восхищение* казалось мне смешным; я утешала самое себя, говоря: *я его увижу!* Нельзя не открыть в нем какого-нибудь недостатка, по крайней мере, какой-нибудь странности! По крайней мере, найду в его добродетелях что-нибудь чрезмерное, следственно, несообразное с понятиями светскими; словом, тогдашнее мое нетерпение вас увидеть было так же сильно, как и прежнее мое желание с вами не встречаться.

Прошло две недели; вы не подумали сделать визита герцогине. Что может быть яснее, говорила я с торжеством, самые обыкновенные правила учтивости ему неизвестны; я не ошиблась! Меня пригласили на бал к испанскому посланнику; я надеялась вас там увидеть и помню,

что, одеваясь, чувствовала в себе какую-то необыкновенную живость, близкую к досаде. Герцогиня, пораженная моим блестящим убором, несколько раз повторяла, что я одета прекрасно, к лицу! Едва не призналась я, что это приятное одобрение меня радовало. Сердце мое угадало вас с первого взгляду. Я внутренно была вам благодарна за то почтение, с каким подошли вы к герцогине и ей поклонились. Ваша наружность, ваше благородное обращение отличали вас так много от всех других молодых людей, что я не могла не сказать с огорчением: он знает учтивость, но ему только не хотелось со мною встретиться! Виконт Виллар просил меня танцевать менуэт; вы к нам приблизились, вы следовали за мною глазами: я это чувствовала и была в замешательстве. После менуэта вы подошли ко мне: как я обрадовалась, когда заметила, что граф Обинье не только не говорил вам о союзе со мною, но даже не сказал, что я существую на свете! В первый раз сильное желание нравиться или, сказать искренно, маленькое кокетство поселилось в моем сердце: буду в глазах его столь любезною, говорила я, что он на всю жизнь останется с горестным сожалением о моей потере.

Вы помните, что я начала вальсировать с виконтом Вилларом, самым любезнейшим, после вас, молодым человеком! Я люблю его за добрый характер, за острый ум, соединенный с редким простодушием! Прежде имел он некоторую ко мне привязанность, которая могла бы обратиться в сильное чувство, когда бы не уничтожена была моим совершенным равнодушием; мы остались искренними друзьями. Но думать надобно, что любовь, самая безнадежная и давно успокоившаяся, всегда неразлучна с некоторою ревностью; виконт прежде, нежели я сама, проникнул во внутренность моего сердца. Вальсируя с ним, я на вас взглянула. *“Вот человек, который отомстит за невинных”*, — сказал он насмешливо. Я покраснела и рассердилась; досада моя подтвердила его мысли. “Я не поверил бы своему пророчеству, когда бы вы засмеялись и..., — прибавил он, — но...”, он остановился. Я, в самом деле, досадовала на Виллара. “Никогда, никогда, — воскликнула я с сердцем, — это единственный человек, которого должна и хочу ненавидеть”. — “Ах, — воскликнул он, засмеявшись, — это дело другое: ненавидеть! Единственный человек! Какой ужас! Бедный Густав Обинье!” Вальс кончился, я села на прежнее свое место; Виллар удалился. В его присутствии, может быть, я не дала бы себе такой свободы, не стала бы с вами говорить, но он нас не видал, а самолюбие требовало, чтобы я вам нравилась: я желала вашей любви, чтобы со временем иметь удовольствие сделать вас совершенно несчастливим! Мы разговаривали очень долго; я имела время заметить все ваши необыкновенные качества и досадовала внутренне. Почтительность, с какою выражались вы

на счет своего батюшки, показалась мне умышленным оскорблением; словом, душа моя была в беспорядке, но я еще не любила.

Занимаясь вами, я не заметила, что виконт Виллар слушал нас с большим вниманием; он прошел мимо и сказал мне с колкою недоверчивостию: *никогда?* Это значило, после нашего разговора за вальсом: *вы никогда не будете любить? Менее, нежели когда-нибудь*, отвечала я в совершенной досаде на себя, а еще более на виконта, который насильно вкрадывался в тайны моего сердца. По лицу вашему я заключила, что короткость моя с виконтом вас удивляла; это удвоило мою досаду. Я, без сомнения, хотела уверить вас в своем равнодушии, но мысль, что вы почитаете меня привязанною к другому, была для меня несносна. Во весь остаток вечера вы просидели подле меня: я радовалась от всего сердца, и в этот вечер (в первый раз после вашего возвращения в Париж) была весела и спокойна. Густав, не думайте, чтобы одно самолюбие могло произвести во мне особое к вам почтение; герцогиня Дестутвиль, не подумавши о моей молодости, говорила со мною о вас так часто, описывала вас такими пленительными красками, что в сердце моем давно таилась мысль: один Густав способен дать тебе счастье.

С того самого вечера вы начали каждый день посещать госпожу Дестутвиль. Не видав меня, вы думали о ней мало; узнавши меня, вы сделались с нею неразлучны: я чувствовала это в своем сердце, и была вам благодарна, и говорила себе с живым восхищением, с утешительною доверенностию: *он будет любить меня!* Безрассудная, предавшись неосторожно желанию овладеть вашим сердцем и произвести в нем бесполезное, меланхолическое обо мне сожаление, не примечала я, что собственное мое сердце было уже вам подвластно, что каждая мысль моя к вам стремилась.

Герцогиня прилежно за нами примечала: я видела, что надежда соединить нас опять нечувствительно вливалась в ее душу. Она с любопытством искала в сердцах наших взаимной привязанности друг к другу. Что касается до меня, то, не имея никакой предусмотрительности, не замечала я пролетающих минут и дней, быстрое время сие казалось мне очарованным: с какою безрассудною беспечною наслаждалась я своим счастьем.

Густав, обнаружив такую сильную ревность к виконту Виллару, вы поступили весьма несправедливо. В ту самую минуту, в которую вы обвиняли меня мысленно, Виллар доказал мне, что я имею в сердце тайную к вам прривязанность; он давал мне заметить ваше волнение; смеялся беспокойству, написанному на вашем лице; уверял, что я обязана ему благодарностию за вашу досаду, и в этом случае говорил он совершенную истину.

Ваша ревность едва не обратила на меня глаза общества. Признаться ли? Я трепетала, но не имела духу на вас сердиться: испугание любезного, великодушного Густава произведено было страстию. Вы стали играть, были готовы забыться; я ужаснулась, что могла иметь право сделать вас виновным: ах, Густав, отказываюсь навсегда от этого опасного права, но дайте мне слово, что никогда не будет иметь его другая! Как я уверилась в эту минуту в будущем вашем спокойствии, в будущем вашей счастии! Сидя уединенно, задумавшись, в отдаленном углу залы, я на вас не смотрела, но вы были в моем сердце: с какою сладостию повторила я тайный обет никогда не делать вам огорчения!

Будучи уверена в вашей сердечной ко мне привязанности, я часто повторяла: ты свободна, ты можешь располагать рукою и сердцем! Опять надежда на счастье, неразлучное с нежным союзом, меня оживила: мечта очарованной жизни, посвященной любви, посвященной желанию нравиться, невольно увлекала и наполняла неизъяснимою сладостию мою душу, но мысль о счастии обыкновенно погружает меня в уныние, когда привожу на память горестное, несправедливое предубеждение вашего батюшки.

От чего произошли несогласия наших родственников, неизвестно. Как же хотеть уничтожить то, чего не знаешь? Не я причиною их, это верно, они начались прежде моего рождения. Не будем подвергать себя новому отказу со стороны вашего батюшки; ограничим себя одною дружбою, истинною, непорочною, какой не было примера, которой восхитительную мечту ношу в своем сердце!

Завтра возвратится ваш батюшка! Может быть, захочет он нас разлучить, и сия печальная мысль о разлуке извлекла из меня то признание, которое вы читали. Я провела над этим письмом целую ночь. Сначала хотела описать некоторую только часть своего мучения, но искренность завлекла меня далее: что нужды, вам все должно быть открыто! И чувства, и мысли, и намерения мои будут известны вам, как мне самой. Густав, обещайтесь, что, несмотря на возвращение вашего батюшки, вы каждый день будете уделять нам по одному часу. Густав, один час на нежную привязанность целой жизни!

*Эвелина».*

Я полетел к Эвелине. В первый раз осмелился войти к ней в комнату без ее позволения, без согласия герцогини. Эвелина свободна, она меня любит; я обожаю ее; кто может противиться нашему союзу? Она приняла меня с замешательством, прелестным, трогательным.

— Целое утро, — сказала она, покрасневшись, — упрекаю себя в своей искренности.

Я хотел описать ей то восхищение, которое произвело во мне ее письмо: во взоре ее, на меня устремленном, была такая нежность, такая тихая, пленительная непорочность, что вся душа моя летела к ней в некотором упоении. Накануне слово дружба несказанно меня трогало, но в эту минуту сердце мое требовало другого, нежнейшего чувства.

— Нет, нет, — сказала Эвелина, устремив на меня взор, полный спокойного, душевного наслаждения, — не желаю страсти, неразлучной с мукою и несправедливостию; чувствую одну привязанность и одно счастье!

И я, смотря на мою восхитительную Эвелину, наслаждался счастьем, в котором заключалось что-то небесное.

— Густав, обещаетесь ли быть у нас так же часто, как и прежде, до возвращения вашего батюшки?

— Даю вам слово.

— Этого недовольно: так же, как и во время *его отсутствия*?

— *Как и во время его отсутствия*, Эвелина, от всего сердца!

— *Каждый день?*

— *Каждый день.*

— А я даю обещание не произносить ни одного слова, для вас огорчительного; быть вашим другом, истинным, лучшим, во всякую минуту жизни.

— Но можем ли довольствоваться одною дружбою, когда желаем быть счастливы? Эвелина, вы свободны!

— Так, Густав, но я боюсь вашего батюшки. Ему обязана я своим несчастьем; быть может, захочет он и довершить начатое. Как бы то ни было, но счастье его для меня дорого; желаю, Густав, чтоб и тогда, когда обстоятельства или смерть разлучат нас навеки, не могли вы вспомнить ни одной минуты в жизни своей, в которую бы не была я вашим истинным, совершенным другом!

Чувства, наполнившие мою душу, были так живы, что я воскликнул:

— Эвелина, я должен или удалиться от вас, или быть уверенным, что вы отвечаете на мою привязанность!

— Выслушайте меня, Густав! Я могу ошибиться, но дружба, существующая в сердце моем, имеет образ небесный. Хочу перелить в вас собственные свои чувства! Отдайте во власть мне вашу душу, Густав, отдайте на один только месяц!

Я смотрел на нее с изумлением, не постигая, как можно противиться, или как можно покорить себя ее власти. Она прибавила с нежным беспокойством:

— На один только месяц! Скажите, если бы теперь захотели принудить вас со мною разлучиться, согласились ли бы вы на это без горести?

— Ах нет, но теперь еще имею силу удалиться! А через месяц...

— И через месяц вам будет время сказать: *хочу, чтоб Эвелина была несчастна; чтоб вечно сожалела о том, что меня утратила!*<sup>13</sup>

— Эвелине быть несчастною, возможно ли?

Я чувствовал, что жертвовал спокойствием всей своей жизни, но согласился принести ей эту жертву; я дал ей то обещание, которого она от меня требовала: каждая новая мысль производила новый обет! Она казалась очарованною своим счастьем; глаза ее благодарили меня и Небо.

Наконец батюшка возвратился. В минуту свидания сердце мое чувствовало одну радость; самая любовь была на время забыта. Я сам отворил двери батюшкиной кареты, принял его в объятия, не мог говорить, не мог выражать на словах своего восхищения. Батюшка был доволен, и до тех пор, пока не могли мы говорить в связи, ничто не возмущало нашего счастья. Описав свое путешествие и все обстоятельства своего дела, он, наконец, спросил, что делал я во время его отсутствия? Сердце мое сжалось.

— Батюшка, — отвечал я, — завтра будем говорить о вещах посторонних и неважных; теперь позвольте мне заниматься единственно вами!

— Согласен отложить до завтрашнего дня разговор о новых знакомствах и новых связях твоих, если, в самом деле, не заключается в них ничего важного, но...

— Прошу вас, батюшка, будьте снисходительны к моей просьбе; дайте мне насладиться вашим присутствием, насладиться радостью о вашем возвращении, без всякой примеси печали!

— Густав, — сказал он с важностию, — не я научил тебя надеяться на завтрашний день. Мне кажется, что герцогиня Дестутвиль сделала из тебя великого политика; я видал опыты ее искусства...

— Батюшка, осмеливаюсь требовать от вас полной доверенности в двух вещах: первая, что никогда, никто не получит от меня права сказать мне такое слово, которого вы не могли бы слышать; другая, что никогда герцогиня Дестутвиль не говорила мне ничего, могущего сделать вам неудовольствие.

Он крепко сжал мою руку.

— Ты должен вспомнить, Густав, — сказал он, — что эта женщина была известна мне прежде, нежели ты родился... Я познакомлю тебя с нею со временем.

Это обещание, похожее на угрозу, меня испугало.

— Батюшка, — воскликнул я с огорчением, — оставьте мне мою спокойную доверенность! Для чего разрушать очарование моего сердца?

Он поглядел на меня с улыбкою сожаления; мы сделались печальны, перестали говорить; ужинали в молчании. Вставши из-за стола, он мне сказал:

— Я имею дела; теперь поздно. Завтра поутру надобно ехать в Версаль; будь готов, я беру и тебя с собою.

Он пожал мою руку, и я удалился.

Мы очень рано приехали в Версаль. Батюшка провел несколько часов в кабинете министра; я между тем сидел один в зале и сравнивал это скучное утро с теми приятными, которые так быстро протекли для меня в обществе герцогини Дестутвиль и Эвелины. Остаток дня посвящен был визитам; мы возвратились в Париж ночью. С каким волнением сидел я в карете! Батюшка был спокоен и молчал: я не смел сказать слова, но какая буря происходила внутри моего сердца! Не вчера ли обещал я Эвелине, что не пропущу ни одного дня, не выдавшись с нею; и на другой день принужден не исполнить своего слова.

Проводив батюшку до его спальни, полетел я к Эвелине. Я знал, что я никого не увижу; по крайней мере, швейцар запишет мое имя, подумал я, стуча в двери дома. Швейцар отворил их, удивился, узнав меня в лицо; его удивление заставило меня образумиться: я сделал несколько извинений, самых смешных, самых нескладных; уверял, что, ехавши из Версаля, заснул и совсем не думал, чтоб было так поздно.

— Но вы пешком, милостивый государь!

— Карета моя в десяти шагах.

— Не угодно ли вам, чтоб я за нею сходил? Идет дождик.

— Нет, это не нужно! Не забудь только сказать герцогине, что я приезжал.

Я затворил двери; хотел идти, остановился, несколько минут смотрел на окна Эвелины: в горнице было темно; окна завешены были гардинами, но сердце мое несколько успокоилось: я некоторым образом исполнил обещание, данное мною Эвелине. Я не безумец; я мог бы провести один день в разлуке с нею, но целый день *не стараться* с нею увидеться, изменить своему слову, это казалось мне невозможностию. Дождик лил ливнем; я его не чувствовал; я был не в силах оторваться от этого дома. Швейцар опять отворил дверь и, увидя меня, сказал:

— Вы здесь еще, милостивый государь! Конечно, с вами случилось какое-нибудь несчастье? Не прикажете ли разбудить герцогиню?

— Нет, мой друг, не надобно!

— Поверьте, что герцогиня нимало не будет обеспокоена! В ваших обстоятельствах...

— Прошу тебя ни о чем не заботиться; нет никаких обстоятельств! Вот два билета; не забудь их отдать завтра поутру герцогине!

Я удалился и был спокойнее; по крайней мере, думал я, она узнает, как дорого ценю свое слово. Я рад был, что швейцар меня видел; прежде говорил я об одной госпоже Дестутвиль, но в последний раз, отдавая билеты, я разумел и Эвелину: она непременно должна узнать о моем посещении.

Поутру я получил следующую записку от герцогини:

«Я очень беспокоюсь о вас, любезный Густав! Нынче мне подали ваши билеты. Правда ли, что вы приезжали к нам ночью, очень поздно, в дождик: что это значит? Швейцар уверяет, что вы имели дуэль, но я не верю ему и думаю, что это какая-нибудь ветренность. Вчера Эвелина весь день была скучна, задумывалась, молчала; сегодня поутру, услышав о ваших ночных путешествиях, развеселилась и теперь беспрестанно смеется. Густав, я отгадала! Ветренность, более ничего! Но что бы ни было, прошу говорить со мною откровенно; хочу пожалеть о вас или немного с вами поссориться!» Я полетел к герцогине, уверенный, что Эвелина мною довольна. И в самом деле, с каким удовольствием, с какою прелестною улыбкою она меня встретила! Могу ли изобразить то восхищение, которое всякий раз наполняет наше сердце, когда мы сделали что-нибудь непредвиденное, необыкновенное для наших любезных! Она вставала поминутно, без всякий причины, только за тем, чтобы сказать мне мимоходом: милый, *любезный Густав!* Душа моя забывалась от радости.

Герцогиня Дестутвиль желала знать, для чего я приезжал к ним так поздно; я осмелился обнять ее (первый раз в жизни): мать Эвелины сделалась моею; я прижимал ее к сердцу: она противилась, повторяла свои вопросы; я не умел ей отвечать; наконец сказал:

— Не знаю.

— Не знаете? Но кого же хотели вы видеть?

— Никого, кроме вас!

— Никого, кроме вас; очень неучтиво!

— Милый друг, милая бабушка, перестаньте браниться, перестаньте говорить, я слишком счастлив!

— Но я не бабушка ваша; я хочу браниться; я не перестану говорить!

— В другой раз, милая, — сказала Эвелина приятным, ласкающим голосом.

— Нет, мои дети, — продолжала герцогиня, думая, что мы не будем противоречить ее благоразумию. Но выражение *мои дети* отозвалось в наших сердцах; мы повторили его с безумным восхищением; я бросился перед нею на колена; Эвелина обнимала ее, чтоб выразить свою благодарность, обнимала, чтоб помешать ей говорить: словом, герцогиня не имела решимости возмутить наше счастье. В минуту самого живого вос-



торга я вспомнил, что время батюшкина обеда наступило, и убежал. Вечеру повез он меня с собою по визитам, которые показались мне менее скучными, нежели накануне. Я чувствовал, что батюшка, строгий наблюдатель пристойности, заедет и к герцогине: эта надежда веселила меня и делала счастливым. Батюшка, чрезмерно привязанный к порядку, располагал свои визиты обыкновенно так, чтоб лошади его сколько можно менее уставали; и в этот день последний визит его был к герцогине. Эвелина играла на арфе и пела, когда мы вошли в гостиную. После первых приветствий батюшка просил, чтобы она позволила ему слышать ее пение. Я вспомнил тот вечер, в который Эвелина так сухо отказала мне, когда я уговаривал ее петь, подошел к арфе и сказал вполголоса:

— Эвелина, могу ли надеяться, что вы теперь будете снисходительнее и выберете любимую свою арию?

— Исполню ваше желание, — отвечала она также тихо, — но прежде еще раз должны вы произнести слово: «дружба!»

— Скажу: *привязанность*, и вы, и я можем понимать его, как угодно!

— Нет, дружба; это слово успокоивает мое сердце!

— Повинуюсь: дружба!

Она пробежала пальцами по струнам и запела известные стихи:

Пленить, а не любить я некогда желала:  
Любовь забавой мне была.  
В забаве чувство я нашла  
И с чувством счастье узнала.

Мне быть твоим счастьем, Эвелина! О, какую сладость находило мое сердце в этой мысли; я не смел дышать; я боялся обнаружить свое восхищение; боялся, чтоб лицо мое против воли не изменило моему тайному чувству. Батюшка просидел у герцогини целый вечер, но он не остался ужинать, и я принужден был за ним последовать.

Прошло несколько недель; ничто не переменалось в нашем положении. Батюшка видел мое сердце, но он молчал; я чувствовал, что привязанность моя к Эвелине была ему известна, но медлил открыться; я наслаждался своею любовью: всякая перемена в обстоятельствах была для меня ужасна!

В один день, будучи задержан долее обыкновенного батюшкою, не мог я прежде осьми часов вечера приехать к герцогине Дестутвиль. Входя в гостиную, замечаю, что Эвелина имела заплаканные глаза; приближаюсь к ней с трепетом.

— Что это значит, Эвелина, — спрашиваю, смотря на нес при-  
скорбно.

— Я провела весь день в печальных размышлениях о своей участи, — сказала Эвелина, устремив на меня меланхолический взор, — одного только часа просила я в награду от Густава, но он отказывает мне и в этой награде!

Я чувствовал, что она имела право быть недовольною, обвиняя самого себя и батюшку! Эвелина упрекала его в несправедливости; упреки ее заставили меня опомниться: я ослабил узы свои, но никогда не намерен был их расторгнуть; я просил Эвелину выражаться с большею снисходительностию насчет батюшки! Приведенный в беспокойство ее чувствами, я мог опасаться и собственных, и сие опасение возвратило батюшке всю прежнюю его силу. Эвелина, облокотившись на стол, закрыла обеими руками лицо; она не хотела, чтобы я видел ее слезы. Я умолял ее открыться; она упрячилась.

— Эвелина, друг мой, — говорил я с нежностью, — когда я сам, забывшись, начинаю упрекать батюшку, то мне известно, по крайней мере, какую любовь, каким почтением привязано к нему мое сердце, но если обвиняет его Эвелина, то воображаю против воли, что она обнаруживает не все свои чувства. И как могу ручаться, что из любви к Эвелине не привыкну слушать спокойно свободные выражения насчет батюшки! Для меня непростительнее сносить ваши жалобы, нежели жаловаться самому!

Она не отвечала; сидела, закрывши лицо; я не мог видеть ее слез, но слышал ее горесть, которая меня мучила. Наконец я насильно открыл ей лицо; она отворотила голову, зажмурила глаза.

— Эвелина, — воскликнул я с огорчением, — хотите ли, чтобы я вас боялся? Хотите ли, чтобы не искал вас в минуту горести, или чтобы, уверенный в друге своем более, нежели в самом себе, находил в нем и совесть свою, и отраду?

— Ах, — воскликнула она, — я виновата перед вами, Густав! Я никогда не перестану сомневаться в вашей любви, потому что никогда не перестану иметь почтения к вашему батюшке! Но кто же мне даст обещание, что я сама никогда не буду несчастна?

— Я, Эвелина, я, который готов предпочесть твое счастье собственной своей жизни!

Я просил ее, чтобы она согласилась требовать развода.

— Густав, — отвечала мне Эвелина, — пока батюшка ваш, ослепленный предубеждением, меня не знает, до тех пор не соглашусь разорвать совершенно связей своих с графом Адельмаром. Батюшке вашему известны наши чувства, я в этом не сомневаюсь, но он не может опасаться их продолжительности, будучи уверен, что я замужем. Это мечтательное замужество затмевает в глазах его нашу любовь и пред-

ставляет ее слишком слабою; быть может, оно удерживает в границах и самую его ненависть. Густав, я умерла бы с печали, когда бы он отвергнул меня, зная, что я свободна!

Я хотел настоять в своем требовании, но Эвелина просила, чтобы я поверил ей и был терпеливее.

— Густав, — продолжала она, — я всегда замечаю за графом Обинье, когда он смотрит на герцогиню: в глазах его всякий раз изображается что-то похожее на ненависть. Он спокоен, будучи твердо уверен, что может разлучить нас, когда пожелает; а я счастлива, потому что надеюсь поселить в его сердце более снисходительности. Будем терпеливы... наша взаимная привязанность постоянна, душа наша, чистая и невинная, способна питать надежду, способна в доверенности найти свое спокойствие.

Лестная мысль, что кротость Эвелины может переменить расположение батюшки, усмирила мою нетерпеливость, но я решился показывать явно и уважение свое к герцогине Дестутвиль, и нежную привязанность свою к Эвелине.

Следующее утро провел я вместе с батюшкою, но не имел духу говорить с ним о данном мною обещании, хотя уверен был, что никакая сила на свете не принудит меня его нарушить. Приехали гости; я воспользовался минутою свободы и полетел к герцогине.

Госпожа Дестутвиль приняла меня ласковее обыкновенного; лицо Эвелины блистало удовольствием. Никто не может с нею сравниться, когда она счастлива; никто лучше не умеет дать вам почувствовать, что вы причиною ее счастья. Какою прелестною показалась мне она в эту минуту! Гостей было очень много; осторожность, которую надлежало наблюдать в этом собрании, не помешала мне заметить, с какою любезною примечательностию собрала Эвелина все то, что могло увеличить приятность нашего свидания: ничто не было забыто! Но и с моей стороны все было замечено: я все понимал, все чувствовал.

Она одета была в дикое тафтяное платье, которое мне вздумалось однажды похвалить, в тот день, когда мы поссорились и помирились, без всякой причины, как малые дети. Она скинула перчатки для того, чтобы я мог видеть кольцо, которое она у меня выпросила, и которое имел я на пальце в первый день нашего знакомства. В разное время подарил я ей два или три жемчужных ожерелья и несколько золотых цепочек, привезенных мною из чужих краев; все это собрано было у нее на шее. Герцогиня удивилась такому чудесному наряду; гости смеялись; Эвелина смеялась также и уверяла, что имеет чрезвычайное желание ввести новую моду. Сколько наслаждений, неприметных для того важного круга, в котором мы находились! Эвелина посматривала

на меня, улыбаясь; я понимал ее мысли; я говорил самому себе: одна любовь дает великую цену обстоятельствам мелким и едва заметным; любовь без нашего ведома призывает их в нашу память! Они остаются в неизвестности до той минуты, как сердце, открыв их, пользуется ими для нового доказательства нежнейшей страсти. Пошли обедать; лучшие места за столом достались старшим: я сел далеко от Эвелины, но, в утешение, пересылал к ней, с самым важным видом, как будто по ее приказанию, все лучшие блюда; я имел удовольствие предупреждать ее желания, кланяться ей с видом глубокого почтения и получать от нее в награду самую милую улыбку.

Эвелина после обеда шила обыкновенно в пяльцах, которые, по причине огромности, поставлены были в стороне. Госпожа Дестутвиль садилась играть в вист, а я мало-помалу подходил ближе и ближе к пяльцам и, наконец, располагался в больших креслах, которые одни подле них находились. Минуты уединения, спокойного и беззаботного среди многолюдного общества, имели для нас неописанную прелесть: мы были вместе, мы занимались друг другом; мы были счастливы! И в этот день Эвелина, по обыкновению своему, села за пяльцы, а я, по обыкновению своему, сел подле нее, смотрел с некоторою неописанною радостью на ее прелестное лицо, на волосы, которыми несколько закрыты были ее глаза, на ее нежные, прекрасные руки; повторял самому себе, что Эвелина меня любит, что мы живем друг для друга; был счастлив, когда она меня слушала; счастлив, когда она избегала моих взглядов; любил ее, когда она боялась нарушить, из любви ко мне, приличие; восхищался ею, когда она, из любви ко мне, его нарушала. Вдруг отворяются двери; слуга рассказывает о приезде батюшки. Первый предмет, на который надлежало устремиться его глазам, была Эвелина, окружившая себя множеством свеч, чтобы лучше видеть свою работу, и, следовательно, освещенная более других; никто не мог приблизиться к ней, кроме меня: одни мои кресла находились подле ее пялец. Батюшка вошел; мне пришла в голову безрассудная мысль идти к нему навстречу, как будто бы я имел право играть ролю хозяина в чужом доме. Но вместо того, чтобы возвратиться на прежнее место, я сел в другом углу комнаты, подле камина. Герцогиня оскорбилась; Эвелина взглянула на меня с упреком.

Батюшка приблизился к креслам госпожи Дестутвиль; на лице его написана была чрезвычайная строгость. Сказавши несколько неважных слов о материях посторонних, он объявил герцогине, что едет через три или четыре дня в деревню, в которой намерен провести шесть месяцев. Я ничего не слышал о нашем отъезде и находил нечто жестокое в этом открытии, сделанном мне в присутствии большого общества, не уведо-

мив меня заранее, не давши мне времени приготовить к нему Эвелину. Батюшкины слова были для нее страшным ударом; она переменялась в лице; хотела скрепиться, но не могла и принуждена была выйти из комнаты. Я побежал отворить ей дверь и успел сказать одно только слово:

— *Эвелина, хотите ли? Мы будем видаться каждый день!*

Она не отвечала и удалилась; я затворил дверь и сел в угол. Не знаю, что происходило в моем сердце: не видаться с нею шесть месяцев, возможно ли? Но разлучиться с батюшкою, но покинуть его в том самом месте, где он меня воспитал, но показаться ему неблагодарным: лучше умереть! Во все это время я не имел в мыслях никого, кроме Эвелины, бледной и медленно идущей к дверям, воспользовался первым случаем и побежал в ее комнату:

— Ах, Густав, — сказала она со вздохом, — ни одно дурное намерение не остается без наказания! Суежная гордость заставила меня желать, чтоб батюшка ваш обо мне сожалел! Я хотела быть вами любима, но теперь люблю сама, и сама должна быть несчастна!

Я успокоивал ее нежнейшими выражениями любви, но в то же время признавался, что не могу не сопутствовать батюшке.

— Перестаньте противиться желанию герцогини, — сказал я, — согласитесь требовать развода: тогда мне позволено будет просить батюшку, чтоб он принял вас в дом, как дочь свою, как супругу своего сына; тогда счастье принадлежать вам будет условием, с которым последую за ним в деревню.

Она противилась, но я уже не замечал в ней того решительного упорства, которое заметил накануне: жестокая необходимость быть целые полгода со мною в разлуке совершенно лишила ее твердости; словом, она согласилась, чтобы я сделал предложение герцогине о разводе. Скоро пришла к нам сама госпожа Дестутвиль. Она бранила меня за то, что я не остался в гостиной; бранила Эвелину за ее слабость. Я просил ее согласиться на наш союз; она смотрела на нас, как на детей, которые забавляют себя обманчивою мечтою. Я бросился на колена, прижал к сердцу руку Эвелины и с видом торжественным, как будто в храме Бога, воскликнул:

— Не в моей власти назначить ту минуту, в которую батюшка наименует ее своей дочерью, но я могу произнести клятву, что никогда ни рука моя, ни сердце, ни имя не будут принадлежать другой женщине, кроме Эвелины, и что я ваш навеки! Верьте моему слову, — продолжал я, обратясь к госпоже Дестутвиль, — батюшка огорчится, когда скажу ему, что я дал клятву Эвелине; ему еще не известно ее сердце, но честь моя дороже для него моей жизни! Одна мысль, что сын его нарушитель клятвы, может привести его в трепет.

— Этого недовольно, — сказала госпожа Дестутвиль, — хочу, чтобы он видел в моей Эвелине и ваше, и собственное свое счастье!

Я встал, не отвечая ни слова, заключил Эвелину в объятия и в присутствии матери ее опять воскликнул: «*Ваш навеки!*». Эвелина спросила у меня, увидимся ли завтра; в сию минуту, решительную для целой нашей жизни, она дорожила, как и прежде, удовольствием мгновенного свидания. Мы расстались, но я тысячу раз повторял в своем сердце: *Эвелина, твой навеки!*

Возвращаясь домой, я находил в самом себе необыкновенное спокойствие, необыкновенную, доселе неизвестную мне твердость духа. Уверенный в моем почтении к батюшке, в моей привязанности к Эвелине, я почитал себя выше всех упреков, выше всякий несправедливости. Они могли огорчать меня, но не имели права называть виновным. Готовый для счастья их забыть самого себя, я не позволил бы Эвелине похитить ни одной минуты, посвященной батюшке; а ему никогда не принес бы в жертву привязанности своей к Эвелине.

Он долго прохаживался по комнате, не говоря со мною ни слова; наконец сказал:

— Я не люблю герцогини Дестутвиль, но должен, как честный человек, заметить, что нынешний твой поступок весьма неосторожен. Что подумают в обществе о графине Адельмар?

— Нечаянность меня поразила; я не мог воздержаться себя от некоторого удивления.

— В мое время никакую нечаянностью, даже никакую страстию не смели извинять неблагоразумия.

— Но смею заметить, батюшка, что вы могли бы приготовить меня к вашему отъезду.

— Я намерен был приготовить не тебя, но тех людей, с которыми ты находился...

— Батюшка, всякий день, в продолжение четырех месяцев, бываю вместе с графинею Адельмар; все поступки ее мне известны, и нет ни одного, который не заслуживал бы от вас одобрения. Чувства ее, согласные с моими, делают меня счастливым. Вот письмо, которое писала она ко мне накануне вашего возвращения. Прочтите его, но знайте, что с самой той минуты не проходило ни одного дня, в который не повторяли бы мы друг другу обета посвятить всю свою жизнь вашему счастью.

— Боже мой, — воскликнул он, — графиня Адельмар свободна! Когда бы я знал это заранее, то никогда нога твоя не была бы в доме герцогини Дестутвиль!

— Батюшка, Эвелина уже не свободна; она обещалась быть моею!

— А я обещаю, что никогда...

Я бросился к его ногам.

— Остановитесь, клятва моя произнесена прежде вашей, она невозвратна!

— Безрассудный, но можешь ли знать, что разлучило меня с этим домом?

— Для чего не хотели вы мне открыться прежде? Ваша доверенность могла бы предохранить мое сердце... Но вы, несмотря на свое отвращение, познакомили меня с герцогинею. Я видел Эвелину; а можно ли видеть ее и не любить? Батюшка, я связан с нею священнейшими обетами чести. Я обещал Эвелине, что она будет счастлива, но собственное мое счастье вверяю вам...

— Что могу сделать для твоего счастья, когда ты сам, без воли отца, располагаешь своим жребием?

— Правда, я отдал Эвелине и руку, и сердце, но в то же время я клялся, что буду ожидать вашего согласия.

— Пока я жив, не позволю...

Страшный вопль исторгнулся из моего сердца. Батюшка содрогнулся, посмотрел на меня быстро, и приговор его не был произнесен.

— Батюшка, — воскликнул я с огорчением, — для чего соединяете минуту вашей кончины с минутою моего счастья? Вы можете пользоваться своею властью, можете употреблять ее во зло, но я никогда не перестану желать, чтоб ваша жизнь продолжилась. Могу возненавидеть собственную жизнь свою.

Батюшка был в отчаянии.

— Поди, Густав, — сказал он, — завтра узнаешь отца своего и завтра отдашь ему справедливость.

Я хотел остаться, но он подал мне знак рукою, и я удалился, во сто крат несчастнее, нежели он сам. Какою продолжительною, какою печальною показалась мне эта ночь! Перед утром я на минуту забылся, но стук кареты меня разбудил. Звоню; входит человек и сказывает, что батюшка уехал в деревню, оставив следующее письмо на мое имя:

«Густав, я никогда не хотел говорить с тобою о несчастьях моей жизни, но вижу, что самые добрые дети могут несправедливо судить о поступках родителей своих, когда они выходят из круга обыкновенных понятий; когда причины их остаются им неизвестными. Узнай же причины моих поступков и потом суди меня с новыми твоими друзьями!

Отец мой был человек строгих правил, сохранивший в душе своей простоту и неиспорченность наших благородных прародителей. Почтение, которое питали к нему в семействе, было беспредельно: одним своим взглядом он все приводил в движение или все останавливал. Его

верховная, незыблемая воля казалась мне естественным правом главы семейства, а тихая покорность матушки естественною должностию супруги.

Несправедливость принудила батюшку оставить двор и удалиться на житье в деревню. Здесь, ограничив совершенно желания свои самим собою, не позволяя себе ни роптать, ни сожалеть, он приобрел ту силу и то всеобщее уважение, которыми в прежние времена пользовались самовластные наши владельцы. Будучи справедлив, откровенен, великодушен, прямо благороден, он почитался душою провинции, и замок его был местом собрания всего провинциального дворянства. Бедный находил в нем крепкую защиту, богатый наставника, добродетельный почитал необходимым заслужить его уважение.

Шестнадцать лет вступил я в военную службу; тяжкая рана, полученная мною в первом сражении, принудила меня взять отставку: я сделался неразлучен с батюшкою. Его добродетели, его строгие правила образовали во мне характер суровый: я всегда чувствую такое же презрение к слабостям, какое другие имеют к проступкам.

Двадцати пяти лет я потерял батюшку. Он советовал мне жениться, но в выборе супруги повиноваться не любви, а рассудку. Женщина, которую любим страстно, говорил он, владеет нами, по крайней мере, столько времени, сколько продолжается наша страсть; а, наконец, ей будет уже очень трудно перейти от первенства к подчиненности, необходимой для порядка в союзе супружеском. Ты богат, следовательно, при выборе супруги не имеешь нужды обращать внимания на ее богатство. Выгоды, которые получит она от союза с тобою, сделают ее навсегда тебе благодарною. Желаю, чтобы жена твоя имела фамилию славную и древнюю: имена великих предков возбуждают и воспоминания великие. Гордость, если не добродетель, заставит ее рассказывать детям о благородных подвигах, мужестве и великодушии своих прародителей; слава прошедшего возвысит их сердце и нечувствительно приготовит ко всему великому: в колыбели еще узнают они, что добродетели обыкновенные могут быть только началом, а не предметом их деятельности!

Получив после батюшки большое наследство, я должен был ехать в Париж, где познакомился с госпожою Дестутвиль. Дом ее и тогда почитался верховным судилищем, перед которое обязан был являться всякий, желающий пользоваться каким-нибудь отличием в обществе. Я слишком поздно заметил, что истинные, простые чувства были неизвестны герцогине, что все условное и принадлежащее к одному приличию обратилось во вторую натуру ее.

Герцог Дестутвиль, честолюбивый, как и жена его, имел несравненно более гордости, едва говорил, едва кланялся; всех держал в



ужасном от себя отдалении: этот человек (думали о нем в свете) смотрит на людей в уменьшительное стекло. И дети, и жена приближались к нему со страхом. Несмотря, однако, на свою нестерпимую гордость, герцог Дестутвиль пользовался всеобщим уважением: знали непроницаемую осторожность его и были в нем уверены. Презрительный взгляд был некоторым образом ему приличен: имея гигантский рост, он против воли смотрел на всякого с высоты и редкого видел с собою равным. Старший сын герцога назначен был наследником его имения; младший, кавалер Мальтийский, вступил уже в свое звание и владел богатыми командорствами<sup>4</sup>; и тот, и другой находились в полках своих, когда я приехал в Париж. Герцог имел еще дочь, которую хотел сделать игуменьей Ремиремонтскою<sup>5</sup>, не для того, чтобы он ее ненавидел или не находил человека, достойного ее руки, но для того, что это игуменство было первое во всем королевстве, а герцог боялся, чтобы оно не досталось другому.

Сестра герцога Дестутвиля, выданная замуж за графа Дестеня, умерла на двадцать пятом году родами; при смерти отдала она свою дочь на попечение госпоже Дестутвиль. Несчастные обстоятельства расстроили состояние графа Дестеня; он принужден был поправить его второю женитьбою, имел от другой жены сына и, умирая, оставил дочери своей одно благословение, вверив ее благотворительности герцога Дестутвиля.

Герцогиня была вместе с своею дочерью в то время, когда меня ей представили. София, прекрасная, высокая ростом, имела наружность величественную, приличную одной добродетели, но в семнадцать лет она смотрела уже пронизательными глазами на свет и позволяла себе замечать, сравнивать, судить, сказывать решительное свое мнение. Подле нее сидела девица Дестень, скромная и задумчивая. Мне известно было, что она не имела никакого состояния; свет думал, что Амелия жила несчастно в доме своего дяди. Я увидел ее, и вспомнил батюшкин совет, и не мог отдалить от него своих мыслей: ни одно движение Амелии не ускользнуло от моего внимания. Тихая наружность ее была неизъяснимо приятна; в лице Амелии, белом, как снег, но бледном, находил я что-то нежное, чистое, прозрачное; при малейшем внутреннем движении разливался по нем прелестный румянец. Она имела шестнадцать лет. Чувствительный, но робкий и наклоненный взгляд ее, нежный и нерешительный голос, тихая походка, застенчивость в каждом движении, словом, вся ее наружность открывала мне, что Амелия с трепетом приступала к испытанию своей жизни.

Я был уверен, что батюшка, выбирая мне жену, предпочел бы всем на свете Амелию, но я спрашивал у самого себя, не показалась ли мне

Амелия слишком прелестною? Застенчивость ее меня успокоила, и тайное чувство мне сказало, что этот взор никогда не будет выражать досаду, что этот голос никогда не может возвыситься до жалобы или до упрека. Я провел целые две недели, не видясь с герцогинею, но в это время старался говорить с теми людьми, которые бывали чаще других в ее доме. Все хвалили Софию, но все вообще находили в ней те блистательные и слишком заметные качества, которые бросают на нашу жизнь чрезмерно яркий свет и не дают нам чувствовать необходимости в подпоре. Никто не хвалил Амелии, но ее любили; так, мой сын, ее любил! Монахини превозносили ее набожность, родственники — ее покорность, свертницы — ее любезную тихость и добродушие, бедный — ее сострадательность, и, что мне более всего нравилось, каждый говорил об Амелии только в отношении к самому себе, ибо Амелия всегда занята была другими. Довольный собранными мною известиями, уверенный, что найду в Амелии внимательную, примерную супругу, без которой не могу быть счастлив, еду к герцогине Дестутвиль и сказываю, что имею нужду переговорить с нею несколько минут наедине завтра поутру: я знал, что мимо нее невозможно было иметь доступа к герцогу Дестутвилю.

Решившись жениться на Амелии, я не хотел уже откладывать, не хотел, чтобы она провела хотя один лишний день в доме своего дяди, или чтобы сердце мое имело время совершенно покориться нежному своему чувству. Не могу описать той горести, которая изобразилась в глазах госпожи Дестутвиль, когда я сказал ей, что предлагаю руку свою Амелии. “Амелии”, — воскликнула она с видом изумления и прискорбия. Я потупил глаза. “Но вы имеете, я думаю, четыреста или пятьсот тысяч ливров годового дохода?” — “Может быть!” — “Я воображала, что вы будете искать супружества, более выгодного; Амелия не имеет никакого состояния”. — “Знаю, милостивая государыня!” — “И вы твердо решились на ней жениться?” — “Без сомнения! Для меня непонятно, как можете вы, милостивая государыня, не почитать решительным такого намерения, о котором отваживаюсь говорить с вами!” Она посмотрела на меня с удивлением и продолжала: “Может быть, я поступаю неблагоразумно, позволяя себе такую с вами откровенность, любезный граф Обинье, но, зная ваш характер, надеюсь, что никогда не буду раскаиваться в своем поступке... Герцог Дестутвиль желает, чтоб София была канонницею<sup>(\*)</sup>, а я желаю, чтобы она вышла замуж; он хочет, чтобы

---

(\*) Chanoinesse. Так назывались во Франции знатные девицы, имевшие духовный доход. Они обыкновенно пели каждый день в хоре во время обедни, одетые в особенное, приличное званию их платье; впрочем, были свободны; не произносили никаких обетов; могли слагать с себя свое звание и потом выходить замуж.

Амелия постриглась, но я, признаться, почитаю состояние монахини, совершенно отделенной от семейства и света, слишком тягостным для молодой шестнадцатилетней девушки: мне бы хотелось, чтоб Амелия была канонницей вместо Софии: по крайней мере, она сохранила бы свободу свою, жила со мною, и, принужденная ограничить себя одними тихими чувствами, вероятно, была бы счастлива”. — “Но смею спросить, милостивая государыня, почему невозможно девице Дестень выйти замуж так же, как и девице Дестутвиль?” — “Вы слишком мало нас знаете, граф, — отвечала она с горькою усмешкою. — Переменить одно какое-нибудь намерение герцога Дестутвиля есть дело почти сверхъестественное. Судите же, в моей ли будет власти заставить его иначе мыслить о том, что может составить счастье обеих дочерей, ибо Амелию почитаю истинною дочерью”. Она остановилась, ждала от меня ответа, но я молчал, и она продолжала: “София старшая; справедливость требует, чтобы я подумала о ней прежде, нежели о младшей. Имею в виду партию, которая выгодна для нее по всем отношениям. Амелии шестнадцать лет; характер ее может еще много образоваться. На осьмнадцатом году выдам ее замуж”. Не могши воздержаться от сильного негодования, видя, что Амелию приносили на жертву Софии, я отвечал: “Позвольте и мне говорить с вами искренно, милостивая государыня! Последняя воля батюшки обязывает меня некоторым образом жениться непременно нынешний год; прошу вас представить просьбу мою герцогу Дестутвилю!” — “Не имею права отказывать вам, — отвечала она сухо, — но помните, граф, что я желала отдалить ту минуту, в которую герцог принужден будет произнести решительный приговор о судьбе Амелии и Софии”. Она остановилась, как будто ожидая, чтобы я с нею согласился, но я продолжал хранить молчание. “Очень хорошо, нынче же скажу о вашем предложении герцогу Дестутвилю; а завтра, в это время, объявлю вам его ответ”. На другой день приезжаю к герцогине. “Господин Дестутвиль соглашается отдать вам свою племянницу, — сказала она с холодным видом, — но Амелия, так же как и я, боится, чтобы вы не стали со временем раскаиваться, что принесли ей в жертву слишком большие выгоды: вот письмо, которое просила она вам доставить”. — “Для чего ж девица Дестень не захотела объясниться со мною сама?” — “Это не угодно герцогу Дестутвилю. Когда все решится, когда подпишут контракт, тогда и вам позволит он увидеть Амелию: она теперь в монастыре, вместе с моею дочерью, которая не захотела с нею разлучаться”.

Герцогиня Дестутвиль совершенно переменяла свое обхождение со мною: она смотрела на меня с досадою; казалось, что была оскорблена и моим невниманием к Софии, и предпочтением, оказанным мною

Амелии. Я повторял, что никогда не имел в мыслях заключить такое супружество, которое в свете почиталось бы выгодным, или искать такой девушки, к которой бы привязан был слишком сильно. “Надеюсь, однако, — сказала герцогиня, — что вы имеете некоторую склонность к Амелии?” — “Все то, что я слышал о ее качествах, совершенно соответствует моему характеру”. — “В самом деле, — сказала она с таким чувством, какого я не надеялся в ней найти, — нельзя иметь характера тише, чувствительнее, прелестнее; Амелия не жаловалась, почитая себя несчастною, и будет умеренна, пользуясь блестящею фортуною. Прочитайте ее письмо”.

Оно не было запечатано. Герцогиня заметила, что я удивился, и сказала: “Герцог Дестутвиль читал это письмо. София принесла его запечатанное. Можно подумать, сказал ей герцог, что слово замужество лишает ума молодых девушек. Спроси у твоей сестрицы, давно ли она рассудила, что имеет право писать письма без моего соизволения? Вот письмо Амелии:

“Госпожа Дестутвиль сказала мне, милостивый государь, что вы желаете соединить участь свою с моею. Будучи совершенно покорна дядюшкиной воле, который оказал уже всю справедливость вашим добродетелям, не думаю более о собственном моем счастье, но должна сказать вам откровенно, что беспокоюсь о вашем. Позволяю себе напомнить вам, что не имею никакого состояния: будучи воспитана для монастырской жизни, я не имела способа образовать талантов, необходимых для приобретения успехов в свете, которого условия и приличия мне неизвестны, которого преимущества никогда не бывали предметом моих желаний; может быть, и то, что уединение, в котором я научилась живее чувствовать каждую горесть жизни, заранее уверило мое сердце, что светские утешения ничтожны и пусты. Более не могу сказать вам ничего.

Если признание мое не заставит вас переменить мыслей, то мне останется одно: никогда не забывать о нем, чтобы живее чувствовать все то, чем буду вам обязана. Амелия”.

Я просил у госпожи Дестутвиль позволения отвечать ее племяннице и получил его. “Но прошу вас, — прибавила она, — послать ваше письмо через меня. Герцогу будет неприятно, если вы увидите с Амелиею в монастыре. София теперь с нею, говорит он: а я не желаю, чтобы она была свидетельницею какой-нибудь нежной сцены и заразилась такими чувствами, от которых и самая покорность могла бы для нее со временем сделаться трудною”. Не имея ничего романического в мыслях, я покорился желаниям герцога без всякого прекословия. “Принесите ваше письмо ко мне; я сама отвезу его к Амелии; а господин

Дестутвиль просит вас к себе завтра ввечеру для заключения условий: он хочет, чтобы Амелия оставила монастырь в тот самый день, в который надобно будет подписать контракт, и чтобы на другое утро была свадьба”. Признаюсь тебе, мой сын, что я огорчился невозможностью видеть Амелию и читать в ее душе, но чувство покорности и совершенная преданность в волю своего семейства казались мне столь естественными, столь приличными молодой девушке, что я положил за правило ни в чем не противиться самовластию герцога.

На другой день приезжаю к госпоже Дестутвиль с ответом, в котором открывал я Амелии все свои мнения, основанные на правилах твердых. Опасаясь вовлечь ее в обман, представил я самого себя гораздо суровее, нежели каков был в самом деле и каким хотел быть по заключении нашего союза.

Герцогиня прочла мое письмо. “Послушайте, — сказала она, — хочу показать вам истинный знак участия: письмо ваше может испугать неопытное, нежное сердце. Я уверена, что вы имеете гораздо более кротости в своих чувствах, но Амелии они неизвестны. Для чего же приводить ее в робость? Ах, — продолжала она с унынием, — наша жизнь мила одними заблуждениями: если в ваши лета вы перестали уже прельщаться собственными, то не отказывайтесь, по крайней мере, от тех, которыми можете счастливить других!” Госпожа Дестутвиль говорила правду, но я боялся обмануть Амелию приятными надеждами, которые не могли бы никак исполниться; я знал ее сердце и думал, что знал его короче, нежели она сама, но сам, будучи известен ей очень мало, имея характер суровый и важный, не должен ли был, как честный человек, предохранять ее от всякого приятного на мой счет обмана? Я погружен был в размышление, когда герцогиня Дестутвиль принесла мне бумагу, перо, чернила и сказала с любезным, повелительным видом: “Садитесь, садитесь и непременно смягчите свои мизантропические выражения; уверяю вас, что будете со временем мне благодарны за мой любезный совет”. Я повиновался. Но голова моя была слишком наполнена правилами, вперенными в меня с самого детства; я выразился бы, может быть, нежнее, когда бы говорил с Амелиею, но я принужден был писать, и мое второе письмо было не лучше первого. Ты видишь, Густав, что я открываю тебе и худое вместе с хорошим, но, обвиняя самого себя с такою искренностью, хочу сохранить право на твою доверенность, когда принужден буду обвинять и других.

Герцогиня все еще была недовольна, но в эту минуту явился герцог. Он прочел мой ответ, похвалил его, и госпожа Дестутвиль уже не позволила себе сделать ни одного возражения. Она собиралась ехать в

монастырь; я проводил ее до кареты, ожидая с беспокойством, какое впечатление произведет в душе Амелии мое письмо. Какое торжество для моего рассудка, думал я, какая веселая надежда на будущее время, если Амелия останется им довольною! Вечеру опять приезжаю к герцогине. “К вам есть еще письмо, — сказала она, — но верьте, что оно последнее! Вперед и писать, и отвечать буду я: в обоих вас нет ни капли рассудка!” Вот, что писала ко мне Амелия:

“Мысль, что вы будете меня руководствовать, меня успокоила, и мне кажется, что я теперь не должна ни заниматься собственным своим счастьем, ни беспокоиться о вашем: покорность беспредельная не будет мне стоить никакого усилия”.

Герцог меня ожидал. Сказавши, что ему приятно иметь со мною семейственную связь, он признался, однако, что против своего желания соглашается отдать за меня Амелию. “Скажу искренно, — прибавил он, — что я не люблю неравенства между супругами. Право, которое один имеет на благодарность другого, кажется мне тягостною неволею. Неудобства сии, без сомнения, исчезают с таким человеком, как вы, но, по моим правилам, девице Дестень приличнее бы было идти в монастырь, нежели замуж. И таково было сначала мое расположение; сама Амелия соглашалась исполнить мою волю, но мысль о вечных обетах ужасала герцогиню, как будто бы Амелия первая, из почтения к своему семейству, принимала на себя звание монахини! Вы нам представились, и с той минуты мы позабыли упоминать о пострижении”. Помни эти слова, мой сын; они поразили меня: я видел в герцоге Дестутвиле жестокого деспота, способного всем жертвовать, чтобы удовлетворить прихотливую гордость.

В тот день, в который положено было подписать контракт, Амелия возвратилась в дом своего дяди: мы увиделись; мне казалось, что она сделалась еще застенчивее. София была с нею неразлучна; София, внимательная ко всем ее взглядам, предупреждала ее малейшие желания: казалось, что она имела все беспокойство молодой матери, отдающей милую дочь свою замуж. Взаимная дружба их была несомненным знаком доброго, нежного сердца. Я вышел в залу, за чем, не помню. София тотчас за мною последовала. “Граф, — сказала она мне с трогательным беспокойством простосердечия, которое могло быть рассеяно одним словом, — завтра дадите обещание Богу, что Амелия будет счастлива! Сдержите ли это обещание?” Она смотрела на меня, сжавши руки, и такими глазами, как будто бы собственное ее счастье зависело от моего ответа. “Вы очень несправедливы, если в этом сомневаетесь”, — отвечал я. — “Ах, — сказала печально София, — суровость вашего лица приводит меня в трепет”. Амелия дрожала, подписывая контракт: едва было

возможно разобрать ее имя. Не понимаю, каким образом такое смятение не обнаружило передо мною ее тайны. Я поднес ей подарки; одна герцогиня заметила, что они были прекрасны; Амелия только взглянула на них, но взглянула потому, что ей приказано было взглянуть. Ах, Густав, все увеличивает наше ослепление, когда мы сами хотим себя обманывать. Равнодушие Амелии показалось мне благородным и скромностию; самое то, что могло бы открыть мне глаза, только что усиливало заблуждение моего рассудка.

На другой день родственники господина Дестувилля, девицы Дестень и мои, все известнейшие и знатнейшие люди во Франции, съехались в домовую церковь герцога; мы долго ожидали Амелии. Она одевается, говорили мне. Наконец отворилась дверь: Амелия входит, бледная, слабая, почти мертвая. Священник приближается к алтарю. Я подаю ей руку; чувствую, что она дрожит; смотрю ей в лицо: она показалась мне умирающею, отчаянною. Яркий свет озарил мою душу; в первый раз спросил я у самого себя: что если герцог насильно извлек из нее согласие! Но, Густав, перед алтарем, при самом совершении обряда, была ли возможность положить препятствие сему супружеству? Девица Дестень казалась в ужасном смущении, это правда, но сказала ли она мне хотя одно слово, которое могло бы оправдать мой поступок пред глазами целой Франции, поступок, который лишил бы меня чести, а ее погубил бы навеки?

“Амелия, — сказал я ей тихим голосом, — откройтесь своему другу, что происходит в вашем сердце?” Она стала на колена, не дав никакого ответа; смущение мое дошло до крайности. “Амелия, скажите одно слово, или я не буду владеть самим собою!” - “Успокойтесь, — отвечала она ангельским голосом, — *хочу обещать Богу, что вам посвящена будет жизнь моя*”. Я готов был ее удержать, остановить церемонию; она подняла голову, посмотрела на меня с такою робкою нежностью... О, мой сын, какой взгляд! Эти взоры представляются мне в последнюю минуту жизни. “*Молитесь вместе со мною, — сказала она, улыбнувшись прискорбно, — молитесь!*” Голова ее опять наклонилась, и церемония кончилась прежде, нежели я пришел в чувство.

Как описать состояние души моей в продолжение этого дня! Иногда, волнуемый всеми противными чувствами, решался я сказать Амелии, чтобы она дала мне право собою руководствовать; иногда уверял себя, что лучше не показывать ей моей недоверчивости: полагаясь на мое уважение, она будет смотреть на меня без боязни и предастся мне без замешательства. При каждом взгляде на лицо Амелии, непорочное, небесное, надежда и доверенность успокаивали мою душу; несмотря на то, внутренний голос уверял меня, что Амелия покорена какому-то

невольному, для меня неизвестному предпочтению. Но, будучи столь невинна, столь набожна, могла ли Амелия не отвечать моей привязанности, не тронуться моею любовью? Имевши силу победить себя в этот первый, в этот ужасный день, я мог уже управлять своими чувствами и скрыл в глубине души свое страдание, но я не мог без отвращения смотреть на герцога и герцогиню Дестутвиль. Первый приводил меня в ужас своим намерением умертвить Амелию, которую с таким жестоким бесчувствием принуждал постричься; последняя казалась единственною причиною моего несчастья, ибо она обманула меня личиною ложной доверенности и увеличила мое гибельное ослепление.

Три дня спустя после моего брака поехал я вместе с Амелиею в деревню; недели, месяцы проходили: я не мог жаловаться ни на одно ее слово, ни на одно ее движение.

Я пользовался неограниченным правом первенства. Амелия была покорна и тиха, но столь холодна, столь осторожна, что я, будучи с нею, почитал себя одиноким. Каждая воля моя была исполнена, и ни одно желание не было угадано: мне казалось равно невозможным услышать жалобу Амелии, как и произвести на устах ее улыбку; и если бы я сам не разнообразил скучных дней своих, то все они были бы сходны один с другим, и дом мой казался бы монастырем, в котором порядок одного дня может служить изображением целой жизни.

Амелия получала письма от герцогини и Софии. Эта переписка приводила меня в беспокойство. Я спросил однажды о их здоровье; Амелия тотчас подала мне полученное ею письмо и с того времени отдавала каждое. Ни в чем, ни в чем совершенно не мог я обвинять Амелию, но видел, что она была несчастна, и был несчастлив сам и, может быть, поступил очень дурно, что не старался узнать ее тайны, но, Густав, как мог я забытья до того, чтобы потребовать от нее признания в привязанности к другому и в отвращении ко мне?

Амелия сделалась беременна. Я прижал ее к своему сердцу, когда она пришла ко мне с этим известием. Ах, сын мой, даже в эту минуту, минуту счастья для каждой матери, я не имел духу спросить у нее: любишь ли меня, Амелия? Я ужасался ее искренности, столь же почти за нее, сколько и за самого себя. Так, мой сын, отец твой, расположенный быть строгим к жене, которая была бы к нему привязана, чувствовал, против воли, нежное сожаление к тихой Амелии. Чего не отдал бы я за то, чтобы она бросилась в мои объятия и добровольно сказала: пожалей обо мне и будь моим утешителем!

Беременность Амелии была сопряжена с большою слабостию; я приставил к ней одну молодую девушку, которая нравилась ей более других, ибо сам я не умел подавать облегчения этой страждущей душе;



услуги мои смущали ее, жалобы мои растерзали бы ее сердце. Каждое утро ходила она в церковь, опираясь на плечо своей приставницы, молилась долго, и я каждый день, не будучи ею замечаем, видел ее возвращение, видел ее, тихую, задумчивую, идущую по той же самой дороге, по которой она ходила и накануне, и прежде, и всегда: Амелия не удалялась ни от чего и ничего не выбирала.

О мой сын, да избавит тебя Бог от страшного мучения видеть подле себя человека, истинно несчастного! Я бегал из своего дома; занимался хозяйством, желая заглушить свое сердце; не был ни у себя, ни с собою.

Открылась война. Я заметил в Амелии ужасное волнение. Она перестала ходить обыкновенною дорогою в церковь, но через деревню, останавливаясь при каждой встрече, смотрела на всех с беспокойством; прохаживалась уже не в парке, но все по большой дороге, кого-то ожидала, к кому-то шла навстречу. Часто в крайней усталости она опиралась на дерево и, отдохнув минуту, продолжала идти вперед, возвращалась поздно и сожалела, что принуждена была возвратиться.

Приближалось время родов. Я боялся, чтобы Амелия не расстроила себя чрезмерным беспокойством и не лишила себя жизни. Густав, я любил тебя прежде, нежели ты был на свете; я боялся, чтобы Амелины поступки не были перетолкованы в дурную сторону, и в одно утро пошел за нею в церковь, в которой промедлила она долее обыкновенного. Вхожу: она простерта была на земле; становлюсь подле нее на колена. “Амелия, — говорю ей, — не забудь о своем младенце!” Она подняла голову, посмотрела на меня в молчании; лицо ее было омочено слезами. Я взял ее в свои объятия. “Плачь со мною вместе, моя Амелия, пусть слезы твои падают на мое сердце, но пускай вижу их я один; другие назовут тебя виновною!” — “Виновною, ах нет, никогда не была я виновна; по крайней мере, осталось мне одно счастье — за него молиться!” Я хотел ее вывести. “Нет, нет, — сказала она вполголоса, — было сражение; я еще дышу... но он!” Амелия снова поверглась на землю. Я осмелился произнести слово “должность”, осмелился напомнить о Боге, который мог *его наказать*. Так, Густав, твой строгий отец, желая тебя спасти, принужден был поразить твою мать суеверною боязнию, боязнию за того человека, которого она любила. Слова мои произвели свое действие. Амелия ужаснулась, схватила меня за руку и побежала из церкви. Пришедши в ее комнату, я спросил, давно ли начала она любить? Она закрыла руками лицо и отвечала: “Будучи с ним воспитана, я не могла дышать, не думая о нем!” Вдруг она упала на колена. “Скажите, что вы меня прощаете, ах, скажите, чтоб Бог также помиловал и его!..” Мой сын, я подумал о тебе и простил. Мой сын, для спасения жизни твоей я мог перенести ужаснейшую муку, а

ты не можешь победить такого чувства, которым последние дни моей старости обратятся для меня в страдание.

Желая сокрыть от домашних моих состояние Амелии, я сделался ее надзирателем, подпорою, утешителем; я видел в ней твою мать, я хотел сохранить ее для моего сына. В одну ночь (я провел ее у Амелииной постели) перед утром заснул, вдруг пробудило меня рыдание. Приближаюсь, сквозь занавес вижу Амелию, стоящую на коленях; она молилась. “О Боже, — говорила она, — я не имела ни одного счастливого дня и умираю семнадцати лет! Взгляни на мою молодость, взгляни на прежние мои слезы и прими их в дар за его спасение! О, сохрани его, Милосердый!” Я потряс занавесом; она упала на подушку; я слышал, что она старалась заглушить свое рыдание.

И прежняя моя строгость, и самые мои правила уступили место нежнейшему состраданию: невольный ужас стеснил мое сердце, когда мне сказали о бывшем сражении; малейший шорох приводил в трепет Амелию; она не отлучалась от меня ни на минуту. При ней мне пришли сказать, что некто ожидает меня в другой комнате. Амелия кинулась к двери, увидела Софию, все угадала и замертво упала на землю.

Мы положили ее на постель. Пришедши в чувство, она взглянула на Софию и дала ей знак рукою, чтобы она молчала; закрыла глаза, но слезы из них вырывались; не говорила ни слова, едва дышала. София целовала ее руки, старалась оживить ее самую горестию; напоминала о молодом своем брате, о милом Альфреде; хотела, чтобы она оплакивала его вместе с нею, но Амелия, не открывая глаз, отвечала: *жизнь моя кончилась!* Я говорил ей о себе, о своей горести, о самом небе, но глаза ее не открывались. Она сложила руки: *“Пожалей и прости, — сказала она мне, — жизнь моя кончилась!”* Вечеру она произвела тебя на свет и умерла на руках моих».

Батюшка не прибавил к этому письму ни одного размышления, ни одной просьбы, ни одного требования, но все они заключены были в его страданиях. Я решился к нему ехать, но прежде хотел увидеться с Эвелиною.

— Перестанем думать о счастье, — сказал я, — читайте!

Я подал ей батюшкино письмо. Эвелина хотела прочитать его тихо.

— Читайте вслух, — сказал я, как будто желая наполнить свою душу всеми страданиями несчастного отца моего.

Ветренность госпожи Дестутвиль, умертвившая бедную мою мать, производила живейшее негодование в моем сердце. Это продолжительное мучение, этот разительный, быстрый конец ужасным образом меня терзали. Эвелина плакала, читая письмо; останавливалась, взглядывала на меня и плакала сильнее.

— Не могу извинить бедной моей бабушки, — сказала она, возвращая мне письмо, — но, Густав, ради Бога не принуждайте меня ее ненавидеть. Она никого, никого, кроме меня не имеет!

— Но как была она бесчеловечна!

— Я всегда находила в ней одно добродушие; можно ли так перемениться с годами?

— Прости, Эвелина, я люблю тебя неизъяснимо, более собственной жизни: ты невинна!

— Ах, Густав, из любви к моей матери, которая так нежно любила Амелию, не произноси ужасного слова: *навек!*

— Я и не думал произносить его; я не мог представить себе ни возможности с нею соединиться, ни возможности навсегда от нее отказаться.

— Густав, — продолжала Эвелина, — ты знаешь, что матушка оставила мне портрет Амелии, ношу его на груди с той самой минуты, в которую отдала тебе свое сердце; перед ним каждый день повторяю клятву: жить для твоего счастья!

Я просил, чтобы она показала мне портрет: слезы мои полились ручьями. Она, столь нежная, столь кроткая; она, которая говорила с такою покорностию: *ни одного счастливого дня, и умираю семнадцати лет!* Я трепетал: сердце мое сжималось.

— Кто мучитель и убийца моей матери, — восклицал я с ужасным негодованием.

— Густав, но ты говорил, что я невинна!

Я не отвечал, я видел перед собою одну ветреность госпожи Дестувиль. Молчание мое ужаснуло Эвелину.

— Ах, Густав, — сказала она, — я ни за что на свете не разлучилась бы с портретом твоей матери, но если ты должен забыть меня, то сам отними его от моего сердца и отнеси к твоему отцу: пускай останусь оплакивать те несчастья, которым не я была причиною!

Нежные упреки Эвелины возвратили мне чувство. Мне забыть? Но что же со мною будет? Разве не ею животворится душа моя?

— Моя Эвелина, — сказал я, простирая к ней руку, — моя навеки! Но я должен с тобою расстаться, я должен ехать к бабушке. Скажи, что тебе это приятно. Мысль, что ты имеешь к нему одинакое со мною расположение, будет моею отрадою!

— На все, на все согласна, Густав, лишь бы только ты не уменьшал ко мне любви твоей.

— Милая, добрая Эвелина!

Я взглянул еще раз на матушкин портрет и, возвращая его, сказал:

— Пусть будет он твоим покровом! Эвелина, он может внушить нам какое-нибудь средство быть менее несчастными.

Я осмелился прижать ее к сердцу, и мы расстались.

Я приехал к батюшке ночью; он сидел один, в большой зале, с одною свечою, без книги, ничто вокруг него не показывало, чтобы он чем-нибудь занимался: можно было догадаться, что он весь день провел в размышлении, в беспокойстве о моей и собственной участи.

Увидя меня, он поднял глаза и руки к небу, но отворотился, чтобы скрыть свое волнение. Для чего же скрываться? Имея священное, вечное право на мою благодарность, сильный своею любовью, своими намерениями, он думал, что может, не будучи несправедливым, потребовать от меня покорности, но для чего же не старается он сблизить сердца наши? И он, и я были бы счастливее! Я спешил к нему, чтоб разделить или успокоить его горесть, но один взор его охладил мое сердце, и я не осмелился прикоснуться к тому предмету, которым и он, и я были наполнены в ту минуту.

— Хочешь ли видеть приготовленную для тебя комнату, — сказал он, — прежняя, которую ты занимал, будучи ребенком, теперь для тебя не годится.

— Батюшка, — воскликнул я в сильном движении, — вы меня ожидали?

Мое сомнение удивило его; я замолчал опять и подумал: для чего привлекает он меня так сильно своими добродетелями и потом отталкивает от себя почти также сильно своею холодностию, своею незыблемою, неизменяемою твердостию? Какое между нами несходство! Меня все трогает, все приводит в движение, и сердце, и душа меня увлекают, но он... он повинуется рассудку: самое нежное, самое высокое чувство показалось бы ему слабостию, когда бы он не был уверен, что может повелевать им свободно.

На другой день, очень рано, пошел я на ту дорогу, которая вела в церковь и по которой ходила матушка всякое утро. Какие горестные мысли меня занимали! Никакое счастье не представлялось мне в будущем: участь Альфреда, любимого столь нежно, с таким постоянством, и самый покой смерти, который последовал за сим наслаждением любви, столь необходимой для моего сердца, казались мне достойными зависти! Я погружался в глубокую меланхолию, думая о судьбе моей матери! Как надлежало терзаться ее сердцу, когда самая горесть сделалась для нее непозволенною! Могла ли госпожа Дестутвиль не подумать о том мучительном состоянии, в котором последняя отрада слез становится для нас преступлением? Я входил в церковь, видел священника, спрашивал, знает ли он матушку? Он вздохнул: самый ясный ответ. Глаза

его наполнились слезами, когда он показал мне то место, на котором она обыкновенно молилась.

— Всякий день и в одно время приходила она в церковь, — сказал священник, — очень часто видал я позади нее бедных, которые стояли на коленах и с доверенностью ожидали, чтобы она перестала молиться; она угадывала их желания и раздавала им милостыню. Никогда, ни один нищий не бывал принужден повторить ей свою просьбу.

Я просил священника, чтобы он дал мне список тех бедных, о которых матушка имела попечение.

— Имела попечение, — отвечал он, — нет, она его не имела, она давала деньги без разбора, всякому, кто просил у нее милостыни, кто попадался ей навстречу. Граф ободряет прилежных и платит за труд. Графиня подавала помощь печальным, будучи сама печальна, задумчива, молчалива. Самые нищие не смели своими просьбами нарушать ее меланхолии; они собирались на ее дороге: и этого было довольно, как для них, так и для нее.

Вечеру мы очень долго прохаживались вместе с батюшкою. День начинал склоняться к вечеру, когда мы пошли домой; было очень темно, когда мы приблизились к замку; темнота вложила в меня смелость.

— Батюшка, успокойте мое сердце! Первая минута после этой жестокой смерти была для вас ужасна!

— Но время и твердость преодолевают и страсти, и горести!

— Батюшка, кто заботился о вас в эту первую минуту?

Он не отвечал и ускорил шаги свои, но я не хотел от него отстать и продолжал спрашивать.

— Батюшка, из сожаления скажите мне, кто остался с вами в первую минуту?

Он не говорил ни слова; наконец, принужденный уступить моему упрямству, сказал, потупив глаза:

— София!

Теперь сердце мое облегчилось; образ Софии поместится между госпожою Дестутвиль и Эвелиною.

— Так, Густав, я мог бы не иметь такой суровости, когда бы жива была София. Но Эвелина воспитана своею бабушкою; она ее любит: не должно и думать о том, чтобы она забыла для тебя святейшую свою обязанность. Эвелина, конечно, заразилась жестокою ветреностию и нечувствительным эгоизмом г-жи Дестутвиль. Я не допущу, мой сын, чтоб и ты имел участь отца своего: никогда Эвелина не будет называться моею дочерью...

Он вышел; я не имел силы за ним последовать.

Итак, воскликнул я, произнесен этот ужасный приговор, которого я страшился! На что решиться? Быть сыном неблагодарным или другом обманчивым и вероломным! Батюшка — мой закон; Эвелина — моя жизнь! Долго полный отчаянных мыслей, скитался я по саду; в одиннадцать часов пришли мне сказать, что батюшка ожидает меня ужинать. Вхожу в зал; он сидел за столом.

— Не болен ли ты, Густав, — спросил он у меня, — в первый раз от роду принужден был тебя дожидаться!

Он кушал очень мало и, взглядывая на меня, отворачивался поспешно: казалось, что, причиняя мне горесть, он боялся видеть ее действие. В следующие дни такое же молчание, соединенное с таким же унынием!

Я писал к Эвелине, желая разделить с нею тоску свою и снова повторить, что привязанность моя к ней бесконечна; я счел, однако, себя обязанным сообщить ей определение батюшки и чувствовал трепет, когда рука моя писала: *никогда Эвелина не будет называться моею дочерью*. «Густав, — отвечала мне Эвелина, — предохрани сердце свое от раскаяния! Пускай во всякое время находит он в тебе почтительного и нежного сына!». Она признавалась, что не имела еще решимости говорить с герцогинею о моей матери, но что в душе своей не находила уже прежней спокойной, неограниченной к ней привязанности. Еще расстроенное семейство, сказал я самому себе с прискорбием: не зная меня, они были счастливы!

В нашем доме заведено было обыкновение приносить все письма, отсылаемые на почту, прежде к батюшке; он клал их в маленький ящик для того, чтобы ни одно не могло быть потеряно слугою; в этом же ящике доставлялись к нам и те письма, которые были адресованы на чье-нибудь имя в нашем доме. Каждый день писал я к Эвелине и каждый день имел от нее ответ, но батюшка никогда не отдавал мне своеручно ее писем: он клал их на стол; он думал, что, передавая мне из собственных рук написанное Эвелиною, он будет некоторым образом одобрять нашу взаимную склонность.

Через неделю после нашего последнего разговора получаю в почтовом ящике два письма, одно от Эвелины, другое от госпожи Дестутвиль. Батюшка содрогнулся, увидя почерк герцогини; а я, напротив, уверился, что герцогиня, решившись ко мне писать, имела возможность оправдаться, и сказал батюшке:

— Позвольте мне отдать вам, не читая, письмо госпожи Дестутвиль! Вам принадлежит оно более, нежели мне.

— Густав, я не могу видеть почерка этой женщины; она погубила и меня, и мою несчастную Амелию!

— Батюшка, из милости, из сожаления, прочтите письмо госпожи Дестутвиль!

— Видно тебе известно его содержание, — сказал он с досадою.

Ах, мог ли он быть так несправедливым? Мог ли подозревать меня в хитрости? Я сожалел о нем от всего сердца. Ты также несчастлив, как и сын твой, говорил я, смотря на его лицо, запечатленное глубоким при-скорбием. Я был бы менее жалок, когда бы мог свергнуть с себя оковы подчиненности, мог располагать своим жребием, мог на минуту тебя не любить, но милости твои в моем сердце; они сражаются с моею стра-стию: несчастье оправдывает твою несправедливость. Нет, нет, четыре месяца любви не могут загладить двадцати лет почтения, привязанно-сти, попечений! Ты останешься навсегда в моей душе, но ты навеки отделяешь меня от будущего!

Вот письмо герцогини Дестутвиль: «Итак, я принуждена идти перед судилище двух младенцев, ожидать своего приговора от двух сердец, едва знакомых с первыми минутами своей страсти! Не должна ли я почитать себя смешною и говорить, что второе младенчество без-рассуднее первого? Что нужды: и я имею страсть, которая мною управ-ляет. Эвелина моя несчастна; не буду рассматривать ее проступков. Но сколько несправедливости! Эвелина запирается в своей горнице, плачет, не видится со мною по целому дню, и ввечеру я замечаю, что она с великим усилием принуждает себя разделить со мною две или три минуты. Я имела бы право делать упреки, но я могу чувствовать одну горечь: если Эвелина так несходна сама с собою, то, без сомнения, Эвелина очень несчастна!

Сестра господина Дестутвиля была нежнейшим моим другом; умира-рая, поручила она мне свою дочь, которую любила я не менее собствен-ной. Герцог был исключительно привязан к старшему своему сыну, который один в ребячестве имел позволение приходить к нему в гости-ную. Альфред, София, Амелия всегда оставались в своей комнате и вхо-дили в мою только тогда, когда отца их не было дома. Между ними образовалось некоторое особенное семейство. Если бы Альфред и Аме-лия были одни, то их взаимная, нежная привязанность могла бы пока-заться мне опасною, но с ними была София. София любила Альфреда и Амелию так же сильно, как и Альфред и Амелия любили друг друга и Софию: она обманывала меня своим присутствием; я видела в их связи одно спокойное, непорочное чувство брата и сестры.

Явное предпочтение, которое герцог оказывал старшему своему сыну, меня оскорбляло: увы, желая утешить моего Альфреда, я сама сде-лалась несправедливою: я думала об одном Альфреде! Ему совершилось осмнадцать лет, когда господин Дестутвиль приказал приготовить его

к принятию Мальтийского ордена. Сей орден назначен был ему еще в колыбели. Будучи ребенком, носил он уже крест, и мое удивление было неописанно, когда он сказал, что не может так скоро решиться пожертвовать своею свободою. Я не знала, как объявить этот ответ герцогу Дестутвилю, имевшему характер непреклонного деспота.

Может быть, и теперь надлежало бы мне, как и тогда, накинуть покров на его недостатки, но дело идет о судьбе Эвелины: могу ли умолкнуть?

В обществе думали, что я повелевала детьми своими неограниченно. Казалось, весь дом повиновался мне одной, ибо господин Дестутвиль одну меня считал достойною принимать его повеления. Но в самом деле я не имела никакого голоса, не могла распоряжаться ничем, и каждое утро в трех словах назначал он мне мою должность.

Я вышла за него замуж в самых молодых годах, была совершенно ему покорна и очень твердо знала, что стараться его растрогать — значило терять и труд, и время. Оставалось преклонить Альфреда. Он отвечал мне всегда с большим спокойствием, но так же, как и прежде, откладывал минуту вступления своего в орден. Такая непоколебимая решимость в характере тихом и нежном могла быть только действием страсти, и я почти угадала его чувства, когда он открыл мне свою тайну. Альфред и София обнимали мои колена; я обещала употребить все старание, чтобы смягчить господина Дестутвиля. Бог свидетель, что я их любила, что жизнью готова была заплатить за счастье моего Альфреда!

При первом сказанном мною слове господин Дестутвиль разгорячился чрезвычайно и начал говорить о разводе, о необходимости избавить детей моих от слабого моего смотра; знатное командорство, которое основано было его предками, вышло бы из нашей фамилии по причине женитьбы Альфреда; к тому же он ни за что не хотел разделить своего имения между обоими сыновьями своими. Он приказал, чтобы Амелия приготовилась на другой же день отправиться в Шельское аббатство<sup>6</sup>, где надлежало ей или постричься, или быть заключенною по самую смерть господина Дестутвиля. Он сам отвез Амелию в монастырь; Альфред остался со мною. София, которая имела в характере несколько твердости отца, советовала своему брату противиться, не выходя из границ почтения. Господин Дестутвиль это заметил и отослал ее в другой монастырь, находившийся далеко от той темницы, в которой мучилась Амелия.

Огорченная разлукою моего семейства, я не хотела открыть состояния души моей свету, и в доме моем, как и прежде<sup>7</sup>, сбиралось блестящее общество; дни мои отданы были на жертву людям, совершенно для меня чуждым. Меня почитали счастливою, быть может, завидовали



моей участи; а сердце мое, наполненное горестию, разрывалось! Дети мои были несчастны, но я ли была причиною их несчастья?

Альфред, мой добрый, чувствительный Альфред, пользовался каждою минутою свободы и спешил разделить со мною свою горечь. Он находил в своей матери нежнейшего друга, который одним присутствием своим успокаивал уже его сердце. Какое же было мое занятие? Смягчать в глазах сына жестокую непреклонность отца и представлять отцу извинительною непокорность сына! Изъясняясь друг с другом через меня, они казались близкими к согласию, но всякое свидание расстраивало их снова: герцог выходил из себя, Альфред предавался отчаянию, а я страдала.

Альфред недолго имел утешение быть со мною вместе: герцог, опасаясь моей снисходительной нежности, приказал ему ехать в полк. Дня за два до его отъезда приходит он ко мне и говорит в присутствии Альфреда: “Амелия опять достойна моего уважения; она соглашается постричься, чтобы возвратить семейству моему потерянное спокойствие...” Он вышел, не дождавшись моего ответа. Альфред бросился к моим ногам. “Матушка, — воскликнул он, — милый друг, вот несчастье, которое ужаснее для меня смерти: спасите Амелию, спасите ее от самой себя! Она чрезмерно робка и уступчива! Батюшка, без сомнения, сказал ей, что она упорством своим делает всех нас несчастными, и теперь Амелия готова пожертвовать для меня собою!” Какое перо опишет отчаяние Альфреда! На другое утро приходит он к герцогу и говорит ему при мне, что соглашается того же дня ехать в Мальту и вступить в орден, если только София и Амелия выйдут из монастыря, и если Амелия не будет более принуждаема постричься.

Господин Дестутвиль чрезвычайно раздражен был дерзостию Альфреда, который предписывал отцу своему условия, но позволил ему надеяться, что они будут приняты, если прежде, без всякого прекословия, исполнит он его волю. Бедный Альфред, несколько успокоенный, уехал: он записался в орден, и Амелия оставила монастырь. Ей было шестнадцать лет, Альфреду девятнадцать: я надеялась, что эта младенческая любовь исчезнет в рассеяниях юности. И кто бы этого не думал вместе со мною? Амелия, кроткая, покорная, набожная, показывала одно сердечное желание удалить от себя то чувство, которым была наполнена. Альфред во всех своих письмах умолял меня сохранить Амелиино счастье: казалось, что он перестал думать о собственном; и никогда уже не говорил он мне о любви своей.

Герцог никак не соглашался, чтобы Альфред возвратился во Францию: все требования мои остались тщетны. “Пока девица Дестень, — говорил он, — не будет ни в монастыре, ни замужем, до тех пор не

позволю, чтобы Альфред был с нею в одном доме и питал такое чувство, которое запрещается всеми законами чести”.

Альфред произнес обеты свои, чтобы спасти Амелию от монастырского заточения: Амелия согласилась выйти замуж, чтоб возвратить Альфреда его семейству. Граф Обинье сделал свое предложение; чин его и богатство польстили гордости герцога Дестутвиля: он с радостью согласился отдать за него Амелию. Альфред в каждом письме своим умолял меня выдать Амелию замуж, чтоб сохранить и независимость ее, и свободу; Амелия видела мои страдания, видела слезы, извлекаемые из глаз моих отсутствием Альфреда, и обольщенная надеждою возвратить матери сына, обещала без моего согласия господину Дестутвилю отдать графу Обинье свою руку. Герцог доволен был чрезвычайно ее покорностию, но он боялся, чтобы чистосердечная Амелия не открыла графу своей привязанности к Альфреду. Хотя привязанность сия и казалась ему одним ребячеством, но он чувствовал, что признание Амелии могло бы сделать супружество ее несчастным, и взял с своей племянницы слово, что она до замужества не будет видеться наедине с графом. Такое условие показалось батюшке вашему благоразумным; оно соответствовало строгости его правил и тем обычаям, которые царствовали у нас в доме.

Услышав от вашего батюшки, что он желает иметь супругою Амелию, я была уверена, что герцог с великою радостью согласится на его предложение, и, желая дать время успокоиться Амелиину сердцу, сказала графу Обинье, что не расположена выдавать ее замуж прежде двух лет. Увы, он ничего не заметил в этом ответе, кроме сожаления, что Амелия предпочтена была Софии. Одним словом, эта неизъяснимая судьба, которая, по-видимому, благоприятствует всем происшествиям, имеющим следствия гибельные, эта неизъяснимая судьба увлекала вашего батюшку. И как несправедливы его упреки! Мог ли он иметь нужду в совете? Простое размышление не должно ли было вселить в него недоверчивость?

Герцог, узнавши о намерении графа Обинье, тотчас согласился отдать ему Амелию: я опять осмелилась ему противоречить, но вместо ответа он дал мне на выбор: или везти Амелию в монастырь, или решиться выдать ее замуж. Я ужаснулась; я представила, с одной стороны, то горестное заточение, в котором эта несчастная должна будет истощить юность свою, снедаемую безнадежною страстию; с другой, добродетельного супруга, утешительное чувство исполняемой должности, светские рассеяния, и решилась. Я трепетала, провожая Амелию к алтарю, но Амелия начала молиться, и надежда воскресла в моем сердце.

В одном упрекаю себя: для чего не долее противилась я власти господина Дестутвиля, но я уверена и теперь, что противоречие могло бы только его раздражить, без всякой пользы для несчастной моей Амелии. Граф Обинье увез ее в деревню. Альфред возвратился; душа его наполнена была страданием и любовью. Мы провели вместе шесть месяцев. Господин Дестутвиль ездил по гостям со старшим своим сыном; а я оставалась дома, одна с моим милым Альфредом.

Открылась война; мой сын, мой Альфред был ранен смертельно, и теперь содрогаюсь при этом воспоминании; я обожала его, жила им, и Альфреда уже не было! Я умирала от горести, но помнила об Амелии, но хотела уверить себя, что сын мой будет видеть мои попечения о той, которую любил он так страстно, и послала к ней Софию: и вместе, и розно с Софиею моя тоска, мое сожаление были одни и те же; ничто на свете не могло принести утешения моему сердцу. Узнавши об Амелииной смерти, я плакала столь же много, как будто бы во второй раз лишилась Альфреда. София, возвратившись, призналась, что батюшка твой одну меня обвиняет в своем несчастье. Но София не могла оправдывать матери, не опорочивая в то же время отца: и та, и другая должность были равно священны! Что оставалось ей делать? Умолкнуть!

Но София, стоя на коленях у маленькой твоей колыбели, обливая слезами твое лицо, стараясь успокоить первые жалобы Амелиина сына, говорила ее супругу: именем Амелии прошу вас, не забудьте обо мне, когда этому младенцу нужна будет мать! Молю Бога, чтобы он умел почитать отца своего так же много, как я в сию минуту своего почитаю... И если б жива была Амелия, то я молила бы для него такой же любви к своей матери, какую сердце мое питает теперь в моей! София оставила вашего батюшку, но ее молчание усилило в душе его несправедливое против меня предубеждение, и с того времени граф Обинье, не желая нигде со мною встречаться, оставил общество; мы перестали иметь сношения, не позволив себе сказать ни одного слова, которое могло бы обратить на нас внимание публики. Мы почитали молчание обязанностью, но сия обязанность была несравненно тяжелее для меня, нежели для него. Я знала, что он меня ненавидел: знала, и принуждена была молчать, и не могла себя оправдывать, но, будучи невинна, я более удивлялась его несправедливости, нежели ею огорчалась. Человек, уверенный в своих поступках, спокойно полагается на будущее и говорит самому себе с утешительною надеждою: тебя узнают. Я очень часто сожалела о графе Обинье! Как будет он раскаиваться в своей несправедливости, думала я, как будет упрекать себя, что судил обо мне так дурно!

В следующую компанию потеряли мы старшего своего сына, и тут только почувствовала я, с какою нежностью его любила: все надежды герцога Дестутвиля были уничтожены. Я не позволила себе сказать ему, что он сам причиною своих несчастий, я слишком знала, что Альфред сражался, как человек, желающий смерти.

Герцог нашел для дочери своей мужа, имевшего его фамилию, но София, погруженная в глубокое уныние с того времени, как потеряла друзей своего младенчества, страдала, томилась, наконец, увяла. Несчастная мать не могла спасти ее любовью своею от смерти. София вверила мне Эвелину, которая не могла меня утешить, но снова привязала к жизни прелестною надеждою осчастливить существо драгоценное.

Ты знаешь, Густав, что лучшею мечтою моею было соединение твое с Эвелиною; я утешалась мыслию, что время успокоит ненависть графа Обинье, что время, наконец, заставит его спросить у самого себя: могла ли та женщина, которая никому на свете не желала зла, могла ли произвольно сделаться убийцею своего сына, своей Амелии, существ, драгоценнейших для ее сердца? Я ждала долго и теперь еще не отказываюсь от надежды!

Будучи неразлучна с воспоминанием о моих детях, Амелии, Софии, Альфреде, я старалась и Эвелину сделать им подобною! Мне сладко было думать, что сын Амелии найдет в Эвелине свое счастье; что голос его, еще незнакомый, но уже милый, будет называть меня матерью.

Батюшка твой, которому неизвестны причины моих поступков, упрекает меня жестокою ветреностию! Он называет меня только виновною, а ему надобно бы называть меня только несчастною. Густав, скажи ему, что ты едва не похитил у меня Эвелининой благодарности, Эвелининой нежности, а Эвелина, единственное существо, к которому привязывают меня и любовь, и воспоминания, и прискорбие! Скажи твоему отцу, что ты похитил у меня последнее мое счастье; что, может быть, приготовил мне одинокую старость; что, может быть, лишил меня всех утешений, последней моей дочери; скажи это ему, Густав, и он перестанет меня ненавидеть. Не довольно ли для него такого жестокого мщения?»

Письмо госпожи Дестутвиль поселило в душе моей какое-то спокойствие, какую-то надежду, которые не могли уже быть разрушены суровостию отца моего. Я запечатал его и послал к батюшке, надписав на пакете: *«Вы прочтете это письмо тогда, когда будете иметь нужду оправдать в глазах своих вашего сына».*

В следующие два дня батюшка, необыкновенно задумчивый и унылый, говорил со мною очень мало; его смущение уверяло меня, что он

прочел письмо герцогини Дестутвиль: я видел в нем человека, который не почитал уже себя правым касательно прошедшего, но думал, что никогда не может обмануться в своих суждениях о будущем.

Прежняя, царствовавшая между нами непринужденность совсем исчезла; я не мог быть спокоен в его присутствии, бегал из дому, по целым дням занимался охотой: одно чрезмерное утомительное движение могло мне доставить несколько минут тяжкого сна. Я чувствовал, что сила моя, здоровье, молодость увядали.

Однажды ввечеру возвращаюсь домой позже обыкновенного, в ту минуту, как батюшка готовился ужинать, проходя мимо меня в столовую, он остановился, посмотрел мне в лицо и сказал:

— Итак, мой сын, ты не решился еще победить то чувство, которое сделает меня несчастным при конце жизни?

— Победить? Никогда. Пожертвовать им? Во всякую минуту!

— Но разве не боишься расстроить здоровья своего таким чрезмерным движением?

— Нет, батюшка, я не боюсь!

Он потупил глаза и не говорил со мною весь вечер.

Мы виделись с ним только за обедом и за ужином, говорили мало, о постороннем, без удовольствия, без всякого излишнего искренности, но в остальное время дня был я по большей части один: чувствовал в самом себе ту внутреннюю борьбу, которая истощает и силу, и душу, и жизнь.

Однажды, после обеда (время было ужасное), батюшка подошел ко мне с робким видом, ко мне, к своему сыну, а я называл себя несчастным!

— Густав, — сказал он, — ты болен; останься нынче дома, сделай отцу своему это утешение!

Он вышел, не дождавшись ответа. Невидимая рука приковала меня к тому месту, на котором он меня оставил; я не мог вырваться из той комнаты, в которой слышал умоляющий голос отца моего: обремененный мрачными мыслями, я чувствовал и не жалел, что силы мои истощались, что юность моя увядала. При конце своем увижу ее опять, говорил я самому себе в страстном мечтании; он приведет Эвелину к умирающему своему сыну, велит ему прижать ее руку к сердцу, но оживит ли эта поздняя радость увядшего? Возвратит ли она ему улетевшую молодость, чувства истощенные, сердце уже отцветшее?

Слабый, утомленный, я бросился на канапе и заснул; через час просыпаюсь и вижу батюшку, сидящего подле меня в креслах. Слезы катились по щекам его: я встал, почти утешенный его состраданием, положил руку его к себе на сердце, он сказал мне, потупив глаза и так тихо, как будто бы сам боялся себя услышать:

— Мой сын, не могу ни согласиться на твое супружество, ни ему способствовать! Поезжай в Париж, сделай все нужные для счастья твоего распоряжения; присылай ко мне те бумаги, в которых имя мое будет необходимо: я подпишу их, не читая, — он прибавил с трепетом, — жена твоя будет моею дочерью!

Я бросился к его ногам.

— Оставьте мне мою горечь, — сказал я, — или согласитесь на все, не полагая пределов своему великодушию. И Эвелина может теперь принять ваши условия, но придет время, когда они покажутся ей оскорбительными, и меня обвинит она в своей слабости! Батюшка, умоляю вас, возвратите мне привязанность мою к жизни!

Он хотел встать, но я удержал его и целовал его колена.

— Батюшка, могу ли без вашего благословения идти к алтарю? Некогда собственные дети мои об этом узнают, и вы заранее приготовите их к непочтению и непокорности!

— Ах, Густав, — сказал он печальным голосом, — не справедливо ли будет, если твои дети накажут тебя за те огорчения, которые причиняешь отцу своему?

— Конечно, справедливо, но только тогда, когда не будут они знать, что я согласился лучше умереть, нежели вам противиться; когда найдут во мне только неблагодарного, оставленного отцом в самую священную, самую торжественную минуту жизни.

— Но думаешь ли, Густав, — сказал он, наклонившись ко мне, как будто для того, чтобы несколько смягчить упрек свой, — думаешь ли, что, исторгая из меня согласие, ты исполняешь обязанность сына?

— Батюшка, не называйте покорности моей насилием! Потребуйте, чтобы я был несчастлив, и буду страдать, но вы не услышите от меня роптания!

— Неблагодарный, или ты думаешь, что я забыл, как можно угаснуть и умереть с печали?.. Каждый день рассматриваю тебя с беспокойством: сын мой, на лице твоём бледность Амелии... За несколько минут я видел тебя спящего, наклонившего томную голову, запечатленного страданием; я говорил самому себе: или в другой раз мне видеть медлительный конец несчастья?

— Ах, если бы я мог знать, что вы терзаете себя такими мыслями, то никогда не заметили бы вы моей печали!

— Скажи же, Густав, — спросил он с глубоким унынием, как будто решившись отказаться от самого себя, — чего ты от меня требуешь?

— Последуйте за мною в Париж, узнайте Эвелину... и тогда, какая бы ни была ваша воля, повинуюсь ей без роптания!

Он согласился, и на другой же день поехали мы в Париж.

— Вези нас в дом герцогини Дестутвиль, — сказал я постильону, когда мы остановились у заставы. Батюшка этого не предвидел, но он не противился. Я знал, чего ему стоило это посещение, и не хотел его откладывать.

Карета подъехала к крыльцу. Мы пошли прямо в комнату Эвелины. — Представляю вам, — сказал я ей, — не отца еще, но друга.

Она совсем не ожидала меня, побледнела, затрепетала. Батюшка, тронутый ее замешательством, сел подле нее на кресла, с чувством смотрел ей в лицо, не мог сказать ни слова. Эта минута была для меня доказательством его привязанности, столь же сильным, как и все нежные заботы, которые имел он обо мне с начала моей жизни. С какою пламенною благодарностию смотрел я на лицо своего родителя! Я взял его руку, соединил ее с рукою Эвелины, поцеловал их; он содрогнулся; она посмотрела на небо.

— Эвелина, — сказал я, — обещайся вместе со мною возвратить родителю моему его потерянное счастье!

Эвелина, будучи не в силах владеть своим чувством, залилась слезами, пожала батюшкину руку и отвечала мне от всего сердца:

— Если он это позволит!

Он встал и после минутной, мучительной для сердца его борьбы, сказал с глубоким вздохом:

— Густав, мой сын, любовь родительская надежнее детской!

Он обнял Эвелину, закрыл глаза, трепетал, колебался, наконец сказал:

— Дочь моя, забудем прошедшее!

Я упал на колена; Эвелина прижалась к его сердцу; он открыл глаза, увидел меня у ног своих, еще раз наименовал ее *дочерью* и наконец сказал, положив ко мне на голову руку свою:

— Эвелина, поручаю вам его счастье!

На другой день посетил он герцогиню Дестутвиль, которая приняла его с замешательством и робостию. Батюшка представил ей меня как сына.

— Ах, — сказала герцогиня, — я могла быть причиною несчастий, но без намерения, не предвидя их. Как счастлив тот, кто может сказать: хочу снова начать прошедшую жизнь свою без всякой в ней перемены!

— Перестанем думать о прошедшем, — отвечал батюшка, — ваше письмо заставило меня разобрать свои поступки; я многое переменял бы в них, когда бы снова надлежало мне начать жизнь свою. Мы все должны говорить: «В раскаяньи одном виновных добродетель!»

## МЕЛАНХОЛИЯ

(Сочинение женщины, которая никогда не бывала в меланхолии)

Я была высока ростом, имела светлые волосы, бледное лицо, голубые глаза и наружность спокойную; меня уверяли в то время, когда начали уверять во многом, что я имею вид меланхолический. Девушка пятнадцати лет думает весьма много о том, что ей говорят, и никогда не воображает, чтобы могли с нею говорить не подумавши. Я начала уважать меланхолию именно потому, что она замечена была во мне другими, радовалась, что имела в себе такое необыкновенное достоинство, наконец старалась приобрести яснейшую идею о меланхолии, чтобы при случае, когда начнут восхищаться моим меланхолическим видом, иметь некоторое понятие о той приятности, которой целый свет во мне удивлялся.

Это случилось со мною в начале зимы: открылись балы, и я забыла на время о меланхолии. Делиль говорит правду: меланхолия не любит ни шума, ни собраний блестящих<sup>1</sup>, по крайней мере, я в этом уверена по собственному опыту. При первом контредансе исчезал во мне тот милый меланхолический вид, которым пленяла я других; и в промежутках танцев, в минуту принужденного отдыха, когда я должна была сидеть на софе, потому что никому не приходило в голову со мною танцевать, на лице моем написаны были, вместо меланхолии, скука, нетерпение, беспокойство. Скажу откровенно, что в большом свете все чувства, будучи слишком быстры и следуя одно за другим чрезвычайно поспешно, противны меланхолии, требующей простора, времени, приготовления; кто хочет иметь ее, тот, можно сказать, должен к ней расположить себя так точно, как бы он располагался спать: по крайней мере, положение меланхолика не должно быть ни слишком видное, ни слишком приятное, ни слишком неприятное и меньше всего беспокойное: всякое волнение уничтожает ее, и я уверена, что в почтовой коляске так же не легко погрузиться в меланхолию, как и заснуть покойным сном.

В конце декабря поехала я в деревню с моим отцом, который по делам своим принужден был оставить Париж: не подумайте, чтобы я нашла меланхолию в древнем, почти развалившемся замке, почтенной обители моих предков — я нашла в нем одну ужасную скуку. И было ли мне время подумать о меланхолии! Я сожалела, печалилась, желала, мучилась беспокойством. В пасмурный день ожидала светлого; в холодный зябля; в бурный и ветреный, когда готические окна нашего замка ужасно стучали, боялась; зябнуть, бояться не иное что, как просто зябнуть, и бояться — то ли называется быть в меланхолии, которой дей-



ствия никогда не могут быть выражены словами? По крайней мере, горести, которые можно назвать по имени, и впечатления, в которых мы можем дать себе отчет, нимало не составляют меланхолии. Словом сказать, я провела в старом замке целую зиму, не меланхолическую, но чрезвычайно печальную.

Наконец пришла весна, и вместе с весною явился в нашей темнице один молодой человек, прекрасный собою и очень любезный: без него, может быть, и весна, и зелень, и воды, и пение птиц познакомили бы меня с меланхолией, но так случилось, что я и он были неразлучны, везде — и на зеленых лугах, и на берегу вод, и в роще, где пели птицы! Я чувствовала в себе новую живость, была в волнении, в беспокойстве, старалась его занимать, искала его взоров, с чувством слушала каждое слово его, давала особенный смысл каждому его движению; каждая наступающая минута казалась мне счастливее протекшей; я упреждала время и, призывая будущее, была привязана всею душою к прошедшему; в его отсутствии думала я об одном его возвращении, и думала беспрестанно: уверяют, что любовь неразлучна с меланхолией! Любовь довольная и еще постоянная — верю! Она уже не имеет нужды в надежде, еще незнакома с раскаянием и забавляет себя меланхолией<sup>(\*)</sup>.

---

(\*) Извините, милостивая государыня! То чувство, которое почитали вы любовью, кажется нам, было не иное что, как сильное желание нравиться. После печальной зимы и скучных провинциальных лиц явление весны и с нею приятного парижского лица, с блестящими, красноречивыми глазами, с приветливою улыбкою, может показаться очаровательным. Удовольствие, которое против воли находишь в обществе молодого человека, должно быть слишком живо, когда оно непосредственно следует за скукою зимних месяцев, проведенных в пустом замке, и весьма простительно принять его за настоящую любовь: приветствия, соединенные с нежным взглядом и трогательною гармониею приятного голоса, действуют совсем иначе на сердце пятнадцатилетней девушки, нежели шум холодного северного ветра, от которого стучат готические окна и хлопают железные ставни; и мы не удивимся, если первые покажутся истинною мелодиею любви для той, которая целые три месяца осуждена была внимать одним последним. Все сии обстоятельства легко могли обмануть любезную искательницу меланхолии. Она, по совести, может нас уверять, что испытала прямую любовь; столь же естественно ей удивляться, что вместе с любовью не чувствовала она меланхолии; наконец весьма позволительно ей утверждать, что меланхолия есть прибежище любви *праздной*, то есть, счастливой и еще постоянной. Мы, с своей стороны, отваживаемся заметить, что любовь, разумеется истинная, та, которая объемлет сердце и не дает в нем места никакому другому чувству, и счастливая, и несчастная, неразлучна с меланхолией, несовместною напротив с желанием нравиться — сказать *кокетством* было бы грубо; но говоря языком наших прародителей, которые никогда не таили правды, и основываясь на их священном правиле: *тому, кто солжет, да будет стыдно*, осмелимся признаться нашей остроумной сочинительнице, что истинную любовь ее по-

Не знаю, имела ли я настоящую любовь, но твердо уверена, что не имела и признака меланхолии.

---

читаем истинным кокетством, следовательно, охотно увольняем ее от меланхолии. Желание нравиться — возвратимся к учтивости наших современников — оживляет, приводит в волнение, в беспокойство, следовательно, не дает места меланхолии, тихой, ограничивающей душу тем единственным чувством, которым она полна, которое для нее дорого, от которого она отделиться не в силах. Любовь, и счастливая, и несчастная (выключаю одно несчастье мучительной ревности), до тех пор, пока она остается любовью, необходимо соединена с меланхолией. Меланхолия не есть ни горечь, ни радость: я назвал бы ее оттенком веселия на сердце печального, уныния на душе счастливого. Любовь, и счастливая, и несчастная, с той самой минуты, в которую поселяется она в сердце, усиливается в нем беспрестанно, и та минута, в которую это стремление прекращается, или уничтожает ее навеки, или обращает ее в тихую, неизменяемую привязанность: в обоих случаях она теряет имя любви, и тогда только отделяется от нее меланхолия. Счастье любви есть наслаждение меланхолическое: то, что чувствуешь в настоящую минуту, менее того, что будешь или что желал бы чувствовать в следующую: ты счастлив, но стремишься к большему, более совершенному счастью, следовательно, в самом твоём упоении ощутителен для тебя какой-то недостаток, который вливает в душу твою тихое уныние, придающее более живости самому наслаждению; ты не находишь слов для изображения тайного состояния души твоей, и это самое бессилие погружает тебя в задумчивость! И когда же счастливая любовь выражалась веселием? Когда не заменяла она изобильного языка ораторов томностию меланхолического взгляда, задумчивым безмолвием, чувством, неприметно разливающимся по лицу и понятным для одного только взора, тихим звуком голоса, слышным и отзывающимся в одном только сердце? Пока любовь возрастает, по тех пор она неразлучна с надеждою: надеяться и не доверять почти одно и то же, а неверная надежда в самую минуту счастья соединена с унынием меланхолии. Я говорил об одной любви счастливой, то есть разделяемой и не гонимой судьбою. Любовь несчастная, любовь, наполняющая душу, но разлученная с сладкою надеждою жить для того, что нам любезно, слыхком скоро умертвила бы наше бытие, когда бы отдалена была от меланхолии, от сего непонятого очарования, которое придает неизъяснимую прелесть самым мучениям. Невидимая цепь привязывает тебя к твоей горести; в ней твое бытие; утратив ее, ты сам уничтожен, ибо все то, что прежде наполняло твою душу, вдруг исчезает... и какой любовник предпочтет мертвую пустоту сию животворному, ничем не заменяемому терзанию своей страсти? Говоря о несчастиях любви, я воображаю только одни препятствия жребия: несчастье утратить то, что украшало бы нашу жизнь, что для нас всего выше, всего святее, чему нет никакой замены, и утратить без надежды возврата, навеки — такое несчастье может отвратить душу от привязанности к жизни, ибо жизнь мила не собою, но теми привязанностями, которыми животворится наше сердце; но это самое чувство отвращения от жизни может иметь некоторую сладость, меланхолическую, драгоценную, благо единственное; сладость, заключенную в мысли, что ты любим, хотя не должен мечтать о соединении; или в мысли, которая не дает тебе счастья, но в то же время не дает и совершенно разрушиться заблуждению души твоей; в мысли, что сердце, отнятое у тебя судь-

Я никогда не забуду этого времени, которое почитаю лучшим в моей жизни: оно прошло, и прошло невозвратно. Я не сказала своей тайны: в шестнадцать лет весьма трудно скрывать, но очень легко молчать; однако признание слетело бы с языка моего, когда бы тот, который ожидал его с таким нетерпением, не вздумал предупредить меня — своею неверностью! Он меня оставил: я удивилась, начала сердиться, плакать! Называла его неблагодарным, но была бы в отчаянии, когда бы имела причину требовать от него благодарности; я радовалась, что не сказала ему ни одного решительного слова, но в то же время плакала, была в волнении; здоровье мое расстраивалось, а меланхолия не приходила! По счастью, началась революция<sup>2</sup>; она разорила меня и состарила — сильные причины забыть несчастную склонность. *Не скучно ли вам было нынешний день*, спросил кто-то у одной женщины, которая была принужденною свидетельницею казни десяти или пятнадцати несчастных, умерщвленных Робеспьером<sup>3</sup>. Надобно признаться, что революция не позволяла нам ни скучать, ни быть в меланхолии. Тюрьма производит меланхолию только в том, кто ничего, кроме тюрьмы, не боится. Получив свободу, я могла бы легко заняться меланхолическими мыслями в маленькой моей комнате, в которой не было ничего, кроме четырех голых стен, дряхлого стола о трех ножках и глиняного ночника, если

---

бою, еще свободно, еще спокойно, еще не отдано; невозможность владеть им тебя терзает, но тайный голос тебе говорит в то же время: переменись твой жребий, и может быть, она была бы твоею! Ты призываешь смерть, ты веселишься, примечая, что жизнь твоя, в которой нет уже будущего, начинает гаснуть и наконец угасает, но разлучаясь с нею и останавливая на ней последний, меланхолический взгляд, ты говоришь: жизнь моя могла бы быть прелестна! Пока человек упрекает одну только судьбу, по тех пор остается ему некоторая обманчивая надежда на перемену: и в сих-то упреках, и в сем-то обманчивом ожидании перемены заключено тайное меланхолическое наслаждение, которое самую горечь делает для него драгоценною. Но если мысль о *взаимности*, существующей или только возможной, отдалена от любви, тогда исчезает и то, что в самой горести было усладительно для сердца: ты чувствуешь одно утомительное отвращение от жизни; говоря самому себе: я для нее ничто, никогда бытие мое не будет необходимо для ее счастья, ты ощущаешь себя слишком одиноким, оставленным; самое уважение к самому себе некоторым образом теряется: оскорбительная мысль быть *ничем* для того существа, в котором заключается для нас *все*, уничтожает самих нас перед собственными нашими глазами; ты расстаешься с жизнью без сожаления, равнодушный, уверенный, что в ней ничто не может уже перемениться, что никакие обстоятельства не дадут тебе единственного, незаменимого счастья: любви существа любимого. Вот единственный случай, в котором меланхолия разлучается с любовью и уступает место унынию мрачному; во всяком другом — выключаю одно мучительное состояние ревности — они нераздельны. Итак, любезная искательница меланхолии, говоря, что не имела ее вместе с любовью, доказывает нам только то, что она — не любила. Ж.

бы могла забыть, что надобно припасти что-нибудь к завтрашнему обеду. В дождливое время я досадовала, что принуждена была идти пешком, а в ясную погоду всего веселее было мне думать, что я уже не вымокну на дожде: спрашиваю, можно ли то удовольствие, которое ощущаем, избежав от страдания, назвать меланхолическим? Оно живо и столь же положительно, как и то чувство, которое заменяет: слишком знаешь, что претерпел, чтобы не знать того, чем наслаждаешься. Те, которые имеют горести слишком ощутительные, имеют и радости полные; потому-то и удовольствия черни, следуя за тяжкою работою, всегда бываю очень шумны.

*Меланхолия* — говорила одна умная женщина — *есть выздоровление горести*<sup>4</sup>, и матери своей, печали, вид имеет!<sup>5</sup> Но эта дочь тогда только может быть наследницею матери, когда не захватят наследства ни суеты, ни заботы, а выздоровление ощутительно только для тех, которые могут выздороавливать на покое. *Простые люди*, сказал один светский человек, *очень счастливы: они здоровы, когда не больны*; то же можно сказать и о людях занятых: не будучи несчастны, они довольны. Мои обстоятельства поправились, но этим обязана я своей попечительности, и теперь одними только попечениями могу сделать свои обстоятельства еще лучшими: мысль о том, что мне остается исполнить, всегда примешивается к тому, что я могла бы чувствовать; всякое новое наслаждение пробуждает во мне надежду и усиливает желание действовать. Все мои надежды оживляются, когда я нахожусь в приятном обществе, или смотрю на ясное небо, или наслаждаюсь прекрасным видом: тогда начинаю выдумывать новые планы, размышляю о средствах, готовлюсь к успехам. Но в пасмурный день, или будучи нездорова, не могу представить себе ничего, кроме неприятностей, воспоминаю одни прошедшие свои неудовольствия, располагаю себя к новым жертвованиям; словом, в каком бы ни была состоянии моя душа, она всегда имеет пищею что-нибудь положительное и существенное. Я никогда не имела ни желания, ни печали, не зная в точности, чего желаю и о чем печалюсь; никогда не помню, чтобы я была счастлива, не зная наверное, от чего проистекает мое счастье, и слезы мои всегда имели известную мне причину. Меланхолию можно назвать роскошью, излишком чувствительности, худым употреблением, которое делают из нее люди, которые не знают, что из нее сделать. Что же касается до меня, то я всегда знала, на что употребить свою чувствительность; я была занята во всех положениях жизни, и часто слишком несчастна, чтобы предаваться меланхолии.

*Каролина П.*

## ВОЛЬДЕМАР

Вы помните старика Вольдемара. Он никогда не выезжал из того уединенного городка, в котором родился, а знал свет не хуже тех людей, которые, проведя более десяти лет в путешествии, могли похвастать, что разбросали деньги свои по всем столицам Европы. Он с удовольствием, в свободное время, рассказывал своим приятелям небольшие повести, которым научила его собственная опытность, повести весьма неважные по слогу повествователя, но важные по тем практическим истинам, которым служили они одеждою. Странность Вольдемарова была та, что он обыкновенно после одной повести рассказывал и другую, имеющую к ней отношение.

Однажды молодой Вольф, его знакомец, уверил его, что не знает человека, подобного ему в благоразумии.

Вольдемар покачал головою.

— Правду ли говоришь, любезный Вольф, — спросил он с улыбкою.

— Все называют тебя рассудительным Вольдемаром. Я дорого бы дал за твое искусство...

— Не трудно иметь его. Замечай прилежнее за глупцами!

— За глупцами, Вольдемар?

— Так точно, господин Вольф, за глупцами, и делай противное тому, что они делают. Я расскажу тебе один случай. В моей молодости жил у нас в городе один математик, угрюмый, вечно нахмуренный человек, именем Фейт. Никто не слышал от него никогда ни слова. Всегда ходил он, потупив голову, бормотал про себя невнятные слова, разговаривал сам с собою и ни одному человеку не смотрел в лицо. Отгадай, как называли у нас этого важного математика?

— Ученым, глубокомысленным?

— Просто: глупцом. Нет, сказал я самому себе, господин Фейт — худой пример: подражать ему невыгодно! Вечно глядеть исподлобья, не говорить ни с кем ни слова, бегать от людей как от чумы, куда это годится! Не правду ли я говорил вам, любезный сосед?

— Конечно правду, Вольдемар!

— Правду, однако не совсем. В это же время вертелся у нас в городе господин Брелот, француз, какого звания человек, не помню. Он всякому, без разбора, бросался в глаза, говорил беспрестанно и со всеми, но что говорил, о том не спрашивай. Каким именем, думаешь ты, величали эту стрекозу?

— Весельчаком, забавником?

— Так же просто: глупцом. Боже мой, подумал я, как же мне заслужить имя благоразумного? Не будь ни Фейтом, ни Брелотом, отвечал

мне рассудок. Гляди людям смело в глаза, как один, и умеи заглядывать в самого себя, как другой! Говори громко с другими, как господин Брелот, и тихо с собою, как господин Фейт, и я последовал совету рассудка. Вот то искусство, за которое люди называют меня рассудительным Вольдемаром.

В другой раз посетил его молодой купец, Флик, весьма несчастный по торговым делам своим. Он горько жаловался на счастье, которое во всем почти ему изменяло.

— Напрасно печалишься, господин Флик, — сказал ему Вольдемар, — счастье найдется, если только будешь искать его.

— Давно ишу этого счастья, Вольдемар; наконец потерял терпение. Беда за бедою! Хочу все оставить; сложу руки и поселюсь дома.

— И сделаешь очень дурно, господин Флик. Искать счастья надобно всякому, и все его ишут, хотя не все находят, но это от того, что не все умеют настоящим образом держать голову.

— Как, Вольдемар, держать голову?

— Так точно, господин Флик, голову! Я объясню тебе это двумя примерами. Сосед мой Клаус строил дом. Бревна, отрубки и камни разметаны были по улице. Нашему бургомистру, господину Трику, понадобилось пройти мимо строения: он был тогда и молод, и ветрен; спешил на званый обед, разряженный, расчесанный впрах; по несчастию, поднял немного высоко свою голову... запнулся за чурбак, ударился оземь, переломил ногу и навек остался калекою.

— Старики говорят правду: не подымай высоко носа; можешь споткнуться!

— Однако ж, любезный Флик, и не опускай его слишком низко: просмотришь! Дня через два после этого несчастья случилось другое. Уездный стихотворец наш, господин Фефер, должен был пройти мимо того же строения. Бог знает, что было у него в голове, стихи, или домашние заботы, но он, потупив голову, не видал, что вокруг него делалось; вдруг оборвись веревка, и страшное бревно, промчавшись мимо его как молния, грянулось на мостовую! Стихотворец от испуга упал без памяти навзничь, занемог, долго пролежал в постели и едва не умер. Теперь понимаешь ли, что значит уметь настоящим образом держать голову?

— Понимаю, ни очень высоко, ни очень низко.

— Другими словами: держись середины! Человек, который спокойно умеет посматривать и вперед и назад, и вверх и вниз, и по сторонам, зайдет далеко, безвреден и, верно, никогда не скажет, что счастье изменяет ему.

Раз посетил Вольдемара молодой Грель, также купец, который только что начинал *искать своего счастья*. Он имел нужду в деньгах, которые надеялся занять у Вольдемара.

— На что тебе деньги? — спросил у него Вольдемар.

— Я имею в голове предприятие. Выгода, которую предвижу, неважная, но для чего же терять и малую выгоду, если она сама собою вам представляется?

Такое рассуждение не понравилось Вольдемару.

— А сколько тебе надобно денег, Грель?

— Безделица, сотня талеров.

— Сотня талеров найдется и у меня; я готов служить ею хорошему приятелю, но в придачу в этой сумме могу ссудить его такую вещь, которая, между друзьями, стоит более тысячи талеров; по крайней мере, он может обогатиться ею, если только захочет.

— Как, Вольдемар, в придачу?

— Не пугайся, любезный Грель, это коротенькая повесть, более ничего. В молодости моей был у меня соседом пивовар Кауц, большой чудак, который пошел по миру от пустой пословицы.

— Как от пословицы?

— Когда приятели спрашивали у него, есть ли барыш от пива, то он обыкновенно отвечал: какой барыш, безделица, пятьдесят или шестьдесят талеров! А если говорили ему: господин Кауц, и ты потерпел от банкротства, то он имел привычку отвечать: что за потеря, сто или двести талеров, стыдно и говорить об этом! Наконец узнал он, что такое бедность. А никогда не бывать бы ему бедным, когда бы не имел он дурной пословицы. Какой ты суммы просил у меня, любезный Грель?

— Я... я... мне нужно сто талеров.

— Виноват, забыл. Но я имел еще соседа: он прозывался Томом. Этот человек имел пословицу, с которою выстроил каменный дом в три этажа, с большими флигелями и магазином.

— Очень любопытен знать эту пословицу!

— Когда у него спрашивали, каково торгуешь, господин Том, есть ли барыш, то он отвечал: превеликий, сто талеров, и с таким видом, что сердце радовалось! Если же, напротив, случалось сказать ему: от чего так задумчив, господин Том, что с тобою сделалось? Ах, друзья мои, отвечал он, потерял много, очень много денег, целые пятьдесят талеров! Этот человек начал с малого, а кончил большим; я уже сказывал тебе, что он имел дом в три этажа, с огромным флигелем и магазином. Какая же пословица тебе более нравится?

— Разумеется, последняя.

— Но, друг мой, и господин Том не всегда бывал, с своею пословицею, правым. Например, встречаясь с бедным и принужден будучи подать ему милостыню, он также говорил: много, очень много денег, а в этом случае не худо бы было ему подражать соседу Кауцу. Я, любезный Грель, заметив про себя и ту, и другую пословицы, иногда говорю языком господина Кауца, а иногда языком господина Тома.

— Что касается до меня, то я держусь пословицы Тома!

— Сколько же тебе надобно денег?

— Много, очень много, любезный Вольдемар, сто талеров!

— Не забывай же нашего разговора, господин Грель! Занимая у приятеля, тверди пословицу Тома, а помогая приятелю в нужде, говори, как господин Кауц.

*Энгель*

## СЛЕЗЫ

Сколько различия в слезах! Сколько различия в причине их и действии! От чего же дано им одно и то же имя?

Ты тронут — в глазах твоих блистают слезы; ты плачешь, когда говорят с тобою о тебе; когда ты сам описываешь самого себя другим; когда читаешь мне свое сочинение, но я не могу разделять твоего чувства, я никогда не буду участником той нежной любви, которою ты к себе самому наполнен.

Ты плачешь — оскорбленная гордость твоя страдает, и ты принужден скрывать свое негодование, не ожидай же от меня участия: никогда сии слезы гордости, сии слезы самолюбия не могут растрогать моего сердца!

А тебя, для которого дышать и плакать почти одно и то же, тебя, который плачет всегда, везде, с малодушною слабостию — тебя я презираю! Могу ли без отвращения смотреть на лицо твое, орошенное холодными слезами и представляемое тобою в свидетели глубокого твоего чувства?

Какие ж слезы должны меня трогать? Слезы, невольные, почти без ведома, льющиеся по лицу несчастья; слезы, которые никогда не могут быть произведением искусства.

Твои слезы, почтенный отец! Слезы, которые со всеми усилиями нежной души стараешься ты удержать в своем сердце, чтобы не обличить перед людьми твоего милого сына в неблагодарности.

Твои слезы, прелестный младенец, когда безрассудная мать наказывает тебя несправедливо; когда ты сам не знаешь причины своего



страдания; когда напрасно призываешь защитника, не имея надежды, чтобы он тебя услышал.

Твои слезы, нежная, кроткая Эльмина. Слезы, которым никогда бы не орошать лица твоего, столь безмятежно было твое счастье! Слезы, проливаемые о милом, непостоянном супруге. Плачь, Эльмина! Он удалился, а ты стремишься к нему душой! Плачь, Эльмина, все уже переменялось в судьбе твоей!

Но ты, мой друг, моя сопутница, моя супруга<sup>1</sup>, будь спокойна! Клянись не пережить той минуты, в которую первые горестные слезы будут извлечены мною из глаз твоих. Будь спокойна! Мое внимательное, мое неусыпное сердце будет угадывать, будет предупреждать твои печали. Я доказал, что имею искусство улаживать их, искусство, данное мне любовью. Но тогда, когда несчастные мысли омрачат нашу душу, когда оживится в ней воспоминание о бренности бытия и неравенстве его продолжения, тогда не будем уклоняться от чувства, приводящего нас в волнение, дадим свободу сим сладким слезам, ниспосланным с неба, сим непорочным слезам, которые, по тайному чувству души, человек приносит в дар Всевышнему Правителю своего жребия. Он сам таинственным могуществом соединил нас с Собою нежною связью слез: так! В минуту печали и тихой покорности, мы ощущаем себя в присутствии Божества, мы ближе к Нему, и ближе, нежели монарх, сидящий на первом престоле вселенной. Важный предмет для размышления! Мысль утешительная и отрадная!

*Неккер*

## ПРУССКАЯ ВАЗА

(Повесть г-жи Эджеворт)

Известно, что Фридрих II, завоевав Саксонию, перевел многих художников из Дрездена в Берлин<sup>1</sup>, в котором намерен был завести фарфоровую фабрику. Несчастные пленники, навеки разлученные с отечеством, принуждены были работать для славы и выгоды победителя. Между ними находилась София Мансфильд, молодая, прекрасная, одаренная необыкновенными талантами. Судьба хотела того, чтоб Фридриху, в то время, когда он осматривал Мейссенскую мануфактуру<sup>2</sup>, показали две или три фарфоровые вазы превосходной работы, которых рисунок делала София и на которых живопись была ее же произведения. Король, прельстившись вазами, приказал, чтоб София немедленно была отправлена в Берлин. София повиновалась, но в Мейссене оставила она и дарование свое, и прилежность. Должность

ее состояла в том, чтобы писать на фарфоре по собственным своим рисункам, но все рисунки ее были без вкуса и правильности; рука ее, прежде столь искусная, почти не владела кистью: София не имела ни способности, ни желания трудиться; она по несколько часов просиживала над работою, потупив голову, сложивши руки, смотря на кисть, задумчивая, печальная, безмолвная: меланхолическая наружность ее трогала сердце. Главный надзиратель мануфактуры, заметив задумчивость Софии, желал узнать ее причину; София упорно хранила молчание; он требовал, чтобы она работала прилежнее; София по-прежнему проводила большую часть времени в бездействии. Наконец он стал угрожать, что принесет на нее жалобу Фридриху при первом его посещении мануфактуры.

Фридрих, желая, чтобы фарфоровые работы доведены были до возможного совершенства в Берлине, осматривал очень часто новую свою мануфактуру. Однажды посетил ее знатный путешествующий англичанин, сопровождаемый некоторыми из берлинских знакомцев своих, в числе которых находился Август Ланицкий, молодой поляк, воспитанный в Берлинской военной школе, осьмнадцати лет, живой, пламенный, умный, любимый Фридрихом и привязанный к нему до иступления; привязанность, которая, однако, не была ни слепая, ни рабская: Ланицкий удивлялся великим качествам своего государя, но видел и недостатки его, насчет которых нередко выражался с пылким прямодушием молодости. Разговаривая с англичанином о Фридрихе, он превозносил с восторгом великие и славные дела героя, но в то же время позволял себе и не одобрять несправедливых и самовластных поступков деспота.

— Итак, герой Фридрих, — сказал англичанин на ухо Ланицкому, осмотрев некоторые работы фабрикантов, — дает себе иногда волю быть самовластным и притеснителем. Без сомнения, прусский фарфор не уступит со временем саксонскому, но скажи мне, что заменит потерянное счастье для этих бедных невольников, которые, в угождение прихотливому человеку, навеки разлучены с любезным отечеством? Взгляни на бледные, задумчивые лица их; взгляни на эту молодую девушку, — продолжал он, указывая на Софию, — ей, верно, не более семнадцати лет, но она почти увяла, и горесть, написанная на лице ее, конечно, умертвит ее прежде времени. Посмотри, с каким отвращением она работает: таков жребий невольников. Желал бы перенести тебя на время в Англию и указать на наших ремесленников: какая разница! Но они свободны.

— Но разве нельзя свободному человеку быть больным? Обвиняете ли короля своего всякий раз, когда один из подданных его занеможет

лихорадкою или горячкою? Я уверен, что эта девушка больна, и сию же минуту узнаю истину.

Ланицкий подошел к надзирателю и начал расспрашивать его по-немецки о Софии; ответ надзирателя был таков, что Ланицкий, возвратившись к товарищу своему, не захотел продолжать разговора. Пошли осматривать горны. Ланицкий, оставши неприметно от других, приблизился к Софии.

— Что причиною твоей печали, милая? — спросил он. — Надзиратель уверяет меня, что ты, с самого приезда своего в Берлин, не сделала ничего порядочного, а всем известно твое искусство! По крайней мере, эта прекрасная ваза, которую привезли из Мейссена, твоей работы.

— Это правда, милостивый государь, — отвечала София, — по несчастью, король увидел ее! Ах, если бы этого не случилось...

Она вздохнула и замолчала: горестное воспоминание о милом отечестве снова стеснило ее душу.

— Ты грустишь по своей родине, — сказал Ланицкий, — разве нельзя найти счастья в Берлине?

— Ах, могу ли забыть о моем отце, о моей матери! Во мне одной находили они утешение при старости! Могу ли забыть о том, что делало меня счастливою, что было для меня драгоценно, что я потеряла и, может быть, потеряла навеки?

— Ах, милостивый государь, — шепнул один ремесленник, сидевший с Софиею рядом, — она оставила в Саксонии жениха; их разлучили почти накануне свадьбы.

— Для чего же ее жених не последовал за нею в Берлин? — спросил Ланицкий.

— Он здесь, милостивый государь, но он скрывается: Бога ради, не рассказывайте об этом никому, вы будете причиною великого несчастья.

— Но для чего же он скрывается?

— Королю не угодно, чтоб София с ним виделась и за него вышла замуж. Вам известно, милостивый государь, что многие из наших саксонок насильно были выданы за прусаков. София Мансфильд досталась на часть одному солдату, который обещает пожаловаться королю, если по истечении месяца не будет она его женою. А надзиратель каждый день бранит ее за то, что она ленива и слишком задумчива; он также хочет довести это до сведения королевского: бедная девушка сама ищет своей гибели! Мы несколько раз советовали ей перемениться, но все наши увещания напрасны: она ничего не слышит, сидит по целым дням, поджавши руки, потупив голову, смотря на кисть... Жалко ее видеть. Но делать нечего; воля королевская должна быть исполнена.

— Исполнена, — воскликнул Ланицкий, и глаза его засверкали, — и тогда исполнена, когда она безрассудна, когда она противна справедливости, человечеству...

Он опомнился, замолчал, но слова его были замечены предстоявшими. Софиино лицо оживилось; она упала к ногам Ланицкого и воскликнула:

— Милостивый государь, будьте моим защитником! Вы сострадательны; вы, конечно, имеете доступ к королю: осмейтесь сказать ему обо мне одно слово! Избавьте меня от этого ужасного супружества.

Англичанин и другие посетители подошли в это время к Ланицкому; София встала и села опять за свою работу. Ланицкий, тронутый до глубины души, схватил англичанина за руку и потащил его за собою из комнаты.

— Так, мой друг, — воскликнул он с горестию, — Фридрих — тиран; но каким средством спасти его жертву?

— Благоразумием, осторожностью, Ланицкий, — отвечал молодой Альберт, его друг, который с ним вместе осматривал фабрику.

— Благоразумием, осторожностью: средство малодушных и робких; я избираю решимость и мужество.

— Но разве не могут они быть действительны вместе и в одно время?

— Не знаю, и на что мне знать? По крайней мере, не чувствую никакого желания разбирать эту материя по правилам твоей остроумной логики, которую предпочитаешь всему на свете.

— Кроме тебя, однако, Ланицкий! Потому что позволяю тебе бранить мою логику, сколько тебе угодно.

— Впрочем, такое предпочтение весьма естественно: твое оружие — перо, а мое — шпага! Из этого следует, что язык твой не всегда может быть мне понятен.

— Не знаю, Ланицкий! Но уверяю тебя только в том, что я готов служить тебе своим оружием всякий раз, когда потребуют того твоя честь, твоя выгода, твое спокойствие.

Ланицкий посмотрел с нежностью на Альберта и подал ему руку.

— Альберт, — сказал он с чувством, — какое счастье иметь подобного тебе друга! Всякий день матушка говорит мне, что я должен благодарить судьбу за то, что она меня с тобою соединила; просвети же меня своим благоразумием, покажи мне самое верное средство спасти эту несчастную! Не могу равнодушно подумать о ее погибели.

— Напишем от имени Софии просьбу и подадим ее королю: ты знаешь, что он читает все представляемые ему бумаги сам и тотчас дает на них решение.

Просьба в минуту написана и подана Фридриху. Альберт и Ланицкий с великим нетерпением ожидали его приговора.

Фридрих, во время пребывания своего в Потсдаме, очень часто проводил вечера у графини Ланицкой, остроумной, прекрасно воспитанной и лучшего тона женщины. В доме ее собирались самые знатные люди Пруссии и, между прочими, некоторые французские писатели, находившиеся в то время при дворе Фридриха; король, чрезвычайно любезный и приятный в общении, оживлял своим присутствием это общество, где все забывали, что он монарх, и видели в нем обходительного, простого, веселого человека.

Дня через два по представлении Софиной просьбы Фридрих приехал, по обыкновению своему, к графине Ланицкой на вечер. Все разговаривали; король молчал. Вдруг, оборотившись к англичанину, который также находился в то время у графини, он спрашивает:

— Скажите мне, правда ли, что ваш соотечественник Веджевуд сделал прекрасную вазу по образцу Барбериниевой и Портландовой?<sup>3</sup>

— Правда, ваше величество, и подражание не уступает подлиннику. Работа его так превосходна, что многие из наших стихотворцев писали поэмы в похвалу великого художника<sup>4</sup>.

Англичанин прочел некоторые стихи, в самом деле, прекрасные. Фридрих, который сам был стихотворец и хороший критик, слушал его со вниманием и, наконец, воскликнул:

— И я опишу стихами Прусскую вазу!

— Прусскую вазу, ваше величество, — спросил англичанин. — Увижу ли ее прежде моего отъезда из Берлина?

— Увидите, если пробудете здесь еще месяц. Эта ваза еще не существует, но я намерен предложить моим художникам такую награду, которая, вероятно, даст новую силу их дарованию. В Пруссии люди имеют такие же руки, как и в Англии, и в Италии; и почему не быть Прусской вазе, когда есть Веджевудова и Барбериниева? Или я очень худо знаю ремесло короля, или мне будет нетрудно воспламенить все те таланты, которые у меня перед глазами. В моей Берлинской мануфактуре, — продолжал король, устремив проницательный взгляд на Ланицкого, — есть молодая художница, которая чрезвычайно желает возвратиться с женихом своим в Саксонию: не спорю, но все военнопленные обязаны платить за себя победителю выкуп, если не деньгами, то, по крайней мере, своими дарованиями. *Воля королевская должна быть исполнена*; и один только тот, кто имеет рассудок здравый, имеет право решить, *противна ли она правосудию, человечеству* и так далее.

При этом слове Фридрих протерся с графиней и вышел из комнаты. Ланицкий остался в великом замешательстве; все его друзья

вообразили, что он пропал, но, к величайшему их удивлению, Фридрих обошелся с ним на другой день весьма благосклонно и, казалось, совсем не помнил о прошедшем. Ланицкий, чувствительный и добрый характером, был чрезвычайно растроган милостию Фридриха; исполненный удивления, благодарности, раскаяния, он бросился к ногам монарха и со слезами воскликнул:

— Государь, простите, что я в минуту исступления осмелился назвать вас тираном.

— Мой друг, ты еще слишком молод, — отвечал король, — а я не могу уважать мнения ветреных или безумных; на всякий случай, однако, советую тебе заметить, что надобно быть осторожнее и разговорах, когда *тиранов* дворец не далее от тебя, как в пяти милях. Вот мой ответ на челобитную Софии Мансфильд.

Он подал ее Ланицкому; внизу написано было собственною рукою Фридриха следующее:

«Оставляю на волю вступать и не вступать в супружество тому из художников, который через месяц сделает фарфоровую вазу превосходнее всех, находящихся в Берлинской мануфактуре; позволяю ему возвратиться в отечество, если захочет, и даю ему в награду пятьсот ефимков, если согласится остаться в Берлине. Имя его будет написано на вазе, которая, в честь художника, получит наименование *Прусской*».

София, прочитав этот ответ, как будто возродилась: она почувствовала в себе и прежнее дарование, и новую силу действовать. Но ей надлежало победить многих соперников; награда, обещанная Фридрихом, привела все головы в движение: одни ласкали себя надеждою возвратить свободу; некоторых прельщали пятьсот ефимков, и все вообще были воспламеняемы благородным желанием увидеть имя свое на *Прусской вазе*. Но все сии побудительные причины были ничто в сравнении с теми чувствами, которыми животворилось дарование Софии: она восхищала себя надеждою увидеть все милое для ее сердца, надеждою возвратиться в отечество, надеждою соединиться с любезными! Все художники почли за необходимое советоваться с теми людьми, которые признавались лучшими судиями вкуса в Берлине; София показала рисунок свой графине Ланицкой, которой замечания были для нее весьма полезны. Наконец, решительный день наступил: вазы привезены в Сан-Суси и выставлены по приказанию короля в картинной галерее<sup>5</sup>. Фридрих, кончив заниматься государственными делами, приходит в галерею со множеством чиновников, в числе которых находился и Ланицкий; долго в молчании рассматривает вазы, наконец, указавши на одну, говорит: вот *Пруская ваза*.

— Это Соф:ина, — воскликнул Ланицкий и опротяю побежал из галереи, желая первый обрадовать любезную художницу, которая в то время находилась в доме его матери вместе со своим женихом и в страшном беспокойстве ожидала решения своей участи. Пламенные, восхищенные взоры Ланицкого издали еще возвестили ей счастье. Задыхаясь от усталости, вбежал он в комнату графини, сложил руки любовников и мог только произнести одно слово: «Свобода, вы счастливы!»

Король приказал, чтоб София на другой же день вышла замуж за своего жениха и тотчас поехала в Саксонию. Счастливая чета просталась уже с графинею и сыном ее, как вдруг множество голосов послышалось в передних комнатах; на лестнице сделался страшный стук, как будто происходила ссора между служителями дома и другими людьми, которые хотели ворваться в него насильно. Ланицкий вышел, желая узнать причину шума. Сени наполнены были солдатами; офицер всходил на лестницу.

— Вы ли молодой граф Ланицкий? — спросил он, приближаясь с учтивостию к графу.

— Я, милостивый государь! Что вам угодно, и для чего беспокоите матушку таким шумным приходом?

— Извините; я исполняю повеление короля. Не здесь ли, позвольте спросить, София Мансфильд?

— Здесь, но какое имеете до нее дело?

— Я должен отправить ее сию же минуту в Саксонию, а вас, государь мой, арестовать. Прошу покорно отдать мне вашу шпагу.

Ланицкий изумился, не постигая, каким преступлением навлек на себя королевский гнев. Ничто не было известно офицеру; он только имел приказание отправить Софию в Мейссен, а Ланицкого немедленно отвезти в крепость Шпандау<sup>6</sup>, государственную темницу.

— Хочу, непременно хочу узнать прежде свое преступление, — повторял Ланицкий, будучи вне себя от досады, но присутствие матери укротило его пылкость: он отдал свою шпагу.

— Август, — сказала графиня, смотря на него с нежною доверенностию, — ты невинен, в этом не сомневаюсь; правосудие короля успокоивает мое сердце.

Их разлучили.

На другой день, рано поутру, графиня едет в Потсдам. Короля еще не было во дворце, он учил гвардию. Часа через полтора возвращается, и первый человек, встретивший его на крыльце, была графиня Ланицкая. Он подошел к ней с обыкновенною своею ласкою и сказал:

— Графиня! Я надеюсь, что вы не имеете никакого участия в безрасудном поступке вашего сына, ветреного, неблагодарного, дерзкого...

— Государь, мой сын мог быть и ветрен, и дерзок, и безрассуден, но он имеет доброе сердце; он искренно привязан к вашему величеству; он живо чувствует те милости, которыми вы его осыпали, и никогда не может быть неблагодарным.

— На это не скажу вам ни слова, но прошу вас нынче ввечеру приехать ко мне в Сан-Суси; буду ожидать вас в картинной моей галерее: там узнаете причину Августова заключения в Шпандау.

В восемь часов вечера графиня приезжает в Сан-Суси. Короля еще не было в галерее. Графиня около часа прохаживалась в ужасном волнении взад и вперед по комнате; наконец слышит голос и узнает походку короля; отворяется дверь: Фридрих входит к графине. Она остановилась; несколько минут ждала, чтобы король начал говорить; несколько минут не сводил он с нее пронизательного своего взора; наконец сказал:

— Вижу, графиня, что вам ничто не известно. Взгляните на эту вазу, на это *славное* произведение Софии Мансфильд. Я знаю, что вам ее показывали прежде, нежели принесли в галерею; скажите, кто делал на ней надпись?

— Мой сын, ваше величество.

— Точно ли сын ваш, графиня?

— Точно, государь! София знала, что он имеет прекрасный почерк, и просила, чтобы он вместо нее сделал надпись на этой вазе.

— Не правда ли, что она заключает в себе самый лестный для меня панегирик?

— Какие бы ни были преступления моего сына, государь, но вы, конечно, не причтете к ним подлой лести, которая всегда противна была сердцу несчастного моего Августа. Вашему величеству известно, что он недавно своею безрассудною неосторожностью едва не навлек на себя вашей немилости, но великодушное прощение вашего величества несказанно тронуло душу его; в жару благодарности своей написал он ту похвалу, которую несправедливо было бы почитать гнусною лестию, а еще несправедливее наказывать за нее так строго.

— Вы говорите, графиня, как нежная мать, но вы в заблуждении! Кто вам сказал, что сын ваш арестован за несколько лестных слов. Поверьте, я умею равно презирать и лести, и ругательство. Но в поступке вашего сына вижу такую черную неблагодарность, которая противна моему сердцу, и за которую наказать его почитаю необходимым долгом. Прошу вас меня выслушать: я хотел подарить эту вазу Вольтеру<sup>7</sup>; тот человек, которому поручено было ее уложить в ящик, показал мне надпись, сделанную вашим сыном: она польстила моему самолюбию, тем более что я уверен был в прямотушии графа Ланицкого. Но тот же самый человек первый заметил, к общему нашему удивлению, что



синяя краска, на которой сделана была надпись, отпала, и что под нею скрывалось еще несколько слов. Прежде написано было: *во славу Фридриха великого*; но когда мы стерли краску, то ясно увидели слово *тирана*. Итак, милостивая государыня, вместо похвалы, которой, по уверению вашему, удостоил меня граф Ланицкий, вы можете прочесть на вазе лестную надпись: *во славу Фридриха великого тирана*. Я не имею нужды вам делать на это своих замечаний; Фридрих, великий тиран, может быть другом матери, наказывая строго неблагодарного и дерзкого ее сына. Простите; завтра ввечеру увидимся.

Графиня не отвечала ни слова; сердце уверяло ее в невинности Августа, но в ту же минуту представились ей все прежние безрассудные поступки молодого человека, которые делали вероятным его настоящее преступление и оправдывали строгость короля. Возвратившись домой, нашла она у себя Альберта, который нетерпеливо желал узнать, по какой причине Ланицкий взят под стражу. Он изумился, когда графиня сказала ему о преступлении Августа.

— Не может быть, — воскликнул он твердым голосом, и, не теряя ни минуты, побежал к тому человеку, которому поручено было укладывать вазу. Расспросив его обо всем, что было необходимо знать, отправился он на фабрику, словом, не забыл ни одной подробности, нужной для полного сведения об этом деле. На другой день ввечеру приезжает он к графине, совершенно уверенный в невинности сына ее.

И в этот вечер обыкновенное общество графини собралось у нее в доме; все сидели вокруг печальной матери и разговаривали о приключении Ланицкого.

— Какое счастье, — воскликнул англичанин, — быть гражданином такой земли, в которой никто не может быть лишен свободы, не узнавши прежде своей вины, где судят тебя в присутствии всего народа, где можно самому избирать своих судей, не опасаясь ни притеснения, ни пристрастия!..

Англичанин продолжал говорить с восторгом о законах своей отчизны; Фридрих был уже в комнате, и никто его не замечал...

— Ах, — воскликнула графиня, — как счастлив бы был мой сын, когда бы имел он те выгоды, которыми пользуется невинный, судимый своими ровными.

— А я был бы счастливее, — воскликнул Альберт, — когда бы мне позволили быть адвокатом Августа!

— Позволяю, — сказал король, которого неожиданное присутствие всех привело и изумление, — но позволяю с условием, молодой человек: ты будешь вместе с своим другом заключен на шесть лет в Шпандау, если не найдешь средства доказать мне, что он невинен. Позволяю

Ланицкому самому избрать судей своих, и если число двенадцать почитается золотым, священным, божественным, то позволяю ему назначить их двенадцать и даже назвать *присяжными*. Я выберу для себя адвоката; а вы, Альберт, будете адвокатом Августа. Принимаете ли вы мои условия?

— С истинною благодарностию, ваше величество, но смею просить у вас позволения увидеться с Ланицким.

— Это новое, но соглашаюсь и на то. Вы можете провести два часа наедине с графом и сию же минуту получите от меня повеление к губернатору крепости. Но знайте, что я не переменю своего намерения, если, паче чаяния, переговорив с преступником, потеряете охоту быть его адвокатом.

Альберт объявил, что он согласен на все. Графиня Ланицкая и другие, находившиеся в комнате, превозносили до небес правосудие Фридриха. Альберт, увидевшись с молодым графом в Шпандау, нашел его спокойным и еще более уверился в совершенной невинности своего друга. Но Ланицкий трепетал за Альберта.

— Великодушный друг, — говорил он, — как мог ты согласиться на хитрые условия короля? Я невинен, клянусь Богом, но можешь ли доказать мою невинность? Ах, тайное предчувствие уверяет меня, что ты приносишь себя на жертву дружбе, что будешь делить со мною несчастную мою участь!

Альберт не отвечал ни слова, пожал Ланицкому руку и полетел в Берлин.

В тот день, в который назначено было судить Ланицкого, множество людей обоего пола и разного звания собралось в огромной дворцовой зале, очищенной для заседания присяжных. Посредине приготовили возвышенное место для судьи, по сторонам сделаны были две загородки: за одною находились присяжные, за другою зрители; адвокаты и свидетели сидели за двумя столами: королевские на правой стороне, а Ланицкого на левой.

Вошла графиня и заняла последнее место в конце галереи; все обратили на нее глаза; все с почтительным сожалением смотрели на горестную мать; глубокое безмолвие царствовало в собрании. Вдруг главная дверь растворяется с шумом: входит король, окруженный придворными и генералами, садится, и судья громким голосом призывает обвиняемого. Ланицкий, сопровождаемый двумя офицерами гвардии, без шпаги и шляпы, является у загородки; на лице его написано спокойствие. Он осматривается, видит короля и наклоняет перед ним голову с благородною важностию; видит свою мать, и взоры его воспламеняются; наконец, видит Альберта, своего друга, своего вели-

кодушного, неустрашимого защитника, Альберта, спокойно стоящего перед столом по левую сторону и как будто заранее уверенного в своем успехе, и слезы благодарности стремятся из глаз его: он чувствует в сердце прискорбное, неизъяснимо сладкое восхищение! Судья встает; на лицах зрителей изображается любопытство; все умолкают и готовятся слушать.

— Милостивые государи, — сказал судья, обратясь к присяжным, — вы призваны сюда его величеством для того, чтобы оправдать или обвинить графа Ланицкого, подозреваемого в оскорблении величества. Граф Варендорф наименован адвокатом государя; барон Альберт Альтенберг есть адвокат графа Ланицкого: он вызвался добровольно защищать обвиняемого своего друга. Выслушав мнения и доказательства обоих адвокатов, вы, милостивые государи, должны произнести приговор свой, согласно с совестью и убеждением вашего рассудка. Старший между вами сообщит мне ваше мнение в одном только слове: *невинен* или *виновен*; оно решит судьбу обвиняемого. Если произнесете слово *невинен*, то ему немедленно возвращена будет свобода; минутное заключение не должно оставить никакого на чести его пятна; государь обязуется загладить оскорбление, невольно ему нанесенное. Но словом *виновен* осудите вы преступника на шестилетнее заключение в крепость *Шпандау*. Предупреждаю барона Альтенберга, что и он равномерно лишен будет свободы, если не найдет способа доказать невинности графа Ланицкого: с этим только условием дано ему позволение быть адвокатом своего друга.

Судья замолчал, и граф Варендорф, королевский адвокат, приблизясь к судейскому столу, начал говорить следующее:

— Милостивые государи, с горестию приступаю к исполнению важного возложенного на меня долга. Обязанность обвинителя ни в какое время не может быть обязанностью приятною, но она и тягостна, и печальна, когда, имев чувствительное и нежное сердце, принуждены бываем называть преступником такого человека, каков молодой граф Ланицкий, знатный именем, уважаемый, любимый в обществе, имеющий образованный и острый ум, благородное сердце и качества любезные. Знаю, что буду обвинять графа Ланицкого в присутствии его друзей, в присутствии почтенной его матери, украшенной всеми добродетелями женского пола, и в эту минуту еще более для всех нас драгоценной по тому ужасному несчастью, которое постигнет ее в лице милого сына.

Не сомневаюсь также и в том, чтобы вы не чувствовали искреннего почтения к молодому барону Альтенбергу, который, не ужасаясь долговременного заточения, готовится оправдывать преступника.

Я уважаю необыкновенные качества барона Альберта, удивляюсь его неустрашимости, но сожалею, что первое дело, в котором решился он взять сторону обвиняемого, представляет великодушным усилиям его столь мало успеха. Уверен, однако, что сладкое чувство исполнения должности поддержит его в сей трудной и, смею сказать, неравной борьбе: что может быть приятнее имени защитника, и защитника своих друзей, хотя они и виновны? И я, милостивые государи, представляюсь перед глаза ваши как беспристрастный защитник друга. Так, Фридрих великий позволяет мне именоваться его другом. Превосходя во всем других государей, он презирает низкую лесть, провозглашающую его Богом, и ищет искренности в сердце друзей, которые напоминают ему, что он человек. Счастливы повинующиеся державе его и защищаемые его законами; но счастливее несравненно те, которые замечены его взором, которые удостоены ею дружбы! Увы, молодой граф Ланицкий добровольно лишил себя счастья быть избранным другом великого Фридриха! Без сомнения, милостивые государи, вам известно, какое уважение оказывает его величество графине Ланицкой, матери обвиняемого, уважение, которое нимало не уменьшилось от странных поступков сына. Август Ланицкий, родом поляк, получил воспитание в Потсдамской школе вместе с благороднейшими людьми Пруссии. Кто мог бы вообразить, чтобы воспитанник таких учителей и сын такой матери не имел отлично высоких чувств, не был отличен в своих поступках! И более, нежели другие, надеялся на него Фридрих великий, который умел заметить в нем качества необыкновенные и всегда простирал к нему отечески свою руку. Но нужно ли доказывать, что обвиняемый имеет характер слишком пылкий? Давно ли великодушный монарх принужден был извинять его дерзость и пренебречь оскорбление, молодым человеком ему нанесенное? Но чем же граф Ланицкий заплатил великодушному своему государю за снисходительную кротость его? Неблагодарностию и предательством, тем более ненавистными, что они действовали скрытно. Вы знаете, какую необузданную свободу пользуют в Пруссии дерзкие сатирики, любимые чернью, которую забавляют они своими насмешками насчет ее правителей: взгляните на стены замка Сан-Суси, покрытые ругательными пасквилями безымянных авторов; производят ли они какое-нибудь чувство негодования в душе великого нашего монарха? Не трудно было бы открыть дерзновенных ругателей... Фридрих отмщает им презрением! Но если ругательства людей неизвестных и низких не могут быть для него ощутительны, то черная неблагодарность друзей, близких к его сердцу, действует на него тем сильнее. Возможно ли оставить ее без наказания, возможно ли пренебречь оскорбление,

нанесенное таким человеком, который за несколько минут лежал у ног прогневанного им государя, исполненный раскаяния, обливаясь слезами любви, в жару благодарности, удивления, восторга? Таков поступок графа Ланицкого! Представляю вам мои доказательства и моих свидетелей.

Граф Варендорф указал на Прусскую вазу и на двоих свидетелей: надзирателя мануфактуры и старого жида. Присяжные прочли на вазе слово *тиран*, сличили его с другими словами надписи и нашли в почерке совершенное сходство. Сильное негодование изобразилось на лицах слушателей. Граф Варендорф велел приблизиться жиду. Наружность его имела в себе что-то необыкновенное и отвратительное; он был чрезвычайно сух и прям; голова его была неподвижна, но глаза бегали и сверкали; казалось, что этот человек всегда имел в душе беспокойство, о чем-то заботился, хотел все видеть, досадовал, что не имел назади глаз. Вид его был смелый, но он оглядывался по сторонам, когда начинал говорить, и голос его, чрезвычайно неприятный и охрипый, дрожал; этот человек назывался Саломоном. Поклявшись Талмудом, что он не лжесвидетель, он начал отвечать следующим образом на вопросы графа Варендорфа:

*Граф.* Знаешь ли эту вазу?

*Саломон.* Знаю.

*Граф.* Где и когда ты ее видел? Объяви присяжным все, что тебе в отношении к ней известно!

*Саломон.* Я видел ее в первый раз в Сан-Суси первого числа сего месяца, в одиннадцатом или двенадцатом часу вечера, не могу точно назначить времени.

*Граф.* Что нужды: продолжай! По какому случаю заметил ты эту вазу? Подумай хорошенько; не забудь ни одного обстоятельства: всего важнее, чтоб господа присяжные знали настоящее положение дела!

*Саломон.* Я получил эту вазу из рук его величества, которому угодно было, чтобы я, увернувши ее, положил в ящик для отсылки во Францию; будучи охотник до редких вещей, я начал внимательно ее рассматривать. Вот платок, которым я стирал с нее пыль. Заметив надпись: *во славу Фридриха великого*, написанную белую краскою по синему полю, и желая рассмотреть ее лучше, я начал обтирать ее мокрым платком, но, к удивлению своему, заметил, что синяя краска под самую надпись стиралась и приставала к платку; я начал тереть сильнее, оттер всю краску и ясно увидел слово *тиран*. «О Авраам», — воскликнул я от удивления. «Что сделалось с тобою, Саломон, — спросил его величество, который в эту минуту стоял позади меня. — Ты, верно, устал и хочешь пригласить отца Авраама к себе на помощь?» Я не мог отвечать ни слова;

удивление сковало мой язык; глаза мои были неподвижно устремлены на слово *тиран*; я не позволял себе им верить и беспрестанно перечитывал надпись: *во славу Фридриха великого тирана*. Волосы становились на голове моей дыбом. Его величество, не дождавшись от меня ответа, взял из рук моих вазу, прочитал надпись и вышел из галереи, не сказавши ни слова. Более ничего не могу объявить почтенному собранию.

Саломон поклонился и хотел выйти из залы, с позволения господина Варендорфа, но Альберт требовал, чтобы он остался, желая сделать ему допрос, в свою очередь. Саломон сел на скамейку. Кликнули другого свидетеля, главного смотрителя над королевскою фабрикою, и граф Варендорф начал допрашивать его следующим образом:

*Граф*. Видел ли ты надпись, сделанную на Прусской вазе?

*Надзиратель*. Видел.

*Граф*, Можешь ли ее вспомнить?

*Надзиратель*. Могу: *во славу Фридриха великого тирана*.

*Граф*. Известно ли тебе, кто сделал эту надпись?

*Надзиратель*. Думаю, что граф Ланицкий.

*Граф*. Можешь ли сказать, почему так думаешь?

*Надзиратель*. София Мансфильд, та самая художница, которая расписывала вазу, при мне просила графа Ланицкого, имеющего прекрасный почерк, сделать вместо нее надпись на вазе, которая не была еще обожжена. Молодой граф исполнил требование Софии; я сам видел, как он взял в руки вазу, как написал на ней надпись, как отдал ее тому из мастеровых, которому поручено было поставить ее в горн; мастеровой немедленно вынес ее в ближнюю залу и, вероятно, в ту же минуту поставил на огонь.

*Граф*. Но видел ли ты вазу в ту минуту, как вынули ее из горна, и заметил ли слово *тиран*?

*Надзиратель*. Я видел ее спустя несколько часов после, читал надпись; но слово *тиран*, закрытое синею краскою, не было еще тогда приметно; я сам отвозил ее в Сан-Суси. Дня через два государь призывал меня к себе, показывал мне надпись, но я не мог и теперь не могу сказать, каким образом явилось в ней слово *тиран*: оно не могло быть приписано после обожжения вазы, а разве только прикрыто синею краскою. Я думаю, что оно написано графом Ланицким, и вот причины, заставляющие меня так думать: ему поручила София Мансфильд сделать вместо нее надпись; слово *тиран* написано таким же точно почерком, как и другие; граф Ланицкий при мне, в другом случае, называл государя тираном.

Надзиратель перестал говорить; Альберт просил и его также не выходить из залы. Оставалось допросить еще двух свидетелей: того

ремесленника, которому граф Ланицкий отдал вазу, сделавши на ней надпись, и того, который должен был поставить ее в горн. Один объявил, что он, по требованию обвиняемого, тотчас отнес вазу в ближнюю залу, в которой находятся горны, и что в это время ни один человек к ней не прикасался; другой утверждал, что он поставил вазу в горн вместе со многими другими, и что он не отлучался от огня ни на минуту. Сим кончились допросы графа Варендорфа, который сказал, что не считает за нужное подтверждать словами доказательства явные; что он желает искренно видеть графа Ланицкого оправданным; что сам великий Фридрих почтет торжеством приятным, если преступнику, им обвиняемому и прежде ему любезному, возвращена будет невинность, а с нею и дружба его монарха.

Альберт, скромный, но в то же время мужественный и твердый, выступил на средину залы. Граф Ланицкий, который сидел спокойно во все продолжение Варендорфова допроса, побледнел, когда увидел Альберта, идущего опровергать его обвинителей. Графиня, бледная как смерть, неподвижно смотрела на Альберта: вся душа ее заключена была во взорах. Страшная тишина царствовала в собрании; казалось, что нежное чувство матери овладело сердцами зрителей: все втайне желали успеха Альберту, неустрашимому, великодушному Альберту, который один имел наружность спокойную и был заранее уверен в своей победе.

Не хочу, милостивые государи, — сказал Альберт, — растрогать чувствительности вашей изображением сильного моего чувства, которое должен, напротив, усмирить, ибо, для убеждения вас в невинности моего друга, имею нужду в спокойствии духа, в холодной прозорливости рассудка. Убедить вас: единственная моя цель. Не хочу прибегать к украшениям красноречия, изобильно рассыпаемым перед судилищем законов и часто ослепительным для беспристрастия судей; средства сии не нужны для оправдания невинности, унижительны для ее защитника, оскорбительны для судии правосудного. Так думая, милостивые государи, не позволю себе сказать ни слова в похвалу великодушного и правосудного нашего монарха. Похвала в устах предателя или в устах того, кто защищает подозреваемого в предательстве, не может быть достойною ни государя великого, ни славного и благородного народа. Если уверитесь, милостивые государи, что имя предателя неприлично обвиняемому другу моему, то от него зависит, не словами, но делом доказать благодарность свою монарху, который позволил ему избрать судей своих между своими ровными. Я твердо надеюсь, что судьи его могут быть убеждены одною только истиною, не украшенною, но очевидною. Скажу им, что обвинители графа Ланицкого не

предоставили ни одного *положительного* доказательства; ни один из свидетелей не говорил и не может сказать, чтобы он видел, как обвиняемый писал слово *тиран*. Первый из них, жид Саломон, объявил нам только то, в чем мы, и без его свидетельства, сами собою могли бы увериться, что в надписи заключается слово *тиран*. Он первый стер синюю краску своим платком: это такое обстоятельство, на которое не нужно обращать внимания; оно правдоподобно и, следственно, может быть принято за истинное. Но граф Варендорф и Саломон, при всей своей пронизательности, не доказали нам, чтобы существовала тесная, необходимая связь между платком, краскою и мнимым преступлением графа Ланицкого. Жида Саломона сменил надзиратель фабрики. Сначала я опасался, чтобы слова его, более достойные уважения, не произвели, наконец, сей нужной, недостающей обстоятельствам нашего дела связи, без которой не может быть очевидно преступление обвиняемого. Но этот почтенный человек объявил нам только то, что он слышал, как одна женщина, имеющая дурной почерк, просила графа Ланицкого сделать вместо нее надпись на вазе; что он видел, как обвиняемый писал, но что именно писал, о том ни слова, хотя вероятно, что слово *тиран* им написано и, вероятно, потому, что никто, кроме него (так думает, но крайней мере, свидетель) не прикасался к вазе; что надпись написана вся одним почерком, и что, наконец, обвиняемый, при другом случае, осмелился наименовать государя своего тираном. Повторяю собственные выражения свидетеля для того, чтобы доказать вам, милостивые государи, что ни одно из них не может быть принято за обвинение положительное. Желая уверить вас, что слово *тиран* не могло быть никем иным написано, как молодым графом Ланицким, представляют вам еще двух свидетелей: ремесленника, отнесшего вазу в горн, и ее обжигателя. Первый утвердительно сказал, что при переносе вазы из мастерской в ту залу, в которой находятся горны, не трогал ее никто; другой утверждал клятвенно, что ни один человек не приближался к вазе с той самой минуты, в которую она вынута была из горна, но сей последний сказывал ли, что не было никакого промежутка между тою минутою, в которую получена им ваза, и тою, в которую она поставлена в горн для обожжения; велик ли был этот промежуток, и где между тем находилась ваза? Спрашиваю: осмелится ли свидетель утверждать, что в это время никто не прикасался или не мог к ней прикоснуться? Короче, милостивые государи, вы видите ясно, что преступление друга моего не подтверждается никаким *положительным* доказательством.

Вам известно, милостивые государи, что в случае недостатка доказательств явных и положительных, надлежит прибегать к *возможно-*



стям. Все те, которые представлены вам почтенным адвокатом его величества в подтверждение вины моего друга, признаны от вас за убедительные; прошу сравнить их с теми, которые представляю я в доказательство, что граф Ланицкий не может быть виновен. Я хочу говорить о его воспитании, характере, уме и сердце: не должно ли предположить, что он или закоренелый злодей, или бессмысленный глупец, чтобы признать его способным к такому низкому и вместе безрассудному поступку? Он имеет чрезвычайно живой характер; искренность его бывает слишком часто неосторожна, и в минуту сильного движения он может позволить себе то, в чем, вероятно, сам будет раскаиваться через минуту: в доказательство представляю вам прежний проступок его, проступок, забытый столь милостиво монархом, им оскорбленным. Можно ли вообразить, чтобы один и тот же человек был в одно время и столь прямодушен и столь коварен? И кто из вас, милостивые государи, поверит, чтобы снисходительность великодушного Фридриха не произвела никакого впечатления на душе моего друга? Такая нечувствительность несовместна с доброю и пылкою душою... А друг мой истинно добр и чувствителен! Обратите глаза на бледную, трепещущую мать его, на горестных его друзей: беспокойные лица и слезы их доказывают ли, что обвиненный имеет испорченную душу? Но, милостивые государи, на минуту похитим у Ланицкого его сердце... Кто из нас отважится утверждать, что или он имеет ограниченный ум, или сумасшедший. Вы слышали уже, что Фридрих великий заметил в нем дарования необыкновенные и ум проницательный; не успел он вступить на поприще честей, как сделался уже близок к своему государю: одним только отличным поведением сохранил бы он любовь монарха, повелителя своего и друга; чему же, напротив, приносит он на жертву и надежды свои, и будущую славу, и счастье своей матери? Непостижимому, безрассудному удовольствию написать одно слово! Милостивые государи! Или надобно подумать, что граф Ланицкий был увлечен сумасбродным, непобедимым желанием написать слово *тиран*; или никак не может быть понятно, для чего и с каким намерением изобразил он его на вазе! Для того ли, чтобы открыть французам, что Фридрих тиран? Но человек самого ограниченного ума нашел бы множество способов действительнейших, вернейших и, без сомнения, не выбрал бы именно того, который в минуту мог обнаружить перед глазами самого монарха его ненавистное предательство! Итак, утверждаю, что нет никакой вероятности, чтоб граф Ланицкий, в его положении, с его умом и сердцем, сделал такой поступок, который всяким беспристрастным судьей должен быть признан за *невозможный морально*; и я не имел никакого иного убеждения в невин-

ности друга моего, когда решился его защищать, отдавши в залог собственную мою свободу. Но Бог, хранитель невинности, наконец, просветил совершенно мой рассудок! Я уверен, я утверждаю, что друг мой обвинен несправедливо. Позвольте представить доказательства мои на ваше рассуждение.

Альберт кликнул свидетелей. Первый из них, ремесленник, которому Ланицкий поручил отнести вазу в ту залу, где находились горны, объявил, что он не отдавал ее обжигателю из рук в руки, а, напротив, поставил вместе с другими фарфоровыми вещами на доску, лежащую на столе у самого горна.

*Альберт.* Уверен ли ты, что ваза поставлена была точно на доску, а не на стол?

*Свидетель.* Уверен. Это обстоятельство памятнее для меня оттого, что я едва было не уронил вазы на пол. Оплешность моя сделала меня осторожнее: я взял вазу в обе руки и бережно поставил ее на доску, на доску, а не на стол!

*Альберт.* Довольно. Более ничего не желаю от тебя слышать.

Кликнули другого свидетеля. То был смотритель над горнами. Альберт спросил у него:

— Видел ли ты этого человека, который утверждает, что ваза была поставлена им на доску, лежавшую на столе, близ самого твоего горна? И уверен ли ты, что он точно поставил ее не на стол, а на доску?

*Свидетель.* Видел и уверен.

*Альберт.* Можешь ли сказать, почему ты так в этом уверен?

*Свидетель.* Я помню, что этот человек, ставя на доску свою вазу, воскликнул: «Ах, Фриц, я едва не разбил этой проклятой вазы вдребезги! Вот она, в целости; прими ее от меня руками». Я оглянулся и увидел вазу, стоящую на доске.

*Альберт.* Не можешь ли вспомнить каких-нибудь других обстоятельств?

*Свидетель.* Помню только то, что он сказал мне: «Поставь эту вазу в горн»; на что я ему отвечал: «Еще не время; печь не совсем разгорелась: я поставлю ее вместе с другими».

*Альберт.* Итак, она не тотчас по принесении была поставлена в горн?

*Свидетель.* Нет. Я сказал уже вам, что печь не довольно была разожжена.

*Альберт.* Сколько же времени стояла она на столе?

*Свидетель.* Не знаю, не могу определить этого точно — десять, двадцать или тридцать минут, но не более.

*Альберт.* Очень хорошо. Но в эти двадцать или тридцать минут ты, без сомнения, не спускал с нее глаз?

*Свидетель.* Напротив, милостивый государь, я не имел никакой нужды на нее смотреть: она стояла у места.

Альберт. Но помнишь ли, где она стояла в ту минуту, как ты пришел за нею для помещения ее в горн?

*Свидетель.* Помню! Она стояла не на доске уже, а на столе.

Король сделал выразительное движение рукою; все общество обратило на него глаза. Альберт продолжал:

— Не обманываешься ли? Подумай!

*Свидетель.* Не обманываюсь, милостивый государь! Ваза была на столе, а не на доске, это верно.

*Альберт.* Теперь скажи мне, входил ли кто-нибудь в твою горницу в то время, как ваза стояла еще на доске?

*Свидетель.* Не думаю. Тогда был час обеда. Работники разошлись; я один остался подле печи для надзирания за огнем.

*Альберт.* Но кто же поставил вазу на стол?

*Свидетель.* Не знаю; только не я!

*Альберт.* Следовательно, кто-нибудь другой? Подумай хорошенько.

*Свидетель.* Многие могли входить в горницу и выходить из нее, но я не заметил ни одного человека, будучи занят своим огнем... Но погодите... кажется... так точно! Жид Саломон приходил спрашивать у меня, куда девалась София Мансфильд. Он брал в руки вазу, и он-то, вероятно, переставил ее с доски на стол. Он что-то говорил о надписи, о стихах... не могу именно вспомнить, о чем! Я худо его слушал, будучи занят, как я уже сказывал, своим горном.

*Альберт.* Довольно. Поди.

Третий свидетель был жених Софии Мансфильд, задержанный по приказанию Фридриха в Берлине и разлученный с своею невестою при самом алтаре Божьем. Он объявил, что виделся с Софиею в самый тот день, в который, отделивши свою вазу, она отдала ее обжигать на фабрику. София сожалела, что он, пришедши поздно, не мог видеть ее работы. «Но я, — продолжал свидетель, — будучи в великом нетерпении и надеясь увидеть вазу прежде, нежели она поставлена будет в печь, побежал на фабрику. У самого входа встретился со мною жид Саломон, который, сказав мне, что ваза уже в печи, взял меня под руку, почти насильно повел с собою и начал говорить о тех деньгах, которые София поручила ему переслать в Саксонию».

*Альберт.* Какие это деньги? Разве София занимала их у жида Саломона!

*Свидетель.* Напротив, Саломон должен был Софии за некоторые картинки, писанные ею на стекле по его заказу. Вследствие их дого-

вора, жид Саломон обязан был пересылать эти деньги в Саксонию к родственникам Софии, которых она содержала своею работою.

*Альберт.* Точно ли эти деньги доставлены были родственникам Софии?

*Свидетель.* Нет. Я третьего дня получил от невесты моей письмо, в котором она уведомляет меня, что Саломон ее обманул, и требует, чтобы я принудил его заплатить ей деньги.

*Альберт.* Следовательно, жид Саломон имеет не весьма строгие правила честности? Но прежде не говорил ли он чего-нибудь с тобою о возвращении Софии в Саксонию?

*Свидетель.* Говорил, и не однажды. Из всех его разговоров могу заключить только то, что он весьма желал оставить ее в Берлине, дабы воспользоваться ее дарованием. За неделю перед тем, как его величество наименовал Софиину вазу *Прусскою*, я встретился с ним на улице и сообщил ему надежду свою скоро возвратиться с моею невестою в Саксонию; он нахмурился и отвечал: «Это еще не верно».

*Альберт.* Не говорил ли он когда-нибудь о графе Ланицком?

*Свидетель.* Однажды, в тот самый день, в который граф посещал вместе с вами фарфоровую мануфактуру. Я спросил у Саломона: «Кто этот прекрасный молодой человек в гусарском мундире, который так жив в разговоре и имеет такие блестящие глаза?» Он нахмурился: «Это граф Ланицкий, — отвечал он мне, — ветреная, насмешливая повеса! Он не дает мне покою своими колкостями, и я, признаться, ненавижу его от всего сердца».

*Альберт.* Я доволен. Ты можешь нас оставить.

Свидетель, представленный к допросу после жениха Софии Мансфильд, был прусский купец, торговавший в Берлине красками. Он объявил, что жид Саломон покупал у него синюю краску, которой несколько цветов пробовал на клочке бумаги, вынутой им из кармана и забытой в лавке; что, наконец, он взял небольшое количество темного цвета краски. Свидетель представил ее образец. Альберт продолжал:

— Цела ли у тебя бумажка?

*Свидетель.* Вот она. Саломон оставил ее на моем столе; я побоялся ее бросить, нашедши на ней арифметическую выкладку и думая, что она может понадобиться Саломону. Но Саломон не возвращался. Я позабыл уже и об нем, и о бумажке его, когда вы, милостивый государь, дней восемь тому назад, пожаловали ко мне в лавку, спрашивали, какую краску брал у меня жид Саломон, и, увидя лоскуток бумажки, им забытый, приказали сберечь ее, запретив мне говорить о вашем посещении до самого того дня, в который назначено было судить графа Ланицкого. Ваше приказание исполнено, и вот бумажка.

Альберт представил ее присяжным. Нашли, что синяя краска, которую покупал и пробовал на этом отрывке жид Саломон, имела одинакий цвет с тою, которою покрыта была ваза. Альберт приказал Саломону показать платок; увидели, что краска, прилипнувшая к платку, была такая же точно, какою была натерта бумажка и выкрашена ваза. Уверясь наконец, что судьи все единодушно признают сходство красок, Альберт просил, чтоб развернули бумажку и прочли написанные на ней слова. Увидели слово *тифан*, около десяти раз повторенное, и не одним почерком, казалось, что кто-то старался подписаться под чужую руку. Одно или два из этих слов были совершенно сходны с словом *тифан*, изображенным на подножии вазы. Альберт, представив все сии доказательства присяжным, сказал, наконец, что он не будет утомлять внимания их новыми убеждениями; что дело объясняется само собою; что невинность друга его не может подвержена быть сомнению, и что, наконец, представляется беспристрастию судей решить, кто преступник: пылкий ли граф Ланицкий или благоразумный и осторожный жид Саломон? Альберт возвратился на свое место. Судья в нескольких словах представил присяжным сущность всего дела и столь ясно, что все они в один голос воскликнули: *невинен!* Громкие рукоплескания зашумели в зале, но Фридрих встал с своего места, и все утихло.

— Я подтверждаю приговор присяжных, — сказал он. — Граф Ланицкий, дайте мне вашу руку! Я поступил слишком поспешно, отнявши у вас шпагу; вот вам моя: владейте ею, а вашу беру себе.

Фридрих снял с себя шпагу и подал ее молодому графу.

— Благодарю вас, — сказал он Альберту, простирая к нему руки, — вы не имеете нужды в шпаге, чтоб быть защитником своих друзей, но я желаю, чтобы вы вступили в мою службу и были мне полезны вашим пером. Верьте, барон Альтенберг, что Фридрих умеет ценить людей благородных и награждать полезные таланты. А ты, проклятый еврей, — воскликнул он, бросив на Саломона грозный взгляд, — ты стоишь того, чтобы сию же минуту отправить тебя к твоему отцу Аврааму, но я хочу, чтобы и ты принесил какую-нибудь пользу, не имея, однако, способа вредить честным людям: с сего часа определено тебе во всю твою жизнь мести потсдамские улицы, не забывая и той, на которой построен дом графа Ланицкого.

Снова шумные восклицания послышались в зале. Фридрих подвел к графине Ланицкой ее сына. Он подал ей руку и, провожая ее с лестницы, сказал, что будет у нее обедать и пить за здоровье Августа Ланицкого. После обеда учил он гвардию: все заметили, что он имел на себе шпагу молодого графа.

## ГЁТЕ<sup>(\*)</sup>, ИЗОБРАЖЕННЫЙ ЛАФАТЕРОМ

Историку столь же трудно изобразить гений, как и живописцу лицо великого человека, гений есть целое, столь обширное, что умственный взор наш не в силах обнять вдруг разнообразных частей его: раздроби их и каждую замечай отдельно, если желаешь в изображении своем сохранить некоторое сходство. Надобно уловить ту быструю минуту, в которую великий человек открывается перед тобою во всей своей силе и действует всеми необычайными своими средствами — тогда соедини в единый образ частные черты сии, бери свою кисть и пиши.

Гёте... вот человек, которого смело называю великим! Как приятно его рассматривать, когда, оживленный огнем своего гения, он устремляется в высоту полетом быстрым; или когда, спокойный в душе, разливает вокруг себя ясную тишину и безмятежное веселие! Все открыто пронзающему его глазу. В минуту постигает он дальнейшие следствия. Он Ван Дик в великом и Клодовик в частном<sup>1</sup>. Говоря, он повелевает — одним словом возвеличивает тебя или обращает в ничто. При нем суетное самолюбие унижено, а скромное достоинство блистает.

Кто может противиться воле его? Кто может положить ему препятствия? Для прямодушия — Гёте открыт и непритворен; для хитрости — осторожен и непроницаем. Он слушает с покорностью молодых лет, вопрошает с опытностью мудреца, решит как муж, действует как герой. Он одинаков во всех изменениях!

Слова мои не пустое велеречие оратора: кто знал Гёте, тот, верно, удивлялся, не менее меня, чрезвычайности его духа. В нем образованный вкус и тонкое чувство представляются вам чудесно соединенными с силою, твердостью и простодушием. Горе неосторожному его оскорбителю! Гнев его ужасен — гнев его, не будучи ни досадою женщины, ни бешенством исступленного, ни яростию педанта, приводит в трепет безумца, который осмелился воспламенить его, и никогда уже не подумает он вооружиться против великого человека, им оскорбленного.

Не знаю никого столь снисходительного и в то же время столь ужасного, как Гёте. Самолюбивый, желающий быть первым, желающий удивлять своим блеском чувствует при нем внутреннее беспокойство, чувствует себя не на месте, замечает свою ничтожность; человек благоразумный, простой и скромный весел при нем и счастлив — никто не оставлял его, не сделавшись или выше, или ниже, Гёте одним разительным словом объясняет тысячи темных понятий; вы видите глазами те предметы, которые он описывает: они остаются в вашем вооб-

---

(\*) Сочинитель Вертера.

ражении неизгладимыми навеки. Не приближайтесь к нему, если не искренно желаете сделаться лучшими, если совершенство моральное не есть любимый предмет вашего искания; бойтесь доставить ему случай к сравнению, для вас унижительному. В важных делах он действует благоразумно; искусен, прост, неистощим в средствах. В разговоре забавен, свободно предается натуральной своей веселости: его остроумие пленяет; ничьи эпиграммы не могут иметь такой остроты, колкой и вместе приятной; он никогда не льстит, но похвалы его нравятся: они удовлетворительны для самолюбия. Человек постоянный в правилах, твердый и неизменяемый, хотя не сходный с ним в характере, будет, конечно, им уважен. О, какое почтение заслуживает в глазах моих Гёте! Умея так быстро замечать странное и так искусно его осматривать, он никогда не позволяет себе сказать колкость на счет человека почтенного, хотя, с другой стороны, смешного. Я видел сам, с какою воздержанностью слушал он рассуждения одного мечтателя, впрочем достойного уважения по характеру — никогда глубокое знание человеческого сердца не обнаруживалось в такой силе: ожидали от него насмешек, острых слов, и, напротив, ничто не могло сравниться с его умеренностью, с его добродушием. Быть может, имеет он некоторые предрассудки — но должно удивляться тому постоянству, с каким старается он их в себе искоренить, той простоте, с какою всегда признается в них перед другими. Таков характер Гёте! Мое начертание не совершенно — чувствую! Но человеку, которого я осмелился изобразить, не найдете в миллионе людей равного умом, силою духа, деятельностью, добродетелями сердца.

## УСПОКОЕНИЕ СОМНЕВАЮЩЕГОСЯ

Назову ли природу расточительною за то, что она возвела человеческую душу на высочайшую степень совершенства единственно для того, чтобы остающийся на земле отпечаток ее, по прошествии тысячелетий только отражался в душах других людей, которые, принимая образование свое от поколений протекших, передавали бы его в непрерывной цепи поколениям грядущим?

Навеки ли исчезают следы человеческого гения, угасающего для мира? Не продолжает ли он существовать в непрерываемых последствиях малейших своих действий?

Изобретения и мысли одного поколения передаются другому — сокровища человеческих познаний умножаются, но сохранение и усовершенствование *целого* кажется главной целью *Натуры*.

Она требует одной только жизни. Она требует, чтобы существовал человеческий род, в котором она могла бы изображаться во всем своем разнообразии и невзирая на то, из каких частей составлено сие обширное целое.

Зеленые листья покрывают рощу — кто спросит, те ли они, которые покрывали ее прежде, или новые, впервые расцветшие от воздуха весеннего!

Юный мир возрастает; он радуется бытием своим, не возмущая себя мыслью, что мир прошедший не существует уже, что некогда и собственные следы его на земле изгладятся.

В вещественном мире, с самого начала его, не убавилось ни единой пылинки.

Но мир духовный? Ужели беспрестанно населяется он новыми существами? Вступает ли в него новый гражданин при смерти каждого человека? Или число обитающих в нем от вечности не умножилось? Всему ли определено обращаться в нем в едином круге, как в мире вещественном, или все беспрестанно стремится выше и выше? В духе, который, будучи связан с телом, беспрестанно образовался теми понятиями, которые от всех сторон к нему стекались, образуется ли новое существо, никогда еще не бывшее дотоле? Или существовало оно уже прежде? А если существовало, то для чего не помнит о прежнем своем бытии? Куда девались прежние его личности?

Кто разрешит сии вопросы? Кто успокоит мое сомнение? Кто изведет меня из сего лабиринта, в который завлечен я своими мечтами? Никто, никто!

Обуздай же дерзновенные свои мысли, стремящиеся за пределы известного! Открой свою душу для наслаждения красотой природы — вопросы великую свою наставницу и преклони слух свой к усладительному ее гласу!

Внимай ему на бреге водопада, бегущего по скалам; под сению дубрамы, под грозным наклоном гранитного утеса; на высоте холма, дымящегося утренним туманом; близ тихого озера, отражающего последний, розовый блеск заходящего солнца — природа обнаружит перед тобою непроницаемые тайны бытия; она осветит твоё сердце; она сделает его способным обнимать великие открытия вечной истины.

Завтра, на заре, взойду на вершину сей горы и там буду ожидать солнца — с первою песнею жаворонка душа моя вознесется к Вечному! Смотря на мирное, величественное пробуждение творения, она преисполнится восторгом, и вместе с ним прольются в нее вера, успокоение, надежда<sup>1</sup>.

*Мориц*



## ПОРТРЕТ

### ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Я шел по прекрасной долине Луарской; живописные местоположения пленяли меня — солнце садилось; наконец настала ночь; я увидел себя в уединенном, совсем незнакомом месте; взошла луна; глазам моим представилась тропинка — иду и прихожу в маленькую деревню, расположенную на берегу реки, среди сенистой березовой рощи. Я чувствовал усталость и голод, имел нужду в покое — вижу в стороне, почти над самою рекою, прекрасный и совсем еще новый домик, стучусь у дверей, их отворяют, вхожу в просторную, опрятную, хорошо убранную горницу. Меня встречает миловидная крестьянка, с веселым лицом, с живыми глазами, с свежим румянцем на щеках. Молодой мужчина, двадцати четырех или двадцати пяти лет, сидел на скамейке и держал на коленях прекрасного ребенка, на которого смотрел с приятною улыбкою счастливого отца.

Я рассказал им, что со мною случилось — в минуту явился накрытый стол и приготовлен сельский ужин. Я начал разговаривать с молодым хозяином, который сидел подле меня и подавал мне с добродушною приветливостью каждое блюдо. Он отвечал на мои вопросы умно и с простосердечием, ныне весьма редким даже и в деревнях. Осматривая комнату, заметил я, к великому своему удивлению, на стене портрет очень хорошей живописи, изображающий пожилого человека, в мундире и с крестом святого Людовика в петлице<sup>1</sup>.

— Признаюсь, — сказал я молодому крестьянину, — этой мебели я не подумал бы искать в твоём доме!

— Если говорить правду, милостивый государь, то ей в самом деле здесь не место.

— Чей этот портрет?

— Господина Моранжа, доброго человека и храброго солдата. Он жил в полумиле от нашей деревни. Его уже нет на свете! Но лучше бы было, когда бы такие благодетельные люди, как господин Моранж, не умирали вечно! Кому же и жить на свете!

— По какому случаю достался тебе этот портрет?

— Я расскажу вам этот случай, если прикажете; это может занять вас во время ужина. Я был на двенадцатом году оставлен сиротою, без куска хлеба. Отец мой, бедный столяр, едва-едва кормил и себя, и меня скудною работою. Дня через два по смерти его пошел я в замок господина Моранжа просить милостыню. Он увидел меня. Сжалился над моею участью, отдал меня учиться ремеслу моего отца и сам платил

за меня деньги. Каждое воскресенье ходил я к господину Моранжу и никогда не возвращался от него с пустыми руками. Господин Моранж был чрезвычайно ко мне милостив. «Виктор! — говорил он мне, — будь честный человек; работай прилежно; я сделаю тебя счастливым!»

Сами подумать можете, милостивый государь, что я не пропускал этих слов мимо ушей и учился очень прилежно. Мне минуло шестнадцать лет; в один день господин Моранж призвал меня к себе и, подавая мне кошелек, сказал: «Виктор! Я доволен тобою; все тебя хвалят и называют честным. Продолжай идти прямою дорогою: она, конечно, приведет тебя к счастью. Вот тебе несколько денег — этого будет довольно для путешествия по Франции, для тебя необходимого, если желаешь усовершенствоваться в своем искусстве. Прости, мой друг! Возвратись ко мне честным человеком; будь уверен, что одни только честные люди могут быть счастливы на этом свете».

Я взял деньги, простился с моим благодетелем и на другой же день отправился в дорогу: четыре года шатался я по городам, работал неуспешно, стараясь усовершенствовать себя в своем ремесле. В двадцать лет пришла на меня тоска по родине, и я возвратился в свою деревню, столь же почти бедный, как и прежде, но зато богатый искусством, опытностью, прилежанием.

Господин Моранж взялся доставлять мне работу; я никогда не бывал без дела; жил весело, мало заботился о завтрашнем дне, пользовался настоящим — словом сказать, участь моя была самая счастливая. Но надолго ли? Нет! Известно, что в жизни человеческой не обойдешься без горя — наконец и я узнал, что такое крушиться и плакать! Говорю это не для того, чтобы жаловаться на Господа Бога — Он все располагает к лучшему, и самое несчастье мое послужило мне же к добру. Я полюбил Жанетту — Жанетту, мою жену, которую видите. Она была прекрасна, как день... такова же точно, как и теперь, но по несчастью, отец ее имел много денег, а я не имел ничего; у отца ее были богатые пажити, многочисленное стадо и множество виноградников — у меня была одна бедная хижина, мое ремесло и прилежность; я не думал о своей бедности, потому что Жанетта любила меня, как богатого; мы видались часто и говорили друг с другом о нашей взаимной любви — о, в это время не променял бы я своей участи ни на какие золотые горы! Но вот беда: однажды Лоран, Жанеттин отец, заметил, что я поцеловал его дочь. Он бросился на меня, как иступленный.

— Что ты делаешь? — воскликнул он, сверкая глазами.

— Целую Жанетту!

— Как, мошенник, ты смеешь!..

— Почему же не смеет, когда Жанетте этого хочется?

— Но кто поселил тебе в голову, что я позволю такому шалуну, как ты, ласкаться к моей дочери?

— Почему ж не позволить? Я ласкаюсь к ней для того, чтобы на ней жениться!

— Жениться? Так точно, для тебя и берегут ее — ты догадлив! Смори, пожалуй! Этот негодяй ищет себе невесты богатой! Но есть ли у тебя хоть маленький клочок земли, повеса?..

Я хотел отвечать, но Лоран замахнулся на меня палкою, я ускользнул от удара и убежал домой.

Сидя один в своей лачуге, я начал размышлять о том, что со мною случилось — наконец, уверил себя, что напрасно любил Жанетту и к ней ласкался, но что же мне было делать? Я чувствовал свою вину и не имел силы ее исправить. Любить Жанетту и дышать — было для меня одно и то же. Страшная грусть рвала мое сердце; голова моя мутилась; я бросил работу и топор. И долото валялись из рук моих; скоро в моем кошельке не осталось почти ни лиарда денег, а в хижине моей ни куска хлеба.

Я был в отчаянии — судите сами. Вдруг пришло мне на мысль идти к господину Моранжу и ему открыть свое горе. Он такой добрый, он так ко мне милостив, он мне поможет — так думал я, подходя к дому моего благодетеля. Мне рассказывают, что он опасно болен. Вообразите сами, в каком печальном состоянии пошел я назад, в бедную мою хижину — я долго сидел на дороге, плакал и молил Бога помиловать благодетеля нищих; но Бог не услышал моей молитвы: на другой день опять прихожу в замок; мне рассказывают, что господин Моранж скончался ночью. Как описать вам мое отчаяние! С ним лишился я последней своей надежды.

Дней через десять я узнаю, что наследники моего благодетеля приехали в замок, и что все вещи, ему принадлежавшие, будут проданы с публичного торгу. Я любопытен был видеть эту продажу, побегал в замок — сердце мое стеснилось, когда я увидел, с каким равнодушием родные племянники доброго господина Моранжа отдавали в чужие руки любимые вещи своего дяди, который осыпал их благодеяниями, который оставил им богатое наследство. Все в доме приведено было в страшный беспорядок; он казался настоящею площадью: покупщики приходили, уходили, торговались, звенели деньгами — ах! Можно ли было вообразить, чтоб в этом доме, где прежде жил добрый, богобоязненный человек, в который нельзя было войти, не чувствуя в душе почтения и любви к хозяину — так было в нем все тихо, опрятно, порядочно — чтоб в этом доме могли происходить такие бесчинства!

Я хотел уже уйти — вдруг слышу, кричат: «Портрет! Четыре франка!<sup>2</sup> Пять ливров!<sup>3</sup>» Оглядываюсь. Боже мой! Они продают пор-

трет своего дяди, своего благодетеля — слезы полились ручьями из глаз моих. Я беден, говорил я самому себе, мое последнее богатство шесть франков; но этот портрет... портрет моего покровителя... могу ли видеть его в чужих руках?.. Кричу: «Шесть франков!» И портрет мой. В восторге снимаю его со стены; не могу воздержаться, чтобы не поцеловать тех рук, которые так часто подавали мне помощь; тех глаз, которых милостивые взоры так часто меня ободряли и радовали! Бегу домой — дорогою чувствую, что портрет необыкновенно тяжел — хочу повесить его на гвоздь — роняю — рама треснула — заднее полотно разорвалось — выскочил сверток — беру его — что же? Нахожу двадцать пять двойных луидоров!<sup>4</sup> Рассматриваю внимательно портрет — сзади его натянута другое полотно, которое приподнимаю, вообразите мое удивление! Нахожу тысячу луидоров в таких же свертках, как и первые...

«Какое счастье, — восклицал я, прыгая от радости, — я теперь богат! Жанетта моя! Какое счастье!.. Добрый, почтенный господин Моранж! Он хочет благодетельствовать бедным и по смерти. Как этот портрет на него похож! Точно он! Его глаза! Его веселое лицо... Но, Виктор, подумал я, твои ли это деньги? Ты купил портрет — это правда! Но был ли бы он тебе отдан за шесть франков, когда бы знали, что в нем спрятана тысяча луидоров? Нет! Нет, возвратим его наследникам господина Моранжа. Бедная Жанетте! Никогда не бывать тебе моею женою!..»

В эту минуту вижу на полу бумажку — поднимаю ее — читаю: «Характер наследников моих мне известен — они продадут портрет своего благодетеля! Они бы продали и самого меня, когда бы это было им возможно. Если предсказание мое исполнится, то луидоры, спрятанные в портрете, должны принадлежать тому, кто его купит. Желаю, чтобы они достались в добрые руки. Лудовик де Моранж».

Я заплакал от радости, прочитавши эту записку — эти деньги мои! Жанетта моя! Боже мой, как я счастлив! На другой день, ранехонько поутру, бегу к Лорану.

— Зачем пожаловал? — спросил у меня старик, нахмутив брови и косясь на меня глазами.

— За делом! Хочу сказать тебе два слова, отец Лоран!

— Напрасный труд! О каком деле нам говорить с тобою?

— Безделица! У тебя есть маленькая аренда?

— Маленькая! Что называешь ты маленькою арендою? Бедняк, у которого нет лиарда...<sup>5</sup>

— Ты еще не считал моих денег!

— Ты сам, я думаю, никогда не знаешь их счету.

— Может быть! Но это не помешает тебе продать мне свою аренду; я могу заплатить за нее так же, как и другой!

— Словами!

— Нет! Чистыми, полновесными луидорами, отец Лоран!

— Согласен, прошу только не отпираться; я уступлю ее дешево.

— Сколько тебе надобно?

— Безделица: двенадцать тысяч франков!

— По рукам!

— Не хочешь ли пойти к нотариусу? — спросил Лоран, смотря на меня с насмешкою.

— Пойдем хоть сию минуту!

Старику вздумалось надо мною позабавиться — он взял меня за руку и потащил к нотариусу нашей деревни. «Господин нотариус! — сказал он, — представляю вам богатого помещика, которому угодно купить у меня аренду и заплатить за нее чистыми деньгами: напишите, пожалуйста, купчую». Купчая через полчаса написана.

Нотариус читает ее вслух; мы подписываем — сперва Лоран, потом я. Старик смотрит на меня, как исступленный.

— Виктор! — говорит нотариус, — недоволю того, чтоб подписать свое имя, надобно платить.

— И всю сумму сполна! — прибавил Лоран, готовый лопнуть со смеху.

— Правду сказать, ты взял с меня дорого!

— Платить! Платить! Всю сумму сполна!

— Двенадцать тысяч франков вдруг! Нельзя ли отсрочить на несколько дней?

— Ни на час; мне надобны чистые деньги.

— Так и быть! Плачу! Но прежде требую, чтобы господин нотариус приготовил другой небольшой контракт, по которому Лоран обязался бы выдать за меня Жанетту, тотчас по уплате всей суммы.

— Согласен! Я не боюсь остаться внакладе.

Я вынул из кармана двенадцать тысяч франков и бросил их с гордым видом на стол. Кто же оставался смешным? Конечно, они. Лоран и нотариус смотрели на меня во все глаза, не зная, спят ли они, или видят наяву луидоры. Я рассказал им свое приключение и прочел вслух записку господина Моранжа.

— Ах, любезный Виктор! — сказал мне тогда нотариус, — я ваш покорный слуга: радуюсь от всего сердца вашему счастью! Вы знаете, что я всегда уважал вашего покойного батюшку, почтенного столяра...

— Господин Виктор! — воскликнул отец Лоран, кланяясь мне почти в пояс, — вы имеете великие достоинства! Я всегда думал, смотря на

вас: в этом молодом человеке будет путь! Не справедливо ли мое предсказание? Надеюсь, что... конечно... в самом деле...

Свадебный контракт написан и подписан в одну минуту, и дней через пять женился я на Жанетте! Скоро во всем околотке начали говорить о моем приключении; все искренне поздравляли меня с неожиданным счастьем, потому что все, несмотря на мою бедность, меня любили. Одни наследники господина Моранжа морщили брови: они вздумали было пойти со мною в суд, надеясь отнять у меня деньги, и утверждали, что продали мне один только портрет, но я представил судьям записку моего благодетеля, и выигрыш остался на моей стороне. Племянники его осуждены были заплатить мне все убытки и сверх того осрамили себя своею неблагодарностью перед целым светом. Вот уже два года, как я женат на моей Жанетте, но они показались мне двумя днями. Живем весело; всего у нас много; старик Лоран нами доволен; он божится теперь, что отдал бы за меня дочь свою и тогда, когда бы я не имел и франка денег; мы уступили ему аренду, а сами построили для себя этот домик; торгуем очень счастливо; я сверх того не оставляю и старого своего ремесла, которое приносит мне теперь очень хороший доход, потому что имею средство содержать многих работников.

Я нарочно повесил портрет господина Моранжа в этой горнице: хочу, чтобы всякий его видел, им любовался и вместе со мною благословлял имя того человека, который целую жизнь полезен был другим и столько людей оставил по себе богомольцами! Дети мои научатся любить и почитать святую память нашего благодетеля. Посмотрите на него: не правда ли, что это лицо невольно остается у всякого в сердце? Какой веселый вид! Какой светлый, милостивый взгляд! Как он на нас смотрит! Скажешь, что он и в портрете радуется нашим счастьем или с удовольствием принимает благословения нашего сердца!

Добрый Виктор не в силах был удержать своего восхищения — он взлез на скамейку, снял портрет со стены, долго его рассматривал, наконец, поцеловал со слезами: «Ах, милостивый государь, как жаль, что этого человека нет уже на свете! Что если бы вы могли его видеть и слышать! Вы полюбили бы его, как отца. Боже мой! У меня сердце таяло от удовольствия и любви, когда он со мною говорил, когда он брал меня за руку, когда смотрел на меня своими нежными, ясными глазами! Не знаю... но я готов был всегда плакать, когда слышал приятный голос его или смотрел на его почтенные седые волосы! Царство небесное тебе, добрый, благодетельный человек!» Виктор еще раз поцеловал портрет и повесил его потом опять на стену.

## ФЕЛЛЕНБЕРГ И ПЕСТАЛОЦЦИ

(Отрывок письма из Швейцарии)

Наконец я путешествую по Швейцарии. На первый случай буду говорить вам о двух человеках, замечательных по своему характеру и по своей деятельности, полезной для общества — о Фелленберге и Песталоцци.

Приехав в Гофвиль<sup>1</sup>, сию классическую для всех любителей земледелия землю, я встречен был господином Фелленбергом ласково и просто. Он приказал одному из своих чичерониев<sup>2</sup> показать мне все заведения Гофвиля, а сам расстался со мною, чтобы приняться за обыкновенные свои дневные работы.

Подробное описание гофвильского земледелия оставляю до другого времени; теперь познакомлю вас с самим Фелленбергом, с его семейством, с его домашними. Дом его имеет наружность очень приятную: простая, величественная архитектура. Он совершенно отделен от всех других строений и имеет четыре фасада, из которых два главные — на восток и запад. На южной стороне находится прекрасная роща или, лучше сказать, лабиринт, а на северо-западе старый дом хозяина, в котором теперь живут воспитанники. В нижнем этаже его находится прачечная, сырня и пекарня.

На севере, в двухстах шагах от сих обоих зданий, вы видите большое строение с двумя огромными, отделенными от него флигелями. В главном корпусе находятся стойла для быков, лошадей и проч.; северная половина западного флигеля отведена для работников, в южной находятся коровы и пр.; в восточном живут и работают кузнецы, слесари, столяры, колесники и пр., и хранятся земледельческие орудия. Под главным корпусом и обоими флигелями поделаны огромные погреба и каморы со сводами; одни из последних назначены для сбережения зерен, которые предохраняются в них от всякого сообщения с наружным воздухом; а в других, в которых всегда содержится одинакая теплота атмосферы посредством кипящей воды, приготавливают масло, сыр и пр. На верху сих строений находятся риги и токи. Фуры, нагруженные хлебом, могут весьма свободно въезжать на них по отлогому взъезду.

Господин Фелленберг имеет не более тридцати четырех лет от роду; госпожа Фелленберг считает себе двадцать восемь: я бы этому не поверил — она кормит осьмого ребенка. Один из них умер; к оставшимся семерым надобно причесть девицу Форстер, дочь славного и ученого Форстера<sup>3</sup>, которая, как друг, помогает ей во всех ее материнских заботах. Господин и госпожа Фелленберг ведут такую мирную, патриархаль-

ную жизнь, что все находящиеся в доме их почитаются принадлежащими к одному семейству. Его составляют управительница, повариха, девка, прибирающая горницы и служащая за столом, смотрительница за детьми, швея, две поварихи для работников, одна девка (летом) для работ садовых, слесарь, кузнец, два колесника, ключник, два главных смотрителя за работниками, два коровника, один пастух, один маслобой, двое слуг, один комиссионер и один смотритель за ослами.

Обыкновенно бывает в доме три стола: один господский, за который садятся господин и госпожа Фелленберг, управительница, воспитанники числом двенадцать и главные смотрители за работниками: заслужив благосклонность господ своим порядочным поведением, сии последние переведены были из-за стола работников сначала за стол домашних служителей, потом за стол господский. Обыкновенный обед составляют два блюда мясного кушанья, два блюда зелени и вареный картофель. За ужином подают суп, жаренное, салат и еще одно какое-нибудь легкое блюдо. Домашние служители, т. е., повариха, все девки, включая двух, которые служат работникам, слесарь и ключник, едят то же, что и господа. Работники обедают за особым столом, на южной половине западного флигеля. На них стряпают две работницы; три раза в неделю подают им свежее мясо (по восьми унций на человека) с зеленью, и четыре раза солонину, также с зеленью, сверх того молоко, сыр и масло.

В четыре часа поутру звонит колокол. Господин Фелленберг встает, и с ним все домашние. Он идет прямо в большую горницу, находящуюся на той стороне западного флигеля, на которой живут работники. Здесь собираются его семейство, его служители и работники. Он читает вслух молитву, в которой просит Бога благословить работы начинающегося дня, быть помощником трудолюбивых, освятить желания и мысли; потом назначает каждому его дневную должность. Деятельность сего человека невероятна; он видит все и сам присутствует повсюду. На кровле его дома сделана осьмиугольная башня, с бельведера которой можно окинуть одним взглядом все владения Гофвила. Отсюда господин Фелленберг наблюдает за всеми движениями своих работников, и часто слышится слуховая труба его, в которую он говорит: *такой-то*, ты ленишься, или ты делаешь не то. И так и в самые немногие минуты, в которые этот неутомимый человек бывает ими невидим, они воображают себя в его присутствии: он кажется им Провидением, всезнающим, хотя сокрытым. Колокол возвещает обед, начало, перемену и прекращение работ. По окончании их господин Фелленберг опять идет в ту горницу, в которой поутру читал молитву; все опять собираются в ней, садятся на скамейки, за длинный стол, в



конце которого занимает свое место господин Фелленберг, а позади его секретарь с огромною книгою. Господин Фелленберг требует у каждого отчета в дневных его упражнениях, каждого спрашивает поочередно: что он делал, что думает о той или о другой работе; одному объясняет непонятное, другого одобряет за прилежность, третьему делает выговор: «ты нынешний день вел себя дурно — ты был для меня бесполезен и повредил самому себе, не выполнив своего долга: исправься! Огорчив ныне меня и товарищей своих дурным поведением, ты завтра можешь, за хорошие поступки, быть им представлен в пример, а от меня получить искренние одобрения!» Секретарь ведет всему подробную записку. По окончании суда господин Фелленберг встает, читает, так же как и поутру, молитву, в которой возблагодарив Бога за все ниспосланные Им благодеяния, просит Его утвердить одних в добром расположении, других исправить, и быть милосердным ко всем; после удаляется, и все уходят.

Я сказал вам одно только слово о госпоже Фелленберг. Вы видели ее на минуту с грудным младенцем. Эта необыкновенная женщина могла бы служить примером для всех матерей семейства: она с такою же деятельностью печется о внутреннем порядке дома, с какою супруг ее наблюдает за всеми работами земледелия. Она встречается вашим глазам везде, но вы не должны показывать, что ее замечаете: без этого условия, при беспрестанном приливе любопытных, посещающих Гофвиль, госпожа Фелленберг очень скоро сделалась бы жертвою пустых обрядов учтивости; и сам почтенный супруг ее не избежал бы такого же мучения, когда бы не имел *чичерониев*, взятых им из числа воспитанников. Они с удивительною снисходительностью показывают посетителям все достойное замечания в Гофвиле, выслушивают их вопросы, разрешают все их сомнения.

Господин Фелленберг не любит похвал, но он охотно принимает советы и радуется всякому возражению, надеясь узнать что-нибудь новое и для него полезное.

Я долго бы прожил в Гофвиле, когда бы мог следовать одному желанию своего сердца, но обстоятельства принудили меня проститься с Фелленбергом — я полетел на берега Невшательского озера, в Ивердон<sup>4</sup>, горя нетерпением видеть славного Песталоцци и его училище.

Я не застал его дома; он катался в шлюпке по озеру вместе с учениками своими и возвратился не прежде, как ввечеру. Время было прекрасное, полная луна сияла во всем своем блеске, поверхность озера была спокойна и чиста как зеркало. Я увидел восхитительное зрелище: огромное судно, на котором Песталоцци, с двумястами воспитанников, медленно плыл по Ивердонскому каналу, украшено было цветами; все

жители Ивердона и соседних деревень стояли на берегу. Воспитанники пели гимны, нарочно для сего случая сочиненные. Тихие, приятные голоса их, спокойствие озера, озаренного яркою луною, множество зрителей, веселых, растроганных гармоническим пением юношей — все вместе производило какое-то очарование, которого не могу вам выразить словами — я воображал себя в древней Греции, видел священные торжества Олимпийские.

На другой день я посетил почтенного Песталоцци, который очень худо выговаривает и французские, и немецкие слова, но выражается весьма понятно. Чувствительная душа его беспрестанно занята счастьем детей: одна мысль о наказаниях, которыми терзают сих нежных птенцов, под ложным предлогом их пользы, приводит его в трепет. Учение — говорит он — сия жизнь души, может входить в нее, так сказать, через все поры, тело питается пищею приятною, душа требует сладостного меда любви наставляющей. Песталоцци водил меня по всем классам, начиная с самых нижних. Я задавал учащимся затруднительные вопросы; видел их во время учения, за столом, в минуту отдыха; видел их игры, нимало почти не отличные от их уроков. Пища их изобильная и здоровая, игры их невинны и полны добросердечия. Я совсем не заметил в их поступках (что надобно отнести к совершенству методы их воспитания) той черноты, которой примеры так часто огорчают вас в других училищах; напротив, между семи невинными питомцами доброго Песталоцци вы не найдете ни злобы, ни соперничества, ни зависти, которая так часто вливает отраву свою в сии младенческие души. И могут ли они что-нибудь ненавидеть? Способны ли чувствовать зависть? Они счастливы, никто, никогда их не мучит! Их не принуждают учить по нескольку страниц наизусть; от них не требуют знания; хотят, чтобы они узнавали все *сами собою*. Например, в арифметике не учат их ни сложению, ни вычитанию, и пр. правилам, которые не иное что, как следствие долгого размышления об отношениях чисел, но им показывают отношения 1 к 1, 1 к 2, 2 к 2 и пр., им дают способ находить собственным рассудком нужные правила. Я заметил одного из воспитанников, находящегося в Институте не более четырех лет: он рисовал прекрасно и был очень силен в математических науках — я спросил у него (сообразуясь с старою методою наших училищ), какого латинского автора он начал изъяснять? *Он не изъясняет ни одного автора, но знает язык*, отвечал мне один из молодых учителей, которого я прежде не отличил от учеников. Кажется, доказано опытом, что прежние методы воспитания были совершенно противны натуре: слава доброму Песталоцци! Открывши нам истинный путь, он избавил детей от одного тяжкого и вредного принуждения, которому прежде подвержены были юные умы их.

Фелленберг и Песталоцци, будучи оба изобретателями, необходимо должны встречать множество препятствий со стороны предрассудков и суетной гордости; и тот, и другой стараются победить их, услаждая себя надеждою, что будущее приведет к совершенству те важные планы, которым положили они основание в настоящем; и тот, и другой ожидают общей пользы для человечества от распространения своих привил и от успеха метод, ими изобретенных. Разница между ими та, что Песталоцци имеет более способов наслаждаться плодами трудов своих в настоящем; он *видит* то счастье, которое сам доставляет начинающемуся поколению, которое вместе с сим поколением распространится и на все человечество; напротив, Фелленберг чрезвычайно быстрою деятельностью своей доказывает нам, что он боится упустить время, которое от него улетает, которого недостаточно ему и для положения первых оснований изобретенной им системы удобрения; он видит в отдаленности будущего ту пользу, которая должна быть следствием его деятельности, но ищет наслаждений своих и награды не здесь, а в одном таинственном мире, которому здешний служит единым преддверием. Мысли сии напечатлены яркими чертами в лице Филленберга, ясном, спокойном, величественном.

.....

Я видел Ферней, прикасался к постели и ко всем мебелиам, служившим некогда Вольтеру<sup>5</sup>. Успехи роскоши удивительны: богатые украшения Фернейского замка покажутся вам теперь слишком посредственным — а Вольтер имел 200 000 ливров годового дохода.

В бывшей его спальне висят портреты людей ему любезных: Даламбера, Делиля, Гельвеция, Мармонтеля<sup>6</sup> и других. Постеля его находится у стены, против окна; в ногах висит портрет госпожи дю Шатле<sup>7</sup>, а в головах тканый портрет императрицы Екатерины<sup>8</sup>. Я заметил еще три: один — короля прусского, другой самого Вольтера, писанный с него в то время, когда ему минуло пятьдесят лет; а третий — Лекеня, представленного в лавровом венке<sup>9</sup>. Вы видите, что все оставлено здесь по-прежнему. Я долго разговаривал со старым приходским священником, который поселился в Фернее за девять лет до Вольтеровой смерти: по словам его замечаю, что он забыл о тех благодеяниях, которыми осыпал его сей великий человек. Но фернейские жители не забыли о них: старики говорят со слезами о *добром* своем господине, а молодые люди с чувством повторяют анекдоты, слышанные ими о нем от отцов или дедов.

(С французского)

## ТРИ ПОЯСА

(РУССКАЯ СКАЗКА)

В царствование великого князя Владимира<sup>1</sup>, неподалеку от Киева, на берегу быстрого Днепра, в уединенной хижине жили три молодых девушки, сиротки, очень дружные между собою; одна называлась Пересветою, другая Мирославою, а третья Людмилою. Пересвета и Мирослава были прекрасны, как майский день; соседи называли их алыми розами, от чего они сделались несколько самолюбивы. Людмила была не красавица, никто ее не хвалил, и подруги ее, которых она любила всем сердцем, твердили ей каждый божий день: «Людмила, бедная Людмила, ты никогда не выйдешь замуж. Кто тебя полюбит; ты не красавица и не богата». Добрая Людмила верила им в простоте сердца и не печалилась. «Они говорят правду; я никогда не выйду замуж. Что ж нужды? Я буду любить Пересвету и Мирославу более всего на свете, буду ими любима: какого счастья желать мне более?» Так думала простосердечная Людмила, и чистая душа ее была спокойна. Ей минуло пятнадцать лет, но еще никакое смутное желание не волновало невинного ее сердца: любить своих подруг, ходить за цветами, распевать песни, как нежная малиновка — таковы были все удовольствия доброй Людмилы.

В один день все три подруги гуляли по берегу ручья, осененного соснами и березами. Пересвета и Мирослава рвали цветы для украшения головы своей, и Людмила также рвала их — для Пересветы и Мирославы: она воображала, что ей неприлично думать об украшении. Вдруг видят они на берегу ручья старушку, которая спала глубоким сном; солнечные лучи падали прямо на ее голову, седую и почти лишенную волос. Пересвета и Мирослава засмеялись.

— Сестрица, — сказала одна, — какова покажется тебе эта красавица?

— Лучше тебя, Мирослава!

— И тебя, Пересвета!

— Шафран едва ли превзойдет желтизною эти прекрасные щеки, покрытые приятными морщинами.

— А этот нос, Пересвета, не правда ли, что он очень скромно пригнулся к подбородку?

— Сказать правду, и подбородок отвечает своею фигурою красивому носу.

— Они срослись, сестрица...

В продолжение разговора и та, и другая беспрестанно смеялись.

— Ах, сестрицы, — сказала тихая Людмила, — вам не пристало смеяться над этою старушкою. Что она вам сделала? Она стара: ее ли

это вина? И вы состаритесь в свою очередь: для чего же смеяться над тем недостатком, который непременно будете иметь сами. Смеяться над старыми — значит прежде времени смеяться над собою. Будьте рассудительны, скажу лучше, будьте жалостливы. Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной женщины. Наломаем березовых веток, сплетем вокруг нее маленькой шалаш, чтобы сон ее мог быть и спокоен, и безопасен. Проснувшись, она благословит нас, будет за нас молиться, а Небо всегда исполняет молитвы стариков и нищих, так говорила мне покойная матушка.

Пересвета и Мирослава почувствовали вину свою; они наломали вместе с Людмилою березовых веток, сплели шалаш и прикрыли им голову спящей. Она скоро проснулась, увидела над собою тень, удивилась, начала осматриваться — перед нею стояли Пересвета, Мирослава и Людмила.

— Благодарю вас, милые незнакомки, — сказала она, — приблизьтесь, я хочу оставить вам памятник моей благодарности. Вот три пояса: каждая из вас может выбрать для себя тот, который покажется ей лучше и более к лицу.

Старушка кладет на траву три пояса: два из них были чрезвычайно богаты, из крупного жемчуга и алмазов; третий был простая, необыкновенной белизны лента, украшенная фиалками. Пересвета и Мирослава бросились на жемчуг и алмазы; Людмиле досталась белая лента.

— Благодарю тебя, — сказала она старушке, — этот простой убор мне приличнее. Пересвета и Мирослава прекрасны лицом: им должно иметь и одежду прекрасную, а для меня довольно простой и самой скромной.

— Ты говоришь правду, мой друг, — сказала старушка Людмиле, надевая на нее пояс, — никогда, ни за какие сокровища в свете не снимай с себя этой ленты; не верь людям, которые будут говорить, что он тебе не к лицу; остерегайся оболъщения гордости: потеряв этот пояс, ты потеряешь и счастье, с ним неразлучное.

Людмила поцеловала старушку и дала ей слово не отдавать никому подарка. Старушка исчезла. Пересвета и Мирослава не могли вслушаться в ее слова; они с восхищением рассматривали свои жемчуги и алмазы и едва успели сказать, что они очень ей благодарны.

Пересвета и Мирослава взяли за руки и побежали в свою хижину. Людмила, заметив, что они имели между собой тайну, шла за ними издали.

— Не правда ли, — сказала, наконец Мирослава, оборотясь к Людмиле, — что эта смешная старушка сделала тебе чрезвычайно богатый подарок?

— Не богатый, но очень для меня приятный; я не люблю пышности.  
— Но для чего бы ей не сравнять тебя с нами?  
— Я об этом не подумала. То, что мне дают, приятнее для меня того, в чем мне отказывают.

— Посмотри, как наши алмазы блистают.

— Посмотрите на мою ленту, как она бела.

— И тебе не завидно?

— Можно ли завидовать тем, которых любишь? Я довольна, если вы счастливы.

— Ты добрая девушка, Людмила. Останься дома, а мы пойдем в Киев покупать новые платья: наши слишком бедны для таких поясов, которые украшены алмазами и жемчугом. За одну жемчужину можем купить десять пар самого богатого платья.

Пересвета и Мирослава пошли в Киев, Людмила осталась дома поливать цветы и кормить своих птичек.

Вечеру Мирослава и Пересвета возвратились в хижину с великим запасом богатых уборов.

— Важная новость, сестрица, — сказала Пересвета Людмиле, — молодой князь Святослав, Владимиров сын<sup>2</sup>, прекрасный, как весенний день, и храбрый, как богатырь Добрыня, хочет выбирать себе невесту. Множество красавиц, боярских дочерей и даже простых поселюнок, собираются в Киев из дальних русских городов, из деревень и хижин. Кто ж запретит и нам искать руки прекрасного князя Святослава? Бог дал нам красоту, а добрая старушка наградила нас богатством. Мирослава и я хотим переселиться в Киев: каждая из нас, благодаря своему драгоценному поясу, может с честью и отличием показаться в люди. Мы решились и завтра отправляемся в Киев. И ты, добродушная Людмила, можешь за нами последовать; будешь сладить за нашим домом, а наконец увидишь и церемонию выбора, которая должна быть чрезвычайно великолепна.

— Охотно исполню ваше желание, сестрицы, — отвечала с веселой улыбкою Людмила, — буду служить вам от всего сердца: ваше удовольствие составляет мое счастье. Старайтесь пленить прекрасного князя, а я буду молить Бога, чтобы Он склонил к вам его сердце.

Что сказано, то и сделано. Подруги на другой день, рано поутру, отправились в Киев. Мирослава и Пересвета объявили себя дочерьми богатых новгородских посадников. Один из бояр Владимировых записал имена их в число желающих представить себя на выбор князю Святославу. Людмила не показалась никому; она молилась Богу о счастье своих подруг, шила им платья, низала для них ожерелья,

выкладывала золотым галуном и алмазами их сарафаны; забывая саму себя, она жила для одних милых подруг своих.

Наконец наступил торжественный день выбора. Вечеру дворец великого князя Владимира осветился тысячами светильников; палата, назначенная для торжества, обита была малиновым бархатом; скамейки, на которых надлежало сидеть красавицам, иногородним и киевским, были покрыты шелковыми коврами с золотою бахромою, а для великого князя Владимира и князя Святослава приготовили возвышенное место, на котором стояли два кресла из слоновой кости с золотою насечкою. На улице, ведущей к княжескому двору, теснилось множество народа, и горели огни разноцветные. Наконец зазвучали бубны — представилось зрелище восхитительное: сто красавиц, цветущих, как весенние розы, идут попарно, среди восхищенной толпы киевлян, ко дворцу великого князя; каждая из них имеет при себе прислужницу: Людмила сопутствует Пересвете и Мирославе. Людмила одета была в белое платье и опоясана своим поясом, русые волосы ее, заплетенные косою, были перевиты простою лентою: она приблизилась с сильным трепетом сердца к палате князя Владимира, села позади своих подруг и с тайным, робким предчувствием смотрела на дверь, в которую должны войти великий князь Владимир и сын его Святослав прекрасный. Долго царствовала глубокая тишина в княжеской палате. Вдруг заиграла военная музыка; двери растворились с шумом; входят попарно бояре и богатыри, одни в богатых парчевых платьях, другие в великолепных военных доспехах, в золотых кольчугах, в блестящих шлемах, осененных белыми перьями. Они разделяются и становятся по обеим сторонам княжеского трона. Утихает бранная музыка; играют нежные флейты, все глаза обращены на отверстые двери — вдруг является князь Владимир в богатом княжеском уборе; он ведет за руку молодого Святослава, одетого просто, с открытою головою, с разбросанными по плечам светло-русыми кудрями, прелестного, цветущего молодостию: на щеках его играл румянец, свежий, как весенняя роза; в глазах больших, черных, осененных густыми ресницами, сияло нежное пламя; стан его был гибок и строен, походка величественная, все движения приятны. Ах, Людмила, бедная Людмила, что сделалось с твоим сердцем при первом взгляде на прекрасного юношу? «Для чего я не красавица, для чего я не богата?», — подумала она, вздохнула, опустила глаза на грудь свою, которая волновалась сильнее прежнего, но скоро опять, против воли, устремила их на прелестного князя, который стоял один, посреди обширной палаты, прелестный, как ангел в виде человека... Но что же она почувствовала?.. Вся душа ее пришла в волнение... глаза ее встретились с глазами прекрасного Святослава. О Небо, он подходит

к ней... Мирослава и Пересвета встают, думая, что выбор должен пасть на одну из них... Святослав подает руку Людмиле. «Вот она, — говорит он, — вот та, которая представлялась душе моей и наяву, и в мечтах сновидения. Ей отдаю и руку, и сердце». Людмила едва не лишилась памяти; она не верила своим ушам, трепетала, бледнела, краснела... Святослав подводит нареченную свою невесту к великому князю Владимиру, потом сажает ее подле его на кресло с золотою насечкою. В палате слышится ропот. «Какой выбор!» — шептали оскорбленные красавицы, смотря на скромную Людмилу, одетую просто и совсем не имеющую красоты блестящей. Пересвета и Мирослава были вне себя от досады и зависти.

— Кто бы это подумал, — говорили они одна за другой, — нам предпочесть Людмилу; какое ослепление!

Мужчины также смотрели на Людмилу, но чувства их были другого рода.

— Как она прелестна! — восклицали и старики, и молодые, — какая привлекательная скромность, какой невинный взгляд, какая нежная, милая душа изображается на лице ее, приятном, как душистая маткина-душка!

Людмила сама не понимала того нежного чувства, которым наполнено было ее сердце; она не смела взглянуть на прекрасного князя Святослава и еще больше украшала себя милым своим смятением. Святослав пожимал ее руку и ободрял ее пламенным своим взглядом.

Но великий князь Владимир начал говорить, и все утихло.

— Сын мой, — сказал он прекрасному своему Святославу, — твой выбор приятен моему родительскому сердцу, но красота не одно достоинство супруги; хочу, чтобы она соединена была с качествами и дарованиями более надежными. Избранная тобою невеста превосходит всех других прелестями лица; посмотрим, сравняются ли они с нею дарованиями и умом.

Людмила побледнела, услышав слова великого князя Владимира.

— Ах! — воскликнула она, — я ничему не училась! Это минутное торжество послужит только к тому, чтобы доказать всему свету мое невежество. Отпусти меня, великий князь Владимир, я пришла сюда не для того, чтобы оспаривать у других, более достойных, то счастье, для которого я не рождена судьбою; я пришла насладиться счастьем милых подруг моих. Отпусти меня; мой жребий скрываться в бедной хижине, ходить за цветами, довольствоваться уделом низким и никогда не мечтать о пышном троне.

Князь Владимир посмотрел с улыбкою благоволения на скромную Людмилу и приказал ей остаться на своем месте. Приносят стройные



гусли. Все красавицы, каждая в свою очередь, пели песни в похвалу храбрых витязей или в похвалу нежной любви; каждая изображала то чувство, которое влекло ее душу к прекрасному князю Святославу. Пришла очередь Людмилы: она бледнеет, трепещет; вдруг кто-то, невидимый, шепчет ей на ухо: «Людмила, ободрись; хранительные взоры мои над тобою. Спой ту песню, которую научила тебя твоя мать; ты еще не знаешь, какими дарованиями наградила тебя природа». Людмила узнает голос благодетельной волшебницы, той старушки, которая подарила ей пояс. Она идет к гуслиам, садится... — о чудо, пальцы ее с легкостью ветерка летают по струнам; голос ее имеет чистоту и звонкость соловьиного: он льется в душу, он возбуждает в ней сладкое восхищение, погружает ее в задумчивость, производит в ней томную мечтательность. Людмила поет ту песню, которую нежная мать певала, качая ее в колыбели:

Роза, весенний цвет,  
Скройся под тень  
Рощи развесистой.  
Бойся лучей  
Солнца палящего,  
Нежный цветок!  
Так мотылек золотой  
Розе шептал.

\*

\* \*

Розе невнятен был  
Скромный совет;  
Роза пленяется  
Блеском одним;  
«Солнце блестящее  
Любит меня;  
Мне ли, красавице,  
Тени искать?»

\*

\* \*

Гордость безумная!  
Бедный цветок!  
Солнце рассыпало  
Гибельный луч:  
Роза поникнула  
Пышной главой,  
Листья поблекнули,  
Запах исчез.

\*

\* \*

Девушка красная,  
Нежный цветок!  
Розы надменной  
Помни пример.  
Маткиной-душкою  
Скромно цвети,  
С мирной невинностью,  
Цветом души.

\*

\* \*

Данный судьбиною  
Скромный удел,  
Девушка красная,  
Счастье твое!  
В роще скрываясь,  
Ясный ручей,  
Бури не ведая,  
Мирно журчит!

Людмила замолчала, но голос ее отдавался еще в сердцах слушателей. Молодой князь, в неопisanном восхищении, прижимает ее к сердцу:

— Нет, ты не можешь быть смертная; ты ангел, слетевший с неба для того, чтобы сделать счастливым Святослава!

— Ах, я бедная Людмила; сама не постигаю того, что делается со мною; какое-нибудь очарование ослепило ваши взоры. Вы думаете, что я красавица; это обман, я никогда не бывала прекрасною. Святослав, ты хочешь возвести меня на трон, но я рождена поселянкою, рождена для бедной и неизвестной хижини.

Опять заиграла музыка, и началась пляска. Соперницы Людмилы очаровали зрителей своими приятными движениями, своею легкостью, своею быстротою, но Людмила, снова ободренная голосом волшебницы, затмила искусство прелестию простоты: во всех ее движениях было что-то очаровательное — скромность, соединенная с милою веселостию. Она являла глазам невинность, играющую с удовольствием; зрители не могли довольно на нее насмотреться; сердца летели за нею вслед... Но музыка замолчала... Людмила, с потупленными глазами, с разгоревшимся румянцем на щеках, села на свое место, не смела радоваться, не смела взглянуть на Святослава прекрасного.

Давно уже прошла половина ночи. Великий князь берет Святослава за руку, и они выходят из палаты с боярами и богатырями; красавицы

удалились, но еще испытание не окончилось: оно должно было продолжаться три дни сряду. Людмилу отвели в дворцовый терем, убранный великолепно; приставили к ней множество прислужниц. Она осталась одна, погруженная в задумчивость, с новыми, доселе неизвестными ей чувствами, и с милым образом прелестного Святослава в душе своей.

И мы, оставя на время Людмилу, вспомним о двух подругах ее, Пересвете и Мирославе.

— Могли ли мы это вообразить! — сказала Мирослава Пересвете, возвратившись с нею домой, — нам предпочесть Людмилу! Конечно, они слепы. Нельзя, чтобы это было естественно! Как ты думаешь, Пересвета? Не скрывается ли какой талисман в том поясе, который подарила ей старая волшебница? Будучи к нам столь щедрою, могла ли она позабыть Людмилу? Конечно, простой ее пояс драгоценнее наших, осыпанных жемчугом и алмазами. Заметила ли ты, как он блистал на ней вчера ввечеру?

— Так, Мирослава, ты говоришь правду: Людмила имеет талисман, которому сама не знает цены — должно его похитить. Тогда увидим, помрачит ли она и тебя, и меня своими дарованиями, своею красотою.

На другой день, рано поутру, Пересвета и Мирослава идут в терем Людмилы, она бросается к ним в объятия, целует их с восторгом и краснеет, внимая неискренним их поздравлениям.

— Милые подруги, — говорит им скромная Людмила, — сама стыжусь тех почестей, которыми вчера была я осыпана; сама не понимаю, как могли предпочесть меня, бедную некрасивую Людмилу, вам, прекрасным, богатым, достойным всякого предпочтения.

— Добрая Людмила, — отвечала Мирослава, — странное для тебя кажется для нас весьма естественным; мы не завидуем, но искренно радуемся твоему счастью. Время открыть тебе глаза: перестань почитать себя не красавицею. Бог наградил тебя лицом прелестным; из любви к тебе называли мы тебя дурною — похвалы могли бы испортить твое невинное сердце. Теперь притворство бесполезно, и тебе наконец должно узнать, милая Людмила, что ты превосходишь всех других женщин красотою, любезностию, дарованиями.

— Сестрицы, не смеетесь ли вы надо мной?

— Ах, мой друг, как можешь это о нас подумать? Мы говорим истинную правду. Но позволь нам сделать тебе одно дружеское замечание: ты имеешь два недостатка, весьма важных и препятствующих тебе воспользоваться дарами природы: ты слишком застенчива и слишком небрежна в своей одежде. Ныне ввечеру опять будем представлены великому князю Владимиру и сыну его, Святославу прекрасному;

говорят, что в Киев приехала какая-то псковитянка, ангел красотой и чрезвычайно искусная в одежде: бойся, чтобы она не похитила у тебя любви прекрасного Святослава; нарядись как можно лучше. Красоте твоей прилична и одежда пышная; мы принесли тебе на выбор несколько платьев. Надень то, которое покажется тебе к лицу, а мы будем радоваться твоей победе.

Мирослава и Пересвета расстилают перед глазами Людмилы несколько великолепных уборов. Новое чувство родилось в душе невинной девушки: она вообразила себя первою красавицею во всей русской земле и покраснела, взглянувши на простой и бедный убор свой. Она примеряла принесенные платья одно за другим; выбрала самое великолепное; хотела надеть богатый пояс сверх белой ленты, которую получила в подарок от старушки, но по несчастию пояс был слишком мал — Пересвета и Мирослава уговаривают ее пожертвовать бедною лентою богатому жемчужному поясу. Людмила колеблется. Наконец уступает их требованиям — отдает Пересвете белую ленту и надевает жемчужный пояс.

— Какой стройный, прелестный стан! — восклицают обе подруги, — эта псковитянка явилась в Киев только для того, чтобы сделать еще славнее торжество нашей Людмилы. Прости, милая подруга; ввечеру увидимся во дворце князя Владимира.

Они разлучились. Людмила, в восхищении от нового богатого убора любит себя на самую себя в зеркало, примеривает жемчужный пояс, и белая лента совсем забыта. Ах, Людмила, и ты занимаешься красотой своею, как суетная, надменная прелестница, и ты смотришь в зеркало — а прежде и в светлый ручей смотрела ты только для того, чтобы любоваться его чистотою, легкими струйками и блестящими камушками, на дне его рассыпанными.

Наконец наступила желанная минута. Красавицы, бояре и богатыри стекаются вновь в палату великого князя Владимира. Святослав прекрасный с волнением сердца смотрит на дверь, в которую должна войти Людмила — раздаются приятные звуки флейты — входит Людмила, покрытая белым покрывалом и окруженная множеством прислужниц, богато одетых. Святослав летит к ней навстречу, нетерпеливою рукою срывает с головы ее белый покров... Боже, какая перемена! Он не узнает Людмилы.

— Что вижу! — восклицает изумленный Святослав. — Кто ты, незнакомка, и где моя Людмила?

— Я Людмила; ужели ты не узнал меня, Святослав прекрасный?

— Ты Людмила? Не может быть, это обман!

Ропот негодования послышался в княжеской палате; никто не узнает Людмилы. Святослав удалился; он ищет смятенными взорами в толпе красавиц прекрасной девицы, пленившей его душу, но князь Владимир подымает руку, и все опять умолкло.

— Ты называешь себя Людмилою, — говорит он Людмиле, трепещущей и печальной, — верю твоим словам; верю, что красота твоя могла измениться в течение одного дня, но дарования твои должны быть неизменны. Подайте гусли; садись и спой нам ту самую песню, которую ты пела нам вчера.

Людмила, несколько ободренная, подходит к гуслиам — о чудо! Пальцы ее неподвижны, голос дик и неприятен. Князь Владимир в великом гневе встает с престола, приказывает Людмиле удалиться — испытание отложено до следующего вечера.

Что сделалось с тобою, несчастная, добросердечная Людмила? Ты плачешь, ты мучишься отчаянием, ты страдаешь безнадежною любовью! Где твое прежнее спокойствие, где прежняя беспечность невинной души твоей? Сиротка, заливаясь слезами, оставляет Киев и спешит укрыться в бедную свою хижину, на берег светлого источника, под сень развесистых берез, в которых провела она цветущую свою молодость. «Зачем, зачем я оставляла тебя, спокойная моя хижина!» — так думала бедная Людмила, идя через рощу, по знакомой, излучистой тропинке. Приближается к хижине и видит, что в ней горит огонь — испугалась — не знает, войти ли в нее или нет, наконец решилась, отворяет дверь: что же? В хижине сидит старушка-волшебница, ее знакомка. Людмила остолбенела от удивления, несколько минут не говорила ни слова; наконец пришла в себя и залилась горькими слезами.

— Ах! — сказала она старушке, — ты одна причину моего несчастья! Для чего погибельным своим очарованием возвела ты меня вчера на трон, которого я не искала, о котором никогда не могла думать, и для чего теперь, когда пленительная надежда ослепила мою душу, когда любовь, произведенная тобою в моем сердце, сделалась для меня драгоценнее и самых почестей трона, я вдруг лишена всего, покрыта стыдом, и от кого же? От тебя, которой я не сделала никакого зла, которой, напротив, хотела сделать добро, не ожидая никакой за то награды? Ах, для чего обольстила ты глаза прекрасного Святослава? Для чего вложила мне в душу безнадежную любовь? Что ты будешь теперь, бедная Людмила, в своей уединенной хижине? Прекрасные места, в которых я родилась и провела свою молодость, теперь вы для меня темница! Душа моя в стенах пышного града Киева. Никогда не забуду о том, чего я лишилась, чем обладала одну минуту. Какое земное счастье может служить заменою того милого взора, который устремил

на меня Святослав прекрасный, которым воспламенилось мое сердце, прежде спокойное, прежде веселое. Ах, душистые мои цветы, вы увянете — кто будет вас поливать, кто будет за вами смотреть? Милые, голосистые птички, вы перестанете слетаться к моей хижине: кто будет приносить вам зерна и вторить вам своею веселою песенкою? Буду сидеть на большой дороге, смотреть на отдаленный Киев-град и посылать в него свою душу. Что я сделала тебе, волшебница, чем навлекла на себя твое гонение!

— Выслушай меня, добросердечная Людмила, — отвечала волшебница, — мне легко пред тобою оправдаться. Я полюбила тебя с первого взгляда и, в знак благодарности, подарила тебе очарованный пояс, который имеет силу украшать всякую женщину. Девушка, обладающая им, торжествует над всеми своими соперницами, имеет все приятности, все дарования, но без него и приятности, и дарования сии теряют всю свою силу: им удивляются, но перестают их любить. Для чего же, Людмила, не сберегла ты данного мной сокровища? Для чего пояс скромности променяла на пояс суетности? Лишаешь талисмана, которому ты была обязана своим торжеством, ты потеряла и прелести, с ним соединенные: самые взоры своего любовника не могли узнать тебя в новом твоём наряде.

— Ах! — воскликнула Людмила, — бедная, жалкая моя участь! Я сама всему причиною, сама лишила себя своего счастья! Нет, уже никогда не видать мне прежнего времени. Улетело веселие души моей; умчались вы, прежние мои радости, никогда не переставать мне обливаться слезами: другая владеет теперь душою Святослава прекрасного.

Людмила закрыла обеими руками лицо свое и плакала горько.

— Утешься, мой друг, — сказала волшебница, взяв ее за руку с нежною улыбкою, — тебя обманули твоя неопытность и хитрость завистливых твоих подруг, Мирославы и Пересветы, но ты невинна в сердце. Возвращаю тебе потерянный пояс. Я следовала невидимо за Пересветою и Мирославою, когда они пошли от тебя со своею добычею. Между ними начался ужасный спор: каждая хотела иметь пояс, но он не достался ни одной: я унесла его и теперь возвращаю той, которая одна достойна обладать им по своему добросердечию и своей скромности.

Людмила бросилась целовать руки благодетельной волшебницы, которая обтерла ей слезы, поцеловала ее в розовые щеки и опоясала своею очарованною лентою.

Вдруг, по слову волшебницы, кровля низенькой хижины расступилась; глазам изумленной Людмилы предстала великолепная колесница, в которую запряжены были два оленя с серебряною шерстью, с золотыми рогами и крыльями. Вместо безобразной старушки явилась

молодая женщина, восхитительной красоты, одетая в очарованную одежду, из розовых лучей сотканную и опоясанную белым поясом, на котором блистали золотые знаки зодиака. Добрада — так называлась волшебница — посадила Людмилу в колесницу; златорогие олени распустили свои золотые крылья, и менее, нежели вмиг, колесница очутилась перед стенами великолепного Киева. Волшебница привела Людмилу в уединенный терем, запретила ей выходить из него до наступления вечера, благословила ее и скрылась.

Наступил вечер. Людмила, одетая очень просто, опоясанная белою лентою, вошла в палату великого князя Владимира и села на прежнее свое место, позади Пересветы и Мирославы. Они ее не заметили; они смеялись между собой над глупою ее легковёрностию и говорили друг другу о гордых своих надеждах. Но Людмила не думала о них: взоры ее видели одного Святослава. Он сидел подле великого князя Владимира, на креслах из слоновой кости с золотою насечкою, задумавшись, не удостоивая ни одним взглядом окружающих его красавиц: душа его требовала одной Людмилы, один очаровательный образ Людмилы носился перед ним, как милый пленительный призрак потерянного блаженства! Вдруг, о радость, он видит ее на том же самом месте, на котором увидел в первый раз, в той же простой одежде; видит ее, с сердечною, нежною любовью устремившую на него свои взоры.

— О Людмила! — восклицает он и бросается перед нею на колена.

— Да здравствует прелестная Людмила! — воскликнули единогласно бояре, богатыри и витязи.

Святослав, вне себя от восхищения, прижимает к сердцу милую свою невесту, которая с своим потупленным взором, с пылающими щеками своими, казалась ангелом красоты и непорочности, подводит ее к престолу князя Владимира и сажает по правую руку его на кресло из слоновой кости с золотою насечкою. Пересвета и Мирослава побледнели от зависти и досады. Заиграла музыка, и все опять должны были уступить Людмиле в искусстве пляски и пения. Опять затмила она своих соперниц, которые все единодушно, выключая Пересветы и Мирославы, согласились признать ее победительницею и даже радовались ее победе: столь сильны очарования скромной красоты, добродушия, непорочности. Вдруг раздается в палате пронзительный вопль, что такое? Страшные змеи, с отверстой пастию, с острым жалом, с горящими глазами обвивались вокруг Пересветы и Мирославы — вместо жемчужных поясов; Людмила бросается к ним на помощь, желает спасти их от угрызения сих страшных чудовищ; ее усилия напрасны. Зрители цепенеют от ужаса. Вдруг послышалось тихое пение, соединенное с звуками магических струн; в воздухе распространился приятный запах

роз и полевых фиалок; предстала волшебница Добрада, окруженная тихим розовым сиянием. Людмила бросилась перед нею на колена.

— Спаси Пересвету и Мирославу! — воскликнула она, простирая к ней руки.

— Добрая Людмила, — отвечала волшебница, — соглашаюсь простить им из любви к тебе. Змеи, которыми они обвиты, суть ядовитые змеи самолюбия и зависти. Прикоснись к ним своею белою лентою, и они исчезнут.

Людмила исполнила приказание Добрады, и змеи исчезли. Пересвета и Мирослава кинулись в объятия своей добросердечной подруги; они поклялись питать к ней искреннюю дружбу; они полюбили ту, которую за минуту ненавидели, которую желали свергнуть в погибель.

Великий князь Владимир благословил своего сына и Людмилу.

— О Святослав, — сказала прелестная невеста прелестному жениху своему, показывая на волшебницу Добраду, — вот моя благодетельница, вот та, которой я обязана твоим сердцем! Ах, за три дни перед сим была я не что иное, как бедная Людмила, простая поселянка; но теперь?.. Нет, никогда не была бы я замечена взорами Святослава прекрасного, когда бы могущество добродетельной Добрады не украсило меня теми приятностями, теми дарованиями, в которых мне отказала природа. Так, Святослав, в этом очарованном поясе заключены и красота моя, и все мои таланты.

Скромное сие признание украсило еще более в глазах Святослава его прелестную Людмилу.

— Друг мой, — сказала Добрада, — храни этот пояс, драгоценный дар моей дружбы: ничто не может лучше украсить женщины, где бы она ни была, в бедной ли хижине, в чертогах ли княжеских; нося его, ты будешь обожаема своим супругом, своими друзьями и подданными, обожаема до последней минуты.

Добрада исчезла. Нужно ли сказывать о том, что случилось после? И можно ли вообразить, чтобы Святослав не был счастлив, обладая Людмилою?

## ПРИМРОЗА И ОЛИВЬЕ

(Истинное происшествие XII века)

Примроза, прелестная дочь герцога д'Ольбана, и Оливье, молодой, прекрасный рыцарь, любили друг друга нежно; сердца их были невинны и чисты; но д'Ольбан, честолюбивый и слишком надменный своим богатством, не хотел наименовать сыном прекрасного Оли-



вье, которого все богатство составляли доброе, исполненное любовью сердце, и мужество, пренебрегающее всякую опасность и самую гибель. Отчаянный Оливье приходит, во мраке ночи, к Примрозе. «Прости! — говорил он ей, — презираю жизнь, когда не должно владеть тобою. Я решился — навеки оставляю отечество; навеки оставляю тот милый край, в котором я наслаждался любовью, в котором судьба лишила меня лучших моих радостей! Иду в чужие земли — буду искать смерти под знаменами какого-нибудь воюющего государя; умру на поле сражения и в последнюю минуту произнесу имя незабвенной моей Примрозы! Прости навеки! Навеки!» Примроза плакала, внимая словам своего рыцаря. Просьбы ее остались тщетны — Оливье, непреклонный, отчаянный, твердо решился с нею разлучиться и искать смерти посреди сражения кровопролитного.

— Оливье, мой друг, мой единственный друг! — воскликнула Примроза, обливая слезами руку своего любезного. — Говори, что могу я для тебя сделать?

— Ты можешь за мною последовать! — отвечал Оливье. — Решись, Примроза! Оставь неумолимого, безжалостного отца — будь моею! Произнесем наши клятвы перед лицом Всевышнего Создателя, Который сам образовал нас друг для друга! Он их услышит, Он благословит непорочный союз наш, и мы будем счастливы. Так, Примроза! Нам определено делиться жизнью! И можешь ли позабыть прежнюю любовь нашу? Нет, мой друг — ты будешь виновна и несчастна! Ты будешь во всю свою жизнь упрекать себя моею смертью...

Он умолкнул; ужасная скорбь стеснила его душу, в груди его спирались стенания. Примроза стояла, как пораженная громом: предложение оставить отца, оставить родительский дом привело ее в ужас; она опустила руку Оливье, которую прежде прижимала с страстною любовью к сердцу. В душе ее вопиял голос природы, в глазах ее изображалось отчаяние. Оливье бросился на колена, последний раз поцеловал руку ее.

— Навеки, Примроза! — воскликнул он, устремив на нее горестный взор и удалился...

Ах, душа Примрозы не могла противиться сему могущественному взору. «Я твоя, Оливье!» — воскликнула прекрасная, бросаясь к нему в объятия. Они летят. Мрак ночи скрывает их бегство, и в полночь достигают они одной уединенной церкви: священник принял у алтаря Божия их клятвы, которые так часто произносили они перед лицом небес, но увы! Небеса не хотели благословить сего союза, произведенного любовью, вопреки воле родительской.

Герцог д'Ольбан, узнавши о похищении дочери своей, немедленно послал за нею погоню — любовников настигли; напрасно Оливье с отчаянным мужеством защищал свою супругу; их разлучили. Оливье, с глубокою ранюю на груди, лишенный чувств, облитый кровью, оставлен был замертво в глубине леса — добродушный пустынный, который обитал в этом уединенном месте, поднял его, отнес в свою хижину, перевязал ему раны и спас его от неминуемой смерти.

Примроза — печальная, трепещущая — представлена была перед лицом разъяренного родителя: неумолимый д'Ольбан плакал от бешенства и мщения.

— Счастлив твой похититель, — восклицал он, сверкая взором, — что смерть избавила его от казни, мучительной и поносной!

Примроза молчала, и что могла она сказать жестокому, который принуждал ее даже радоваться, что милого рыцаря ее не было уже на свете? Но через несколько дней приходит в замок д'Ольбанов старый пилигрим — его представляют Примрозе.

— Оливье, нежный супруг твой, жив, — сказал он ей вполголоса, — он дышит для тебя! Молись, Примроза, чтобы небеса смягчили жестокосердого твоего родителя.

Душа Примрозы оживилась. «Скрывайся, мой друг! — отвечала она через пилигрима своему рыцарю, — отец мой тебя погубит, если узнает, что ты еще жив! Небо милосердно! Быть может, и нам суждено узнать некогда счастье».

Уже Примроза носила под сердцем плод тайного союза своего с Оливье. Надлежало укрыться от взоров д'Ольбана — она уехала, с позволения герцога, в замок старой графини Монбар, приятельницы ее матери, которой известна была ее тайна, которая любила ее, как дочь, которая сама желала, чтобы рыцарь Оливье был ее супругом. Отец, надеясь, что перемена места рассеет грусть Примрозы, не стал противиться ее отъезду — он был уверен, что Оливье умер от своей раны.

В сем уединенном замке, под кровом благодетельной дружбы, Примроза произвела на свет прелестного сына — она проводила дни и ночи у колыбели его; сама кормила его грудью; нередко орошала горестными слезами и всякий день молила Создателя, чтобы Он благословил сие невинное творение. Часто во мраке ночи видалась она с Оливье, вместе с ним любовалась на милого своего младенца, вместе с ним молилась у колыбели его и плакала, воображая, что жизнь его начиналась несчастьем. «Милое дитя, — говорила Примроза таким голосом, который трогал душу, — будь счастливее твоих родителей! Ах! Да избавит тебя Святой Промысл от тех страданий, которыми отравлены лучшие дни моей жизни!» Тогда Оливье, исполненный любви и скорби, сжимал ее

в своих объятиях. Он укорял себя всеми несчастьями Примрозы, но Примроза утешала его ласкающим взором; она спешила сокрыть свои слезы; она ответствовала на скорбь его нежною улыбкою.

Протекло несколько месяцев после рождения маленького Леонара — никто не знал о нем, никто, кроме Примрозы, рыцаря Оливье и старой графини Монбар. Его уносили в отдаленные комнаты всякий раз, когда герцог д'Ольбан или который-нибудь из родственников его посещали замок. В один вечер — не успел Оливье разлучиться с Примрозою, как ей послышался голос грозного д'Ольбана; она оцепенела... «Он погиб!» — восклицает она в отчаянии... трепещет... рассудок ее помутился... шум приближается... идут... это герцог д'Ольбан!.. Куда бежать?.. Где скраться?.. Как спасти от него младенца, который лежал, почивая спокойным сном, в руках ее?.. Окошко отворено... они уже у дверей... Примроза, бедная Примроза! В беспомощности, сама не зная что делает, бежит она к окну и бросает в него своего сына... В эту ужасную минуту она опомнилась... видит, что на руках ее нет уже младенца... видит перед собою отца... узнает свое преступление и с страшным воплем, бездыханная, падает на пол к ногам д'Ольбана. Герцог, чрезвычайно изумленный, требует помощи. Примрозу опрыскивают спиртами; она открывает глаза, но с каким чувством! Горесть возвратила ей силы; все удалились, думая, что она имеет нужду в покое; она пользуется минутою свободы... бежит из замка; находит своего сына мертвого, с разбитою о камень головою, орошенного кровью; бросается к нему в иступленном отчаянии, прижимает ко груди окровавленные остатки его, целует их, орошает слезами и вместо того, чтобы возвратиться в замок, бежит в соседственный город, прямо в судилище и представляется судьям, бледная, с мутными взорами, с разбросанными в беспорядке волосами, обгаренная кровью своего сына. «Правосудия! Правосудия! — восклицает она, сбросив покрывало с обезображенного трупа, — это мой сын! И я его убийца!» Все присутствующие оцепенели от ужаса. Примроза продолжает себя обвинять, подробно описывает свое злодейство, не говорит ни слова о тех обстоятельствах, которые могли бы его извинить, и требует казни.

В эту минуту входит в судилище рыцарь д'Ольбан; какое зрелище для очей родителя! Дочь, терзаемая отчаянием, обгаренная кровью, обвиняющая самое себя в убийстве! В ее объятиях мертвое дитя — это ее сын, и сын, умерщвленный невинною матерью! Примроза, увидя отца, закрыла руками лицо свое; он хочет к ней подойти, хочет прижать ее к сердцу — она содрогается и падает к ногам его без памяти. Ей возвращают чувства; она требует, чтобы удалили ее несчастного родителя.

Его уведят — горестного, мучимого жестоким, но, увы, бесполезным раскаянием.

Преступление Примрозы могло быть извинительно перед глазами человека, но строгое правосудие не принимает никаких оправданий: невинную убийцу заключили в темницу. Скоро повсюду распространились слухи о ее несчастье. Оливье прибегает к темнице, требует, чтобы ему показали Примрозу: темничные двери отворились. Боже! Какое зрелище! Он видит супругу свою, прежде прелестную и цветущую, как роза, теперь изнуренную скорбью; глаза ее тусклы; щеки покрыты бледностью преступления — он хочет устремиться в ее объятия. «Остановись, — восклицает Примроза, — ты видишь перед собою убийцу твоего сына! Оставь несчастную, которая заслуживает смерть и ждет ее как блага! Откажись от меня, да не падет на тебя мое преступление! Оливье, Примроза для тебя уже не существует; ты должен разлучиться с нею навеки; память ее покрыта будет поношением, могила обременена проклятиями... Но, мой друг! Она жила для тебя, она почитала своим блаженством нежную твою любовь и некогда была ее достойна! Одна минута... одна минута забвения и ужаса! Но, Оливье, ты едва успел меня оставить, и вдруг слышу — голос моего раздраженного отца, стук оружия, воображаю тебя умерщвленным, плавающим в крови... глаза мои помутились... я потеряла рассудок... Боже! О Боже! Могу ли продолжать?.. Нет, Оливье! Ты знаешь, что я тысячу раз ценою собственной своей жизни спасла бы драгоценную жизнь моего младенца... сердце мое не имеет участия в сем преступлении... оно и теперь невинно! Ах! Могла ли я ожидать такого жребия!» Слезы полились ручьями из глаз Примрозы. «Оставь меня, Оливье, — сказала она, — удались! Я не имею сил переносить твоего присутствия! Прости, несчастный! Мы никогда, никогда не увидимся... Но прошу тебя, да не будет для тебя ужасным воспоминание о Примрозе!» Оливье побежал из темницы, терзаемый страшною горестью; Примроза проводила его взором, потеряв его из виду, она бросилась на колена, подняла к небу свои руки и молила его послать утешение осиротевшему ее супругу.

Строгий закон осудил Примрозу на смерть. Могу ли изобразить состояние отца ее, терзаемого раскаянием! Примроза видела его слезы — она внимала его благословениям, приготавливаясь разлучиться с ним навеки.

Наступила минута казни. Глаза Примрозы искали Оливье, но Оливье не являлся. «Где он?» — спросила она. Ей отвечали молчанием. «Ах! Понимаю, — воскликнула Примроза, — его уже нет! О мой Оливье! Ты первый встретишь меня за пределами жизни!..» Примроза

не обманулась; отчаяние умертвило ее супруга. Она с трепещущим от радости сердцем услышала стук запоров, снимаемых с темничной ее двери. Эшафот был уже воздвигнут. Уже бесчисленная толпа народа его окружала. Примроза взошла на него спокойно: присутствие смерти как будто утомило ее страдание. Никто не мог смотреть на нее без слез: одни закрывали глаза, другие простирали к ней руки, иные рыдали: она посмотрела на предстоявших с улыбкою; простерла руки к небесам, как будто увидя вдали зовущие ее милые тени, и через минуту ее не стало.

*(С французского)*

## ЛИММЕРИКСКИЕ ПЕРЧАТКИ<sup>1</sup>

(Повесть г-жи ЭДЖЕВОРТ)

Быль воскресный день — колокола кафедральной Герфортской церкви<sup>2</sup> звонили к проповеди; на улицах молились богомольные люди. «Госпожа Гиль! Госпожа Гиль! Бетти! Бетти! Готовы ли вы? Совсем почти отзвонили, мы опоздаем: разве забыли вы, что я церковный староста?» — так кричал господин Гиль, кожевник, стоя на последней ступеньке лестницы, с тростью и шляпою в руках, в ожидании жены и дочери.

— Я готова, батюшка, — сказала Бетти, проворно сбежавши с лестницы. Она была так приятна, так свежа и так хорошо одета, что отец, посмотревши на нее, не мог не улыбнуться, смягчил голос и только сказал, увидя, что она еще не надела перчаток: «Напрасно, мой друг, ты останавливалась за перчатками, их можешь надеть дорогою».

— А по моему мнению, — сказала госпожа Гиль, которая тихо сходила с лестницы, одетая в праздничное платье, в огромной соломенной шляпе с ужасным пунцовым бантом, — и совсем не должно бы было ей надевать этих перчаток!

— Я не понимаю, — сказал господин Гиль, — почему эти перчатки находишь дурными. Перчатки как перчатки, лайковые, белые. Но будем говорить об этой материи после. Пора к обедне.

Господин Гиль подал жене и дочери руку — но Бетти еще не надела своих перчаток, а госпожа Гиль сердилась и била себя по носу опухалом.

— Знаю, — ворчала госпожа Гиль, — знаю, что все мои слова считаются за ничто, но я умею рассуждать о вещах не хуже других, а может быть, и лучше! Например, не я ли прошлого году предсказала тебе, что нашу большую собаку украдут? Не я ли первая заметила, что стены нашей кафедральной церкви начинают обваливаться? Тебе бы никогда

не пришло в голову об этом подумать, хотя считаешься и старостою церковным!

— Но, ради Бога, растолкуй мне, какую связь имеют Беттины перчатки с большою нашею собакою и с трещиною на стене кафедральной нашей церкви?

— Слепой человек! Разве ты не заметил, что эти перчатки лиммерикские?

— Заметил, и все еще тебя не понимаю, — сказал господин Гилль, понизив голос, таково было его обыкновение, когда супруга его начала сердиться, и когда еще он сам не вышел из терпения.

— Странный человек! Но разве ты забыл, что Лиммерик — город ирландский?

— Помню!

— Стало быть, ты обрадуешься, когда наша кафедральная церковь, в которой ты староста, взлетит на воздух, и когда тот, кому удастся подорвать ее, женится на твоей дочери?

— Боже избави нас от такого несчастья! — воскликнул господин Гилль, переменявшись в лице; он остановился, чтобы поправить парик свой, который съехал на правое ухо. — Но, госпожа Гилль, — продолжал он, — я не вижу, что заставляет вас иметь такое подозрение?

— Не видишь? Не видишь? Мало ли чего ты не видишь, друг мой! Ты только других умеешь называть зеваками или слепыми! Прошлого году я же тебе советовала беречь нашу большую собаку — но ты меня не послушал! То же будет и с церковью.

— Душа моя, боюсь Богом, не понимаю ни одного твоего слова. Говори яснее, прошу тебя!

— Яснее? Бетти может говорить с тобою яснее. Спроси, от кого получила она перчатки?

— От кого, Бетти?

— Батюшка! Меня подарил ими господин Бриан О'Неиль! — отвечала Бетти, потупив глаза и покрасневшись.

— Ирландской перчаточник? — воскликнул отец с ужасом.

— Что скажешь теперь? Обманулась ли я, или нет? — спросила госпожа Гилль.

— Сей час сними эти перчатки, Бетти! Я видал твоего Бриана один только раз в жизни, но, право, не могу его терпеть: он ирландец. Говорят тебе, сними перчатки!

— Но, батюшка, я не взяла с собою других.

— У меня есть в запасе шелковые, — воскликнула госпожа Гилль, вынимая из кармана старинные шелковые перчатки, с прорезанными пальцами, замаранные и чрезвычайно широкие.

— Но скажите, батюшка, разве ирляндец не может быть честным человеком? — спросила Бетти.

Господин Гилль не отвечал ни слова.

Они пришли в церковь. «Теперь не время думать об ирляндцах и англичанах, — шепнула госпожа Гилль на ухо своей дочери, — помни, что тебе надобно, сидя в церкви, показывать людям, что ты дочь церковного старосты».

Не почитаем за нужное говорить о тех коварных насмешках, которые были сказаны молодыми соседками на счет старинных Беттиных перчаток. Господин Гилль, как церковный староста, пошел после проповеди осматривать пролом, о котором говорила ему жена: он нашел в фундаменте церкви скважину, величиною в кулак, и небольшую трещину, на которую долго смотрел в размышлении, потирая лоб и нюхая табак; между тем госпожа Гилль прохаживалась по кладбищу и хвасталась перед соседками, что не позволила своей дочери носить перчаток ирляндской фабрики.

Бетти пошла домой, будучи очень печальна и не понимая, как можно ненавидеть человека единственно потому, что он ирляндец, и отчего мать ее говорила так много о пропавшей собаке и проломе в стене церковной. Неужли, думала Бетти, воображает она, что господин Бриан О'Неиль украл собаку или что он имеет намерение подорвать кафедральную церковь? В эту минуту она поравнялась с развалинами одного дома, которые напомнили ей, что она увидела господина Бриана в первый раз во время пожара, в котором он оказал многим несчастным великие пособие. Она вспомнила также, что давно не посещала вдовы Смит, у которой сгорел дом, и которая от бедности жила в тесной лачуге. Бетти имела в кармане ефимок<sup>3</sup>; она хотела заплатить за билет в театр, но решилась пожертвовать им вдове Смит: пошла к ней, и к величайшему своему удивлению нашли в доме ее господина Бриана О'Неиля.

— Я думала, что ты одна, — сказала Бетти, покрасневши. Господин Бриан поклонился ей. Бетти начала разговаривать с госпожою Смит, вложила ей в руку ефимок и ушла, давши слова посетить ее очень скоро опять. Господин О'Неиль, удивленный холодным обращением Бетти, последовал за нею.

— Скажите, Бетти, не имел ли я несчастье сделать что-нибудь для вас неприятное? — спросил он, смотря с удивлением на Беттины шелковые перчатки.

— Нет, сударь, я не имею ни права, ни причины сердиться на вас! Но батюшка и матушка, не знаю почему, расположены к вам очень

дурно. Они запретили мне надевать лиммерские перчатки, которыми вы меня подарили.

— Но я надеюсь, что любезная Бетти не переменит своего мнения о том человеке, который привязан к ней от всего сердца, единственно потому, что ее родители, без всякой причины, перестали быть к нему благосклонными.

— Но я еще не имею никакого о вас мнения, господин Бриан: как же могу переменить его?

— Вы познакомитесь со мною короче; вы отдадите мне справедливость! Батюшка и матушка ваши расположены ко мне дурно — это самое усиливает во мне желание заслужить вашу любовь, а им доказать, что я не похож на многих из земляков моих, которые приезжают сюда только за тем, чтобы обманывать легковверных женщин, имеющих, по несчастию, богатое приданое. Теперь намерение мое вам известно, любезная Бетти — снимите ж, прошу вас, эти смешные перчатки и наденьте мои! Я надеюсь, что вы не откажетесь сделать мне это мало-важное удовольствие!

— Вы слишком многого надеетесь, господин О'Неиль! Я никогда, в угодность вам, не соглашусь противиться воле моих родителей.

— Ах, мисс Бетти, — воскликнул Бриан, — мог ли я вообразить, чтобы вы были так переменчивы?

Он удалился, сделав ей низкий поклон.

В следующий понедельник мисс Женни Браун, дочь парикмахера, пришла навестить Бетти.

— Не правда ли, что нам будет очень весело? — спросила она, входя в комнату и бросая на стол свою соломенную шляпку.

— От чего весело? — спросила Бетти печальным голосом.

— Что с тобою сделалось? Ты очень грустна! Разве тебе не позволяют ехать на бал?

— На какой бал? — спросила госпожа Гиль с любопытством.

— Чудное дело! Но разве господин О'Неиль не присылал к вам билета? Разве не получили вы лиммерских перчаток?

— Какая связь между лиммерскими перчатками, билетом и балом?

— Я вижу, что вы ничего не знаете! Господин О'Неиль при каждом билете разослал по паре перчаток лиммерских. Если Бетти не поедет на бал, то я уверена, что он откроет его со мною!

Через полчаса Женни ушла. Госпожа Гиль и Бетти долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Нынче поутру, сказала Бетти, приносили ко мне записку, но я не приняла ее, потому что адрес подписан был рукою господина О'Неиля.



Надобно знать, что Бетти рассказала уже матери о встрече с господином Брианом после обедни. Это переменяло несколько ее мнение на счет ирляндца. Госпожа Гильль имела доброе сердце; главный порок ее состоял в том, что она чрезмерно желала казаться проникательнее других. Она мучилась мыслию, что Женни может заступить место ее дочери на бале; прежде она пренебрегала привязанностию господина О'Неиля к Бетти, потому что была в ней уверена, но теперь, вообразив, что соседка ее, парикмахерова жена, может выдать свою дочь за О'Неиля, начала смотреть на него совсем другими глазами.

— Надобно об этом подумать, Бетти, — сказала госпожа Гильль. — В той записке, которую ты не приняла давеча поутру, конечно, приглашали тебя на бал. Надобно ехать, Бетти — можно ли стерпеть, чтоб Женни открыла вместо тебя бал с господином О'Неилем. Я сама теперь начинаю думать, что он не бродяга ирляндский, что не он украл нашу собаку, что в церкви пролом сделан не им, что он никогда не имел намерение взорвать ее на воздух, и что, наконец, он заслуживает внимание особенное, потому что может давать балы и при билетах рассылать лиммерикские перчатки. Послушай, Бетти, я позволяю тебе ехать на бал в перчатках, подаренных тебе господином О'Неилем: мне и самой надобно повидаться с его матерью, которой я еще не заплатила визита. Мы увидим, будет ли танцевать вместо тебя болтливая Женни. Теперь пойду к твоему отцу — надобно у него спроситься.

Но госпожа Гильль, к сожалению своему, скоро увидела, что супруг ее крепко держался своего мнения и непременно хотел быть уверен, что господин Бриан — похититель собаки и заговорщик против кафедральной его церкви. Он сообщил уже свои подозрения тому клубу, в котором был членом; одни уверяли его, что он бредит; другие — и большая часть — почитая невозможным, чтобы римской католик мог быть честным человеком, соглашались, что господин Бриан О'Неиль — человек подозрительный; что он приехал в Герфорт неизвестно зачем; что у него множество денег, а откуда он их берет, не знают; и что, наконец, необходимо должно иметь над ним строгий надзор.

Господин Гильль, услышав о бале, тотчас сообразил, что он не иное что, как хитрая выдумка заговорщиков.

— А! А! — воскликнул господин Гильль, — этот ирландец не глуп! Он хочет усыпить нас своими пирушками; он хочет нас вздернуть на воздух в ту самую минуту, когда мы будем заняты одними весельями. Хитрец! Но ему не удастся нас обмануть! Я поседел старостою церковным! Я спасу моих сограждан от страшной опасности, им угрожающей! Слышишь ли, Ревекка? Запрещаю Бетти и думать о бале, запрещаю ей носить лиммерикские перчатки, которые подарил ей этот опасный

заговорщик — прошу вас обеих делать без всякого прекословия то, что я почту необходимым: верьте моей опытности, я в этом деле знаю гораздо более вас.

Госпожа Гилль возвратилась к дочери, в великом недоумении, уверенная решительным тоном супруга своего, что заговор, ею самую выдуманный, точно существует; она побежала к соседкам и рассказала каждой за тайну то, что было ей известно о сем великом деле.

Бетти покорилась без роптания воле своих родителей, но в сердце ее была сокрыта нежная привязанность к О'Неилю, который в самом деле был человек достойный уважения и любви. Вдова Смит прислала к ней маленькую свою дочь, чтобы поблагодарить за то пособие, которое она ей сделала. Мисс Луиза много рассказывала ей о господине Бриане, который был чрезвычайно добр и ласков и благодетельствовал им со времени их несчастья. Бетти слушала с удовольствием похвалы О'Неилю; она пошла в комод, вынула ленту и подарила ее маленькой Луизе. Лиммерикские перчатки представились ее глазам — она вздохнула, сорвала с горшка розу, ощипала листья, осыпала ими перчатки и накрыла их белым платком.

Между тем господин Гилль беседовал с важными политиками своего клуба — все они согласно признались, что кафедральной Герфортской церкви угрожает опасность. Все обстоятельства были приняты в рассуждение: этот бал, на котором будут танцевать до упаду, эти перчатки, которые раздаются даром при билетах, может быть, потому, что господин Бриан не имеет нужды их продавать — все казалось столь подозрительным, что разве один сумасшедший мог бы не признать в О'Неиле тайного неприятеля англичан и религии, выдающего себя за перчаточника ирландского. Заключение, что всего безопаснее посадить его в тюрьму — надлежало только найти законный предлог.

О'Неиль в платеже долгов своих не имел той строгой точности, какую отличаются обыкновенно английские купцы; он задолжал хлебнику и портному и дал им векселя на шесть месяцев сроком. Эти векселя куплены были господином Гиллем; срок вышел, положено было задержать господина О'Неиля, если он не будет в состоянии заплатить деньги в ту самую минуту, в которую их потребуют. Поверенный господина Гилля приходит к Бриану требовать платежа; но Бриан, будучи занят приготовлениями к балу и удивленный, что видит в чужих руках свои векселя, сказал в сердцах, что не имеет ни шиллинга денег<sup>4</sup>, и что ему не время теперь заниматься таким вздором. Поверенный пересказал господину Гиллю слово от слова ответ Бриана.

После бала О'Неиль пошел провожать пешком мисс Жени, парикмахеру дочь. К нему приближается человек, бьет его по плечу и говорит:

«Государь мой, от имени короля беру вас под стражу!» — «Врешь, бездельник! — воскликнул Бриан. — Это плутни проклятого Гилля! Один он способен обидеть честного человека за такую малость!» На улице сделался страшный шум; множество народа столпилось вокруг Бриана; ирландские работники хотели вступить за своего земляка; началась драка, но Бриан все успокоил своим благоразумием; он последовал за полицейским, а между тем послал к своей матери просить, чтобы она как можно скорее нашла за него поруку.

Госпожа О'Неиль тушила свечки, оставшиеся после бала, когда пришли ей сказать о несчастье, приключившемся ее любезному сыну. Не трудно, подумала она, сыскать поруку между людьми, которые за несколько минут веселились и танцевали в моем доме; но танцевать и быть порукою — великая разница. Госпожа О'Неиль узнала это на самом опыте. Все ее приятели отказались от поручительства под разными предложениями. Что делать? Скорее посылать к ростовщику, закладывать вещи, платить тройные проценты — как бы то ни было, господин О'Неиль, просидев часа два в городской тюрьме, получил опять свободу, но он не подозревал, что его брали под стражу для того единственно, чтобы воспрепятствовать ему взорвать на воздух кафедральную церковь. Возвращаясь домой и идучи мимо церкви, он увидел прохаживающегося около ограды человека. «Который час?» — спросил он у незнакомого. — «Три часа! — отвечали ему. — И, слава Богу, еще не показывался ни один неприятель!»

Господин Бриан воспользовался данным ему уроком; дабы приобрести общую доверенность, решил он себя ограничить и жить скромно, так как прилично простому перчаточнику; опыт доказал ему, что добрые друзья никогда не платят худых долгов.

На другое утро господин церковный староста проснулся с веселым духом и тотчас побежал в церковь служить благодарный молебен, ибо он, по христианскому смирению, относил к милосердию Бога успех свой в уничтожении козней общего врага. Он согласился вместе с другими членами клуба завести ночной караул около кафедральной церкви, а между тем собрать все нужные сведения и доказательства, чтобы обвинить в суде заговорщика.

Исполнив то, чего требовало от него звание человека государственного, пошел он на кожевенный завод осматривать свои магазины. — Но кто изобразит его удивление! Двери магазина были изломаны; кожи растасканы и разбросаны, а в магазине все приведено было в страшный беспорядок. «Это Брианова шутка! — воскликнул господин Гиль. — Сей час иду в суд!» Он побежал к своему стряпчему<sup>5</sup>, чтобы посоветоваться с ним, как подать просьбу на О'Неиля, но стряпчего не

было в городе, и господин Гильь принужден был возвратиться домой. Дорогою размышлял он о том, как бы начать и удачнее кончить новую свою тяжбу, а между тем рассчитывал в голове убыток, претерпенный им от потери кож.

Господин Гильь имел весьма порядочный аппетит. Желудок его всегда согласен был с солнечными часами. Он безошибочно узнавал время обеда, а за обедом ел очень много и очень долго, за что весьма нередко ссорилась с ним его супруга. «Мне стыдно сидеть с тобою за столом, когда у нас гости, — говорила она ему почти каждой день, — ты имеешь такой беспутный аппетит, что люди, глядя на тебя, творят молитвы. Я бы советовала тебе никогда не садиться за стол натошак, чтобы наконец не прослыть обжорою!» Господин Гильь заметил последний совет благоразумной своей супруги, и согласуясь с ним, всякий день перед обедом заглядывал на кухню, дабы приготовить себя к столовому бдению порядочною частию говядины. И в этот день, в который случилась в магазине его такая расстройка, посетил он по обыкновению своему кухню: повариха разговаривала с девкою о славном ворожее Бамфильде, который жил в соседственном селе с цыганами. Господин Гильь подслушал сей разговор и рассудил за благо употребить его в свою пользу. Он возвратился в столовую с важным лицом и так был рассеян во время обеда, что госпожа Гильь несколько раз принуждена была ему сказать: «Что с тобою сделалось? От чего ты так задумчив? Впервые от роду забываешь то, что у тебя на тарелке».

— Госпожа Гильь, — сказал церковный староста, — прошу вас вспомнить, что любопытство праматери вашей Евы погубило весь человеческий род. Будет время, и все узнаете, но в ожидании сего времени воздержитесь, прошу вас, от всех вопросов. Женщины неспособны постигать следствий. Что я знаю, то знаю; что думаю, то думаю; что говорю, то говорю. Бетти, мой друг, ты хорошо сделала, что не носила перчаток лиммерикских: дела наши принимают точно такой оборот, какой я предсказывал.

После обеда господин Гильь растянулся в больших своих креслах и захрапел. Во сне представились ему кафедральные церкви, которые одна за другою взлетали на воздух. Человек, имевший в руках множество лиммерикских перчаток, зажигал порох; кожи были разбросаны по полю и плавали по поверхности озера; пропавшая собака его, вообразив, что это бараньи котлеты, бросалась за ними в воду и ловила из зубами; он кричал на собаку, бросал в нее камнями, но вдруг собака оборотилась в ворожее Бамфильда, который, подошед к нему с важным лицом и подавая плеть, воскликнул громозвучным голосом: «Этой плетью должно высечь Бриана О'Неиля на большой площади Герфорт-

ской!» Господин Гилль хотел броситься на колена перед Бамфильдом, но он загремел со стула и крепко ударился плешивою головою об стену. Это движение пробудило его.

Он начал рассуждать о таинственном видении, которое представилось ему во сне, и решился посетить ворожею Бамфильда.

На другой день рано поутру отправился он в цыганский стан. Бамфильдова хижина находилась в самой густоте леса. Господин Гилль вошел в нее с трепетом сердца.

— Знаешь ли ты, — сказал он Бамфильду, — одного подозрительного ирландца именем О'Неиль, живущего в Герфорте?

— Как не знать!

— Что ж ты о нем скажешь?

— Что это весьма подозрительный ирландец.

— Правда твоя! Не он ли украл мою собаку, которая стерегла коженые магазины?

— Он!

— Не он ли растаскал мои кожи?

— Кому ж другому?

— А пролом в стене кафедральной церкви не им ли сделан?

— Боже мой! Точно им!

— С каким намерением?

— С таким намерением, которого сказать нельзя.

— Но мне сказать можно! Я церковный староста. Кому же и знать, как не мне, что нашу кафедральную церковь хотят подорвать порохом? А?

Бамфильд отвечал:

Церковный староста, поверь,  
Дотоль не знать тебе покою,  
Пока ирландский этот зверь  
Встречаем будет здесь тобою!

Сии пророческие стихи решили сомнение господина Гилля; он простился с Бамфильдом и побежал в город, в намерении пожаловаться на Бриена герфортскому мэру.

Во время беседы господина Гилля с волшебником стоял у дверей хижины один ирландский ремесленник, который также имел небольшую претензию на будущее и желал посоветоваться с премудростию Бамфильда. Этот добрый человек, именем Падди, пользовался благодеяниями О'Неиля. Он услышал, что в хижине произносили имя его покровителя, начал прислушиваться с большим вниманием и не потерял ни одного слова из разговора. Это не колдун, а обманщик, подумал он, услышав, что Бамфильд называл О'Неиля разорителем коженых магази-

зина. Падди имел неоспоримую причину так думать, ибо он сам с товарищами, в отместку за обиду, нанесенную Гиллем Бриану, разбросал кожи, находившиеся в магазине. Вообразив, что глупость, им сделанная, может причинить вред его покровителю, он побежал в Герфорт, созвал товарищей и начал вместе с ними опять приводить в порядок разбросанные кожи. По несчастию, они слишком понадеялись, что в Герфорте, в глухую полночь, все люди спят, ибо в ту самую минуту, в которую работа их была приведена уже к окончанию и Падди стоял на верху пирамиды, укладывая последний ряд кож, дозор, ходивший вокруг кафедральной церкви, увидел работников и закричал: вот они! держите! Работники разбежались, но Падди был схвачен и отведен в караульню.

«Хочу быть повешен, — восклицал он дорогою, — если караульщики застанут меня за добрым делом! В этом мире точно хорошее не удается!»

Герфорстский мэр, господин Маршалль, был человек добрый характером, проникательного ума и опытный; он знал в тонкости судебные обряды. В Герфорте вошло в пословицу: кто побывал в доме господина Маршалля, тот возвращается к себе добрее и склоннее к миру.

Господин Маршалль завтракал, когда ему доложили о прибытии церковного старосты господина Гилля.

— Милости прошу! — сказал господин Маршалль.

— Доброго утра желаю вам! — сказал господин Гилль, входя и кланяясь. — Худые вести в городе, очень худые! — прибавил он с важным видом.

— А я думаю напротив, господин Гилль! В городе веселятся: третьего дня был прекрасный бал.

— Тем хуже, господин Маршалль! Не все люди способны видеть следствие, не все проникают во глубину вещей!

— Я с вами не согласен, — отвечал господин Маршалль улыбаясь, — я говорю: тем лучше! Вместе со всеми людьми, которым лучше! Вместе со всеми людьми, которые, также как и я, не видят следствий и не умеют проникать во глубину вещей!

— Прошу меня извинить, господин Маршалль! Теперь не время смеяться: если бы не я, то наша кафедральная церковь поднялась бы на воздух в то самое время, в которое весь город прыгал, выпуча глаза, на этом проклятом бале!

— Это другое дело! Прошу вас покорно объясниться, господин Гилль!

И Господин Гилль объяснился.

— То что вы говорите, конечно весьма важно, — сказал господин Маршалль, выслушав объяснение господина Галля, — но прошу объявить

мне, какие средства употребили вы, чтоб получить такое подробное сведение об этом деле?

— Это моя тайна, милостивой государь, но вам могу ее открыть без всякого опасения. Знайте же, что я говорил с ворожеею Бамфильдом.

— А, понимаю! С Бамфильдом! Позвольте ж, любезный господни Гиль, поздравить вас, что вы не успели еще обвинить судебным порядком господина Бриана. Уверяю вас, что вы сделали бы посмешищем всего города Герфорта.

— Как, посмешищем, господин Маршал? Спаситель кафедральной церкви — посмешище! Но я назову вам многих людей, которые совершенно согласны со мною.

— Но сказывали ли вы им, что вы советовались с ворожеею Бамфильдом?

— На что же мне это сказывать?

— И хорошо сделаете, если не скажете, господин Гиль!

Он подошел к окну, из которого виднее был весь кожевенный завод господина Гилля.

— Это что? — спросил он, указывая на кожи, которые складены были по-прежнему. — Вы, кажется, уверяли меня, что все ваши кожи были разбросаны?

Кто может изобразить удивление церковного старосты? Он протирает глаза, смотрел попеременно то на господина Маршала, то в окно, и сам не понимал, что с ним происходило. Кликнули Падди, который за час до Гиллеева прихода приведен был к господину Маршалу; он изъяснил церковному старосте, по какому чуду разбросанные кожи опять явились в том же месте и в прежнем порядке.

— Но собака моя? Кем она украдена? — восклицал господин Гиль.

— Едва ли не знаю я вора, — сказал Падди.

— Кто он? Говори! Неужели, в самой вещи, господин Бриан О'Неиль?

— Нет, милостивый государь, я сам не знаю, на кого подумать, но вот что случилось со мною в ту самую ночь, в которую бедный господин Бриан был взят под стражу. Мать его меня посылала к ростовщику занимать деньги. Я пришел к нему в самую полночь, разбудил мальчика, который, засветив свечку, оставил меня в лавке, и между прочим заметил собачий ошейник с серебряною бляхою, на которой вырезано имя господина Гилля.

— Это ошейник моей собаки! Четвероугольная большая бляха с кольцом: не так ли?

— Точно так!

Послали к ростовщику — он признался, что получил ошейник от самого ворожееи Бамфильда. Господин Гиль покраснел; он радовался

внутренно, что не успел обвинить господина Бриана в суде, но самолюбие жестоко в нем страдало.

— Все это очень хорошо, господин Маршалль, — воскликнул он, — но трещина в стене кафедральной церкви? Это одно обстоятельство важнее тысячи; пока не объясню его совершенно, по тех пор не могу иметь хорошего мнения о вашем ирландце.

— Признайтесь, господин Гиль, что вы все еще думаете о пророческих стихах ворожеи Бамфильда! Но послушайте, если вы не хотите, чтобы я рассказал в городе о вашем легковерии, то согласитесь сделать мне удовольствие. Можете ли вы, например, забыть, что господин Бриан — ирландец, если тайна церковного пролома удовлетворительным образом для вас объяснится?

— Думаю! И какая мне до того нужда, что он ирландец? Люди родятся там, где угодно Богу: я совсем не из числа таких, которые твердо уверены, что все хорошее в одной только Англии. Честные люди водятся в Ирландии, как и везде: англичанин, ирландец, равно подданные Его Британского Величества. Но эта трещина, господин Маршалль, эта трещина! Что она значит?

— Но можете ли вы, господин Гиль, оправдать несправедливое гонение против такого человека, который никому не делает ни малейшего зла?

— Боже меня от этого сохрани!

— Что ж, если бы этот человек делал еще и столько добра, сколько ему возможно?

— Ах, господин Маршалль! Трещина...

— Прошу вас, господин Гиль, взять на себя труд и навестить вместе со мною вдову Смит, у которой недавно сгорел дом! Вы узнаете от нее, что такое Бриан О'Неиль.

Церковный староста и господин Маршалль взяли шляпы и пошли ко вдове Смит. Эта бедная женщина рассказала им, как много добра сделали ей Бриан и мисс Бетти. Господин Гиль плакал. «Он добрый, он честный человек! — повторял он. — Но эта трещина, господин Маршалль, эта проклятая трещина!»

— Дайте мне слово, господин Гиль, что завтра придете ко мне обедать; у меня будет и Бриан — вы можете с ним объясниться.

Господин Гиль не знал, что отвечать; он полюбил в душе своей Бриана О'Неиля, но боялся быть осужденным от своего клуба, в котором все головы занимались таинственным проломом в кафедральной церкви; он еще молчал, когда вбежала в горницу маленькая дочь вдовы Смит.

— Ах, матушка! — воскликнула она, — я показывала одной знатной госпоже мою мышь. Она сама кормила ее со мною вместе.



— Что за мышь? — спросил церковный староста.

— О, прекрасная тварь! Я приучила ее брать у меня из рук хлебные крошки; она знает мой голос; закричу: «мышка!», и бежит.

— Где же эта мышь?

— В фундаменте нашей кафедральной церкви.

Господин Маршалль поглядел на господина Гилля и улыбнулся.

— Хочу ее видеть, — воскликнул церковный староста, — покажи нам твою мышь, девочка!

Луиза повела господина Маршала и господина Гилля к кафедральной церкви — и где же она остановилась? У самого того пролома, на котором основаны были все подозрения на Бриена. «Мышка! Мышка!» — закричала Луиза, и через минуту увидела заговорщика, выходящего из пролома в образе большой крысы. Господин Маршалль захохотал, и сам господин Гилль не мог воздержаться от смеху.

— Завтра обедаю у вас вместе с Брианом, — сказал господин Гилль, подавая руку господину Маршалю.

И на другой день враги примирились, за чашею пунша, в доме любезного миротворца Маршала.

— Бетти! — сказал господин Гилль возвратившись домой, — позволяю тебе носить лиммерикские перчатки, а через неделю поздравляю тебя женою Бриана О'Неиля. Слава Богу! Кафедральная церковь останется невредимою, а у меня будет прекрасный зять, честный человек, хотя ирляндец.

# ПРИЛОЖЕНИЯ







*И. А. Айзикова*

**ПРОЗА В. А. ЖУКОВСКОГО В «ВЕСТНИКЕ ЕВРОПЫ»:  
УТВЕРЖДЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ  
И ПОЭТИКИ ПРОЗЫ (1807—1811 гг.)**

— 1 —

Проза Жуковского, опубликованная им в 1807—1811 гг. (в период его редакторства и соредакторства с М. Т. Каченовским) в «Вестнике Европы», «с помощью» которого, по словам исследователя, писатель «тихо и незаметно произвел (...) переворот в русской литературе»\*, наряду с поэзией, стала воплощением его нравственно-философских и эстетических поисков, связанных с утверждением в отечественной словесности романтизма. Прежде всего, она демонстрирует нарастающий, возникший еще в ранних прозаических опытах, интерес Жуковского к возможности раскрытия внутреннего мира человека в прозе, к развитию в прозе психологизма. С другой стороны, Жуковский, с его романтическим, универсальным взглядом на мир, настойчиво ищет принципы соотношения в прозе субъективного и объективного, лирического и эпического, вымысла и действительности. «Внутренний человек» и окружающая его реальность, «поэзия чувства и сердечного воображения», «драма страстей» и «эпос частной жизни» — все это важно для Жуковского-прозаика.

Являясь логическим продолжением ранней прозы, прозаические сочинения Жуковского 1807—1811 гг. вместе с тем отличаются известной самостоятельностью, представляя собой некую «подсистему», новый этап в развитии Жуковского-прозаика, во многом раскрывающий «внутреннее» содержание процесса становления русской романтической прозы в целом. Симптомы развития находим, прежде всего, в заметном расширении предмета изображения и структурных возможно-

---

\* Кулешов В. И. Литературные связи России и Западной Европы. М., 1977. С. 115.

стей прозаического повествования. Весьма примечательна также жанровая динамика прозы Жуковского. Однако каким бы многообразием тем, проблем, сюжетов, характеров, жанров и т. д. ни отличалась проза Жуковского, написанная и переведенная им для «Вестника Европы», она являет собой единое целое, направленное на утверждение новой концепции человека и его связи с миром и, соответственно, новой эстетики и поэтики словесного творчества вообще и прозы в частности.

В начале июля 1807 г. в письме к А. И. Тургеневу из Белева Жуковский писал о намерении «выдавать на будущий год “Вестника Европы”» (СС 1, IV, 459), тесно связывая свои планы с идеей служения обществу. В письмах к Тургеневу от ноября-декабря 1810 г. это станет уже центральной мыслью. Поэт утверждает, что «вся» его «прошедшая жизнь» была «покрыта каким-то туманом недеятельности душевной» (СС 1, IV, 476—477). Наиболее страстно он пишет об этом 7 ноября: «Авторство почитаю службою отечеству, в которой надобно быть или отличным, или презренным: промежутка нет. Но с теми сведениями, которые имею теперь, нельзя достигнуть до первого» (СС 1, IV, 478). 22 ноября он продолжает: «Прежде в голове моей была одна только мысль: *надобно писать!* (...) Теперь главная мысль моя: *надобно учиться и потом писать*, и я час от часу становлюсь деятельнее (...) Я имею теперь довольно твердости, чтобы отступить назад и *начать сначала* (...). Мысль, что я уже *автор*, меня портила и удерживала на степени невежества» (СС 1, IV, 484). Заметим, что самые низкие оценки в это время Жуковский давал своей прозе, называя напечатанные в «Вестнике» прозаические произведения не иначе как «поделками». Такая неудовлетворенность собой как прозаиком между тем совмещалась у Жуковского со стремлением заняться прозой всерьез. 15 сентября 1809 г. Жуковский, рассказывая о своем поэтическом творчестве, едва ли не клянется Тургеневу: «Но на будущий год и прозы будет в моем журнале довольно (...)» (СС 1, IV, 463).

Итак, хотя к концу 1800-х годов поэзия уже принесла Жуковскому славу, он явно не удовлетворен собой как писателем, готов даже начать все сначала, занявшись «подготовительной работой», в первую очередь историей, философией, этикой, эстетикой. Любопытно, что эти планы «служения обществу» совпадают с пришедшим к Жуковскому в период его деятельности в «Вестнике Европы» ясным пониманием того, что в литературе будущее принадлежит прозе. Оказавшись в роли редактора общероссийского журнала, Жуковский вполне убедился в растущей у русского читателя популярности прозы. Его беспокоит при этом, что прозой, по инерции считая ее низкой литературой, занимаются чаще всего второразрядные авторы. Так что принципиальной задачей оте-

чественной литературы он видел создание новой прозы, утонченной, изящной и вместе с тем интеллектуальной, образцы такой уже были созданы на Западе.

Очень важно, что решение этой задачи переносится Жуковским на страницы журнала, которому, как и прозе, приходилось, как справедливо указывает Г. В. Зыкова, «добиваться признания самого права на место в культуре»\*. Журнал отвергался высокой литературой, потому что он во многом игнорировал ее нормы. Он отличался «энциклопедизмом» и отсутствием резкого разграничения художественной, научной, публицистической и т. д. прозы. Жуковскому предстояло *открыть* в формах, находящихся вне литературных норм, средства для новаторских решений проблемы развития русской прозы.

Не менее важен факт прихода Жуковского во второй половине 1800-х гг. именно в «ВЕ», начатый Карамзиным и получивший к этому времени репутацию «ученого журнала», который «может служить избраннейшею библиотекою для чтения»\*\*. Именно в этом журнале понятие прозы обладало предельной широтой, язык прозы отождествлялся с «метафизическим языком», здесь, в первую очередь, конечно, в прозе допускается синтез философии, истории, психологии, этики, эстетики и искусства. Изящная словесность не ограничивалась в журнале Карамзина повестями и рассказами. Такая позиция «Вестника Европы» в 1800—1810-е гг. многим казалась архаической крайностью, берущей свое начало еще в XVIII веке, когда проза оценивалась исходя из критерия полезности, а поэзия должна была приносить удовольствие. Но позднее именно энциклопедизм прозы как важнейшее ее свойство актуализируется в русской литературе. Неслучайно П. А. Плетнев дал такую оценку изданию Жуковского: «Перебирая этот журнал, убеждаешься, что он был действительный посредник между читателями и своею эпохой. В нем ничто не забыто, ничто не упущено. Как драгоценная летопись современности, “Вестник” указывает на все явления истории, литературы и общественной жизни. Конечно, лучшим украшением журнала были собственные сочинения и переводы редактора»\*\*\*.

---

\* Зыкова Г. В. Журнал Московского университета «ВЕ» (1805—1830 гг.): различия в эпоху дворянской культуры. М., 1998. С. 13. Об участии Жуковского в «Вестнике Европы», кроме этой работы, см.: Галахов А. Д. В. А. Жуковский (Материалы для определения его литературной деятельности) // Отечественные записки. 1863. Т. 91. № 12. Отд. 2. С. 87—118; Гиппиус В. В. «ВЕ» 1802—1830 годов // Уч. зап. Ленинградского гос. ун-та. 1939. № 46. Вып. 3. С. 201—228; Янушкевич. С. 71—80.

\*\* Строев П. М. Взгляд на периодические сочинения // Современный наблюдатель российской словесности. 1815. № 1. С. 40.

\*\*\* Цит. по кн.: В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. С. 384.

Большую роль в развитии отечественной прозы Жуковский по-прежнему отводил переводам из западноевропейской прозы. Его привлекают как высокие ее образцы (сочинения таких авторов, как Шиллер, Шатобриан), так и массовая проза, к переводу которой Жуковский, учитывая вкусы и требования читательской аудитории, активно обратился в период своего редакторства «Вестника Европы». Она привлекает его еще и потому, что представляет собой многослойную структуру, в которой находится место самым различным идеям и формам их выражения. Именно здесь Жуковский настойчиво ищет ростки новой русской прозы. Теоретически, в своих статьях и конспектах, создав образ высокой прозы, сознавая его идеальность, на практике Жуковский будет переводить тексты, оценивающиеся с точки зрения высоких эстетических требований как «средние», «устаревшие». Но как переводчик Жуковский будет стремиться к тому, чтобы массовая западная проза, которую он смело закладывает в фундамент отечественной прозы, соответствовала бы образу высокой\*.

Обратившись к названным проблемам, Жуковский в 1807—1811 гг. создает прозаические тексты в таком количестве, которого до сих пор не знало его творчество. При этом надо отдавать себе отчет в том, что он все еще имел дело с практически не сформировавшимся литературным языком, во многих случаях с отсутствием отечественной традиции, с читающей публикой, воспитанной на классицистических образцах. Одной из точек отсчета для Жуковского остается поиск стилевых и жанрово-родовых границ прозы, по сравнению с поэзией. Журнал, осмысливаемый как некая универсальная форма бытования литературы, определял тот факт, что стиль художественной прозы во многом сливался со стилем публицистики, эстетики, критики и т. д. Этот процесс, не означавший, конечно, сознательного неразличения Жуковским документальных жанров и беллетристики, обернулся четким осознанием многофункциональности прозы, ее поистине неограниченных эстетических возможностей. Их реализацию Жуковский, как и многие его современники, во многом связывал с работой в «промежуточных жанрах», выразивших самую суть жанрово-стилевых исканий русской литературы переходного периода. Эти жанры сыграли ведущую роль в процессе переориентации русской литературы с поэзии на прозу. По справедливому мнению многих исследователей, они

---

\* Об особенностях эстетики и поэтики перевода прозы Жуковского в 1807—1811 гг. мною написано специальное исследование: В. А. Жуковский — переводчик прозы: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1988. В данной статье эти проблемы затрагиваются лишь косвенно, попутно.

явились теми «клеточками, через которые в прозу проникали новые веяния»\*. Они позволяли обратиться к «мыслям и мыслям», к реальности, к достоверному будничному факту, найти плодотворные возможности взаимодействия стиха и прозы, лирического и эпического начал. В письмах, «мыслях и замечаниях», «путешествиях», в философско-этических и эстетических статьях Жуковского 1807—1811 гг. проза существует без вымысла, обращаясь к другому предмету изображения — к внутренней жизни человека (автора-повествователя). «В этих (...) материалах, — отмечает А. С. Янушкевич, — шел процесс моделирования нового сознания и новой личности»\*\*. Так русской литературой делался один из первых, самых трудных шагов к рефлексии, к изображению личностного в человеке, языком чего в литературе выступает психологизм, символ, мифопоэтика, «метафизический язык» (Пушкин), определявшие звучание отечественной классической прозы.

У своих друзей Жуковский просит для журнала материалы о реальной действительности. «Записывай, что видишь и слышишь; такого рода записки могут занять хорошее место в моем будущем журнале», — обращается Жуковский к А. И. Тургеневу. У него же он просит для публикации в журнале его «Путешествие по Европе». В этом же письме он сообщает о своем желании иметь «записки Кантемира о его посольстве», просит «еще каких-нибудь подобных записок», просит «снабжать» его «по части политики». Позднее, в 1809 г. Жуковский опять просит «доставлять» ему «разные известия о ученых обществах, о литературе, театре и разных разностях» (СС 1, IV, 461—462. Подчеркнуто мною. — И. А.). Иными словами, Жуковский сразу исходит из необходимости и возможности раздвинуть границы изображаемого именно в прозе, позволяющей ввести в литературу новый материал, которого всегда чуждалась поэзия, и новый тип автора-повествователя (или героя-повествователя), отличающегося универсальным и динамичным сознанием. Примерно в это же время, в «Конспекте по истории литературы и критики», определяясь в ответе на вопрос о предмете изображения в литературе, в эпической поэме и драме, в частности, и отталкиваясь при этом от классицистического толкования тезиса о подражании природе, писатель вполне определенно утверждает, что художественное произведение может заключать в себе *«всю природу: божественную, физиче-*

---

\* Петрунина Н. Н. Проза 1800—1810-х годов // История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л., 1981. С. 52.

\*\* Янушкевич А. С. «Промежуточные жанры» в русской литературе рубежа веков как эстетический феномен // Проблемы литературных жанров. Томск, 1996. Ч. 1. С. 26.



скую и моральную», что «зритель ищет на театре *того, что он сам видит вокруг себя*» (Эстетика и критика. С. 90, 110, 51).

Судя по письмам, более всего Жуковский озабочен тем, чтобы наполнить журнал прозой именно «промежуточных» жанров. Соответственно он акцентирует идею необходимости развивать в первую очередь «язык мыслей» (см., напр., статьи «О переводах вообще, и в особенности о переводах стихов»; 1810, № 3), «О слоге простом и слоге украшенном»; 1811, № 8). Потому с первых шагов в «Вестнике Европы» Жуковский начал активно разрабатывать в «мыслях и замечаниях», письмах, путешествиях и т. д. «нейтральный» (Ю. Н. Тынянов) стиль, который, безусловно, произрастал из «простой гладкой речи карамзинской»<sup>\*</sup> и вылился, в ходе развития русской прозы, в противовес усилиям романтиков «завивать и кудрявить»<sup>\*\*</sup> русский прозаический слог, в «простой и емкий» язык прозы Пушкина.

Распространению новых идей и, соответственно, становлению нового прозаического слога в первую очередь служили переводы научно-популярных сочинений представителей «моральной практической философии» — И.-Я. Энгеля, И.-А. Эберхарда, К. Ф. Морица, С.-Р.-Н. Шамфора и др. По форме это — диалоги довольно условных героев на темы, имеющие глубокую философскую и литературную традицию и не раз уже выраженные в произведениях Жуковского. Это — темы смерти, соотношения в человеке эмоционального и рационального, свободы и детерминированности и др. Здесь показательна принципиальная диалогичность, многомерность текстов, синтез субъективного и объективного в них. Такая проза одновременно и убеждает, и волнует читателя, отличаясь эмоциональной выразительностью и вместе с тем демонстрацией сложности и внутренней противоречивости рефлексии.

Свое место в «Вестнике Европы» занимает жанр письма, который еще в XVIII в. начал осознаваться как литературный (переводы писем И. Миллера к К. Бонстеттену, принца де Линя к Екатерине II, а также ряд статей, написанный в форме письма). Письмо, прежде всего, дружеское, выполняя коммуникативные функции, функции документа, являлось и формой познания, самовыражения личности, и формой освоения действительности. Именно в письмах вырабатывался повествовательный стиль. Письма интересны и с точки зрения предмета изображения, и в плане структуры текста, и в аспекте соотношения того и другого с жанром.

---

<sup>\*</sup> Из статьи С. П. Шевырева «Взгляд на современную русскую литературу. Столона светлая» (Москвитянин. 1842. Ч. II. № 3. С. 167).

<sup>\*\*</sup> Там же.

Написанные конкретным лицом и адресованные конкретному лицу, эти письма могут быть рассмотрены как философско-историческая, общественно-историческая, научно-популярная проза. Думается, именно в этом качестве они и привлекли внимание Жуковского возможностью диалогизации, эпизации прозаического повествования. Но главным здесь оказались художественные эксперименты с образом автора-повествователя. В письме представлено живое текучее человеческое сознание, оно принадлежит субъекту речи и одновременно является объектом изображения. Это вело к индивидуализации интонаций, неповторимости и незаданности повествования, к свободе переходов от одной темы к другой, что органично вводило прозаическое письмо в общую систему художественных поисков Жуковского, в параллель с его работой над стихотворными посланиями начала 1810-х гг.

Гибкая и пластичная форма письма часто синтезируется в журнальной прозе Жуковского с другими жанровыми формами — очерком, путешествием, эстетическим трактатом, рассуждением. В журнале публиковались и сочинения, относящиеся собственно к жанру «мысли и замечания». Они представляют собой своего рода развернутые афоризмы. Довольно короткие по объему, эти дискурсы на самые разные темы: философия, нравственность, психология, отличаются остроумием, парадоксальностью суждений, воспитательным пафосом. «Мысли и замечания», ориентированные на выражение авторского самосознания, коррелируют в первую очередь с дневниками Жуковского и его маргиналиями на полях прочитанных книг.

Весьма показательны по проблематике, типу повествования и жанру публикации, посвященные психологии, внутреннему миру человека. Чаще всего автор-нарратор выступает в них как вымышленное, но вполне конкретное лицо. Публике сообщается об источнике, из которого он черпает свои истории. В этих психологических этюдах о «странных людях», «чудаках» очевидна установка Жуковского на создание ощущения правдоподобия у читателей, главным образом, за счет углубления психологизма.

Наконец, в массиве прозы, выполненной Жуковским для «Вестника Европы», можно выделить путешествия (напр., переводы из «Путешествия в Иерусалим» Ф. Р. Шатобриана), где был проявлен принципиальный интерес к новому для русской литературы материалу, где самим жанром был обусловлен упор на информативность и точность описаний, повествовательный слог. Все это были черты, определявшие первые шаги русской прозы к роману. Характерно, что Жуковского привлекают «путешествия», в которых повествование ведется от лица, опи-

сывающего сложившееся задолго до него. В таких текстах всегда много деталей быта, нравов, обычаев, культурных традиций. Эпические по форме, эти «путешествия» являются одновременно лиро-биографическими. Здесь читатель видит и внешний мир, и процесс самосознания автора, являющегося одновременно героем-путешественником и нарратором. Так в прозу, всегда признававшуюся родственной эпосу, входит лирическое начало, возможность, говоря о мире, говорить о себе. С другой стороны, многие черты стиля «путешествий» будут плодотворны для романтической лирики Жуковского и особенно для таких лиро-эпических жанров, как баллада и поэма.

Анализ небеллетристической прозы Жуковского, опубликованной в 1807—1811 гг. в «Вестнике Европы», позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, эта проза обладает синкретическими свойствами, стремясь не столько к родовой дифференциации, сколько к родовому (лиро-эпическому, в первую очередь) синтезу. То же самое можно утверждать и в отношении жанровых поисков Жуковского. Во-вторых отметим, что работа Жуковского с «промежуточными» жанрами привлекательна для него и с точки зрения расширения предмета изображения в прозе, и с формальной стороны. Жуковский открывает универсальность прозы в плане ее содержания, ее способность вобрать в себя всю полноту внешнего и внутреннего мира. Таковую же универсальность проза «промежуточных» жанров демонстрирует и при использовании самых разных типов повествования, начиная от древнейших эпических форм и кончая лирическими.

Все чаще внимание Жуковского-прозаика привлекает личная форма высказывания, что свидетельствует о значительных глубинных сдвигах, происходящих в отечественной прозе начала века, в том числе и благодаря усилиям Жуковского. Сосредоточенность автора на внутренних состояниях автора (повествователя), на внутренней его работе становится признаком прежде всего таких жанров, как письмо и путешествие. В-третьих, «бесфабульная» проза Жуковского, опубликованная на страницах журнала, сама складывается в сложную, подвижную систему, в функционировании которой немалую роль играют жанры с «размытыми» границами, стремящиеся к синтезу.

Ни о какой строгой закреплённости определенного предмета изображения или структуры повествования за тем или иным жанром говорить не приходится. Координацию материала, повествования, эмоциональной окраски и т. д. у Жуковского диктует личное ощущение его как автора. Нет и жесткой жанровой обусловленности появления и проявления личного начала. Надо полагать, что Жуковский шел к этому от собственного романтического мироотношения, в котором на первый

план была выдвинута личность. Однако инерция XVIII в. все еще продолжала заявлять о себе, потому литературная природа «промежуточных» жанров сочетается с тем, что они выполняют внелитературные функции, важнейшей из которых является, в полном соответствии с задачами общественно-литературного журнала, передача читателю широких знаний из самых разных областей, его воспитание. Синкретизм и здесь дает о себе знать.

— 2 —

Повести Жуковского, опубликованные в «Вестнике Европы» в 1807—1811 гг., — уникальное явление и в его творчестве, и в истории русской прозы. По сути, ими завершится зародившийся в самом начале творчества интерес писателя к жанру повести, тогда как русской прозе откроются в ней многие новые темы, сюжеты, мотивы и образы. Эти повести, в основном являвшиеся переводами западноевропейских авторов второго ряда, отражают бурный интерес Жуковского к беллетристике, к так называемому «легкому чтению», которое с начала века стало одной из составляющих русской прозы и, при ориентации на среднюю литературную норму, на уже «отработанные» формы и традиции, на соединение несоединимого с точки зрения высокой эстетики, способствовало в конечном итоге становлению классической русской повести и классического русского романа.

Отвечая эстетическим потребностям времени, эти повести отличались свободным экспериментаторством как в области формы, так и в области содержания, являлись своеобразной лабораторией, где последовательно и творчески осваивались и совершенствовались новые способы изображения действительности и завоевания читательского интереса. Выражая настроения эпохи, ее нравственно-этические и философские искания, повести Жуковского 1807—1811 гг. были обращены к изображению полноты внутреннего мира человека и его взаимосвязей с миром внешним. Они отражают новый этап эволюции Жуковского-прозаика, его переход от сентименталистской эстетики и поэтики повести к романтической во всей глубине закономерности и сложности этого процесса. Причем многие трудности при создании своих повестей (переводных и оригинальных) Жуковский преодолевает, явно опираясь на поэзию, и во многом делает это как для развития прозы, так и для перестройки своей поэтической системы. В этом плане Жуковский закладывает мощную традицию взаимодействия поэзии и прозы в русской литературе, которую в ближайшем будущем подхватят Пушкин и Лермонтов, а позднее Тургенев и др.

Повести Жуковского, опубликованные в «Вестнике Европы», практически не изучались\*. Из множества проблем при этом следует выделить главную. Она касается системности повестей Жуковского 1807—1811 гг. Развиваясь параллельно лирическим жанрам, в первую очередь балладе, в которой, по справедливому мнению исследователей, намечался «путь познания и изображения человека в его связях с определенной средой»\*\*, в которой «Жуковский нашел свою форму воплощения эпического в поэзии»\*\*\*, повести «Вестника Европы» также представляют собой целостную и сложную систему, имеющую свои внутренние закономерности построения и самостоятельное значение, заключавшееся в поисках романтических форм воплощения эпического в прозе\*\*\*\*.

Прежде всего, повести из «Вестника Европы», обращенные к изображению как внешнего мира, так и внутренней жизни человека, освещали для русской прозы и литературы в целом мир новых тем и проблем, от которых потянутся нити к позднему творчеству самого Жуковского, к русской классической прозе. В центре системы окажется главная в романтической эстетике проблема изображения «внутреннего человека», взятая в эпическом ракурсе: «внутренний человек» во всей сложности и многогранности его связи с потоком жизни. Разные по своему эмоциональному тону — начиная от драматического и кончая шутивным, все повести оказываются посвящены эпическим, бытийным конфликтам — философским, этическим, психологическим.

В повестях Жуковского выстраивается своя система сюжетов и мотивов, герои повествовательной прозы Жуковского также представляют собой определенную «целесообразность»; взятые вместе, они обнаруживают глубинный фундамент всего корпуса повестей, каковым является романтическая концепция личности Жуковского. Такие же подсистемы очевидны на уровне хронотопов, речевой и ритмо-мелодической организации текстов, на уровне жанровых модификаций, тяготеющих

---

\* Можно указать ряд отдельных статей, посвященных некоторым повестям Жуковского. Чаще всего во внимание исследователей попадает весьма ограниченный круг произведений: как правило, это «Марьино роща» и «Три пояса» (см. работы Н. Н. Петруниной, В. М. Марковича, В. Э. Вацура, Х. Эйхштедт, В. М. Костина, Н. Е. Разумовой, Н. Б. Реморовой, а также наши статьи и автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1989).

\*\* Шаталов С. Е. Романтизм Жуковского // История романтизма в русской литературе: В 2 ч. М., 1979. Ч. 1. С. 132.

\*\*\* Янушкевич А. С. Путь Жуковского к эпосу // Жуковский и русская культура. С. 171.

\*\*\*\* Неслучайно Жуковский дважды издавал свои переводы из «Вестника Европы» отдельным собранием (в пяти и в трех томах, в 1816 г. и 1827 г.).

к разным лирическим и лиро-эпическим жанровым традициям, в связи с чем можно говорить и о типологической родственности этих произведений, заключающих в себе две противоположные, но взаимоприлегающиеся стихии творчества Жуковского — эпическую и лирическую\*. Это, в свою очередь, позволяет органично вписать повествовательную прозу писателя в контекст его небеллетристической прозы 1807—1811 гг. и в общее русло творчества Жуковского, поэта и прозаика, системность которого доказана современным литературоведением.

\* \* \*

Одной из центральных в повестях Жуковского становится, как и в его балладах, элегиях, традиционная лирическая тема любви. С другой стороны, здесь очевидно влияние Карамзина, в основе повестей которого лежит, как правило, любовная коллизия, разрешающаяся чаще всего, в духе учения о столкновении страстей и разума, трагически. Как правило, и у Жуковского тема любви переплетается с темой страданий, жизненных испытаний человека. Во имя настоящей любви героям приходится делать сложный нравственно-психологический выбор, рисковать своим счастьем и даже жизнью. Здесь следует назвать такие повести: «Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет» (перевод из Г. Меркеля, 1808, № 2), «Три пояса» (перевод из А. Сарразена, 1808, № 23), «Марьяна роща» (1809, № 2, 3), «Теана и Эльфриди» (перевод повести Ж. Б. Сэя, 1809, № 17), «Печальное происшествие» (1809). Другой поворот темы любви, уходящий в столь важную для эпоса, для последующей русской прозы тему семьи, семейных отношений, видим в повестях «Мария» (перевод из А. М. Е. Флао, 1808, № 9, 10), «Платон в Сицилии» (перевод из Ж. Ф. Мармонтеля, 1810, № 13), «Взыскательность молодой женщины» (перевод из А. Сарразена, 1810, № 24). Ориентация Жуковского-прозаика на расширение материала, на развитие разных граней темы любви обусловило его обращение к так называемым «светским повестям», в основе которых лежит история любви, не состоявшейся в результате влияния на любовные отношения светской морали («Густав Обинье» — перевод из А. М. Е. Флао, 1808, № 12, 13, 14; «Газетное объявление» — перевод повести К. Фишера, 1809, № 22). В ряде повестей тема любви оборачивается темой преступления и наказания (самый

---

\* Системность и единство повестей Жуковского 1807—1811 гг. поддерживается и едиными принципами отбора произведений для перевода, единым характером перевода и, наконец, единством творческих задач, жанровых форм, содержательного и формального уровней переводных и оригинальных повестей, опубликованных в «Вестнике Европы». См. об этом подробно в указ. выше нашем исследовании.

яркий пример — «Примроза и Оливье» /перевод анонимной французской повести, 1808, № 24/).

Особый интерес проявляет Жуковский-прозаик к своей любимой балладно-элегической теме случая, судьбы, традиционно несущей большой эпический заряд. В повестях она приобретает своеобразное звучание, варьируясь и взаимодействуя с уже названными темами или являясь единственным стержнем произведения («Портрет» — перевод повести А. Сарразена, 1808, № 22; «Лиммерикские перчатки» — перевод повести М. Эджворт, 1808, № 24; «Молочница и золотых дел мастер», 1809, № 13; «Отставленный министр и нищий с деревянной ногою» — переложение французского перевода эссе О. Голдсмита, 1809, № 23 и др.). Однако, понимая обстоятельства, окружающие человека, шире судьбы, случая, Жуковский в ряде повестей как бы параллельно развивает тему социальной справедливости и несправедливости, которая, в свою очередь, часто оборачивается темой мудрого правителя («Ожесточенный» — перевод повести Ф. Шиллера; «Прусская ваза» — перевод из М. Эджворт, 1808, № 20, 21; «Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет»).

Одним словом, универсализм жанра повести Жуковский активно реализует уже на уровне темы. Еще в «Конспекте по истории литературы и критики» он отмечал способность эпического произведения к изображению «почти всего мира», «множества картин», «множества разнообразных страстей». Однако уже здесь Жуковский подходит к тематике эпических произведений с исторической точки зрения. Рассматривая историю мирового эпоса, начиная от Гомера, он последовательно фиксирует изменение тем, поднимаемых эпическими авторами, в зависимости от истории развития жанра. Повести из «Вестника Европы» наглядно демонстрируют тот факт, что в выборе темы для Жуковского большую роль явно играет созвучность основным проблемам времени. Жуковский обращается к общественно-значимым, широким проблемам, связанным с пробуждением национального самосознания, с идеями самостроения личности, ее нравственного совершенствования.

Вместе с тем в тематике повестей из «Вестника Европы» отражается палитра внутрихудожественных задач Жуковского-романтика, интересы его писательского мастерства, являющиеся одним из системообразующих начал. Наконец, тематику повестей Жуковского 1807—1811 гг. определяло и то, как они будут восприняты читателем. Одним из важнейших качеств эпического произведения Жуковский еще в «Конспекте» называл «интерес», «занимательность». Но ни в одной повести, опубликованной в «Вестнике Европы», мы практически не встречаемся с занимательностью ради занимательности, присущей массовой литературе. В своем «Конспекте» Жуковский прямо писал о необходимо-

сти «возвышать» занимательное действие, что непосредственно связывал с обращением автора к нравственным, общечеловеческим темам, несколько из которых тут же и перечисляет — «гостеприимство», «человеколюбие», «природа», «картина древних нравов» (Эстетика и критика. С. 71). И как показывают повести из «Вестника Европы», Жуковский, действительно, совершенно сознательно заботится о сочетании общекультурных запросов публики и задач высокой литературы, до уровня которой он старается поднять беллетристику. В своем итоговом труде «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского» П. А. Плетнев подчеркивал, что в «Вестнике Европы» даже «так называемое “чтение легкое”, (...) никого не отводило от главной цели издания, очищая вкус и нравы». Повести для перевода были выбраны Жуковским, по мнению П. А. Плетнева, «с таким умом», что чтение этих переводов «до сих пор может служить лучшею школою образования»<sup>\*</sup>.

Поэтика сюжетосложения в повестях Жуковского явно напоминает парадигму архесюжета, хотя представленная последовательность сюжетно-фабульных узлов может быть и нарушена. Но всегда она призвана отразить органический процесс развития человека, корнями своими уходящий в мифологическое сознание. В связи с этим показательны основные мотивы повестей Жуковского, которые также складываются в стройную систему и перекликаются с балладными мотивами. Важнейшую группу составляют мотивы, связанные с активным противостоянием человека силам хаоса, зла, дисгармонии и с творением человеческого мира по законам добра, красоты и справедливости. Среди них в первую очередь следует назвать мотивы гнева, обвинения, обличения, отвоевания невесты, игры, состязания, мудрости, победы, награды и противоположные им и в силу этого дополняющие их мотивы смеха, веселья, брака, красоты, венчания, праздника. Особую роль играют в повестях Жуковского мотивы, характерные для его романтической лирики — любовь-верность, разлука-соединение, слово-действие. Другая группа мотивов, активно и последовательно вводимых Жуковским в русскую прозу, обусловлена его интересом к идее испытания человека как важнейшего этапа его становления личности. Наиболее часто у Жуковского встречаются мотивы искушения, плутовства, грехопадения, страдания и мученичества, безумия, приговора к смерти, смерти, суда, судьбы и достраивающие их до целого мотивы раскаяния, очищения, освобождения от уз, исцеления, спасения, воскресения. Эти мотивы, обладая чрезвычайной семиотичностью, заложенной в них изначально и усиливавшейся в процессе их бытования, сложно переплетаясь, соз-

---

<sup>\*</sup> Цит. по кн.: В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. С. 385.



дают самые разные сюжетные узоры в повестях Жуковского, наполняя их поистине эпической глубиной и широтой.

Особого внимания заслуживает природа конфликтов в повестях Жуковского 1807—1811 гг. Они развиваются в рамках романтической этики и философии, представляя собой развитие поэтики конфликта романтической лирики и лиро-эпоса. В первую очередь следует указать на традиции элегии, дружеского послания и баллады. Вместе с тем романтический конфликт в повестях Жуковского получил и определенную специфику, по сравнению с лирическими жанрами. Прежде всего, заметна тенденция к отказу от атмосферы абсолютной неопределенности, умолчаний вокруг конфликта, свойственной балладе. Конфликт подвергается прозаизации, т. е. погружается, даже будучи универсальным, субстанциальным, внутренним, в прозу жизни, в обыденные обстоятельства. Довольно часто конфликт конкретизируется в социально-историческом плане. Поистине знаковыми в этом отношении являются повести «Печальное происшествие», «Прусская ваза», «Истинное происшествие».

В некоторых повестях во имя конкретизации конфликта используется обращение к глубокой древности, к русской (или инонациональной) старине. Однако, подобно «историческим» повестям Карамзина и Муравьева, здесь в первую очередь оказывается важна поэтическая душа повествователя, мир его чувств и мыслей. Вместе с тем, внимательно всматриваясь в прошлое, повествователь у Жуковского видит не столько оппозицию древности и современности, типичную для литературной традиции сентиментализма, сколько непрерывность исторического процесса и вечность его законов, в основе которых постоянное столкновение вечных нравственных категорий, вечных человеческих страстей.

Довольно востребованным в связи с построением конфликтов в повестях Жуковского оказалось противопоставление городского и сельского мира. Как правило, и эта оппозиция переносится в нравственно-этический план (наиболее показательны переводы «идиллических» повестей Ж.-Н. Буйи, П.-И. Монтолье). Примечательны и попытки Жуковского конкретизировать конфликт национальными мотивировками. Здесь связь с предшествующей литературной традицией оказалась наиболее прочной. Как правило, дело не идет далее подзаголовка («итальянская повесть», «греческая повесть», «восточная сказка»). Ему соответствуют только место действия и имена героев.

В некоторых повестях, написанных на национально-историческом материале («Три пояса. Русская сказка», «Марьяна роща. Старинное предание»), Жуковский пытается воссоздать русский нацио-

нальный колорит, опираясь при этом на карамзинско-оссианическую традицию. В качестве главной национальной приметы в этих произведениях выступают имена, место и время действия, детали одежды, быта, уклада жизни. Однако следует признать условность созданного Жуковским в этих повестях русского национального мира и его конфликтов. Вместе с тем любопытна появившаяся именно здесь тенденция Жуковского ориентировать свои поиски решения проблемы национального в литературе на русский фольклор. «Три пояса», французская повесть Сарразена, переведена Жуковским именно в опоре на жанровую структуру русской волшебной сказки. В основу «Марьиной рощи» положен другой жанр русского народного эпоса — предание, на что Жуковский указывает специальным подзаголовком. Обращаясь к русскому национальному колориту, Жуковский-прозаик пробует сопрягать лирико-психологическое и объективно-эпическое повествование. Конфликты же в этих «русских» повестях выстраиваются на основе свойственной фольклорному сознанию поляризации добра и зла. Думается, что в конце 1800-х гг. все это было важно Жуковскому и как поэту — в связи с его замыслом русской национальной поэмы. Национальный колорит рассматривался как одно из средств эпизодии лиро-эпических жанров.

В так называемых «шутливых» повестях Жуковского в основу романтического конфликта вплетаются иронические интонации. Они не затрагивают самой сути важнейших для Жуковского внутренних и субстанциальных конфликтов, но как бы достраивают их до целого, внося в повествование идеи вечного движения мира и человека, относительности всего сущего, абстрактности сущего и должного, взятых по отдельности. Поэтому ирония может касаться в этих повестях любых моментов конфликта.

Наконец, укажем на «таинственные» повести Жуковского, в основе конфликта которых явная или скрытая фантастика. Воплощение таинственного в повестях Жуковского достаточно многообразно. Это может быть органическое соединение конкретных социальных и фантастических мотивировок конфликта, как это произошло в повести «Привидение». С другого рода фантастикой сталкиваемся в «русских» и «восточных» сказках Жуковского, где «чудесное» предопределено жанровым канонами, в связи с чем здесь неактуальна проблема соотношения реального и фантастического. В «русских» и «восточных сказках» можно говорить об укрупнении Жуковским сказочной волшебной символики поэтической живописностью. Особый интерес представляют повести (например, «Марьиная роща», «Неизъяснимое происшествие»), где реальное и фантастическое равноправны, невероятное рассматрива-

ется, как «некий особый, “предельный” случай» реального\*, что и было особенно плодотворным для дальнейшего развития русской повести.

В повестях, написанных и переведенных для «Вестника Европы», Жуковский разрабатывает целую систему способов высказывания и форм композиции, начиная от письма, дневника, диалога, медитации и кончая разными способами повествования от третьего лица, каковым чаще всего является образ автора-повествователя. Повествование как портрет души автора, столь характерное для Жуковского-прозаика, отзовется здесь на важнейших особенностях авторской позиции и форм ее выражения. Можно говорить о близости самого типа автора-повествователя, его духовного облика, лирической манеры повествования, направленной на особую читательскую рецепцию текста — на сострадание, сочувствие, соучастие.

Повести Жуковского, как правило, пронизаны и эстетико-метафизическими воззрениями автора-повествователя, который может быть даже не назван в структуре произведения. Но сама форма повествования создает целостный образ автора, его нравственно-этические и эстетические взгляды, его философию жизни. Часто автор-повествователь не просто сопровождает реплики героев своими более или менее обширными ремарками-комментариями, но и передает речь героев, их разговор своими словами. Подобная организация диалога, конечно, связана с тем принципом повествования, который следует признать основным в повестях Жуковского из «Вестника Европы» — от лица вездесущего автора. Однако эта позиция органично сочетается не с дидактическими, а с медитативными, лирическими интонациями повествователя.

Наряду с типом повествования от лица автора Жуковский пробует разрабатывать и повествовательную форму, предполагающую образ рассказчика, фигуру тоже вымышленную, но вполне конкретную, из уст которой читатель узнает весьма субъективно переданную историю. Этот композиционно-повествовательный прием, как известно, начинает входить в русскую литературу ближе к концу XVIII в. и в повестях Жуковского встречается значительно реже. В ряде повестей повествование ведется от лица главного героя, который выступает в роли особого образа рассказчика, «расширенного» до пределов образа автора. При этом герой-рассказчик может быть приближен, как в лирике, к

---

\* См.: Душина Л. Н. Поэтика русской баллады в период становления жанра: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1975. С. 13. Об этой особенности романтической фантастики Жуковского говорят и другие исследователи: Р. В. Иезуитова, А. С. Янушкевич.

автору по мировоззрению, стилю. Нередко в повестях Жуковского композиционные рамки повествования от первого лица расширяются за счет специальных приемов. Например, рассказчик из «Путешествия Ж.-Ж. Руссо в Параклет» сообщает читателям, что он, не являясь ни непосредственным участником «происшествий», ни даже их очевидцем, *слышал* о них, «не спрашивайте где — и сердце мое наполнилось ⟨...⟩ сладкими, живыми чувствами ⟨...⟩ я решился описать их, без всяких витийственных украшений и ⟨...⟩ точно так, как слышал» (1808, № 2, с. 97—98). В «Неизъяснимом происшествии» повествование построено в форме диалога двух героев, каждый из которых говорит от первого лица. Один из них рассказывает о событии, другой комментирует и событие, и рассказ о нем, а позиция автора раскрывается именно в столкновении этих двух голосов.

Практически независимо от того, от чьего имени ведется повествование (т. е. «извне» или «изнутри»), тексты повестей оказываются насыщены множеством деталей внешнего и внутреннего мира. Жуковский явно заботится о расширении и постоянном изменении перспективы видения героя и его истории. Внимание Жуковского-прозаика к подробностям можно объяснять разными причинами. Но в любом случае очевиден отбор таких деталей, которые несут в повествовании символическую, смысловую и эстетическую, нагрузку.

Особую систему в повестях Жуковского составляют герои. Стремясь к их индивидуализации, что достигается в первую очередь психологизмом, используемым автором для создания характеров, а также попытками конкретизировать образ в социально-бытовом, национально-историческом отношении, Жуковский между тем обращается к общечеловеческим типам, построенным на той или иной страсти (любовь, месть, ненависть и т. д.).

Условно героев повестей Жуковского можно разделить на две группы. В первую входят те, чье сознание практически совпадает с голосом повествователя, который, как уже отмечалось, чаще всего очень близок автору. Жизненные позиции, тип мышления, проявляющийся в речи таких героев, как Мария и Артур («Мария»), граф Ланицкий и его друг Альберт («Прусская ваза»), Людмила и князь Святослав («Три пояса»), Мария и Улад («Марьяна роща»), Теана и Эльфриди (одноименная повесть) и т. д. — это ключ к пониманию авторского представления об идеальной личности, суть которой составляет сознательное стремление к идеалу. Неслучайно у этих героев одинаковая с повествователем реакция на то или иное событие, на его участников. Чуть ли не буквально совпадает описание внутренних состояний самим героем и повествователем.

Перечисленные выше герои — это цельные натуры, в которых низменное сведено к минимуму. Их обыденное поведение определяется высокими чувствами и мыслями. Обаяние этих героев определяется, прежде всего, их высокой нравственностью, что не значит, однако, что названные герои лишены борьбы страстей, внутренних противоречий, связанных со сложными жизненными выборами.

Вторая группа может быть представлена героями, подобными Христиану Блемеру («Ожесточенный»), лорду Кляйву («Эдуард Жаксон, Милли и Ж.-Ж. Руссо»), Рогдаю («Марьяна роцца»), Примрозе («Примроза и Оливье»). Их голоса выделяются и лексически, и синтаксически на фоне голоса повествователя. Герои-носители эгоцентризма, как и герои-антииндивидуалисты, интересуют Жуковского в основном в нравственно-психологическом плане. Они, безусловно, привлекают писателя тем, что позволяют шире и сложнее показать природу человека и его отношений с миром. При этом необходимо отметить один очень важный момент. Какими бы преступлениями ни была отягощена их душа, они в конечном итоге демонстрируют бесконечность заключенных в человеке возможностей к воскресению. Здесь, как в зерне, заложены многие типы русской классической прозы. Здесь же начало большого спора, растянувшегося на весь XIX век, о роли осознания человеком своей греховности и раскаяния.

«Сколько бы персонажей ни принимало участия в сюжете, — пишет В. Тюпа, — на предельной, поистине “тектонической” глубине литературного произведения мы имеем дело только с одним (...) центром»\*. Речь идет о мифопоэтическом уровне текста, об авторском мифе о человеке, рассмотрение которого требует обратиться к пространственно-временной организации художественного целого. В повестях Жуковского выстраивается весьма примечательная система хронотопов.

Важнейшими пространственно-временными формами проживания человеком своей жизни у Жуковского являются дорога, дом и граница, мифологемы, значение которых трудно переоценить в дальнейшей русской прозе. Дорога, будь то проселочный тракт, узкая тропинка в лесу («Ожесточенный»), в поле или в парке («Мария»), путь, ведущий героя на родину или, наоборот, уводящий его из родных мест («Дорсан и Люция», «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.-Ж. Руссо»), характеризуется, главным образом, бесконечностью, извилистостью и наличием идеальной, иногда даже не осознаваемой героем цели. Варианты второго хронотопа также разнообразны: хижина («Марьяна роцца»), родовое имение («Мария»), королевский дворец («Истинное происшествие»),

---

\* Тюпа В. Указ. соч. С. 77.

трактир («Привидение»), тюрьма («Ожесточенный») и т. д. Дом в повестях Жуковского чаще всего, как и дорога, место неожиданной встречи героя с другим сознанием, но что самое главное — с другим самим собой. Модификации хронотопа границы, во многом составляющего специфику сюжета в романтической балладе, представлены тоже достаточно широко: берег реки («Марьиная роща»), граница леса, владения («Ожесточенный»), государства («Дорсан и Люция», «Прусская ваза»), порог дома. Все это — фиксация сложности эмоционально-психологических нюансов характера героя, его «переходного» состояния, ситуации его нравственного выбора.

Чем более конкретизируется, детализируется сюжетно-композиционная, эпическая основа повестей Жуковского, тем более важной для него оказывается их музыкальность, их способность производить некое единое общее впечатление. В этом плане целесообразно поставить проблему ритма как единого фундамента объектно-субъектной организации повестей Жуковского 1807—1811 гг. Следуя классической традиции, согласно которой проза не должна быть похожа на стихи\*, писатель осуществляет ритмизацию своих прозаических текстов на основе «вторичных признаков» стихотворной речи, к каковым исследователи относят различные формы грамматико-синтаксического параллелизма. Что касается метрической организации, то можно говорить о встречающихся фактах некоторого «выравнивания» числа слогов и числа ударений в колонах, но это «выравнивание» в прозе Жуковского совсем не обязательно и не является ее конструктивным признаком.

Вместе с тем Жуковский-прозаик заметно стремится к художественному упорядочиванию синтаксических групп. С этой целью особенно часто используются повторы, которые, кроме эмоционального воздействия, выполняют и другую функцию — они подчеркивают процессуальность происходящего. Таким образом, можно говорить о некотором мелодическом задании, которое в определенной степени регулирует в прозе Жуковского и принцип подбора слов, и словосочетания, и синтаксические конструкции. Но главным для Жуковского-прозаика оказывается все-таки художественно-психологическое (содержательно-смысловое) задание, от которого зависит и стиль, и ритм.

---

\* Как указывает В. Жирмунский, теоретики французского классицизма, ориентируясь на античные источники — Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана и др., «запрещали как ошибку стиля употребление в прозе случайных “метрических строчек”». См.: Жирмунский В. М. О ритмической прозе // Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 571).

\* \* \*

В заключение подчеркнем следующее. Проза «Вестника Европы», представляющая собой стройную и целесообразную систему, наглядно демонстрирует логику развития Жуковского-прозаика, отражающую, в свою очередь, эволюцию творчества Жуковского в целом, а с другой стороны, внутреннее, глубинное движение отечественной прозы. Вместо уединенной личности, погруженной в себя, с чем мы встречались в ранних прозаических опытах писателя, в журнальных статьях и повестях 1807—1811 гг. человек представлен в контексте разнообразного внешнего мира, в его связях с ним. Значительно переосмыслены и обогащены были жанровые традиции прозы. Главной чертой жанровой системы прозы Жуковского в конце 1800-х гг. является стремление к синтезу различных жанров, к взаимодействию беллетристики и бессюжетной прозы. Однако к самым значительным преобразованиям прозы, обозначившим важный шаг вперед по сравнению с прозой сентиментализма, привело взаимодействие с лирикой. Поэтический колорит, свойственный карамзинской прозе, обретает у Жуковского глубоко лирическое звучание. Главным в прозе Жуковского-поэта, романтика, постепенно становится особая форма отражения объективной действительности — через индивидуальное восприятие, чувства, мышление, память, воображение. Проза оказывается лирической в собственном смысле этого слова, наполняясь индивидуальными интонациями, впечатлениями, образами и стиливыми средствами, их выражающими. Авторская точка зрения, подвижная, определяющаяся личным мировоззрением, личной системой ценностей, вытесняла из прозы открытое морализирование, дидактику, статичность и однозначность в изображении человека и его отношений с окружающим. И в этом Жуковский, конечно, выступает продолжателем Карамзина, прокладывая дорогу к русской классической прозе. Примечательна здесь и близость путей в прозе двух поэтов-современников — Жуковского и Батюшкова, чьи «опыты в прозе» также выросли на почве самонаблюдений и самоанализа в связи с историей, природой и обществом. Думается, это сходство определялось требованиями времени.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Прозаические сочинения и переводы Жуковского 1807—1811 гг., выполненные для «Вестника Европы», до сих пор не были собраны и не публиковались как единое целое. По сути, попытка самого писателя издать (а затем и переиздать) данные материалы в виде избранных переводов в прозе (*Жуковский В. А. Переводы в прозе. 1-е изд.: В 5 ч. М., 1816—1817 гг., 2-е изд.: В 3 ч. СПб., 1827*) оказалась единственной при жизни Жуковского. Некоторые оригинальные журнальные сочинения писателя были введены им в состав прозаического тома, дополнявшего С 2 — «Марьяна роща», «Три сестры» и статьи «О критике», «О басне», «О сатире», «Писатель в обществе» и «Кто истинно добрый и счастливый человек». Затем корпус этих произведений перешел в С 3, С 4 и С 5, а позднее во все посмертные собрания сочинений писателя. Журнальная проза Жуковского вызвала отклики современников, среди которых можно назвать Белинского, Плетнева, Бестужева-Марлинского и некоторых др. Плетнев, напр., писал: «Как драгоценная летопись современности, «Вестник» указывает на все явления истории, литературы и общественной жизни. Конечно, лучшим украшением журнала были собственные сочинения и переводы редактора» (Цит. по кн.: В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 384). Однако этот пласт прозаического наследия Жуковского остался явно недооцененным.

Первая попытка систематизации прозы Жуковского периода «Вестника Европы» была сделана А. Д. Галаховым, в 1852—1853 гг. опубликовавшим в «Отечественных записках» «Материалы для определения литературной деятельности В. А. Жуковского», в составе которых — списки сочинений и переводов писателя, относящихся к 1807—1811 гг. (ОЗ. 1852. Т. 85. № 11. Отд. 2; 1853. Т. 88. № 6. Отд. 2; Т. 91. № 12. Отд. 2). В 1864—1870 гг. М. Н. Лонгинов опубликовал «Материалы для полного издания сочинений Жуковского» (РА. 1864. Вып. 5, 6; 1866. № 11—12; 1870. № 3), представлявшие собой несколько дополненную, по сравнению с галаховской, роспись сочинений и переводов Жуковского 1807—1811 гг. В С 6 находим еще один «Хронологический указатель сочинений и переводов в прозе» (Т. 6. С. 807—813). В С 7 и С 8 также содержались «Библиографические примечания» к журнальной прозе писателя (Т. 5). Не менее важным представляется и описание тех немногих рукописных прозаических материалов, связанных с работой Жуковского в «Вестнике Европы», которое было сделано И. А. Бычковым, опубликовавшим в 1887 г. свой труд, посвященный разбору архива писателя (Бумаги Жуковского).

К сожалению, здесь прерывается, и довольно надолго, история собрания и публикации прозы Жуковского, переведенной и написанной им для «Вестника Европы». Лишь к концу XX в. интерес к ней возобновился. Важным результатом этого стало исследование Х. Эйхштедт (Eichstädt), в котором находим атрибуцию многих прозаических переводов Жуковского 1807—1811 гг., анализ некоторых из них (напр., повести «Ожесточенный», «Три пояса»). Чуть позже появились работы



томских исследователей. Н. Б. Реморова опубликовала нескольких не введенных в научный оборот переводов Жуковского-прозаика из немецких просветителей, предназначавшихся для журнала, и дала их научный комментарий (см.: Реморова. С. 81—90, 250—284; БЖ. III. 250—299). А. С. Янушкевич в своей монографии о Жуковском посвятил отдельный раздел творчеству писателя (в том числе и прозе) периода «Вестника Европы» (Янушкевич. С. 71—80). Н. Е. Разумова обратилась к переводам Жуковского периода «Вестника Европы», сделанным из французских моралистов (Флориан, Мармонтель; см., напр.: БЖ. III. 191—198). И. А. Поплавской начато изучение переводных повестей Жуковского из Жанлис (см.: Европейские исследования в Сибири. Ч. 1. Томск, 2004. С. 64—71). Исследованием корпуса переводной и оригинальной журнальной прозы Жуковского в жанрово-стилевом аспекте специально занималась И. А. Айзикова (см.: В. А. Жуковский — переводчик прозы: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1989, а также статьи и разделы в кн.: ПМиЖ. Вып. 14. С. 43—62; От Карамзина до Чехова: К 45-летию научно-педагогической деятельности Ф. З. Кануновой. Томск, 1992. С. 77—88; ПМиЖ. Вып. 18. С. 38—46; Айзикова И. А. Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского. Томск, 2004. Гл. 2). Важный вклад в атрибуцию переводов Жуковского из «Вестника Европы» сделан В. И. Симанковым.

Определенным этапом в истории публикации пласта журнальной прозы Жуковского следует считать выход в свет издания «Розы Мальзерб. Европейская новелла в переводах В. А. Жуковского» (сост., подгот. текстов и коммент. Е. Е. Дмитриевой, С. В. Сапожкова; вступит. ст. Е. Е. Дмитриевой. М.; Париж; Псков, 1995). В сборник вошли 13 (из корпуса в более чем 100 произведений) текстов с параллельной публикацией подлинников, не перепечатывавшихся с 1827 г.

По существу, журнальная проза Жуковского 1807—1811 гг. сегодня может считаться библиографической редкостью (многие тексты не перепечатывались ни разу со дня выхода их на страницах журнала). Накопленные материалы исследования прозы Жуковского из «Вестника Европы», как и всего творчества писателя в целом, позволяют предпринять ее научное издание. Целью этого предприятия редакционная коллегия считает, прежде всего, по возможности полную\*, сверенную с рукописями (при их наличии) хронологически последовательную публикацию прозаических текстов, оригинальных и переводных, увидевших свет в «Вестнике Европы» или предназначавшихся для этого журнала. Задачей издателей является также учет и издание неопубликованных архивных материалов (автографы и копии хранятся в РО РНБ. Ф. 286. Оп. 1, 2), в связи с чем в предлагаемом томе выделяется специальный раздел «Из черновых и неопубликованных рукописей». Кроме того, данный том включает в себя подробный, впервые в истории издания прозы Жуковского подготовленный комментарий всех текстов, состоящий из истории создания

\* Авторство Жуковского устанавливается на основании имеющихся автографов, составленных писателем списков произведений, предназначавшихся в ВЕ; характерных для него помет, указывающих на источник перевода, а также подписей к текстам и примечаниям к ним. Кроме того, мы опирались на прижизненные публикации в авторских изданиях (Собрания сочинений, Пвп 1, Пвп 2), разыскания дореволюционных и современных исследователей. В наст. том не вошли статьи эстетического содержания (они опубликованы в т. XII ПССиП), а также не подписанные публикации из разделов «Политика» и «Смесь», авторство которых определить однозначно на данный момент не представляется возможным.

и прижизненных публикаций, сведений об авторе оригинала и характере перевода (в случае переводного произведения), уточнения датировок, реального комментария и т. д. Особое место в комментариях занимают указания на взаимодействия прозы и поэзии Жуковского 1807—1811 и последующих годов. Комментаторами активно привлекаются материалы личной библиотеки писателя, его эпистолярный.

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам, отступления от которых были оговорены в предыдущем «прозаическом» томе ПССиП (8-м). Все цензурные разрешения журнальных публикаций приводятся по старому стилю.

## 1807 г.

### Смерть

#### *Разговор первый. Разговор второй*

(«Недалеко от Безансона, в маленькой деревеньке...»)

(С. 9)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1807. Ч. 31. № 3. Февраль. С. 161—187 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: Смерть: Разговор первый. Из Энгелева «Светского философа»; ВЕ. 1807. Ч. 31. № 4. Февраль. С. 241—259 — с заглавием: Смерть: Разговор второй (Окончание). Из Энгелева «Светского философа» и пометой в конце: С немецкого В. Ж.....кий.

В прижизненных изданиях: Образцовые сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей. М., 1811. Ч. 4. С. 64—111 — в разделе «Нравственные сочинения» под заглавием «Разговор о смерти: (Из Энгеля)», без разделения на «разговоры» первый и второй; СОРС 1. Ч. 3. С. 175—216 — с подзаголовком: Из Энгелева Светского Философа, подписью: Жуковский; без разделения на два «разговора»; СОРС 2. Ч. 3. С. 149—184 — с теми же пометами, что и в изд. 1; Пвп 1. Ч. 5 (в разделе «Смесь»). С. 123—180 — с заглавием: «Смерть. Разговор первый, Разговор второй» и подписью: Энгель. Пвп 2. Ч. 3. С. 141—180. Текст идентичен первой публикации.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: конец 1806 г.

Источник перевода: *Engel J. J. Über den Tod. Zwei Unterredungen* [О смерти. Две беседы] // *Engel J. J. Schriften. Bd. 1—12. Berlin, 1801—1806. Bd. 2. S. 97—164.* («Philosoph für die Welt»; Acht und zwanzigstes Stück). Атрибуция: Eichstädt. S. 14.

В ноябре 1799 г. Андрей Тургенев делает в дневнике запись о необходимости перевода для совместного издания, одним из авторов которого должен был стать и Жуковский, статьи «О смерти» из Энгеля (ЖМНП. 1911. № 4. Отд. 2. С. 210). Уже в письме к Жуковскому от февраля-ноября 1800 г. он сообщает: «Энгеля посылаю» (Ж. и русская культура. С. 375). Безусловно, речь идет о «Светском философе» («Philosoph für die Welt»), куда и входил трактат Энгеля «О смерти» («Über den Tod»). «Светский философ» к этому времени уже был известен в двух изданиях (1775—

1777 гг. — в двух частях и 1783—1800 гг. — в трех частях), в то время как собрание сочинений Энгеля в 12 т. (J. J. Engel's Schriften. Bd. 1—12. Berlin, 1801—1806) еще не начало выходить. В библиотеке Жуковского сохранилось это издание, но без двух первых томов, включающих «Светского философа» (Описание. № 984), что позволяет предполагать более раннее знакомство поэта с текстом произведения Энгеля.

Интерес Жуковского к наследию немецкого философа-моралиста, эстетика и писателя Иоганна Якоба Энгеля (1741—1802) был достаточно длительным и разнообразным. Он интересовал его как критик и эстетик: перевод статей «Два разговора о критике» (ВЕ. 1809. № 23), «О нравственной пользе поэзии» (ВЕ. 1809. № 3). В это же время Жуковский внимательно читает (более 120 подчеркиваний, 60 отчеркиваний, семь NB, многочисленные записи на форзацах и обложках; подробнее см.: БЖ. Ч. 2. С. 156—166) его объемный труд «Ideen zu einer Mimik» («Мысли о мимике»), который был своеобразным катехизисом искусства, «прямотаки законодательным памятником» (*Фогт Ф., Кох М.* История немецкой литературы от древнейших времен до настоящего времени. СПб., 1899. С. 559). Впоследствии, в 1820-е гг. в педагогических целях он обращается к другому произведению Энгеля — «Fürstenspiegel» («Зеркало для князей»). Воспитатель Фридриха-Вильгельма III, немецкий просветитель стал для Жуковского учителем в деле воспитания и образования великого князя Александра Николаевича. Подробнее см.: БЖ. Ч. 1. С. 484—489.

Но, пожалуй, особое значение для нравственного самоусовершенствования Жуковского, для становления его моральной философии имели трактаты Энгеля из «Светского философа». Это были сборники философско-назидательных произведений. Их первый том в собрании сочинений содержал 22 пьесы (Stück), второй — 16 (нумерация сплошная; всего 38). Кроме своих пьес, Энгель как издатель включил в первый том произведения других немецких авторов (о них и их сочинениях см. ниже) — профессоров (так они обозначены в оглавлении) Христиана Гарве и Иоганна Августа Эбергарда, философа Мозеса Мендельсона, писателя, последователя Мендельсона Давида Фридендера (1750—1834). Это издание Энгеля пользовалось большой популярностью в России, и его автор уже Карамзиным в 1789 г. воспринимался как «сочинитель *Светского Философа*» (*Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. Сер. «Лит. памятники». С. 47).

Статьи «Смерть», «Вольдемар», «Улей», переводы которых появились на страницах ВЕ в 1807—1810 гг., — своеобразная экзистенциальная трилогия редактора ВЕ, его вероисповедание. Вслед за немецким философом-моралистом он обращается к нравственным проблемам личности, к философии существования.

«Два разговора» о смерти не случайно открывают подборку переводов из Энгеля. И в программной элгии «Сельское кладбище», и в письме И. П. Тургеневу от 11 августа 1803 г., написанном в связи со смертью Андрея Тургенева, в дневниковых записях 1804—1808 гг. и во время чтения романа Виланда «Агатон» в 1805 г. (см.: БЖ. Ч. 2. С. 387—388) Жуковский формулирует свою позицию по отношению к жизни и смерти, пытается определить смысл своего существования в мире.

Показательна его запись от 6 декабря 1807 г., которая может быть названа своеобразным эпилогом к переводу статьи Энгеля «О смерти». «Я не понимаю тех философов, — пишет Жуковский, — которые беспрестанно говорят: *помни смерть*,

жизнь ничто; желания, удовольствия — всё мечта. Если смерть есть прекращение жизни, то могу ли забыть, могу ли отвергать то сокровище, которое дано мне на краткое время, однажды которое утратив, утрачу навеки и никогда не заменю. Если же смерть есть только переход к бессмертию, то жизнь составляет сущность бессмертия и не может и не должна быть забыта. Напротив обрати на нее внимание, чтобы ее сделать бессмертия достойною» (ПССиП. Т. 13. С. 49. Курсив Жуковского).

В этом смысле перевод Жуковским энгелевой статьи в конце 1806-го — начале 1807-го гг. — первое звено в становлении его философии нравственного стоицизма, духовного самостояния.

Перевод в целом сохраняет все характерные особенности подлинника: его объем, композицию, эмфатику. Изменения коснулись лишь, как это бывает почти всегда у Жуковского, имен героев. Если основные участники разговора (Мервиль и Шевро) сохранили свою номинацию, то умершие члены семейства Шевро получили новые имена: его жена Тереза (Therese) превратилась в Эльмину, а сын Шарло (Charlot) и соответственно сын друга Мервиля — в Луи.

У истоков «русского Энгеля» как автора и издателя «Светского философа» стоит Н. М. Карамзин. Именно он на страницах «Московского журнала» в 1791—1792 гг. дал перевод таких сочинений немецкого писателя, как «Гиас и Филоноус», «Галилеево сновидение», «Богини» (см.: *Кафанова О. Б.* Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783—1800 гг.) // XVIII век. Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1989. С. 326, 329, 332). Жуковский не просто продолжил эту традицию. В трех номерах ВЕ за 1807—1810 гг. он представил Энгеля как выразителя идей «просветительского экзистенциализма» и философии «внутреннего человека». Именно эта рецептивная модель отвечала его представлениям о новой литературе и моральной («практической») философии. О связи этого перевода с проблематикой оригинального стихотворения Жуковского «Теон и Эсхин» (1814) см.: Загарин. С. 57—58.

Перевод «двух бесед» Энгеля важен и с точки зрения дальнейшего развития на страницах редактируемого Жуковским ВЕ жанра философского диалога. В течение 1808—1810 гг. он публикует семь образцов этого жанра: «Неизъяснимое происшествие: Разговор между Виллибальдом и Бландиною» из Виланда (1808. Ч. 36. № 6), «Разговор Сен-Реаля, Эпикура, Сенеки, Юлиана и Людовика Великого» из Шамфора (1809. Ч. 43. № 1), «Разговор Моды с Рассудком» (1809. Ч. 46. № 13), «Разговор Ума с Сердцем» из г-жи Роллан (1809. Ч. 46. № 14), «Два разговора о критике» (1809. Ч. 48. № 23), «Разговор философа Дежерандо с Сен-Мартеном» (1810. Ч. 51. № 10), «Улей: Разговор о бытии Бога» из Энгеля (1810. Ч. 54. № 22), в которых формировался «философический язык» русской прозы.

<sup>1</sup> Город во Франции, на берегу реки Ду, главный город провинции Франш-Конте.

<sup>2</sup> Людовик XV (1710—1774), французский король, вел разорительные войны, в том числе Семилетнюю войну 1756—1763 гг.

<sup>3</sup> См. дневниковую запись этого же времени: «Существование злого есть доказательство бессмертия, ибо оно было бы в противном случае без цели; следовательно, опровергало бы самое бытие Бога» (ПССиП. Т. 13. С. 49).

<sup>4</sup> При Мальплаке (Мальплакете) 17 сентября 1709 г. произошло сражение за испанское наследство между французской армией маршала Виллара и войсками

союзников (англичан, голландцев и немцев), предводимых принцем Евгением Савойским и герцогом Мальборо.

А. Янушкевич

1808 г.

### Подарок на Новый год

(«Вчера, будучи в гостях у Климены...»)

(С. 29)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 1. Январь. С. 25—29 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Гарве.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: конец 1807 г.

Источник перевода: *Garve Ch. Das Weihnachtsgeschenk* [Подарок на Рождество] // *Engel J. J. Schriften. Bd 1—12. Berlin, 1801—1806. Bd 1. S. 259—265.* («Philosoph für die Welt»; Siebzehntes Stück). Атрибуция: Eichstädt. S. 15.

Имя немецкого моралиста и философа Христиана Гарве (1742—1798) впервые появляется на страницах дневника Жуковского 21 июля 1805 г. Упомянув о чтении его статьи «О уединении и обществе» ( в архиве поэта находится перевод ее начала — см. наст. том), Жуковский дает подробную характеристику слога и личности автора: «Простой, ясный и приятный слог; порядок в предложении мыслей; справедливость мыслей, основанных на опыте. Виден человек, который в спокойном состоянии души, перед концом жизни, говорит о том, что заметил во всё время ее продолжения, говорит просто, без пристрастия. Гарве может назваться настоящим практическим философом, то есть таким, которого философия может быть легко применена к человеческой жизни, потому что она основана на опыте, не есть умозрительная, произведенная одним умом, но есть следствие многих замечаний и многих опытов» (ПССиП. Т. XIII. С. 21—22).

Поэт неоднократно будет обращаться к наследию немецкого мыслителя, черпая в нем и житейскую мудрость (см.: Резанов. Вып. 2. С. 261—264), и критико-эстетические размышления (БЖ. Ч. 2. С. 166—171). В библиотеке поэта сохранилось девять изданий (1787—1802 гг.) различных сочинений Гарве с его многочисленными маргиналиями (Описание. № 1072—1080). Кроме того, Жуковский знакомился с трактатом Цицерона «Об обязанностях» в немецком переводе Гарве (Описание. № 819).

Перевод статьи «Подарок на Новый год» для ВЕ в этом смысле является закономерным. «Практическая философия», связанная с теорией самонаблюдения и самоусовершенствования во время чтения, всегда волновала Жуковского. Его «метода» конспектирования, записей во время чтения, создания экстрактов и «прививок» формировалась на протяжении длительного периода. В ранних дневниковых записях концепция чтения как путь к размышлению и «действию души» является определяющей. В диалоге А. и Б., относящемся к 1804 г., на вопрос А.: «Как же

научить себя мыслить?» Б. отвечает: «Я думаю, чтением и старанием не упускать ни одного способного случая к размышлению» (ПССиП. Т. XIII. С. 11). Материалы личной библиотеки поэта — реализация этой теории на практике (подробнее см.: БЖ. Ч. 2. С. 14—31).

Статья Гарве, послужившая источником перевода Жуковского, была опубликована в «Светском философе» Энгеля (см. примеч. к статье «О смерти» в наст. изд.), и имела заглавие «Das Weihnachtsgeschenk» [Подарок на Рождество]. В целом сохранив содержание и общий пафос сочинения немецкого моралиста, переводчик внес в текст перевода характерные коррективы: безымянная героиня обрела имя Мария, а вместо отца, подарившего «белую книгу», появляется мать. Если у Гарве ничего не говорится о героине, то переводчик дает ее характеристику («милая, скромная, добросердечная Мария») и говорит о ее поведении.

Все эти изменения имели очевидный автобиографический подтекст и были связаны с историей отношений Жуковского и Маши Протасовой. Статья, опубликованная на страницах ВЕ, стала прозаическим постскриптумом к стихотворению «М\* на Новый год при подарке книги», написанному 1 января 1807 г. и первоначально записанному «на обороте титульного листа печатной записной книжки с подборкой фрагментов литературы для юношества и отрывками из сочинений моралистов — той самой книги, которую Жуковский подарил Маше на Новый год» (ПССиП. Т. I. С. 512). Замена рождественского подарка на новогодний в заглавии становится вполне объяснима.

Через год Жуковский возвращается к идее подобного подарка и с помощью немецкого «практического философа» подробно формулирует свою теорию чтения-воспитания. Показательно, что никогда впоследствии поэт не перепечатывал этот перевод, видимо, понимая его автобиографический смысл и неуместность его републикации после драматической развязки своей любовной истории и роли в ней матери Маши Е. А. Протасовой.

Однако размышления Гарве о роли и значении книги в воспитании молодой девушки найдут свое продолжение и в дерптских письмах-дневниках Жуковского 1814—1815 гг., обращенных к Маше, и в записях из альбома С. А. Самойловой, относящихся к 1819 г. Ср.: «Ты же непременно имей положенную работу — переводы нашего Дрезеке, делай свои выписки и записки, будь более с собою (...) рано поутру, где ни попало, пиши, читай, думай. *По доброй мысли на каждый день* — довольно хотя того» (ПССиП. Т. 13. С. 121); «Вы позволили мне сделать вам подарок в день вашего ангела: я вздумал подарить вас такую книгою, которая могла бы служить вам вместо *руководства в чтении других книг* и добрым, верным товарищем на целую жизнь. (...) Приложенную же *белую книгу* вы наполните своим. Я начал ее некоторыми собственными мыслями, которые набросал без порядка и связи. Пусть будут они здесь вместо предисловия. (...) Один из действительнейших способов *быть с собою* есть *чтение*. (...) Чтение в этом смысле есть *деятельность высокая, одно из твердейших оснований нашей нравственности*» (Там же. С. 134, 136. Курсив Жуковского).

<sup>1</sup> Образ «белой книги» (у Гарве просто пустые, чистые листы (leere Blätter) в книге) позднее приобретет у Жуковского лейтмотивный и почти сакральный смысл, связанный с таинствами творчества. Работа над поэмой «Владимир» (1805—1819), которая так и не была написана, активизировала этот образ. В письмах к Александру Тургеневу, в стихотворных посланиях к Воейкову, в дерптских письмах-

дневниках, обращенных к Маше, рефреном звучат слова о «белой книге»: «Молись, брат, чтобы в моей белой книге наполнились страницы» (ПЖТ. С. 107); «Молись же судьбе, чтобы вдруг меня не ослепило. Это значит: приезжай, и в белой книге наполнятся страницы» (РА. 1900. № 9. С. 19); «Молись судьбе, // Чтоб в ней наполнились страницы» (ПССиП. Т. I. С. 313); «“Владимир” будет написан. (...) Нет, моя белая книга не останется пустою, — я белой книги не страшусь» (ПССиП. Т. XIII. С. 91—92). См. также текст «Надписи на белой книге, которая определена Жуковским для эпической поэмы “Владимир”», сочиненной А. Ф. Воейковым (ПССиП. Т. I. С. 660).

<sup>2</sup> Ср. в оригинале: «Unsre Seele ist ein Maler». Этот афоризм Гарве Жуковский вспомнит во время своего первого заграничного путешествия. 7 сентября 1821 г., рисуя швейцарские виды в окрестностях Берна, он записывает в дневнике: «Рисование; не было солнца; главный живописец душа» (ПССиП. Т. 13. С. 216).

*А. Янушкевич*

### Густав

(«Есть человек, прекрасный лицом...»)  
(С. 31)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 1. Январь. С. 30—38 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Жанлис.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: вторая половина 1807 г.

Источник перевода: *Genlis S. F. Les souvenirs de Felicie L\*\*\** [Воспоминания Фелиции Л\*\*\*]. Paris, 1804. P. 56—67.

Интерес русских авторов конца XVIII — начала XIX вв. к творчеству французской писательницы, педагогу, наставнице короля Луи Филиппа Стефани Фелисите Дюкре де Сент-Обен де Жанлис, урожд. де Ланси (1746—1830) был эстетически закономерным и обоснованным. Проблемы становления русской художественной прозы и ее жанровой системы, образ «чувствительного» героя и внутренне созвучный ему образ автора, формирование прозаического стиля — эти вопросы стали «ключевыми» для русского литературного процесса рубежа веков. В нравоучительных повестях писательницы, восходящих к традиции «contemporale» Мармонтеля, активно осваивались эпистолярно-дневниковые и исповедальные нарративы, складывалась жанровая система ее «малой» прозы.

Вслед за Карамзиным к переводу произведений Жанлис обращается и Жуковский. Подробнее о переводах Карамзиным произведений французской писательницы см.: *Кафанова О. Б.* Н. М. Карамзин — переводчик Жанлис (Французская «нравоучительная сказка» и пути формирования русской сентиментальной повести) // *Художественное творчество и литературный процесс*. Вып. 4. Томск, 1982. С. 96—111; *Кафанова О. Б.* Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783—1800 гг.) // XVIII век. Сб. 16. С. 321—322.

Можно выделить несколько этапов в обращении Жуковского к творческому наследию Жанлис. Самое раннее упоминание имени Жанлис в творчестве Жуковского относится к 1800 г. В письме от 11 августа 1800 г. Андрей Тургенев обращается к поэту с просьбой «достать книгу de Genlis, которую мы купили вместе» (Письма Андрея Тургенева к Жуковскому // Ж. и русская культура. С. 109). Предположительно, это могли быть педагогические сочинения Жанлис, изданные в Париже в 1791 г. Экземпляр данного издания с пометами Жуковского хранится в его библиотеке (Описание. № 1094). В 1801 г. А. П. Елагина переводит по просьбе Жуковского два тома произведений Жанлис (См.: Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной. М., 2009. С. 635—636). Внимание к творчеству Жанлис в начале 1800-х гг. органично вписывалось в атмосферу раннего русского шиллерианства с его культом дружбы и платонической любви, с воспеванием поэтического труда и внутреннего мироощущения героя-энтузиаста. Эти идеи получили творческое воплощение и в деятельности Дружеского литературного общества, и в переводах Андрея Тургенева и Жуковского, и в бытовом поведении обоих друзей. По предположению Н. Н. Петруниной, напечатанная в ВЕ повесть Жанлис «Меланхолия и воображение» (1803. Ч. IX. № 12. С. 244—279; Ч. X. № 13. С. 3—37) была совместным переводом Карамзина и Жуковского (*Петрунина Н. Н.* Жуковский и пути становления русской повествовательной прозы // Ж. и русская литература. С. 55).

В период редакторства и сотрудничества Жуковского в журнале ВЕ в 1808—1811-х гг. он обращается уже к художественной прозе Жанлис. В письме к А. И. Тургеневу от конца ноября 1807 г. поэт просит Блудова возвратить взятые у него книги, в числе которых Contes de M-me Genlis. В другом письме от конца декабря 1807 — начала января 1808 г. поэт вновь просит напомнить Блудову, «чтоб он прислал Laharpe, Parny и Genlis» (ПЖТ. С. 38, 42). На страницах ВЕ Жуковский опубликовал переводы четырех произведений Жанлис. Жанровые дефиниции переводов Жуковского из Жанлис представляют собой «нравоучительную повесть, или сказку», «отрывок из путешествия», «необыкновенный случай», «записки», бытовой анекдот. Все произведения объединяет тенденция к передаче реального факта, подлинного события, к описанию бытовой ситуации. Повести Жанлис, напечатанные в ВЕ, соотносятся с традициями мистической («Густав»), мемуарной («Отрывок из путешествия г-жи Жанлис в Англию», «Отрывки из новых записок г-жи Жанлис») и нравственно-психологической («Дорсан и Люция») прозы в русской литературе конца XVIII — первой трети XIX вв.

Об исключительной популярности произведений Жанлис в России в это время свидетельствуют многочисленные переводы ее произведений на русский язык. Например, только в 1808 г., в одно время с переводами Жуковского, в России выходят два перевода ее романа «Велисарий», один из которых выполнен И. С. Захаровым; два перевода повести, озаглавленной «Геройство семнадцатилетней знатной девицы, или Оклеветанная невинность», И. Кобранова и под другим названием «Осада Ла-Рошели, или Нещастие и совесть»; перевод драмы «Награжденное гостеприимство», сделанный И. Раевским; перевод книги «Дух госпожи Жанлис, или Изображения, характеры, правила и мысли, выбранные из всех ее сочинений, доныне изданных в свет» в 2 ч.; «Маленький Ла Брюьер» в переводе П. Радумаева; «Размышления г-жи Жанлис» в переводе Д. Болтина; повесть «Сенклер, или Жертва наук и художеств». См.: *Сотиков В. С.* Опыт российской библиографии: В 5 ч. СПб., 1813—1821. № 2426, 2427, 2811, 3400, 3518, 6143, 7927,



9510, 10206. Произведения Жанлис также переводили В. И. Измайлов, М. Т. Каченовский, О. М. Сомов, П. И. Шаликов, А. А. Шаховской и др. Кроме ВЕ, переводы из Жанлис печатались в это время в журналах «Библиотека для чтения» (1822—1823), «Благонамеренный» (1818—1826), «Весенний цветок» (1807), «Дамский журнал» (1823—1833), «Драматический вестник» (1808), «Друг юношества» (1806—1815), «Журнал драматический» (1811), «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения» (1802—1804), «Любитель словесности» (1806) и др. См. именной указатель к Сводному каталогу русских сериальных изданий России (1801—1825). СПб., 1997. Т. 1. С. 540; СПб., 2000. Т. 2. С. 558, а также Сводный каталог русской книги. 1800—1825. М., 2007. Т. 2. С. 30—40. № 2666—2725.

Об известности произведений Жанлис в России в подлиннике и в переводах пишет и К. Н. Батюшков в «Прогулке по Москве», воспринимая ее как автора массовой литературы. Ср.: «Книги дороги, хороших мало, (...) но зато есть мадам Жанлис и мадам Севинье — два катехизиса молодых девушек — и целые груды французских романов» (*Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 291*). По выражению А. А. Бестужева-Марлинского, в начале XIX столетия Коцебу и Жанлис стали вводить в русскую литературу «ложную чувствительность» и «слезы участия» (*Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 441*). В. Г. Белинский рассматривает русскую повесть 1800—1810-х гг. как «воспитанницу мадам Жанлис» (*Белинский В. Г. ПСС. Т. 1. С. 272*). Декабрист М. С. Лунин в составленном им в 1838—1839 гг. плане начальных занятий с восьмилетним Мишей Волконским включает туда сочинения для детей Жанлис (*Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1987. С. 147, 149*).

К творчеству Жанлис Жуковский обращался и после работы в ВЕ (в конце 1810-х — начале 1820-х гг.). Вероятно, это было связано с его занятиями с великой княгиней Александрой Федоровной. В период с 1819 по 1822 гг. имя Жанлис неоднократно упоминается в дневниках поэта. Так, в записях от 26, 27 августа и 3 сентября 1819 г. Жуковский сообщает о чтении романа Жанлис «Voeux temeraires» («Смелые обещания») (ПССиП. Т. XIII. С. 131). В швейцарском дневнике поэта от 3 августа 1821 г. речь идет об отрывке «De Zug, ce dimanche», вошедшем в ее книгу «Les Souvenirs de Felicie L\*\*\*» (ПССиП. Т. XIII. С. 196). Этот отрывок под заглавием «Кладбище в Цуге, горном кантоне» известен в переводе Н. М. Карамзина, взятом из «Nouvelle Bibliotheque des romans». При посещении Фернейского замка Вольтера 24 августа 1821 г. Жуковский вспоминает его описание, также встречающееся в «Les Souvenirs de Felicie L\*\*\*» (ПССиП. Т. XIII. С. 210). Фрагмент из этой книги под названием «Свидание г-жи Жанлис с Вольтером» был также переведен Карамзиным и опубликован в ВЕ. В записях от 2 и 3 января 1822 г. речь идет о чтении Жуковским сочинения Жанлис «Les veilles du chateau ou Cours de morale al'usage des enfants» (ПССиП. Т. XIII. С. 236). Это произведение также было переведено Н. М. Карамзиным и опубликовано в журнале ВЕ. В 1840-м г. Жуковский вновь обращается к творчеству Жанлис. В дневниковой записи от 30 (11) августа поэт сообщает о совместном чтении со своей невестой Е. Рейтерн повести Жанлис «Lindane et Walmire» (ПССиП. Т. XIV. С. 220).

Перевод Жуковским повести «Густав» в целом соответствует подлиннику. Полностью книга Жанлис «Les Souvenirs de Felicie L\*\*\*», куда входит это произведение, была издана на русском языке в 1808 г. под названием «Мысли остроумные и приятные анекдоты, собранные г-жою Жанлис, под именем Фелиции

Л.» в 2 ч. и в 1809 г. под заглавием «Воспоминания Фелиции Л., состоящие из отборнейших мыслей и изящнейших анекдотов, в недавнем времени изданные госпожою де Жанлис» в 2 ч. (Сопиков В. С. Указ. изд. № 6365, 2660). Отдельные фрагменты из этой книги первоначально были опубликованы в «Nouvelle Bibliothèque des romans» и послужили источником для переводов Карамзина. Повесть «Густав» вошла также и в «Memoires inédits de madame la comtesse de Genlis...», Paris, 1825. Ap 10 vol. V. 9. S. 42—51. Интерес к вопросам внутренней жизни личности, проблемы судьбы, счастья, нравственного выбора, мотив воспоминания сближают это произведение с такими публикациями поэта в № 1 ВЕ за 1808 г., как «Романс» («Дубрава шумит»), «Характер Марк-Аврелия», «Изъяснение картинки». Встречающийся в этой повести мотив явления призрака умершего человека герою встречается также в произведениях «Неизъяснимое происшествие» Виланда (ВЕ. 1808. № 6), «Привидение» анонимного автора (ВЕ. 1810. № 16), «Горный дух Ур в Гельвеции» Ю. фон Фосса (ВЕ. 1810. № 21), «Марьино роще» Жуковского (ВЕ. 1809. № 2, 3), в балладах «Людмила» (1808) и «Вадим» (1817), а позднее получает целостное нравственно-философское осмысление в статье поэта «Нечто о привидениях» (1848). См.: *Виницкий И. Ю.* Нечто о привидениях Жуковского // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 147—172. Этот же мотив сближает повесть «Густав» с традициями европейского предромантического «готического романа» Жанлис, Радклиф, Дюкре-Дюмениля и др. См.: *Луков Вл. А.* Предромантизм. М., 2006. С. 353.

<sup>1</sup> *au quai des Augustins* — набережная Огюстинов, расположена в Латинском квартале Парижа.

*И. Поплавская*

### Характер Марк-Аврелия

(«Марк-Аврелий, великий образец государей...»)

(С. 35)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 1. Январь. С. 41—43 — в рубрике «Литература и смесь», с подписью: Гиббон.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не ранее января 1808 г.

Источник перевода: *Gibbon E.* History of the decline and fall of the Roman empire [История упадка и разрушения Римской империи]. V. 1 (подробнее см. ниже).

Представленный текст, с одной стороны, открывает серию публикаций Жуковского-редактора ВЕ историй из «жизни замечательных людей», подчиненную идее нравственного совершенствования. Цикл продолжится статьями о Лафатере (1808, № 5), Мунго-Парке (1808, № 12). Клопштоке (1808, № 17), о Гёте, «изображенном Лафатером» (1808, № 21), отрывками из писем Ж.-Ж. Руссо, А. Смита о Юме, Канта, Миллера.

С другой стороны, фигура римского правителя впоследствии найдет в поэтическом творчестве романтика определенное соотношение с искомым образом идеального монарха вообще и личностью Александра I, в частности. В письме к А. И. Тургеневу, сообщая о продвижении своего замысла послания «Императору Александру», Жуковский назовет его не иначе как «нашим Марком Аврелием» (ПЖТ. С. 126).

Подпись «Гиббон» указывает на источник изложенной Жуковским истории, которым является главное сочинение известного английского историка Эдварда Гиббона (1737—1794) «История упадка и разрушения Римской империи» («History of the decline and fall of the Roman empire»). Первый том «Истории...», в котором и содержится информация о Марке Аврелии Антонине, вышел в 1776 г. Второй и третий тома были впервые опубликованы в 1781 г., последние три тома вышли в свет в 1788—1789 гг. Историческое сочинение, охватившее период с конца II в. до падения Константинополя в 1453 г. и обращенное к широкой публике, нашло восторженный прием.

Для иллюстрации образа просвещенного и высоконравственного правителя выбрана несколько приукрашенная Гиббоном история о неудавшейся попытке свергнуть императора Марка Аврелия, предпринятой его наместником Гаем Авидием Кассием.

В личной библиотеке Жуковского сохранилось полное, но более позднее издание «Истории...» Э. Гиббона 1815 г. (Описание, С. 163). В первом томе, в разделе «Характер и правление Марка» поэтом отмечен и заимствованный отрывок (The history of the decline and fall of the Roman Empire. By Edward Gibbon. A new ed. Vol. 1—12. London, Lackington, Allen and Co, 1815. V. I. P. 125—126).

В переводе Жуковский точно следует английскому подлиннику, внедряя в текст оригинальные эпитеты, возвышающие характер монарха-просветителя, как то: «незабвенный», «мудрый», «великий образец государей»; «друг, защитник, благодетель человеческого рода», «великий император».

<sup>1</sup> *Марк-Аврелий...* — Марк Аврелий Антонин (121—180) — римский император, философ-стоик. Его правление сопровождалось чередой военных конфликтов. Марк Аврелий оставил философские записи, которым приписывают общее название «Рассуждения о самом себе», где он призывает к гуманности, к заботе о душе, к осознанию своей греховности. Он исповедовал принципы стоицизма, и главное в его записках — этическое учение, оценка жизни с философско-нравственной стороны. В обостренном личном отношении к божеству, в пессимизме, близком к трагической безысходности, выражается характерное для Поздней Стои сочетание философии с интимным религиозным чувством. После смерти император был официально обожествлен. Время его правления считается в античной исторической традиции золотым веком. Марка называют философом на троне.

<sup>2</sup> ... *объяснением Зиноновых правил* — постулаты философии стоиков. Зенон (ок. 336 — ок. 264 до н. э) — древнегреческий философ, родоначальник стоической школы.

<sup>3</sup> *Узнав о самоубийстве Авидия Кассия...* — Гай Авидий Кассий (ок. 130—175), наместник Сирии во времена Марка Аврелия, который в 175 г. объявил себя императором, воспользовавшись слухами о смерти Марка Аврелия; его поддержали только немногие города Востока, Кассий был убит своими же солдатами.

*Н. Никонова*

## Меланхолическая песня Марии Стюарт

(«Было время, когда Мария Стюарт...»)

(С. 35)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 1. Январь. С. 43—49 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Коцебу.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется приблизительно конец 1807 г.

Источник перевода: *Kotzebue A. Ein Gedicht von Maria Stuart* [Одно из стихотворений Марии Стюарт] // *Kotzebue A. Kleine Romane, Erzählungen, Anekdoten und Miscellen. Leipzig, 1809. Bd. 1. S. 412—415.* Атрибуция: *Eichstädt. S. 16.* Издание, по которому выполнен перевод, не установлено.

Имя немецкого писателя, автора многочисленных драм и комедий, романов и повестей, исторических мемуаров, Августа фон Коцебу (1761—1819) рано вошло в творческое сознание Жуковского. Подробнее о жизни и судьбе Коцебу, о его русской рецепции см. примеч. к комедии «Ложный стыд» в т. 7 наст. изд.

Повесть «Королева Илдегерда» и роман «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь» (1801), комедия «Ложный стыд» (1802) стали объектом переводческой деятельности раннего Жуковского.

На страницах ВЕ он обращается к прозаическим опытам Коцебу, акцентировав в них прежде всего историю человеческих страстей, природу парадоксальных психологических явлений.

Превратив «Одно из стихотворений Марии Стюарт» в ее «меланхолическую песнь», Жуковский пытается осмыслить судьбу романтической героини, загадочной шотландской королевы Марии Стюарт (1542—1587). Еще в списке литературных замыслов под заглавием «Что сочинить и перевести», относящемся к 1805 г., он называет «Марию Стюарт» (Резанов. Вып. 2. С. 255), не уточняя источник перевода. «Меланхолия страстной души» — вот эмоциональный нерв перевода Жуковского. Обратившись вслед за Коцебу к юности Марии Стюарт, французскому периоду ее жизни (1558—1560), когда она, став женой французского дофина, рано умершего короля Франциска II (1543—1560), слабого здоровьем и даже считавшегося слабоумным (хотя это не подтверждается историческими источниками), переживает первые превратности судьбы, Жуковский акцентирует особенности ее психологического состояния.

Текст Коцебу в переводе Жуковского претерпел существенные изменения. Прежде всего русский поэт убирает весь первый абзац, где говорится об интерпретации истории шотландской королевы в драме Шиллера «Мария Стюарт». Главное же, в отличие от Коцебу он не просто приводит песню героини, но и пытается дать развернутый комментарий-послесловие к ее тексту, которым завершается публикация немецкого автора.

Акцентировав «меланхолический» подтекст песни как доминирующий, Жуковский последовательно раскрывает «гармонический голос печали», пытается проникнуть в тайны чувствительной души и дать свое толкование

«любовой меланхолии». Если любовная меланхолия его предшественников была «безрадостна и болезненна», то «в интерпретации Жуковского она становится своеобразным “вестником” радости, невозможной на земле, и “лекарством” от уныния и скуки» (*Виницкий И. Утехи меланхолии // Ученые записки Московского культурологического лицея № 1310. Серия: Филология. Вып. 2. М., 1997. С. 150*).

Другой характерной особенностью перевода Жуковского становится выявление шиллеровского подтекста «меланхолической песни» Марии Стюарт. Если Коцебу в самом начале статьи говорит о том, что Шиллер не изобразил в своей драме молодость героини, то Жуковский, сняв этот пассаж, в своем комментарии к песне выделяет именно те фрагменты, которые ощутимы в романсе Теклы из трагедии Шиллера «Пикколомини» (д. 3, явл. 7) и в песне Амалии из «Разбойников» (д. 3, сцена 1). Оба эти шиллеровских произведения нашли свое развитие и в лирике русского романтика. Песня «Тоска по милом» (ВЕ. 1808. Ч. 37. № 1) и стихотворение «Плач Людмилы» (ВЕ. 1809. Ч. 47. № 20) — вольный перевод из Шиллера — одновременно и отзвуки общего источника «Меланхолической песни Марии Стюарт». В контексте публикаций на страницах ВЕ «Тоска по милом», «Плач Людмилы» и «Меланхолическая песня Марии Стюарт» обретают внутреннее единство, имеющее автопсихологический характер, связанный с историей драматической любви Жуковского.

<sup>1</sup> *Брантом де Бурделье Пьер* (1540—1614), французский придворный и мемуарист, один из свидетелей и жизнеописателей французского периода жизни Марии Стюарт. Он посвятил ей специальный очерк «Marie Stuart, Reyne d'Eccosse, jadis Reyne de notre France», куда и вошла песня, использованная Коцебу. См.: *Oeuvres du Seigneur de Brantôme. Т. 2. Paris, М. DCC. LXXXVII [1787]. Р. 320—322*. Коцебу, а вслед за ним и Жуковский, сокращает текст на два куплета (5-й и 9-й), которые не имеют принципиального значения для общего смысла произведения.

<sup>2</sup> Вот как выглядит этот фрагмент (ст. 35—48) в русском переводе:

Как тяжко ночью, днём  
 Всегда грустить о нём!  
 Когда на небеса  
 Кидаю взгляд порою,  
 Из туч его глаза  
 Сияют предо мною.  
 Гляжу в глубокий пруд —  
 Они туда зовут.  
 Одна в ночи тоскуя,  
 Я ощущаю вдруг  
 Прикосновенье рук  
 И трепет поцелуя.  
 Во сне ли, наяву —  
 Я только им живу.

(Пер. Р. Гальпериной; цит. по: *Цвейг С. Мария Стюарт // Цвейг С. Собр. соч.: В 7 т. Т. 4. М., 1963. С. 41*).

En mon triste et doux chant,  
D'un ton fort lamentable,  
Je jette un oeil tranchant  
De perte irréparable;  
Et en soupirs cuisants  
Passe mes meilleurs ans.

Fut-il un tel malheur  
De dure destinée,  
Ni si triste douleur,  
De dame fortunée,  
Qui mon cœur et mon œil  
Vois en bière et cercueil?

Qui en mon doux printemps  
Et fleurs de ma jeunesse,  
Toutes les peines sens  
D'une extrême tristesse,  
Et en rien n'ay plaisir,  
Que regrets et desires.

Ce qui m'était plaisant,  
Ores m'est bien dure;  
Le jour le plus luisant  
M'est nuit noire et obscure,  
Et n'est rien si exquis  
Que de moy soit requis.

Pour mon mal estranger  
Je ne m'arreste en place;  
Mais j'en ay beau changer,  
Si ma douleur j'efface,  
Car mon pis et mon mieux  
Sont me plus déserts lieux.

Si en quelque sejour,  
Soit en bois on bien en prée,  
Soit pour l'aube du jour,  
Ou soit pour la vesprée,  
Sans cesse mon cœur sent  
Le regret d'un absent.

Si parfois vers ces lieux  
Viens à dresser ma veue,  
Le doux trait de ses yeux  
Je vois en une nûe;  
Soudain je vois en l'eau  
Comme dans un tombeau.

В моей грустной и нежной песне,  
Очень жалобной мелодии  
Я бросаю решительный взгляд  
На непоправимую потерю  
И в мучительных стенаниях  
Провожу свои лучшие годы.

Может ли быть подобное несчастье,  
[Ниспосланное] суровой судьбой,  
Или такое печальное страдание  
Для женщины, некогда счастливой,  
Чтобы ее взоры и сердце  
Обратились к могиле и гробу?

Кто в моей сладостной весне  
И цветущей юности  
Познал все кары  
Чрезмерной горести,  
В которой все наслаждения —  
Сожаления и [тщетные] желанья.

То, что было моей радостью,  
Отныне стало горем;  
Самый сияющий день —  
Черной и мрачной ночью,  
И нет ничего столь болезненного,  
Как то, что стало моей участью.

Из-за моей запредельной боли  
Я не нахожу себе места;  
Но если бы перемена места  
Могла избавить меня от страдания!  
Поскольку мое благо и мое зло  
Равно пустыньны для меня.

И где бы я ни была —  
В лесу или в лугах,  
На рассвете дня  
Или на его закате —  
Мое сердце беспрестанно изнывает  
От сожалений об отсутствующем.

И если временами в эти места  
Прихожу, чтобы смирить мои желанья,  
Сладостный очерк его глаз  
Я вижу в облаке;  
И часто смотрю в воду,  
Как в могилу.

Si je suis en repos,  
Sommeillant sur ma couche,  
J'oy qu'il me tient propos,  
Je le sens qu'il me touche;  
En labeur, en recoy  
Toujours est prest de moi.

Mets, chanson, ici fin  
A si triste complainte;  
Dont sera le refrain  
Amour vraie et non feinte;  
Pour la séparation  
N'aura diminution.

Когда я отдыхаю,  
Дремля на своем ложе,  
Я вдруг чувствую его близость  
И его прикосновение;  
В делах и в праздности  
Он всегда рядом со мной.

Песня, умолкни здесь,  
На этой жалостной ноте;  
Рефреном же тебе да будет  
Истинная неложная любовь;  
Боль разлуки  
Не стихнет.

### Перевод «Меланхолической песни Марии Стюарт»

В моей грустной и нежной песне,  
На очень жалобную мелодию,  
Я бросаю смелый взгляд  
На непоправимую потерю  
И в мучительных стенаниях  
Провожу свои лучшие годы.

Может ли быть подобное несчастье,  
[Ниспосланное] суровой судьбой,  
Или такое печальное страдание  
Для женщины, некогда счастливой,  
Чтобы ее взоры и сердце  
Обратились к могиле и гробу?

Кто в моей сладостной весне  
И цветущей юности  
Познал все кары  
Чрезмерной горести,  
В которой все наслаждения —  
Лишь сожаления и [тщетные] желания.

То, что было моей радостью,  
Отныне стало горем;  
Самый сияющий день —  
Черной и мрачной ночью,  
И нет ничего столь болезненного,  
Как то, что стало моей участью.

Из-за моей запредельной боли  
Я не нахожу себе места;  
Но если бы перемена места  
Могла избавить меня от страдания!  
Поскольку мое благо и мое зло  
Равно пустыни для меня.

И где бы я ни была —  
В лесу или в лугах,  
На рассвете дня  
Или на его закате —  
Мое сердце беспрестанно изнывает  
От сожалений об отсутствующем.

И если временами в эти места  
Прихожу, чтобы смирить мои желания,  
Сладостный очерк его глаз  
Я вижу в облаке;  
И внезапно смотрю в воду  
Как в могилу.

Когда я отдыхаю,  
Дремля на своем ложе,  
Я вдруг чувствую его близость  
И его прикосновение;  
В занятиях и в праздности  
Он всегда рядом со мной.

Песня, умолкни здесь,  
На этой жалостной ноте;  
Рефреном же тебе да будет  
Истинная неложная любовь;  
Боль разлуки  
Не найдет утешения.

*О. Лебедева, А. Янушкевич*

### **Жизнь и деятельность**

(«Прибавлять каждый день, что можно, к моральному своему совершенству...»)  
(С. 39)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 2. Январь. С. 93—96 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Мориц.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: конец 1807 г.

Источник перевода: *Moritz C. P. Leben und Wirksamkeit. Bestimmung der Thatkraft [Жизнь и деятельность. Определение деятельной силы] // Moritz C. P. Launen und Fantasien. Berlin, 1796. S. 54—58. Атрибуция: Eichstädt. S. 17.*

Творчество немецкого писателя и философа-моралиста Карла Филиппа Морица (1757—1793) было популярно в России. О своем «великом почтении» к нему говорит в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзин и подробно рассказывает



о встрече с ним в Берлине 6 июля 1789 г. (*Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. М., 1984. С. 45—47). На страницах «Московского журнала» в 1791—1792 гг. появляются переводы Карамзина из Морица (см.: *Кафанова О. Б.* Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783—1800 гг.) // XVIII век. Сб. 16. С. 328, 329, 331, 335). Не случайно Мориц называется в числе авторов, «вызывавших серьезный интерес русских литераторов конца XVIII — начала XIX в.» (*Кочеткова Н. Д.* Литература русского сентиментализма: Эстетические и художественные искания. СПб., 1994. С. 5).

Обращение Жуковского к наследию немецкого писателя (в ВЕ появилось три перевода из Морица) было обусловлено остротой нравственной проблематики, вниманием к проблемам самоопределения и поведения человека, столь отчетливо выраженным в его сочинениях.

В этом смысле пафос деятельной жизни, самореализации в творчестве — лейтмотивное настроение писем и дневниковых записей Жуковского 1804—1807 гг., времени, предшествовавшего появлению перевода статьи Морица «Жизнь и деятельность».

Уже в дневниковой записи от 30 июля 1804 г. звучит вопрос: «Как же *приучить себя к деятельности?*» (ПССиП. Т. 13. С. 10. Курсив Жуковского). И далее — постоянный поиск ответа на этот вопрос. «Итак, цель моей жизни должна быть деятельность, но такая деятельность, которая мне возможна: деятельность в литературе, или возможное извлечение пользы из авторских моих талантов; деятельность в образовании моего характера, деятельность в поддержании моего состояния; деятельность в составлении счастья моего семейства, если его иметь буду, и в исполнении общественных условий» (Там же. С. 17), — резюмирует он ровно через год.

Перевод статьи Морица стал своеобразным эпилогом этих напряженных раздумий молодого поэта, нашедшего воплощение своей цели в издании журнала, для которого он и подготовил свое сочинение.

В библиотеке Жуковского к этому времени имелись почти все сочинения немецкого автора (Описание. № 1685—1688, 2711—2712), в том числе его сборник «Launen und Fantasien» [Капризы и фантазии]. Berlin, 1796, где и находится переведенная статья.

При всей точности передачи текста немецкого автора бросаются в глаза два отступления: усиление эмфатики (восклицательные и вопросительные конструкции, совершенно отсутствующие у Морица) и внедрение объекта обращения по имени Софроним (греч. — здравомыслящий, благоразумный). Что касается первой особенности трансформации текста, то она вполне отвечает стилистике произведений раннего Жуковского: мелодика его стиха, вопросительная интонация и эмоциональная, почти экзальтированная напряженность высказывания. Появление образа мнимого адресата — воплощение реального лица, Александра Тургенева, в письмах к которому так настойчиво и так энтузиастично (отсюда особое внимание к фигуре энтузиаста и просьба прислать сочинения «...какого-нибудь Немца-энтузиаста. Мне теперь нужен такой помощник, нужна философия, которая бы оживила, пробудила мою душу» — ПЖТ. С. 22) звучат слова о необходимости «действовать вместе, друг для друга, действовать достойным друг друга образом», «действовать так, чтобы принести пользу» (Там же. С. 23, 24).

*А. Янушкевич*

### Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет

(«Еще не все сочинения Жан-Жака Руссо известны публике...»)

(С. 40)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 2. Январь. С. 97—131 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Меркель и с примечанием на с. 97, подписанным: Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: конец 1807 г.

Источник перевода: *Merkel G. H. Rousseau's Reise nach Paraklet* [Путешествие Руссо в Параклет] // *Merkel G. H. Erzählungen*. Berlin, 1800. Bd. 1. S. 1—66.

Представляет собой достаточно точный перевод произведения Г. Х. Меркеля, в оригинале состоящего из 18-ти пронумерованных глав. В переводе нумерация снята, в ряде случаев переводчиком сделаны небольшие вставки или изъятия, заменены имена некоторым персонажам. Так, героиня Annette в переводе получает имя Жюльетта; её обидчик в оригинале — Anton, в переводе — Карл. Единственным существенным отступлением от оригинала является слияние авторского «Вступления» («Einleitung») с основной частью текста в качестве первого абзаца и включение абзаца второго, целиком принадлежащего переводчику и органично продолжающего мысль автора о «чувствительности» Руссо, который видит в этом не слабость, но силу писателя. Кроме этого, переводчиком опущено одно и сокращено второе обращение автора к читателю. Так, опущены первые два предложения из «Вступления», ставшего началом повествования: «Ich wünsche dem Publikum Glück! Ihm stehen grosse Gehüsse' grosse Rührungen und grosse Entzückungen bevor». («Я желаю публике счастья! Её ожидает великое наслаждение, великая растроганность и великие восторги») Урезан и трансформирован еще один аналогичный пассаж немецкого оригинала. В последнем случае он обращен к *предполагаемому* в будущем читателю письма Руссо к милади Говард. И начинается он таким же пышным обращением к публике, хотя действие носит частный характер. Эти обращения имеют слишком непривычную для русского читателя форму. Сохраняя общий смысл, Жуковский несколько умеряет пафосность текста.

Перевод открывается преамбулой, в которой читателю сообщается, что «еще не все сочинения Жан-Жака Руссо известны публике. Одна из лучших его приятельниц, милади Говард имеет манускрипт, которого содержание, быть может, не менее самой «Элоизы» привлекательно. Список с этого манускрипта, найденный между бумагами известного графа д'Антрегю, находится теперь в руках господина Лаканала. Он заключает в себе рассуждение о Виляндовом «Агатоне», которого Жан-Жак Руссо читал в переводе; отказ Дидрота на предложение десяти тысяч ливров годового пенсионна от имени императрицы ЕКАТЕРИНЫ, и, наконец, следующие два «происшествия». Мне удалось их слышать (не спрашивайте где), и сердце моё наполнилось такими сладкими, живыми чувствами, которые всегда производит в нем трогательный голос Ж.-Жака; я решился описать их просто, без всяких витийственных украшений и, если можно, точно так, как слышал. Читатель

со временем будет иметь в руках и саму повесть Жан-Жака Руссо: тогда я первый забуду сии строки, написанные мною в минуту сладкого волнения души, произведенного магическим его даром». В примечании Жуковского поясняется, что одно из двух «происшествий» сообщается «читателю “Вестника” теперь (имеется в виду “Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет”), другое (т. е. повесть “Эдуард Жаксон, Милли и Ж.-Ж. Руссо”, переведенная Жуковским для ВЕ в 1810 г.) будет напечатано после». А. А. Златопольская делает предположение о том, что рукописные копии обеих повестей, якобы обнаруженные в бумагах Луи-Александра де Лоне, графа д’Антрега (1753—1812) — подделка, принадлежащая самому графу, последователю «женевского гражданина», и что Меркель передает рассказы из биографии Руссо, во многом выдуманные д’Антрегом. См. *Златопольская А. А. Под маской «бедного Жан-Жака»*. А. М. Белосельский-Белозерский и апокрифические сочинения Ж.-Ж. Руссо в русской культуре // *Человек*. 2005. № 5.

<sup>1</sup> ...«*рассуждение о виландовом “Агатоне”*» — «Агатон» (1766) — воспитательный роман немецкого писателя-просветителя К. М. Виланда (1733—1813), высоко оцененный Г. Э. Лессингом, И. Г. Гердером, с восторгом воспринятый Жуковским. Подробнее см.: *Реморова Н. Б. Жуковский и немецкие просветители*. Томск, 1989. С. 19—43.

<sup>2</sup> ...*отказ Дидрота на предложение десяти тысяч ливров годового дохода от имени Императрицы ЕКАТЕРИНЫ...* — Дидро Дени (1713—1784), французский просветитель, создатель первой «Энциклопедии». Имел колоссальную, почти в 3 тысячи томов, личную библиотеку, состоял в переписке с императрицей Екатериной II, которая, ввиду сложного материального положения писателя и философа, предложила ему купить его библиотеку за 15 тысяч ливров и остаться её пожизненным хранителем за дополнительную плату за 10 лет вперед, исходя из расчета 1 тысяча в год (*Стенник Ю. Судьба библиотеки Д. Дидро*. 1985. С. 155.). Покупка библиотеки состоялась в 1765 г., и она была перевезена сначала в Ригу, а после смерти Дидро — в С.-Петербург в Эрмитаж. Факт отказа Дидро от дополнительной платы (10 тысяч ливров) документально не зафиксирован.

<sup>3</sup> *Тюльери* — обширный сад в Париже на правом берегу р. Сены.

<sup>4</sup> ...*разговаривал с Терезою* — Тереза Левассер (1721—1801) — жена Ж.-Ж. Руссо.

<sup>5</sup> ...*в Параклет ...поклониться Элоизину гробу...* — Монастырь недалеко от Труа, во Франции, место убежища знаменитого Абеяра в XII в.

<sup>6</sup> ...*надлежало родиться в душе Сен-Прио...* — Сен-Пре (Saint-Preux) — герой романа Руссо «Новая Элоиза».

*Н. Реморова*

### Три сестры Видение Минваны

(«*Вся наша жизнь была бы одним последствием...*»)

(С. 54)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 36. № 2. Январь. С. 148—154 — в рубрике «Смесь», с заглавием: Три сестры (Видение Минваны).

В прижизненных изданиях: С 2. Ч. 4. С. 187—194; С 3. Ч. 4. С. 153—159; С 4. Т. 7. С. 150—156; С 5. Т. 7. С. 43—49 — с заглавием: Три сестры. Видение Минваны. Тексты С 4 и 5 идентичны.

Печатается по С 5.

Датируется: не позднее первой декады января 1808 г.

Оригинальная аллегорическая повесть сосредоточивает в себе основополагающие для романтизма Жуковского образы и мотивы и относится к числу репрезентативных произведений из единого пространства его «Жизни и Поэзии».

По замечанию, К. К. Зейдлица, написанная от лица героини повесть была «приветом Маше ко дню рождения (1 апреля)» (Зейдлиц, С. 34—35), в 1808 г. ей исполнилось 13 лет. Условно-поэтический, восходящий к Оссиану образ Минваны обретает в художественной системе Жуковского конкретный биографический контекст и обозначает вполне сложившееся глубокое чувство к Марии Протасовой. Впервые он возникает в произведениях 1806 г. — оригинальной элегии «Вечер» и набросках к поэме «Весна». Свою развязку этот художественный и биографический сюжет получает в эстетическом манифесте поэта — балладе «Эолова арфа» (1814).

Сюжетобразующий в повести мотив трех сестер (Вчера, Ныне, Завтра) также входит в ряд постоянных поэтических формул Жуковского. В стихотворной форме он впервые возникает в переводной эпиграмме «Моя тайна» 1805 г., затем воспроизводится в отрывке «Уединение» (1813). В этих стихотворениях, возможно, вслед за Пфеллем и Моржье, Жуковский называет уделом прошлого забвение. В «Видении Минваны» мотив трех сестер впервые воплощает будущую философию воспоминания как особого измерения. Ср., например: «Прошедшее с тобою неразлучно» — «Для сердца прошедшее вечно» («Теон и Эсхин»).

В первой публикации помимо трех сестер заглавной буквой и курсивом отмечены также Провидение и Меланхолия — категории, знаковые в романтической системе зрелого Жуковского.

<sup>1</sup> ...сладостное чувство. — В ВЕ: приятное чувство!

<sup>2</sup> ...у зеленой дубовой рощи — в ВЕ «у входа зеленой дубовой рощи».

<sup>3</sup> ...казалось нечеловеческим — в ВЕ «казалось божественным».

<sup>4</sup> ...подавая мне розу, сказала: «Подарок в день твоего рождения!» — поэтическая символика розы в творческом сознании Жуковского выступает атрибутом универсального сюжета их высоких отношений с Машей. В этом же символическом обрамлении роз он раскрывается в «Эоловой арфе». После смерти М. Протасовой интертекст ее любимого романа Вейрауха, выраженный в самом названии «Розы расцветают...», становится узнаваемым маркером этого сюжета в переписке с К. К. Зейдлицем.

<sup>5</sup> ...иначе называют нас... — в первой публикации «...простолюдины называют нас...».

<sup>6</sup> Ты будешь... — в ВЕ «Ты будешь, будешь».

<sup>7</sup> ...никогда не родятся — в ВЕ, С 2, 3: «не всегда родятся».

<sup>8</sup> А если, мой друг, обманутая красотою розы, уколешься ее шипами — в ВЕ «И тогда, мой друг, когда обманутая красотою розы, уколешься ее шипами...».

<sup>9</sup> Тогда вжився пред тобою вместе... — Выделенное в ВЕ курсивом слово «вместе» имеет особый смысл в контексте отношений Жуковского и его возлюбленной,

становится в последующем автоцитатой. Образ «милого вместе» раскрывается в письмах-дневниках в связи с любовным чувством поэта к Маше («чего не снесешь для этого *вместе* (...)») (Письма-дневники. С. 185—186) и в поэтическом творчестве Жуковского (ср.: «Минутная сладость // Веселого *вместе*...» в балладе «Эолова арфа»).

<sup>10</sup> В первой редакции (ВЕ, С 2 и С 3) повесть завершает следующий абзац, подчеркивающий иллюзорность видения героини и возвращающий читателя к земному, здешнему миру: «С новыми чувствами, с новыми мыслями возвращаюсь домой — нынешний вечер никогда не заглядится (в С 3 — «не изгадится») в моей памяти!»

Н. Никонова

### О назначении человека

(Отрывок)

(«Человек! Ты ищешь места своего на земле...»)

(С. 57)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 21—3. Л. 36—39.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 3. Февраль. С. 181—192 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Мендельзон.

В прижизненных изданиях: Собрание образцовых сочинений в прозе знаменитых древних и новых писателей. М., 1811. Ч. 5. С. 163—174 — под заглавием: «О назначении человека (Из Мендельзона)».

Печатается по тексту первой публикации, со сверкой по автографу.

Датируется: конец 1807 — начало января 1808 г.

Источник перевода: *Mendelssohn M. Zweifel und Orakel über die Bestimmung des Menschen* [Сомнение и предсказание о назначении человека] // *Mendelssohn M. Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele*. Berlin, 1767. Атрибуция: Eichstädt. S. 15.

Имя немецкого философа Мозеса Мендельсона (1729—1786) рано вошло в творческое сознание Жуковского. Уже в «Росписи во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты» (1805) сочинения Мендельсона упоминаются в разделах «Метафизика» и «Логика»: *Morgenstunden von Mendelson; Phädon, par Mendelson* (Резанов. Вып. 2. С. 243). В конце 1811 г. Жуковский обращается к переводу философского диалога Мендельсона «Федон, или О бессмертии души». Сохранился черновой автограф этого перевода под заглавием «Сократовы разговоры о бессмертии души», опубликованный и прокомментированный О. Б. Лебедевой (ПССиП. Т. 7. С. 455—473, 667—676). В библиотеке поэта имеется это сочинение (*Phädon, oder über die Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen. Von Moses Mendelssohn*. Berlin u. Stettin, 1776; см.: Описание. № 2701), с многочисленными пометами и записями владельца, отражающее следы совместного его чтения с Машей Протасовой в сентябре-октябре 1813 г. (подробнее см.: Веселовский. С. 134; Описание. С. 373).

Безусловно Жуковскому был известен интерес к личности и творчеству этого немецкого мыслителя Н. М. Карамзина. В «Письмах русского путешественника» он называет его «Иудейским Сократом», ведет в почтовой коляске разговор с моло-

дыми студентами о «Мендельзоновом Федоне», включает его в число «великих Гениев» называет «великим человеком» (*Кафамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 20, 57, 64, 88*).

На страницах ВЕ Жуковский дважды обратился к наследию Мозеса Мендельсона: первый раз, непосредственно переведя его программное сочинение «О назначении человека», второй раз опосредованно: в переводе статьи И.-Я. Энгеля «Два разговора о критике» (1809. Ч. 48. № 23) он вслед за автором выводит образ «скромного Мозеса Мендельсона», носителя высоких идеалов критики, которая есть «философия человека» и «имеет в виду человека со всеми качествами его и оттенками» (Там же. С. 225).

Перевод отрывка из трактата «О назначении человека» — отражение гуманистической философии Мендельсона, оказавшейся созвучной русскому романтику.

*А. Янушкевич*

### **Бомарше в Испании**

(«Я имел счастье быть подпорою моего семейства...»)

(С. 62)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 3. Февраль. С. 193—237 — в рубрике: «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Бомарше; примечания к переводу подписаны: Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 28 января 1808 г.

Источник перевода: *Beaumarchais P.-A. G. de. Année 1764. Fragment de mon voyage d'Espagne* [1764 год. Фрагмент из моего путешествия по Испании] // *Oeuvres complètes de M. de Beaumarchais. V. 1—7. Paris, 1809. Ed. Gudin de la Brenellerie. V. 2. P. 110—169.* Издание, по которому выполнен перевод, не установлено.

В списке «Переводов для “Вестника”» (РНБ. Оп. 1. № 21. Л. 32 об.), представляющем собой, по сути, план № 3 «Вестника Европы» за 1808 г. и датированном 23 июля (1807 г.), под № 4 записано: «Бомарше». Так обозначена в данном списке публикация «Бомарше в Испании», которую, следовательно, можно датировать промежутком 23 июля 1807 г. — 28 января 1808 г. (скорее всего, работа над нею пришла на вторую половину 1807 г.). Она является переводом «Фрагмента из моего путешествия по Испании. Год 1764» П. О. Бомарше. «Фрагмент...» входил в знаменитые «Mémoires» (1774) французского писателя (в «Четвертый мемуар»), которыми зачитывалась вся Европа и которые, как известно, были написаны им в свою защиту после того, как он был признан судом граждански нечестным человеком и приговорен к клеймению. Исходным пунктом событий явилась тяжба Бомарше с наследником своего компаньона П. Дюверне. Тяжба разбиралась в парламенте, и предметом её было требование неуплаченного долга. Чтобы добиться доступа к докладчику по делу Гёзману, Бомарше поднёс его жене богатый подарок. Когда процесс был проигран, ему возвратили подарок, кроме 15 луидоров,

которые пошли секретарю Гёзмана. Отсюда возник новый процесс (1773) по обвинению писателя в клевете и покушении на подкуп. В примечании к переводу, рекомендуя читателям ВЕ Бомарше как «остроумного сочинителя комедии “Фигарова женитьба”», Жуковский между тем упоминает имя Гёзмана и тяжбу писателя с ним, называя ее смешной, но вместе с тем и принесшей ему определенную известность.

В своих «Воспоминаниях» Бомарше сумел придать личному делу характер защиты общих прав человека и гражданина и тем расположил в свою пользу общественное мнение. В этом плане «*Mémoires*» Бомарше явились точным отражением просветительской идеологии. Неслучайно просветители с таким восторгом встретили их. Вольтер, например, писал по этому поводу: «Я никогда не видел ничего более оригинального, сильного, смелого, более комического, интересного, более оскорбительного для противников, чем “Мемуары” Бомарше. Он сражается с десятью или двенадцатью противниками сразу, и он их опрокидывает...» (из письма маркизу Флориану от 3.01.1774 г. — *Oeuvres complètes de Voltaire. Correspondance générale*. Paris, 1818. Т. 8. Р. 144). Перевод Жуковского «Бомарше в Испании», в котором полностью сохранен гражданский пафос подлинника и, в частности, его 4-й части, отражает важнейшее направление ВЕ периода редакторства Жуковского — утверждение идеи внесловной ценности человека, обличение насилия в отношении к личности, что позволяет рассматривать этот перевод в ряду с такими журнальными публикациями, как «Бедная Нина», «Мария», «Прусская ваза» (1808), «Печальное происшествие» (1809) и др.

Кроме политических разоблачений и сатирических портретов, в сочинении Бомарше были и трогательная сентиментальность, и «истинные происшествия», участниками которых являлись реальные исторические лица, включая автора-повествователя, который всегда находится на первом плане, вызывая у читателя сочувствие, расположение, понимание, и мастерский слог, что позднее заставило Стендаля назвать «Мемуары» Бомарше лучшей книгой на свете и воскликнуть: «Невозможно быть остроумнее и приятнее» («Прогулки по Риму»). Образцом повествовательной прозы Бомарше признан его дневник путешествия в Испанию, включенный в «Мемуары» (4-я часть), который и был выбран Жуковским для перевода и публикации в ВЕ. Судя по примечанию, переводчика «повесть сия, имеющая приятность романа», привлекла истинностью «во всех подробностях» и стилем, благодаря которому «*Mémoires*» Бомарше «и теперь читаем с великим удовольствием, хотя они потеряли уже свою новизну и не могут нравиться своим содержанием». Жуковского могло привлечь и стремительное развитие сюжета, и психологическая тонкость характеров, и отданная французским писателем дань сентиментализму — героиня повести, сестра Бомарше, обманутая жестоким злодеем Хосе Клавихо, выведена как девушка чувствительная, невинная, высоко нравственная. Всё это точно передано в переводе.

История «Четвертого мемуара» привлекла в свое время и внимание Гёте, который увидел в ней сюжет, заслуживающий драматической обработки. Как известно, на его основе писателем была создана драма «Клавихо» (1774), пьеса о жизни людей среднего сословия и состояния, о бытовых и нравственных проблемах обыкновенных людей (так называемая «мещанская драма», у истоков которой в Германии стоял Лессинг). Жуковского также не могли не привлечь эти особенности французской повести. Однако, в отличие от Гёте, создавшего свою трагическую развязку истории поездки Бомарше в Мадрид, Жуковский

перевел подлинник точно, не внося заметных изменений ни в развитие действия, ни в характерологию. В 1838 г., 28 августа (9 сентября), находясь в Германии и посещая дом Гёте, Жуковский сделал об этом запись в своем дневнике, упомянув рядом комедию Бомарше «Севильский цирюльник», возможно, в связи с состоявшимся в этот день разговором о трагедии Гёте «Клавиго» (Дневники. Т. XIV. С. 115).

<sup>1</sup> ...обративший на себя в 1780 году глаза Европы смешною тяжбою с Гезманом... — парламентский советник, судья, который вел судебное разбирательство по делу между Бомарше и наследником его компаньона Дюверне (см. выше).

<sup>2</sup> ...покровитель мой, г. Дюверне ~ ассигнации на двести тысяч франков... — Покровитель Бомарше, банкир Пари Дюверне дал Бомарше коммерческое поручение и чеки на 200 000 ливров.

<sup>3</sup> ...в Аранжуэц... — Речь идет о городе Аранхуэс, расположенном в 40 км к югу от Мадрида, где находился роскошный дворец, служивший резиденцией испанских королей. Послы жили обычно поблизости от монарха.

<sup>4</sup> ...дон Иосиф Клавиго, хранитель государственного архива... — Хосе Клавиго и Фахардо (1730—1806) — испанский писатель, директор королевского архива, был в интимных отношениях с сестрой Бомарше, m-lle Карон, но не сдержал своего обещания жениться на ней. В 1764 г. Бомарше явился в Мадрид и вынудил у Клавиго письменное признание его бесчестности, на основании которого добился удаления Клавиго с должности. Тем не менее в 1773 г. ему было поручено редактирование «Mercurio historico u politico».

<sup>5</sup> ...из Канарийских островов... — Т. е. Канарских островов.

<sup>6</sup> ...«Английского Зрителя»... — Речь идет о нравоучительном журнале Дж. Аддисона и Р. Стиля, который выходил в 1711—1712 гг. и возобновился в 1714 г., послужив образцом для подобного типа периодики.

<sup>7</sup> С. Ильдефонз — Имеется в виду Капелла Святого Иль-де-Фонса при соборе Санта-Мария-де-Толедо, более известном как Архиепископский собор (заложен в 1227 г.).

<sup>8</sup> ...можете избавиться от меня за стенами Буэнретифо... — В этом месте обычно происходили дуэли.

<sup>9</sup> ...господину Гримальди... — Джузеппе Гримальди, родом из Генуи, стал министром иностранных дел в Испании в 1764 г.

И. Айзикова

## Падение Ниагары

(«Река С. Лоран, орошающая северную Америку...»)

(С. 81)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 3. Февраль. С. 240—241 — в рубрике «Литература и смесь», с подписью в конце: Шатобриян.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 28 января 1808 г.



Источник перевода: *Chateaubriand F. R. Atala* [Атала]. Издание, по которому выполнен перевод, не установлено.

Перевод встает в ряд других, сделанных Жуковским из «Гения христианства» Шатобриана (см. примеч. к «Примерам слога, выбранным из лучших французских прозаических писателей» в т. 8 данного ПССиП), из повести «Атала», служившей «иллюстрацией» к главе «О смутности страстей». Пейзажная зарисовка Шатобриана, точно переведенная Жуковским, привлекает его изображением возвышенного, прекрасного, утверждением романтической идеи упорядочивания хаоса некой магической высшей силой, а также своей романтической поэтикой. Публикация перевода сопровождалась иллюстрацией.

<sup>1</sup> *Река С. Лоран* — Река Святого Лаврентия (Saint-Laurent) — одна из двадцати самых больших рек Америки и мира, берёт начало в Великих озерах.

<sup>2</sup> *Эрио* — Эри — одно из крупнейших озер, относящихся к собственно Великим озерам.

*И. Айзикова*

### Письмо Ж.-Ж. Руссо

(«Сесилия, начиная чувствовать необходимость любви...»)

(С. 82)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 4. Февраль. С. 265—276 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Письмо Ж.-Ж. Руссо», с подписью в конце: Ж.-Ж. Руссо. Примечание подписано: Ж.

В прижизненных изданиях: СОС. Ч. 5. С. 262—273 с заглавием: «К Сесилии. Письмо Ж.-Ж. Руссо»; Пвп 1. Ч. 4 («Повести и смесь»). С. 234—248, с заглавием: «Письмо Ж.-Ж. Руссо»; Пвп 2. Ч. 3. С. 3—13 с тем же заглавием.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее января 1808 г.

Источник перевода: *Merkel G. Erzählungen*. Berlin. 1800. S. 3—6. Копия французского текста данного письма: *Руссо Ж.-Ж. Письмо к Цецилии* // РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Водяной знак на бумаге рукописи содержит дату: 1794 г.

Издания письма в ВЕ, в СОС и Пвп 1, 2 в основном сходны друг с другом. Разночтения чаще всего встречаются в пунктуации (напр., восклицательные знаки заменены запятыми), в выделениях (напр., в последней публикации сняты некоторые курсивы). Остальные варианты см. в реальном комментарии. Некоторые из них весьма сильно отличают публикации в Пвп 1 и 2 от ранних, что позволяет даже предположить, что для Пвп 1 и 2 Жуковский сверял перевод по другой рукописи подлинника.

<sup>1</sup> Долгое время авторство Ж.-Ж. Руссо не подвергалось сомнению. В росписи журнала ВЕ, осуществленном в «Сводном каталоге сериальных изданий России»,

автором «Письма к Сесилии», которое перевел Жуковский, назван Ж.-Ж. Руссо (Сводный каталог сериальных изданий России. Т. 1. Журналы. А—В. СПб., 1997. С. 252. № 06477). Только в книге Х. Эйхштедт «Жуковский как переводчик» отмечено, что письмо апокрифическое, но оригинал его не найден (Eichstädt. P. 22).

В действительности данное письмо является подделкой, принадлежащей Луи-Александр де Лоне, графу д'Антрегу (1753—1812), авантюристу, роялисту, шпиону, врагу Наполеона и последователю «жневского гражданина». Это было доказано А. Коббеном и Р. С. Элвисом, авторами статьи «Ученик Жан-Жака Руссо. Граф д'Антрег», напечатанной в 1936 г. (Cobban A., Elwes R. S. A disciples of J.-J. Rousseau: The compte d'Antraigue // Revue d'histoire littéraire de la France. 1936. Avril-juin, p. 181 — 210; juillet-septembre, p. 340—363). Письмо написано в конце XVIII — начале XIX в.

На авторство графа д'Антрега указывает и библиографический указатель произведений Ж.-Ж. Руссо, изданный во Франции (см.: *Sénélier J. Bibliographie générale des œuvres de J.-J. Rousseau*. Paris, 1950. P. 251, n. 2194, 2195), а также одна из последних работ, посвященных графу д'Антрегу, работа Р. Барни «Граф д'Антрег — ученик-аристократ Ж.-Ж. Руссо. От очарования к отречению» (*Barny R. Le Comte d'Antraigues: un disciple aristocrate de J.-J. Rousseau. De la fascination au reniement*. 1782—1797. Oxford, 1991). Барни отмечает, что письма Руссо к Сесилии, сочиненные д'Антрегом, являются отрывками из его романа «Анри и Сесиль» (р. 70—78). Считает подделкой д'Антрега данное письмо Руссо и Р. Ли, редактор «Полного собрания переписки Руссо» в своих комментариях. Со ссылкой на статью Коббена и Элвиса он пишет, что было обнаружено множество писем Руссо к Сесилии, написанных рукой графа д'Антрега (*Rousseau J.-J. Correspondance complète*. Oxford, 1980. Т. XXXVII. P. 368—370). Однако Р. Ли ничего не знает о переводе Жуковского.

Но внимательно просматривая ВЕ, можно заметить, что Жуковский ссылается на графа д'Антрега в переводном рассказе немецкого писателя Гарлиба Меркеля «Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет». Меркель приводит рассказы из биографии Руссо, во многом выдуманные графом д'Антрегом. А в ВЕ, переводя апокрифическое письмо Руссо, Жуковский пишет: «Перевод с манускрипта, который нигде еще не был напечатан. Любопытно знать, кто эта Сесилия? Быть может, та самая Милади Говард, с которой Ж.-Жак познакомился к старости...» (ВЕ. 1808. Ч. 37. № 4. Февраль. С. 265).

В конце XIX в. появляется несколько другой вариант этого письма в журнале «Изящная литература» (Последняя любовь Руссо // *Изящная литература. Журнал произведений современной беллетристики*. 1884. IV. С. 24—32. Вступление на с. 24—32. Письмо Ж.-Ж. Руссо из Монкена 28 марта 1770 г. [к Сесиль Гобарт] на с. 25—32), причем автор публикации переводит письмо из французского журнала «Le Livre. Revue du monde littéraire. Bibliographie Retrospective», публикатором письма Руссо в этом журнале был Франсуа-Режи Шантелоз (*Le Livre. Revue du monde littéraire. Bibliographie Retrospective*. 1884. V. P. 33—43). Хотя рукопись, которую публикует Шантелоз, написана не рукой Руссо, он уверен, что это — произведение Руссо. Автор перевода в журнале «Изящная литература» не ссылается на перевод Жуковского, он о нем просто ничего не знает. Этот вариант письма несколько отличается от переведенного Жуковским, оно более обширное, имеется дата 28 марта 1770 года. Шантелоз публиковал письмо по копии, в которой нет заключительной части этого письма, что отмечено Коббеном и Элвисом, которые

ее приводят (Cobban A., Elwes R. S. Avril-juin. P. 191—192). Жуковский переводил письмо по рукописи, в которой была данная заключительная часть. В то же время в письме, опубликованном Жуковским, опущены целые абзацы, которые имеются в рукописи этого письма из Российской национальной библиотеки, в публикации Шантелоза и в переводе публикации Шантелоза в журнале «Изящная литература». Наиболее важные фрагменты, не переведенные Жуковским, будут отмечены ниже в данном комментарии. Перевод Жуковского более романтически приподнят, чем оригинал, иногда Жуковский переводит весьма неточно.

Подтверждением популярности и широкого распространения апокрифов д'Антрега является также то, что в РГБ нами обнаружен еще один список, сделанный рукой неизвестного, письма к Сесилии на французском языке, заголовок письма: Réponse de J. J. Rousseau à Milady Cecile H., архивариусом оно обозначено как «Письмо к Цецилии», оно также отличается и от письма, переведенного Жуковским, и от письма к Сесилии Гобарт, напечатанного в 1884 г., на письме стоит другая дата и место — Париж, 7 июня 1774 года, то есть это совершенно другое письмо (Руссо Ж.-Ж. Письмо к Цецилии Г. Réponse de J.-J. Rousseau à Milady Cecile H. Paris, 7 juin 1774 // ОР РГБ. Ф. 222 Панина. К. XVI. № 9. Л. 1—2). Это письмо от имени Руссо также написано д'Антрегом, оно воспроизведено в статье Коббена и Элвиса (Cobban A., Elwes R. S. Juillet-septembre. P. 340—341). Роже Барни в своей книге отмечает, что это первое письмо от имени Руссо из романа в письмах «Анри и Сесиль» (Barney R. P. 70).

В ВЕ к заглавию сделано подстрочное примечание:

(\*) Перевод с манускрипта, который нигде ещё не был напечатан. Любопытно знать, кто эта Сесилия? Быть может, та самая Милади Говард, с которой Ж.-Жак познакомился в старости и которой поручил судьбу Жюльетты, известной читателям «Вестника». Надобно помнить, что это письмо писано шестидесятилетним стариком. Ж.

<sup>2</sup> *восхитительного* — в ВЕ: приятного, восхитительного.

<sup>3</sup> *...нечувствительно уныние вкрадывается в наше сердце; мало-помалу оно покоряет его совершенно, и наконец слабое сердце уже никакою силою не может освободить себя из этой волшебной сети.* — в ВЕ, СОС: уныние нечувствительно обвивается вокруг нашего сердца, и наконец мало по малу запутывает его в бесчисленных изгибах, из которых никогда, никогда не могло оно освободиться.

<sup>4</sup> *свое небо* — в ВЕ: Свое небо.

<sup>5</sup> *отнял бы* — в ВЕ: отнял.

<sup>6</sup> *...сколь основания бытия твоего ничтожны; уверен, что прежде не может оно укорениться, пока не переменится сама натура вещей, пока любезному существу не дана будет сия неизменяемость, а нежным чувствам души сие вечное постоянство, которые никогда не могут быть уделом создания.* — в ВЕ, СОС: как основания бытия нашего ничтожны; чувствуешь, что прежде не может оно укорениться, пока не переменится сама Натура (СОС: натура) вещей, пока любезному существу не дана будет сия неизменяемость, и нежным симпатическим чувствам сие вечное постоянство, которые никогда не могут быть уделом создания.

<sup>7</sup> *На крайних пределах жизни...* — в ВЕ, СОС: На пределах жизни...

<sup>8</sup> *И какой любовник в лучшие минуты страсти своей способен быть атеистом?* — в ВЕ, СОС: И какой любовник в лучшие дни свои бывал атеистом?

<sup>9</sup> ...для ее нежного сердца... — в ВЕ, СОС: ...для сердец нежных...

<sup>10</sup> Но как могу вообразить это счастье без соединения с тем, что было мне драгоценно, что украшало мою земную жизнь, без чего и самое бытие мне кажется непостижимым. Сесилия, и самый небесный рай для души, воспламененной любовью, не иное что, как это соединение. — В ВЕ, СОС: Но счастье сие невообразимо без соединения с тем, что нам драгоценно, что украшало нашу земную жизнь, без чего и самое бытие кажется непонятным. Сесилия! Небесный рай для души, воспламененной любовью, не иное что, как сие соединение.

<sup>11</sup> похищенное — в ВЕ, СОС: сраженное.

<sup>12</sup> ...что не подвержено уничтожению, то... — в ВЕ, СОС этой части фразы нет.

<sup>13</sup> ...счастливый твоею любовью человек о ней мыслит? — в ВЕ, СОС: ...что любимый тобою человек об ней мыслит?

<sup>14</sup> Ах, милый друг, я несравненно более удивляюсь тому... — В ВЕ, СОС: Ах! Удивляюсь более тому...

<sup>15</sup> ...друга... — в ВЕ, СОС, Пвп I: друг друга...

<sup>16</sup> ...представляющаяся в виде страшилища ослепленному взору? — В ВЕ, СОС: ...приводящая всякого в трепет?

<sup>17</sup> изредка — в ВЕ, СОС это слово отсутствует.

<sup>18</sup> остался бы... — в ВЕ, СОС: был бы...

<sup>19</sup> Здесь в рукописном французском тексте письма из РНБ имеется антиклерикальный пассаж, не переведенный Жуковским:

«Это подлые попы, лживые служители самых различных сект унижают наше сердце, населяют наше воображение ужасными призраками, разжигают в своей алчности и неутолимой жестокости пламя ада, представляют нам при выходе из жизни море огня и пыток. Негодяи! Нечестивцы! Именно они, богохульствуя, оскорбляют Верховное существо! Именно их необходимо ввергнуть в реальное и мстительное пламя этого мира, чтобы отбить охоту на будущее у им подобным создавать ад в вечной ночи!

Священники — вот враги человеческого рода: они терзают нашу жизнь, они отравляют нашу смерть. Без этих негодяев она была бы для нас только подобием ночного покоя. Да, смерть была бы только долгим сном человека, который отжил свое» (перевод мой. — А. З.) (РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Л. 4—4 об.) В публикации письма в журнале «Изящная литература» этот абзац переведен в сокращении (Письмо Ж.-Ж. Руссо из Монкена 28 марта 1770 г. [к Сесиль Гобарт] // *Изящная литература*. 1884. IV. С. 27).

<sup>20</sup> Предыдущих двух фраз нет во французском тексте письма, хранящегося в РНБ.

<sup>21</sup> Перевод Жуковского неточен. Точный перевод: «И что я говорю? Смерть только сон существа телесного, она есть жизнь существа разумного». (РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Л. 4 об.)

Далее идет абзац, не переведенный Жуковским. «Никогда чувствующее существо не сомневалось в бессмертии души. Эта спасительная идея столь прочно была запечатлена в наших сердцах, что ужасные доктрины проповедников не могли ее уничтожить» (РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Л. 4 об. ). (Перевод мой. — А. З.)

<sup>22</sup> ...проведена была... — в ВЕ, СОС: ...прошла...

<sup>23</sup> Имеется в виду знаменитая «Исповедь» Руссо.

<sup>24</sup> ...несколько драгоценных минут принес я на жертву суетному самолюбию, и дорого, дорого заплатил за свою ошибку! — в ВЕ, СОС: ...я несколько минут принес в жертву суетному самолюбию, (СОС: самолюбию;) но дорого, дорого заплатил за свою ошибку! (СОС: ошибку.)

<sup>25</sup> ...всегда сердце мое наполнено было романтическими мечтами; они терзали его; но с ними и в самые минуты заблуждения ощущал я истинное блаженство! — В ВЕ, СОС: ... сердце мое было наполнено романтическими идеями, которые всегда его терзали, но с которыми ощущал я, в самых заблуждениях, истинное блаженство.

<sup>26</sup> Быть может... — в ВЕ, СОС: Может быть...

<sup>27</sup> ...которые пленяли меня... — в ВЕ, СОС: ...которыми пленялся...

<sup>28</sup> ...призраками... — в ВЕ, СОС: ...идеями...

<sup>29</sup> ...оних... — в ВЕ, СОС: ...сих...

<sup>30</sup> ...которые представляют душе... — в ВЕ, СОС: ...представляющих душе...

<sup>31</sup> ...в обществе человеческом... — в ВЕ, СОС: ...в обществе людей...

<sup>32</sup> ...которые одни могли бы жизнь нашу сделать неизъяснимо прелестною. — В ВЕ, СОС: ...которые одни могли бы сделать неизъяснимо прелестною жизнь человека.

<sup>33</sup> ...и выбрать из них самые привлекательные. — В ВЕ, СОС: избрать самые привлекательные.

<sup>34</sup> Взор человека их разрушает. Беги в уединение! В обществе попадают тебе одни отвратительные твари. Сокройся в пустыню и насели ее созданиями по своему сердцу! Вот время романов, не тех чудовищных вымыслов, в которых черствая душа изображает нравы своего века, но оных очаровательных вдохновений восторга, любви, добродетели. — В ВЕ, СОС: Взор человека их разрушает — оно бежит в уединение; в обществе попадают ему одни отвратительные твари — оно скрывается в пустыню и населяет ее созданиями по своему сердцу: вот время романов, не сих чудовищных произведений, в которых черствая душа изображает нравы своего века, но сих вдохновений восторга, любви, добродетели.

<sup>35</sup> ...на крыльях желанья и надежды... — в ВЕ, СОС, Пвп 1: ...на крыльях надежды...

<sup>36</sup> Элоиза — возлюбленная и ученица средневекового философа Абельяра, история трагической любви Элоизы и Абельяра привлекала Руссо.

<sup>37</sup> Юлия — героиня романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Руссо сравнивает любовь Юлии и героя романа Сен-Пре с любовью Элоизы и Абельяра.

<sup>38</sup> Героиня романа С. Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель».

<sup>39</sup> Далее идет фраза, которой нет у Жуковского, но она имеется в рукописи из РНБ (РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Л. 2 об.) и в переводе журнала «Изящная литература». «Он любил Юлию, как любят память о любовнице, которую смерть похитила у нас в самую счастливую минуту; он проливает слезы о ее участи, но проливая эти слезы, наслаждается единственным счастьем, какое существует на земле» (Письмо Ж.-Ж. Руссо из Монкена 28 марта 1770 г. [к Сесиль Гобарт] // *Изящная литература*. 1884. IV. С. 28).

<sup>40</sup> Ах, я знаю, я слишком уверен, что сердце, потерявшее свою непопорочность, все почитает романом... — в ВЕ, СОС: Ах! я знаю, слишком знаю: (СОС: знаю;) для развращенного сердца все роман...

<sup>41</sup> ...принадлежащее тебе... — в ВЕ, СОС: ...твое...

<sup>42</sup> ...преобразили в нечто презрительное и грубое. — В ВЕ, СОС: сделали презрительным и грубым.

- <sup>43</sup> ...чувственность... — в ВЕ: ...чувства...
- <sup>44</sup> ...чувствам... — ВЕ, СОС: ...чувственности...
- <sup>45</sup> *Вся прелесть...* — В ВЕ, СОС: Прелесть...
- <sup>46</sup> ...чистом и непорочном... — В ВЕ, СОС: ...чистом, непорочном...
- <sup>47</sup> ...и какой любовник, истинно страстный, способен наслаждаться одним собою? — В ВЕ, СОС: ...и какой любовник в сии минуты наслаждается собою?
- <sup>48</sup> ...в сии минуты неописанного восхищения он существует уже не в себе... — В ВЕ, СОС: ...тогда он существует не в себе...
- <sup>49</sup> ...осмелился описать восторги прямой любви? — В ВЕ, СОС: ...осмелится описать восторги истинной любви?
- <sup>50</sup> ...таковы были твои чувства, и здесь пределы твоего наслаждения! — В ВЕ, СОС: ...таковы пределы твоего наслаждения!
- <sup>51</sup> ...такое счастье не есть ли уже доказательство... — В ВЕ, СОС: ...сию сладость не есть ли доказательство...
- <sup>52</sup> ...описывать наше блаженство. — В ВЕ, СОС: Описывая такое блаженство, мы уничтожили бы его очарования.
- <sup>53</sup> *Когда жестокая опытность короче познакомит нас с испорченностью людей, тогда спешим возвратиться к мечтам, которые нас животворят...* — В ВЕ, СОС: Когда многократными, жестокими уроками люди научают нас познавать свою испорченность; тогда спешим возвратиться к мечтам, которые нас трогают...
- <sup>54</sup> ...никогда уже более... — в ВЕ, СОС: ...никогда, никогда...
- <sup>55</sup> ...особенно... — в ВЕ, СОС: ...более всего...
- <sup>56</sup> ...которая ни с чем на свете для меня несравненна, уверен, что, будучи женщиною и точно в таких же обстоятельствах, я так же был бы обманут, имел бы такое же мужество и также возненавидел бы жизнь свою. — В ВЕ, СОС: ...с которою ни что на свете не может сравниться; (СОС: сравниться,) уверен, что, будучи женщиною в таких же обстоятельствах, я также был бы обманут, имел такое же (СОС: таковое же) мужество и так же (СОС: также) возненавидел жизнь свою.
- <sup>57</sup> ...могу ли ее сотворить? — В ВЕ, СОС: ...могу ли дать ей бытие?
- <sup>58</sup> ...подобного чувства! Я слушал тебя, и все мои сомнения исчезали. — В ВЕ, СОС: ...такого чувства! Я слушал тебя, и мнение мое не переменялось.
- <sup>59</sup> ...в моем воображении... — В ВЕ, СОС: ...в глазах моих...
- <sup>60</sup> ...имеет в глазах твоих некоторую цену. — В ВЕ, СОС: ...имеет свою цену.
- <sup>61</sup> *Счастливая...* — в ВЕ, СОС: Сия счастливая...
- <sup>62</sup> ...важного величия... — в ВЕ, СОС: ...важного вида...
- <sup>63</sup> *Когда твои глаза, полные души и каждому говорящие: пади на колена и обожай!* — в ВЕ, СОС: когда (СОС: Когда) величественные взоры твои, которые каждому говорят: пади на землю и обожай!
- <sup>64</sup> *Каким блаженством...* — в ВЕ, СОС: Боже! каким блаженством...
- <sup>65</sup> Далее идет фраза, которой нет у Жуковского, но она имеется в рукописи из РНБ (РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Л. 4 об.) и в переводе журнала «Изящная литература». «О, мой сын не станет ревновать, читая эти строки» (Изящная литература. 1884. IV. С. 31).
- <sup>66</sup> ...воспламеняет уже... — в ВЕ, СОС: ...воспламеняют...
- <sup>67</sup> Имеется в виду роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
- <sup>68</sup> София — героиня романа Руссо «Эмиль, или О воспитании», возлюбленная Эмиля. Пятая книга романа «Эмиль» носит название «София, или Женщина».

<sup>69</sup> *Ты не забыла...* — в ВЕ, СОС: ...конечно, ты не забыла...

<sup>70</sup> Далее идет абзац, отсутствующий у Жуковского, но он имеется в рукописи из РНБ (РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Л. 5) и в переводе журнала «Изящная литература». «Никогда в жизни не решался я прочесть свои произведения кому бы то ни было, за исключением тебя и моего сына. Но чего же хочет этот ребенок, который втирается третьим между старым обожателем и молодой богиней? В этом странно и романтично именно то, что я люблю его всей душой и без малейшей ревности. Он мне дорог, потому что ты его любишь; он меня любит, потому что я твой Жан-Жак; вот связующие нас узы...» (Изящная литература. 1884. IV. С. 31—32). Следующего абзаца, переведенного Жуковским, нет в переводе журнала «Изящная литература». Однако если сравнить переведенный Жуковским конец письма с рукописной копией из РНБ (РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Л. 5) и с напечатанными Коббеном и Элвисом заключительными абзацами письма (Cobban A., Elwes R. S. Avril-juin. P. 192), то явно видно, что Жуковский перевел конец письма, значительно его сократив.

<sup>71</sup> В изданиях перевода Жуковского 1808 и 1811 гг. «девятая страница», в издании 1816 г. также «десятая страница» (см. также раздел «Варианты»). Возможно, Жуковский делал перевод для последних двух изданий по какой-то другой копии (о различных копиях письма см.: Cobban A., Elwes R. S. Avril-juin. P. 191). В рукописи из РНБ «девятая страница» (РНБ. Ф. 871. Арх. Я. Я. Штелина. № 964. Л. 5), так же, как в варианте заключительной части письма у Коббена и Элвиса (Cobban A., Elwes R. S. Avril-juin. P. 192).

<sup>72</sup> *Вот десятая страница, а я еще и не подумал тебе отвечать.* — в ВЕ, СОС: Вот девятая страница, а я еще не думал тебе отвечать.

<sup>73</sup> *...одно только слово...* — в ВЕ, СОС: ...одно слово...

<sup>74</sup> *...но он счастливеец! Пускай одушевляет их, пускай дает им бытие; не думая о том, как можно быть счастливым или несчастным любовью, пусть любит тебя, и забывает все личное, и существует в одной Сесилии!* — в ВЕ, СОС: ...но он пускай одушевляет их, пускай дает им бытие, не думает о том, как можно быть любимым или несчастным от любви; но любит тебя, забывает все личное, существует в одной Сесилии.

<sup>75</sup> Обращение «девица Левассер» (точный перевод «мадемуазель Левассер») еще раз доказывает апокрифичность письма. Руссо не мог так называть Терезу Левассер, так как женился на ней не после написания «письма», как утверждает Жуковский в примечании, а за несколько лет до этого, 30 августа 1768 г. Вообще Руссо не называл Терезу «девица Левассер» или «мадемуазель Левассер» и до женитьбы.

<sup>76</sup> *...совсем потеряю способность говорить; ибо уже несколько часов сряду сижу за письменным столиком, и еще не сказал ей ни одного слова...* — в ВЕ, СОС: ...что я слишком многоречив, что более четырех часов сижу за письменным столиком, и еще не сказал ей ни одного слова...

<sup>77</sup> *...это заставило меня улыбнуться.* — в ВЕ, СОС: ...это меня рассмешило.

<sup>78</sup> В публикациях ВЕ, СОС данное примечание и отсылка к нему отсутствуют.

А. Златопольская

### Отрывок из путешествия г-жи Жанлис в Англию

(«Мы жили довольно долго в Бюри...»)

(С. 86)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 4. Февраль. С. 302—313 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Отрывок из путешествия г-жи Жанлис в Англию» и указанием источника в конце: Жанлис. Первое примечание к переводу подписано: Ж.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 (в разделе «Смесь»). С. 99—113. Пвп 2. Ч. 3. С. 121—131.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: вторая половина 1807 г. — январь 1808 г.

Источник перевода: *Gentlis S. F. Suite des souvenirs de Felicie L\*\*\** [Продолжение воспоминаний Фелиции Л\*\*\*]. Paris, 1807. P. 187—204. Атрибуция: Eichstädt. S. 18.

Этот «Отрывок» вошел также в «*Mémoires inédits de madame la comtesse de Gentlis...*», Paris, 1825. An 10 vol. V. 3. S. 343—356. Перевод в целом верно передает подлинник. Текст, опубликованный в ВЕ, идентичен тексту Пвп 2.

Данный отрывок из путешествия прочитывается в контексте западноевропейской и русской литературы травелогов, представленной в ВЕ такими произведениями, как «Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет» К. Ф. Морица (1808. № 2), «Два письма русского путешественника» Н. Ф. Алферова (1808. № 7, 11), «Письмо русского из Парижа» А. Г. Гусятникова (1808, № 15), «Путешествие русского на Брокен в 1803 году» А. И. Тургенева (1808. № 22), «Воспоминания об Ост-Индии» Я. Г. Хафнера (1809. № 20), «Картина Финляндии. (Отрывок из писем русского офицера)» К. Н. Батюшкова (1810. № 8), «Наблюдения русского в Америке. (Письмо к А. Ф. Лабзину)» П. П. Свинына (1812. № 14) и др. Литература травелогов в ВЕ формирует особую традицию в русской повествовательной прозе, связанную с описанием реального события, сменой точек зрения, сюжетной и авторской динамикой, поиском жанровых форм. Подробнее об этом см.: *Шенле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий: 1790—1840.* СПб., 2004.

<sup>1</sup> *Мы жили довольно долго в Бюри, маленьком... городке* — Бери-Сент-Эдмондс, город в Восточной Англии, в графстве Саффолк. Получил название по имени короля Эдмунда, погибшего в окрестностях этого города в 870 г. в битве с датчанами и вскоре причисленного к лику святых.

<sup>2</sup> *...отвечал мне г. Стуар* — Роберт Генри Стюарт, виконт Каслри, 2-й маркиз Лондондерри (1769—1822), английский политический деятель, принадлежавший к партии тори и занимавший в правительстве Великобритании посты военного министра и министра иностранных дел, старший сын Роберта Стюарта, 1-го маркиза Лондондерри (1739—1821). Отклики на политическую деятельность Каслри встречаются в поэзии Байрона, Шелли, Т. Мура.

<sup>3</sup> *...поезжайте в Ланголен* — Ланголлен, город в Северном Уэльсе, в графстве Денбишир.



<sup>4</sup>...*историю мисс Понсонби и леди Элеоноры Ботлер* — Сара Понсонби (1755—1831), сестра известного англо-ирландского политика и оратора Джона Понсонби (1770—1855), и Элинор Батлер (1739—1829), известные своей дружбой жительницы Ланголлена.

<sup>5</sup>...*принцесса и молодые спутницы мои* — принцесса Луиза Мария Аделаида Орлеанская (1777—1847), дочь Филиппа Эгалите, герцога Орлеанского (1747—1793), сестра будущего французского короля Луи Филиппа (1773—1850).

<sup>6</sup>*Брайтельстон* — современное название Брайтон и Хоув, город на юге Англии, в графстве Восточный Суссекс.

<sup>7</sup>*Портсмут* — город в графстве Хэмпшир, расположен на юге Англии.

<sup>8</sup>*остров Вайт* — Уайт, расположен на юге Великобритании, административный центр — Ньюпорт.

<sup>9</sup>*Дербиширские пещеры* — известняковые пещеры Крессвелл-Крег и Пинхоул в графстве Дербишир на границе с Ноттингемширом, в которых сохранились образцы живописи эпохи палеолита.

<sup>10</sup>*Св. Сесилия (Цецилия, Кикилия)* — св. мученица, жившая в Риме в III в. В католической церкви считается покровительницей церковной музыки. В православной церкви день празднования памяти св. Кикилии отмечается 22 ноября (5 декабря). С этим образом связан перевод Жуковским оды английского поэта Джона Драйдена «Пиршество Александра, или Сила гармонии» (1812). Известно изображение Св. Цецилии (1902), принадлежащее сыну поэта П. В. Жуковскому (1845—1912).

<sup>11</sup>...*музыкальный инструмент ~ известный под именем Эоловой Арфы (Eolian-harp)*. — Ср. с одноименной балладой Жуковского «Эолова арфа» (1814) и строками из стихотворения Ф. Иванова «Ночь на могиле» (ВЕ. 1808. № 13. Июль. С. 60—62) «Арфа, расстроясь, // Звук издает // Скорбный, унылый, // Сходный с душой. // Сердцу невнятен // Радости звук!».

<sup>12</sup>...*участь кармелитской затворницы* — монахиня, принадлежащая к ордену кармелитов, основанному в XII в. и отличавшемуся особенно строгим уставом. В истории католической церкви наиболее известная монахиня-кармелитка — св. Тереза Авильская (1515—1582).

И. Поплавская

### Сила несчастья

(«Счастье делает человека веселым...»)

(С. 91)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 4. Февраль. С. 314—315 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Сила несчастья», с указанием источника в конце: Мориц.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 4 (в разделе «Смесь»). С. 283—284; Пвп 2. Ч. 3. С. 45—46. Тексты ВЕ, Пвп 1, Пвп 2 идентичны.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: конец 1807 — начало 1808 г. (не позднее января).

Источник перевода: *Moritz C. P. Die Macht des Unglücks [Сила несчастья] // Moritz C. P. Launen und Phantasien. Berlin, 1796. S. 72—73. Атрибуция: Eichstädt. S. 17.*

Еще одно обращение Жуковского к наследию немецкого писателя и философа-моралиста Карла Филиппа Морица (см. примеч. к статье «Жизнь и деятельность» в наст. изд.) вряд ли можно считать случайным. Философия нравственного стоицизма неразрывно связана у поэта с «философией счастья без счастья», которая сложилась в атмосфере драматической истории любви к Маше Протасовой (подробнее см.: *Янушкевич А. С.* Философия счастья в творчестве В. А. Жуковского и Ф. И. Тютчева // Ф. И. Тютчев: Грани поэтического мира. Новосибирск, 2007. С. 117—146). Читая вместе с Машей Протасовой сочинение Мозеса Мендельсона «О бессмертии души», Жуковский на первой странице книги написал карандашом: «О пользе несчастья. Мотив для размышления» (Веселовский. С. 134). В записной книжке «Разные замечания» (1807) он так формулирует свое понимание терпения: «Терпение есть такая добродетель, которая никому кроме нас самих не приносит непосредственной пользы; но она сохраняет в нас способность действовать и дает свободу другим добродетелям, которые бы уничтожили нетерпение, следовательно, посредством сих добродетелей благотворная и для других» (ПССиП. Т. 13. С. 47). Психологическая миниатюра Морица углубляла это представление, превращая несчастье в жизненную мудрость и философию самостояния.

Перевод почти дословно передает содержание оригинала. Увеличивается лишь количество вопросительных знаков (у Морица их 7, у Жуковского — 12), что подчеркивает напряженность размышлений русского автора.

<sup>1</sup> *непоколебимому* — в ВЕ: *непотрясаемому*.

*А. Янушкевич*

### Не жалкий ли он человек!

(«Скажите, читатели, не имеет ли иногда несчастье...»)

(С. 92)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 4. Февраль. С. 315—322 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Не жалкий ли он человек!» и указанием источника в конце: Коцебу.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 (в разделе «Смесь»). С. 113—122; Пвп 2. Ч. 3. С. 133—139. Тексты ВЕ, Пвп 1, Пвп 2 идентичны.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: конец 1807 — начало 1808 г. (не позднее января).

Источник перевода: *Kotzebue A.* Geschichte eines zum Unglück verdamnten Geistlichen [История одного священника, обреченного на несчастья] // *Kotzebue A.* Kleine Romane, Erzählungen, Anekdoten und Miscellen. Leipzig, 1809. Bd 6. S. 252—260. Атрибуция: Eichstädt. S. 16. Издание, по которому выполнен перевод, не установлено.

Как и в переводе «Меланхолической песни Марии Стюарт» из Коцебу, Жуковский вновь обращается к проблеме превратностей судьбы, противоречивости поведения человека. История бедного священника (у Жуковского он получает имя Вальтер и иронически переосмысленную говорящую фамилию Фортунат — «везунчик»),

вся биография которого — цепь несчастий, начинается в переводе отсутствующим в оригинале размышлением о природе невезения: «Скажите, читатели, не имеет ли иногда несчастье великого сходства с природною, неизлечимую болезнию? Как ни лечись, всё болен; что ни делай, всё несчастлив!» Лейтмотив несчастной судьбы раскрывается через вереницу комических эпизодов, но голос героя (а в сюжетной основе повести — его письмо), смена точек зрения «внутреннего» и «внешнего» нарратора, воссоздает «положение бедного человека», а вопрос, стоящий в самом заглавии, активизирует «рецептивную позицию» читателя (подробнее см.: Айзикова. С. 164—165).

<sup>1</sup> ...с *битью* — Бить — тонкая плоская металлическая (золотая, серебряная или латунная) полоска.

<sup>2</sup> *Йоркские Ведомости* — Йорк — название города и провинции в Англии.

<sup>3</sup> Кингс-Бенч — тюрьма в Лондоне.

А. Янушкевич

### Отрывки из новых записок г-жи Жанлис

(«Господин Р\*\* был страстно влюблен...»)

(С. 95)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 5. Март. С. 3—12 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: вторая половина 1807 г. — первая половина февраля 1808 г.

Источник перевода: *Genlis S. F. Suite des souvenirs de Felicie L\*\*\** [Продолжение воспоминаний Фелиции Л\*\*\*]. Paris, 1807. P. 101—102, 119—121, 124—128, 150—151, 183—187.

Перевод в целом соответствует подлиннику. Четыре отрывка из записок Жанлис относятся к мемуарной прозе писательницы. Каждый из них написан либо в жанре бытового анекдота, либо в традиции описания характеров, либо в жанре путевых зарисовок. В этом смысле данные отрывки соотносятся с публикациями ВЕ, помещенными в разделе «Литература и смесь» в рубриках «Смесь. Анекдоты. Новости» (1808. № 1), «Смесь. Анекдоты. Характеры и портреты» (1808. № 2), «Характеры некоторых известных стихотворцев» (1808. № 4), а также с жанром отрывка: «О назначении человека. (Отрывок)» из Мендельсона (1808. № 3), «Норд-Кап, или Северный мыс. Отрывок из путешествия Ачерби в Швецию, Финляндию и Лапландию» (1808. № 6), «Отрывок надгробной речи» (1808. № 8), «Мария. (Отрывок из Артурова журнала)» (1808. № 9, 10), «Отрывки из дневных записок последнего польского короля Станислава Августа Понятовского» (1808. № 11) и др.

<sup>1</sup> *Бурбон-Ланси* — город, расположенный на востоке Франции, в Бургундии. Известен своими серными источниками.

<sup>2</sup> *Фридрих Великий* — Фридрих II Великий (1712—1786), король Пруссии в 1740—1786 гг. См. также публикацию в наст. изд. «Фридрих Великий в Страсбурге».

*И. Поплавская*

### Лафатер

(«Имя Лафатера заметно в летописях образования...»)

(С. 99)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 5. Март. С. 23—33 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием в конце: (С немецк.)

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: конец 1807 — начало 1808 г. (не позднее второй декады февраля).

Источник перевода: Johann Kaspar Lavater // *Baur S. Gallerie der berühmtesten Dichter des achtzehnten Jahrhunderts.* Leipzig, 1805. S. 425—440. Атрибуция В. И. Симанкова.

Словесный портрет Иоганна-Каспара Лафатера (1741—1801), известного швейцарского ученого, физиогномиста, дополняет его гравированный Алексеем Касаткиным портрет на титульном листе всей 38-й части ВЕ, включающей № 5—8 (март-апрель). Обратившись к авторитетной характеристике Лафатера из многотомной «Галереи славных поэтов восемнадцатого столетия» (Вып. 1—6. Лейпциг, 1804—1806) немецкого писателя и пастора Самуэля Баура (1768—1832), Жуковский особенно акцентирует мысль о нравственном подвиге Лафатера, характеризуя его как «чудесный образец духовного Пастыря».

Имя Лафатера рано вошло в творческое сознание русского поэта. Оно прежде всего сопровождало его в период самообразования и самоусовершенствования. Во время чтения сочинений Шефтсбери, Энгеля, Гарве он включает в списки источников для экстрактов и конспектов «Физиогномистику» Лафатера. Не мог он пройти и мимо карамзинских характеристик швейцарского мыслителя. Уже в «Письмах русского путешественника» Карамзин дал развернутые картины встреч и бесед с ним, а затем на страницах редактируемого им ВЕ предложил вниманию читающей публики свои переводы статей «Сравнение Дидерота с Лафатером» (1802. Ч. 2. № 5), «Последние дни Лафатеровой жизни» (1802. Ч. 2. № 6), раскрывающих жизнь и судьбу Лафатера, его место в истории европейской культуры.

В этом смысле публикация Жуковского — своеобразный постскриптум к карамзинским размышлениям об авторе «Физиогномических фрагментов» и «неутомимом наставнике, путеводителе, защитнике и друге духовных своих чад».

*В. Симанков, А. Янушкевич*

**О изгнании**  
**(Сочинение генерала Моро)**  
(«Я изгнанник!.. Более ничего?..»)  
(С. 104)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 5. Март. С. 34—42 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием в конце: С немецкого.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: конец 1807 — не позднее второй декады 1808 г.

Источник перевода: Как указано в примечании к заглавию, подписанном инициалом Ж.: «Монолог-рассуждение из манускрипта, присланного к А. Ф. Коцебу из Испании, напеч. в журн. “Freimüthige”». Заглавие нем. оригинала А. Коцебу «Über Verbannung...».

Личность французского генерала Жана Виктора Моро (1763—1813), история его сложных отношений с Наполеоном, изгнание, участие в антинаполеоновской коалиции и трагическая смерть — всё это не могло пройти мимо русского общественного и культурного сознания. Многочисленные публикации в европейской периодической печати активизировали интерес к нему и в русских журналах. Одним из первых на страницах ВЕ Н. М. Карамзин публикует «Письмо из Парижа о генерале Моро» (1803. Ч. 10. № 16), повествующее о превратностях судьбы противника Бонапарта. Вскоре там же (1804. Ч. 17. № 18) появляется «Письмо от генерала Моро к его брату, трибуну в Париже», раскрывающее судьбу изгнанника.

*А. Янушкевич*

**Путь развратного**  
**Моральная Гогартова карикатура**  
(«Гогарт, желая представить развратного...»)  
(С. 107)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 5. Март. С. 42—62 — в рубрике: «Литература и смесь», примечания к переводу подписаны: Ж. Продолжение: ВЕ. 1808. Ч. 40. № 15. Август. С. 218—226 — в той же рубрике, с заглавием: «Путь развратного. Карикатура» и подписью в конце: Лихтенберг; продолжение: ВЕ. 1808. Ч. 42. № 21. Ноябрь. С. 36—44 — в той же рубрике, с теми же заглавием и подписью в конце.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: первая часть не позднее первой половины февраля, продолжение — не позднее первой половины июля 1808 г.

Источник перевода: Lichtenberg's Ausfürliche Erklärung der Hogarthischen Kupfersteiche mit verkleinerten aber follständigen Copien derselben von E. Riepen-

hausen [Подробные описания Гогартовых гравюр]. Т. 3 (Der Wegdes Liederlichen [Путь развратного]). Göttingen, 1796.

Текст состоит из трех частей, соответствующих содержанию 3-х (из 8) гравюр Уильяма Хогарта, представляющих цикл под названием «A Rake's Progress» («Карьера распутника», 1735), «изъясненных» Лихтенбергом (Der Wegdes Liederlichen). Переводу первой части предшествует обширная сноска-предисловие, включающая определение жанра («карикатура»), указание на создателя карикатур («Гогарт») и их «толкователя» (Лихтенберг). Часть заголовка мартовской публикации: «Моральная Гогартова карикатура» в дальнейшем урезан в связи с уточнением жанра — «карикатура». Переведены описания первой картины «The Heir» («Наследник»), шестой — «The Gaming House» («Игорный дом») и восьмой — «The Madhouse» («Сумасшедший дом»).

Георг-Кристоф Лихтенберг (1742—1799) — один из самых острых и злых сатириков эпохи Просвещения. Круг его интересов очень широк: физик, математик, астроном и, одновременно, писатель — сатирик, страстный полемист и издатель. Как физик он был хорошо известен в России и в 1794 г. избран почетным членом Петербургской Академии наук. Законченных литературных произведений Лихтенберга сохранилось сравнительно немного. Особое место среди них занимает последнее по времени создания (1790—1799), самое крупное сатирическое произведение Лихтенберга — «Подробные объяснения к гравюрам Хогарта». В полном варианте оно явится в свет только после смерти автора.

Интерес к творчеству Вильяма Хогарта (1697—1764), создателя бытового, сатирического жанра в живописи, проявился у Лихтенберга ещё в 1770-е гг. во время пребывания в Англии, в искусстве которой в это время удивительным образом «повстречались» великое наслаждение В. Шекспира, как бы возрожденное заново великим актером-реформатором, основоположником просветительского реализма в театре, Д. Гарриком (1717—1779), сыгравшим 25 шекспировских ролей, публикация знаменитого «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта и поистине новаторские рисунки и серии гравюр В. Хогарта, представлявшие собой живописный «роман нравов» своего времени. О своих эстетических симпатиях художник красноречиво «сказал» своим автопортретом, помещенным им на фолиантах Шекспира, Мильтона и Свифта.

Лихтенберга в Хогарте привлекала общность понимания целей и задач искусства. Одной из точек соприкосновения художника и писателя был интерес к «змеевидной линии» Лоренса Стерна («Тристрам Шенди»), олицетворяющей собой красоту во всей её сложности и разнообразии, о чем художник прямо заявил в «Анализе прекрасного». В своих «Биографических заметках» он писал: «Я решил создать на полотне картины, подобные театральным представлениям, и надеялся, что к ним будут подходить и подвергать критике под тем же углом зрения. Следует заметить, что я имел в виду только такие сцены, где актерами выступают живые люди, и мне кажется, что их не часто изображали так, как они того заслуживают» (Мастера искусства об искусстве. М. 1967. С. 389).

Сам Хогарт не просто стремится изобразить людей «так, как они того заслуживают», но и вводит в свои живописные произведения некий сюжет, названием картины указывая на протяженность и развитие событий: «Harlot's Progress» («История шлюхи»), «A Rake's Progress» («Путь развратника»), «The Elec-

tion» («Выборы парламента») и т. д. К тому же, во всех его картинах присутствует множество значимых, «говорящих» деталей, как бы приоткрывающих зрителю «предысторию» и «потенциальные последствия» запечатлённого мгновения жизни, деталей, заставляющих вдуматься в суть изображенного: старые, стоптанные ботинки; костыль у камина; висящие на крючке, когда-то необходимые, а теперь бесполезные очки; криво повешенная на стене картина... Часто эти детали имеют своего рода «словесный» или даже «литературный» характер. Это книги (порой с прочитываемым заглавием на корешке), письма, вывески, объявления, денежные купюры. Как замечает Ю. Д. Левин, гравюры Хогарта «уже при выходе в свет нередко сопровождалась объяснительными или сопутствующими текстами» (Левин Ю. Д. Уильям Хогарт и русская литература // Русская литература и зарубежное искусство: Сб. исследований и материалов. Л., 1986. С. 370), что провоцировало скорое появление в Англии и в других странах работ с толкованием и развитием сюжетов его произведений. Лучшими из «толкований» оказались работы Лихтенберга, способствовавшие ознакомлению немецкой публики с произведениями английского художника.

Весьма любопытно, что в 14-томном немецком издании «Bibliothek der Romane» (Berlin; Riga. 1778—1787) (в 1780 г. переведенном на русский язык Василием Левшиным) в ряду типов романов, составляющих второй том («Романы рыцарские», «Романы народные», «Романы исторические» и т. д.), шестым типом числятся «Романы немые» (Stumme Romane), представляющие собой не что иное, как пересказы сюжетов английских гравюр, поименованных как «Романы Хогартовы». Как указывает Ю. Д. Левин, «в самом начале вступительной заметки, открывавшей «Повесть сих романов», подчеркивался повествовательный характер сатирических циклов: «Хогарт, говорилось здесь, был изобретателем сего рода романов, кои мы (...) под названием Немых включаем. Понеже, хотя оные не словами писаны, но со всем тем остаются истинными романами. Оные составляют целые повести, имеют своё расположение, своё разделение, хитрости, развязку и даже нравоучение...» (Левин Ю. Д. Указ. соч. С. 39—40).

«Lichtenberg's Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupfersteiche» были изданы И. Х. Дитерихом в 13 томах в Геттингене (издание выходило с 1794 по 1833 г.) с прилагавшимися к ним эстампами с гравюр английского художника, выполненными Эрнстом Людвигом Рипенхаузенем (1765—1840). Первый русский перевод из «Подробных объяснений к гравюрам Хогарта» Г. К. Лихтенберга появился в 1804 г. в сборнике «Отрывки из иностранной литературы» (М., 1804. Ч. 1. С. 9—34). Переводчиком был Я. И. де Санглен (1776—1864), избравший лишь одну, заключительную картину цикла «Mariage à la Mode» («Брак по моде»). Перевод достаточно близок к оригиналу, но сокращен за счет рассуждений Лихтенберга, явно не предусмотренных жанром «немого романа» и, следовательно, «отрывок» из «Брака по моде» оказывается «изъятым» из своего, принципиально значимого контекста, а потому меняет не только жанр, но и смысл.

Вторым переводчиком Лихтенберга в России стал Жуковский. Впервые у поэта имя немецкого писателя встречается в 1805 г., в «Росписи лучших книг и сочинений...», но, судя по всему, с произведениями немецкого автора поэт ещё не знаком, ибо находим мы его в разделе «VI. Мораль», где «Lichtenberge Schriften» упомянуты в одном ряду с философом Ф. Г. Якоби (1743—1813), которого «немецкий Свифт»

(Лихтенберг) зло высмеивал (наряду с И. К. Лафатером) за мистицизм и сентиментальное фразерство.

Вторично имя Лихтенберга в бумагах Жуковского появляется приблизительно в конце 1807 г. в «Материалах для “Вестника”», где немецкий сатирик фигурирует в ином контексте: начинающий издатель намерен в отделе «Словесность (переводы)» — рубрика «Писесы до наук и художеств касающиеся» — опубликовать произведения «из Лихтенберга», «из Виланда» и «из Шиллера» (РНБ. № 79. Л. 6.). Вполне естественно, что из трех, приведенных в указанном списке авторов, Жуковскому лучше всего был известен Шиллер, произведения которого он уже не раз переводил и будет переводить в дальнейшем, отдавая предпочтение Шиллеру-поэту. К. М. Виландом, плодовитым автором романов, поэм и драм Жуковский был страстно увлечен, начиная с 1805 г., когда прочел «святую книгу» «Агатон», и до 1807 г., когда постигал полуязыческую философию Аполлония Тианского в «Агафодемоне». Из произведений остроумного, скептического и ироничного Виланда он даже сделал несколько переводов для своего журнала. Напечатан при жизни поэта был один. С Лихтенбергом Жуковский лишь начинал знакомиться. До этого времени в России его знали прежде всего как ученого, да и сам он мало заботился об издании своих сочинений, ограничиваясь публикациями в «Гёттингенском журнале» и «Гёттингенских карманных календарях». Первое собрание его сочинений, в котором значительная часть материалов была подготовлена и отредактирована самим автором, оказалось посмертным (*Lichtenberg's vermischte Schriften. Bde 1—8. Göttingen, 1800—1804*). Это собрание сочинений находим в библиотеке Жуковского (Описание. № 2687). Вероятнее всего, именно с него и начинается серьезный интерес Жуковского к творчеству Лихтенберга, художника неординарного, яркого, развивавшего иные, отличные от русской литературы, традиции. Жуковский читает их внимательно, делает пометы. Так, например, в оглавлении 5-го тома вышеназванного издания, включающего 25 ироничных, во многом полемичных по отношению к современной действительности произведений, читатель делает 12 помет, характерных для раннего чтения поэта. Они делались черными чернилами и зеленым карандашом, что говорит о неоднократном и разновременном обращении к тексту. Кроме того, в библиотеке Жуковского имелись и 9 выпусков эстампов с гравюр Хогарта «*Carricaturen von Hogart*», и «*Ausfürliche Erklärung der Hogarthischen Kupfersteiche*», о которых он пишет как об утерянных А. П. Елагиной в ноябре 1818 г. (см.: Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной. 1813—1852 / Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э. М. Жиликовой. М., 2009. С. 205, 209). Позднее, 29 сентября 1828 г. А. П. Елагина писала Жуковскому о том, что «муж в деревне нашел какой-то сундук запертый, запечатанный, — и запрятанный далеко. — Вышло, что там Лессинг, (...) описание Гогартовых картин и пр.» (С. 321). Однако в современном «Описании» библиотеки поэта этих книг нет.

Неординарность Лихтенберга не могла не поразить издателя ВЕ, желавшего познакомить читателей с совершенно новым родом литературы, каковым по существу явились «Подробные описания...», фактически разрушающие каноническое представление «о границах живописи и поэзии» (любопытно сравнить внутреннюю переключку отзыва современника Хогорта о его произведениях и слова Лихтенберга о его собственных принципах при создании «Подробных описаний...». Так, У. Теккерей говорил о художнике: «Его графические изображения — это книги...



Другие картины мы смотрим, его гравюры мы читаем». Лихтенберг же намеревался писать о картинах «так, как писал бы Хогарт, если бы он работал не резцом, а пером». (Цит. по: *Тронская М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962. С. 32).

Жуковский ощущает новаторский характер произведений Лихтенберга и стремится к тому, чтобы это было донесено и до читателя. Об этом свидетельствуют по крайней мере два фактора. Во-первых, он с самого начала позаботился о публикации в журнале не только текстов произведений немецкого просветителя, но и породивших их хогартовских гравюр, хотя, судя по предисловию к первой публикации и дальнейшей эдичионной практике, совместить в одном журнале текст «Примечаний» и «картинку» удавалось далеко не всегда по техническим причинам. Во-вторых, несмотря на то что, как справедливо указывает Ю. Д. Левин, перевод Жуковского — «вольный» (поэт переводит не все «картины» в цикле, сокращает некоторые рассуждения Лихтенберга, одновременно расширяя текст в случае желания приблизить повествование к российским реалиям или обратиться к читателю как собеседнику), однако переводчик не стремится изменить смысл, идею произведения, не разрушает стиля, тональности повествования, характеристики действующих лиц. Заметим, что интерес к Лихтенбергу не угас у Жуковского вместе с окончанием редакторства в «Вестнике», но сохранился на многие годы. Об этом свидетельствует приобретенное им «Lichtenbergs vermischte Schriften, witzigen und ernststen Jnhalt; nach dessen Tode gesamlet und heraus gegeben»... Teile 1—5. Wien. 1837. (Опись. № 2688).

В 1947—1951 гг. И. Стравинским была создана опера в трёх действиях с эпилогом «Похождения повесы» по циклу картин Хогарта «Карьера распутника». Цикл «A Rake's Progress» в настоящее время находится в музее сэра Д. Соуна в Лондоне.

<sup>1</sup> Сульцер (Зульцер) Иоганн Георг (1720—1779) — немецкий эстетик, проф. математики в дворянской академии в Берлине. В своем главном труде «Allgemeine Theorie der schoonen Kuuunste» (Leipzig. 1771—1774) исповедует принципы классицизма. С трудами Сульцера хорошо был знаком Жуковский.

<sup>2</sup> ...называют его своим Стерном... — Стерн Лорис (1713—1768) — английский писатель, впервые в литературе показавший сложную, неоднозначную связь между человеческими эмоциями и обстоятельствами, эти эмоции породившими. Главные его произведения — «Тристрам Шенди» и «Сентиментальное путешествие», давшее название целому литературному направлению.

<sup>3</sup> *Юлия Кесаря* — Гай Юлий Цезарь. Римский диктатор, полководец и писатель (ок. 102/100—44 г. до н. э.).

<sup>4</sup> ...в каком-нибудь Вестминстере... — Вестминстер — ю.-з. часть Лондона, во времена Лихтенберга населенная состоятельной публикой. Знаменит готической архитектурой Вестминстерского аббатства, издавна служившего местом коронавания и усыпальницей знаменитых людей Англии.

<sup>5</sup> Гаргантюа — один из героев романа Ф. Рабле (1494—1553), известен своим обжорством и недостаточной ученостью.

<sup>6</sup> ...по милости нашего Асмодея... — Асмодей (собственно Ашмедай, т. е. искуситель) — злой сластолюбивый демон, упоминаемый в поздней еврейской литературе (Талмуд).

<sup>7</sup> *Корнет* — правильное — корне (франц. *cornet*) — кулек, пакет (для денег при игре).

<sup>8</sup> *Пифия* — жрица-предсказательница Дельфийского храма Аполлона. Иносказательно — прорицательница.

<sup>9</sup> *Плерезы* (франц.) — траурные нашивки на платье.

<sup>10</sup> *Паладин* — В средние века — верный рыцарь королевской свиты. Здесь — азартный карточный игрок.

<sup>11</sup> *Фурии* — римские демоны подземного царства, божества мести и угрызений совести.

<sup>12</sup> *Орест* — герой греч. сказаний. Мстя за смерть отца, убивает родную мать. Преследуем фуриями.

<sup>13</sup> *Слова Святого Писания: я был в недуге, я был в темнице, а ты не посетил меня...* — переложение стихов «болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мф 25,43).

<sup>14</sup> *Оттоманы* — (франц. *ottomans*), чаще османы — устаревшее название турок по имени основателя династии — Султана Османа I (кон. XIII — нач. XIV в.) Османская империя распалась только после поражения в Первой мировой войне.

<sup>15</sup> *В 1763 году Британия сидела или достойна была сидеть в Бедламе.* — В 1763 г., после долгой войны с Испанией и Францией был заключен так называемый «Парижский мир», в результате которого Англия приобрела от побежденных стран значительное количество колоний, в том числе в Америке, Канаде, на островах Атлантического океана. Занявшись проблемами колоний, правительство пренебрегло политикой внутренней, что привело общество к обнищанию, недовольству, к бунтам как в колониях, так и в самой Англии. Бедлам — название психиатрической больницы к югу от Лондона.

<sup>16</sup> *...на хребте вола...* — Европа — (греч.) догреческое божество земледелия. В позднейших сказаниях — дочь финикийского царя Агенора. Похищена Зевсом, принявшим облик быка и доставившим её вплавь на о. Крит. Намёк Лихтенберга на сложное и непрочное политическое состояние Европы, в том числе и Англии, в конце XVIII столетия.

*И. Айзикова, Н. Реморова*

### **Феллаги**

(«Может быть, немногие знают...»)

(С. 122)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 5. Март. С. 63—68 — в рубрике «Политика», с указанием в конце: С немецкого \*\*.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: начало 1808 г. (не позднее февраля).

Источник перевода не известен.

Перевод свидетельствует об интересе редакторов ВЕ разных лет к африканскому тексту. См., например, публикации о «Путешествии во внутренность Африки» Мунго Парка (1808. Ч. 39. № 12).

Африка привлекает внимание европейцев в разных аспектах. В геополитическом отношении это сфера колониальных интересов к рынкам природных ресурсов, в том числе и рабовладельческому рынку. В эпоху наполеоновских походов в ВЕ актуализируется египетская тематика, отраженная в рубрике «Известия и происшествия». Просветительский и предромантический подход характерен для журнальных «путешествий», в которых культурный сюжет строится на столкновении просвещенной точки зрения европейца и «внеисторической» жизни экзотических народов, их уклада, нравов, типа правления и веры. «Феллаги» представляют собой этнографический очерк жизни «избранного народа» — абиссинских (эфиопских) евреев (феллаги, фалаша).

Очерк ВЕ соотносится с исследованиями европейских путешественников и миссионеров и представляет собой отличную от них картину жизни, нравов и верований феллагов. В Европе о *фалаша* стало известно после выхода в свет пятитомного описания путешествия англичанина Якова Бруса (1790, Эдинбург), который шесть лет (1768—1774) провел в Абиссинии.

*Феллаги* в переводном очерке Жуковского в очерке ВЕ рассматриваются как национальное и культурное явление. Они являются примером сохранения отдельности Израиля (феномен самосохранения народа = запрет ассимиляции). Но при всем этом в очерке о феллагах наряду с сохранением конфессиональной идентичности подчеркивается их несхожесть с еврейским культурным каноном, что обуславливает структуру повествования.

Так подчеркивается, что историческое сходство *феллагов* с древними евреями — склонность к земледелию и скотоводству — сочетается с их отличиями от современных евреев (умение приспосабливаться к обстоятельствам, занятие торговлей, денежными отношениями, обман и проч. клише)

В очерке ВЕ указывается на влияние язычества на верования *феллагов* (кумиры, идолы, жертвоприношения) и особенности монотеизма (сохранение Пасхи, но менее строгое), сохранение книг Ветхого Завета (Пятикнижия) и Пророков, с указанием незнания Закона народом. Таким образом, *феллаги* в очерке ВЕ — это промежуточное звено между язычеством и монотеизмом (иудаизмом), метафорически обозначенным местом ветхозаветного Фары, отца Авраама. Именно из этой пограничности, остановки на пути к истинной вере иудеев, раннебиблейской патриархальности выводится тип власти, образ правления на основе патриархальности (отец = царь-жрец).

Перевод Жуковского свидетельствует о его интересе к истокам культуры и типологии религии на неевропейском материале.

<sup>1</sup> *Саранча* — птица, цапля, журавль. Саранча — символ божьего гнева, например, восьмая казнь фараона в Египте (Исх 10:4—15, Пс 77:46). Ср. новозаветный Апокалипсис, с которым *фалаша* не были знакомы.

<sup>2</sup> *Сион* — гора в Иерусалиме, символ воссоединения еврейского народа и всех иудейских святынь.

<sup>3</sup> *Фарра* — отец Авраама, метафора борьбы язычества с единобожием. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». (Нав. 24: 2).

### Князь мира

(«Известно, что *Князь мира* есть первый человек в Испании...»)

(С. 124)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 5. Март. С. 68—74 — в рубрике «Политика», с подписью в конце: С немецкого\*\*.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: первая половина 1808 г.

Источник перевода: Der Friedenfürst in Spanien [Мирный князь в Испании] // Nordisches Archiv. Riga, 1808. S. 67—75.

На с. 69 находится подстрочное примечание переводчика: «(\*) Издатель Северного Архива (Журнала, выходящего в Риге) выписал их из Лондонского периодического сочинения: the Star. Смотри Декабрь месяц 1806 года». Это примечание позволяет установить источник перевода Жуковского.

Очерк-памфлет «Князь мира» находится в центре актуальных внешнеполитических событий своего времени: европейских наполеоновских и антинаполеоновских войн. Он затрагивает политические проблемы войны и мира Испании, Франции, Великобритании, Португалии, России. История публикации, с одной стороны, обращена к событиям 1806 г. (публикация в лондонской «Star»), а с другой — перепечатку через посредничество рижского журнала на немецком языке (Nordisches Archiv, 1806) в ВЕ уже на русском языке, то есть межкультурный англо-немецко-русский диалог 1806—1808 гг. События связаны с попыткой в 1806 г. провести тайные переговоры против наполеоновской Франции с ее противниками; и с драматическими событиями 1808 г. — противоборства Наполеона с Испанией и лично Годоем, с народным восстанием против первого министра, с его бегством, арестом, конфискацией имущества и высылкой во Францию.

Мануэль Годой, маркиз Альварес де Фариа, герцог Эль-Алькудия (1767—1851) — испанский государственный деятель, фаворит королевы Марии Луизы и друг короля Карла IV. Имел множество титулов: маркиз (1792), герцог де Алькудиа (1792), князь де ла Паса («князь мира»), гранд 1-го класса (1795), генералиссимус сухопутных и морских сил (1 октября 1804 г.). В 1792—1798 гг. первый министр королевства. Фактически управлял Испанией с 1792 по 1808 г., за исключением периода 1798—1801 гг.

Происходил из бедного дворянского рода, с 1784 г. служил в гвардии. В 1785 г. привлек внимание супруги инфанта Марии Луизы, стал ее любовником и другом ее мужа, с 1788 г. короля Карла IV. В качестве фаворита сделал блестящую карьеру (министр иностранных дел, глава кабинета испанского правительства). Годой отличался политическое лавирование между силами антинаполеоновской коалиции (Англия, Россия, Австрия) и наполеоновской Францией. После неудачной войны Испании с Францией и вынужденного мирного договора 1795 г. (в результате которого Испания уступила Франции Санто-Доминго), Годой получил титул «князь мира», который дал название статьи в ВЕ, переведенной Жуковским. Несмотря на

разорительные войны Годой к 1797 г. стал одним из богатейших людей Испании, общая стоимость его имущества превышала годовой бюджет страны.

В центре очерка судьба одного из известных временщиков, человека случая и судьбы, сделавшего головокружительную карьеру благодаря своему положению фаворита. Название статьи, воспроизводящее официальный титул *князя мира*, данный Мануэлю Годой, содержит двойственный язвительный оттенок. В Предисловии (перевод немецкого *Voregippenung*) ставится риторический вопрос, который имеет серьезное историософское значение: роль личности в истории, зависимость политической ситуации и перспектив европейской истории от человека, наделенного почти неограниченной властью — фаворита испанской королевы и друга короля.

Очерк ВЕ построен почти романически (беллетристически) — на частных, бытовых, камерных мотивировках раскрывается стремительная карьера с обилием административных наград и высших военно-государственных титулов и должностей. Жанр памфлета не отменяет лейтмотива национального катастрофизма, бездарности и безнравственности Годоя как угрозы национальной безопасности (пассаж о феномене *ragueni* и государственно-политической семейственности). Резюме очерка читается весьма актуально как опасная зависимость политики от личностно-психологических качеств, базирующихся на оскорбленной гордости и мстительности.

<sup>1</sup> *Князь мира* — *Principe de la Paz*, титул Мануэля Годоя.

<sup>2</sup> *Луис де Годой* — старший брат Мануэля. В статье Людовик, в нем. тексте Ludwig.

<sup>3</sup> *Карл III* — Карл III (1716—1788) — испанский король с 1759 г.

<sup>4</sup> *Орден Алькантры* — один из старейших духовных рыцарских орденов Испании, по имени города Алькантра. Орденский знак состоит из зеленого мальтийского креста, концы которого соединены золотыми лилиями, носится на зеленой ленте на шее, а затканый шелком — на фраке и белой мантии. В гербе изображено грушевое дерево с двумя чертами.

<sup>5</sup> *Принцессе Астурийской, нынешней королеве* — королева Мария-Луиза Пармская (1751—1819).

<sup>6</sup> *Герцогиня Альба* — Мария дель Пилар Тереса Кайетана де Сильва и Альварес де Толедо (1762—1802) наследница дома Альба, 13-я герцогиня Альба. Подверглась трехлетней ссылке из-за измены фаворита королевы.

<sup>7</sup> *Новый государь* — Карл IV (1748—1819), находился под влиянием Марии-Луизы.

<sup>8</sup> *Дон Аранда* — глава арагонской партии граф Педро, Пабло Абарак де Болео Аранда.

*Н. Ветшева*

## О дружбе

(«Я очень давно живу на свете, слышал много худого на счет любви...»)

(С. 127)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 6. Март. С. 87—94 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: О дружбе, с пометой в конце: С французского.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 4 (в разделе «Смесь»). С. 261—270; Пвп 2. Ч. 3. С. 25—31— с тем же заглавием и без помет. Текст идентичен первой публикации (снята лишь помета: С французского).

Печатается по тексту Пвп 2.

Датируется: не позднее первой декады марта 1808 г.

Источник перевода: *Suard J. B. A. De l'Amitié* [О дружбе] // *Mélanges de Littérature. Publiés par J. B. A. Suard*. Т. 2. Paris, 1804. P. 166—173. Атрибуция: Симанков. С. 107.

Перевод рассказа Ж. Б. А. Сюара «О дружбе» — проявление постоянной заинтересованности Жуковского морально-психологической сложностью человеческой личности и часть программы «светского» нравственного воспитания, основанного не на прямых поучениях, но на разборе мотивов и стимулов поведения личности в обществе. Прообраз этой программы дал И. Я. Энгель в своем «Светском философе», статьи из которого Жуковский в обилии переводил для ВЕ. Французская традиция морально-психологического анализа, так же широко представленная в журнале (переводы из Ж.-Ж. Руссо, Ж. Ф. Мармонтеля, С. Ф. Д. Жанлис и др.), дополняла немецкий философский компонент живыми социальными красками.

Характерным представителем подобного направления во французской беллетристике выступал и Жан Батист Антуан Сюар (1734—1817), журналист, музыкальный критик, член Французской академии с 1772 г. До революции он издавал «Gazette littéraire de l'Europe» и «Gazette de France», печатался в «Journal de Paris» и «Mercure de France», был цензором драматических произведений. Во время революции Сюар сначала оставался в Париже и стоял в стороне от революционных событий, придерживаясь скорее роялистской партии; в эпоху террора покинул столицу и жил в деревенском затишье; одно время был выслан из Франции, вернулся обратно после переворота 18-го брюмера; по возвращении основал журнал «Le publiciste» и продолжал издавать его до 1810 г. В 1803 г. был избран секретарем Французской академии. Принадлежа к поколению энциклопедистов, Сюар был в дружеских отношениях со многими из них, разделяя мнения и пристрастия и выступая как талантливый пропагандист. Сюар прекрасно знал вкусы публики и технику газетно-журнального дела, в своих суждениях часто обнаруживал остроумие и наблюдательность, старался примирить самые разнородные взгляды. С творчеством Сюара Жуковский впервые познакомился в 1806 г. благодаря большой его биографической статье, предпосланной сочинениям Люка де Вовенарга (*Oeuvres complètes de Vauvenargues. Précédées d'une notice sur la vie et les écrits de Vauvenargues, par Suard*. Т. 1—2. P., Dentu, 1806), сохранивший ряд очеркиваний и записей (см.: Описание. № 2791). Его сборник «Литературная смесь» (в 5 т.), из которого Жуковский перевел в 1808 г. для ВЕ ряд рассказов, включал в себя сочинения разных лет, опубликованные ранее в журналах (статьи по литературе и музыке, письма, очерки, рассказы) и в занимательной манере соединявшие прагматическую мораль с зарисовками нравов.

Обращение к Сюару способствовало обогащению взгляда на дружбу, культ которой сложился в литературе позднего русского просвещения. В. И. Резанов в «Разысканиях о сочинениях В. А. Жуковского» (Вып. 2. С. 167—169) приводит несколько десятков оригинальных (И. Ф. Богданович, Н. М. Карамзин,

И. И. Дмитриев) и переводных (Цицерон, маркиза де Ламберт, А. де Ривароль) произведений, посвященных дружбе, где порой педантично перечислялись не только преимущества ее, но и многочисленные условия и обязанности друзей, как в «Речи к молодым детям о выборе друзей» из «Покоящегося трудолюбца», журнала Н. И. Новикова. Эти идеи Жуковский уже в пору Дружеского литературного общества (речь «О дружбе») трансформирует в романтическом духе, провозглашая неперемнным условием дружбы умение разбираться в себе и в людях. Сентиментальная апология эмоциональной отзывчивости, «сердечного влечения» дополняется у него видением противоречивости человеческой природы, грозящей расколом мечты и реальности. Спасением от него является сходство характеров и умение видеть в друге самоценную индивидуальность, разделяя при этом общие увлечения, мысли, идеалы.

В ВЕ эта концепция приобрела особую широту и многомерность, соединившись с осторожной критикой сентиментальных иллюзий («Первое движение» А. Сарразена /1809. № 12/), будучи спроецирована на разнообразные исторические условия («Дорсан и Люция» С. Ф. Д. Жанлис /1810. № 23, 24/), углубившись психологически («О дружбе и друзьях» /1810. № 13/). Рассказ Сюара «О дружбе» привлек Жуковского, очевидно, концентрированностью данных мотивов. Здесь абстрактные взгляды моралистов на дружбу (Сенека, Монтень, Лафонтен, Лабрюйер) обретают концептуальный смысл и сопоставляются с различными случаями из реального жизненного опыта повествователя, показывающими, что несходство характеров порой может породить очень прочные отношения, а близость мыслей и чувств не спасает от социальных противоречий. Выразительность рассказа способствовала включению его в позднейшие собрания переводов, предпринятые Жуковским в 1817 и 1827 гг.

<sup>1</sup> *Сенека описывает ее весьма красноречиво...* — Луций Анней Сенека (4—65 н. э.), известный римский философ, моралист, оратор и драматург. Речь идет о «Нравственных письмах к Луцилию» (письмо LXIII).

<sup>2</sup> *Покойный Монтень менее равнодушен...* — Мишель Монтень (1533—1592), знаменитый французский писатель, автор «Опытов» (1580—1595). Высказывания о дружбе, посвященные Ла Бюэси, находятся в первой книге, глава XXVIII.

<sup>3</sup> *Лафонтен еще нежнее...* — Жан Лафонтен (1621—1695), знаменитый французский баснописец. Подразумевается басня «Два друга» (1678).

<sup>4</sup> *Любовь родится вдруг, — уверяет Лабрюйер...* — Жан де Лабрюйер (1645—1696), знаменитый французский моралист, автор «Характеров» (1694), откуда и приводится афоризм.

<sup>5</sup> *...мой друг перешел на сторону Версали...* — стал придворным. Версаль — город в 19 км от Парижа, где располагалась в XVII—XVIII вв. резиденция короля.

<sup>6</sup> *Открылась революция.* — Великая французская революция 1789—1793 гг.

<sup>7</sup> *...в ужасное время Робеспьера...* — Максимилиан Мари Исидор Робеспьер (1758—1794), известный французский революционер, депутат Генеральных Штатов, глава якобинского клуба, инициатор суда над Людовиком XVI. С 1792 г. член Конвента, глава Комитета общественного спасения. Был казнен после термидорианского переворота.

<sup>8</sup> *...трик-трак...* — Триктрак — старинная французская игра восточного происхождения (вариант нардов).

<sup>9</sup>...пикет... — Пикет — карточная игра, изобретение которой приписывается французам (1390 г.). Колода для этой игры содержит 32 карты (т. н. «пикетные карты»). Играть могут два, три, четыре лица.

*В. Киселев*

**Неизъяснимое происшествие**  
**(Разговор между Виллибальдом и Бландиной)**  
(«Виллибильд. Я еще у тебя в долгу...»)  
(С. 130)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 6. Март. С. 94—113 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Неизъяснимое происшествие (Разговор между Виллибальдом и Бландиной)», с подписью: Виланд. Первое, сделанное к заглавию примечание, подписано: Ж.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 («Повести и смесь»). С. 62—85; Пвп 2. Ч. 3. С. 95 — 110. Тексты ВЕ, Пвп 1 и Пвп 2 идентичны, снята лишь подпись: Виланд.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее февраля 1808 г.

Источник перевода: *Wieland C. M. Euthanasia. Drey Gespräche über das Leben nach dem Tode* [Эвтаназия. Три разговора о жизни после смерти] // *Wieland C. M. Sämtliche Werke. Leipzig, 1794—1805. Bd. 37 (Leipzig, 1805). S. 237—264.*

Представляет собой сокращенный, но достаточно точный перевод третьей части произведения К.-М. Виланда «Euthanasia. Drey Gespräche über das Leben nach dem Tode». Интерес Жуковского к наследию известного немецкого писателя Кристофа Мартина Виланда (1733—1813) был продолжительным. Русский поэт был внимательным читателем его философско-моралистических сочинений и романов, обращался к переводу его поэмы «Оберон» (подробнее см.: *Реморова Н. Б. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989. Гл. 1.*)

«Euthanasia» принадлежит к поздним созданиям немецкого автора, знатока и страстного почитателя античности (особенно периода эллинизма), где он не черпал материал для сюжетов своих далеко не исторических и всегда обращенных к современности произведений («Агатон», «Агагодemon», «Музариона», «Новые разговоры богов» и мн. др.).

Само название «Эвтаназия» в переводе с древнегреческого означает «легкая смерть», то есть быстрая, спокойная, без страданий, смерть добродетельного человека, душа которого не запятана «погубляющим душу» грехом. Именно так определяется значение данного слова В. И. Далем: «Легкая смерть, быстрая, спокойная, без страданий» (Т. IV. С. 233). Все остальные значения этого понятия («Лечение умирающего обезболивающими средствами», «Теория лечения неизлечимых больных», «Умерщвление в случае неизлечимой болезни» и т. п.) появились не ранее второй половины XIX в. и никакого отношения к виландовскому произведению не имеют.



«Эвтаназия» как целостное произведение «подвергает сомнению церковный догмат о бессмертии души» (Р. Ю. Данилевский) и направлена на обсуждение вопросов, связанных с проблемой взаимоотношения духовных и физических начал человека после его физической смерти, породившей множество рассказов о всякого рода «чудесах». Естественным источником разного рода легенд, веры в духов, создания целого «пантеона демонов» был зародившийся в глубокой древности интерес к таинственным явлениям человеческой психики, о чем говорит, в частности, герой виландовского «Агагодемоно» Аполлоний Тианский (1 в. н. э.), на мнение которого ссылается в своих рассуждениях один из участников «разговоров» в «Эвтаназии» — Виллибальд (у Виланда — Wilibald).

Первые попытки дать естественно-научное объяснение таинственным психическим явлениям делаются лишь в конце XVIII в., когда в 1774 г. в Париже была учреждена «комиссия для исследования животного магнетизма» во главе с А. Лавуазье (1743—1794), а в Кенигсберге в 1791 г. вышло в свет «одно из первых серьезных сочинений по теории сна» Г. Нудова (*Nudov H. Versucheiner Theorie des Schlafs. Königsberg, 1791*; см. об этом: *Васильев А. А. Таинственные явления человеческой психики. М., 1964*). Однако это не мешало появляться и трудам, дававшим мистическое толкование «сверхъестественным явлениям», подобным книге доктора Иоганна Карла Вецеля (1747—1819) «Известие о истинном двукратном явлении жены моей после смерти», послужившей толчком к созданию виландовских «Разговоров», на что указывает автор «Эвтаназии» и повторяет в сноске переводчик.

«Эвтаназия» построена как цикл историй-разговоров, ведущихся тремя молодыми людьми: Виллибальдом, Зельмаром и сестрой Виллибальда Бландиной. В каждом из «разговоров» речь идет о каком-то одном типе «таинственного». Так, в первом обсуждается высказанная доктором Вецелем вера в привидения; во втором главным объектом беседы становятся действия духовидца Сведенборга, якобы, умевшего вызывать души умерших и беседовать с ними; в третьем (хотя здесь и имеет место явление призрака) возникает новая тема: передача мыслей на расстоянии, или — телепатия. Именно эта часть произведения в большей мере заинтересовала Жуковского-переводчика. К тому существовало по крайней мере три причины.

Во-первых, тема была актуальна. Если проблема души, ее взаимоотношения с телом, как и понятия о духах и привидениях, восходят к древнейшим мифологическим представлениям народов мира и не раз становились предметом обсуждения (в том числе и в литературе), то вопрос о возможности передачи и восприятия мыслей и чувств на расстоянии, без посредства органов чувств, был нов как для времен Виланда, так и Жуковского. О телепатии как специальном предмете возможного изучения заговорят лишь во второй половине XIX в., когда начнет зарождаться парапсихология (область исследования явлений, не получивших научного объяснения). Однако сам интерес к «неизъяснимым происшествиям» в обществе существовал всегда и мог привлечь массового читателя, что было немаловажно для Жуковского как редактора «Вестника».

Во-вторых, публикатора привлекает возможность вызвать читательскую дискуссию вокруг одного конкретного происшествия, «неизъяснимого» ни для автора (Виланда), который, как замечает в первом примечании Жуковский, «никогда не был мечтателем», ни для переводчика, хотя оба полагают, что рассказанное — «не вымышленная басня».

И, наконец, заметим, что, увлеченно читая в период 1805—1808 гг. произведения немецкого просветителя, Жуковский внимательно, с пометами и замечаниями на полях прочел все три «разговора». Для публикации в журнале первые два подходили мало: их темы были более «избитыми», а объем — слишком велик (236 с.). Объем последней части — намного меньше, что соответствовало возможностям и потребностям журнала. Вполне вероятно, что именно это решило вопрос о выборе объекта для перевода.

Публикуя «Неизъяснимое происшествие», Жуковский справедливо заметил в примечании, что «под именем *Виллибальда* говорит сам Виланд». Действительно, именно он дает наиболее скептическую оценку всем упоминаемым в беседах «невероятным происшествиям», рассуждает об особенностях человеческого воображения и имеет свою, совпадающую с авторской, точку зрения на бессмертие души. Он, в частности, считает, что наше подлинное, пережившее смерть «Я», перестает быть индивидуальным человеком, но может сохраняться в памяти других людей; либо, приняв какие-то новые формы, существовать в природе, но без способности вступать в контакты с живыми людьми. Человеческий дух, по его мнению, бессмертен *в делах* человеческих. Безосновательные надежды людей на существование в ином мире не способствуют упрочению земных связей и отношений, а, напротив, «ведут к необоснованным упованиям на возможность там восполнить то, что не осуществлено здесь».

«Слушающая с любопытством» Бландина — воплощение наивной веры во все чудесное. В «разговорах» ей отводится роль своеобразного «стимулятора», «толчка» для обширных рассуждений Виллибальда, стремящегося дать всем «чудесам» рациональное объяснение. Более сложен образ Зельмара. Он также склонен к вере в чудеса и таинственные явления, но логика рассуждений Виллибальда, подталкивая дремлющий разум Зельмара, заставляет его в конечном итоге принять точку зрения скептика. Превратившись из оппонента в единомышленника Виллибальда, он утрачивает свою композиционную роль и из последних, третьего «разговора» исчезает. Отсюда и подзаголовок в названии перевода: «Разговор между Виллибальдом и Бландиною», что точно соответствует характеру подачи материала в самом оригинале.

Читая первые два «разговора», Жуковский последовательно выделяет вертикальной чертой отрывки рассуждений Виллибальда, где последний стремится в меру своего понимания и познания убедить оппонентов в невозможности автономного существования души после физической смерти человека. Главный итог, к которому приходит читатель вслед за автором и его героем, — признание неразрывного единства в человеке духовных и физических начал. И «как только прервана связь, соединяющая душу и тело, личность перестает существовать, а между умершим и живым нарушаются все прекрасные отношения», которые существовали при жизни. Высказывавшееся рядом древних философов предположение о существовании некоего «эфирного тела души» умершего, способного общаться с живыми, он принять отказывается, как несостоятельное с точки зрения разума, ибо «этот душевный орган, не связанный ни с какими из наших чувств, также не может ни на какие из них действовать».

К этим размышлениям Виланда — Виллибальда Жуковский-читатель делает на полях книги свое дополнение, связанное с общим ходом авторских размышлений. Он пишет: «Если живые забывают мертвых, то и мертвые забывают о живых».

*Его жизнь телесная должна оставить следы в нашем духе*», то есть Жуковский выражает свою солидарность с автором в понимании бессмертия как «телесного следа» в сфере духовной жизни (в виде добрых дел, полезных другим людям трудов, знаний, любви, созидающей и самоотверженной). Земная память делает человека бессмертным в *сознании* живых людей, которым умерший может представляться с большей или меньшей степенью ясности. Почву для веры в привидения как раз и создают воспоминания живых об умерших. образы которых возникают в сознании оставшихся в этом мире. Ни во времена Виланда, ни во времена Жуковского о сложном взаимодействии центральной и периферической нервной систем еще не знали, но на уровне догадок и предположений рассуждения Виланда, отмеченные Жуковским, очень интересны, прежде всего, своей естественнонаучной направленностью и попыткой объяснить неизвестное через известное и понятное.

Озаглавив перевод «Неизъяснимое происшествие», Жуковский сразу ориентирует читателя на внимание к самой таинственной истории, рассказанной Виландом — Виллибальдом. При этом переводчик сокращает самое начало диалога (первые девять реплик), играющего роль «бытовой» связки между вторым и третьим «разговором»: Бландина, будучи возбуждена предыдущим, не спала ночь; Виллибальд сожалеет об этом, но в качестве продолжения темы предлагает еще одну историю, становящуюся новым предметом для обсуждения. Далее Жуковский опускает некоторые детали, преимущественно не касающиеся самого происшествия. Так, частично сокращено описание деятельности, обыденной жизни и болезни госпожи Т\*\* (у Виланда — Frau von K\*\*), опущены необязательные с точки зрения переводчика факты, требующие дополнительных пояснений для русского читателя, вроде авторского уточнения, что героиня была во многом похожа на известную г. Гюон, которая, «став членом католической церкви, умерла со славой святой, и сейчас, наверное, уже канонизирована».

Одновременно в ряде случаев переводчик несколько расширяет текст. Такова, например, небольшая вставка, передающая обстоятельство последних минут, проведенных госпожой Т\*\* с дочерью. Имеет место и краткий, но достаточно точный по смыслу пересказ, что заметно усиливает динамизм повествования, не нарушая ни его общей логики, ни его общего смысла. Повествование о «дейательной доброте» и обширных, используемых для пользы людей познаниях героини, о ее странной болезни с приступами лунатизма и летаргии переводчик определяет как «предисловие» к самой рассказываемой истории, необходимое для уяснения масштаба личности героини, всеми уважаемой и принадлежащей «по всем отношениям к существам необыкновенным».

Второй участник «неизъяснимого происшествия», близкий друг семьи госпожи Т\*\* духовник бенедиктинского женского монастыря патер Кайетан, также характеризуется как человек благородный и «заслуживший всеобщее уважение», ибо он был не только добродетелен, но и «отменно привлекателен в обхождении, учен и сверх того искусный музыкант».

Суть «неизъяснимости» происшествия, свидетелями которого были члены семьи госпожи Т\*\* и, прежде всего, ее дочь, человек «умный и достойный доверенности», остается непроясненной. Ни автор, ни переводчик не могут до конца принять идею телепатии, но и решительно отмести ее, полагаясь на какой-либо элемент научного знания, не решаются, тем более, что, как говорит Виланд, он «очень далек от того, чтобы отрицать вечную жизнь нашего духа» или, как переводит Жуковский,

«мы совершенные невежды в вещах духовных». Переводчик сохраняет ход рассуждений автора и его жизнеутверждающий пафос: лучшим средством освободиться от страха перед неизбежностью смерти является «тайна старого Сократа» — «сознание достойно прожитой жизни». Виланд сравнивает ожидание смерти чистого души и добродетельного человека с состоянием, которое древние греки называли «эвтаназией» или «родом прекраснейшей и наилучшей смерти». Жуковский в переводе опускает это сравнение. Оно не нужно ему, ибо связано с контекстом всего произведения и практически не реализуется в отрывке, имеющем в переводе другое название. К тому же Жуковскому в этот период не свойственна ориентация на языческую античность. Он предпочитает говорить о Промысле и Провидении, которые неправомерно рассматривать как понятия чисто религиозные, особенно если учесть неустойчивость религиозных воззрений поэта в эти годы и характер использования им этих понятий в поэтическом творчестве.

<sup>1</sup> ...сравнить ее с госпожою Гюйон — Гюйон Жанна-Мария Бувье де ля Мот (1648—1717) — проповедница одного из мистических течений внутри католицизма (квиетизм), популярного в аристократических кругах Франции. Преследовалась инквизицией. Несмотря на заступничество архиепископа Фенелона, дважды была арестована. Её труды были известны и в России в начале XIX в. Имя этой особы могло быть известно читателям и по философской повести Ф.-М. Вольтера «Простодушный» («L'ingenu». 1767), где в главе 13 описываются занятия высокопоставленных духовных лиц с дамами, в частности, сказано, что «в загородном доме» мельдийский епископ «в обществе м-ль де Молеон подвергал исследованию “Мистическую любовь” г-жи дю Гюйон» (*Вольтер Ф.-М. Философские повести. М., 1953. С. 231*).

<sup>2</sup> ...дружба с Камбрейским епископом Фенелоном — Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651—1715) — французский писатель и религиозный деятель. Писал проповеди, моральные и богословские трактаты, художественные произведения. Особенно знаменит его философско-утопический и воспитательный роман «Приключения Телемака» (1693—1694, изд. 1699), переведенный в 1747, а в 1766 г. переработанный В. К. Третьяковым в поэму «Телемахида». Будучи архиепископом в Камбрэ, отнесся с пониманием к учению госпожи Гюйон, написав в её защиту богословский трактат, впоследствии запрещенный церковью. В библиотеке Жуковского хранится 22-томное собрание его сочинений с многочисленными пометами и записями читателя (Описание. № 1015).

<sup>3</sup> бенедиктинский женский монастырь. — Бенедиктинцы — члены католического монашеского ордена, основанного в начале VI в. Бенедиктом Нурсийским в Италии. Первый из монашеских орденов в Западной Европе. Монахи ордена сохранили для позднейших времен памятники античной литературы.

<sup>4</sup> ...невзвизая на разность религий... — Данное, исходящее от оригинала, замечание, судя по всему, призвано особо подчеркнуть добродетельность и высокую просветительскую нравственность героев. Оно созвучно с лессинговским осуждением всякой религиозной розни, ибо, как он особо подчеркивает в «Натане Мудром», все мировые религии не просто равны, но и произросли из одного корня — нравственного чувства. Замечание это для оригинала принципиально, так как героями Виланда являются Frau von K\* (немка, лютеранка) и патер Кайетан (католик). В переводе, где имя героини лишено сколько-нибудь ясной национальной и, следо-

вательно, религиозной окрашенности, свою просветительскую остроту замечание утрачивает.

<sup>5</sup> ...*заклинаниям (...)* фея *Стригиллины*... — Фея Стригилина — действующее лицо «поэтического романа в 12 песнях» «Оливье» (1762) французского писателя Ж. Казотта (1719—1792), увлекавшегося мистикой и каббалой. Сюжет его романа «Оливье» взят из сборника восточных сказок «Тысяча и одна ночь».

<sup>6</sup> ...*слову Абракадабра*... — Абракадабра (позднелатинское *abracadabra*) — магическая формула, таинственное слово, которому приписывается чудодейственная сила.

<sup>7</sup> ...*выражение святого Августина*... — святой Августин — Август Аврелий (354—430 г.) святой (в католицизме) — один из наиболее видных отцов церкви. Был сначала язычником, изучал античную философию, воспринял элементы стоицизма и неоплатонизма. В 387 г. принял христианство, с 395 г. — епископ г. Гиппона (сев. Африка); родоначальник христианской философии истории, развил учение о благодати и предопределении. Глубоким психологическим анализом отличается его автобиографическая «Исповедь», изображающая становление личности.

<sup>8</sup> *Читая Тассов Иерусалим, я следую (...)* и в замок *Армиды*... — Имеется в виду «Освобожденный Иерусалим» (1580) — волшебнo-рыцарская поэма, созданная в период позднего Возрождения итальянским поэтом Торквато Тассо (1554—1595) и осужденная церковью, возмущенной показом победы языческой чувственности над христианским аскетизмом. *Армида* — одна из героинь поэмы, «последняя волшебница поэзии и самая интересная по ясности и правдивости своей женской судьбы» (Франческо Де Санктис. История итальянской литературы. Т. II. М., 1964. С. 223).

<sup>9</sup> должно <...> *занимать нас столь же мало, как и семейственные обстоятельства лунных жителей или обитателей Сириуса*. — Данный виллибальдовский пассаж принадлежит одновременно и Виланду, и его переводчику. У Виланда он выглядит так: «Weise ebensowenig kummernsollte, als wasder Mannim Mond (wenn einer ist und wenger was zu essen brauchet und hat) heutezu Mittag gegessen habe» <Мудрый менее всего должен заботиться о том, что житель луны (если таковой есть и имеет, что есть) ел сегодня за обедом>. Вероятно, что здесь виландовская ирония обращена на философско-утопический роман Сирано де Бержерака (1619—1655) «Иной свет, или Государства и империи Луны» (частично опубликован в 1757 г.), где не только осуждаются человеческие пороки и суеверия, но и отражены взгляды философа-материалиста, математика и астронома Пьера Гассенди (1592—1655) на устройство вселенной и понятия о душе. Столь же ироничное упоминание о Сириусе и его обитателях, добавленное при переводе Жуковским, судя по всему, восходит к произведению Ф.-М. Вольтера «Микромегас» (1752), в котором в свойственной автору сатирической манере показано, как «житель Сириуса» пытается сравнивать формы бытия и выяснять наличие души у обитателей Сириуса, Сатурна и земли.

<sup>10</sup> *Сократова тайна: воспоминание о жизни, добродетельно проведенной*... — Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — др. греческий философ, один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины путем наводящих вопросов. Цель философии — самопознание как путь к постижению истинного блага. Добродетель есть знание или мудрость. Был обвинен в «поклонении новым божествам», «развращении молодежи» и казнен (выпил яд цикуты). Воплощение идеала мудреца.

<sup>11</sup> ...*услаждать себя, вместе с Элизой Ров, прелестными призраками воображения*... — Рои (Рове) Елизавета (1674—1737) — английская поэтесса. Её книга в библиотеке

Жуковского не сохранилось. Известна публикация её произведения в «Иппокрене»: Единобеседование. Сочинение Елисаветы Рове // Иппокрена, или Утехи любословия. 1800. Ч. VII. С. 13—14.

<sup>12</sup> ...с задумчивым Юнгом внимать пророчествам ... — Юнг Эдуард (1683—1765), английский поэт. В библиотеке Жуковского сохранилось часть томов (3,4,5) из пяти-томного собрания его сочинений в немецком переводе и издание его биографии (Описание. № 2428 и 2798). Эпитет *задумчивый* в переводе принадлежит переводчику. В оригинале — *Eduard Young*.

Н. Реморова

### Ожесточенный

(«Статья человеческих заблуждений есть самая наставительная...»)  
(С. 137)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 6. Март. С. 119—138; № 7. Апрель. С. 173—192 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Ожесточенный» и указанием источника в конце: Шиллер.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 1 («Повести»). С. 247—294; Пвп 2. Ч. 1. С. 179—211.

Печатается по Пвп 2. Тексты ВЕ и Пвп 1, 2 идентичны, снята лишь подпись: Шиллер.

Датируется: начало 1808 г. (не позднее первой половины марта).

Источник перевода: *Schiller Fr. Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Eine wahre Geschichte* [Преступник из-за потерянной чести. Истинное происшествие] (1786).

Повесть Шиллера была написана в 1786 г. и в том же году опубликована в альманахе «Талия», с заглавием «Преступник из-за позора» (*Schiller F. Verbrecher aus Infamie // Thalia. Bd. 1. Heft. 1. Leipzig, 1786*); название «Преступник из-за потерянной чести. Истинное происшествие» повесть получила при ее второй прижизненной публикации (*Schiller Fr. Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Eine wahre Geschichte // Schiller Fr. Kleinere prosaische Schriften. Aus mehreren Zeitschriften vom Verfasser selbst gesammelt und verbessert. Leipzig, 1792. Th. 1. S. 291—345*).

В основу сюжета повести легли реальные происшествия: биография и казнь тридцатилетнего Иоганна Фридриха Шванна, в середине XVIII в. бывшего предводителем одной из разбойничьих шайк в герцогстве Вюртемберг и известного в уголовной хронике герцогства под кличкой «Хозяин “Солнца”» (по названию принадлежавшего ему трактира). В свое время Фридрих Шванн был одним из тех разбойников, которым в народных преданиях приписывалось возмущение против угнетения и бесправия простых людей и которых окружал романтический ореол мстителей за несчастья народа (ср. с героем драмы Шиллера Карлом Моором).

Историю жизни и казни Фридриха Шванна Шиллер мог узнать еще от своего школьного учителя Якоба Фридриха Абея, отец которого был судьей на процессе Шванна. Абею-младшему принадлежит биография Фридриха Шванна, вошедшая

в его трехтомную антологию «Собрание и объяснение замечательных явлений человеческой жизни» (1797), которая считается основным источником повести Шиллера, несмотря на то что вышла из печати годом позже «Преступника из-за потерянной чести».

Концептуальное переосмысление личности реального разбойника и его биографии, интерпретированной как следствие социального насилия над человеком, выразилось в том, что Шиллер переименовал своего героя, дав ему значащее имя *Христиан Вольф*, в котором соединяются идеи милосердия и доброты (Христиан) и зверской жестокости (Вольф — волк). Тем самым немецкий писатель обозначил амбивалентность человеческой природы и равенство возможностей ее развития в одном из двух противоположных направлений.

Впервые повесть Шиллера была переведена на русский язык под заглавием «Преступник от беславия. Истинное приключение», с примечанием: *Из Шиллеровой «Талии»*. Перевел Д. // Пиеррида. СПб., 1802. Кн. 2. С. 70—136.

Другой перевод под заглавием «Преступник от беславия. Истинное происшествие» опубликован: Цветник. 1809. Ч. 2. № 4. С. 84—114; № 5. С. 154—184. В библиографии Н. Н. Бахтина перевод атрибутирован А. П. Бенитцкому: *Ф. Шиллер*. Собр. соч. в переводе русских писателей / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 4. СПб., 1902. С. 542. Подробнее обо всех переводах шиллеровской повести см.: *Данилевский Р. Ю.* Шиллер и становление русского романтизма // Ранние романтические веяния: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1972. С. 83—85.

Несомненно, Жуковского в повести Шиллера привлекла не только эта в высшей степени гуманистическая идея, но и изощренность психологического анализа и полифонизм повествовательных форм: нравственно-философский абстрактно-понятийный дискурс вступительной части повести (которому по своей центральной идее «печальной истории» отечества, сопоставленной «плачевной судьбе» героини, очень близка интродукция повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза») в сюжетном зачине сменяется эмоционально-нейтральным авторским повествованием, которое в центральной композиционной части уступает место прямой речи героя — его исповеди и цитации его письма, и имплицитный драматизм форм повествования от первого лица героя приводят к экспликации драматико-диалогических форм в тексте финала.

Перевод Жуковского довольно свободен, хотя никаких значительных сюжетно-композиционных трансформаций в нем нет. Основные переводческие новации связаны с несколькими изменениями:

1) смена названия повести — «Ожесточенный» вместо «Преступник из-за потерянной чести», в результате заглавие теряет свою прямолинейную аксиологию;

2) перемена фамилии героя: сохранив оригинальное имя «Христиан», Жуковский заменил фамилию «Вольф» на «Блемер» (от нем. *blamieren* — позорить, срамить, компрометировать). Таким образом, персонаж Жуковского, будучи одновременно и опозоренным, и позором рода человеческого, сохраняет в своем антропониме амбивалентность шиллеровского образа, но с акцентом не на природную противоречивость человека, а на социальные условия его жизни;

3) замена названия трактира Христиана Вольфа: «Солнце» (природная реалья) на «Золотой венец» (социальный символ власти). Жуковский ни разу не воспроизводит в своем переводе перифрастическую номинацию героя по названию трактира (Хозяин «Солнца»): в тексте Шиллера Христиан Вольф утрачивает свое имя

и обретает кличку сразу же, как только становится изгоем; в переводе Жуковского герой до самого конца сохраняет свое имя.

Оригинальное имя первой неверной подружки Христиана Вольфа *Иоанна* Жуковский заменяет на *Жанетта*, вероятно, во избежание ассоциации с русской транслитерацией имени Жанны д'Арк, героини трагедии Шиллера «Орлеанская дева», а имя Марии, женщины легкого поведения, приглянувшейся Христиану Вольфу в шайке, предводителем которой он становится, русский поэт меняет на *Амалия*.

В плане усиления эффатики перевода в сравнении с суховато-сдержанной манерой повествования оригинала необходимо отметить два характерных приема Жуковского. Во-первых, в русском переводе значительно больше внезапных перемен видовременных форм глагола, при которых глаголы прошедшего времени совершенного вида уступают место глаголам настоящего времени несовершенного вида, что подчеркивает драматизм повествования, репрезентируя сюжет как сиюминутно происходящее действие. Во-вторых, в кульминационных моментах развития сюжета, обозначающих моменты борьбы чувств в душе героя и психологических переломов, Жуковский использует очень типичную для прозы Карамзина синтаксическую конструкцию: это цепочка коротких назывных, бессубъектных или двусоставных предложений, соединенных в одно длинное синтаксическое целое знаками тире, разделяющими-соединяющими эти фрагменты: своего рода графически-пунктуационная материализация метафоры «психологический пунктир». Подобная синтаксическая конструкция в оригинале Шиллера не встречается ни разу.

Наконец, в переводе Жуковского, при том, что в нем нет пропусков оригинального текста, встречаются распространения оригинального текста за счет введения безэквивалентных лексических мотивов или даже целых фраз. Как правило, этот прием имеет своей целью усиление эффатики перевода и акцентуацию кульминационных моментов повествования (ср. мотивы убийства собаки Христиана Блемера, простреленной головы егеря Роберта, знаков уважения и внимания, которые оказаны Христиану Блемеру разбойниками, отсутствующие в тексте Шиллера). Той же цели служат и вставки фраз итогового характера в текст подлинника: «Договор заключен, и я объявлен разбойничьим атаманом»; «Он кончил жизнь на эшафоте. Но, читатель, неужели этот несчастный никогда не мог возвратиться к добродетели?»

<sup>1</sup> *Линней* — Линней Карл (1707—1778)— знаменитый шведский натуралист и естествоиспытатель, которому принадлежит классификация растений и животных.

<sup>2</sup> *Борджиа* — Борджиа Чезаре (1476—1507) — сын папы Римского Александра VI, известный своей жестокостью и безнаказанностью совершенных им многочисленных преступлений; его имя стало нарицательным для обозначения злодейства.

<sup>3</sup> ...*лава Этны*... — В оригинале — Везувий. Этна — действующий вулкан на острове Сицилия, самый высокий и крупный действующий вулкан Европы.

<sup>4</sup> ...*семилетняя война* — Семилетняя война (1756—1763), война из-за обладания территориями Силезии, которую вели с одной стороны Пруссия и Англия, а с другой — Австрия, Саксония, Франция и Швеция. Россия приняла участие в этой войне на стороне Австрии.



<sup>5</sup> ... в службу прусского короля... — Имеется в виду Фридрих II Прусский (Фридрих Великий, 1712—1786, король Прусский с 1740 г.), один из самых выдающихся исторических деятелей XVIII в.

О. Лебедева

**Норд-Кап, или Северный мыс**  
(Отрывок из Путешествия Ачерби в Швецию,  
Финляндию и Лапландию)

(«Наконец мы отвалили от берега...»)

(С. 153)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 6. Март. С. 138—144 — в рубрике «Литература и смесь», подписано: С франц. N.N.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 12 марта 1808 г.

Источник перевода: *Acerbi G. Voyage au Cap-Nord par la Suède, la Finlande et la Laponie. Traductions d'après l'original anglais, revue sous les yeux de l'auteur, par Joseph Lavallée [Путешествие на Норд-Кап через Швецию, Финляндию и Лапландию] / Paris, 1804. V. 1—4. V. 2 (Voyage an Lapinie). Ch. XL—XLI. P. 386—395.*

Джузеппе Ачерби (1773—1846) — итальянский естествоиспытатель. Он совершил в 1799 г. со шведским полковником Скиольдебрандом путешествие к Нордкапу и описание его напечатал на английском (Лондон, 1802 г.) и французском языках (Париж, 1804). Данный текст органично вписывается в русло интереса Жуковского к жанру путешествия. Перевод из Ачерби обращает русского читателя к не менее экзотичному, чем Восток, материалу — скандинавскому, которым Жуковский был увлечен с самого начала творчества (см. его ранние переводы «Королева Ильдегерда», «Вильгельм Телль»). Переводы «северных» травелогов дополняют парадигму переводов из «восточных» путешествий, выстраивая таким образом на страницах ВЕ целостный «трэвел»-текст о мире.

<sup>1</sup> Лапландия — (саамский *Sápmi*, *Sámeednat*, фин. *Lappi*, швед. *Lappland* и норв. *Lappland*) — название культурного региона, который традиционно населяют саамы (лопари, лапландцы). Расположена в Северной Европе (север Фенноскандии). Лапландия никогда не являлась одним государством; в настоящее время она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров).

<sup>2</sup> Магерон — Т. е. остров Магерё.

<sup>3</sup> ... под именем Норд-Кап, или Северного мыса. — Нордкап (Nordkapp), мыс на о. Магерё, в Норвегии. Скалистые берега высотой свыше 300 м. Наиболее известный из крайних северных мысов Европы.

<sup>4</sup> В конце номера размещен ночной лунный пейзаж, изображающий мыс Норд-Кап и приближающуюся к нему шлюпку. Подписан: Норд-Кап, или Северный мыс, авторство пейзажа не указано.

<sup>5</sup> ...растение, называемое ангелика... — Дудник, или ангелика (лат. *Angélica*) — род травянистых растений из семейства зонтичные. Родиной растения считают север Евразии. Растения предпочитают луга, редколесья, поляны, опушки лесов.

*И. Айзикова*

### **О выгодах славы**

(«Друзья мои, не правда ли, что слава дело золотое?..»)

(С. 156)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 7. Апрель. С. 192—196 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «О выгодах славы», с пометой в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 4 (в разделе «Смесь»). С. 248—253; Пвп 2. Ч. 3. С. 15—18 — с тем же заглавием и без помет. Текст идентичен первой публикации.

Печатается по тексту Пвп 2.

Датируется: не позднее второй декады марта 1808 г.

Источник перевода: *Suard J. B. A. De la Commodity de la Gloire* [Об удобстве славы] // *Mélanges de Litterature. Publiés par J. B. A. Suard*. Т. 2. Paris, 1804. P. 178—182. Атрибуция: Симанков. С. 107.

Тема страстей рано вошла в круг интересов Жуковского, она определила пафос ряда пансионских произведений — «Жизнь и источник», «Мир и война», «Истинный герой», ода «Мир». Под влиянием «Разговора о счастье» Н. М. Карамзина, «Опыта о человеке» А. Попа, мыслей Вольтера из его «Рассуждения о человеке» и Ж.-Ж. Руссо из четвертой книги «Эмиля» (см.: Резанов. Вып. 2. С. 180—183) Жуковский развивал сенсуалистский взгляд на природу человека, естественное свойство которого — стремиться к удовольствиям и избегать страданий. В речи «О страстях» (1801), прочитанной в Дружеском литературном обществе, он, придерживаясь в целом теории «разумного эгоизма», обратил внимание на морально-психологические парадоксы, порожденные ею: «Никогда бы не обвиняли мы страстей в своих бедствиях, когда бы умели управлять ими» (ПССиП. Т. VIII. С. 216). В дальнейшем противоречивые сочетания идеи и чувства, страсти и ее цели, сложности нравственного выбора станут постоянным предметом размышлений писателя. В период белевского уединения (1803—1806) на формирование его концепции повлияло чтение французских моралистов — «Характеров» Лабрюйера и Вовенарга, «Рассуждения о нравах сего века» Ш. Дюкло, «Основания философии, политики и морали» Ф. Вейсса, сочинений Ж.-Ж. Руссо и др. (см.: БЖ. Ч. I—III).

Перевод рассказа «О выгодах славы», как и другие переводы из Сюара, был частью принципиальной для ВЕ программы «светского» нравственного воспитания (см. комментарий к рассказу «О дружбе»). Он соотносился с ранними размышлениями Жуковского об успехе в обществе, в которых славе «героя», «триумфатора»

противопоставлена слава «друга человечества», «слава — в вечности», а страсти рассматриваются как опасный дар природы, требующий внутреннего контроля, самоограничения. В рассказе «О выгодах славы» она раскрывается через сопоставление внешней репутации человека и его интимной, «домашней» сущности, проявляясь в повседневной светской обстановке. В ВЕ это противоречие публичного и интимного, в том числе в проекции на творческую личность (статьи «Письмо из уезда к издателю», «Писатель в обществе»), раскрывалось в обширном ряде произведений («Истинное происшествие», «Несколько мыслей о любви к уединению, о достоинстве и характере» и др.).

<sup>1</sup> Гельвеций, помнится, написал, что люди ищут славы так же, как и фортуны, и почестей, для одних существенных, твердых, материальных ее преимуществ. — Речь идет об этике «разумного эгоизма», концепцию которой создал К. А. Гельвеций (1715—1771) в своем известном трактате «Об уме» (1758). В основе ее лежит постулат о стремлении к выгоде или удовольствию как основному мотиву человеческой деятельности.

<sup>2</sup> Одна умная женщина говорила: напишете прекрасную книгу, и можете остаться глупцом на целую жизнь. — Источник цитаты установить не удалось.

В. Киселев

### **Письмо о Копенгагене, писанное в июле, 1807**

(«Копенгаген представляет величественное, несравненное зрелище...»)

(С. 158)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 7. Апрель. С. 230—247 — в рубрике «Политика», с подписью: С немецкого\*\*.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее середины марта 1808 г.

Источник перевода неизвестен.

«Письмо о Копенгагене» можно рассматривать в жанровом контексте европейских и русских травелогов, писем русских путешественников, как фрагмент европейского, скандинавского, датского локальных текстов. Этот текст содержит комплексный культурно-исторический смысл, в нем прослеживается история датских королевских династий, воплощенная в архитектурных формах дворцов и резиденций, дается очерк форм правления, жизненного уклада. В очерке обрисованы известные персоналии, важнейшие институты национальной культуры — музеи, библиотеки, почта и др. Основу повествования составляет описательность, цель его — знакомство с положительным европейским цивилизационным образцом. Подзаголовок «С немецкого\*\*» не лишает русского читателя возможности сравнить датский образ жизни и правления с русским. В раннем и зрелом творчестве Жуковского очерки, письма, отрывки путешествий (Швейцария, Германия, Англия, Швеция, Греция, Палестина), переводные и оригинальные, составляют отдельный

текст-травелог и являются школой-посредником между очерково-документальным и художественным повествованием.

Одной из важных тем является взаимосвязь формы правления и положения народа, эта модель описывается и оценивается как максимально гармоничная. Жуковского-переводчика могло заинтересовать подобное положение вещей, а в перспективе его жизни и творчества это свидетельствует о постоянстве его нравственно-политической позиции, что скажется в его педагогической деятельности по воспитанию царственных особ. В очерке государь предстает как моральный образец, дан портрет просвещенного монарха, цель которого — благоденствие отечества и народа. Особенно подчеркивается проводимая во внешней политике позиция нейтралитета в ситуации наполеоновских войн и антинаполеоновских коалиций.

Очерк представляет собой «культурную физиогномику» датского образа мира, в которой выделяются характерные черты национальной ментальности — «общезителность» (открытость, доброжелательность) датчан. Особое значение имеет отношение к женщинам и положение женщины в датском мире, оно воспринимается как признак цивилизованности. Датские праздники подаются как воплощение ментальной общности и такого важного качества, как нераздельность и неслиянность, пребывание в собственной индивидуальности и частью национального сообщества. Большое внимание автор очерка уделяет финансово-кредитной системе, соотношению производства и сельского хозяйства как основе общего благоденствия и духа «общезителности» и процветания Дании.

Автор и переводчик в жанре путеводителя обращаются к очерку духовных вершин Дании — Королевской библиотеке с перечнем ее раритетов, особенностью обслуживания читателей и системой финансирования; Королевскому минеральному кабинету; перспективе учреждения Национального музея. В конце очерка обсуждается совершенный порядок датской почтовой службы и новейшее средство сообщения — телеграф.

<sup>1</sup> *Остров Амак* — остров Амагер, нем. Амак, маленький датский островок на Зунде, отделенный узким фарватером Каллебодштранда от Зеландии, имеет 15 км в длину и 8 км наибольшей ширины, площадь 75 кв. км, имеет низменную поверхность, но плодородную почву, хорошо обработан и считается «огородом» Копенгагена.

<sup>2</sup> В XVIII в. Копенгаген пережил несколько разрушительных пожаров. Во время пожара 1728 г., из-за возгорания свечной мастерской было уничтожено 1700 зданий, в том числе Ратуша и Университет. 6 июня 1795 г. пожаром было уничтожено треть городских зданий, пострадало 18 тыс. человек. После этого дома в Копенгагене стали строить из камня.

<sup>3</sup> *Площадь, среди которой стоит изваяние Фридерика V* — дворец Амалиенберг, резиденция королевской семьи с 1794 г., состоит из четырех идентичных построек в стиле рококо, расположенных вокруг центральной мощеной булыжником площади с огромной статуей короля Фредерика V верхом на коне.

<sup>4</sup> *...новым Королевским рынком и где стоит изображение Христиана V* — Самая большая городская площадь Копенгагена Конгенс Ньиторв. Здесь расположены конная статуя Христиана V (1688), Королевская академия изящных искусств (1754) с выставочными залами в помещениях бывшей королевской резиденции Шарлоттенборг (1683) и Королевский театр (1722), поблизости Национальная библиотека и королевский музей Арсенал с коллекциями.

<sup>5</sup> *Христианбург* — Кристиансборг, расположен на острове Слотсхольм (дворцовый остров) разрушен пожарами 1794—1884 гг., сохранилась дворцовая церковь и спасенная картинная галерея. Олицетворяет единение трех высших властей — королевской, законодательной и судебной. В нем находятся королевские апартаменты, большую часть занимает парламент, и есть место для Верховного суда. Из-за пожаров и перестройки — смешение стилей.

<sup>6</sup> *...старинный готический замок Розенбург* — замок Росенборг, построенный в начале XVII в. в стиле нидерландского Ренессанса как летняя резиденция короля Кристиана IV, с Королевским парком.

<sup>7</sup> *Копенгаген* — в пер. *København* — гавань купцов.

<sup>8</sup> *Гельсингер* — Хельсингер (Эльсинор), первое укрепление возведено в XV в. Эриком Померанским. В 1585 г. замок перестроен Фредериком II в стиле голландского Возрождения. Место действия трагедии Шекспира «Гамлет».

<sup>9</sup> *Ландскрона* — шведский город, в 1535 г. город поддержал Кристиана II, противника датской реформации, свергнутого с трона.

<sup>10</sup> *Остров Гвеен* — старинное поместье Тихобрага, на котором и теперь находятся остатки Ураниенбурга — Тихо Браге (1546—1601) — знаменитый датский астроном, астролог, алхимик. 23 мая 1576 г. Указом датского и норвежского короля Фредерика II Браге был пожалован в пожизненное пользование остров Вен (Hven), расположенный в проливе Эресунн в 20 км от Копенгагена, а также выделены большие денежные суммы на специальное здание под обсерваторию, которую астроном назвал «Ураниборг» (замок в честь музы-покровительницы астрономии). Браге покинул Данию после смерти своего покровителя и отказа нового короля от финансовой помощи. См.: *Хейлброн Джон Л.* Остров Тихо Браге. [пер. Г. Маркова]. London. Review of Books. 2 ноября 2000.

<sup>11</sup> *Крепость Кронбург* — Эльсинор, место действия «Гамлета» Шекспира. См. примеч. 8.

<sup>12</sup> *Зундский пролив* — Эресунн, пролив, отделяющий Данию от Швеции.

<sup>13</sup> *Восточное море* — Балтийское море.

<sup>14</sup> (\*) *Один из первых скульпторов нашего времени* — Имеется в виду Канова, Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор.

<sup>15</sup> *Граф Шиммельман* — Шиммельман, Эрнст Генрих, фон (1747—1831) — датский политический деятель. Покровительствовал литературе и искусству.

<sup>16</sup> *Королевский зверинец* — нынче парк Бакен.

<sup>17</sup> *Фридрихсберг* — летняя резиденция датского двора, находится в черте города, от которого отделен парком. Назван в честь Фредерика IV, завершён в 1699 г. уже при Фредерике VI. Парк сначала был разбит в стиле барокко, затем перепланирован дворцовым садовником Питером Петерсеном в английский пейзажный парк.

<sup>18</sup> *Наследный принц* — Фредерик VI Ольденбург (1768—1839). Сын короля Дании и Норвегии Кристиана VII (1749—1808). После конфирмации в 1784 г. предложил отцу распустить старый кабинет и создать новый — в составе графа А. фон Бернсдорфа, Гута и Стампе. В качестве кронпринца-регента встал во главе правления с 1784 по 1808 г. Его реформы создали благоприятный экономический климат в Дании. Было отменено рабовладение в вест-индских колониях, ограничены государственные монополии. Отменена в 1800 г. крепостная зависимость крестьян, снижены пошлины, либерализована экономика.

<sup>19</sup> *Имя покойного Бернсдорфа...* — Имеется в виду Андреас Петер фон Бернсторф (1735—1797) — датский государственный и политический деятель, министр иностранных дел Дании в 1773—1780 и 1784—1797 гг., граф (возобновил дружественный договор между Данией и Англией и заключил (1780) союз между Данией, Россией и Швецией для установления вооруженного нейтралитета). В 1784 г. завершил дело освобождения от крепостной зависимости датских крестьян (законом 1788 г.), начатое его дядей и лучшими людьми его времени; ввел значительные реформы в финансовом управлении страны; подготовил освобождение крепостных в Шлезвиге и Голштинии, состоявшееся 19 дек. 1804 г. уже после его смерти. Был кроме того ревностным поборником свободы печати и по примеру своего дяди много трудился над развитием торговли и промышленности страны и поднятием благосостояния народа.

<sup>20</sup> *Министры Шиммельман, Ревентлов ... оправдывают доверенность народную.* — В 1784 г. вся полнота власти перешла в руки регента, принца Фредерика (в 1808—1839 гг. король Фредерик VI) и его министров (среди них — К. Ревентлов, Э. Г. фон Шиммельман), возобновивших политику реформ в духе просвещённого абсолютизма. Крестьянские выступления, усилившиеся в конце 1780-х гг., способствовали в 1788 г. частичной, а в 1800 г. полной отмене крепостной зависимости.

<sup>21</sup> *Ост-Индская и Вест-Индская компании* — Имеются в виду европейские монопольные торговые компании, существовавшие с начала XVII в., имевшие право беспощадной торговли и мореплавания. Основная деятельность распространялась на Индию, Юго-восточную Азию, Америку и Западную Африку.

<sup>22</sup> *Волтижеры* — вольтижёры, наездники; воздушные гимнасты.

<sup>23</sup> *Оперные фурии* — имеются в виду не столько фурии из оперы Глюка «Орфей и Эвридика», сколько сценический штамп (развевающиеся волосы-змеи и проч.).

<sup>24</sup> *Фридрих III* — (1609—1670) — в результате государственного переворота 1660 г. присвоил себе абсолютную власть, в результате чего сословная выборная монархия была заменена на наследственную.

<sup>25</sup> *Зеланд* (Зеландия) — остров, на котором находится Копенгаген.

<sup>26</sup> *Фюния* — остров Фюнен, знаменитый благоприятным климатом, «сад Дании»

<sup>27</sup> *Эдда* — скандинавский эпос Старшая и Младшая Эдда хранились в Королевской библиотеке Копенгагена, затем в 1971 и 1985 г. соответственно были переданы на хранение в Рейкьявик на историческую родину.

<sup>28</sup> *Пиранезий* (Пиранези) — Пиранези, Джованни Батиста (1720—1778) — итальянский археолог, архитектор, Художник-график, его коллекция гравюр хранится в Королевской библиотеке в Копенгагене.

<sup>29</sup> *Флорентийский музей* — галерея Уфици и дворец Питти.

<sup>30</sup> *Рафаэлевы лоджи* — лоджии Рафаэля в Ватикане.

<sup>31</sup> *Шекспира in folio* — Первое фолио — термин, употребляемый для обозначения первого собрания пьес Шекспира, изданного Джоном Хемингом и Генри Конделом (работавшими в шекспировской труппе) в 1623 г. под заглавием: «Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии. Напечатано с точных и подлинных текстов» («Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies»). В эту книгу вошли тридцать шесть пьес.

<sup>32</sup> *Издание Грамоновых записок in quarto* — Известны 1) «Mémoires du maréchal de Gramont» (1716) французского полководца Антуана III, герцога Грамона (1604—1678), изданные его сыном; интересны как в военном, так и в дипломатическом

отношении; и 2) «Mémoires du chevalier de Gramont» брата Антуана III — Филиберта, графа Грамона (1621—1707), который сражался под начальством Конде и Тюрення, за любовные похождения был выслан Людовиком XIV из Франции, удалился в Англию, где женился на леди Гамильтон, фрейлине королевы. Записки о жизни Ф. Грамона, изданные его шурином, Антуаном Гамильтоном, в 1713 г., много раз переиздавались, были хорошо известны в России, в частности, А. С. Пушкину.

<sup>33</sup> *Корсёр* — город в Дании.

<sup>34</sup> *Большой Бельт* — пролив.

<sup>35</sup> *Роскильд* — Роскилле — древняя столица Дании, здесь жили датские короли с 1020 по 1416 г. В Кафедральном соборе (начало строительства — XII век) пять веков находилась усыпальница датских королей.

<sup>36</sup> *Нибург, что в Фионии...* — Один из главных форпостов шведов на острове Фюнен, крепость и город.

*Н. Ветшева*

### О скупости

(«Милорд Вортлей Монтегю, бывший посланником в Константинополе...»)

(С. 165)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 8. Апрель. С. 261—271 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Сюар.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады апреля 1808 г.

Источник перевода: *Suard J. B. A. De l'avarice* [О скупости] // *Mélanges de Litterature. Publiés par J. B. A. Suard*. Т. 3. Paris, 1805. P. 316—328.

Еще один перевод из сборника «Литературная смесь» Ж. Б. А. Сюара, из которого Жуковский перевел для ВЕ ряд произведений (см. комментарий к рассказам «О дружбе», «О выгодах славы» в настоящем томе). Рассказ «О скупости» является развитием мыслей Жуковского о «светском» нравственном воспитании, программных для журнала. Как и другие рассказы Сюара, он органично соединяет занимательность повествования, идеи моральной практической философии и зарисовки нравов.

Перевод «О скупости» Жуковский насытил морально-психологическими афоризмами и максимами из авторов, входивших в круг его чтения, стремясь придать анекдотической основе более обобщенный смысл. Нравственный вывод исследования скупости как страсти, уничтожающей самые важные, по мнению писателя, добродетели («Она единственный порок, несовместимый с великостью, благотворительностью, великодушием, человеколюбием, доверенностью и откровенностью, с прямою любовью и прямою дружбою, с нежностью родительскою и привязанностью сыновнею»), не заслоняет, однако, разностороннего видения человеческой личности, раскрывающегося в целой галерее колоритных психологических портретов знаменитых людей. В контексте журнала она дополнится образами

других эксцентриков из рассказов «Бомарше в Испании» (1808. № 3), «Анекдоты из жизни Иосифа Гайдена» (1810. № 11), «Чудаки» (1810. № 13—14) и др.

<sup>1</sup> *Сын его, великий чудак...* — Эдвард Вортлей Монтегю (1713—1776), английский писатель, долго жил в Португалии, потом в английских колониях; служил наездником в цирке, был землепашцем и почтальоном; в Париже попал в руки проходивцев и был заключен в тюрьму, вернувшись в Англию, был выбран в палату общин, но вскоре уехал на Восток и, поселившись в Константинополе, принял ислам.

<sup>2</sup> *...милорд Бют...* — Джон Стюарт Бют (1713—1792), английский общественный деятель, граф, воспитатель принца Георга, царствовавшего впоследствии под именем Георга III. При нем занимал сначала пост статс-секретаря, а после падения герцога Ньюкастльского стал первым министром. Заключение мира с Францией в 1762 г., введение новых налогов, постоянная поддержка одних лишь тори — все это сделало его настолько непопулярным, что в 1763 г. он вынужден был подать в отставку.

<sup>3</sup> *...Дюкло...* — Шарль Пино Дюкло (1704—1772), французский историк, королевский историограф, автор моралистических произведений. Изречение взято из его «Рассуждения о нравах сего века» (1749).

<sup>4</sup> *...Сенека...* — Луций Анней Сенека (4 до н. э. — 65 н. э.), известный римский философ, моралист, оратор и драматург. Афоризм, о котором идет речь, принадлежит Публию Сиру (I в. до н. э.), римскому драматургу и актеру родом из Сирии. Под его именем дошел сборник моральных сентенций, составленных в I в. н. э.

<sup>5</sup> *...Шарон...* — Арман Жозеф де Бетюн дюк де Шаро (1738—1800), известный французский филантроп и писатель.

<sup>6</sup> *...Квеведо...* — Франсиско Кеведо-и-Вильегас (1580—1645), знаменитый испанский писатель-сатирик.

<sup>7</sup> *...госпожи Ламбер...* — Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, в браке мадам де Ламбер, маркиза де Сен-Брис, известна как маркиза де Ламбер (1647—1733), французская писательница, хозяйка знаменитого салона, прославившегося как храм приличия и хорошего вкуса.

<sup>8</sup> *...Мальборуга...* — Джон Черчилль Мальборо (1650—1722), позже граф и герцог Мальборо, знаменитый английский полководец и государственный деятель.

<sup>9</sup> *Накануне Гохштетской победы, принц Евгений...* — В ходе войны за испанское наследство возведенный в сан герцога Мальборо вместе с принцем Евгением Савойским разбил французов и баварцев при Бленгейме (Гохштедте) 13 августа 1704 года. Евгений Савойский (1663—1736), принц кариньянский, маркграф Салуццо, австрийский генералиссимус, прославился победами над Османской империей и удачами в войнах за испанское и польское наследство.

<sup>10</sup> *Лорд Петерборуг...* — Карл Мордаунт Петерборо (1658—1755), английский полководец, участвовал в войне за испанское наследство, состоял посланником при венском и разных итальянских дворах.

<sup>11</sup> *Граф Плело...* — Луи-Роберт-Ипполит де Бреган Плело (1699—1734), французский дипломат и писатель, в молодости служил в армии.

В. Киселев



## Пальмер

(«Пальмер, один из славных английских актеров...»)  
(С. 170)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 8. Апрель. С. 295—297 — в рубрике «Литература и смесь», с пометой в конце: С немецкого.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады апреля 1808 г.

Источник перевода неизвестен.

Статья представляет собой изложение реальных фактов из биографии известного английского актера XVIII в. Джона Палмера (1742—1798), одного из основных исполнителей комедийного репертуара Друри-лейнского театра, играл и на других сценах. Умер во время спектакля, находясь на гастролях в Ливерпуле (см. статью «Palmer, John (1742?—1798)» // Dictionary of National Biography. London, 1885—1900). Немецкий перевод-посредник, послуживший источником для заметки, не установлен.

<sup>1</sup> Данная дата является неточной. Палмер скончался 2 августа 1798 г.

<sup>2</sup> Имеется в виду комедия Августа фон Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» («Menschenhass und Reue», 1789—1790), известная в Англии в сделанном специально для Друри-Лейн переводе Бенджамина Томпсона под названием «Stranger» («Незнакомец»). В России в переводе А. Ф. Малиновского пьеса была поставлена впервые в Московском Публичном театре 25 апреля 1791 г., пользовалась большим успехом и неоднократно шла на московской и петербургской сценах. См.: История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977. Т. 1—2. Указ. заглавий.

<sup>3</sup> Перевод: «Есть иной, есть лучший мир!» (англ.). В оригинале эти строки звучали следующим образом: «Es gibt noch ein anderes, besseres Leben!». В русском варианте пьесы им соответствовали слова: «Есть еще другая жизнь лучше этой».

<sup>4</sup> Братья Палмера — Роберт и Уильям — также были актерами. В данном случае имеется в виду Роберт Палмер (1757—1805; Уильям умер в 1797 г.), также игравший в Королевском театре.

*Н. Никонова*

## Фридрих Великий в Стразбурге

(«Фридрих, вступив на престол...»)  
(С. 171)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 8. Апрель. С. 306—311 — в рубрике «Литература и смесь», с пометой в конце: С немецкого.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады апреля 1808 г.

Источник перевода: *Thiébault D. Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin: ou Frédéric le Grand* [Мои воспоминания о двадцатилетнем пребывании в Берлине: или Фредерик Великий]. Т. 1. Paris, 1805. P. 256—265. Атрибуция: Симанков. С. 107.

История о Фридрихе Великом взята из книги мемуаров члена берлинской Академии Наук, французского литератора и поэта, воспитателя молодого князя А.-М. Белосельского-Белозерского (1752—1809), профессора Дьедоне Тьебо (1733—1807) «Воспоминания о двадцатилетнем пребывании в Берлине, или Фридрих Великий». Немецкий перевод, на который указывает примечание «С немецкого», очевидно, являлся посредником.

С сочинениями Тьебо Жуковский непосредственно познакомится позже, заинтересовавшись ими в ряду других французских мемуаров в 1828 г. 4 июня 1828 г. он закажет у библиотекаря наследника Александра Николаевича пять томов воспоминаний Тьебо о прусском дворе Фридриха Великого (подробнее об этом см. Ребеккини Д. В. А. Жуковский и французские мемуары при дворе Николая I (1828—1837). Контекст чтения и интерпретация // Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. С. 229—253).

*Н. Никонова*

### **Отрывок надгробной речи**

(«Английский доктор Ровландгиль...»)

(С. 173)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 8. Апрель. С. 311—313 — в рубрике «Литература и смесь», с пометой в конце: С немецкого.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады апреля 1808 г.

Источник перевода неизвестен.

Выбор Жуковского-переводчика, очевидно, определила острота сюжета, яркая событийность, новеллистическая насыщенность истории, правдивость необычного происшествия из реальной жизни героев.

*Н. Никонова*

### **Штокгольм**

(«Мало городов в Европе, которых положение было бы так живописно...»)

(С. 174)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 8. Апрель. С. 314—316 — в рубрике: «Литература и смесь», с подписью в конце: Ачерби.

В прижизненных изданиях отсутствует.  
Печатается по тексту первой публикации.  
Датируется: не позднее первой декады апреля 1808 г.

Источник перевода: *Acerbi G. Voyage au cap Nord par la Suède, la Finlande et la Laponie. Traductions d'après l'original anglais, revue sous les yeux de l'auteur, par Joseph Lavallée* [Путешествие на Норд-Кап через Швецию, Финляндию, Лапландию] / Paris, 1804. V. 1—4. V. 1 (Voyage an Suède). Ch. III. P. 48, 52—55.

Перевод еще одного отрывка из «Путешествия на Норд-Кап через Швецию, Финляндию, Лапландию» Д. Ачерби (см. примеч. к статье «Норд-Кап, или Северный Мыс (Отрывок из путешествия Ачерби в Швецию, Финляндию и Лапландию)») и еще один образец травелога. В очерке описываются некоторые достопримечательности шведской столицы, соответственно, здесь находим характерный историко-культурологический повествовательный план, который позволяет вписать данный перевод в ряд таких, публиковавшихся в ВЕ, как «Взгляд на Бискайю, Астурию и Галицию» (1808, № 6), «Письмо о Копенгагене» (1808, № 7), «Известия о Голландии» (1809, № 15) и др. В конце восьмого номера журнала размещен пейзаж под названием «Штокгольм» (без указания авторства), изображающий вид города с моря.

<sup>1</sup> *Королевский Дворец* — Самый большой дворец в мире (608 комнат), все еще используется главой государства королем Карлом Густавом XVI.

<sup>2</sup> *Северный мост* — Арочный мост в неоклассическом стиле построен по проекту Эрика Пальмстедта вместо двух деревянных мостов. Северная часть моста с тремя арками закончена в 1797 г., а южная с одним пролетом в 1806 г. Мост оставался долгое время исключительным архитектурным сооружением в Стокгольме, как из-за своей ширины (19 м) и протяженности, так и из-за того, что он был первой улицей с мощеным покрытием и отдельными тротуарами.

<sup>3</sup> ...*Королевского замка в Копенгагене* — Вероятно, имеются в виду четыре особняка, построенные в XVIII веке и выполненные во французском стиле рококо, которые являлись резиденцией королевской датской семьи с 1794 года, когда дворец Христианборг подвергся пожару.

<sup>4</sup> ...*летним Дворцом* — Имеется в виду Дворец Дротнинггольм, бывшая летняя королевская резиденция, сегодня — дом королевской семьи.

<sup>5</sup> ...*замок графа да Брюжа, место Дворянского клуба, называемого здесь Благородным Собранием* — Дом Дворянства (Riddarhuset). В XVI в. городская знать решила построить в Стокгольме Благородное собрание. Был нанят архитектор Симон де Валле, который спроектировал ренессансный дворец во французском духе, увитый барельефами плодово-ягодного содержания, покрытый изящно надутой крышей. Риддархусет остается одной из наиболее изысканных архитектурных работ в Северной Европе. Стены его Зала заседаний украшены гербами шведской аристократии.

<sup>6</sup> *остров Блазий* — В подлиннике: l'île de Blasius.

<sup>7</sup> *Нордемелън, или Северная площадь, украшенная статуей Густава Адольфа* — Имеется в виду одна из трех составных частей Стокгольма — Северное предме-

стье (Нормальм), где находится площадь короля Густава Адольфа II (1594—1632) с памятником этому королю.

<sup>8</sup> *Дворец Королевской Принцессы* — В подлиннике: palais dela princesse royale.

<sup>9</sup> *Оперный дом* — Имеется в виду Королевский оперный театр, не уступающий по роскоши и богатству отделке дворцам шведских королей.

<sup>10</sup> *Королевские конюшни* — специальное помещение при Королевском дворце.

*И. Айзикова*

## О Риме и древнем Лациуме

(*Comagna di Roma*)

(«Все то, что в изданном недавно путешествии...»)

(С. 175)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 38. № 8. Апрель. С. 317—324 — в рубрике «Политика», с подписью: С немецкого\*\*; последнее примечание подписано: Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: середина 1808 г.

Источник перевода: Voyage dans le Latium par Charles de Bonstetten [Путешествие в Лациум Шарля Бонстеттена]. Geneve, 1805. Немецкий источник-посредник не обнаружен.

Путешествие Бонстеттена, изданное на французском языке, представляет собой книгу, содержанием которой является историко-литературный очерк Остии (Остия, ныне Древняя Остия — римский город в Лацио, в устье Тибра; главная гавань Древнего Рима, считавшаяся также его первой колонией. Прилегающий к археологическому заповеднику район современного Рима тоже называется Остией) времен Трои; Лациума в сопоставлении с «Энеидой» и современного Лациума (Рима). По структуре это — описание древнего величия на фоне политических трансформаций Италии и Рима после наполеоновских итальянских кампаний. В книге — 569 страниц и карты. Русский переводчик выбирает фрагмент, связанный с сопоставлением Рима современного и исторического, сопровождая перевод собственным комментарием и примечаниями.

Помещенный в ВЕ в 1808 г. текст требовал комментария, поскольку швейцарский автор издал свое «Путешествие» в 1805 г. и имел в виду события начала XIX в. Следует учитывать непростое геополитическое положение Италии и конкретно Рима в рамках Австрии, Священной Римской Империи, динамику переходов различных типов правления в зависимости от наполеоновских войн, побед и поражений Наполеона и союзников (Австрии, России, Англии). После термидора 1795 г. Бонапарт получает назначение командующим итальянской армией и во время итальянского похода 1796—1797 гг. одерживает ряд побед над австрийцами. Но уже в 1799 г. австро-русская армия под командованием Суворова нанесла поражение французам, и новые республики пали. В момент прихода Наполеона Бонапарта к власти (консул в 1799 г. и император с 1804 г.) Франция находилась в состоянии войны с Австрией

и Англией. Новый итальянский поход Бонапарта, как и первый, после битвы при Маренго (1801) увенчался успехом. В Италии была создана полиция и тайная служба, заключен конкордат с папой Римским (1801). После того, как Наполеон провозгласил себя императором Франции (1804) и одержал победы над австрийскими войсками, влияние Франции на Италию значительно усилилось. Наполеон был коронован в Милане короной короля Италии. В Итальянское Королевство вошло большинство земель северной Италии. В 1806 г. пала Священная Римская Империя, а ее император Франц II отрекся от престола. В 1806 г. под власть Наполеона попал Неаполь, а в 1809 г., после ссоры Наполеона с Папой Пием VII, Папская область во главе с Римом. При Наполеоне в Италии творился произвол и вымогательство, страна была разорена войнами. Вместе с тем были введены конституционные учреждения, реформированы уголовное и гражданское право, упрощено правосудие. В этот период возникла и развилась идея единства Италии.

Кризисное состояние Рима на фоне истории «вечного города» отражено в очерке по аналогии с варварскими нашествиями древности. Текст разбит на разделы, озаглавленные: Малолюдство. Землепашество. Дух народный. Римское правление. Владения Рима. Они затрагивают исторические и современные аспекты демографии, хозяйствования, образа правления, имперской политики и духовной культуры.

К мотивам духовной культуры относится вера в неизменность морального духа, вытекающая из просветительской убежденности в связи современности и истории «вечного города». Высокие образцы Энея, Сципиона и Плиния — римских культурных героев — основа просветительского оптимизма существования Рима и римского народа. Не случайны в очерке органическая метафора и апелляции к Натуре, аналогии природы и культуры. Показательны образы дерева и леса как метафоры культуры и народа.

Очерк свидетельствует об интересе Жуковского к динамике геополитических процессов, к судьбе европейской цивилизации.

В жанровом отношении этот текст входит в общий курс публицистических и документальных произведений, печатавшихся в ВЕ: писем, дневников, отрывков, путешествий, прогулок, и формирует многоаспектный критический (политический, исторический) взгляд на мир.

<sup>1</sup> *Comagna di Roma* — Римская Кампанья, область Италии, на берегу Тирренского моря. На севере ее находится Рим. Ср.: «Дорога идет через живописную, обработанную, но безлюдную *Comagna di Roma*» (отрывок из дневникового путешествия Жуковского по Италии в 1833 г.) // ПССиП. Т. 13. С. 376.

<sup>2</sup> *Бонстеттен* Шарль (Карл)-Виктор, барон де (1745—1832), швейцарский публицист, историк, педагог, философ, государственный деятель. Умеренный республиканец, он осудил террор Французской революции и руководствовался в политике патриотическими интересами. «Постоянное упоминание имени швейцарского историка и педагога Карла Виктора Бонстеттена — отражение давнего интереса Жуковского к его личности и творчеству. Еще в юные годы он увлекся им, переведя в 1810—1811 гг. его переписку с историком И. Миллером (ВЕ. 1810. № 16. С. 253—285; 1811. № 6. С. 83—100). Сами имена Миллера и Бонстеттена стали для него символом дружбы. Не случайно он называет в эти годы своего задушевного друга Александра Тургенева «любезный Миллер», а себя «Бонстеттен» (ПЖТ. С. 66—72). В 1820—1830-е гг. его прежде всего привлекают педагогические идеи Бонстеттена, в связи

с собственной деятельностью воспитателя великого князя Александра Николаевича. В библиотеке поэта имеется несколько произведений швейцарского педагога (Описание. № 705—708, 2587), в том числе «Régime extérieur et intérieur de l'homme. Genève, 1829» со следующей дарственной надписью автора: «Mr. de Bonstetten à son ami Joukoffsky. Genève, 8 Janvier 1830» (Описание. № 2587; см. также примеч. 159 в т. 13 наст. изд. С. 520). Перевод фрагмента из итальянского (римского) путешествия свидетельствует о раннем интересе Жуковского к Бонстеттену.

<sup>3</sup> *Ворота святого Павла* — Сан-Паоло (Porta San Paolo) — составная часть Аврелиановых стен, которыми император обнес город в III веке. Стена протяженностью 18 км окружала все 7 римских холмов, в ней было 18 ворот и 381 башня. Если верить легенде, ворота стоят на том самом месте, откуда повели на казнь апостола Павла. От них начиналась дорога на юг, ведущая в древний порт Остию (Via Ostia). Ныне это Via Ostiense, на другом конце которой стоит одна из 7 главных римских базилик — Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура (Chiesa di S. Paolo Fuori le Mura), построенная на месте захоронения св. Павла. Сейчас в башне стены расположен музей, посвященный Via Ostiense.

<sup>4</sup> *Князь Камилло Боргезе* (1775—1832) — потомок династии меценатов Боргезе. Был женат на сестре Наполеона Паолине. Галерея Боргезе (вилла Боргезе) — крупнейшее собрание произведений античного и ренессансного (Тициан, Корреджо, Рафаэль, Караваджо) искусства. Наполеон, формировавший имперский миф по античной модели, во время своих итальянских кампаний, купил у Боргезе 695 предметов его коллекции

<sup>5</sup> *Эней* — легендарный герой «Энеиды» Вергилия, спасший троянские святыни и поселившийся в Лациуме; его потомки основали Рим. *Сципион* — римский военачальник, победитель Ганнибала. В наполеоновскую эпоху имена Сципиона и Наполеона сближались по аналогии с их претензией на имперскую экспансию. *Плиний* — Плиний Старший — под этим именем известен Гай Плиний Секунд (лат. Gaius Plinius Secundus; 23—79) — римский писатель-эрудит, автор «Естественной истории». Старшим он называется в отличие от своего племянника, Плиния Младшего.

<sup>6</sup> ... в 1797 умертвили публично французского генерала Дюфота... — Дюфо Леонар (1770—1797) — генерал французской армии; в конце 1797 г. вошел в состав французской посольской миссии в Риме, возглавляемой Жозефом Бонапартом, случайно погиб 28 декабря 1797 г. во время столкновений римских республиканцев с папскими жандармами.

<sup>7</sup> *Se non fosse Spinelli!* — Если бы не Спинелли! (ит.)

Н. Ветшева

## Мария

(Отрывок из Артурова журнала)

(«Я праздновал свое рождение...»)

(С. 179)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 39. № 9. Май. С. 3—40. Ч. 39. № 10. Май. С. 107—160 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Мария (Отрывок из Артурова журнала)» и подписью в конце (в № 10): С французского.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 1 («Повести»). С. 1—114; Пвп 2. Ч. 1. С. 3—81 — без подписи. Тексты ВЕ, Пвп 1, 2 идентичны.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: вторая половина 1807 г. — апрель 1808 г.

Источник перевода: *Flahaut A. M. E. de. Charles et Marie. Par l'auteur d'Adele de Senange* [Шарль и Мари. Автора «Адель де Сенанж»]. Paris, 1802. Атрибуция: Eichstädt. S. 19.

Аделаида Мария Эмилия маркиза де Суза-Ботело, в первом браке графиня де Флао, урожденная Фийель (1761—1836) — французская писательница, автор известного романа «Адель де Сенанж» (1794). Творчество Сузы приходится на эпоху расцвета «женского» романа в западноевропейской литературе, представленного именами С. Ф. де Жанлис, Ж. де Сталь, И. А. Э. де Шаррьер, С. Коттен, В. Ю. Крюденер.

Повесть «Шарль и Мари», написанная в эмиграции, представляет собой образец психологической дневниковой прозы, в центре которой оказывается проблема «внутреннего человека», связанная с изображением и самоанализом эмоциональных состояний и любовного чувства героя. Ж. де Сталь относила произведения Флао к «новым французским романам», рисуя «нравы и характеры», которые «сообщают о сердце человеческом больше, чем сама история» (Жермена де Сталь. О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями. М., 1989. С. 320). О романах де Сузы см. также: *Simone Vincens. Vestiges du classicisme du temps de Chateaubriand: Madame de Sousa (1761—1836)*. Thèse de l'Université du Colorado, 1974.

Повесть «Мария», внесенная, под заглавием «Карл и Мария», в план «Переводов для Вестника», датированный 23 июля 1807 г. (РНБ. Оп. 1. № 21. Л. 12), и опубликованная в разделе «Литература и смесь», становится своеобразным структурно-семантическим центром № 9 и 10 ВЕ за 1808 г., в которых формируется характерный авторский сотериологический миф, связанный с искусительной и животворящей силой любви. В ней отношения Марии и Эдвина, а затем Марии и Артура представляют собой два варианта развития авторского мифа. В этой связи важно отметить, что встрече Артура с Марией предшествуют смерть матери героя и предчувствие любви как желаемого воскресения. Также этот миф рождается на пересечении литературного и биографического дискурсов, и не случайно само имя героини Мария, ставшее заглавием повести, прочитывается в контексте эстетики жизнестроительства русского поэта. Другие публикации в этих номерах журнала, в номинации которых используется имя собственное, — баллада «Людмила» (№ 9), романс «Мальвина» (№ 10) Жуковского, «Христианское увещание (на счет молодой девушки, которая называется Верою)» (№ 9), подписанное «С...нь», «К Элизе, (которая страдает продолжительною болезнию)» (№ 10) А. Ф. Мерзлякова — акцентируют философско-психологическую проблематику издания и раскрывают его мифопоэтические и жизнестроительные стратегии. Восприятие любви как искупительной и одновременно спасительной силы, преломляющейся через категорию судьбы, встречается неоднократно и в дневниковых записях Жуковского. Ср., например, повесть «Мария» и записи поэта в дневнике от 1 июля 1805 г., от 22 февраля 1813 г., от 22 апреля 1815 г. (ПССиП. М., 2004. Т. XIII. С. 14, 58, 114).

В оригинале повесть «Шарль и Мари» начинается с предисловия, в котором главный герой Шарль Ленокс обращается к своему другу. Первая дневниковая запись в подлиннике датирована 10 июня. В этот день герой отмечал в Оксфорде свое двадцатилетие, совпавшее со смертью его матери. В переводе Жуковского изменены некоторые имена. Так, Шарль назван Артуром, средняя дочь лорда Сеймура Евдоксия — Эльминой, сын соседей по имени Филипп — Эдвином. Перевод в целом соответствует оригиналу. Отдельные географические и этнографические реалии, топосы замка, парка, охоты позволяют отнести эту повесть к «английским» текстам Сузы. Включенные в повесть рассказы Эльмины, Марии, отца Артура усложняют ее сюжетную и нарративную структуру, акцентируют сближение-противопоставление точек зрения героев и его повествователя. Текст этой повести, опубликованный в ВЕ, практически не имеет разночтений с текстом Пвп 2.

В конце 1810-х гг. поэт вновь обращается к этому произведению. В дневнике от 14 сентября 1819 г. он записывает: «Вечер у великой княгини. Чтение “Charles et Marie”» (Жуковский. ПССиП. Т. XIII. С. 132). В библиотеке Жуковского сохранилось парижское издание сочинений писательницы 1840 г. (Описание. № 2152).

<sup>1</sup> *Бат* — главный город графства Сомерсет в Англии, расположен на реке Эйвон.

<sup>2</sup> *Гиней* — английская золотая монета, введенная в обращение в 1663 г. и равная 20 шиллингам (фунту стерлингов). В 1817 г. заменена золотым совереном.

*И. Поплавская*

**Давыд Юм при конце жизни**  
(*Письмо Адама Смита к Виллиаму Страхану*)  
(«С горестным удовольствием описываю...»)  
(С. 218)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 39. № 10. Май. С. 89—98 — в рубрике «Литература и смесь», с пометой в конце: (С английск.).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: начало 1808 г. (не позднее первой декады мая).

Источник перевода: Letter from Adam Smith, LL. D. to William Strahan, Esq. Kirkaldy, Fifeshire [Письмо Адама Смита к Виллиаму Страхану]. Nov. 9. 1776.

«Letter from Adam Smith, LL.D. to William Strahan, Esq.» (1776) было написано в качестве предисловия и опубликовано как приложение к посмертно вышедшей автобиографии Д. Юма «Моя жизнь» (The Life of David Hume, Esquire, Written by Himself. London, 1777). В Англии и Шотландии письмо вызвало огромную дискуссию, в которой, в частности, прозвучали резкие обвинения в адрес Д. Юма и А. Смита в атеизме. Адам Смит (1723—1790), выдающийся английский философ, моралист, основатель классической политической экономии, автор «Теории нравственных чувств» (1759) и «Богатства народов» (1776), друг Дэвида Юма (1711—1776), английского философа, историка, дипломата, моралиста. Труды Д. Юма,



А. Смита, а также А. Фергюсона, Д. Стюарта, Х. Блера и других деятелей науки и культуры, представлявших шотландскую ветвь английского Просвещения, широко представлены в библиотеке В. А. Жуковского (Описание, № 1357, 2117, 2658, 2136, 2770, 2771 и др.). Имя Д. Юма в программе ВЕ, составленной в 1807 г., стоит в числе первых авторов, отрывки из произведений которых планировалось перевести для ВЕ (РНБ. Оп. 1. № 79. Л. 6 об.). Многочисленные пометы Жуковского, сделанные в 1, 2 и 4-м томах сочинений Д. Юма при чтении в период 1807—1811 г. (об этом см.: *Канунова Ф. З.* Исследование «О человеческом познании» Д. Юма в восприятии Жуковского // БЖ. Ч. 2. С. 17—58), свидетельствуют о штудировании его произведений в период самообразования и эстетического самоопределения. Переводы эссе «О слоге простом и слоге украшенном» (ВЕ. 1811. № 8. С. 292—306), «О трагедии» (ВЕ. 1811. № 8. С. 284—290) и «О красноречии» (ВЕ. 1811. № 9. С. 14—18) — следующий этап освоения наследия английского философа. Имена Д. Юма и А. Смита неоднократно упоминаются в списках авторов, рекомендуемых для философского образования И. В. Киреевского: в письме к А. П. Елагиной в 1828 г. Жуковский советует «познакомиться с нравственными писателями и философами Англии», называя Д. Стюарта, А. Смита, Д. Юма и характеризуя их философию как «простую, мужественную, практическую, нравственную», «не сухую, материальную, а основанную на высоком», «ясную и удобную для применения в деятельной жизни» (Татевский сборник. СПб., 1899. С. 73).

Перевод письма Адама Смита — одно из ранних обращений Жуковского к шотландским моралистам, свидетельствующее о большом интересе к нравственно-философской концепции учения Смита о принципе симпатии, основанном на философии естественного права и равенства. «Letter from Adam Smith» носит программный характер: А. Смит в лице Д. Юма создает образ истинно добродетельного человека. В разделе «О характере человека и о том, как от него может зависеть счастье других людей» из книги «Теория нравственных чувств» А. Смит пишет: «Человек, который среди опасностей и мучений приближающейся смерти сохраняет невозмутимое спокойствие и не позволяет себе ни движения, ни слова, которое не вызвало бы сочувствия в беспристрастном постороннем наблюдателе, заслуживает самого высокого восхищения» (*Смит А.* Теория нравственных чувств. М., 1997. С. 234). В переводе, близком к оригиналу, Жуковский не меняет композиции (исключив лишь письмо доктора от 22 августа, в котором практически повторяется сообщение о состоянии болезни Юма), стремясь сохранить документальный характер и впечатление истинности пережитого и рассказанного. Вместе с тем Жуковский убирает все пробелы между абзацами (их 12), членящие письмо Смита, и тем самым komponует отдельные письма разных лиц в единый текст, повествующий о поведении Д. Юма перед лицом смерти. С перенесением акцента на личность и психологию Д. Юма связано устранение личных обращений в каждом письме («дорогой сэр», «мой дорогой друг»), отвлекающих внимание на участников переписки, а также перестановка номинаций в заглавии:

А. Смит

ВЕ

Letter from Adam Smith, LL.D. to William Strahan

Давыд Юм при конце жизни  
(Письмо Адама Смита к Виллиаму  
Страхану)

Изменения, вносимые в перевод, целенаправленно углубляют морально-этический пафос письма А. Смита, придавая ему сентиментально-чувствительную окраску как в переживаниях героя (Д. Юма), так и повествователя (А. Смита). Жуковский вносит выражения, отсутствующие в оригинале: «память навсегда останется для нас драгоценною», «друг чувствительный и нежный», «казалось, что он хотел посвятить дружбе угасающие свои чувства, пользовался ими, сколько мог». Медицински точное и скупое описание последних минут Д. Юма в изложении доктора («Я посчитал неподобающим написать вам, чтобы вы приехали, особенно после того, как я услышал как он надиктовывал письмо к вам, прося вас не приезжать. Когда он стал очень слаб, ему стоило труда говорить и он умер в таком спокойствии сознания, и ничто не смогло нарушить его») Жуковский развернул в картину сильных эмоций: «Скоро отнялся у него язык; он выражался взорами, исполненными любви и нежности; наконец он скончался; душа его до самой кончины сохраняла свою веселость; он помнил об вас, но запретил к вам писать, не желая, чтобы спокойствие последних минут его возмущаемо было печалью разлуки». Взамен аргументации, построенной на разумно-практической основе (например, «вы можете быть удовлетворены тем, что оставляете всех ваших друзей и особенно семью вашего брата в огромном достатке»), Жуковский вводит ценности духовно-эмоционального содержания: «вы имеете самое *сладкое утешение* в минуту смерти, вы видите и друзей, и семейство свое *совершенно счастливыми*».

При передаче воображаемого разговора Д. Юма с Хароном, ориентированного на Лукиана, Жуковский широко вводит в речь философа простонародно-разговорные выражения, дополнительные живописно-зримые детали, акцентируя присущий ему здоровый шотландский юмор и придавая фигуре Харона, которая по мощи сродни Юму, пластическую живость и наивно-грубоватую мудрость древнего грека:

А. Смит

(...) я мог бы сказать ему: «Добрый Харон, я исправлю свои работы для нового издания. Дай мне немного времени, чтобы я мог увидеть, как публика примет изменения». Но Харон ответил бы: «Когда ты увидишь их реакцию, ты примешься делать другие изменения, И твоим оправданиям не будет конца, поэтому, дорогой друг, пожалуй в лодку». — Но тогда я еще могу сказать: «Потерпи немного, добрый Харон, я попытаюсь открыть публике глаза. Если проживу на несколько лет дольше, я смогу получить удовлетворение, увидев крушение некоторых распространенных систем суеверия».

Жуковский

Например, я позволил бы себе сказать Харону: «Добрый старичок! Не будь поспешен; я поправляю свои сочинения для нового издания; осталось очень немного: нельзя ли подождать до тех пор, пока все будет кончено? Мне очень хотелось бы знать, как примет публика мою поправку!» «Пустое, — отвечал бы мне Харон, — таким изменениям не будет конца! Тебе вздумается опять что-нибудь поправить, а я скучай на берегу с пустою лодкою! Нет, господин рассказчик, садись и едем!»

(...) «Войдите в мое положение, господин Харон, и будьте снисходительны! — При этом слове мой Харон вышел бы из себя и топнул бы ногою».

А. Смит

Жуковский

Но Харон тогда потеряет терпение и хороший тон: «Ты медлительный негодяй, этого не произойдет за долгие столетия. Ты воображаешь, что я подарю тебе такой долгий срок? Быстро садись в лодку, ленивый и медлительный негодяй».

— «Старый враль! — воскликнул бы он, замахнувшись на меня веслом.— Долго ли тебе мне докучать своими бреднями? Смотри, пожалуй, какая выдумка! Надеяться дожить до тех пор, как люди делают умнее, не то же ли значит, что надеяться быть бессмертным? Полно рассуждать, ленивец, полезай в лодку, мне скучно!»

<sup>1</sup> *Письмо Адама Смита к Виллиаму Страхану...* — Страхан Уильям — известный шотландский книгоиздатель.

<sup>2</sup> *В Морпете встретился он с г. Гомом...* — Морпет — торговый город в Нортумберленде. *Г. Гом* — Хоум (Home, 1723—1808) Джон), известный шотландский поэт и драматург, автор ряда пьес, в числе которых трагедия «Дуглас» (1747), высоко оцененная Д. Юмом, другом Хоума.

<sup>3</sup> *Медики присоветовали ему ехать в Бат...* — Бат — известный английский курортный город, знаменитый своими источниками.

<sup>4</sup> *...он заключил прекрасными стихами аббата Шолье, который (...) сожалеет о необходимости покинуть лучшего своего друга Маркиза Лафара.* — Шолье Гильом Амфред (1639—1720) — французский поэт, аббат, автор «Ode sur la mort conformément aux principes du christianisme» (1695). Маркиз Лафар (1644—1712) — друг Шолье и издатель его трудов.

<sup>5</sup> *...читая вчера Луциановы разговоры мертвых...* — Лукиан из Самосаты (ок. 120 — после 180), древнегреческий писатель — сатирик и мыслитель поздней античности, автор «Разговоров в царстве мертвых».

<sup>6</sup> *...тени хотят избавиться себя от переезда через Стикс на лодке Харона...* — Стикс — в греческой мифологии одна из рек подземного царства, вода которой считалась ядовитой. Харон — в послегомеровских преданиях перевозчик, который на челноке переправляет через реки подземного царства, доставляемые туда Гермесом Психоппом души умерших. Рассказ Д. Юма отсылает к диалогу Лукиана «Харон, или наблюдатель», в котором Харон жалуется Гермесу об уловках людей: «(...) люди негодуют на увод (...) вон тот человек, хлопотливо отстраивающий свой дом и покупающий рабочих (...), другой радуется, что жена родила ему сына (...), а те, что спорят о межвых камнях (...)» (Лукиан. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1935. Т. 1. С. 576—577).

<sup>7</sup> *...возвратился к матушке в Киркальди.* — Киркальди — название города в Шотландии (недалеко от Эдинбурга), где родился и провел многие годы жизни А. Смит.

Э. Жилькова

**Бедная Нина**  
**(Истинный анекдот)**

(«Многие из путешественников...»)  
(С. 221)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 39. № 11. Июнь. С. 115—123 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Бедная Нина (Истинный анекдот)», с пометой в конце: (С немецкого).

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч.1 («Повести»). С. 174—184; Пвп 2. Ч. 1. С. 125—132 — с тем же заглавием, без подписи.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее конца мая 1808 г.

Источник перевода: *Contessa C. W. Manon* [Манон] // C. W. Contessa. Schriften. Bd. 2. Leipzig, 1826. S. 193—202. Атрибуция: Симанков. С. 107—108.

Вольный перевод произведения «Манон» немецкого новеллиста и драматурга Карла-Вильгельма Саличе-Контессы (1777—1825). «Бедная Нина», обозначенная при публикации в ВЕ как перевод «С немецкого», представляет собою рассказ о трагической истории бедных обитателей парижского предместья, случившейся в 1800 г. вследствие революционных потрясений во Франции. Жанровое определение «Истинный анекдот» обнаруживает эстетическую установку как автора, так и переводчика на фактически точное воссоздание событий истории (указано реальное время грозных событий — 1793 г. и место действия — Париж, Лувр, Сен-Жерменское предместье, тюрьма, аббатство). В редакции текста ВЕ и Пвп1 стиль рассказов потрясенной горем Нины, ее матери и безумных речей героя характеризуется сочувственно-внимательным изображением переживаний героев, повышенной эмфатикой, обилием восклицательных знаков и многоточий, частично устранившихся в Пвп 2. Само заглавие «Бедная Нина» и сентиментально-романтическая тональность повествования, обусловленная характером чувствительного рассказчика, в переводе ориентированы на традицию русской сентиментальной литературы, ярко проявившуюся в «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина и в содержании мифологической легенды «бедной Нины» (См.: *Пеньковский А. Б.* «Нина». Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 2003. С. 77—79).

В библиотеке Жуковского есть лейпцигское издание Собрания сочинений Контессы в 9 т., 1826 г. (Описание, № 842). Издание, по которому Жуковский выполнил перевод для ВЕ, не установлено.

<sup>1</sup>...это случилось в 1793 году... — 1793 г. ознаменован драматическими событиями во Франции, среди которых суд над Людовиком XVI в Конvente и казнь короля (21 января); санкционирование Конвентом конфискации имущества всех врагов революции и безвозмездной передачи «нуждающимся патриотам» (26 февраля — 3 марта); начало якобинской диктатуры (2 июля); убийство Марата Шарлоттой Корде (13 июля); крупные уличные выступления в Париже (4—5 сентября); предание суду и казнь французской королевы Марии-Антуанетты (16 октября).

Э. Жилькова

**Отрывки из дневных записок  
последнего польского короля, Станислава Августа Понятовского**  
*(писанных во время его пребывания в России,  
с 2 марта 1797 по 12 февраля 1798)*  
(«Примечание издателя, г-на Коцебу...»)  
(С. 225)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 39. № 11. Июнь. С. 129—159 — в рубрике «Литература и смесь», с пометой в конце: (С немецкого).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не ранее июня 1808 г.

Источник перевода (перевод-посредник): *Kotzebue A. Fragmente aus dem Tagebuch des letzten Koenigs von Polen, Stanislaus Augustus* [Фрагмент из дневника последнего из польских королей, Станислава Августа] // *Kotzebue A. Kleine Romane, Erzählungen, Anekdoten und Miscellen. Leipzig, 1805. Bd. 2. S. 246—293.*

Станислав II Август Понятовский (1732—1798) — граф, последний король Польши, великий князь литовский в 1764—1795 гг., один из фаворитов будущей императрицы Екатерины II. В 1757—1762 гг. жил в России, аккредитованный при дворе в качестве посла Саксонии (см.: [Понятовский С. А.] Из записок короля Станислава Августа Понятовского [Извлеч. и пересказ В. Т.] // *Русская старина*. 1915. Т. 164. № 12. С. 364—378; 1916. Т. 165. № 2. С. 271—285. Публ. не завершена.)

После смерти короля Августа III был выдвинут партией магнатов Чарторыйских кандидатом на трон Речи Посполитой и при поддержке Екатерины II и немногочисленном участии шляхты был избран королем. Понятовский придерживался пророссийской политики. Большую роль во время его правления играл русский посол в Варшаве князь Николай Васильевич Репнин, выступавший за уравнивание в правах православных и протестантских диссидентов с католиками. Понятовский пережил три раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. 1 раздел последовал в 1768 г. вследствие так называемого Репнинского сейма, что повлекло образование польской вооруженной оппозиции (Барской конфедерации) и гражданскую войну. 2 раздел произошел в 1793 г. как итог русско-польской войны. 3 раздел завершил освободительное движение и восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. В 1795 г. Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под конвоем 120 российских драгунов прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где подписал акт отречения от престола Речи Посполитой 25 ноября 1795 года, в день рождения Екатерины II. См.: *Журнал пребывания его величества короля польского Станислава-Августа в Гродне в 1794—1796 годов*. Извлеч. из архива Виленск. генерал-губернатора. М., 1870; Станислав Август Понятовский в Гродне и Литве в 1794—1797. 2-е изд. СПб., 1871. Подробнее о разделах Польши см.: *Конзеля Л., Цегельский Т.* Концерт трех черных орлов. Споры о разделах Польши // *Историки отвечают на вопросы*. М., 1990; *Соловьев С. М.* История падения Польши // *Соловьев С. М.* Сочинения. Т. 16. М., 1995. По приглашению Павла I Понятовский последние годы жил в Петербурге, куда

прибыл для участия в финансово-экономической комиссии по урегулированию долгов аннексированной Польше.

С. А. Понятовский вел дневники на протяжении всей жизни. Его воспоминания (дневники, записки) хранятся в разных архивах, опубликованы частично и охватывают основные этапы жизни и правления, завершаясь «дневными записками» последнего года пребывания в России. Описание рукописного наследия см.: *Понятовский С. А.* [Запись бесед с императором Павлом I.] Сообщ. С. Горяинов // РА. 1912. Кн. 1. Вып. 1. С. 21.

У Понятовского существовал целый штат секретарей, которым он диктовал, записи велись на французском языке.

Перевод Жуковского «дневных записок» сделан с текста-посредника А. фон Коцебу (1761—1819), автора и переводчика многочисленных драм, романов, повестей, исторических мемуаров. См. подробнее о биографии, творчестве и восприятии Коцебу в России примеч. к комедии «Ложный стыд» в т. VII и к переводам «Королева Ильдегерда» и «Мальчик у ручья» в т. VIII наст. изд.

<sup>1</sup> ...диктовал он секретарю своему... — Секретарь Понятовского, принятый на русскую службу в 1796 г. в чине коллежского советника, Христиан-Вильгельм Фризе писал текст под диктовку короля по-французски. Понятовский дополнял записки собственноручными свидетельствами и комментариями. После смерти короля Фризе передал 8 переплетенных тетрадей князю Н. В. Репнину, который по повелению Павла I препроводил их в Кабинет его величества; граф Сергей Румянцев передал 2 непереплетенные тетради в архив иностранных дел, оттуда — в московский главный архив министерства иностранных дел. См.: *Понятовский С. А.* [Запись бесед с императором Павлом I.] Сообщ. С. Горяинов // РА. 1912. Кн. 1. Вып. 1. С. 21.

<sup>2</sup> *Нарвский губернатор Тизенгаузен* — Известно, что 31 декабря 1796 г. (11 января 1797 г.) Нарвский, Ораниенбаумский и Рождественский уезды Санкт-Петербургской губернии были упразднены. Указом от 23 февраля (6 марта) 1797 г. император Павел I «повелеть соизволил городу Нарве остаться по-прежнему не в принадлежности ни к какой губернии». Нарва была включена в состав Санкт-Петербургской губернии как безуездный (заштатный) город Ямбургского уезда только указом императора Александра I от 1 (13) января 1802 г. В связи с этим можно предположить, что здесь имеется в виду барон Тизенгаузен Антон (Иоган) Иванович, шеф Нарвского гарнизонного полка (1797—1800).

<sup>3</sup> Штакельберг, Отто-Магнус (1736—1800) — граф, дипломат, русский посланник при испанском и польском дворах. В августе 1772 г. был назначен посланником в Варшаву.

<sup>4</sup> Робша (Ропша) — дворец и поместье между Стрельной и Петергофом (арх. В. Растрелли, А. Порта, Л. Руска), где в 1762 г. умер, предположительно был убит А. Г. Орловым и Ф. С. Барятинским, Петр III, в результате чего взошла на престол Екатерина II. См.: *Переворот 1762 года: Сочинения и переписка участников и современников* / Сост. Г. Балицкий. М., 1910; *Дворцовые перевороты в России: Сб. документов* / Сост. М. А. Бойцова. Ростов н/Д, 1998.

<sup>5</sup> *Велеурский* — имеется в виду Виельгорский Юрий Михайлович (1753—1807) — польский, затем российский государственный деятель, граф. Был противником Польской конституции 1791 г., участником оппозиции. В 1792 г. назначен конфеде-

рацией чрезвычайным и полномочным послом Польши в Санкт-Петербург. После третьего раздела Польши (1795 г.) перешел на русскую службу; камергер, сенатор.

<sup>6</sup>Траур по смерти Петра III и Екатерины II.

<sup>7</sup>Скавронская Екатерина Васильевна, (урожд. Энгельгардт, 1761—1829) — графиня, во втором браке графиня Литта, племянница Г. А. Потемкина.

<sup>8</sup>Куракин Александр Борисович (1752—1818) — князь, российский дипломат, вице-канцлер, президент Коллегии иностранных дел, член Государственного совета.

<sup>9</sup>Принц Станислав (1754—1833) — князь, племянник Станислава Августа Понятовского, воспитанный им. На сейме 1764 г. получил титул принца Речи Посполитой. Был направлен ко двору Екатерины II. После третьего раздела Польши (1795) вынужден был приехать в Россию, которой отошли его польские имения. Выехал из России в 1798 г. после смерти С. А. Понятовского. Павел I предложил ему должность приора Мальтийского ордена. О нем: *Брандыс М.* Племянник короля // Исторические повести. М., 1975.

<sup>10</sup>Голицын Алексей Андреевич (1767—1800) — князь, шталмейстер при дворе Павла I.

<sup>11</sup>Мраморный дворец (арх. А. Ринальди, 1768—1785), предназначенный Екатериной II в дар Г. Г. Орлову, построенный в стиле раннего классицизма, был резиденцией последнего польского короля во время его последнего пребывания в России (1797—1798). Понятовский в дневнике жаловался на тесноту и неудобство помещений для его свиты, пожелания по размещению принимал архитектор В. Бренна.

<sup>12</sup>Александр (1777—1825) — великий князь, будущий император Александр I.

<sup>13</sup>Константин (1779—1831) — великий князь, отрекшийся от престола в пользу Николая в 1825 г. в связи с морганатическим браком.

<sup>14</sup>Имеется в виду Мария Федоровна (1759—1828, урожд. принцесса София Доротея Августа Луиза Вюртембергская, дочь Фридриха II Евгения, герцога Вюртембергского), жена великого князя Павла Петровича с 1776 г., с 1796 г. российская императрица.

<sup>15</sup>*Великие княжны* — Александра Павловна (1783—1801, палатина венгерская), Елена Павловна (1784—1803, герцогиня Мекленбург-Шверинская) и Мария Павловна (1786—1859, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская).

<sup>16</sup>*Модель Фернейского замка* — в 1777 г. Вольтер прислал Екатерине II модель Фернейского замка, которая легла в основу коллекции архитектурных моделей двора.

<sup>17</sup>Библиотека Вольтера — приобретена Екатериной II в 1779 г., после смерти Вольтера. Сейчас находится в РНБ. См.: Библиотека Вольтера: Каталог книг / Bibliothèque de Voltaire: Catalogue des livres / Ред. М. П. Алексеев, Т. Н. Копреева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.

<sup>18</sup>*...миниатюрных картин работы императрицы Марии...* — Мария Федоровна вышивала, рисовала, писала миниатюры, вырезала из кости и янтаря декоративные украшения, из оникса и агата — камеи. Уроки ей давал швейцарский рисовальщик и живописец-миниатюрист Франсуа-Габриэль Виолье (1750—1829).

<sup>19</sup>*...князь Потемкин давал последний праздник Екатерине...* — Состоялся 28 апреля (9 мая) 1791 г. по случаю взятия Измаила, на нем присутствовало 3 тысячи osób в маскарадных костюмах. См.: *Державин Г. Р.* Описание торжества, бывшего по случаю взятия города Измаила в доме генерала-фельдмаршала князя Потемкина-

Таврического, близ конной Гвардии, в присутствии Императрицы Екатерины II, 1791 года 28 апреля.

<sup>20</sup> Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — князь, русский государственный деятель и дипломат. Секретарь Екатерины II, с 1780-х гг. фактически руководитель внешней политики, в 1797 г. назначен Павлом I канцлером, получил титул светлейшего князя Священной Римской империи.

<sup>21</sup> *Петербургский его дом, который богате драгоценными картинами, не может равняться с московским...* — Дом Безбородко (арх. Дж. Кваренги) на Почтамтской улице считался одним из самых роскошных в Петербурге. Екатерина II купила его у госканцлера А. П. Бестужева-Рюмина в 1787 г. и подарила его Безбородко в благодарность за присоединение Крымского полуострова к России. Картинная галерея превосходила строгановское собрание.

<sup>22</sup> Сен-Клау — одна из французских королевских резиденций, подарок Людовика XVI Марии-Антуанетте. После Революции перешла Наполеону.

<sup>23</sup> *...законы царя Алексея Михайловича...* — свод законов Русского государства, памятник русского права XVII века, принятые на Земском собрании 1649 г.

<sup>24</sup> *...модель Императорского дворца...* — создатель арх. В. Баженов. См. об этом: Музей-библиотека Николая Федоровича Федорова [Электронный ресурс]: Библиотека русского космизма — Н. Ф. Федоров. Т. 3. — URL: <http://nffedorov.ru/mbnff/biblio/nffbibl/iii/otech/os039.html>

<sup>25</sup> Колокольня Ивана Великого — колокольня Св. Иоанна Лествичника на Соборной площади Кремля в виде столпа из восьмигранников высотой 81 м. Арх.: Бон Фрязин, Баженов Огурцов.

<sup>26</sup> *Огромный колокол, на ней висящий...* — Большой колокол (который называли Успенским, Праздничным, Царь-колоколом) весит 65 т. Он был перелит в 1817—1819 гг. из колокола весом 58 т. 165 кг, изготовленного К. М. Слизовым в 1760 г. Слизовский колокол разбился при взрыве Филаретовской пристройки наполеоновскими солдатами.

<sup>27</sup> Польский локоть — до XVIII века = 59,6 см. Русский локоть = 46,5 см.

<sup>28</sup> *...другой колокол...* — Отлит в 1733—1735 гг. русскими мастерами И. Ф. и М. И. Маториными. Во время пожара 1737 г. отвалился кусок в 11,5 тонн. До 1820 г. находился в литейной яме, ее застлали досками и сделали специальную лестницу для посетителей.

<sup>29</sup> *...для самой большой...* — Средневековое артиллерийское орудие (бомбарда или мортира), памятник русского артиллерийского и литейного искусства (40 тонн), отлитое из бронзы в 1586 г. Андреем Чоховым на Пушечном дворе во время царя Федора Иоанновича.

<sup>30</sup> *...перенести сюда деревянный дворец...* — Деревянный Пречистенский дворец с Волонки на Воробьевы горы перенесла Екатерина II на старый фундамент Царского дворца, самого старого здания времени Алексея Михайловича.

<sup>31</sup> Господин и госпожа Мнишек (Мнишек): Михаил Мнишек — граф, обер-гофмаршал Понятовского; Урсула (ок. 1750—1808), дочь польского воеводы Яна Замойского и Людвиги Понятовской (сестры Станислава Августа), в первом браке Потоцкая, с 1781 г. замужем за Михаилом Мнишеком. Была фрейлиной Екатерины II, впоследствии кавалерственная статс-дама; изображена на известном портрете Д. Левицкого (1782).



<sup>32</sup>Трембовский и Вольский — приближенные Понятовского. Вольский — секретарь Понятовского.

<sup>33</sup>Нелидова Екатерина Ивановна (1758—1839) — камер-фрейлина императрицы Марии Федоровны, фаворитка Павла I. См.: *Шумигорский Е. Е. И. Нелидова. Очерк из истории императора Павла*. М., 2008.

<sup>34</sup>...*принцесса Радзивиль...* — Имеется в виду Радзивилл Луиза Фридерика Доротея, урожд. принцесса Луиза Прусская (1770—1837).

<sup>35</sup>...*княгиня Репнина...* — Н. А. Репнина (1738—1798) — статс-дама, жена генерал-фельдмаршала, князя Н. В. Репнина.

<sup>36</sup>Волконская (Волхонская) Александра Николаевна (урожд. Репнина, 1756—1834) — статс-дама, гофмейстерина двора Великой княгини Александры Федоровны, мать декабриста С. Г. Волконского.

<sup>37</sup>Репнин Николай Васильевич (1734—1801) сохранил доверие цесаревича Павла Петровича («Но едва ли не наиболее обременительной и неприятной задачей, возложенной на Репнина, был надзор за королем польским, проживающим в Гродно после того, как, стараниями Репнина, он отказался, 25 октября 1795 г., от престола, и устройство в высшей степени запутанных дел Станислава») и приобрел некоторое влияние на императора Павла I. Генерал-фельдмаршал на третий день правления Павла I назначен Орденским Канцлером и инспектором инфантерии Литовской и Лифляндской дивизий.

<sup>38</sup>Салтыков Николай Иванович (1736—1816) — граф, генерал-фельдмаршал, в 1763 г. командующий войсками в Польше, с 1773 г. гофмейстер при дворе наследного принца цесаревича и Великого князя Павла Петровича, воспитатель Великих князей Александра и Константина.

<sup>39</sup>Мусин-Пушкин Валентин Платонович (1735—1804) — граф, русский военный и государственный деятель.

<sup>40</sup>Ростопчин (Расстопчин) Федор Васильевич (1763—1826) — вице-канцлер, выступал против влияния Мальтийского ордена на политику Павла I, против Литта.

<sup>41</sup>Симпатические чернила — бесцветные или слабоокрашенные жидкости (химические соединения), используемые для тайнописи.

<sup>42</sup>Останкино (Останькино) — летняя резиденция графа Николая Петровича Шереметева (1751—1809), архитекторы А. Миронов и П. Аргунов, по проектам Кампорези, Бренны, Старова, строилась с 1792 по 1798 г. Шереметев, граф, обер-камергер, сенатор, был другом детства будущего императора Павла I, покровителем искусств, театралом.

<sup>43</sup>«*Самнитские браки*» — опера Андре Эрнеста Модеста Гретри (2-я редакция, 1776). Эта опера была поставлена для Павла I и позже повторена для Станислава Августа Понятовского.

<sup>44</sup>В опере пели П. И. Ковалева-Жемчугова (роль Элианы) и Т. В. Шлыкова-Гранатова.

<sup>45</sup>Николай Петрович Шереметев был награжден польскими орденами Белого Орла и Св. Станислава; Петр Борисович Шереметев (1713—1788) — кавалер ордена польского Белого Орла. Н. П. Шереметев был послан к королю Польши для ратификации договора о вечном мире.

<sup>46</sup>Чесма (Чесьма) — сейчас район между Московским проспектом и проспектом Гагарина. В XVIII в. местность называлась «Лягушачье болото» (*финск.*) По преданию, гонец застал там Екатерину II с вестью о победе над турецким

флотом под Чесмой 26 июня 1770 г. В 1780 г. в честь десятилетия Чесменской битвы путевой дворец был перестроен как Чесменский дворец, в качестве образца был взят средневековый английский замок Лонгфорд (английская готика).

<sup>47</sup> Орден Св. Георгия был учрежден Екатериной II в 1769 г. В 1782 г. Чесменский дворец был передан Екатериной II Капитулу Ордена Св. Георгия, в круглой зале второго этажа собирались все носители ордена под председательством императрицы. Чесменская церковь (храм рождества Св. Иоанна Предтечи, 1777—1780) названа так, поскольку Чесменская битва началась в день Св. Иоанна Предтечи.

<sup>48</sup> Густав III (1746—1792) — шведский король с 1771 г. Чесменскую церковь заложили в 1777 г. в присутствии Густава III, который находился в Петербурге с частным визитом.

<sup>49</sup> Иосиф II (1741—1790) — Речь идет об императоре Священной Римской империи, в присутствии которого в 1780 г. храм был освящен.

<sup>50</sup> Этот знаменитый «Сервиз с зеленой лягушкой» (952 предмета, 1244 архитектурно-пейзажных вида старой Англии) изготовлен специально для Чесменского дворца по заказу Екатерины II, где он находился до 1830 г., затем был перенесен в Английский дворец Петергофа; с 1910 г. — собственность Государственного Эрмитажа. Джозайя Веджвуд (Josiah Wedgwood, 1730—1795) — английский художник-керамист. Лягушка — марка его фирмы, декорировавшая сервиз Чесменского дворца, остроумно сочеталась с его местоположением на «Лягушачьем болоте».

<sup>51</sup> ...король видел слона... — Еще при Петре I рядом с местом, где был построен Мраморный дворец, находился Зверовый двор, в котором был помещен первый петербургский слон.

<sup>52</sup> Речь идет о сенаторе М. Ф. Соймонове (1730—1804).

<sup>53</sup> Джордано, Лука (1634—1705) — итальянский художник эпохи барокко, автор около 400 полотен, прозванный *rapresto* (делает быстро). Известна его картина «Битва лапифов с кентаврами», ок. 1688. Заимствовал сюжеты из «Метаморфоз» Овидия. На свадебном пиру у царя лапифов Пейритоя невесту Гипподамию пытается похитить кентавр Эвритон, в бой с ним вступает Тезей. Эта картина находится в Эрмитаже, поступила из Строгановского дворца в 1930 г.

<sup>54</sup> Романо, Джулио (1492 (1499)—1546) — итальянский художник-маньерист и архитектор, ученик Рафаэля, ему принадлежит совместная роспись станц и лоджий Ватикана. В зале Константина находится картина «Битва Константина с Максенцием». Это знаменитый сюжет, связанный с видением Константина, когда ему во сне явился крест на фоне синего неба и солнечного сияния (так называемый константинов крест) с надписью «*inhocsignovinces*» (Сим победиши), символизирующий победу христиан над римлянами.

<sup>55</sup> Лебрен, Шарль (1619—1690) — архитектор и художник, основатель Французской Королевской Академии живописи и скульптуры. Его картина называется «Арбельское сражение» (1669). В Эрмитаже есть картина Жерара Одрана «Битва при Арбелах» (1674), автором оригинальной композиции которой является Шарль Лебрен.

<sup>56</sup> *Monplaisir* (Монплеизир) — дворец Петра I в Петергофе. Построен (1714—1723) архитекторами А. Шлютером и И. Браунштейном в виде «Голландского домика» на берегу Финского залива.

<sup>57</sup> Щербатов Павел Петрович (1762—1831) — камергер, сенатор, был женат на графине Анастасии Валентиновне Мусиной-Пушкиной, фрейлине Екатерины II.

<sup>58</sup> Линейка — длинный многоместный открытый конный экипаж, запряженный от 2 до 6 лошадей.

<sup>59</sup> Шувалова А. А. (1775—1847) — с 1797 г. в браке с австрийским посланником князем Дитрихштейном.

<sup>60</sup> Литта, Лоренцо (1756—1820) — брат графа Джулио Ренато Литта, 1-й Апостольский Нунций в России (1797—1799).

<sup>61</sup> Литта, Джулио Ренато Висконти Ареше Юлий Помпеевич (граф Бальи де Литта 1763—1839) — государственный деятель, обер-камергер, первый шеф кавалергардского полка, капитан-командор мальтийского флота, принятый в 1789 г. Екатериной II на службу. Был женат на племяннице Потемкина (урожд. Екатерине Васильевне Энгельгардт), в первом браке Скавронской, вдове российского посланника в Неаполитанском королевстве.

<sup>62</sup> Возможно, речь идет об обер-камергере И. И. Шувалове (1727—1797).

<sup>63</sup> ...на дачу князя Куракина... — Куракина дача — ныне сад в Невском районе Санкт-Петербурга. Это местность к югу от Володарского моста между Фарфоровым заводом (село Фарфоровое на левом берегу Невы, рабочий поселок при фарфоровом заводе) и селом Александровским (расположено по левому берегу Невы вдоль Шлиссельбургского тракта). Изначально это — часть бывшего имения Александровского (Александровки), принадлежавшего генерал-прокурору князю Александру Алексеевичу Вяземскому. В 1796—1798 гг. вдова князя Вяземского Елена Никитична распродала Александровское частями. Князю Алексею Борисовичу Куракину досталась эта часть.

<sup>64</sup> Долгорукая Екатерина Федоровна (1764—1849) и Н. И. Куракина (1766—1831), жена Алексея Б. Куракина.

<sup>65</sup> Кобенцль, Людвиг фон (1753—1809) — граф, австрийский дипломат и государственный деятель, двадцать лет (1779—1797) провел при русском дворе.

<sup>66</sup> «Нина, или Сумасшедшая от любви» — опера-буффа Дж. Паизиелло (1789), впервые на русском языке исполнена в СПб. в 1797 г.

<sup>67</sup> Мандини — баритон С. Мандини (1750—1809).

<sup>68</sup> Орест и Пилад — иносказательный пример нерушимой дружбы. Пилад, двоюродный брат Ореста, не оставлявший его в дни тяжелых испытаний и готовый жертвовать собой ради друга.

<sup>69</sup> Виже-Лебрён, Элизабет (1755—1842). Автор портрета С.-А. Понятовского. См.: Воспоминания г-жи Виже-Лебрён о пребывании ее в Санкт-Петербурге. См.: Воспоминания г-жи Виже-Лебрён о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве, 1795—1801. С приложением ее писем к княгине Куракиной. СПб., 2004.

<sup>70</sup> Деидамия — возлюбленная Ахилла, мать Неоптолема, дочь Ликомеда, при дворе которого жил Ахилл в женской одежде.

<sup>71</sup> ...Стратониса (также княгиня Долгофукая), сидящая у постели своего пасынка... — Имеются в виду Стратоника, дочь македонского царя Деметрия, и известный сюжет ее брака с пасынком Селевка, который в юности был одним из друзей Александра Македонского.

<sup>72</sup> Дариево семейство — Вероятно, имеется в виду монументальная картина знаменитого французского живописца Пьера Миньяра (1612—1695) «Великодушие Александра Македонского» (1689, коллекция Эрмитажа, СПб.). Миньяр хотел затмить написанное ранее полотно Ш. Лебрена на эту же тему «Семья Дария» (1660, Версаль). Сюжет восходит к книге Плутарха «Сравнительные жизнеописания»: Александр

Македонский после победы над персидским царем Дарием в сражении при Иссе (333 до н. э.) взял в плен его мать, жену и двух дочерей. На картине Миньяра запечатлено, как Александр Македонский входит в сопровождении своего друга Гефестиона в палатку Дария и дарует пленницам свободу. Картина — типичный образец классицистической живописи, монументальной, театрально-зрелищной, декоративно-красочной.

<sup>73</sup>...*роль Камиллы*... — Имеется в виду известный сюжет «Горации и Куриации», трагедия «Гораций» П. Корнеля. Камилла — сестра Горациев, любящая Куриация и оплакивающая его.

<sup>74</sup> Пикет — одна из самых старых карточных игр, родом из Франции. Первые упоминания о ней известны в конце XIV в., когда она называлась «Ронфле» и «Цент». В XVIII в. в пикет играли во всей Европе.

<sup>75</sup> Салтыков Николай Иванович. См. примеч. 38.

<sup>76</sup> Репнин Николай Васильевич. См. примеч. 37.

<sup>77</sup> Каменский М. Ф. (1738—1809) — Павел I в 1797 г. возвел его в графское достоинство, но в том же году уволил его от службы.

<sup>78</sup> Плещеев С. И. (1751—1802) — вице-адмирал и почетный опекун, друг Павла I и Марии Федоровны. См.: *Головина В. Н.* Записки (1766—1817) // Исторический вестник. 1899. Т. 76, 77.

<sup>79</sup> Орлов Григорий Григорьевич (1734—1783) — фаворит Екатерины II, участник возведения ее на престол. Подарок Екатерины, Гатчина, была одним из любимых мест его пребывания.

<sup>80</sup>...*Робертовы*... — Робер, Юбер (1733—1808) — мастер архитектурного пейзажа. В Эрмитаже хранятся картины Робера из собраний Юсуповых, Строгановых; виды Гатчинского дворца.

<sup>81</sup>...*Вернетова*... — Верне, Жозеф (1714—1789) — продолжатель классицистического пейзажа К. Лоррена и Н. Пуссена, создатель предромантического пейзаж-марины «Буря и кораблекрушений». Картина, упоминаемая Понятовским, морской пейзаж Верне «Буря у скалистого берега», 1763.

<sup>82</sup> Эта картина доньяне висит на стенке при входе в круглую башню из кабинета Императора Павла. См.: *Вейнер П.* Убранство гатчинского дворца. — URL: <http://www.gatchina.org/library/881/1/1/> [Дата обращения: 21.02. 2013].

<sup>83</sup> В 1782 г. состоялась поездка великого князя Павла Петровича в расположенное к северу от Парижа имение Шантийи. В частности, состоялся визит наследников российского престола в родовое имение принца Луи Жозефа Конде, родственника короля, который запомнился благодаря пышным праздникам и охоте на оленя. В память о визите Конде заказал живописцу Жану-Батисту Лепану картину «Охота на оленя в Шантийи», которая была преподнесена Павлу Петровичу в 1785 г. и хранится теперь в Павловском дворце. Копия картины находится в Шантийи. См.: *Пинэ Г.* Охота на оленя в Шантильи // Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре. СПб., 1995. С. 332.

<sup>84</sup> Эту картину описывает и барон Бальтазар Кампенгаузен («Auswahl topographischer Merkwürdigkeiten des St. Petersburgschen Gouvernements», von Balthasar Freiherrn von Campenhausen. Riga, 1797. I. С. 13—17), однако где эта картина находилась и существует ли она поныне, неизвестно. См.: *Вейнер П.* Указ. соч.

<sup>85</sup> Имеется в виду И. И. Шувалов. Посылал из Италии в адрес Академии художеств слепки лучших статуй Рима, Флоренции, Неаполя.

<sup>86</sup> *...портрет принца Генриха Прусского, помещенный между четырьмя российскими фельдмаршалами...* — портрет Генриха Прусского (1726—1802) неизвестного художника размещался среди портретов фельдмаршалов Б. П. Шереметева, Х. А. Миниха, П. С. Салтыкова и П. А. Румянцева-Задунайского.

<sup>87</sup> «Le conseil paternel» — пьеса графа Ф. Г. Головкина (1776—1817), церемоний-мейстера двора в 1796—1799 гг. См.: *Головкин Ф. Г.* Двор и царствование Павла I. М., 1912.

<sup>88</sup> Флориан, Пьер Клари де (1755—1794) — французский писатель, автор пьес и новелл.

<sup>89</sup> *...известный Офрень...* — Жан Офрен (1720—1806), французский актер, приглашенный в Россию И. А. Дмитриевским, с 1785 г. в С.-Петербурге. Ампула — цари в трагедиях, благородные отцы в комедиях. Последний контракт — с 1 мая 1798 г. сроком на три года.

<sup>90</sup> Греческий иродиакон Евгений Вульгарис, призван на службу в Россию Екатериной II, с 1783 г., после бескровного присоединения Крыма к России, архиепископ Тавриды.

<sup>91</sup> Анфосси, Паскуале (1727—1797) — итальянский композитор, автор оперы «Зенобия» (1794).

<sup>92</sup> *Декоратер Гонзага* — Гонзага Пьетро ди Готтардо (1751—181) — художник, мастер театрально-декоративной живописи, создатель парков. С 1792 г. работал в России. Создавал эффект иллюзии, уничтожающей грань между природой и искусством (галерея Гонзага, фрески на фасадах дворца в Павловске). См.: *Гонзага Пьетро Готтардо: Жизнь и творчество, 1751—1831.* М., 1974.

<sup>93</sup> *Брейгель* — Брейгель Ян младший (1601 — 1678) — нидерландский художник.

<sup>94</sup> Пик Шарль Ле (1749—1806) — французский балетмейстер, танцовщик, ученик Ж.-Ж. Новерра, приглашен в Россию в 1786 г.

<sup>95</sup> Вернет (Верне) — См. примеч. 81.

<sup>96</sup> Смерть Прусского короля — Фридрих Вильгельм II умер 16 ноября 1797 г. в Потсдаме.

<sup>97</sup> Конде, Людовик Жозеф де Бурбон (1736—1818) — во время путешествия по Европе в 1782 г. Великого князя Павла Петровича и Великой княгини Марии Федоровны они посетили под именем графов Северных дворец Шантийи принца Конде. Альбом с чертежами и видами поместья, присланный принцем Конде в дар Павлу, сохранился и повлиял на планировку Гатчинского дворца и парка. См. о пребывании Конде в России: *Россия и Франция XVIII—XIX века.* М., 2006. Вып. 7.

<sup>98</sup> *...в 1754 году у себя на бале...* — бал в Шантийи.

<sup>99</sup> Шантиль (Шантильи, Шантийи) — резиденция принца Конде.

<sup>100</sup> *Чернышевский дом* — Не сохранился, существовал на месте нынешнего Марининского дворца на Исаакиевской площади, был выкуплен у графа Ивана Григорьевича Чернышева (1726—1797) и подарен принцу Конде, с надписью на фронтоне «Отель Конде».

<sup>101</sup> *Сарданапалова бомба с Эпикуровым соусом, изобретенная кухмистером Фридриха II* — кулинарное блюдо с начинкой из разнообразных частей дичи с соусом из ост-индской ягодной мадеры.

<sup>102</sup> *...с прекрасными Этрусскими фигурами здешней фабрики...* — Имеется в виду Императорский фарфоровый завод.

<sup>103</sup> Князь Николай Борисович Юсупов (1750—1831) — князь, сенатор, действительный статский советник, дипломат, возглавлял Императорский казенный фарфоровый завод и казенную шпалерную мануфактуру.

<sup>104</sup> *Императрица, близкая к разрешению от бремени...* — Великий князь Михаил Павлович родился 8 января 1798 г.

<sup>105</sup> *Граф Монморанси, сын герцога Лавалля...* — эмигрант, ветвь Лавалей-Монморанси.

<sup>106</sup> Епископ Нансийский — эмигрант из Нанси.

<sup>107</sup> Лафатер, Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский пастор и писатель, автор «Физиогномических фрагментов».

*И. Айзикова, Н. Ветшева*

### Мунго-Парк

(«Путешествие Мунго-Парка писано простым и ясным слогом...»)

(С. 235)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 39. № 12. Июнь. С. 203—210 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием в конце: (С немецкого). Примечание подписано: Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: начало 1808 г. (не ранее июня).

Источник перевода не известен.

Мунго Парк (1771—1806) — шотландский исследователь Африки, по образованию хирург. См.: *Горнунг М. Б., Липец Ю. Г., Олейников И. Н.* История открытия и исследования Африки. М., 1973.

По поручению Британского Африканского общества совершил два путешествия во Внутреннюю Африку (1795—1797 и 1805—1808) и исследовал на большом протяжении реки Гамбию и Нигер. Возле южной границы Сахары путешественник попал в плен и только через несколько месяцев сумел бежать. После возвращения на родину Парк написал книгу «Путешествия во внутренние области Африки в 1795—1797 гг.»; она была опубликована в Лондоне в 1799 г. и принесла автору мировую известность.

В 1797—1805 гг. Мунго Парк жил в Англии и занимался врачебной практикой; в 1805 г. он отправился в новую экспедицию в Западную Африку с целью изучения долины реки Нигер от истока до устья. В этой экспедиции в отличие от первой принимало участие 40 человек, и она была хорошо вооружена. В марте 1805 г. отряд выступил с побережья Атлантического океана вглубь континента. С самого начала экспедицию преследовали неудачи: многие спутники Мунго Парка заболели или погибли в вооруженных столкновениях с местными племенами. В ноябре 1805 г. Мунго Парк в сопровождении семи человек отплыл на лодке для исследования неизученного участка реки Нигер, отправив с проводником к побережью дневник первого этапа своего путешествия (который был опубликован в 1815 г.) и письма. Экспедиция пропала где-то на Нигере, и лишь в 1808 г. стало известно, что их атаковали аборигены, и Парк утонул в реке.

Франсуа Левайан (1753—1824) — французский натуралист и путешественник. В 1771 г. по поручению голландской Ост-Индской компании отправился в Южную Африку. Вернувшись, издал «Voyage de M. Le Vaillant dans l'Interieur de l'Afrique par Le Cap de Bonne Esperance, dans les annees 1783, 84 & 85» (1790, в двух томах) и «Second voyage dans l'interieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Esperance, dans les annees 1783, 84 et 85» (1795—1796, в трех томах). Обе книги были переведены на несколько языков.

Также издал «Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique» (1796—1808, 6 т.), «Histoire naturelle des oiseaux de paradis» (1801—1806), «Histoire naturelle des cotingas et des todiers» (1804), «Histoire naturelle des calaos» (1804) и ряд других трудов. Позднее Левайан опубликовал пять томов сочинений о своих приключениях по Южной Африке и Намибии в 1780—1785 гг. См. в русском переводе: Левайан Франсуа. Путешествие г. Вальяна во внутренность Африки, через Мыс Доброй Надежды, в 1780, 81, 82, 83, 84 и 85 гг. Части I—II. Перевод с французского. Москва, в типографии И. Зеленникова, 1793. В 1824 г. в Санкт-Петербурге вышло продолжение: «Второе путешествие Вальяна во внутренность Африки через мыс Доброй Надежды». Части I—III.

Очерковый перевод Жуковского «Мунго Парк» вписывается в практику путешествий, писем, известий, публикуемых в ВЕ в разные годы, в частности путешествий в разные области африканского континента. Очерк ВЕ представляет собой рецензию на знаменитое первое путешествие Мунго Парка (см. перевод отрывка в ВЕ, свидетельствующий об интересе к Мунго Парку. Текст воспроизведен по изданию: Характер и образ жизни Людамарских Мавров. (Отрывок из Мунго-Паркова путешествия во внутренность Африки.) С французского Г. Покровский // ВЕ. Ч. 39. № 12. Июнь. С. 265—282) и одновременно его рецепцию с привлечением сравнительного материала — африканского путешествия Левайана (Вальяна в переводе Жуковского). На сходном материале прослеживаются различия на разных уровнях — автора и авторского повествования, поведенческих ситуаций английского и французского путешественников и исследователей, их нравственно-эстетических ориентаций, повседневности и метафизики. Сравнительные характеристики более относятся к началу и финалу очерка. Основная часть его представляет собой серию *exemples*, иллюстрирующих и комментирующих эпизоды путешествия Мунго Парка в чувствительно-сентиментальном ключе: кульминационный момент выхода к Нигеру; бескорыстие, добросердечие и сострадание по отношению к африканскому мальчику; болезнь и благодарность к спасительной помощи местных жителей; одиночество и вера в Творца и Провидение. Образ Мунго Парка строится как концепция жизни-странствия человека, облеченного великой целью познания и открытия мира под защитой благого провидения.

В очерке важными оказываются не только и не столько описываемые события, но оценка авторской оптики, то есть выработка повествовательных стратегий, важных для переводческой и писательской практики Жуковского. Во-первых, это «смерть автора», сосредоточенность на изображении, а не впечатлении от него, отсутствие внешних риторических приемов и эффектов. Во-вторых, акцентирование нравственного смысла переживаний Мунго Парка. Можно говорить о тенденции усиления нравственной составляющей характера героя очерка и о существовании зазора между реальным Мунго Парком и его идеализированным двойником; то же

самое относится к идеализации дикарей-помощников и абсолютизации горестей и бедствий. Жуковского-переводчика привлекает гуманное отношение Мунго Парка к аборигенам (сочувствие к матери, вынужденной продать ребенка, желание оградить от опасности хозяина). В этом видится общая для Жуковского тема внесловных и наднациональных ценностей. Обобщающей становится концепция человека, хранимого Провидением, которая связана с эстетической метафоризацией (маленький мох как часть сотворения Творцом мира).

В сравнительной характеристике Мунго Парка и Левайана звучат два мотива: завершенной и безопасной картине мира и месту в нем человека (Левайан) противопоставлена полная опасностей и одновременно покоряющая нравственной неизменностью жизненная модель Мунго Парка, что приближает этот тип путешественника и путешествия к предромантическим стратегиям русской литературы.

Личность путешественника Мунго Парка интересовала Жюль Верна (Всеобщая история великих путешествий и путешественников. Астратмедиа, 2007). «Путешествие Мунго Парка» читал И. А. Гончаров (см. его «Автобиографию»).

<sup>1</sup> ...из души моей в теплых молитвах — Это поэтизированное описание корректируется восприятием тех же реалий коренных жителей. Ср. : «Когда Мунго-Парк восхищался открытием одной реки, бывшей главным предметом его путешествия, и когда он объяснил сей предмет своему путеводителю, ему предложен был такой же вопрос: разве нет реки в твоём отечестве, то ты приехал видеть ее из такой дали?» // Любопытное и неизвестное путешествие во внутренность Африки. ВЕ. 1813. Ч. 67. № 1—2. С. 89.

<sup>2</sup> В 1806—1808 г. в свет вышел русский перевод сочинения Мунго Парка: *Парк М.* Путешествие во внутренность Африки, предпринятое по приказанию и под управлением Англинской Африканской Компании в 1795, 1796 и 1797 годах хирургом Мунго-Парком. Перевод с французского. Ч. 1—2. СПб., 1806—1808.

*Н. Ветшева*

### **Кто истинно добрый и счастливый человек?**

(«Один тот, кто способен наслаждаться...»)

(С. 238)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 39. № 12. Июнь. С. 220—230 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Кто истинно добрый и счастливый человек?» и подписью в конце: Ж.

В прижизненных изданиях: СОРС 1. Ч. 3. С. 241—250 — с подписью: Жуковский; С 2. Ч. 4. С. 195—210; СОРС 2. Ч. 3. С. 205—213 — с подписью: Жуковский; С 3. Ч. 4. С. 163—173; С 4. Т. 7. С. 157—167 с пометой в конце: 1808; С 5. Т. 7. С. 50—60, без подписи.

Печатается по С 5.

Датируется: не позднее конца мая 1808 г.

В статье нравственно-философского содержания поднимаются вопросы, имеющие принципиальный характер для всего творчества Жуковского, — о смысле



и ценности жизни человека. По содержанию и форме дидактико-философские рассуждения восходят к традиции русских и европейских писателей-моралистов, в частности, к творчеству Н. М. Карамзина (см.: Н. М. Карамзин «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору» (1795), «Разговор о счастье» (1797), «О счастливейшем времени жизни» (1803) и др.). Жуковский развивает этические принципы сентиментализма, утверждавшего духовную ценность частного человека, культ семейной жизни и чувствительного сердца как основы воспитания гражданственности и способности человека к общечеловечности. Мысли, высказанные в статье, получили первоначальную разработку в дневнике 1805—1806 гг. и в записной книжке «Разные замечания. 1807». Вопрос «семейственного счастья» являлся важным звеном в программе жизнестроительства Жуковского, связанной как с планом устройства своей будущей жизни (см. записи в Дневнике от 21 июля 1805 г. и 5 января 1806 г. // ПССиП, Т. XIII. С. 23, 32, 34), так и широкого понимания воспитания гражданина общества: «Добрый семьянин есть истинно добрый человек. Он действует скрытно, без свидетелей и беспрестанно. — Я разумею семьянина во всём смысле этого слова как сына, отца, супруга, господина, хозяина. (...) Человек, успешно исполняющий свою какую-нибудь общественную должность, без сомнения имеет талант; но характер его определяется его семейственной жизнью. Желать быть добрым семьянином есть стремиться ко всему благородному и лучшему, хотя не блестящему, словом, к счастью, следовательно, к добродетели» (Там же. С. 48).

При жизни Жуковского текст публиковался неоднократно, разночтения см. в комментарии ниже.

<sup>1</sup>...каждый из нас... — В ВЕ, СОРС 1, 2: всякий человек.

<sup>2</sup>...великий ум, чудесное дарование. — В СОРС 1, 2, в С 2, 3: великий ум! чудесное дарование!

<sup>3</sup>...необыкновенный человек. — В ВЕ, СОРС 1, 2, в С 2, 3: необыкновенный человек!

<sup>4</sup>Нет: я вижу... — В ВЕ, СОРС 1, 2, в С 2: Нет! я вижу...

<sup>5</sup>...в минуту торжества... — В ВЕ, СОРС 1, 2: ...в минуту торжества.

<sup>6</sup>...наслаждаться одним скромным... — В ВЕ, С 2, 3, 4: наслаждаться единым скромным.

<sup>7</sup>...доброе сердце? — В СОРС 1, 2: доброе сердце?

<sup>8</sup>...наряду с недобрым... — В ВЕ, СОРС 1, 2: наряду с недобрым.

<sup>9</sup>...здесь не может быть заблуждение насчет заслуги... — В ВЕ и СОРС 1, 2: здесь никакое ложное достоинство не может увенчано быть ложною наградою; в С 2, 3: здесь никакое достоинство не может увенчано быть ложною наградою.

<sup>10</sup>...в его святилище. — В ВЕ, СОРС 1, 2, С 2: в сие священное общество!; в С 3: в сие священнейшее общество!

<sup>11</sup>...посреди удовольствий однообразных, но сладостных для души ясной, веселой и непопечной. — В ВЕ: посреди удовольствий однообразных, но сладостных для души ясной, веселой и доброй!; в СОРС 1, 2: в кругу удовольствий однообразных, но сладостных для души ясной, веселой и доброй!

<sup>12</sup>Почитай обязанностию... — В ВЕ, СОРС 1, 2: Почитай обязанностию.

<sup>13</sup>...титул счастливца... — В ВЕ, СОРС 1, 2: титул счастливца.

<sup>14</sup>...сему титулу... — В СОРС 1, 2, С 2, 3: сему титулу.

<sup>15</sup>...добродетель, наслаждение самим собою, прямое просвещение, истинную мудрость. — В ВЕ, СОРС 1, 2 выделено курсивом.

<sup>16</sup> ...истинно добрый и счастливый человек! — В ВЕ, СОРС 1, 2 выделено курсивом.

<sup>17</sup> ...минуты отдельного труда ... к минутам общего удовольствия... — В ВЕ, СОРС 1, 2: минуты *отдельного* труда ... к минутам *общего* удовольствия.

<sup>18</sup> ...в бытии Божества, которое не отрицаемо для сердца, испытавшего прямую любовь, уповающий на бессмертие... — В ВЕ, СОРС 1, 2: в бытии Божества, не отрицаемого для сердца, насладившегося истинным счастьем, уповающий на бессмертие.

<sup>19</sup> ...почитает он только посторонними... — В ВЕ, СОРС 1, 2: почитает он только *посторонними*.

<sup>20</sup> ...благотворительность награждается... — В ВЕ, СОРС 1, 2: *благотворительность* награждается.

<sup>21</sup> ...тебе в жилище... — В ВЕ, СОРС 1, 2, С 2, 3, 4: тебе в хижину.

<sup>22</sup> ...пламеннее молитвы... — В ВЕ, СОРС 1, 2: пламеннее *молитвы*.

<sup>23</sup> ...милыми существами... — В ВЕ, СОРС 1, 2: милыми спутниками.

И. Айзикова, Э. Жиликова

### Густав Обинье

(«Мне минуло двадцать лет...»)

(С. 243)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 39. № 12. Июнь. С. 230—264; Ч. 40. № 13. Июль. С. 3—56; Ч. 40. № 14. Июль. С. 98—164 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Густав Обинье» и подписью в конце (в № 14): Г-жа Флао.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 4 (в разделе «Повести»). С. 3—200; Пвп 2. Ч. 2. С. 257—388, без подписи.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: первая половина 1808 г. (не позднее начала июня).

Источник перевода: *Flahaut A. M. E. de. Eugene de Rothelin* [Эжен де Ротлен]. Par l'auteur d'Adele de Senenge. Paris, 1808. V. 1—2. Атрибуция: Eichstädt. S. 19.

Роман французской писательницы Аделаиды де Сузы «Эжен де Ротлен», послуживший источником для данного перевода, может быть назван «светским». Повесть Жуковского представляет собой сокращенный перевод этого романа. Русский автор начинает перевод с X главы первой части, в которой описывается возвращение главного героя в Париж. Завершается перевод главой XIV второго тома, после которой следует заключительная XV глава. В переводе изменены некоторые имена. Так, Эжен де Ротлен назван Густавом Обинье, Атанаис де Рье — Эвелиной Адельмар, де Таванн — виконтом Вилларом. Топосы Парижа и замка герцогини Дестутвиль, вопросы светского воспитания и светских взаимоотношений, психология любви, риторика повествования, представленная жанрами биографии, диалога, словесного и живописного портрета, письмами и записками героев, позволяет воспринимать это

произведение как характерное явление западноевропейской прозы начала XIX в. Текст перевода, опубликованный в ВЕ, не отличается от текста, представленного в Пвп 2.

Творчество де Сузы было популярно в России в 1800-х гг. О переводе этого романа Жуковским пишет в автобиографических записках А. О. Смирнова-Россет (*Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 344*). В черновиках к роману «Война и мир» Л. Н. Толстой упоминает о первых годах царствования Александра I, когда русские женщины «восхищались романами m-me Radcliff и m-me Suza» (*Толстой Л. Н. ПСС: в 90 т. М., 1935—1958. Т. 13. С. 75*). Также в черновиках говорится о знакомстве князя Андрея и Пьера с романами французской писательницы (Там же. С. 321, 590).

<sup>1</sup> *На столе увидел я раскрытого Массильона* — Массильон (Массийон) Жан-Батист (1663—1743) — знаменитый французский проповедник, епископ, член Французской академии. Ср. со статьей М. Т. Каченовского «Отрывок из рукописи (О французских проповедниках)», напечатанной в ВЕ. 1808. Ч. XL. № 16. С. 271—311.

<sup>2</sup> *...Ла-Брюйерова мысль* — Лабрюйер Жан (1645—1696) — французский писатель, моралист.

<sup>3</sup> *...о том, что меня утратила!* — В ВЕ: *о моей потере!*

<sup>4</sup> *...младший, кавалер Мальтийский* ~ *владел богатыми командорствами* — Т. е. член католического военно-монашеского ордена, основанного крестоносцами в XII в. в Палестине. В 1530 г. орден получил от императора Карла V во владение о. Мальту. Командорства — земельные надель, принадлежащие ордену и жалуемые кавалерам ордена. Звание командора передается по наследству представителям рода владельца имения (фамильное командорство).

<sup>5</sup> *...сделать игуменьей Ремиремонтскую* — Ремиремонт — город, расположенный на северо-востоке Франции, в Лотарингии, на реке Мозель. От основанного в VII в. в горах Вогезы св. Ромариком и св. Аматам мужского и женского бенедиктинских монастырей произошло впоследствии и название города.

<sup>6</sup> *...отправиться в Шельское аббатство* — Бенедиктинский женский монастырь в Шелле, близ Парижа, основанный в VII в. франкской королевой Балтильдой, впоследствии канонизированной католической церковью.

<sup>7</sup> *...как и прежде, сбиралось...* — В ВЕ: продолжало собираться.

*И. Поплавская*

### **Меланхолия**

***(Сочинение женщины, которая никогда не бывала в меланхолии)***

***(«Я была высока ростом, имела светлые волосы, бледное лицо...»)***

**(С. 311)**

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 41. № 19. Октябрь. С. 161—174 — в рубрике «Литература и смесь», с подписью: Каролина П., примечание (с. 164—171) подписано: Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее сентября 1808 г.

Источник перевода: *Mademoiselle Caroline P. La melancolie, par une femme qui aurait bien voulu en avoir* [Меланхолия, От женщины, которая действительно хочет ее иметь] // *Almanach des dames, pour l'année 1808*. P. 76—81. Атрибуция: Симанков. С. 108.

Перевод рассказа «Меланхолия» Каролины Пихлер — часть размышлений Жуковского о природе меланхолического сознания. К этой теме он обращался постоянно с начала своего творчества (см.: *Виницкий И. Ю. Утехи меланхолии // Ученые записки Московского культурологического лицея. № 1310. Серия: Филология. Вып. 2. М., 1997. С. 111—168.*) Уже в ранних прозаических опытах «Мысли при гробнице» (1797), «Жизнь и источник» (1798) меланхолия определяет мирозерцание лирического героя. Споры в Дружеском литературном обществе (речи Ан. И. Тургенева, А. Ф. Мерзлякова, А. С. Кайсарова) помогли Жуковскому сформировать оригинальную концепцию этой сентиментальной категории (речь «О счастии»), воплотившуюся в его элегическом творчестве («Сельское кладбище», «Вечер» и др.).

Обращение к рассказу Каролины Пихлер явилось способом романтического переосмысления меланхолии. Каролина Пихлер (урожденная фон-Грейнер, 1769—1843) — плодотворная немецкая писательница, собрание сочинений которой составляет около 60 томов. В число ее произведений входят «Leonore» (1804), «Agathokles» (1808), «Die Grafen von Hohenberg» (1811), «Die Rache der Elfen» (1814), «Die Nebenbuhler» (1821), «Frauenwürde» (1819), «Die Belagerung Wiens im J. 1783» (1824), «Die Schweden in Prag» (1827), «Biblische Idyllen» (1812); «Gedichte» (1822). Собрания ее сочинений выходили в свет отдельными томами в 1820—1844 и 1828—1844 гг.

Произведения К. Пихлер были популярны и в России. Ее сентиментальные повести, наряду с произведениями Жанлис и Августа Лафонтена, довольно часто переводились для журналов (Библиотека для чтения. 1823. Кн. 7; Дамский журнал. 1823. Ч. 2. № 7—10, № 21—24). В 1814 г. на русский язык был переведен ее роман «Агафоклес, или Письма, писанные из Рима и Греции в начале 4-го столетия». К 1820—1830-м гг. отношение к творчеству К. Пихлер меняется, оно воспринимается как излишне сентиментальное, устаревшее. «...романы Каролины Пихлер, Августа Лафонтена и Коцебу, — замечала в своих воспоминаниях А. О. Смирнова-Россет. — Знаете ли вы всю эту бурду на розовой воде, настоящая немецкая кухня?» (*Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 237.*)

Рассказ «Меланхолия, сочинение женщины, которая никогда не бывала в меланхолии» был попыткой К. Пихлер переосмыслить популярную сентиментальную категорию в духе «здорового смысла» бидермайера. Повседневная жизнь с ее законами, психология «естественной» природы, водоворот исторических обстоятельств не благоприятствуют развитию у героини меланхолии, которая в итоге объявляется «роскошью, излишком чувствительности, худым употреблением, которое делают из нее люди, которые не знают, что из нее сделать».

Свой перевод рассказа Жуковский спроецировал на отечественную меланхолическую традицию, введя несколько отсылок к произведениям Н. М. Карамзина и своим собственным. В литературе 1800-х гг. неоднократно появлялись критические выпады в сторону излишней чувствительности, в том числе увлечения меланхолией, самые известные из которых принадлежали А. С. Шишкову («Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка», 1803). Тем самым полемика с К. Пихлер, развернувшаяся в обширном примечании Жуковского, была опосредованной поле-

микой и с попытками отечественных литераторов интерпретировать меланхолию как болезненное, противоестественное явление.

В сравнении с ранними произведениями, посвященными этой теме, близкими к карамзинской концепции, примечание к «Меланхолии» имеет новый, уже романтический характер, отразивший французские (Ф. Шатобриан) и немецкие (Жан-Поль) влияния. Тщательно объяснив отличие меланхолии от душевных движений, вызываемых естественными жизненными обстоятельствами, Жуковский истинный ее смысл видит в стремлении к бесконечному, невыразимому в своей полноте бытию: «...то, что чувствуешь в настоящую минуту, менее того, что будешь или что желал бы чувствовать в следующую: ты счастлив, но стремишься к большему, более совершенному счастью, (...) ты не находишь слов для изображения тайного состояния души твоей, и это самое бессилие погружает тебя в задумчивость!»

Дальнейшее развитие эта концепция найдет в творчестве Жуковского 1820—1840-х гг., с одной стороны, испытав влияние романтического отчуждения, «мировой скорби» (Д. Г. Байрон), а с другой — напитавшись культурно-историческим материалом (идеи Ф. Шатобриана, Ж. де Сталь, В. Гюго о меланхолии в христианском мирозерцании). Итоговое воплощение «философия грусти» Жуковского нашла в переводе «Одиссеи» и в статье «О меланхолии в жизни и в поэзии» (1846).

<sup>1</sup> *Делиль говорит правду: меланхолия не любит ни шума, ни собраний блестящих...* — Реминисценция из поэмы «L'Imagination» Ж. Делиля, фрагмент которой в 1800 г. перевел Н. М. Карамзин под названием «Меланхолия» (ВЕ. 1802. № 1).

<sup>2</sup> *...началась революция...* — Великая французская революция 1789—1793 гг.

<sup>3</sup> *...казни десяти или пятнадцати несчастных, умерщвленных Робеспьером.* — Максимилиан Мари Исидор Робеспьер — автор декрета о чрезвычайных мерах (1793), одной из которых стали массовые преследования и казни лиц, обвиняемых в контрреволюционных замыслах.

<sup>4</sup> *Меланхолия — говорила одна умная женщина — есть выздоровление горести...* Цитата из повести Жанлис «Меланхолия и воображение». Жанлис (1746—1830), французская писательница, педагог. В конце XVIII — первые десятилетия XIX в. нравоучительно-сентиментальные повести и романы Жанлис активно переводились русскими литераторами, в том числе Н. М. Карамзиным и В. А. Жуковским.

<sup>5</sup> *...и матери своей печали вид имеет!*... — Строка из стихотворения «Меланхолия» Н. М. Карамзина (см. выше).

В. Киселев

## Вольдемар

(«Вы помните старика Вольдемара...»)  
(С. 316)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 41. № 19. Октябрь. С. 185—192 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Вольдемар» и указанием источника в конце: Энгель.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 («Смесь»). С. 228—237; Пвп 2. Ч. 3. С. 217—223. Тексты ВЕ, Пвп 1, 2 идентичны.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее сентября 1808 г.

Источник перевода: *Engel J. J. Tobias Witt* [Тобиас Витт] // *Engel J. J. Schriften. Bd. 1—12. Berlin, 1801—1806. Bd. 1. S. 87—98.* («Philosoph für die Welt»; *Sechstes Stück*). Атрибуция: *Eichstädt. S. 14.*

Жуковский переводит из «Светского философа» Энгеля его пьесу № 6 (*Sechstes Stück*) из первого тома. Издателя ВЕ не могли не привлечь прежде всего ее нраво-описательное содержание и практическая философия, столь свойственная немецкому автору и близкая его русскому интерпретатору.

Перевод адекватно и близко к тексту передает сочинение Энгеля. Изменению подвергаются практически все реалии: имена героев, их род занятия. Так, главный герой, как это уже явствует из заглавия, *Tobias Witt* превращается в Вольдемара (возможно, это отзвуки чтения романа немецкого писателя и философа Ф.-Г. Якоби «Вольдемар», появившегося в 1779 г.), его знакомец *Till* — в Вольфа, «*ein alter Arithetikus Veit*» — в математика Фейта; «*Tanzmeister Fink*» (учитель танцев) — во француза Белота, с уточнением: «какого звания человек, не помню» и с ироническим определением: «стрекоза»; купец *Flau* получил фамилию Флик, «*der Stadtproöte Schall*» стал уездным стихотворцем Фефером, а «*Weinhändler Grell*» (торговец вином Грелль) — пивоваром Кауцем и т. д. Эти метаморфозы не больше чем игра фантазии переводчика, позволившая оживить повествование.

*А. Янушкевич*

### Слезы

(«Сколько различия в слезах!..»)

(С. 319)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 41. № 19. Октябрь. С. 193—196 — в рубрике «Литература и смесь», с подписью в конце: Неккер.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее сентября 1808 г.

Источник перевода: *Les larmes* [Слезы] // *Manuscrits de M<sup>r</sup> Necker, publiée par la fille. Geneve, 1804. P. 102—105.*

Автором переведенного Жуковским текста является Жак Неккер (1732—1804), известный французский государственный деятель, возглавлявший финансовое ведомство при Людовике XVI. 11 июля 1789 г. Людовик дал отставку Неккеру и приказал ему немедленно покинуть Париж, что послужило поводом к восстанию 12, 13 и 14 июля, и король вынужден был призвать его обратно. Когда национальное собрание отвергло его план нового займа и приняло предложение Мирабо выпустить ассигнации, Неккер подал в отставку в 1790 г. В 1804 г. дочь Ж. Неккера Анна Луиза Жермена Неккер, знаменитая французская писательница

Жермена де Сталь, опубликовала его рукописи. Позднее они вошли в издание «*Mémoires sur la vie privée de mon père, suivis des mélanges de M. Nescer*», вышедшие в Париже в 1818 г.

Жуковский избрал для перевода фрагмент «*Les larmes*», представляющий собой § 43 в издании «*Manuscrits de M<sup>r</sup> Necker*» — наиболее сентиментальный, дополнявший в контексте номера перевод «Меланхолии» К. Пихлер (см. выше), с развернутым авторским примечанием, воплощающим романтическую «философию грусти». В подобном духе переосмыслиется и категория «слез», становящаяся из приметы чувствительной и гуманной натуры, альтруистичной, отзывчивой к страданиям окружающих, принадлежностью романтически настроенной личности, устремленной в бесконечное: «когда оживится в ней (душе) воспоминание о бренности бытия и неравенстве его продолжения, тогда не будем уклоняться от чувства, приводящего нас в волнение, дадим свободу сим сладким слезам». В свой перевод, помимо отсылок к создаваемой «философии грусти», Жуковский включил и личные аллюзии, намек на отношения с М. А. Протасовой и своеобразный моральный урок ей. По образному строю «Слезы» можно соотнести с автобиографическим посланием «К Нине» (см.: ПССиП. Т. I. С. 528—529). Перевод достаточно близок к подлиннику, только имя *Idalie* заменено Жуковским на «Эльмина».

<sup>1</sup> Сюзанна Неккер (урожденная Кюршо де ла Нассе, 1739—1794), французская писательница, жена министра Ж. Неккера, мать знаменитой Ж. де Сталь. Сюзанна Неккер воплощала для современников образец чувствительной натуры, истинно сентиментальной личности. Она оставила после себя несколько небольших произведений морально-публицистического характера («*Des inhumations précipitées*», 1790; «*Réflexions sur le divorce*», 1794), в которых горячо защищала нерасторжимость брака, ценность благотворительности и т. п. Когда ее муж Жак Неккер стал министром финансов, она занялась упорядочением тюрем и госпиталей, написала «*Mémoire sur l'établissement des hôpitaux*» и, учредив в Париже больницу на 120 кроватей, была ее первой директрисой. Достоинства Сюзанны Неккер были оценены выдающимися людьми, бывавшими у ее мужа, среди ее почитателей — Ж. Бюффон, Ж. Ф. Мармонтель, Д. Дидро, Ж. Ф. Лагарп, Ж. д'Аламбер и др. Писательская популярность пришла к Сюзанне Неккер после смерти. Ее высказывания, воспоминания, заметки были собраны в книгах «*Mélanges extraits des manuscrits de m-me Necker*» (P, 1798), «*Nouveaux mélanges*» (P, 1801), «*Esprit de m-me Necker*» (P, 1808), создавших образ простой по происхождению (отец — бедный кальвинистский пастор), но умной, образованной и чрезвычайно эмоциональной женщины, отличающейся чистотой личной жизни и высокогоуманными воззрениями. Заметки Сюзанны Неккер пользовались успехом и у русских сентименталистов, воспринимавших ее как «Ларошфуко для дам» (см.: Минерва. 1806. Ч. 1. Февраль. С. 99—100; Дамский журнал. 1823. Ч. 2. № 7. С. 11—15). Источником переводов, в частности в журнале «Минерва», издававшемся в типографии Московского университета, называется «*Journal des Dames et des Modes*», который мог быть использован и Жуковским.

*И. Айзикова. В. Киселев*

## Прусская ваза

(Повесть г-жи Эджворт)

(«Известно, что Фридрих II, завоевав Саксонию...»)

(С. 320)

Автограф неизвестен.

Копия: РНБ. Оп. 2. № 45. Л. 1—19 — первоначальная редакция.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 41. № 20. Октябрь. С. 268—288; Ч. 42. № 21. Ноябрь. С. 3—29 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Прусская ваза. Повесть г-ж Эджворт».

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 2 («Повести»). С. 50—109 с заглавием: «Прусская ваза. Повесть г-жи Эджворт»; Пвп 2, Ч. 1. С. 251—291 — с тем же заглавием. Тексты ВЕ, Пвп 1, 2 идентичны.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее начала октября 1808 г.

Источник перевода: *Edgeworth M. The Prussian Vase [Прусская ваза] // Edgeworth M. Moral Tales for young people. 3 v. London, 1806. V. 1. P. 197—255. Атрибуция: Eichstädt. S. 13.*

Мария Эджворт (1767—1849), английская писательница, автор повестей, романов и педагогических трактатов. Устойчивый интерес Жуковского к творчеству М. Эджворт на протяжении длительного времени, от 1800-х до 1850-х гг., был обусловлен своеобразием нравственно-философской и эстетической позиции писательницы, ориентированной на традиции Просвещения. Основные принципы жизненного поведения М. Эджворт, сформированные под сильным влиянием отца — Ричарда Ловелла Эджворта, ученого, просвещенного ирландского земледельца и члена парламента, выдающегося педагога, получили воплощение в универсальном для всей деятельности писательницы синтезе педагогики и художественного творчества, в актуализации проблем нравственной практической философии и этики во всех сферах человеческой жизни. Известность М. Эджворт принесли ее книги по воспитанию детей, написанные в виде очерков и коротких рассказов для детей и взрослых («*Essay on practical education*», 1798; «*Early lessons*», 1822—1825), очерки ирландской жизни («*Essay on Irish Bulls*», 1802) и роман «*Castle Rakrent*» (1800), а также многочисленные повести и романы о жизни английского общества («*Belinda*», 1804; «*Leonora*», 1806; «*Tales of Fashionable*», «*Popular tales*», 1809; «*Helen*», 1834 и др.). В произведениях М. Эджворт получили развитие идеи просвещенного правления (монарха, государства), национальной и конфессиональной терпимости, просветительская концепция права личности на свободу и самоопределение. Художественная проза М. Эджворт отличается интересом к изображению повседневной жизни, непосредственностью наблюдений, ясностью и простотой повествования.

В библиотеке поэта сохранилось несколько изданий художественных произведений М. Эджворт на английском, французском и немецком языках: *Edgeworth M. Petite galerie morale, de l'enfance. Par Mme Loise Sw.-Belloc. T. 2, Paris, 1825. Описание. № 640; Moral tales. Vol. 1—2. Paris, 1827. Описание. № 963; Hélène. Traduit par L. Sw.-Belloc. N. 1—3. Paris, 1834. Описание. № 965; Ausgewählte Erzählungen. Bd. 1—4. Stuttgart, 1840. Описание. № 966.*



Интерес Жуковского к повестям М. Эджворт имел устойчивый характер. На страницах ВЕ 1808—1810 гг. Жуковский опубликовал переводы трех повестей М. Эджворт: «Прусская ваза», «Лиммерикские перчатки» и «Мурад несчастный». Позже, в книге «Contes de Miss Edgeworth» 1840 года издания Жуковский подчеркивает в оглавлении 1 тома названия пяти повестей: «Simple Suzanne», «Laurent le Fainéant», «Une Révolte de college ou l'Esprit de partie», «Mademoiselle Panache», «Les Orphelins». Жуковский настойчиво рекомендовал А. П. Зонтаг читать прозу М. Эджворт не только как образец стиля книг для детей («Слог для детей должен быть прост и ясен, надобно найти середину между сухостью и болтовней. (...) В собрании Miss Edgeworth есть много прекрасного» (Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904. С. 101, 103)), но и как одного из создателей романа нового времени. В письме к А. П. Зонтаг в апреле 1836 г. Жуковский дал высокую оценку роману «Hélène», поставив М. Эджворт в ряд лучших английских романистов: «Напишите что-нибудь простое, привлекательное истиной происшествий и локальной верностию. А чтобы понастроиться, то перечитывайте лучшие романы В. Скотта, Клариссу, Miss Edgeworth, особенно Hélène. (...) Чтобы нравственность была в применении; но чтобы в самом романе было только живое, верное изображение человека и общества» (Уткинский сборник. С. 112).

Жуковский высоко ценил просветительскую направленность творчества М. Эджворт и ее деятельность как педагога, автора книг о воспитании детей. Об этом свидетельствуют многочисленные издания педагогических работ М. Эджворт в библиотеке поэта, начиная с изданий 1801 г.: Edgeworth M. Education pratique. Т. 1—2. Paris, 1801. Описание. № 962; Education familière, ou Série de lectures pour les enfans, depuis le premier âge jusqu'à l'adolescence. Т. 7—8. Bruxelles, 1832. Описание. № 964; Education familière ou Séries de lectures pour les enfans, depuis le premier âge jusqu'à l'adolescence, tirées de divers ouvrages. Т. 1—12. Paris, 1847. Описание. № 968; Les jeuns industriels, faisant suite à l'Education familière. Т. 1—8. Paris, 184[...]. Описание. № 969.

В переписке Жуковского с А. П. Зонтаг и А. П. Елагиной имя М. Эджворт неизменно находится в ряду самых известных европейских моралистов и педагогов. Под влиянием и по рекомендации поэта были осуществлены А. П. Елагиной переводы педагогических трудов М. Эджворт, в частности, в журнале «Библиотека для воспитания» было опубликовано «Практическое воспитание. Соч. М. Эджворт. Перевод с Английского» (1843. Ч. I; 1844. Ч. II).

В ОР РНБ хранится рукопись перевода «Прусской вазы» в форме тетради, сшитой из листов синей бумаги того же размера и качества, как та, на которой запечатлен автограф Жуковского «Перечень задуманных произведений (1800—1810 годов)». Рукопись, названная «Прусская ваза» и озаглавленная в архивном паспорте как «Первоначальная редакция перевода (1807—1808)», выполнена тремя характерными почерками, позволяющими предположить участие в ее создании (или переписке) сестер Юшковых, Анны и Авдотьи (к этому времени уже Киреевской), и Маши Протасовой, неоднократно привлекавшихся Жуковским к переводам для ВЕ. За отсутствием чернового автографа вопрос об авторстве остается открытым, однако необычайная точность следования этого перевода за оригиналом, искусственность и тяжеловесность некоторых синтаксических конструкций, устраненных в журнальной публикации, выдают ученический характер первоначальной редакции. Рукописный текст перевода и вариант, напечатанный

в ВЕ (1808, № 20, 21), предоставляют важный материал для характеристики нравственной, общественной и эстетической позиции Жуковского и его бунинско-муравьевского окружения. Выбор повести, в основу которой положен сюжет о несправедливых поступках государя в отношении пленной художницы Софьи Мансфилд и невинно заключенного под стражу офицера Августа Ланицкого, вступившегося за ее честь, характеризуют позицию Жуковского и его помощниц как неприятие насилия в отношении слабых и глубокое сочувствие к жертвам произвола. Жуковский на протяжении всей повести сохраняет четко обозначенную в повести М. Эджворт оппозицию понятий: свобода и рабство.

Мысли о необходимости участия в судьбе бедных людей и глубокое к ним сострадание получали дополнительную энергию за счет журнального контекста. В № 21, где завершалась публикация «Прусской вазы», в X разделе была опубликована рецензия Жуковского «О новой книге» (о переводе «Училища бедных», сочинении госпожи ле Пренс де Бомон, сделанного Настасьей Плещеевой, матерью друга Жуковского, А. А. Плещеева, бабушкой будущих декабристов). Рецензия Жуковского явилась органичным продолжением темы, обозначенной в «Прусской вазе», — о необходимости просвещения бедных людей. «Просвещение, — рассуждает Жуковский, — что бы ни говорили о нем суровые люди, которые судят о вещах по одному только их злоупотреблению — необходимо для человека во всяком состоянии, и может быть благотельно в самой хижине земледельца. Я разумею под именем Просвещения приобретение настоящего понятия о жизни, знание лучших и удобнейших средств ею пользоваться, усовершенствование бытия своего, физического и морального» (ВЕ. № 21. С. 67). Таким образом, повесть М. Эджворт обретала на страницах ВЕ особую актуальность, общественную и нравственную направленность, обусловленную важностью вопроса об институте крепостного права в России.

В переводе Жуковского в полном объеме сохранены, а порой уточнены исторические реалии, связанные с характеристикой прусского короля Фридриха II Великого (1712—1786) и его эпохи: воссозданы детали мирного и военного быта, географические топонимы, названия произведений искусства, говорится о картинной галерее в Сан-Суси, об увлечении производством фарфора (упоминаются имя известного английского мастера Веджвуда из Эртрурии, название итальянской вазы Барберини); о событиях Фридрихова времени (реформирование судов, организация военных школ), о маршировках и парадах на плацу в Потсдаме, о крепости в Шпандау; о дворцовой жизни, о нищенском положении рабочих на Мейссенской и Берлинской мануфактурах; об активном общении Фридриха с учеными и художниками Европы. Следуя авторской тенденции точно воссоздавать картины истории, Жуковский заменяет живописание известного исторического лица его конкретным именем: в оригинале говорится, что Прусскую вазу король намерен был отослать в подарок *«bel esprit of your acquaintance»* (буквально: *«остроумному человеку из вашего круга знакомых»*). В рукописной редакции эта фраза переведена: «Я (...) хотел уже послать сию вазу в Париж к одному ученому, общему нашему другу» (Л. 8), в ВЕ: «Я хотел подарить эту вазу Вольтеру» (С. 284).

В поисках форм создания исторической картины, понятной и достоверной для русского читателя, Жуковский русифицирует отдельные слова, но сохраняет при этом историко-архивный колорит: адвокаты называются «стряпчими», прошение «челобитной», кроны «рублями» (в рукописной редакции) и «ефимками», залы «горницами» (в рукописной редакции) и «сенями».

В сравнении с оригиналом в переводе усилена драматизация нравственно-философских коллизий и психологических характеристик героев. Жуковский делает целый ряд сокращений: исключается упоминание о проекте Фридриха обучать военному делу евреев и рассуждение о стремлении прусского короля понравиться европейским выдающимся людям; при описании судебного следствия повествовательная форма заменяется диалогом, изменяется финал повести: в переводе она заканчивается не дидактическим резюме о превосходстве английской конституции над всеми прочими, а завершающим сюжет признанием Фридриха своей ошибки.

Акцентируя нравственно-этический аспект конфликта, Жуковский усиливает эмоционально-психологический тон повествования, стремясь к поэтизации образов страдающих героев, и сгущает мрачные краски при характеристике злодея Соломона.

The Prussian Vase

Рукописная редакция

BE

There were, indeed, many countenances in which great dejection was visible. «Look at that picture of melancholy» — resumed the English man. Pointing to the figure of Sophia Mansfield, — observe, even now whilst the overseer is standing near he, how reluctantly she works! 'Tis the way with al Islaves. ( Действительно, на многих лицах было уныние. Взгляни на эту печальную картину (меланхолии), — продолжал англичанин, указывая на Софью Мансфилд, — даже сейчас, когда надсмотрщик стоит рядом, как неохотно она работает! Это дорога всех рабов.)

В самом деле, на лицах сих несчастных видна была горесть, снедающая их сердце. Взгляните пожалуйста на этот печальный образ меланхолии, — продолжал Англичанин, указывая на Софью Мансфилд, — посмотрите, с каким отвращением она работает: таков жребий всех невольников! (РНБ. Оп. 2. № 45. Л. 2 об.)

Взгляни на бледные, задумчивые лица их, взгляни на эту молодую девушку, — продолжал он, указывая на Софью, — ей, верно, не более семнадцати лет, но она почти увяла, и горесть, написанная на лице ее, конечно, умертвит ее прежде времени. Посмотри, с каким отвращением она работает: таков жребий невольников! (С. 271)

<sup>1</sup> ...Известно, что Фридрих II, завоевав Саксонию, переселил многих художников из Дрездена в Берлин... В 1756 г. Фридрих II напал на принадлежащую Австрии Саксонию и завоевал Дрезден.

<sup>2</sup> ...он осматривал Мейсенскую мануфактуру... — Мейсенская мануфактура основана в 1710 г. курфюрстом Августом II. Секрет производства белого фарфора одним из первых в Европе открыл И. Ф. Бетгер (1682—1719), руководящий мейсенской мануфактурой.

<sup>3</sup> ...Веджвуд сделал прекрасную вазу по образцу Барбериниевой и Портландовой... — Веджвуд Джозайя (1730—1795) — основатель гончарного завода в Страффордшире, изобрел род керамики, напоминающий по качеству фарфор. Портландская ваза — одно из самых знаменитых произведений Веджвуда. Она представляет собой копию античной вазы, выполненной из стекла в конце I в. до н. э. Много-

фигурный белый рельеф вазы иллюстрировал миф о Пелее и Фетиде. Находилась в палаццо Барберини в Риме.

<sup>4</sup> ...многие... писали поэмы в похвалу великого художника... — Английский поэт Э. Дарвин (1731—1802), знакомый отца М. Эджворт, в своем произведении «Ботанический сад» описал искусство Веджвуда.

<sup>5</sup> ...вазы привезены в Сан-Суси и выставлены по приказу короля в картинной галерее... — Сан-Суси в составе дворцово-паркового комплекса, заложенного в Потсдаме в 1747 г., стал летней резиденцией Фридриха и получил неофициальное название «прусского Версаля». В 1763 г. во время передышки между войнами Фридрих заложил в Сан-Суси *Новый Дворец*.

<sup>6</sup> ...там узнаете причину Августова заключения в Шпандау... — Шпандау — крепость, одно из наиболее сохранившихся в Европе строений эпохи Возрождения.

<sup>7</sup> ...я хотел подарить эту вазу Вольтеру... — Вольтер был личным секретарем Фридриха II, находясь долгое время при прусском дворе. Фридрих II посылал в Ферней, имение Вольтера, изделия своей фарфоровой фабрики. В 1772 г. Вольтер получил в дар от короля сервиз, на котором были изображены многочисленные аллегории (Арион, Лавр, Лира и Дельфин). В 1775 г. Вольтер получил в подарок скульптурный бюст с латинской надписью: «Бессмертному мужу».

Э. Жилькова

### Гёте, изображенный Лафатером

(«Историку столь же трудно изобразить гений...»)

(С. 341)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 42. № 21. Ноябрь. С. 44—48 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: вторая половина 1808 г. (не позднее второй декады октября).

Источник перевода: *Caractère de Göthe tracé Lavater* [Характер Гёте, изображенный Лафатером] // *Caractères des poètes les plus distingués de l'Allemagne. Avec leurs portraits, gravés par l'éditeur Mr. Pfenninguer, peintre. Zurich, 1789. P. 288—291.* Атрибуция: Симанков.

Сведения о том, что источником этого перевода являются «Физиогномические фрагменты» Лафатера (см., например: Сводный каталог сериальных изданий России (1801—1825). Т. 1: Журналы (А—В). СПб., 1997. С. 259), не соответствуют действительности. Многолетний друг и адресат Гёте Иоганн Каспар Лафатер (см. о нем примеч. к статье «Лафатер» в наст. изд.) в своих «Физиогномических фрагментах» оставил несколько зарисовок великого немецкого поэта. См.: *Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, von Johann Caspar Lavater. Dritter Versuch. Mit vielen Kupfern. Leipzig und Winterthur, 1777. S. 218—224 (IX. Abschnitt. VI. Fragment).* Многочисленные портреты Гёте разного возраста позволяют Лафатеру сделать проницательные наблюдения над его харак-

тером с точки зрения физиогномистики, но эти конкретные зарисовки так и не складываются в тот обобщающий портрет, который предлагает Жуковский в ВЕ. Да и сама аналитическая манера Лафатера-ученого отличается от экспрессивного изображения Гёте в переведенной статье. И дело здесь не только и не столько в стиле переводчика. Он обратился к другому источнику.

Автором статьи был швейцарский писатель и критик Леонгард Мейстер (1741—1811). Его книга «Характеристики немецких поэтов» (*Charakteristik deutscher Dichter*), выходявшая несколькими изданиями в течение 1785—1789 гг. и содержащая словесные портреты почти всех известных немецких писателей, пользовалась популярностью в России. Еще Карамзин во время своего путешествия по Швейцарии встретился с Мейстером и дал его следующую характеристику: «Он говорит почти так же хорошо, как пишет. Я с удовольствием читал некоторые из его сочинений (*Kleine Reisen* и *Charakteristik Deutscher Dichter*), и поблагодарил его за это удовольствие» (*Карамзин Н. М. Письма русского путешественника*. Л., 1984. С. 122—123). Карамзин неоднократно обращался к «Характеристикам...» Мейстера на страницах «Московского журнала» в 1792 г., переводя его статьи «Жизнь Клопштока», «Соломон Геснер», «Виланд» (см.: *Кафанова О. Б. Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783—1800 гг.)* // XVIII век. Сб. 16. Л., 1989. С. 327, 328, 330). Его книга была использована Карамзиным при описании смерти поэта Х.-Э. Клейста в сражении при Кунерсдорфе (см.: *Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника»*. СПб., 1899. С. 347—349).

В немецких изданиях книги Мейстера очерк «Гёте, изображенный Лафатером» отсутствует. Его удалось обнаружить в цюрихском издании, которое является сокращенным переводом «Характеристик...» на французский язык.

<sup>1</sup> Здесь соотносятся известный фламандский живописец Ван Дейк (1599—1641) и король франков Хлодвиг I (ок. 466—511), завоевавший почти всю Галлию и положивший начало Франкскому государству.

*В. Симанков, А. Янушкевич*

**Успокоение сомневающегося**  
(«Назову ли природу расточительною...»)  
(С. 342)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 42. № 21. Ноябрь. С. 48—51 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Мориц.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: вторая половина 1808 г. (не позднее второй декады октября).

Источник перевода: *Moritz C. P. Zweifel und Beruhigung* [Сомнение и успокоение] // *Moritz C. P. Launen und Phantasien*. Berlin, 1796. S. 50—53. Атрибуция: *Eichstädt*. S. 17.

Третье обращение к сочинениям немецкого писателя К.-Ф. Морица (см. примеч. к текстам «Жизнь и деятельность», «Сила несчастья» в наст. издании) продолжает размышления Жуковского о самосовершенствовании. В целом сохраняя основное содержание статьи Морица, переводчик уже изменением заглавия (вместо «Сомнение и успокоение» — «Успокоение сомневающегося») акцентирует активность личностного начала, внимание не к моральным дефинициям, а к воспринимающему их субъекту. За счет усиления эмфатики: замена изъяснительного наклона глаголов императивом («Обуздай...», «Внимай...», «вопроси», «преклони»), введением отсутствующих у Морица эмоционально-насыщенных, анафорических конструкций: «Никто, никто» — Жуковский подчеркивает личностную позицию субъекта речи.

Наиболее отчетливо позиция автора и его «сомневающегося» героя выявляется в переводческих новациях двух последних абзацев: вознесение души к Вечному сопровождается воссозданием красоты окружающего мира (сень дремучей дубравы, грозный наклон гранитного утеса, холм, дымящийся утренним туманом, тихое озеро, отражающее последний розовый блеск заходящего солнца, первая песнь жаворонка). Мотив «распространения души», столь отчетливо проявленный в эстетических манифестах Жуковского 1815—1824 гг. («Рафаэлева мадонна», «Явление поэзии в виде Лалла Рук» и др.), получает в переводах ВЕ свое первоначальное воплощение. Этическое и эстетическое (см. статью «О нравственной пользе поэзии») неразделимы в сознании молодого Жуковского.

<sup>1</sup> Для сравнения отличий оригинала и перевода приведем последний абзац текста:

Мориц	Жуковский
Morgen in der Frühe will ich jenen Berg besteigen, und der kommenden Sonne entgegen sehen — bis dahin soll es stille seyn Morgen in der Frühe will ich jenen Berg besteigen, und der kommenden Sonne entgegen sehen — bis dahin soll es stille seyn in meiner Seele, damit ich durch den erquickenden Schlummer der Nacht zum neuen Denken gestärkt erwachen möge!	Завтра, на заре, взойду на вершину сей горы и там буду ожидать солнца — с первой песнею жаворонка душа моя вознесется к Вечному! Смотря на мирное, величественное пробуждение творения, она преисполнится восторгом, и вместе с ним прольются в нее вера, успокоение, надежда.

(Завтра, на рассвете я хочу взойти на эту гору и смотреть на восходящее солнце — а до тех пор должно быть тихо в моей душе, чтобы от освежающего ночного сна я вновь мог восстать с новыми силами для новых мыслей!)

*О. Лебедева, А. Янушкевич*

## Портрет

### *Истинное происшествие*

(«Я шел по прекрасной долине Луарской...»)

(С. 344)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 42. № 22. Ноябрь. С. 95—108 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады ноября 1808 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. de. Le Portrait de Famille. Anecdote* [Фамильный портрет. Анекдот] // *Sarrazin A. de. Contes nouveaux et nouvelles. Paris, 1813. Т. 1. Р. 98—121.* Атрибуция: Симанков. Издание, по которому выполнен перевод, не установлено.

Перевод новеллы Адриана Сарразена, (1775—1852), французского писателя, автора сборника восточных сказок «*Caravan sérail*», «*Contes moraux et nouvelles*», а также «*Bardouc ou le Pâtre du mont Taurus*». Подлинник имеет жанровое определение «анекдот», в публикации на страницах ВЕ это — «истинное происшествие», жанровая разновидность рассказа, обнаруживающая интерес Жуковского к изображению жизни обыкновенного человека, к разработке принципов психологической прозы с острым сюжетным действием, основанном на цепи случайностей, и со стихией комического повествования. Перевод довольно близок к подлиннику, но Жуковский дает героям другие имена: Лудовик де Моранж вместо Шарля де Моранжа, Виктор вместо Жюльена, Жанетта вместо Колетты, Лоран вместо Себастьяна.

Есть некоторые отличия в деталях. Приведем характерные примеры. В рассказе о сцене у нотариуса герой восклицает: «Я вынул из кармана двенадцать тысяч франков и бросил их с гордым видом на стол. Кто же оставался смешным? Конечно, они. Лоран и нотариус смотрели на меня во все глаза, не зная, спят ли они или видят наяву лудоры» — ср. у Сарразена: *Alors, je tire de ma poche les douze mille francs en beaux doubles louis que j'étais fièrement sur la table. Qui fut étonné? Sébastiens et le notaire restent un instant la bouche béante.* Или в сцене распродажи вещей де Моранжа его наследниками: «Дней через десять я узнаю, что наследники моего благодетеля приехали в замок, и что все вещи, ему принадлежавшие, будут проданы с публичного торгу. Я любопытен был видеть эту продажу, побежал в замок — сердце мое стеснилось, когда я увидел, с каким равнодушием родные племянники доброго господина Моранжа отдавали в чужие руки любимые вещи своего дяди, который осыпал их благодеяниями, который оставил им богатое наследство». — Ср.: *Au bout de quinze jours j'apprends que les héritiers sont arrivés au château, et qu'on fait une vente de tous les meubles qui lui ont appartenu. La curiosité me conduit, comme tant d'autres, à cette vente. Je vois tous les meubles de mon bienfaiteur passer dans des mains étrangères, et des larmes coulent de mes yeux, tandis que la niece et le niveau de M. de Morange regardent ce spectacle avec la plus froide insensibilité.*

В ВЕ (1817, № 6) был напечатан перевод М. Каченовского «Фамильный портрет». Б. В. Томашевский указывал на сюжетное родство, существующее между этим переводом Каченовского и «Портретом» Н. В. Гоголя. Однако, как справедливо заме-

чает В. И. Симанков, «принимая во внимание существование предшествующего перевода Жуковского, естественнее будет допустить, что Гоголь познакомился с указанной новеллой Сарразена не по переводу Каченовского, но по переводу Жуковского (если таковое знакомство вообще было)». См.: Симанков. С. 124.

<sup>1</sup>...изображающий пожилого человека, в мундире и с крестом святого Людовика в петлице... — Орден святого Людовика IX, короля Франции (1214—1270), был учрежден во Франции в 1693 г. для награждения офицеров.

<sup>2</sup>...четыре франка! — Франк — французская монета.

<sup>3</sup>...пять ливров! — Ливр — денежная единица во Франции до введения в 1799 г. франка.

<sup>4</sup>...двадцать пять двойных луидоров! — Луидор — старинная золотая монета Франции, выпущенная при Людовике XIII; двойной луидор — золотая монета Людовика XVI, выпущенная в 1789 г.

<sup>5</sup>...не осталось почти ни лиарда денег... — Лиард — средневековая французская монета XIV—XVIII вв.

Э. Жиликова

### Фелленберг и Песталоцци

(Отрывок письма из Швейцарии)

(«Наконец, я путешествую по Швейцарии...»)

(С. 350)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 42. № 23. Декабрь. С.185—197 — в рубрике «Литература и смесь», с пометой в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по первой публикации.

Датируется: не позднее ноября 1808 г.

Источник перевода неизвестен.

Название переведенного Жуковским «отрывка письма из Швейцарии» — «Фелленберг и Песталоцци» — связано с одной из центральных, нравственно и общественно значимых проблем — воспитание и образование детей. Филипп Эммануил Фелленберг (1771—1844) и Иоганн Генрих Песталоцци (1746—1827) — два выдающихся швейцарских педагога, создатели оригинальных систем образования, основанных на идеях Руссо и оказавших огромное влияние на европейскую педагогическую мысль. Фелленберг, сторонник соединения детского труда (в основе земледельческого) с обучением и воспитанием, устроил в 1794 г. в Гофвиле воспитательные учреждения с разными уровнями образования в зависимости от экономического достатка семьи ученика: сельскую школу — для бедных, пансион и учительскую семинарию для детей благородного сословия.

Песталоцци, автор большого числа педагогических трудов, в том числе и «Журнала для воспитания», создал систему развивающего обучения ребенка, включающую развитие познавательных способностей, отказ от механической



зубрежки, требование гармонического развития всех сил и способностей человеческой природы. В отличие от Фелленберга, система Песталоцци характеризовалась демократизмом: «целью деятельности Песталоцци было всеобщее начальное образование народа» (*Данилевский Р. Ю.* Россия и Швейцария. Литературные связи XVIII—XIX вв. Л., 1984. С. 28). Песталоцци руководил известными воспитательными заведениями в Швейцарии: «Учреждением для бедных» (1798—1799), средней школой и интернатом в Бургдорфе (1800—1804) и Ивердоне (1805—1825). Имя Песталоцци стало известно в России при участии Фредерика Сезара Лагарпа (1754—1838), видного швейцарского государственного деятеля, воспитателя великого князя Александра Павловича в 1784—1795 гг. и рекомендовавшего русскому императору Павлу I некоторые педагогические указания швейцарца (См.: *Данилевский Р. Ю.* Указ. соч. С. 20—21). Известно, что между Песталоцци и ректором Дерптского университета, профессором физики Г. Ф. Парротом в 1804 г. шла переписка по поводу возможного приезда педагога на службу в Россию. (См.: *Ротенберг В. А., Шабалева М. Ф.* Связи И.-Г. Песталоцци с Россией в первой четверти XIX в. // Советская педагогика. 1960, № 8. С. 119.) Во время обучения в Геттингенском университете Фелленберга и Песталоцци посетил в Швейцарии А. С. Кайсаров, друг Ан. И. Тургенева и Жуковского (см. там же). Ознакомлению с идеями Песталоцци в России способствовали переводы и обсуждения его трудов в журналах. В 1806—1807 гг. Императорской Академией наук был опубликован перевод «Книги для матерей или Способа учить дитя наблюдать и говорить» с предисловием переводчика, учителя В. А. Жуковского, Ф. Г. Покровского. В ВЕ в 1807 г была помещена статья профессора М. Т. Каченовского «О новой методе воспитания, изобретенной Песталоццием, швейцарским педагогом» (Ч. 16. С. 183—204). В дерптском и петербургском окружении Жуковского, помимо Г. Ф. Паррота, с Песталоцци был связан Иоганн Мюральт (Муральт, 1780—1850), бывший с 1803 г. (до переселения в Россию в 1810 г.) одним из основных сотрудников учебных заведений Песталоцци в Бургдорфе, Мюнхенбухзее и Ивердоне (См.: *Ротенберг В. А., Шабалева М. Ф.* Указ. соч. С. 126), а затем учредителем училища при реформатской церкви в Петербурге, в котором нашли практическое воплощение идеи Песталоцци (см.: *Данилевский Р. Ю.* Указ. соч. С. 31—35).

Таким образом, появление статьи Жуковского в ВЕ было подготовлено всеобщим и растущим интересом общества к вопросам детского воспитания и педагогическим системам швейцарцев.

Для самого Жуковского эти проблемы были предельно важны в связи с личной педагогической практикой в воспитании сестер Протасовых и малолетних, оставшихся безотца детей В. И. и А. П. Киреевских. В записной книжке «Разные замечания. 1807», среди рассуждений на морально-философские темы, представляющих, по мнению А. С. Янушкевича, «опыт примечаний, комментарий к моральным статьям из знаменитой французской энциклопедии Дидро и Д'Аламбера» (ПССиП. Ч. XIII. С. 463), важное место занимают записи на тему «первого воспитания ребенка», отношений «матери и дитя» (см. там же. С. 38, 42, 46). В письме к И. И. Дмитриеву от 10 марта 1810 г. из Москвы Жуковский, рисуя свои планы, включает в их круг знакомство с Песталоцци: «Иногда, вообразив, что счастье в Петербурге, готов уже взять подорожную; то вздумается, что оно на каких-нибудь Швейцарских горах, и я мечтаю о путешествии в Швейцарию, о двух-трех годах, проведенных у Песталоцци, для того чтобы завести что-нибудь подобное его институту в России и быть через то

истинно полезным» (РА. 1900. № 9. С. 9). Имя Песталоцци как высшего педагогического авторитета называется в письме А. П. Елагиной к В. А. Жуковскому от 15 мая 1815 г. в связи с постоянно обсуждаемым ими вопросом воспитания детей. «(...) Все мне будет весело жить по часам, расположенным вами, — пишет она. — (...) Меня достанет на все, — (...) я готова быть (...) самим Песталоцци с детьми своими (...)» (Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной. 1813—1852. М., 2009. С. 75).

В своей педагогической практике при обучении великого князя Жуковский использовал некоторые методические приемы Песталоцци (таблицы с рисунками). В библиотеке Жуковского имеется целый ряд произведений, излагающих педагогическую систему Песталоцци (Описание. Указ. имен), в том числе собрание сочинений швейцарского педагога (Pestalozzi's sämtliche Schriften. Stuttgartu. Tübingen, 1819—1829. Bds 1—12).

Жанровое определение очерка как «отрывок письма из Швейцарии» корреспондирует к европейской (перевод «с французского») и русской традиции литературного путешествия в форме писем. Подобно «Письмам русского путешественника» Н. М. Карамзина, повествователь дает подробное описание внимательным взглядом рассмотренных картин в домах Фелленберга, Песталоцци, в замке Вольтера Ферней (распорядок дня, питание, занятия, обучение, обстановка, внешний вид обитателей и т. д.) и воссоздает эмоциональные впечатления путешественника. Заинтересованное внимание к Песталоцци и Фелленбергу проявится во время путешествия Жуковского за границу в августе-сентябре 1821 г. Судя по записям в дневнике, Жуковский из-за недостатка времени не попал «ни в Ивердон, ни в Невшатель» и сокрушался о том, что «это лишило <его> счастья видеть старика Песталоцци» (ПССиП. Т. XIII. С. 209), но он встретился с Карлом Виктором Бонстеттеном, главой швейцарской культуры, говорил с ним о Байроне, М-е Staël и Песталоцци и зафиксировал в дневнике как важное услышанное от Бонстеттена о мадам Сталь — «ее живости с Песталоцци; его *sandeur* [душевной чистоте], его образованием и разговоре; его экономии; опеке от Ивердуна; Песталоцци у М-м Staël» (Там же. С. 211). Жуковский посетил замок Ферней, побывал у Фелленберга и описал в дневнике эти визиты в подробностях и деталях, напоминающих повествование в статье, переведенной им «с французского» в 1808 г.: «Поездка в Гофвиль. (...) Дом Фелленбергов. Магазин для машин. Погреб. Мастерская. Училище бедных и Верли. Дом пенсионеров. Turnanstalt. Дом приготовления для бедных девочек. Сад пенсионеров. (...) Пенсион: горницы, спальни, кабинеты для двух, цветники. Фелленберг; разговор: важность проповедника; главная мысль. О государе. Наш священник. Школа для бедных: их спальня, учебная горница; собственный минеральный кабинет. Верли. О Песталоцци» (Там же. С. 213).

<sup>1</sup> *Приехав в Гофвиль...* — Гофвиль — город в Швейцарии, место жительства Фелленберга.

<sup>2</sup> *Он приказал одному из своих Чичерониев...* — Чичероний — *устар.*, проводник.

<sup>3</sup> *...дочь славного и ученого Форстера...* — Речь, вероятно, идет об Иоганне Георге Адаме Форстере (1754—1794), немецком просветителе, этнографе, ученом-естествоиспытателе.

<sup>4</sup> *...я полетел на берега Невшательского озера, в Ивердон...* — Невшательское озеро в западной части Швейцарии, на берегу которого расположен город Ивердон, место жительства Песталоцци.

<sup>5</sup> Я видел Ферней, прикасался к постели и ко всем мебелим, служившим некогда Вольтеру... — Ферней — город и замок в Швейцарии, где с 1759 по 1778 г. провел последние двадцать лет жизни Вольтер.

<sup>6</sup> ...висят портреты людей ему любезных: Даламбера, Делиля, Гельвеция, Мармонтеля... — д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783), французский ученый-энциклопедист, философ, математик, редактор «Энциклопедии», иностранный почетный член Петербургской Академии Наук; Делиль Жак (1738—1813), французский поэт, автор поэмы «Сады», переводчик Вергилия и Мильтона; Гельвеций Клод Адриан (1715—1771), французский философ, представитель школы французского материализма эпохи Просвещения; Мармонтель Жак Франсуа (1723—1799), французский писатель эпохи Просвещения, участник «Энциклопедии», автор статей по литературе.

<sup>7</sup> ...портрет госпожи дю Шатле... — Шатле Габриель-Эмилия (1706—1749) — французская писательница, известная под именем маркизы du Châtelet, подруга Вольтера, жившая вместе с философом в замке Сирэ последние 16 лет своей жизни.

<sup>8</sup> ...тканый портрет императрицы Екатерины... — Екатерина II (1729—1796) состояла в переписке с Вольтером, Дидро, д'Аламбером; после смерти Вольтера приобрела в 1778 г. его библиотеку, перевезла в Петербург и разместила в Эрмитаже. Во многих повторениях в 1780—1790-х гг. известен тканый шпалерный портрет Екатерины II, созданный по оригиналу Ф. Рокотова.

<sup>9</sup> Я заметил еще три: один Короля Прусского, (...) третий Лекеня, представленного в лавровом венке — Прусский Король Фридрих II (1712—1786) — представитель просвещенного абсолютизма, переустраивающий Пруссию на началах Просвещения; в 1750 г. им был приглашен ко двору Вольтер; Лекень — Генри Луи (1728—1778), величайший трагик французской сцены, признанный Вольтером единственным трагическим актером в широком смысле этого слова.

Э. Жилиякова

### Три пояса (Русская сказка)

(«В царствование великого князя Владимира...»)  
(С. 355)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 42. № 23. Декабрь. С. 197—224 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Три пояса (Русская сказка)», с подписью в конце: N.N.

В прижизненных изданиях: Пвп I. Ч. 1 («Повести»). С. 139—174; Пвп 2. Ч. 1. С. 100—124, с тем же заголовком, без подписи.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее конца ноября 1808 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. Les trois ceintures* [Три пояса] // *Sarrazin A. Le Caravan serail ou Recueil des contes orientaux*: 3 v. Paris, 1810. V. 3. P. 7—57. Атрибуция: Eichstädt. S. 20. Издание, по которому выполнен перевод, не установлено.

Опубликованный с подзаголовком «Русская сказка», текст является переводом «восточной сказки» весьма популярного в начале XIX в. французского беллетриста

А. Сарразена. Это — характернейший образец сентименталистской и преромантической прозы, в которой, как и в поэзии, проявилось стремление к постановке нравственно-этических проблем на фольклорном, национальном материале. Не менее характерным было и то, что «недостаточность теоретических представлений о специфике народного (и, добавим, национального. — И. А.) творчества», как справедливо указывает С. В. Скачкова, «заставляла прибегать к опоре на общепринятые в эстетике и критике образцы», каковыми в русской, как и в западно-европейской литературе первой трети XIX в., в первую очередь признавались арабские сказки (см.: Скачкова С. В. Сказки В. А. Жуковского. (Генезис, источники, жанровое своеобразие): Автореф. дис... канд. филол. наук. Л., 1985. С. 7). Подражание им вызвало к жизни один из примечательных жанров просветительского моралистического эпоса — так называемую «восточную сказку». В период работы в ВЕ Жуковский, по-видимому, особенно симпатизировал и данному жанру, и Сарразену, прославившемуся у себя на родине и за ее пределами своим сборником «*Le Caravan serial ou Recueil des contes orientaux*». Во всяком случае, Жуковским были переведены для публикации в ВЕ несколько «восточных сказок» Сарразена.

Создание «русской сказки» в конце 1800-х гг. было важно Жуковскому не только само по себе, но и в связи с его замыслом русской национальной поэмы «Владимир». Показательно и совпадение времени работы Жуковского над «русской сказкой» «Три пояса» и «русской балладой» «Людмила»: на рубеже 1800—1810-х гг. В этой связи примечательна и запись Жуковского на обложке книги со стихами Г.-А. Бюргера из его библиотеки. Перечисляя названия заинтересовавших его баллад, среди которых большинство принадлежит Бюргеру и Шиллеру, Жуковский вводит в этот список заглавия своих повестей — «Три пояса» и «Марьяна роща» (Янушкевич. С. 93). Здесь любопытен сам факт существования в сознании писателя в конце 1800-х гг. идеи о связи между становлением лиро-эпического жанра баллады и перспективой формирования ведущего прозаического жанра и шире — о взаимодействии прозы и поэзии как плодотворнейшем пути к развитию и той, и другой области художественной литературы в целом и в его собственном творчестве, в частности.

В связи с попыткой Жуковского создать «русскую сказку» на основе «восточной» подлинник подвергся такой переработке, что долгое время перевод считался оригинальным произведением писателя. Три сестры из французского подлинника (Калида, Зелима и Аземи) были переименованы в Пересвету, Мирославу и Людмилу. Повествование введено в определенный период русской истории — княжение Великого князя Владимира — и в подчеркнуто специфическое в национальном отношении пространство Киевской Руси (действие перенесено из Самарканда в окрестности Киева, на берег Днепра и в Киев, в княжеский дворец). Все это позволило переводчику развернуть детальные эпические описания русского быта, русской национальной одежды, русского свадебного обряда. Приведем лишь один из примеров — введенную Жуковским сцену выхода князя Владимира и его сына Святослава в дворцовую палату: «Долго царствовала тишина в княжеской палате. Вдруг заиграла военная музыка; двери растворились с шумом; входят попарно бояре и богатыри, одни в богатых парчовых платьях, другие в великолепных военных доспехах, в золотых кольчугах, в блестящих шлемах, осененные белыми перьями. Они разделяются и становятся по обеим сторонам княжеского трона. Утихает бранная музыка; все глаза обращены на отверстые двери; вдруг является

князь Владимир в богатом княжеском уборе, он ведет за руку молодого Святослава, одетого просто, с открытою головою» (ср.: «Le Sultan, accompagné de son fils, de son grandvisir et des principaux personnages de la cour, parait au milieu de cette brillante assemblée et se place sur un trône enrichi d'or et de pierres riches (Le Caravan serail ou Recueil des contes orientaux. V. 3. P. 50). Подобный принцип эпической детализации, заметно отличающий перевод от подлинника, осуществляется на протяжении всего повествования.

Повышению роли эпического начала служила и ориентация переводчика на традиционные русские фольклорные приемы. Сравним, напр., начало сказки у Сарразена и у Жуковского. «Trois jeunes personnes habitant un petit village non loin de Samarkand»; в переводе — начало, ритмически и синтаксически близкое к зачину русской народной сказки: «В царствование Великого князя Владимира, неподалеку от Киева, на берегу быстрого Днепра, в уединенной хижине жили три молодые девушки, очень дружные между собой». В сказке Жуковского мы встретим не «фею», как у Сарразена, а «добрую волшебницу», которая предстает перед героинями в образе «бедной старушки». Жуковскому принципиально важны свойственная фольклорному сознанию поляризация добра и зла, утроение сюжетных звеньев сказки, ее причудливая игра волшебным и реальным. При этом Жуковский усиливает действие сказочной символики поэтической живописностью. Сказочные образы индивидуализированы фантазией переводчика.

Существенной переработке подвергся образ главной героини, для которой было выбрано славянское имя Людмила, аналогичное имени главной героини одноименной «русской баллады». Не удовлетворенный авторской установкой на ее идеализацию, переводчик с особой силой подчеркивает подвижность и сложность внутренней жизни Людмилы. Разнообразием отличаются и формы ее изображения. Здесь и обращения повествователя к героине, и его эмоциональный комментарий к ее переживаниям и поступкам, и описание внешних проявлений ее чувств, и ее внутренние монологи. Лирико-психологическое начало, его синтез с объективно-эпическим отразились на жанровом уровне перевода, представляющего собой взаимодействие художественных миров сказки и повести. Через год, в 1809 г., Жуковский повторит свой эксперимент и напишет оригинальное «русское старинное предание», «русскую старинную повесть» «Марьяна роща», где, как и в «Трех поясах», «гармонически соединилось, слилось в единое целое историческое и фантастическое» (Троцкий В. Ю. Художественные открытия русской романтической прозы 20—30-х годов XIX века. М., 1985. С. 80).

В 1810 г. Батюшков тоже пишет повесть на древнерусском материале. «Предслава и Добрыня», являясь в прозаическом наследи писателя единственным примером сюжетной прозы, так же, как и «русская сказка» Жуковского, в полной мере отражает тенденции, типичные для карамзинской поэтической прозы. Главное внимание автора сосредоточено не на исторической эпохе, а на «древнем» колорите. Но гораздо важнее другое — принципиальное сходство авторской позиции в повестях Жуковского и Батюшкова. Слова из примечания к публикации «Предславы и Добрыни» в «Северных цветах», приписываемые А. Пушкину или О. Сомову, о том, что в этой повести прежде всего «поэтическая душа Батюшкова отвечает» (Северные цветы на 1832 год. М., 1980. С. 7), верны и в отношении комментируемого перевода Жуковского. Сентиментальная чувствительность, которой густо окрашены повести первых русских поэтов-романтиков, соседствует в них, в

том числе и в «Трех поясах», с глубоким лиризмом, с выражением «прекрасным гармоническим слогом» неповторимых, индивидуальных «нежных, «чувствований» автора (Там же).

Примечательно то, что «русская сказка» Жуковского была впоследствии переведена Карлом фон Кноррингом на немецкий язык (Russische Bibliothek für Deutsche. 1831) с указанием авторства Жуковского.

Вариант текста в ВЕ отличается от публикации в Пвп 1 и 2 более эмоциональным синтаксисом и, соответственно, использованием большего количества восклицательных знаков (напр.: Людмила, бедная Людмила! ты никогда не выйдешь замуж! Кто тебя полюбит! ты не красавица и не богата! — ср. в Пвп 2: Людмила, бедная Людмила, ты никогда не выйдешь замуж. Кто тебя полюбит; ты не красавица и не богата. Или: Будьте рассудительны, скажу лучше, будьте жалостливы! Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной женщины! — ср. в Пвп 2: Будьте рассудительны, скажу лучше, будьте жалостливы. Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной женщины. И т. п.). Встречаются и другие малозначительные разночтения (напр.: «...приблизьтесь, хочу оставить вам памятник моей благодарности» — ср. в Пвп 2: приблизьтесь, я хочу оставить вам памятник моей благодарности»; «...ты будешь смотреть за нашим домом» — в Пвп 2: «...будешь сладить за нашим домом»; «маткина-душка» в ВЕ выделено курсивом, в ПВП 2 курсив снят; «...он не достался ни одной, ибо я унесла его» — ср. в Пвп 2: «он не достался ни одной: я унесла его»; «Но Людмила забывала о них» — в Пвп 2: «Но Людмила не думала о них»; «...все единодушно, выключая одних Пересветы и Мирославы» — в Пвп 2: «...все единодушно, выключая Пересветы и Мирославы»).

<sup>1</sup> *В царствование великого князя Владимира...* — Владимир I Святославич (ок. 960—1015) — киевский великий князь, при котором произошло крещение Руси. Стал новгородским князем в 970 г., захватил киевский престол в 978 г. В 988 г. выбрал христианство в качестве государственной религии Киевской Руси. В крещении получил христианское имя *Василий*. Известен также как Владимир Святой, Владимир Креститель (в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Прославлен в лике святых как равноапостольный.

<sup>2</sup> *Князь Святослав, Владимиров сын* — Святослав Владимирович, (ок. 982—1015), князь древлянский, сын Владимира Святославича. Никоновская летопись сообщает, что в 1002 г. у Святослава родился сын Ян (то есть Иоанн). О нем нет больше никаких сведений, равно как нет и уверенности в достоверности этого известия. Существует версия, что жена Святослава была венгерской принцессой.

*И. Айзикова*

## Примроза и Оливье

(*Истинное происшествие XII века*)

(«Примроза, прелестная дочь герцога д'Ольбана...»)

(С. 367)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 42. № 24. Декабрь. С. 261—271 — в рубрике: «Литература и смесь», с указанием языка источника: (С французского).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.  
Датируется: не позднее ноября 1808 г.

Источник перевода неизвестен.

Перевод с прецедентным жанровым подзаголовком, с балладными мотивами (любовь «прелестной» Примрозы и «прекрасного рыцаря» Оливье и препятствующая им жестокость герцога д'Ольбано, отца героини; побег Примрозы с женихом), проблемами преступления и наказания, нравственного выбора, с образами невинной детоубийцы, пилигрима — чудесного помощника, приносящего спасительную весть; с излюбленными идеями Жуковского о том, что правосудие не равно милосердию, что только раскаяние есть истинное спасение; с сосредоточенностью на характерном хронотопе (средневековые, замок, темница, эшафот), наконец, с балладным финалом (героиня с простертыми к небесам руками видит «вдали зовущие ее милые тени, и через минуту ее не стало») — словом, со всем, что отсылает читателя к «Эоловой арфе», «Людмиле», «Светлане», к поэме «Родрик и Изора», органично входит в русло поисков Жуковского-прозаика конца 1800-х гг. Психологизм, экзальтированная чувствительность, исповедальность речи героев, переплетение эпического и лирического события как основы повествования также показательны для журнальной прозы писателя.

*И. Айзикова, Н. Ветшева*

### **Лиммерикские перчатки**

*(Повесть г-жи Эджворт)*

*(«Был воскресный день...»)*

*(С. 372)*

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 42. № 24. Декабрь. С. 271—300 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады декабря 1808 г.

Источник перевода: *Edgeworth M. The Limerick Gloves* [Лиммерикские перчатки] // *Edgeworth M. Popular Tales. 3 v. London, 1804. V. 1. P. 237—303.*

Перевод повести М. Эджворт «The Limerick Gloves» — новое обращение к прозе английской писательницы (перевод «Прусской вазы» был опубликован в ВЕ. 1808. № 20) — обнаруживает устойчивое внимание Жуковского к содержанию ее нравственно-этической позиции и к художественной манере. По определению В. Скотта, восхищавшегося «удивительными нравоописаниями» М. Эджворт, «наивность и доброжелательная пылкость ума (...) у нее сочетаются со столь могучей и острой наблюдательностью» (Переписка Марии Эджворт и Вальтера Скотта // *Мария Эджворт. Замок Рекрэнт. Вдали Отечества. М., 1972. С. 313*). «Лиммерикские перчатки» были интересны для Жуковского сочувственным изображением жизни обыкновенных людей. В повести получила развитие тема, заявленная в евро-

пейской литературе именно М. Эджворт, — тема Ирландии, ее народа, истории и культуры. На роль М. Эджворт в пробуждении интереса Европы к Ирландии указывал В. Скотт: «Ваша величайшая заслуга, в моих глазах, состоит в том, что Вы подняли свою нацию во мнении публики и познакомили всю остальную Британскую империю с интересным и своеобразным характером народа, так долго оставшегося в небрежении и так жестоко угнетаемого» (Переписка Марии Эджворт и Вальтера Скотта // *Мария Эджворт*. Указ. соч. С. 298).

Название повести восходит к имени ирландского города Лиммерик, откуда родом один из главных героев, перчаточник Брион О'Нейль, достойный молодой человек, помогающий бедным и ухаживающий, долгое время без успеха, за Бетти (в оригинале ее имя Феоба), дочь англичанина г. Гилля, кожевника и старосты кафедральной церкви в городе Герфорте. Тема враждебности и неоправданного снобизма англичан в отношении к ирландцам, оказавшимся более щедрыми, добрыми и нравственными, получит продолжение на страницах ВЕ (1809. № 11) в переводе «Отрывка письма из Ирландии. (Из соч. Госпожи Эджеворт)», где речь пойдет о мифологии ирландцев, о феях, об обряде погребения, а в заключительной части «Письма» будет рассказано о тяжелом положении ирландского мужика: «Он беден, угнетен, поневоле промышляет обманом; этому нельзя быть иначе в такой земле, где образованность, истребив в высшем классе народа страсти дикие, самими выгодами своими возродили по необходимости страсть к деньгам» (С. 191—192). Таким образом, появление на страницах ВЕ «Лиммерикских перчаток» означало факт пробудившегося внимания к Ирландии, что само по себе отразило общий интерес русской культуры к проблемам национальной самобытности и истории других народов.

Судя по переводу, Жуковскому была близка эстетическая установка М. Эджворт на изображение нравов и психологии людей среднего и бедного сословия. Жуковский сохраняет подробную и тщательную детализацию при изображении занятий горожан в будни и в праздники, когда звонят колокола и зовут прихожан в церковь; при описании их одежды (платья, шляпы, банты, перчатки); картин семейных отношений, любовных, административных; при зарисовке разнообразных типов невест и их матерей, отцов, бедных и богатых, любящих поест и нечистых на руку, доверчивых и хитрых и т. д. Особый интерес для переводчика представляла стихия юмора, пронизывающая всю повесть и выражающая одновременно доброжелательность автора в отношении своих героев и дискредитацию их ограниченности. Жуковский усиливает юмористическую тональность: при изображении жены кожевника, постоянно провоцирующей скандальные ситуации, в перевод вводятся отсутствующие в оригинале сварливые по стилю реплики героини («Не видишь? не видишь? чего ты не видишь, друг мой! Ты только других умеешь называть зеваками или слепыми!»), наряд ее дополняется деталями (вместо одной фразы «полностью одетая» следует: «в огромной соломенной шляпе с ужасным пунцовым бантом»), усиливающими юмористический колорит. Для начинающего балладника интересным было сочетание юмора и фантастики: странные видения и предчувствия, будоражащие воображение кожевника, оборачиваются хитрыми проделками ловкого обманщика, страшная своей таинственностью картина разрушения объясняется прозаическими вещами — крыса прогрызла щель в стене церкви, а снобизм англичанина порождает глупость и неловкость положения. Здоровый, веселый, «сочный и простодушный» ирландский юмор М. Эджворт не мог не импониро-



вать Жуковскому, ищущему реально твердую морально-этическую точку опоры в романтическом балладном мире.

При всей близости перевода к оригиналу можно указать на их существенные отличия. Жуковский акцентирует внимание на нравственно-психологических коллизиях, а потому повествовательно-описательный тон повести несколько драматизирован. Эта тенденция проявилась в замене описаний разговоров диалогами героев; исключен ряд дидактически-нравоучительных рассуждений повествователя, в характеристику героев введены психологические детали, указывающие на душевное состояние героев: напр., в разговоре с гневным отцом Бетти отвечала «потупив глаза и покрасневшись» (в оригинале отвечала «низким голосом»); указание повествователя на то, что Феоба (Бетти) перенесла все испытания с большим приличием, в переводе развернута в психологический комментарий: «Бетти покорилась без ропота воле своих родителей, но в сердце ее была сокрыта нежная привязанность к О'Нейлю <...>». Жуковский изменяет финал повести: он не переводит последнего абзаца, в котором подводятся итог всей рассказанной истории и выговаривается нравоучительная истина о том, что кожевник и перчаточник из заклятых врагов сделались друзьями и, благодаря опыту, пришли к убеждению, что ничто более не служит успеху, как жить в мире. Повесть в переводе Жуковского завершается сюжетным событием — примирением враждующих, завершающим развитие драматического конфликта.

<sup>1</sup> *лиммерикские перчатки* — Лиммерик — город в северной Ирландии, где в 1691 г. восставшие под знаменем свергнутого с престола в 1688 г. английского короля Карла II католики добились по условиям перемирия некоторых прав для католического населения Ирландии.

<sup>2</sup> *...колокола кафедральной Герфортской церкви звонили...* — Герфорт — английский город.

<sup>3</sup> *Бетти имела в кармане ефимок...* — Ефимок — иностранная, преимущественно серебряная, монета (талер, голландская марка и пр.), бывшая в обращении в Московской Руси XVI—XVIII вв. В оригинале «крона».

<sup>4</sup> *...не имеет ни шиллинга денег...* — Шиллинг — серебряная английская монета, впервые выпущенная в 1549 г. при Эдварде VI.

<sup>5</sup> *Он побежал к своему стряпчему...* — Стряпчий в России XVIII — первой половины XIX в. — чиновник по судебным делам. В оригинале «attorney» (поверенный, адвокат).

Э. Жилыкова

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

### Архивохранилища

**ПД** — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (С.-Петербург).

**РНБ** — Российская Национальная библиотека (С.-Петербург), ф. 286 (В. А. Жуковский).

### Печатные источники

**АБТ** — Архив братьев Тургеневых. СПб.: Изд. Отд. рус. яз. и словесности Рос. Академии наук, 1911—1921. Вып. I—VI.

**Айзикова** — *Айзикова И. А.* Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского. Томск, 2004.

**Белинский** — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1959.

**БЖ** — Библиотека В. А. Жуковского в Томске: В 3 ч. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978—1988.

**Бумаги Жуковского** — *Бычков И. А.* Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в Имп. Публичную библиотеку в 1884 г. // Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1884 г. Приложение. СПб., 1887.

**Вацуро** — *Вацуро В. Э.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994.

**ВЕ** — Вестник Европы.

**Вяземский** — *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. Т. 1—12. СПб., 1878—1896.

**Ж. и русская культура** — Жуковский и русская культура: Сб. науч. трудов. Л.: Наука, 1987.

**Зейдлиц** — *Зейдлиц К. К.* Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883.

**Зонтаг** — *Зонтаг А. П.* Воспоминания о первых годах детства В. А. Жуковского // Русская мысль. 1883. № 2. С. 266—285.

**Иезуитова** — *Иезуитова Р. В.* Жуковский и его время. Л.: Наука, 1989.

**МТ** — Московский Телеграф.

**ОЗ** — Отечественные записки.

**Описание** — Библиотека В. А. Жуковского: Описание / Сост. В. В. Лобанов. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1981.

**Пвп 1** — Переводы в прозе Василия Жуковского. Ч. 1—5. М., 1816—1817.

**Пвп 2** — Переводы в прозе Василия Жуковского. 2-е изд. Ч. 1—3. СПб., 1827.

**ПЖТ** — Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.

**ПМиЖ** — Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1979—1997. Вып. 6—19.

**ПСС** — Полн. собр. соч. В. А. Жуковского: В 12 т. / Под ред., с биогр. очерком и примеч. А. С. Архангельского. СПб., 1902.

**ПССиП** — *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 1999—2013.

**РА** — Русский архив.

**Резанов** — *Резанов В. И.* Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб.; Пг., 1906—1916. Вып. 1—2.

**РЛ** — Русская литература.

**Симанков** — *Симанков В. И.* Из разысканий о журнале «Вестник Европы» (1808—1810 гг.): Сочинения В. А. Жуковского в прозе // *Жуковский: Исследования и материалы.* Вып. 1. Томск, 2010. С. 106—125.

**С 2** — Стихотворения Василия Жуковского: В 3 т. 2-е изд. СПб., 1818. Ч. 4: Опыты в прозе. М., 1818.

**С 3** — Стихотворения Василия Жуковского: В 3 т. 3-е изд., испр. и умнож., СПб., 1824. Ч. 4: Сочинения в прозе. Издание второе, пересмотр. и умнож. СПб., 1826.

**С 4** — Стихотворения Василия Жуковского: В 9 т. 4-е изд., испр. и умнож., СПб.: Изд-во А. Ф. Смирдина, 1835—1844.

**С 5** — Стихотворения Василия Жуковского: В 13 т. 5-е изд., испр. и умнож. Т. I—XI. СПб., 1849; Т. X—XIII. СПб., 1857.

**С 6** — Сочинения В. А. Жуковского / Под ред. К. С. Сербиновича. 6-е изд. СПб., 1869. Ч. 1—6.

**С 7** — Сочинения В. А. Жуковского: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 7-е изд., испр. и доп. СПб., 1878.

**С 8** — Сочинения В. А. Жуковского: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 1885.

**С 10** — Сочинения в стихах и прозе В. А. Жуковского: В 1 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 10-е изд., испр. и доп. СПб., 1901.

**Семенко** — *Семенко И. М.* Жизнь и поэзия Жуковского. М.: Худож. лит., 1975.

**СОРС 1** — Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе, изданное Обществом любителей отечественной словесности. Ч. 1—6. СПб., 1815—1817.

**СОРС 2** — Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе, изданное Обществом любителей отечественной словесности. Ч. 1—6. Изд. 2. СПб., 1822—1824.

**СОС** — Собрание образцовых сочинений в прозе. В 5 ч. М., 1811.

**СС 1** — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 4 т. / Вступит. ст. И. М. Семенко. М.; Л.: ГИХЛ, 1959—1960.

**СС 2** — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 3 т. / Сост., вступит. ст. и коммент. И. М. Семенко. М., 1980.

**УЗ** — Утренняя заря.

**Ц. р.** — Цензурное разрешение.

**Эстетика и критика** — *Жуковский В. А.* Эстетика и критика / Вступит. ст. Ф. З. Кануновой и А. С. Янушкевича; подгот. текста, сост. и примеч. Ф. З. Кануновой, О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича. М.: Искусство, 1985.

**Янушкевич** — *Янушкевич А. С.* В мире Жуковского. М.: Наука, 2006.

**Eichstädt** — *Eichstädt H.* Žukovskij als Uebersetzer. München, 1970. (Forum slavicum. Bd. 29).



# СОДЕРЖАНИЕ

## Первый полутом

1807 г.

Смерть. Разговор первый. Разговор второй. . . . .	9	409
---	---	-----

1808 г.

Подарок на Новый год . . . . .	29	412
Густав . . . . .	31	414
Характер Марк-Аврелия . . . . .	35	417
Меланхолическая песня Марии Стюарт . . . . .	35	419
Жизнь и деятельность. . . . .	39	423
Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет . . . . .	40	425
Три сестры. Видение Минваны . . . . .	54	426
О назначении человека (Отрывок) . . . . .	57	428
Бомарше в Испании . . . . .	62	429
Падение Ниагары . . . . .	81	431
Письмо Ж.-Ж. Руссо . . . . .	82	432
Отрывок из путешествия г-жи Жанлис в Англию . . . . .	86	439
Сила несчастья . . . . .	91	440
Не жалкий ли он человек! . . . . .	92	441
Отрывки из новых записок г-жи Жанлис . . . . .	95	442
Лафатер . . . . .	99	443
О изгнании (Сочинение генерала Моро) . . . . .	104	444
Путь развратного. Моральная Гогартова карикатура . . . . .	107	444
Феллаги . . . . .	122	449
Князь мира. . . . .	124	451
О дружбе . . . . .	127	452
Неизъяснимое происшествие (Разговор между Виллибальдом и Бландиною) . . . . .	130	455
Ожесточенный . . . . .	137	461
Норд-Кап, или Северный Мыс (Отрывок из путешествия Ачерби в Швецию, Финляндию и Лапландию) . . . . .	153	464
О выгодах славы . . . . .	156	465
Письмо о Копенгагене, писанное в июле, 1807 . . . . .	158	466
О скупости . . . . .	165	470
Пальмер . . . . .	170	472
Фридрих Великий в Стразбурге . . . . .	171	472
Отрывок надгробной речи . . . . .	173	473
Штокгольм . . . . .	174	473
О Риме и древнем Лациуме (Compagna di Roma) . . . . .	175	475
Мария (Отрывок из Артурова журнала) . . . . .	179	477

— СОДЕРЖАНИЕ —

Давыд Юм при конце жизни (Письмо Адама Смита к Виллиаму Страхану) . . . . .	218 479
Бедная Нина (Истинный анекдот) . . . . .	221 483
Отрывки из дневных записок последнего польского короля, Станислава Авгуса Понятовского (писанных во время его пребывания в России, с 2 марта 1797 по 12 февраля 1798) . . . . .	225 484
Мунго-Парк . . . . .	235 493
Кто истинно добрый и счастливый человек? . . . . .	238 495
Густав Обинье . . . . .	243 497
Меланхолия (Сочинение женщины, которая никогда не бывала в меланхолии) . . . . .	311 498
Вольдемар . . . . .	316 500
Слезы . . . . .	319 501
Прусская ваза (Повесть г-жи Эджеворт) . . . . .	320 503
Гёте, изображенный Лафатером . . . . .	341 507
Успокоение сомневающегося . . . . .	342 508
Портрет. Истинное происшествие . . . . .	344 510
Фелленберг и Песталоцци (Отрывок письма из Швейцарии) . . . . .	350 511
Три пояса (Русская сказка) . . . . .	355 514
Примроза и Оливье (Истинное происшествие XII века) . . . . .	367 517
Лиммерикские перчатки (Повесть г-жи Эджеворт) . . . . .	372 518

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

<i>И. А. Айзикова.</i> Проза В. А. Жуковского в «Вестнике Европы»: утверждение романтической эстетики и поэтики прозы (1807—1811 гг.) . . . . .	387
Примечания . . . . .	407
Условные сокращения . . . . .	521

Научное издание

***Василий Андреевич Жуковский***  
**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**  
**В двадцати томах**

Том 10  
Проза 1807—1811 годов  
Книга 1

Корректор Г. Эрли

Оригинал-макет подготовлен И. Богатыревой

Подписано в печать 12.11.2014. Формат 70×100 1/16.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Баскервилл.  
Усл. п. л. 42,57. Тираж 800 экз. Заказ № м1214 (л-р).

Издательство «Языки славянской культуры».  
№ государственной регистрации 1037739118449.  
Phone: **959-52-60** E-mail: **Lrc.phouse@gmail.com**  
Site: **<http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>**

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»  
ОАО «Издательство «Высшая школа»  
214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1  
Тел.: +7 (4812) 31-11-96. Факс: +7 (4812) 31-31-70  
E-mail: **[spk@smolpk.ru](mailto:spk@smolpk.ru)** **<http://www.smolpk.ru>**

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».  
Тел.: +7 (499) 255-77-57, e-mail: **[gnosis@pochta.ru](mailto:gnosis@pochta.ru)**  
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).  
Адрес: Москва, Турчанинов пер., д. 4





